Н.З.

12

1963

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИНОСТРАННАЯ литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

ГАБОР ГАРАИ — Возвращение (Стихотворение) 3

РУДОЛЬФ ЯШИК — Мертвые не поют (Роман. Окончание. Послесловие Ладислава Мнячко) 5

МОЛОДЫЕ ПОЭТЫ ИТАЛИИ

ЛАМБЕРТО ПИНЬОТТИ, АНДЖЕЛО МАРИЯ РИПЕЛЛИНО, ДЖОВАННИ ДЖУДИЧИ, ЛИНО МАТТИ, МАРИЯ БИШЕТТИ . . . 88

ПАУЛЬ ШАЛЛЮК — Энгельберт Рейнеке (Роман. Окончание) 96

ЖАН СЕНАК — Утренняя песнь Алжира (Стихотворения) 172

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

ЮЛИАН ТУВИМ — Из стихов последних лет (Предисловие Ильи Сельвинского) . . . 174

КАРЕЛ ЧАПЕК — Занимательность, народность и морализм. Последний эпос, или роман для служанок. О пессимизме . . 177

ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ

ПАБЛО НЕРУДА — Жизнь поэта 185

КРИТИКА

БОГОМИЛ НОНЕВ — Размышления о новой болгарской прозе 209

А. ЕЛИСТРАТОВА — «Трагическое животное — Человек» (О двух романах Джона Апдайка) 220

12

ДЕКАБРЬ

1963

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»

Москва

ПОЛЕМИКА

А. КАРАГАНОВ — Каким будет искусство через 20 лет? 227

ЧТО ЧИТАЮТ СЕГОДНЯ

МИКЛОШ САБОЛЧИ — Книги, о которых говорят (Письмо из Будапешта) 231

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Обозрение зарубежной прессы 234

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Ф. БОГДАНОВ — Харен Дас — художник новой Индии 241

ИЗ ПУТЕВОГО АЛЬБОМА

А. РОМОДАНОВСКАЯ — По Японии 245

НАШИ ГОСТИ

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ — Карлос Фуэнтес . . . 251

А. СЛОВЕСНЫЙ — Посланцы бирманской литературы 254

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

С. Черникова — «Сердце мое — гнев». ◇ К. Атарова — Друзья и враги. ◇ Л. Фейгина — Чтобы жить! 257

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Р. Орлова — В последнем кругу ада. ◇ Владимир Рубин — Трудные годы Артура Чэпмена 261

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ 266

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

(Хроника) 267

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 283

Содержание журнала «Иностранная литература» за 1963 г. (№№ 1 — 12) 284

На обложке гравюра чешского художника ВОЙТЕХА ЦИНИБУЛКА «Девочка с голубем»

ГАБОР ГАРАИ

Возвращение

Перевод с венгерского
ВАЛЕНТИНА КОРЧАГИНА

Пробыв неделю вдалеке от дома,
вернулись мы домой.
Открыл я двери —
и в комнате, которая нередко
казалась нам унылой, темной, тесной,
пахнуло празднеством. Как тут светло, просторно!
Распахнуты объятья книжных полок...
Поклоны комнатных растений грациозны...
А в окна, лица наши озаряя
своею солнечной улыбкой,
заглядывает молодой апрель.

К себе самим пришли мы нынче в гости.
Нам интересны здесь все краски, все предметы:
они как бы вторично расцветают
в лучах внезапного волненья...
И мы беседуем непринужденно
за чашкой наспех приготовленного кофе,
как старые друзья или соседи,
которые давно-давно расстались,—
забыты споры, стерты разногласья,
и встреча так приятна, так легка...

О, колдовство на полчаса!
Я знаю:
сейчас и окна, и цветы, и книги
утратят эту новизну и яркость;
из набегающих теней проступят
и долгий вздох, и замкнутость мужская,
и равнодушье женское...
И все же
я говорю: благословенно
ты, воскрешенье форм и ощущений!
Ты в душу, возрождая в ней душевность,
приходишь, как языческая пасха,

как искупающий вседневные утраты
дар времени — бесценный, щедрый дар.

Я говорю так,
ибо человеку
не только в рамках собственного дома,
но и среди машин, посевов, строчек
необходимо
именно такое
непреходящее высокое уменье:
землей овладевая по-хозяйски,
на дело рук своих смотреть глазами гостя —
чтоб вечной новизной оно сверкало,
чтоб никогда цветок восторга
не покрывался инеем привычки,
чтоб стал для сердца солнечной купелью
мир, обновляемый трудом.

РУДОЛЬФ ЯШИК

Мертвые не поют

РОМАН

Перевод со словацкого
В. ЧЕШИХИНОЙ

НА НИЧЕЙНОЙ ЗЕМЛЕ

Когда Кляко вернулся в блиндаж, Лукан уже лежал. Под попоной оказалась поллитровка. Кляко откупорил ее, понюхал.

— Ром! Не отхлебнешь ли и ты?

— Спасибо. Мне спать хочется.

— Спи.

Поручик погасил свечу. Легкий запах парафина напомнил церковь. Было темно, а Кляко все мерещилось, что свеча продолжает гореть. Это была уже не свеча, а зажигалка в пальцах Фридриха. Над ней согнулись люди: в пятне света лежал безликий Ганс Бергер с кровавым провалом вместо носа и рта. Белели кости, кости Бергера. «Гаси!» — воскликнул кто-то, пока еще живой, ибо мертвые не говорят, мертвые не поют, они только пугают. «Мертвые не поют»,— про себя повторил Кляко, и слова эти ему понравились. Каждое слово принадлежало разным мирам. С достойной удивления легкостью Фридрих сумел соединить, казалось бы, несоединимое, не сознавая, что тем самым ему удалось перешагнуть границу, разделяющую далекие друг от друга миры. Хоть Кляко и привык мысленно переноситься на столь большие расстояния, его никогда не покидал ужас...

И Кляко увидел безликого Ганса Бергера. Кровавый провал наводил ужас. Восклицание немецкого солдата «гаси» было совершенно искренним. Кляко самому пришло на ум нечто подобное. А если бы там лежал Отто Реннер? А если бы моток телефонного провода вместо Реннера нес Бергер? Это жестоко, но ведь правда, что у него, Кляко, болит душа только за участь Отто Реннера. Ведь у любого солдата штрафной роты, у всех убитых была своя жизнь, свои увлечения, любовь, какие-то надежды, за каждым, словно тень, следовала какая-то трагедия. Какое счастье, что он, Кляко, не столкнулся со всеми, что не встретил Ганса Бергера! Но разве это счастье? Отто Реннер мечтал о химической лаборатории, он жил в Вене. Он бывал и в Братиславе, но не надеялся когда-нибудь увидеть все это еще хоть раз в жизни. Он знал, что не вернется

Окончание. Начало в №№ 10, 11.

на родину. Кляко недостаточно серьезно отнесся к его словам и... Что переживал Фридрих, когда нес тело своего друга в яму? Он говорит как уроженец Праги, и, быть может, воспоминания о жизни в ней поддерживают в нем бодрость духа даже в штрафной роте. Что же еще? «И все себя спрашиваю: как это получилось, что вам немцы верят?..»

— Отец небесный, этот ром словно сам льется в глотку!

«...Ты что тут делаешь? Не на увеселительную же прогулку ты отправился, понятное дело...»

— К дьяволу!

— Что такое? — отозвался Лукан.

— Ничего. Спи!

Кляко вдруг пожалел Лукана. «И Фридрих жалел Бергера. Они были друзьями. Этот Фридрих говорил обо всем в открытую. Мы здесь не на увеселительной прогулке, мы прибыли сюда воевать с русскими. Мы помогаем немцам! И потому я с самого начала утверждал и утверждаю, что это подлое дело. Подлое дело, Herrschaffen *. Я понимаю, что одними раздумьями ничего не изменишь. Сейчас о людях судят по их делам. Возьмем хотя бы Отто Реннера. Он не примирился с этой войной и погиб сегодня после десяти часов вечера. Через несколько дней почта доставит в Вену извещение о геройской гибели солдата Отто Реннера на высоте триста четырнадцать в битве за фюрера и родину. Все это неправда, ложь! А русский командир подаст своим начальникам сухое донесение: «В ночном бою мы потеряли высоту триста четырнадцать. Фашисты понесли тяжелые потери». Черт возьми! Что общего было у Отто Реннера с фашистами? Ангел-хранитель, спаси мою душу, но ведь это не только история Отто Реннера, это история и Яна Кляко, поручика словацкой батареи, которая поддерживала атаку на высоту триста четырнадцать. Вот что самое отвратительное. Надо выпить и забыться!»

И Кляко пьет, пьет.

Трах! Пустая бутылка с треском разлетелась, ударившись в дощатую стену блиндажа.

— Спи, Лукан! Плюнь на выродка, сумасшедшего поручика Кляко, твоего злополучного земляка.

— Вы все выпили?

— А что я, нянчиться с ним буду? Пол-литра.

— Почему вы не спите?

— Почему?.. Слушаю дело поручика Кляко. Ты его знаешь?

— Немного знаю.

— Только немного? Мне не нравятся такие шутки.

— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

«...Многоуважаемые мыши, блиндаж кишит вами, сволочи! Вы могли бы прекратить свою беготню. Слушается дело поручика Кляко... Оно требует полной тишины. Вернуться домой мне нельзя. А покушаться на самоубийство можно только раз в жизни. Фашизм я отвергаю. Наплевать мне на фюрера, если не сказать хуже. Фашизм — это преступление. Обер-лейтенант Виттнер болтал не зря. Он собирается физически уничтожить русских, поляков, чехов и французов, самую опасную нацию после славян. Бельгийцы могут остаться на своем месте. Прекрасно! Народы — это все равно что картошка в погребе. Расшвырять их, растоптать сапогами. Прекрасно! А что делать со словаками, герр обер-лейтенант? Расстрелять или утопить их в Ваге? Как будет угодно вашей милости? Так, так... И поручик Ян Кляко должен вам помогать. Внимание! Поручик Ян Кляко вам помогает. Вот почему я давно утверждаю, что он негодяй. Все. Ты подчиняешься стечению обстоятельств. Вот и все. А ты должен

---

* Господа *(нем.)*.

сам подчинить их своей воле. Здесь каждый отвечает за себя, а ты, как офицер, отвечаешь и за остальных и потому обязан бороться с немцами, с преступлением. Это новая песенка, прекрасная песенка, такая прекрасная, что за нее надо выпить, черт побери! Эх, если бы эта скотина-каптер не ломался, не требовал, чтобы я за пол-литра лизал ему пятки! Русские — славяне, братья! За них тоже надо бы выпить. Если быть немного потолковей, как следует взяться за ум, так с русскими можно обо всем договориться. Договорился бы я и с немцами, но это было бы совсем другое дело. А русские — коммунисты. Да. Но бог весть что это значит. Однако коммунисты утверждают, что «кто не работает, тот не ест». Работать, конечно, нужно. Но работы-то у нас не было. Неизвестно почему. Я вот кончил гимназию и еле-еле устроился простым переписчиком в строительную контору. Коммунисты говорят, что богачи — враги народа. Да! Это тоже правда, мой шеф был порядочная свинья. Но самое важное то, что русские — славяне, это всякому понятно. Бочку рому! Сюда ее! Сюда ее! Слушалось дело поручика Кляко, и сейчас оно решено. На бочонке рома сидят матросы и поют: «Йо хо-хо-йо-хо-хо»*. Да, там еще упоминается мертвец, но как это вместе вяжется? Давно не читал ничего порядочного. Мертвецом должен стать каптер. Наш век впал в безумие! Тили-тили-бом, загорелся кошкин дом! Буду лучше думать об огромном необыкновенном туннеле. Туннель—это темнота. Темнота—это темнота, черное — это черное, белое — это белое. Белое? Сигареты! Черт побери, мы рассмотрели дело одного поручика, он был такой негодяй, что мы забыли закурить. Гоп-гоп! Это замечательно!»

Кляко курит одну сигарету за другой. Вдруг послышались шаги.

— Пан поручик?

Кто-то входит в блиндаж.

— Чего тебе?

— Вас немцы зовут. Пришел ко мне какой-то шваб, и я кое-как разобрал, что вам надо явиться на НП. Он там ждет. Орал что есть мочи. Эти швабы только и умеют, что орать. Им бы только поорать.

— Съездил бы ты ему в морду, Йожко.

— Да если бы дома...— Это был один из молчунов, третий в наблюдательном подразделении Кляко. Днем он отсыпался в блиндаже, а по ночам дежурил на НП. Блиндаж был связан телефоном с НП и с батареей.

— Не знаешь, что ему надо?

— Дьявол его разберет. Все больше ругался. Но, я думаю, вам надо туда сходить.

— Сейчас.

— Что-то готовится. Швабы мечутся в окопах, словом, не поймешь их...

— Посмотрим, в чем дело. Лукан, вставай, но не отходи от телефона. Я пошел.

— Ладно,— ответил сонным голосом Лукан.

■

Уже далеко за полночь Кляко и Лукан перебрались в окоп на вершине высоты триста четырнадцать. Молчуна Йожко оставили в блиндаже у телефона. Окопы тут были мелкие, вырубленные в камне.

— Не нравится мне здесь!

— Что вам сказали?

— Ничего. Эта свинья Виттнер, представь себе, похлопал меня по

---

* Кляко здесь вспоминает пиратскую песню из романа Стивенсона «Остров сокровищ».

плечу: вы, мол, господин офицер, отправитесь на триста четырнадцатую, она прямо создана для НП.

— Скотина!

НП устроили среди белых камней на вершине высотки. Оптический прибор установили в небольшом углублении. Наблюдателям приходилось стоять на коленях или сидеть. При свете ракет были видны извилистые линии окопов, а в них скорчившиеся фигуры немецких солдат. Некоторые из них курили. Четверо сидели справа, двое — слева.

— Контратаки русских не ждут?

— Ждут. Боятся, что под утро они постараются отбить высотку. Ну и вспотел я! — Кляко расстегнул рубаху.

— Боитесь вы, что ли?

Кляко загадочно улыбнулся, но не объяснил Лукану, почему он расстегнул рубаху. Он только сказал:

— Потом увидишь.

Неожиданно резко зазвонил телефон. Звонок было слышно далеко. Немецкие солдаты повернулись к НП. Все они попали сюда случайно: вызвали шестерых добровольцев для обороны высоты триста четырнадцать. Это было устное распоряжение командира третьей роты. Явились лишь двое. Еще полгода назад привалила бы вся рота. Но солдатам третьей роты высотка не пришлась по душе. Окопы мелкие, пули и осколки рикошетом отскакивают от камней и разлетаются во все стороны. Ночью солдаты хорошо это видели. Высотка выдвинута вперед. Один русский пулемет с правого фланга может отрезать от своих. Справа, сразу за пашней,— русские окопы. Но теперь шестеро немцев сидят уже здесь и все свои надежды возлагают на словака, артиллериста-наблюдателя. Он устроился, как бог, среди камней на макушке высотки. Сейчас там звонит телефон. Все, что там происходит, важно, очень важно. Телефон следовало бы прикрыть одеялом. А то его и русские услышат. Но самое интересное, что один из этих наблюдателей хорошо говорит по-немецки.

— Это замечательно. Нам подвезло.

— Чему ты удивляешься? Чехословакия на две трети была немецкой.

— А ты там жил?

— Нет.

— Откуда же ты знаешь?

— Читал в наших газетах.

— Тихо. Не зли меня, приятель. Телефон...

— Может, услышим что-нибудь.

— Жаль, я не знаю их языка. Но думаю, что сейчас батарея откроет огонь. Заградительный огонь. А то поздно будет, когда контратака начнется.

— Ты думаешь, русские будут отбивать высотку?

— Не знаешь ты их, что ли?

— Посмотрим...

Кляко сердито кричит в телефонную трубку:

— Скажи им, Йожко, что я и сам соображу, как поступить... Ты немецкого не знаешь? Так отвечай ему хоть по-турецки и не приставай. Все! — Кляко положил трубку.

— Виттнер? — спросил Лукан.

— Да. «Шисн, шисн!»* Как смеет какой-то хам мне приказывать? Наш командир — Гайнич. Нет, нет! Пусть и скотина, да своя, это надо понимать. И вообще я сыт по горло. Сегодня что-нибудь да произойдет.

— Что?

---

* Schießen *(нем.)* — **стрелять.**

— Сам не знаю.

Из немецких окопов позади Кляко то и дело взлетают ракеты. Они освещают и склоны и пустые поля на восток от триста четырнадцатой.

— Господин офицер!

— Что такое? Что тебе надо?

Это был один из шестерых немецких солдат.

— Мне что-то не нравится эта тишина, господин офицер. Не подсыпать ли им снарядов? Я ведь русских знаю...

— Я тоже их знаю. Вы понимаете, черт вас возьми, с кем вы говорите? Я офицер! Как вы смеете обращаться ко мне, как к равному!

— Извините, господин офицер. Извините.

Солдат уполз. Он обогатился опытом, знал теперь, что все офицеры на свете одинаковы.

— Слышал, Лукан? Смотри, как он хвост поджал. Еще слово, и я съездил бы ему по роже. Сопляк! Он, может, думает, что я круглый болван, да, впрочем, начхать мне на это.

— Они повинуются, словно машины.

Кляко хотелось рассориться со всем светом:

— Реннер, к примеру, не одобрял этой войны.

Лукан понизил голос:

— Но и он повиновался, словно машина. От страха. И мы тоже повинуемся, как он.

— Ты опять говоришь, как изменник.— Кляко хрипло засмеялся. Голос его звучал враждебно. Так он ворчал на солдат, когда батарея шла на фронт. Лукан ничего не сказал и снова забился в угол.— Уж признался бы лучше: они мне заморочили голову.

— Вас не разберешь...— Лукан был смущен.

— Лукан! — Кляко, видимо, хотел сказать что-то очень важное, потому что подполз ближе к Лукану.— Ты понимаешь, что мы в сущности на ничейной земле?

— Вы хотите сказать...

— Я ничего не хочу сказать. Пораскинь-ка мозгами получше.

— Ясно.

— Но это не так-то просто сделать. И потому я не в себе, мать честная! — И Кляко разразился ругательствами, подумав о том же, что и Лукан.

— Не будь здесь этих шести фрицев, все было бы очень просто,— засмеялся Лукан.

— Очень просто. Такого хорошего случая у нас еще не было.

Лукан промолчал.

Ракеты озаряли небо мертвенно-белым светом. Пологий восточный склон высотки был густо усеян небольшими воронками. Дальше его пересекала какая-то светлая широкая полоса. Иногда казалось, что это длинная стена белого цвета, она то и дело вздрагивала, словно плохо натянутый холст.

— Ну и пляшет! Что это за чертовщина может быть?

— Стена какая-то.

— Проклятая ночь! Длится целую вечность.

Позади скатился камень. Кто-то, тяжело пыхтя, карабкался на высоту. Появилось ярко освещенное ракетами лицо Виттнера.

— А мне говорили, что в России одни равнины,— сказал Виттнер вместо приветствия, перевалившись на НП через торчащие камни.— К счастью, судьба не сделала меня горным егерем, — засмеялся он.— Вы представляете меня в роли горного егеря? — И не получив ответа, добавил: — Я тоже не представляю.

С Виттнером пришел кто-то еще и тоже спрыгнул в окоп.

— Мой ординарец,— пояснил Виттнер, не зная, как понять воца-

рившееся молчание. «Эти славяне дрожат за свою шкуру и питают ко мне почтение. А стрелять боятся, кхе-кхе! Они думают, что если сидеть тихо, так Иван оставит их в покое. Людишки! И этот блаженненький офицерик — ничтожество. Глако, Глако — звучит почти как Glocke *. Господин майор весьма заблуждается, полагая, что с этими людишками нужно всерьез считаться». И богатый шлезвигский торговец решил быть великодушным. Он снисходительно спросил:

— У вас тут ничего нового? Но все же... — Лицо Виттнера в свете ракеты стало белым пятном. Он моргал и щурился. — ... мы захватили несколько квадратных метров земли. Это рождает в моей душе возвышенное чувство, это мое боевое крещение. Несколько часов назад здесь сидел Иван... Долго ли еще протянется эта ночь? Я бы охотно обозрел окрестности из этого гнезда.

— Пожалуйста. — И Кляко уступил ему свое место.

— Благодарю за внимание. — Виттнер улыбнулся. — Знаете, что меня сбивает с толку? Вы прекрасно говорите по-немецки. Я никак не мог этого предполагать. Научились в школе?

— Да, хотя немецкий и был необязательным предметом. Но за восемь лет можно кое-чему научиться.

— Необязательным предметом? — возмущенно переспросил Виттнер.

— Обязательным был французский язык. Французский и латынь,— ухмыляясь, ответил Кляко.

— Вы можете объяснить почему?

— Очень просто: латынь — международный язык, а французы, по-моему, самый культурный народ в мире.

— И это вы говорите мне?! — вскрикнул Виттнер.

— Я предполагал, что вы интеллигентный человек.

— Молчать! Я приказываю вам молчать! — Виттнер опомнился и понизил голос. — Кое-кому пора бы уже запомнить, что названную вами страну выродков мы победоносно прошли за несколько дней.

— Чуть-чуть подольше, за три недели, если мне не изменяет память.

— Молчать! Я приказываю вам молчать!

Немецкие солдаты открыли огонь. Они знали Виттнера и не любили его. Они долго отсиживались в глубоких окопах, а теперь этот дурацкий крик мог стоить им головы. Пришел ругаться. Сейчас он пришел сюда ругаться. Но вместе с тем он прав. В этой Чехословакии слишком уж много себе позволяли. И французы — Himmel **! — одни бродяги да шлюхи, а все остальные заражены большевизмом.

— Что такое? — удивился Виттнер, услышав перестрелку.

— Вы слишком громко кричите, господин обер-лейтенант. Иван недалеко, а ваши солдаты его боятся.

— Мы еще поговорим на эту тему.

Шипение и яркая вспышка над высотой триста четырнадцать. Огненный шар ракеты рассыпается перед НП на тысячи потрескивающих искр. Видны воронки. Длинная белая полоса заколебалась.

— Почему вы не стреляете? Боитесь?

— Приказано экономить боеприпасы... Вчера я слышал интересную фразу, господин обер-лейтенант.

— Могу ли и я ее услышать?

— Если мы в этом году не покончим с большевиками, то опозоримся на весь мир. Это сказал немецкий солдат.

— Вы узнали бы его?

— Нет. Была ночь.

---

* Колокол *(нем.)*.

** Небо! *(Нем.)*.

— Глупые речи. В этом году мы непременно их разобьем.

То были последние слова, которые Виттнер произнес перед рассветом. Начало медленно светать, и непонятная белая полоса превратилась в широкую проселочную дорогу. Виттнер ничего не говорил. Вид с высотки, очевидно, не понравился шлезвигскому торговцу, потому что, глядя в щель между камнями, он проворчал:

— Ничего особенного. — Перед НП все было пусто, дальше тянулась обширная, слегка волнистая равнина, окаймленная чернеющими лесами. — Я пойду, господин офицер. Ничего интересного здесь нет. Держитесь крепче. — Виттнер встал, приказав своему ординарцу: — Пошли!

И тут откуда-то с левого фланга в отдалении загремел гром. Не успел он отгреметь, раздался грохот справа. Этот грохот не прекращался, быстро приближаясь к высотке. Вокруг все ревело и завывало, казалось, что гром поразит сейчас всех. И немцы и словаки прижались к земле. Виттнер сыпал проклятьями, но и он лежал ничком. В грохоте отчетливо слышался свист больших раскаленных осколков. Они падали как безобидные камушки в окопы и на НП.

«Фридрих, пробил твой последний час. Так ты хоть помолись, пес поганый, и геройски вгрызайся в землю!» — припомнил Кляко слова штрафника Фридриха, в которых звучала такая боль. Лукан трясся, ни о чем не думая. Виттнер, ругаясь, лежал на земле, и со стороны можно было подумать, что он ни капельки не боится.

Вся высотка дрожала. Дрожал весь мир. Взлетали фонтаны земли и едкого дыма. Он не рассеивался, а оседал меж деревьев над немецкими окопами, полз по голым склонам высотки. В дыму сверкали вспышки молний.

Виттнер подумал, что границы дымного облака невозможно определить. Оно тянулось вдоль линии фронта далеко на север и далеко на юг, куда не достигал взгляд. Виттнер не был ни трусом, ни глупцом, но стал подозревать, что попал в собственную ловушку. Зачем его сюда понесло? Теперь он не может уйти с высотки, а когда обстрел прекратится — тем более. Это походило бы на бегство. Нет, такого зрелища третья рота не дождется. Он, солидный человек, не побежит на глазах солдат с высотки, не будет перебираться ползком, когда все остальные останутся тут. Нет, ни за что! «Я пришел сюда по собственной воле и по собственной воле уйду. Разве что меня отзовет господин майор. Но тогда я попрошу майора сообщить третьей роте, что я выполняю его распоряжение».

Вдали взревели танки.

В мягкое мурлыканье моторов ворвались резкие, но пока еще далекие звуки выстрелов. Постепенно они слились в общий гул, напоминая шум отдаленного водопада.

На высотке наступило затишье.

Смех.

Это смеется шлезвигский торговец. Смеяться в такой тишине, когда у людей кровь стынет в жилах, — геройство! Этот смех звучит искренне, сразу вспоминается родной дом, воскресенье...

Кляко сел, удивленно прислушался. Лукан тоже.

— Кхе-кхе, а вы не из героев. Стрелять давно уже перестали. Иван истратил все свои боеприпасы, а это... с военной точки зрения, неблагоразумно. Очень неблагоразумно. Солдаты! Вы все целы и невредимы? Каждый в отдельности отвечает мне «да»,— закричал Виттнер солдатам в окопах.

В ответ семь раз прозвучало «да».

— Видите? Иван истратил столько боеприпасов, и никого даже не поцарапало. Но... — По лицу Виттнера скользнуло недовольство. Он при-

слушался. К югу и северу от высоты триста четырнадцать грохот усиливался, катился в тыл, на запад, за линию немецкого фронта. — Не думаю, что это что-нибудь серьезное, — уговаривал себя обер-лейтенант и сам же себя спросил: — Но почему они не атакуют нас? Обхват? — После чего он крикнул своему ординарцу: — Эй, ты там, принеси бутылку!

Прибежал молодой немец, и, пока Виттнер пил, ординарец подмигнул Лукану, что должно было означать: «Старик пьет. Боится».

— Господин офицер, — Виттнер зажал бутылку между колен, — вы не можете соединить меня с вашим блиндажом? — И он показал в сторону тыла.

Лукан поднял трубку. Телефон молчал.

— Плохо, очень плохо.— Виттнер снова отхлебнул из бутылки.—Но я уверен, господин офицер, вы знаете свой долг. Нам нужна связь. Нужна любой ценой. Мы на ничейной земле. Иван обходит нас.

— Не беспокойтесь. Связь восстановят.

— Как? Кто ее восстановит, если вы тут сидите? Бог?

— Это уж мое дело. И не кричите! Вы что, дома?

— Молчать! Я приказываю вам молчать! Вы забываете, кто здесь старший по чину. И затем... господин офицер, да, я у себя дома. Прошло целых пять часов, как эта земля стала немецкой. Молчать! Когда я говорю, извольте молчать!

— Черт побери, я тоже стану кричать! Вы не имеете права мне приказывать!

Солдаты открыли оглушительную пальбу, в которой сразу же потонули сердитые голоса. Впрочем, перебранка двух офицеров была солдатам весьма любопытна. Не всегда удается послушать, как офицеры кричат друг на друга. Но слушать их сейчас не было времени. Иван близко, высота триста четырнадцать на ничейной земле, обстановка похожа на обхват. И когда один из четверых справа насмешливо заметил: «Да поможет нам бог, сошлись двое сумасшедших»,— солдаты принялись стрелять еще яростней, потому что смельчак, если и в другой раз не удержит язык за зубами, может угодить в штрафную роту.

— Йожко! — закричал Лукан.

В ложбинке между немецкими окопами и высотой на небольшой полянке среди густого кустарника полз словацкий солдат. Это был Йожко, один из молчунов. Он не слышал оклика Лукана, хотя уже стояла тишина и лишь где-то в отдалении погромыхивали тяжелые орудия. Молчун полз по полянке и в сгустившейся тишине не воспринимал голоса и окружающий мир. Он дополз до самых кустов у подножия высоты и задержался в них, должно быть, обнаружил место обрыва. Телефонный провод перебило осколком.

За Йожко из каменного гнезда наблюдали трое.

Немного успокоившись, Виттнер проворчал:

— Прекрасно, господин офицер, как зовут этого смелого воина?

Взбешенный Кляко ничего не ответил.

Молчун встал во весь рост. Должно быть, его обманула тишина.

— Йожко! — Лукан еще раз помахал ему рукой.

Тот ничего не замечал. Наблюдавшие увидели в его руке моток провода. Йожко возвращался с ним через полянку, то и дело нагибаясь, словно подбирая рассыпанные на земле монеты. Он не достиг и середины полянки, как застрочил пулемет. Молчун скорчился, уронил каску, упал на колени и замотал головой. Еще раз из отдаленного угла прокашлял пулемет, и молчун упал ничком.

— Вы не знаете, как звали этого смельчака?

Виттнер отхлебнул из бутылки. Мясистое лицо его было неподвижно, но глаза загорелись любопытством.

— А вы что, хотите воскресить его, что ли? — глухо спросил Кляко.

— Я вас понимаю. Извините.

Виттнер вынул блокнот и что-то записал в нем. Затем вырвал листок, сложил его и приказал своему ординарцу:

— Отнеси господину майору и вернись с ответом.

— Слушаюсь!

Молодой немец, согнувшись, прошел через НП, потом по окопу слева и там выскочил. Он скатился по крутому склону, как полено, прикрывая лицо руками. Прополз через кусты. Перед полянкой солдат приготовился к прыжку.

— Интересно,— сказал Виттнер и отпил из бутылки.

Молодой немец перекрестился, вскочил и на другой половине полянки попал под пулеметную очередь. Он не успел даже вскрикнуть, смерть наступила быстрее, чем у молчуна Йожко. Тот лежал чуть повыше.

— Господа, мы отрезаны. Я так и думал. Иван хладнокровен. Ваше здоровье, господа! А главное, желаю крепких нервов. Они нам еще понадобятся.— Виттнер попытался было улыбнуться. Глаза его бегали по сторонам и ни на чем не могли остановиться. Пальцы — короткие, толстые, похожие на сардельки — вздрагивали.

Канонада сонно булькала где-то далеко за немецкой линией фронта. Восходящее солнце на миг озарило высоту. Притупившиеся мысли Кляко окутывал сон. Но мозг боролся с усталостью, то и дело вступая с ней в краткие, резкие схватки. «Все полетело вверх тормашками. Мое дело кто-то глупо усложнил. Зря погиб Йожко. Я не предупредил его. «Йожко, если заметишь неисправность, сходи проверь»,— говорил я ему всегда. Иисусе Христе, не следовало понимать мои слова буквально. Мало ли что говорится на фронте. Старый солдат мог бы знать это. Но ты, Кляко, подлец, и нечего тебе оправдываться! Ты ждал этого. Ты знал, что Йожко пойдет устранить обрыв, и позволил себе хвастаться перед Виттнером. Этот-то — скотина. Сразу видно. Сам хлещет коньяк и не думает угостить. Коньяк! Конечно, коньяк, по запаху слышно. Но ведь ты, Кляко, сказал себе, что не будешь якшаться с немцами, что ты против них. С кем ты сидишь? И разве не унизительно ждать, когда один из них угостит тебя коньяком? А разве я говорил что-нибудь подобное? Отвяжитесь! Убирайтесь все к чертовой матери! Кругом марш, и отстаньте от меня! Я хочу спать...»

О смерти Йожко не думал уже и Лукан. Канонада, что сонно гудела на западе, пробуждала тоску по родине. «Домой! Домой! Прочь отсюда! Домой! Это самое важное теперь! Домой — и тогда этот ад кончится. Он кончится. Русские гонят немцев! Домой! И этот ад кончится! Почему стало так тихо? Почему здесь не стреляют, чтобы как можно скорее прекратилось это подлое дело? Боже, вот красота была бы!»

— Пан поручик, далеко ли до нас?

— Докуда?

— Ну, до нас, до Липин, до Планицы.

— Две тысячи километров.

«Долгонько ждать придется, загнали нас на край света. Сапоги у меня добрые, тридцать километров в день я сделаю. Сейчас лето, и крыши над головой не нужно. Через три месяца буду дома. Дома! Как раз в сентябре, когда у нас созревают яблоки и груши. Но немцы так легко не сдадутся. Они дорожат своей шкурой. В походе я всякого насмотрелся. Легко они не сдаются. Немецкие солдаты говорят, что им так приказывают генералы, да что-то не верится мне. И немецкие офицеры сами такие, и многие солдаты. А этот толстый, что с нами сидит, негодяй первостатейный. Похож с виду больше на торговца, на почтенного отца семейства, а своего ординарца отправил на смерть и глазом

не моргнул, лишь бы проверить, случайно или нет убит Йожко. Если он сумел с немцем так поступить, так что уж после этого... Негодяй он и есть».

— Пан поручик! Сколько у немцев генералов?

— Пятьсот! Тысяча! Откуда мне знать! Да что с тобой? Ты здоров?

— Это много. А не меньше?

— Не приставай! Какие глупости тебе в голову лезут! Тебя не стукнуло?

— О чем это вы говорите? — спросил Виттнер, и на его неподвижном лице вдруг появилась приветливая улыбка.

— Это не ваше дело. Я иду спать.

— А я хотел было вас угостить настоящим французским коньяком.

— Ворованным французским коньяком, хотите вы сказать? Нет? Но, быть может, вы станете утверждать, что все зависит от точки зрения?

— Именно это самое я и утверждаю, господин офицер. Это зависит от точки зрения, от вкуса. Но не будем об этом спорить.

Оба — и словак и немец — заставляли себя проявлять смешную сентиментальную учтивость, но продолжали в том же тоне. Он как бы служил им порукой, что с каждым словом ненависть их друг к другу будет все возрастать.

— Так вы не станете пить?

— Спасибо! Не пью.

— Я считал вас более остроумным. Кстати, в блиндаже Heimat я наблюдал нечто иное.

— Сожалею, что у вас столь блестящая память.

— Не понимаю.

— Поверьте, господин обер-лейтенант, что в нашем положении, на этой отрезанной высоте, у всякого могут возникать свои желания.

— Да, конечно. Например, желание выбраться из этой каменной дыры.

Кляко бесцеремонно засмеялся. Смех звучал сурово, как на марше, когда солдаты оглядывались на запад и прикидывали, какое расстояние отделяет их от родины. Лукан помнил этот смех и теперь заметил, что Виттнер начинает побаиваться Кляко. Он убедился в этом, когда поручик после долгого молчания окликнул Виттнера.

— Разрешите мне кое-что заметить?

— Пожалуйста, пожалуйста! — И осчастливленный Виттнер наклонил к Кляко красное лицо.

— Когда вы молчите, ваше присутствие еще можно кое-как перенести. Вот и все. Мне хочется спать.

«Он ищет ссоры и придирается», — подумал Лукан. Виттнер от скуки или от страха рассматривал свои толстые пальцы и поглядывал на полянку, где лежали двое убитых. Пальцы и полянка были как-то связаны между собой, но Лукан пока не уловил, в чем тут дело. Поведение поручика Кляко тоже требовало объяснения. Оно было опасно, было... Боже! Кляко сомневается, что уцелеет здесь. Или же он не хочет возвращаться. Да, Кляко не хочет возвращаться на запад, домой.

На полянку выбежал немецкий солдат. Он бежал сюда, к ним. На бегу он не сводил глаз с убитых. Пулемет в дальнем углу молчал, и солдат благополучно проскочил. Он спрятался в кустах, лишь постепенно приходя в себя от ужаса. Ему посчастливилось преодолеть опасное место. Но радостное ощущение второго рождения было обманчиво: человек остается в живых только для того, чтобы умереть через час или через неделю.

Солдат подполз к каменному гнезду, а пулемет так и не дал о себе знать. Солдат бросился в окоп и на четвереньках добрался до НП.

— Приказ господина майора! — И он подал Виттнеру листок.

— Да, да,— пробормотал Виттнер дрожащим голосом. И пальцы его тоже дрожали. Потом он воскликнул: — Невероятно! «До семи ноль-ноль покинуть высоту. Майор фон Маллов».

— Этого следовало ожидать. Итак, позор на весь мир обеспечен, господин обер-лейтенант. Блистательно!

— Послушайте, дружище!

Виттнер снял каску. Волосы его взмокли от пота.

— «Дружище», «дружище»! — насмешливо повторил Кляко.

— Объявить солдатам и — шагом марш! — решил Виттнер, вспомнив, что он обер-лейтенант, помощник командира пехотного батальона.

Выполнив приказ, связной должен был вернуться к своим в окопы.

— Разрешите обратиться, господин обер-лейтенант?

— Пожалуйста.

— Можно мне остаться здесь с вами?

— Нет! Вы пойдете первым.

— Но...

— Молчать! Приказываю вам молчать! Какая это дисциплина? Шагом марш!

— Слушаюсь!

Солдат подчинился. Он отполз, в трех метрах от НП выскользнул из окопа и кубарем скатился в кусты. Но и его постигла та же судьба, что и тех двоих, кто уже лежал там. Он присел на корточки, перекрестился и, не успев перебежать полянку, попал под пулеметный обстрел.

— Я так и знал. Иван пропускает сюда, а отсюда не выпустит никого. Боже...

— Господин обер-лейтенант! А как быть с гранатами?

Немецкие солдаты сгрудились у НП: вопрос о гранатах был лишь хорошим предлогом обратиться к офицеру. Солдаты курили, беспокойно озираясь, но в глазах их еще жила надежда.

— Молчать! Шагом марш! Впереди пойдут стрелки, за ними пулеметчики! В нашем распоряжении семнадцать минут.— И не так громко Виттнер добавил: — Солдаты, придумайте что-нибудь, иначе Иван скосит вас, как траву.

Первые двое не придумали ничего нового и погибли. Один еще подергивал ногой в предсмертных судорогах. Третий, казалось, сошел с ума. Став во весь рост, он сбежал со склона и, не останавливаясь в кустах, огромными прыжками бесстрашно проскочил над убитыми. Скрытый пулеметчик от неожиданности не успел дать очередь. Он, конечно, ждал, что немец остановится в кустах. Вслед за тем удалось перебежать полянку и четвертому солдату. Пятого пулеметчик сразил.

— Господин обер-лейтенант, я боюсь,— сказал, подползая к НП, бледный унтер-офицер без каски.

Канонада удалялась в глубокий тыл. Ее звуки слабо доносились откуда-то издалека. В расположении батальона наступила подозрительная тишина.

— Господин унтер-офицер, я не слышал, что вы мне сказали. Мои часы показывают пять минут восьмого.— Виттнер старался сохранить самообладание, но не смотрел на унтер-офицера. Пока здесь находится хоть один-единственный солдат, он не собирается думать о своей собственной судьбе. «Как люди трусливы! Они худые, тонкие, у них легкое, ловкое тело, и все же они трусят. Мне, такому грузному, через полянку не перебежать. У русского пулемета сидит отчаянный нахал и развлекается. Нахалу радости я не доставлю, это решено! Обдумать, как быть, времени хватит. Здесь пока еще находится струсивший унтер-офицер и словаки. Их офицер разговаривает как изменник. В немецкой армии за такие разговоры полагается пуля. Надо с ним рассчитаться. Он — за-

таившийся большевик. И в этом нет ничего удивительного: словаки — славяне и большевики. Господин майор! Чего же сто́ят ваши разговоры относительно союзников? К сожалению, я не могу объяснить вам это лично...»

— Боже мой! — раздался крик, и вслед за ним сразу же послышался пистолетный выстрел.

На высотке осталось трое. Не успело смолкнуть эхо, и на НП остались уже только двое. Лукан, вскочив, крикнул:

— Прощайте, пан поручик!

— Сумасшедший!..

Но Лукан уже перепрыгнул через тело застрелившегося унтер-офицера. Вот он добежал до кустов и залег там, ожидая, когда прекратится обстрел из пулемета. Пулемет умолк, а Лукан все лежал. Сколько это могло длиться в конце концов — минуту или пять минут? Лукан вскочил и тотчас же в знакомом углу затрещал пулемет. Лукан мгновенно упал. Но убитые так не падают. Он даже прикрыл голову руками. Это было на полянке, среди трупов. И когда уже давно смолкло эхо выстрелов, Лукан, словно стальная пружина, распрямился и исчез среди израненных деревьев в долине.

— Мы остались одни, господин обе́р-лейтенант.

— Теперь ваша очередь!

Это прозвучало как приказ.

— Я уступаю ее вам. Все преимущества чистой расе,— с издевкой произнес Кляко.

Он увидел, что у обер-лейтенанта расстегнута кобура. Незаметно он сделал то же самое. Следовало бы позаботиться об этом раньше. Его план был прост: ему и Лукану не уходить с НП и сдаться в плен. До приказа об отступлении у Кляко не было никаких планов, только всё сильнее крепло желание во что бы то ни стало распрощаться с немцами.

Виттнер же исходил из того, что не перебежит полянку. Он умрет по собственной воле, мягко выражаясь, как тот струсивший унтер-офицер... Но судьба поставила на его пути союзника — словацкого офицера Глако, который ведет себя как замаскированный большевик. Он предполагал, что Глако оставит высоту предпоследним. И он, Виттнер, изрешетит его своими пулями. Это был бы патриотический поступок. Жаль, что никто об этом не узнает. Хотя бы фон Маллов. Там, в батальоне, тишина. Они ушли. Они отступили, ведь уже четверть восьмого, семь часов пятнадцать минут.

— Вы мне не доверяете! — Теперь было все равно: шептаться или кричать друг на друга.

— Предположим, что так.

— Я немецкий офицер.— Виттнер хотел непременно осуществить свой план.

— Именно потому.

Виттнер словно не слышал. И не мог слышать. Он думал. Он не приготовился к такому обороту дела.

— Как-то, помнится, вы говорили о новом порядке в Европе. Русских, поляков, французов — перестрелять. И, если я не ошибаюсь, чехов тоже.

— Не ошибаетесь,— ответил Виттнер, только что принявший новое решение. Теперь его не интересовало, уйдет отсюда Кляко или нет.

— Бельгийцы и голландцы смогут остаться там, где они живут. Весьма великодушно с вашей стороны. Но в третьем классе гимназии я собирал марки и с тех пор знаю, что Лихтенштейн — самостоятельное княжество. Главный город Вадуц. Что будет с ним? Всех перестрелять или вывезти?

— Но ведь это все-таки немцы! — «Не следует вызывать подозрения Глако. Еще некоторое время нужно прикидываться дурачком».

— Видите ли, я этого не знал. Дорогой господин обер-лейтенант, а что же будет со словаками, этим мирным, как голуби, народом?

— Фюрер ведь ручался за вашу самостоятельность?

— А у меня не выходит из головы другое. Дело ли Гитлера решать вопрос о нашей самостоятельности? Ведь он гомосексуалист и болван, даже слабоумный.— И так как Виттнер открыл было рот и потянулся за пистолетом, Кляко взревел: — Молчать! — пнул немца в живот и приставил револьвер к его груди.— Вы будете говорить только то, что я вам позволю. Повторяйте за мной: Гитлер...

— Гитлер...

— ...идиот.

— ...иди...

— Не шути со мной! Я жду. Времени мне хватит. Даю тебе последнюю возможность на минуту продлить жизнь.

Кляко тыкал пистолетом в грудь Виттнера.

— Вы хотите меня убить? — писклявым голосом спросил Виттнер, и с его подбородка закапал пот.

— Не знаю. Я очень хотел это сделать еще минуту назад.— Кляко отнял пистолет от груди Виттнера и, помолчав, сказал: — Но мне противно.

Не успел Кляко произнести эти слова, как Виттнер прыгнул и всем телом навалился на него. Поручик выстрелил. Обер-лейтенант зарычал и мясистыми пальцами вцепился ему в горло.

Когда Кляко всадил в немца всю обойму, смертельная хватка на шее ослабла, бездыханное тело Виттнера сползло и распростерлось рядом. Кляко долго сидел не двигаясь. Потом неуверенными пальцами нащупал в кармане сигареты, закурил и сказал:

— Скотина! Лукан — старая скотина! — Затем крикнул, обращаясь к солнцу в ясном небе: — Скотина!

Он чувствовал смертельную усталость. Мертвый Виттнер вызывал отвращение. Кляко курил. Он жалел, что сигарета не настолько длинна, чтобы курить ее многие часы, не думая ни о чем. Думать он будет после, когда докурит.

— Лукан все равно скотина...

Оставалось еще несколько затяжек, но Кляко уже знал, что он сделает. Он понял это еще раньше, тогда, когда Лукану удалось перебежать полянку. Он отбросил сигарету и, не думая, как-то равнодушно сунул пистолет в кобуру, взял фляжку Виттнера и отполз к застрелившемуся унтер-офицеру. Там он выскочил из окопа и через несколько секунд был в зарослях.

■

Никто не стрелял, все было мертво впереди и вокруг Кляко. В тихом воздухе слышались лишь его шаги, хруст веточек, ломающихся под сапогами, шорох прошлогодних листьев. Немецкие окопы были брошены. Кляко злобно пнул ржавую банку. Тишина действовала на нервы. Он ничему не удивлялся. Все было понятно само собой. И отступление немцев, и путь в полном одиночестве. Но Лукан — старая скотина! При первом же удобном случае он даст земляку в морду. Они могли бы навсегда распрощаться с этим подлым делом и поставить точку. «Вы слышали? Поручик Кляко перебежал к русским! Вместе с Луканом». «Ха-ха-ха! Оставьте меня в покое! Но совершенно ясно, что Лукан получит по морде, это уже точно, черт возьми! Мы старые пражане, пражская кровь, будь я проклят. «Я шагал через границу, помахал рукой девице!»

Какие глупости! Не в этом дело. Русские гонят немцев в шею. Всех разнесут в лепешку! Мать честная, а ведь это похоже на конец войны. А-минь, говорю я вам. Аминь и литр рому. За литр рому я воскрешу и покойного Виттнера. Вот мое последнее слово. У меня же есть коньяк. Пусть краденый, французский — все зависит от точки зрения и от вкуса. Выпьем же за здоровье своих ног. При отступлении всего важнее ноги. Да здравствуют мои ноги!»

От наблюдательного пункта до огневых позиций батареи было немногим больше трех километров. Полчаса ходьбы. Но поручик Кляко, несмотря на свою беззаботность, шел не по открытому полю, а извилистыми тропинками через лес, так что путь занял значительно больше времени. Дорогу он знал — ему довелось пройти по ней трижды, когда просьбы и угрозы по телефону не действовали на каптенармуса. Он говаривал тогда: «Ребята, я иду на батарею, очень интересно послушать, как закудахчет эта гадина каптер. Хочу пересчитать ему зубы». И сейчас он охотно пофантазировал бы на эту тему, но боялся, что не найдет батареи на прежнем месте. Провались она в преисподнюю, но если бы его ждала бутылка рому, он, Кляко, простил бы все и каптеру и всему миру. Лукан уже с ними и, должно быть, рассказал, что произошло. Батарея поставила на нем крест. Пусть. Он будет долго жить.

■

Лукан побоялся явиться на батарею один. Где поручик Кляко? Где молчун Йожко? Что ответить? Он ни на минуту не допускал, что с поручиком может что-нибудь случиться. Он догадывался, что вел себя как трус, но был уверен, что сумеет все объяснить Кляко.

Лукан спрятался в лесу, отделенный от батареи широкой, прорубленной немцами просекой, прямой, будто стрела. Он следил, как по ней отступали немецкие пехотные части. По ту сторону просеки бесновался надпоручик Гайнич. Лукан понял, что тот собирается переместить орудия и стрелять прямой наводкой по каким-то наступающим танкам, но никто его не слушал. Какие танки? Опять надрался? Еще только утро. И Лукан, боясь заснуть, курил сигарету за сигаретой.

Но вот на просеке появился человек. Он осторожно огляделся по сторонам и снова скрылся в чаще.

— Пан поручик!

— Ага! Хочешь схлопотать по морде? Ну, подойди, подойди! — Кляко поджидал Лукана, расставив ноги.

— Пан поручик, я...

— Молчать! Приказываю тебе молчать! Как ты стоишь? То-то! Равнение направо! — И Кляко влепил Лукану две пощечины.— Это тебе привет от обер-лейтенанта Виттнера. Молчать! Ни слова. Конечно, он убит. А наши, как я слышу, еще не отошли. Это Гайнич? Почему он так кричит? Я разуюсь на минутку.— Кляко снял сапоги и выпрямился, заохав от наслаждения.— Ох, ох, как здорово! С ума сойти! Ну-ка, смотри внимательно!

— Пан поручик, прошу вас, не сердитесь на меня. Я...

— Ты свинья! Но плюнь на все. Почему ты не разуешься? Мы отступаем, братец, ноги сейчас поважнее головы.

— Я уже все рассчитал, пан поручик. Если мы будем делать каждый день километров тридцать, в сентябре можем быть дома.

— Дома?

— Дома. А в октябре у меня кончается действительная служба. Через несколько дней...

Кляко шевелил пальцами ног.

— У тебя в октябре кончается действительная служба. А у меня?

— Вы кадровый офицер, у вас...

— Ну, договаривай!

— У вас не кончится. Знаю.

— Видишь теперь, какая ты скотина? Почему я должен бежать домой? Вернусь, а меня опять сюда пошлют. Что же ты убежал? Куда тебя понесло с высотки? У нас уже все могло быть позади.

— Я знаю, пан поручик. Но ведь война кончилась. Совсем кончилась. Мы все домой идем, и вы с нами.

— Хоть бы ты глупостей не болтал. Черт побери, там как-то уж очень тихо. Брось мне этот сапог!.. Так и знал. Теперь я его не надену, будь он проклят! Еще и об этом надо думать. Какой ты денщик, Лукан? Когда ты их смазывал?

— Почем я знаю? И чем смазывать-то?

— Чем? По мне, хоть соплями, но сапоги должны быть мягкие! Такой подлости еще бог не видел. Честное слово, там тихо. Пошли! — Они двинулись по просеке.— Нам бы плакать надо: там Йожко остался... Гнусное создание человек. Быстро все забывает.

Батарея Гайнича была построена. Надпоручик держал в руке часы и прохаживался. Он только что сказал:

— Осталось полминуты на размышление.

— А тут все еще играют в солдатики,— шепнул Кляко.

— Он пьян вдребезги.

— Прошло три минуты. К орудиям! Приготовить батарею к стрельбе прямой наводкой! — Только поручик Кристек, вахмистр Чилина и несколько унтеров вышли из каре. Они направились к орудиям. Солдаты стояли неподвижно. Побагровевший Гайнич бегал вдоль строя.— Я вас перестреляю, негодяи!

— Что это за балаган? — Кляко медленно подошел к Гайничу.

— Не мешайте, пан поручик! Явитесь как положено и... Почему вы покинули НП?

— На НП сидят русские. Если угодно, можешь позвонить им по телефону, они пожелают тебе доброго здоровья.

— Что вы себе позволяете?

— Осел!

— Домой, ребята! Идем домой! — вопил Лукан.

Было восемь часов сорок шесть минут. Каре рассыпалось. Бросая винтовки и каски, батарейцы кинулись в блиндажи за вещевыми мешками. Молчуны, отчаянно ругаясь, разбивали оружие о деревья и о колеса орудий. Они смеялись и плакали от радости. Надпоручик звал своего денщика и не мог дозваться. Один Чилина и поручик Кляко сохраняли здравый рассудок. Вахмистр отвязывал коней и отпускал их на волю, а Кляко держал каптенармуса за глотку.

— Не ври, жирный плут, я тебе рожу разобью!

— Это для пана надпоручика. Не могу!

— Последний раз тебе говорю, сволочь! — Кляко выхватил пистолет и погнал перед собой перепуганного каптенармуса, поддавая ему сзади коленкой.— Пошевеливайся! Пошевеливайся!

В конце концов Кляко отвоевал две поллитровые бутылки какого-то желтоватого немецкого ликера. Это была не грушевая настойка, а что-то другое, вкусом напоминавшее ему Виттнера. Он выпил залпом бутылку и швырнул ее в орудийный щит.

Все уже покинули огневую позицию, когда Кляко последовал за батареей. Сбиться с дороги он не мог — путь показывали брошенные вещевые мешки и штыки. Он догнал батарею в деревне, где они когда-то ночевали, и даже не вспомнил о том, что здесь, на немецком кладбище, лежит Гальшке. В деревне не было ни солдат, ни гражданского населения. Дома горели, где-то громыхали танки.

Следующая деревня горела тоже. Дым стлался по земле. Пьяный Кляко один шагал позади всех. В руках у него была недопитая бутылка. Он ничего не видел, яростно кричал что-то и плакал. Ему слышалось какое-то пение. Он бежал, падал и снова бежал, опустив голову. Он задыхался от дыма. Пахло гарью, словно горело мясо, очень много мяса. А батарея шла быстро. С каждым шагом родина становилась ближе. Из двух тысяч километров десять уже остались позади.

Молчуны шагали во главе и покрикивали на остальных:

— Скорей!

Виктор Шамай плакал.

Где-то впереди громыхали танки.

ПОБЕДОНОСНЫЙ МАРШ

— Да не вздумай нализаться, говорю! Как придешь, дыхнуть заставлю — смотри у меня, коли что учую! Так что крепись лучше! Ну, свищи, свищи, окаянный! Я тебе покажу, как свистеть!

Фарничка стоит на дороге.

— Ну что? Что ты кричишь?

— Я кричу? Добрый день, пан Пастуха. Мужу кой о чем напоминаю. Не сказать, так нахлещется. Последнюю крону спустит.

— Да ведь он не пьет. Я что-то за ним такого не примечал.

— Ничего-то вы не знаете! Месяц назад так напился у этого коротышки Зембала, имечко свое вспомнить не мог.

— Месяц назад, ого! Это с каждым бывает! А куда он пошел?

— Тридцать крон пропил! Тридцать крон. А почем я знаю, куда он пошел? Говорил, что в Правно, там, что ль, карду какую-то вывесили — большущий такой лист бумаги, а на нем все города, и реки, и вся война обозначена.

— Это ты о карте?

— Ну, о карте. А как я могу ему поверить? Он все выдумал, ему лишь бы из дому сбежать. Вот теперь я и гляжу, чтоб он к этому проклятому Зембалу не завернул. Не надо бы его отпускать.

— Не надо. Я поговорить с ним хотел.

— О чем?

— Тебе только скажи. Все выболтаешь, как сорока. Ну... работника моего в солдаты забирают, моего Имриха, если хочешь знать. Пришли ко мне мужа, когда он вернется.

Фарничка от радости и спасибо сказать забыла, даже перестала следить за удаляющейся фигурой мельника. И только, забежав во двор, визгливо крикнула: «Пришлю!» — и исчезла в доме. А Пастуха вперевалку зашагал по деревне, обливаясь потом.

Тем временем Фарник дошел уже до поворота за Планицей. Июльские дожди задержали уборку, и, хотя прошла половина августа, на полях еще виднелось много неубранных копен. На жнитве паслись стаи гусей, при каждой стоял пастушок с хворостиной.

Фарник насвистывал. По пути его обогнал велосипедист, затормозил и окликнул:

— Эй, хочешь подвезу? — Это был Дриня, «человек в канадках».— Подсаживайся! Вперед немного подвинься! Что в Планице нового?

— Что? Гардисты сделали обыск у Лукана. Сам Махонь, уездный начальник.

— Знаю. А еще?

— Еще? Зембалов сын объявил себя немцем и пошел в эсэсовцы.

— И старый Зембал грозится его убить. Знаю.

— Все-то ты знаешь. Прямо министр.

— Ты в Правно?

— Ну да! А говорят, Дриня, ты торгуешь, коровами барышничаешь!

— Правильно говорят.

— Ага!

— Что еще за «ага»?

— Ничего, ничего. Ты хорошо устроился, что верно, то верно. Живешь-поживаешь, на велосипеде паном раскатываешь. Ничего с тобой не поделаешь. Жена называет меня остолопом, и, верно, так оно и есть. Ты выпустил листовку, чтобы парни не ездили в Германию Гитлеру помогать? Выпустил или нет?

— Партия ее выпустила.

— Ладно, партия так партия. Я послушался, отговаривал, да все попусту. Одиннадцать человек из Планицы уехали.

— Жаль.

— Останови! Говорят тебе, останови! Я пешком пойду, не поеду с таким. Почему жаль? Они деньги хорошие домой посылают, а я здесь торчу, приличной работы никак не найдешь, и все из-за тебя. Да что там говорить, тебе-то все равно, сам ты к делу пристроился. Я давным-давно хотел тебе сказать. И уж коли ты подвернулся под руку, все выложу. Ты сам как-то говорил, что торговцы — живодеры. Говорил или нет?

— Говорил.— Дриня тоже пошел пешком, подталкивая велосипед.— Пораскинул бы ты мозгами капельку, сам бы все понял. Жить-то мне чем-нибудь надо? Да не в том дело. Хорошо быть барышником.

— Еще бы! А почему не быть! Один я такой дурак. Моя жена правду говорит.

— Барышник-то за день деревень восемь обойдет, в каждой остановится, и ни у кого никаких подозрений. Найди мне другое такое занятие, и я брошу барышничать. Хоть сегодня. И жизнь тогда у меня спокойная пойдет, не надо будет ничего объяснять, даже ты не станешь на меня коситься. Верно ведь?

— А ты сразу же и на дыбы...

— Не нравится, так найди мне другую работу. Я углежог, ты сам это прекрасно знаешь. Я жег древесный уголь, как его жег мой отец, дед и так до седьмого колена. Углежог будто медведь — целые недели и месяцы проводит в лесу. Там и спит и пищу себе готовит, от всего мира оторван. Удивляюсь, чего только тебе объяснять не приходится.

— Ладно, ладно. А дело-то вовсе не так обстоит, как ты говорил.

— Я не обманываю.

— Да я не о том. Иду сейчас в Правно. Немцы там какую-то карту вывесили. Помнишь, что ты говорил, когда Гитлер напал на Советский Союз?

— Не откажусь, говорил. Но это совсем, совсем другое дело.

— Знаю, знаю. С этой войной, должно быть, промашка какая-то вышла. Почему наши отступают? Я и по деревне-то пройти лишний раз боюсь. Наболтал людям всякой всячины, а теперь... Знаешь, что я им теперь говорю? Товарищи, это большевистская тактика.

— А они что?

— Что? Да ничего. Кажется, не больно мне верить стали. А с чего верить-то? И сам я не верю, и страшно мне делается. А тебе разве не страшно?

— Большевистская тактика? Недурно придумано. Но я считаю, что в этом твоем объяснении кое-чего не хватает. Нужно его обосновать, потому что сами по себе это пустые слова. Тут важны два обстоятельства: первое, война тянется уже четырнадцать месяцев. Подумай только! Французы сдались через три недели. А второе? Зима уже скоро. И оглянуться не успеешь, как все вокруг будет белым-бело от снега.

— Откуда мне все это знать...

— Значит, ты не веришь в победу?

— Твоими бы устами да мед пить! Но я только говорю, что с этой войной какая-то промашка вышла. То ли немцы и взаправду непобедимы, то ли какое-то тайное оружие у них... Кто их знает!

— Опомнись, что ты!

— Не расстраивай меня. В деревне я и виду не подаю. Но с глазу на глаз с тобой я могу говорить обо всем. Можем мы друг дружке все сказать или нет?

— Должны!

— За что же ты на меня нападаешь? Я и в Правно-то боюсь идти, карты этой боюсь. Кто его знает, что они там намалевали? А сходить вроде надо.

— Коль скоро ты собрался...

Они шли уже по окраине Правно. Навстречу им попались марширующие немецкие дети. Их вел учитель, судетский немец Леммер. Дриня долго смотрел им вслед.

— Ну, что глядишь? — грубо одернул его Фарник, сам ясно не понимая, почему он это сделал. Ему хотелось на кого-нибудь закричать, скорее всего на Леммера. Он знал его, потому что немецкие дети ходили через Планицу до Липин и даже дальше, до самой Острой, раза два в неделю, и всегда он их видел. Они маршировали с флажком по деревням под барабанный бой. Это заставляло вспоминать о разделенном городе, грохоте далекой войны, леденило душу Фарника. Он предпочел бы никогда их не видеть. Фарник ненавидел высокого голенастого Леммера так же, как и четыре барабана, в которые барабанили в первой шеренге мальчишки лет четырнадцати, самые высокие, самые сильные, такие же голенастые, как их учитель. Теперь Фарник ясно понял, почему он только что одернул Дриню. И правда, что на них глядеть? Никак нельзя поддаваться, а тут поглядишь на этих мальчишек и духом вроде сразу слабеешь.

Дриня, потихоньку ругаясь, шел дальше.

— Уже и Смольник с ними. Ты его знаешь?

— Нет.

— Он поступил ночным сторожем на лесопилку Притца всего неделю назад, а сын уже марширует с гитлерюгендом. Смольник! Воды не замутит — такой тихоня. И «гутн таг» * сказать не умеет, а тоже в немцы лезет! Покупают немцы людей. Покупают за деньги, за обувь, за вшивый лоскут. Онемечивают людей! Да!.. Келлер, дьявол беззубый, идет! Не гляди на него, еще привяжется. Я его не выношу!

— Добрый день, пан Дрина.

— Добрый день.

— Идешь до Прафно?

— Насчет двух телушек я договорился.

— Естли са два телушка идешь, можешь идти и к карта, бо́льшой карта, красифый карта, там конец война показан. Непременно, ешо этот гот!

— Погляжу. Вот и товарища с собой позвал! Он идти не хотел, политика, мол, меня не интересует. А я ему и говорю: «Пойдем, пойдем, своими глазами все увидишь».

— Латно ты сказаль, очень латно сказаль тфой камарату. Скажи, кто это война победит?

— Не знаю, пан Келлер. Я войну не веду.

— Ты думай, что ты хитрый, ошень хитрый, когда все говоришь, что ты война не ведешь. Смотри, пан Дрина! Ты ошипаешься, а потом для

---

* Guten Tag *(нем.)* — добрый день.

тебя ошень плёхо бутет. Я говорю, ибо я снаю, кто ты был при первый республика, при Пенеш, при этот некодник и свин, что обишаль немец.

— Я что-то не припомню.

— Большевик и партай ф Острая.

Дриня рассмеялся.

— Ты не смейсь, ты смотри.

— Поневоле засмеешься. Ты скажи лучше, Киршнер знает, что ты социал-демократом был?

Келлер с размаху ударил палкой по телеграфному столбу и отошел, раздосадованный.

— Вечно у меня с ним, с этим Иудой, такие стычки. Он подлец. Собственного сына словчился выдать. Лучше его обходить стороной. Он с утра до вечера, как злой дух, бродит по городу и занимается провокациями.

— Чертовские нервы, должно быть, у тебя, Дриня. Опасное у тебя дело.

— Я торгую, и многих это вводит в заблуждение. Правительственный комиссар в Острой написал, что Дриня стал порядочным человеком, частным предпринимателем, бросил политику. В конце бумаги он пишет, что это мое решение заслуживает всяческой похвалы.— И Дриня торжественно процитировал: — «Просьба ко всем официальным лицам оказывать всяческое содействие вышепоименованному и не чинить ему никаких препятствий. На страж!» Вот как! В этом-то вся штука. Какая же опасность? Старик Келлер боится меня. Подлец у меня в руках.

Фарник недовольно пробормотал что-то. Его задело, что Дриня припомнил ему упрек насчет торговли, а он уже забыл об этом.

■

Огромную карту Восточного фронта немцы вывесили на пожарной каланче примерно на высоте второго этажа. Каждое утро озябший аптекарь Седлиц взбирался на пожарную лестницу и передвигал синий шнур к востоку.

Карта висела уже пятый день. Это было огромное белое полотнище с кружками крупных городов, обозначенных черными буквами. По карте расползались голубые извилистые линии больших рек. Внизу в правом углу синело пятно западной половины Каспийского моря, левее — часть Черного с Азовским. Синяя линия фронта напоминала наклоненную курительную трубку. От Ленинграда она убегала на юго-восток, проходила перед Москвой, за Орлом, через город Воронеж к излучине Дона перед Сталинградом. Оттуда она сворачивала на юг, касалась Моздока и потом бежала на запад к Новороссийску. Из Моздока вырастала кроваво-красная стрела с надписью у острия: «Baku — Indien» *. Две такие же стрелы выбегали из Воронежа. Одна из них, изогнутая, устремлялась к Москве, словно собираясь ее проткнуть. Другая шла напрямик, у ее острия было написано: «Ural — Sibirien» **.

У карты толпился народ из окрестных деревень. Всякий, кому по делам приходилось быть в Правно, сворачивал сюда и молча глядел на белое полотнище с кроваво-красными стрелами. Стрелы были видны издалека, дразнили воображение, увлекая его в отдаленные края света... Их ярко освещало солнце, и они превращались в кровь, в человеческую кровь, а далекие края вдруг оказывались совсем рядом, рукой подать. Зрителям казалось, что кто-то касается их холодными пальцами, беспрестанно проводит ладонью по плечам, по темени и спине, и тогда по коже

---

* Баку — Индия *(нем.)*.

** Урал — Сибирь *(нем.)*.

пробегают мурашки, волоски на ней становятся дыбом, лицо мертвеет от только что пережитой боли.

Квадратная площадь в Правно похожа на гигантский зал ожидания без окон и крыши. Похожа она и на конюшню, там и сейчас стоят запряженные лошади, но уже без хозяев; нет здесь и жен, в обязанность которых входит караулить покинутые упряжки. Поэтому квадратная площадь похожа и на пустой зал ожидания. Она обезлюдела, а тесное пространство перед пожарной каланчой — это приемная горя, бесконечно затянувшегося горя, ибо карта — это не карта, а разверстая могила, и ее, с милостивого разрешения пана Киршнера, освещает солнце. Люди стоят перед разверстой могилой и переживают весь предстоящий неизбежный обряд. Здесь нельзя говорить громко, лучше совсем ничего не говорить. И потому все молчат. Это единственная возможность поговорить с покойником. Покойники любят тишину, любят то, что сливается с тишиной,— шелест листьев, тонкое посвистывание ветра и шепот живых. Эти звуки не мешают покойнику, не будят воспоминаний, они уместны над открытой могилой.

— Конец. России пришел конец,— шепчет на ухо один старик другому.

Тот кивает в ответ. Четырежды кивает и стоит, опустив голову. Потом он хватает за рукав первого, сердито дергает и шепчет:

— Уходи, Игнац! Скорей уходи, Игнац!

— Иду. — И оба уходят из приемной горя. Другие пока остаются.

Дриня видит морщинистую шею и седой затылок, слышит сухой шепот:

— Конец. России пришел конец.

«Как можно произносить эти слова без содрогания? Синий шнур похож на изогнутую курительную трубку. Между Ленинградом и Москвой, в оккупированную немцами территорию глубоко врезался советский полуостров со своими берегами и границами, и синяя полоска вынуждена обходить его, вынуждена растягиваться на пять метров по белому полотнищу, набитому на доску, и непонятно, почему никто в это не вдумывается. Люди не видят этого длинного синего шнура, у них нет глаз, а если они и есть, то в испуге прикованы к кроваво-красным стрелам и надписям: «Baku — Indien», «Ural — Sibirien». Пять метров на такой карте — это две тысячи километров фронта. Опомнитесь же, люди добрые, отведите глаза от стрел и получше присмотритесь к карте Киршнера, к синему шнуру, что протянулся на таком огромном пространстве. Это сила гитлеровских армий, разлившихся по русской стране, как вода по правненской площади, на которой вы стоите. Я мало что знаю о давлении, я угольщик, жег древесный уголь, но об этом мне кое-что известно. Всякое мыслящее существо понимает, что чем выше и у́же сосуд с водой, тем больше в нем давление воды. А если вода широко разольется во все стороны, то потеряет свою силу, застоится и загниет. Столько-то я знаю, потому что я углежог, и в куче дров есть тоже свое давление. И пока я дышу, пока в силах ходить, думать и двигать пальцами, я не приду в отчаяние и не поддамся страху. Он ползет за мной по пятам, словно тень, и подстерегает каждое колебание в моих мыслях, всякое малодушие. Страх ждет моего одиночества. И он льнет ко мне. Я физически ощущаю его, как живое существо, и тогда я стараюсь вообразить, что я не одинок, что меня окружают шумные толпы людей, вокруг звенит тишина, и я вслушиваюсь в нее. Сначала шум ее непонятен. Но вскоре в нем начинают выделяться звуки, похожие на стоны и жалобы, слова, полные отчаяния и горя, и тогда я вступаю в спор с плачущими, разочарованными детьми человеческими, говорю им правду об этой войне и о непобедимости коммунистических идей и Красной Армии. «Baku —

Indien», «Ural — Sibirien». Пан Киршнер, это трюк, это обыкновенный психологический террор, как вчера очень хорошо объяснил мне учитель Кляко из Липин. Я и сам подозревал нечто подобное, но не сумел назвать правильно. А всякое дело получает то название, какого оно заслуживает. Трюк, пан Киршнер, психологический террор. Когда вчера учитель Кляко сказал мне об этом, я готов был его расцеловать. Эта истина настолько меня обрадовала, что я даже плохо спал. А может, и совсем не спал, не знаю. Теперь я готов с кем угодно вступить в драку и кому угодно доказывать эту истину. Я не зря не спал ночь, пан Киршнер. Вы боитесь, страх наступает на вас со всех сторон. Вы сами лучше всех знаете, что война идет пятнадцатый месяц, и гитлеровские дивизии ждет вторая русская зима. Вашей жене придется организовать новую Winterhilfe. А от Москвы вы дальше, чем были в это же время в прошлом году. Но пока ваша фантазия служит вам надежно, приносит вам пользу. И желание поглотить весь мир у вас еще не пропало. Три кроваво-красные стрелы с надписями должны обеспечить вам спокойный сон, они должны внушить людям неверие в торжество правды, навеять предчувствие безвременной гибели близких, которых они ждут, которых они любят. О ком идет речь, вы, как и я, хорошо знаете. Мы не должны, пан Киршнер, играть в прятки, открыто скажем себе, как обстоит дело. Как обстоят дела вокруг нас и что чувствуют окружающие нас люди. Вы разделили этот город на две части и овладели умами немцев. Многих из них вы привлекли на свою сторону, а вместе с ними и тех, кто вас боится. Своей безграничной гордыней вы восстановили против себя словаков. Более того, вы сплотили их. Я говорю о народе в Правно и в окрестных деревнях, о простых людях. Я не думаю о десятке тех, кто вам прислуживает, или о тех, кто еще открыто не служит вам, но охотно станет это делать, если убедится, что настало его время, или если вы сами его пригласите. Такие люди меня не интересуют. Я думаю о тех, кто стоит здесь и сокрушенно смотрит на вашу карту и на три кроваво-красные стрелы, которые нагоняют страх. Здесь никто не разговаривает, никто не кричит, здесь царит торжественная тишина. Приходите послушать ее. И если бы вы на миг отбросили свое презрение и просто пришли сюда, вы, вероятно, поняли бы эту тишину и горе нашего народа. Приходите, пан Киршнер, и прислушайтесь, если у вас хватит смелости. Я слушаю и все понимаю. Я горжусь этой убитой горем толпой, у которой сердце исходит кровью, оно стонет от боли, а смятенный ум не находит выхода. Эта карта — разверстая могила. Но вы забыли, что над разверстой могилой познается истинная ценность жизни. Будь вы моим другом, я пришел бы к вам и посоветовал бы, пока не поздно, снять эту карту. Ибо эта карта — роковая ошибка, допущенная вами, пан Киршнер».

■

— Конец. России пришел конец,— услыхал Фарник сухой шепот и увидел склоненную голову старика, его ухо, из которого торчал клок седых волосков. Увидел он и другого старика. Потом оба ушли, шепча что-то, чего Фарник уже не слышал. Он не жалел об этом. В шепоте не могло быть ничего ободряющего. Зачем он сюда приходил? Словно предчувствуя беду, он вернулся было домой с полпути. Если бы не Дриня, он сидел бы дома, не стоял бы здесь. Что теперь? И Дриня смотрит на карту, он серьезен и бог весть о чем сейчас думает. «Зачем думать? Как? Все разлиновано и катится у них словно по расписанию. У кого? И спрашивать не надо. У немцев. Indien — по-словацки Индия. Ведь немцы объявили, что в Индию они промаршируют напрямик через Советский Союз. Серьезного сопротивления они не ждут. Промаршировать — и все! Прочь с дороги, идем мы, новые хозяева мира! Не попадайся под ноги!

Мы маршируем, и голенастый Леммер бьет в барабан. Собака! Сибирь? За ней нет ничего, кроме океана. Вода! Сибирь — край света, а на краю света ничего не может быть. Только ужасный холод. И все. Да еще дикие звери. Медведи! Что теперь? Как? И Дриня, серьезный такой, задумался. Что-то будет? Фашизм — это рабство, террор. В Чехии застрелили какого-то крупного фашиста. В Праге. И теперь фашисты беснуются, как говорят люди, что убежали с сезонных работ. Каждую ночь гестаповцы расклеивают на стенах домов длинные списки, и чехи, когда утром идут на работу, читают их. Прочтет там какой-нибудь чех имя своего расстрелянного друга и спросит себя, когда дойдет очередь и до него. С нами, словаками, фашисты пока церемонятся. Дружба, мол! А нам плевать на это! Вот дойдут они до Индии и перестанут с нами церемониться. Получим мы тогда под зад коленкой. И как следует! Попадем прямо в покойницкую! Леммер? Собака! Киршнер? И того хуже! А где же знаменитый немецкий пролетариат? Дриня говорит, что его перестреляли. Всех? А что же с мировым пролетариатом? Нет, враки! Вот оно что. С этой войной какая-то промашка вышла. Что станется с нами? Что станется с нами, если не будет Советского Союза? С беднотой в Планице, в Липинах и вообще с беднотой? Капитал силен, он стоит и за Гитлером. Кому же теперь верить? Кому я поверю, если на востоке все раздавят танки? Не Дрине, нет, он сказал неправду: через месяц, мол, здесь будут наши, готовьте красные знамена. Дриня правды нам не говорит, он все попусту болтает, а война — не игрушка. Капитал — он сильный. Верить себе? Верить себе смешно. И что я отвечу, если меня спросят в Планице, видел ли я карту? Что? К дьяволу! С этой войной и вправду вышла промашка! Разве не знают об этом в Москве? Разве нет в Москве такой карты, где обозначен фронт? Она есть в Правно, значит, она должна быть и в Москве. Нужно призвать на помощь пролетариат. Я тоже пролетариат. А что я скажу другим? Карта! Голенастый Леммер — собака! Он марширует через Планицу и бьет в барабан. Не следовало мне приходить сюда, нужно было вернуться. Леммер — собака. Но все равно я услышал бы его в деревне — смерть ходит за человеком и бьет в барабан. По Планице шагает голенастый Леммер, а здесь нарисованы три кровавые стрелы. От них нигде не спрячешься, никуда не убежишь. Будет так, как в Праге. Списки на заборах и стенах, когда немчура дойдет до Индии. Как в Праге, где застрелили какого-то негодяя фашиста. А Дриня еще и улыбается. Он улыбается! И что это за человек! Не говорит он правды. Капитал силен, а Леммер — голенастая собака. Почему улыбается Дриня? До смеха ли сейчас? Он ослеп или опять что-нибудь придумывает. Что тут можно придумать? Один обман, враки, как в тот раз, когда он сказал, что наши будут здесь с минуты на минуту и надо готовить знамена... Капитал силен...»

— Смотришь красивый карта? Красивый карта.— Келлер воткнул палку между двух камней и оперся на нее.

— Не великовата? Как ты думаешь?

— Ты смотри фнимательно!

— А я что делаю? И эта синяя линия слишком длинна. Пять метров.

— Ты смотри фнимательно, ты отно думаешь, другой гофоришь. Ты думаешь, я ничего не видель? Я не говорю на ветер, и тепе будет плёхо. Видишь там: «Baku — Indien»?

— Когда вы собираетесь там быть?

— В Индии непременно будем прийти этот год.

— Горы! Кавказ! Как вы туда придете «непременно» в этом году?

— Не змейся! Смотри фнимательно! Кауказ пустяк. Мы имеем горский егерь. Это зольдат в шапка и розочка на шапка. Ты будешь видеть еще этот год, как горский егерь переходиль Кауказ. Или ты не вериль? Скажи, что ты не вериль!

Пятый день наблюдал Киршнер в высокое окно своего кабинета молчаливую толпу. Если бы фюрер был вездесущ и видел Киршнера в этой позе, он не предъявил бы к нему никаких претензий. Разумом и сердцем предан Киршнер рейху, работает на него и сейчас, хотя кое-кто и станет отрицать это. Для великих задач человек должен созреть, как созревает плод на дереве. И мелкий ручеек должен созреть, чтобы стать большой рекой, принять в себя все притоки и достойно влиться в море. Все созревает, в том числе и нация, и так как нацию составляют отдельные люди, прежде всего должны созреть они. Да, Киршнер в эти дни многое понял. Возможно, это жило в нем и прежде, давным-давно, но проявилось только теперь. А завтра это уже будет жизненно важно, как воздух и вода. Речь идет не о нем, Киршнере, он знает. Речь идет не о личной славе; личная слава — мелочь. Важна цель. Важна цель и затем человек, который ее увидел и сумеет ее достигнуть. То, что таким человеком будет, например, Киршнер — дело случая, и не на этом основывается Киршнер. Правда, работать здесь трудно, очень трудно, и если он вообще чем-нибудь гордится, так только тем, что никому не пожаловался, а ведь мог бы. «Вещи вблизи выглядят совсем иначе, чем издали. Этого вполне достаточно для моего поля деятельности. И хотя это звучит чуждо, непривычно, речь идет об утверждении немецкого духа, самосознания немцев здесь, в Правно, на данном историческом этапе. Немцы тоже как-то — что вполне естественно — подвержены влиянию окружающей среды и внешним воздействиям. Нет, тут что-то не так. Пассивная масса, говорящая по-немецки, находится здесь под влиянием окружающей среды и внешних воздействий. Этой массе нужно привить немецкое самосознание, она должна созреть, как созрел я, Киршнер, только тогда она выполнит свою историческую миссию. Здесь было восемь случаев дезертирства. Поймали же только одного молодого Келлера. А часть более пожилых немцев слишком отравлена еврейско-большевистской демагогией, которая пустила здесь глубокие корни. Она уцелела и существует по сей день. Совсем непонятно, на чем она держится, как непонятно то, что до сих пор не пала Москва и на московском фронте не происходит никаких исключительных событий. Это... это... да, это странно. И вообще... да, это странно. И даже слегка удивляет. Почему упорствуют Москва и осажденный Ленинград?» И Киршнер смотрит на штору. Узор на шторе похож на липовые листочки, размещенные попарно. Два и два вместе. Киршнер трогает узор пальцем, потом хватает штору и вслух пересчитывает пары листьев сверху вниз. «Одиннадцать пар. А война тянется четырнадцать месяцев. Да, несколько непонятно. Прошло уже четырнадцать месяцев. На шторе одиннадцать пар, одна над другой, двадцать два листика, двадцать два месяца,— нет, это невозможно, немыслимо, абсурдно и потому исключено! Раз это абсурдно, то есть противоречит разуму, значит, этого не может быть. Произойдет то, что должно произойти, и три кроваво-красные стрелы говорят об этом достаточно выразительно. Окружение Москвы, походы на Baku — Indien и на Ural — Sibirien осуществятся. Все это должно осуществиться, все это хорошо и полезно для торжества немецкой нации, и потому все так и будет».

Киршнер смотрит на молчаливую толпу и многое начинает понимать. Уже пятый день висит на каланче белая карта. Она не примелькалась. Аптекарь Седлиц делает свое дело на совесть. При первой же возможности Киршнер похвалит его. Люди это любят. «Три стрелы должны быть далеко видны, пан Седлиц. Обратите особое внимание на это, они решат будущее нового порядка в мире». Седлиц сделал стрелы ярко-красными, кровавыми. Он удачно выбрал цвет, ибо новый порядок нель-

зя насаждать без крови. Новый порядок родился, он здесь, он будет установлен во всем мире; бесформенная немецкая масса чувствует его, он проникает в глубины ее сознания, как проникает и во вражеские головы. Враги нового порядка неохотно склоняют голову, но воспринимают нашу победу как непреложный факт. Нехотя, против воли, и пока не скрывают своего горя. До недавнего времени Киршнер думал, что существует разница между еврейским большевизмом и славянством, хотя и незначительная, незаметная, и потому он не осмеливался объединять их. Но, должно быть, он ошибался, как ошибались многие до него. Не раз уже подчеркивалось, что в славянской душе трудно разобраться, и трудность эту часто недооценивали, и, может быть, именно поэтому в прошлом году, в декабре, возникли некоторые неприятности на Центральном фронте, на подступах к Москве. Правда, это чисто военный вопрос, не ему, Киршнеру, судить об этом. Лишь бы провидение хранило фюрера в добром здравии. Его гений даст ходу истории то направление, которого заслуживает немецкое начало. Фюрер и провидение за немцев. Уже эти два факта сами по себе обеспечивают нам моральное превосходство над всеми врагами. Враги бывают тайные и явные, и лишь карта, появившаяся в Правно, заставит врагов перестать упорствовать в своей ошибке. Армии фюрера громят на востоке государство красных, они ликвидируют его создателей, и все это раскрывает карта, на ней обозначены перспективы этой титанической борьбы; и вот здешние немцы приходят к пожарной каланче и, вместо проявления благодарности и понимания жертв, которые приносит германская нация, часами стоят перед окнами Киршнера, молчат и горюют. Да, он многое понял теперь, очень многое. Нет никакой разницы между славянской стихией и еврейским большевизмом. Славяне — те же большевики и евреи, только в иной личине; не может быть никаких сомнений в том, как нужно к ним относиться. Хорошо, что он уяснил себе это, очень хорошо, а завтра или послезавтра пусть поймут то же самое все немцы, ибо им это необходимо. Как вода и как воздух. Эта страна, по существу, принадлежит немцам, и, если это еще не совсем так, необходимо сделать ее окончательно немецкой, чтобы в будущем здесь не было никаких признаков чуждых влияний.

Киршнер резким жестом отдернул штору, распахнул двойную раму и высунулся из окна. Со второго этажа была хорошо видна вся площадь. Справа высилась каланча, и перед ней толпа сливалась в одно серое пятно, в котором нельзя было различить отдельных людей. Чтобы различить отдельных людей, необходимо потратить некоторое время, требуется известная сосредоточенность, ну а эти люди не заслуживают такой сосредоточенности. Да и времени на это нет. Да и не нужно, это может сбить с толку, привести к непоследовательности, к новым ошибкам. А словаки все на одно лицо, без различия пола и возраста. Да, он, Киршнер, многое понял в последние дни, очень многое. Ничего не значит, все ли они собрались здесь или только тысячная их часть. И тех, кто еще не решился прийти сюда, или не придет вовсе, или придет, отбросив свое горе, оставив молчаливое упорство, и начнет рассыпаться в благодарностях, твердить, что все понял, он, Киршнер, заранее раскусил — это и есть ловкачи и хитрецы, куда более опасные, чем те, что стоят сейчас перед картой и продолжают удрученно молчать. Уже никто не может изменить судьбу немецкой расы, а они меньше всего. Они должны уступить место живым, новой силе, которая возвысит весь мир. Они пока еще дышат, еще ходят и поют, они еще делают все, что должно делать живое существо, и вполне возможно, что тем самым обманываются и только потому не впадают в отчаяние. И все-таки они, сами того не зная, уже безнадежно мертвы. Они поймут это в назначенный срок.

— Хайль Гитлер!

Перед ратушей стоял старый Келлер. Киршнер кивнул ему. И старый Келлер, довольный, ушел, постукивая чеканом. Киршнер закрыл окно и задернул штору, на которой одна над другой красовались одиннадцать пар липовых листиков.

■

У Махоня было меньше времени, чем у Киршнера. Ему было недосуг смотреть в окно или торчать перед каланчой. Он мог только выйти за дверь, постоять там и вернуться в магазин. Бледная болезненная жена сидела за кассой; она то принимала деньги, то грызла сухари, но с лица ее не сходила застывшая улыбка.

— Старый Келлер совсем из ума выжил,— сказал приказчик.

— Подай мне лесенку! Подай и перестань болтать!

— Не видишь? Опять по площади бродит.

— Пан Махонь! Значит, я зайду завтра за селедками.

— Завтра они будут.

— Ну, так я зайду. До свиданья.

Махонь не попрощался с покупателем. Не отрывая глаз от каланчи, он покосился на дверь, чтобы запомнить, кто это был. Карту он знал уже на память. Названия городов прочитать он не мог, но прекрасно видел извилистые реки, голубые моря, три кроваво-красные стрелы с надписями и синюю линию Восточного фронта. На этой карте была изображена беспредельная равнина Советского Союза. Там грохотала война, горели города и леса, там ежедневно умирали тысячи людей. Махонь хорошо изучил карту. Но он не понимал себя, не мог разобраться в собственной душе. Он не был насильником, насильников он презирал. Когда пришел брат и сказал, что придется взять себе оптовую торговлю Гекша, Махонь ответил: «Нет, этого я не сделаю! Это будет насилием! Отойди от меня с миром, брат мой!» «Аминь! Ты спятил!» — ответил брат, ушел, а затем прислал к нему Гекша. «Что я слышу? Пан Махонь, пан Махонь! Что я слышу! Вы не хотите взять себе мое дело, сказал ваш брат. Это правда?» Махонь долго не отвечал, глядя на еврея, умоляюще сложившего руки; наконец он решился и неуверенно спросил: «А это не будет насилием? Мое — это мое, ваше — это ваше, пан Гекш. Разве не верна эта заповедь?» — «Нет, пан Махонь. Для евреев она не существует».— «Но при чем же тут я?» — «И вы еще спрашиваете, пан Махонь. Если бы вы были евреем и не имели бы права выставить свою фамилию на фирменной вывеске, вы тоже стали бы искать, кому передать в опеку, кому доверить свое достояние. И вы среди честных людей выбрали бы самого честного. Пан Махонь, опомнитесь!» Но Махонь долго не мог опомниться. Что-то похожее на благодарность гнездилось в его сухом, длинном теле, потому что он чем-то отличался от прочих людей и жил в мире со всеми. Может быть, это было ощущение счастья. Уже мальчиком он любил псалмы. Когда на хорах пели и звучал орган, он благоговейно слушал музыку и чувствовал себя так же, как после визита доброго пана Гекша.

Нет, пришлось поверить брату. Предложение пана Гекша должно было стать наградой за скромную жизнь, которую Махонь посвятил богу и выполнению своего долга. С этой минуты Махонь больше ничему не удивлялся, ибо пришло то, что должно было прийти как проявление справедливости божеской и человеческой. Существование и той и другой подтверждалось визитом пана Гекша и его словами. И Махонь отправился к Гекшу. Черные глаза горели на его широком лице, но он шел по улицам города, склонив голову смиреннее, чем когда-либо. Он был более внимателен, чем обычно, к людям, которые попадались ему навстречу. Он торжественно здоровался с ними. Гекшу он сообщил, что берет себе

лавку, ибо не отяготит этим своей совести. Он попытается вести торговлю, как свою собственную, и в самом деле вернет ее, когда позволят обстоятельства, когда опять вступит в силу заповедь: «Мое — это мое, а ваше — это ваше».

Он заверил Гекша в своей благодарности и пошел еще дальше, стараясь отблагодарить его. В конце концов, он был счастлив, хотя бы уже потому, что видел: поступки его соответствуют словам и обещаниям. Доброму Гекшу пришлось до поры до времени удалиться от мира, уйти в заточение, скрыться от всех. кроме Махоня и его доброй жены. Гекш превратился в тайну, известную лишь троим и четвертому — богу. И жалость, безграничная жалость терзала Махоня при мысли, что пан Гекш пребывает один на один с самим собой в вечном мраке подвала, куда не может проникнуть и не проникает ни единый луч солнца. А Гекш такой старый человек! Он зависит от него, Махоня, и от его жены, как новорожденный ребенок от материнской груди. Как это трогательно, как это красиво, что бог избрал его, именно его, Махоня, и он должен хранить старика от треволнений, служить ему во всякое время и во всем, даже в том, что людям представляется низким и отвратительным. Но, Иисусе сладчайший, разве не омывали добродетельные еврейские женщины ноги простых путников, когда те входили в дом? Это он понимал и не раз возвращался к этому в мыслях, и всякий раз находил в своих поступках что-нибудь новое, прекрасное, так что мог любоваться собой и играть своими чувствами с таким же восторгом, с каким девочка играет с куклой.

Тщетно где-то грохотали орудия, пылали города и леса, тщетно ежечасно где-то умирали тысячи людей, ничто до него не доходило. Он не воспринимал действительности, в которой жил, не замечал, что город разделен на две части. И сам город был далек от него. А когда надо было выйти из дому и что-нибудь доходило до его ушей, он высокомерно проходил мимо и молился еще горячей о прощении чужих грехов, нетерпимости, ненависти, убийств, которые терзали человечество, как осенний дождь деревья. Да, вокруг был злой, грешный мир, и понадобится еще много таких, как он, Махонь, чтобы бог перестал испытывать это поколение, одно из самых неблагодарных и самых непонятных.

И тут Киршнер распорядился вывесить на каланче карту, на которой были изображены реки, моря, пылающие города и протянулась синяя линия — линия фронта, похожая на наклоненную курительную трубку. Гекш напрасно ждет в темнице! Немцы скоро завладеют всем миром! От этого Махонь пришел в смятение, мысли его сбились, словно поезд, сошедший с рельсов. Значит, пошли прахом его труды и заботы, они утратили всякий смысл, а бессмыслица никому не приходится по вкусу, даже господу богу. Махонь боялся глубже копнуть в своей душе, опасаясь, что откроется нечто, противоречащее его правде, и все полетит кувырком. Он страшился стен, земли, по которой ходил, боялся солнца и воздуха, которым дышал, потому что все это было тесно связано с Гекшем. Они могли донести до изгнанника весть, что он, Махонь, мысленно предает его. Трудно было поверить, как быстро и опасно меняются и оживают бездушные вещи, как умеют они грозить и нагонять страх.

Карта висит на каланче, а Гекш ничего о ней не знает, не может знать о том, что немцы готовятся в поход на Индию, через Урал — на Сибирь и оттуда намерены переправиться на американский континент. Он, Махонь, ничего не сказал старику и уже пятый день посылает к нему свою больную жену. В его, Махоня, власти лестница в подвал, железные двери и самое главное — отвратительный старик с колючими блестящими глазами, терпеливо, хотя и напрасно ожидающий во мраке того, что никогда не наступит. Никогда старику не увидеть ни квадратной площа-

ди, ни своего дома, не пройдется он по комнатам, по каменным ступеням, сбитым человеческими ногами. Все для него погибло. И бог отвратил от него лицо свое, как отвратил от всех евреев, дабы снова напомнить им о божьем сыне, которого они распяли. Гекшу не на что надеяться. Его имущество переписано на имя Махоня, и так оно будет во веки веков.

Эта мысль, неслыханно новая, настолько волновала Махоня, что временами он выходил из магазина, желая убедиться, что карта все еще висит на своем месте, что она ему не привиделась, что все, возникшее в его душе, истинно и неизменно. Черные глаза горели на его широком лице.

В толпе перед пожарной каланчой толкался и старый Мюних. Он искал на карте город, где должен быть его сын, этот выродок, а когда не нашел, с болью в сердце отправился в трактир к Домину.

А однажды, когда стемнело и наступила глубокая ночь, у карты остановился одинокий прохожий в очках, в шляпе, надвинутой на глаза. Руки он держал в карманах. Вдоволь наглядевшись на карту, он выругался и твердым шагом свернул в узкую улицу. Голос его был точь-в-точь такой, как у Ремеша, по прозвищу Атаман.

БАРАБАНЫ

Фарник вернулся домой. С Дриней он расстался в городе.

— Наконец-то явился! Ты и на страшный суд опоздаешь! Иди-ка скорей к Пастухе. Он хочет с тобой поговорить — батрака-то его в армию забирают. Не пропустил ли стаканчик? Дохни, дохни на меня. —И Фарничка уже сунулась к мужу, но тот замахнулся, сердито поглядев на нее.— Ах, ты драться? Ну, знаешь ли! — Фарничка успокоилась, не учуяв запаха паленки.— Сбегай к нему! Только смотри не продешеви! Все нынче дорого — война, не забудь. И девчонка у тебя на выданье. Что зятю-то дашь?

— Какому еще зятю? — растерянно переспросил обомлевший Фарник, словно его обухом по голове ударили.

— Ну, зятю. Когда-нибудь ведь выйдет дочка-то замуж, вековухой не останется. Пятнадцать лет ей, годика через два, глядишь, и под венец пойдет, об этом теперь уже пора думать. И дом надо побелить, крышу залатать, а ты не больно-то обо всем этом думаешь. Пьяница! Тебе лишь бы паленки побольше было, вот что!

Зря, все зря она говорит. Пронзительный голос жены впивался в голову Фарника раскаленной иглой и еще вертелся в ней, как бурав. Столько лет прошло, а он никак не привыкнет к этому голосу. Зря, все зря она говорит. Но так тому и быть — не развенчаешься ведь теперь. Пастуха звал? Вот так новость! Фарник встал. Он был голоден, но не попросил жену накормить его. Пастуха звал? Вот так новость!

Жена вышла за ним на улицу. Фарники ничего не скрывали. И тут же вся деревня узнала, что Фарник, нанимаясь к Пастухе, не должен продешевить, потому что сейчас все вздорожало, потом о пятнадцатилетней дочери, о доме и прохудившейся крыше. Разговор обо всем этом разносился по дворам, проникал через стены в планицкие дома, а остатки его поглотило журчанье речки, заросшей по берегам ольшаником.

Фарничка так и осталась победоносно стоять посреди дороги, как статуя... Муж шагал по деревне к каменному дому. Фарничка видела этот дом и трехэтажную мельницу позади него. Вот уж никогда ей в голову не приходило, что она с таким удовольствием будет глядеть на эти здания.

— Добрый день!

Пастуха, не оглядываясь, погрозил Фарнику пальцем. Он сидел на стуле у запруды и смотрел в клокочущую прозрачную воду.

Фарник осторожно приблизился к нему.

— Молчи и гляди хорошенько! — прошипел мельник.

Запруда была открыта. Зеленоватая вода, бурля, скользила по бетонному стоку, кружилась воронками, била, словно ключом, со дна, разливалась широким кругом и убегала меж высоких берегов.

Над водой повисла туча мошкары. Солнечные лучи, прорвавшись сквозь листву старых ольховых зарослей, падали на пруд. Там, где легли тени, вода была более темной. В лучах солнца мошкара превращалась в серебристый пух. В тени же мошкара оставалась мошкарой.

Из воды выпрыгнула форель. Рыбка блеснула полумесяцем в воздухе и шлепнулась в пруд.

Пастуха и Фарник переглянулись. Пастуха первый поглядел на Фарника, приподнял брови, выставил вперед подбородок.

— Молчи, знай, гляди только!

По стоку скользнул желтый лист вербы.

Рой мошкары неутомимо кружил в жарком воздухе, усыпляюще звеня, веки слипались, дыхание стихало. В шуме падающей воды что-то тонко, предостерегающе звенело. Громче всего этот звук слышался над водопадом в белом тумане водяных брызг. То ли это пел неутомимый рой мошкары, то ли ветер в ветвях старых деревьев. Но он присутствовал всюду, как солнышко.

Он не мешал тишине.

Не мешали ей и два человеческих лица. Одно смуглое, с грубыми чертами. Губы, брови, полуоткрытый рот, черный, давно не бритый подбородок. Лицо ничего не понимающего человека, терпеливого, готового молча в этом затерянном уголке мира ждать неизвестно чего.

Второе — большое и круглое — блестит от пота. Этот человек все понимает, здесь для него нет тайн. Он всей душой и телом отдается тому, что видит над запрудой, ни в чем не сомневается, для него понятен тонюсенький звук, который предостерегающе доносится отовсюду, и вода, скользящая и бурливая, и рои мошкары, и старый ольшаник. Но вместе с тем он боится и потому приказал смуглому глядеть и молчать. Он боится, что его оторвут от запруды, и после этого вся картина замутится, словно глаза больного.

Круги бегут по воде.

Круги расходятся к берегам, тонюсенький звук звенит все так же. Он звенит почти как свист. Его еле-еле слышно. Но он присутствует всюду.

— А-а-а! — зевнул Пастуха.— Все это мое, Фарник,— показал он на зеленоватую воду.— Вот так вот, ни о чем не думать, глядеть и глядеть. Это все мое.

Фарник сидел на корточках. Ноги у него затекли и начали болеть. Он сел на траву. Бросил в воду сухую былинку.

— Рыба выпрыгнула и сожрала мошку. Глупые они, если позволяют себя так жрать,— задумчиво произнес Пастуха.

— Природа.

— Почему же они повыше не летают? Места там много. Будь я мошкой, только бы меня и видели! Лишь бы от воды подальше! Я бы летал высоко-высоко!

— Вас бы птицы сожрали! Ам — и нет вас.

— Вишь ты! — Пастуха озадаченно посмотрел на Фарника.— Плохо мошкаре, всякий сожрать норовит. И правильно, мелкота и есть. Рыбы тоже жить хотят, ну и пускай мошкару жрут. А-а-а, такой рыбе лучше, чем мошке, да-да. Так?

— Конечно.— Фарник начал сомневаться в словах жены, в наказе Пастухи.

— Жарища! — Пастуха вытер лоб.

— Истинно так. Парит.

— Парит? — переспросил Пастуха и посмотрел на небо. Это был новый повод для ленивых размышлений.— Небо чистое. Но вот пятнышко какое-то там выплыло, глядишь — тучкой стало. Ветер подул и изволь — радуйся! Вдруг дождь собрался и полил.

Фарник обнял поджатые колени и положил на них подбородок.

— Ну, так, значит, ты пришел.

— Жена мне говорила.

— А-а-а, я ей наказывал. Она говорила, ты был в городе. Карту видал?

— Видал.

— Что же ты о ней скажешь?

— Да ничего.— Фарник пожал плечами и вытянул ноги.

— Немцы своих коммунистов в порошок стерли, что верно, то верно, а войну-то все-таки проиграют. Проиграют, это я говорю! Америка, Фарник, свернет шею Гитлеру, а не твои Советы! Попомни мои слова! И даже на это ты ничего не скажешь?

— Ничего.

— Трудно с тобой говорить. Что-то скребет у тебя на душе, кусает тебя, будто эта мошкара. А ты знаешь, что мой батрак в армию уходит?

— Знаю.

— В прошлом году я ему отсрочку схлопотал, комиссия посговорчивей была. А нынче — словно смерть, неуступчива стала. Война сейчас, Имрих для такого дела парень подходящий. Войне мужчины нужны. И будь их столько, как этих мошек, все мало будет. Так вот, Пастуха, говорю я себе, война и тебя не обошла. Имрих был парень неотесанный, дубина, словом, я сделал его человеком, а теперь забрали его. Кого на его место взять? Ага, да тут Фарник есть, болтается по свету, в конях он кое-что смыслит.

— Смыслю.

— Ну, я тебя знаю. Так что ты скажешь?

— Попробую.

— Правильно.

— Договоримся, должно быть.

— Вот-вот! Это по-моему — договориться! Всякий знать должен, что и как. Пошли в комнату. Не все сидеть тут, около рыбы.

Пастуха поднялся и зашагал впереди Фарника к каменному дому. А когда Фарник с ним поравнялся, Пастуха долго приглядывался к нему. Глядел-глядел, потом сказал:

— А стул ты мне не принесешь?

Фарника это удивило, но он сбегал к запруде. Ему ли договариваться о чем бы то ни было с Пастухой? Он только слушал.

Хорошо знал Фарник, что не мед это будет, но хоть по свету больше болтаться не придется. Так оно и вышло. Он покинул каменный дом почти довольный и беззаботно зашагал по деревне.

Уборка урожая давалась не легко. Ячмень у Фарника лежал уже в амбаре. Пшеница оставалась в поле. Разика два обернуться с коровами, и все будет убрано. У Лукана тоже пшеница в поле лежит. Две коровы — Лукана и его, Фарника,— за день все вывезут. Больше и помощи никакой не потребуется. У Лукана и так работы на дороге по горло, а сам Фарник с завтрашнего дня молотить пойдет. Со двора на двор, и так до половины сентября. Молотили разве когда-нибудь в Планице, и чтоб Фарник колесо не крутил? Нет, не молотили. Фарника это радует. Он будет крутить колесо до середины сентября. Потом неделька отдыха.

Никуда он не пойдет. Дома посидит. Дома. Нужно заготовить дров на зиму, подправить крышу. А с первого октября он начнет службу у Пастухи.

«Придешь ко мне с первого октября. Вот сюда, в эту кухню. А теперь ступай». Это были последние слова Пастухи, а Фарник охотно их повторяет, потому что все очень ладно выходит. Он весело шагает по деревне. Вот и Герибан пшеницу с поля везет. Колосья тяжелые, радуют хозяина хорошим урожаем. Герибан выступает важно, довольный, как и Фарник. Тот всему радуется — и солнцу, и дороге, и скрипу колес. А как красиво было у запруды! Серебристый рой мошкары, рыбки, жаркая тишина...

— Последняя? — окликнул он Герибана.

Герибан оглянулся.

— Это ты, Фарник? Нет! Еще на один воз осталось. Но до вечера времени хватит.

— Конечно хватит.

— Смотри приходи же завтра! На рассвете начнем.

— Приду!

Фарник удивлен. Как мог Герибан в нем усомниться? Кому же крутить колесо, как не ему с Минатом? Это ведь мужская работа. Женщина так устанет, что и через три дня не разогнется.

Герибан шагает рядом с фурой дальше. Он живет на другом конце деревни...

— Хорошо тому, кто по сторонам глазеет. И я бы поглазела, будь у меня времени побольше. Самое легкое дело — глазеть. Ты хоть бы посторонился, милок!

Жена Микулаша, повязанная платками, с ребенком на руках, вела коров, запряженных в фуру.

— Посторонюсь, так и быть. Подай-ка сюда бич!

— А что ты с ним делать собираешься?

— Тебе помочь.

— На, держи! — Она протянула бич Фарнику.— А этого взять не желаешь? — Она покачала ребенка.— Не хнычь, не серди меня. Ш-ш-ш... ш-ш-ш...

— Себе оставь, мне своих хватит. Детей ведь сделать не трудно. Правда?

Микулашка вспыхнула. Ей было уже за тридцать.

— Одни только глупости у вас, мужиков, на уме. Терпеть не могу, когда мужчины о себе воображают. И слова не скажи. А скажешь, так со стыда сгоришь. И мой точь-в-точь такой же.

— Ну, как он поживает?

Фарник заглянул к себе во двор, не видно ли там жены или сынишки. Он хотел крикнуть, что через час будет дома. Но во дворе было пусто.

— Мой-то? А чего ему делается? Посидит, походит, опять посидит, потом ворчать начнет — и так целый день. Скорей бы уж гипс этот сняли. Не хватало мне еще вокруг собственного мужика прыгать!

— Нога-то не болит?

— Больше не болит. Пора бы зажить ей, срастись. Ягода! — крикнула Микулашка, подскочив к корове и хлопнув ее ладонью по шее.— Не желает тащить. Остановится, вторая за ней, и глядят по сторонам. Просишь их, бьешь, кричишь, а они ни с места. Хоть тресни! И еще малый этот!

— Все минет, Ката. И не заметишь, как все минет.

В этот четверг Фарника ничем нельзя было вывести из себя.

А вот и двор Микулаша.

— Давай сюда бич, а сам ступай к дышлу. Я коров подхлестну.

Фарник отдал бич Микулашке, подошел к дышлу и стал поворачивать его вправо, во двор.

— Гей, гей, Малина! Гей, Ягода! Пошли, чего стали! Не реви ты, шш-шш, гей-гей! Не реви, смотри у меня! — Ката баюкала младенца, а коровы с помощью Фарника заворачивали с фурой в ворота. Взбираться на бугор было тяжело, да еще и камень под колесо подвернулся, фура накренилась, того и гляди завалится. Но Микулашка пнула камень ногой! Охнула, но отпихнула. Коровы чуяли хлев. В хлеву тихо, никто на них не кричит, длинная жердь не тычет в бока, ремни не стягивают, не обжигают кожу. Коровы вздохнули, закрыли большие глаза и подтащили воз к амбару.

— Справились!

Микулашка смеется от радости и качает ревущего ребенка.

— Справились. Сама гнет затягивала?

Фарник схватил гнет, повис на конце.

— Нет, не сама. Герибан помогал.

— Ну, иди, иди! Покорми малого, а я пока снопы сброшу.

— Ладно. Молока тебе принесу.

— Лучше простокваши немного. Пить хочется.

— Нет ее у меня.

— Тогда воды. Все внутри пересохло.

Двери дома Микулашей открыты настежь. Винцент с кем-то ссорится.

— Здесь была моя палка. Куда вы ее дели?

Микулашка подошла к дверям.

— Чего тебе?

— Палки нет. Твои ребята вечно все растащат.

— Как мои, так и твои. Вон она.— Микулашка показала на землю.

— Принеси-ка ее, бандит! — строго приказал кому-то Винцент Микулаш.

Из дома выскочил мальчуган лет семи в черных трусиках. Он подал отцу палку и, подпрыгивая, словно козленок, убежал на улицу.

Фарник тем временем выпряг коров и привязал их в хлеву. Он хотел было снять гнет, но тут подошел Микулаш — смуглый человек с маленькими колючими глазками под щетинистыми бровями, ростом выше Фарника на две головы. Микулаш опирался обеими руками на палку. Стоял он на одной левой ноге, правая согнулась в колене. Вся ступня была в гипсе, выглядывали только пальцы.

Не здороваясь, он кивнул Фарнику и улыбнулся.

— Тоже, больной называется! Не сидится тебе на печке?

— Отстань! Второй месяц без дела валяюсь. Кто это вытерпит? — Прихрамывая, он добрался до Фарника.— Помочь тебе?

— Ногу еще повредишь! Потом с ней хлопот не оберешься. Мало тебе? Без ноги нельзя жить, Винцо.

Фарник отпустил цепь, державшую гнет. Громыхая, она тяжело свалилась на землю.

— Конец или еще не все?

Фарнику не хотелось его слушать. Он снял гнет и понес к амбару, чтобы прислонить там к стене, но укоризненный голос Микулаша настиг его.

— Всему приходит конец. Не сегодня, так завтра. Не сбылись твои пророчества, ни одно не исполнилось.— Микулаш язвительно рассмеялся.— Я уже спятил от всего этого. Нога заживет, гипс снимут. Ладно. А дальше что? Ничего не понимаю. А знаешь почему?

Фарник швырнул вилы в телегу и вскочил на дышло.

— Потому, что ничего хорошего в будущем не вижу. Ни старости своей, ни детей взрослыми — ничего, словом, себе представить не могу.

Ничего! Сижу целыми днями и думаю. И ночью от дум голова кругом идет. Все мозгами так и этак ворочаю! А что толку? Дела на свете идут дальше своим чередом. Вот я и говорю себе: ты сам не знаешь, что ты говоришь...

Фарник поднимает снопы, швыряет их к дверям амбара. Шелестит солома, сыплется мякина, а Микулаш все говорит и говорит, никак не может остановиться...

— Мир еще не дорос до коммунизма. Он должен еще в крови искупаться. Может, потом когда-нибудь и дорастет. Но это уж сказки.

— Не выдумывай!

— А мне уж показалось, ты онемел,— сказал пискливо Микулаш.— Вот ты говоришь: «Не выдумывай!» Будь у тебя столько времени, как у меня, и ты дошел бы до того же самого. Вот так, Фарник. Мир еще не дорос до коммунизма. Что хочешь делай, злись, можешь и кричать, а тут ничего не поправишь. Я от этого просто спятил...— Неожиданно Микулаш оборвал свою речь. Он оглядел двор, отыскивая местечко, чтобы сесть. У него, должно быть, заболела нога.

Между входом в хлев и дверями в амбар стоят деревянные козлы. Микулаш, прихрамывая, ковыляет туда и садится. Фарнику это неприятно. Они остались с глазу на глаз. Он стоит высоко на возу, и это еще хуже. Он поддевает деревянными вилами снопы пшеницы, поднимает их и со всего маху сбрасывает к дверям амбара. Микулаш продолжает:

— Я долговязого Леммера с гитлерюгендом видел. Опять по деревне с барабанным боем прошли. Они нарочно это делают, страх, что ли, на людей нагоняют. Потому я совсем и спятил. Поглядел на него так, чтобы он запомнил. Но все это сказки. Мучить себя неохота. А Дриню не видал?

— Видал.

— Что он-то говорит?

— Что? Будто ты его не знаешь.

— Он давно ко мне не заходил. Милый мой, все до поры до времени. И его усердие тоже. Коммунизм Дрини, милый мой, тоже сказки. Он хорошо учуял, что будет. Торгует теперь, барышничает, а может, он и прав. Вот почему я совсем и спятил.

Фарник что-то возразил.

— Не верю! Все это сказки! Отстань ты с этим от меня! А если говоришь, что был в городе, скажи лучше, видел ты эту карту?

— Видел.

— Фарник! — Микулаш слез с козел и торопливо, тяжело дыша, приковылял к фуре и обеими руками вцепился в обрешетку.— Фарник! Далеко ли они от Москвы?

— Далеко.

— Мне-то ты можешь сказать правду.

— А я ничего и не таю.

И Фарнику вспомнились три стрелы. Нет, о них он ни за что на свете не скажет Микулашу.

— Москва, вот что самое главное. Туда их никак нельзя допустить. После этого всему конец придет... Я ничего не понимаю.— Микулаш покачал головой и снова отошел к козлам. Усевшись, он ударил палкой по гипсу, ударил еще раз.— На будущей неделе велю отвезти меня в Правно и попрошу доктора снять гипс. Терпенья моего не стало, сейчас нужно быть здоровым. Иначе ничего не выйдет.

Микулаш брезгливо скривил губы, глядя на грязно-белую гипсовую повязку, и угрожающе поднял щетинистые брови.

Когда Фарник уходил, жена Микулаша выбежала из дома.

— Какая я забывчивая! И воды-то тебе даже не принесла. Хоть разорвись, столько дела! Спасибо! Потом сочтемся,— сказала она и обратилась к мужу: — Да не стой ты, сядь ради бога! Потом хныкать будешь. Кто тебя слушать станет? Так от гипса и до страшного суда не избавишься. Прирастет, пожалуй, либо антонов огонь привяжется. Спаси нас, господи, от всякой напасти!

— Аминь! — пробасил Микулаш. — Иди в дом, слышишь, младенец твой орет.

— Пускай! Твой тоже орет. Он наш общий.

Фарник расстался с Микулашами. Пусть покричат. Радостные его чувства улетучились. Снова стало пусто внутри, словно в больном дуплистом дереве. Солнце сияло ярко, но больше не радовало Фарника. Вот здесь живет Минат, друг и товарищ Минат, его ровесник, они родились в один год. Завтра они встретятся в риге у Герибана. Сейчас фуру Мината везут коровы, но он, Фарник, еле поздоровался с ним. Язык не повернулся, рука не поднялась. Когда он заводил коров Микулаша во двор, сердце его согревала мысль, что он может помочь семье, которую постигла беда. Эта мысль согревала, но больше не согревает. С завтрашнего дня он будет крутить колесо молотилки, она будет греметь, бренчать, он наглотается пыли, в волосы, в глаза и за потную рубаху набьется столько мякины! Тело зачешется, будто от вшей. А с первого октября надо идти к Пастухе. Ну, что толку, что толку от всего этого? Он живет изо дня в день, лишь бы как-нибудь прожить и дышать. А человеку этого мало... Что такое? Бьют в барабаны? Да, бьют в барабаны. Это возвращается голенастый Леммер, а ему, Фарнику, некуда убежать от него. Барабанный бой проникает сквозь стены и землю, нельзя убежать от Леммера. А от жизни убежать можно? От какой жизни? Микулаш говорит, что ничего не видит в будущем, не представляет себе своей старости, своих детей взрослыми. Что это значит? Как Микулаш до этого додумался? Ничего более интересного и более правдивого в последнее время Фарник не слышал. Точь-в-точь то же самое чувствует сейчас и он. И началось это с той поры, как не сбылись предсказания Дрини и Красная Армия стала отступать. Он не сумел так точно выразить свои ощущения, как Микулаш, и потому не понимал себя. Он не понимал, что́ нагоняет на него уныние. Это война! Ладно. Где-то далеко горят города, леса, гибнут люди, где-то далеко от него, вдали от Планицы. Здесь люди еще смеются, женятся, здесь еще живут, потому что война идет где-то за горами и с каждым днем уходит все дальше от Планицы.

Фарник ощущал неестественность этого состояния, его несвоевременность и понимал, что потом должно настать нечто ужасное. Он предчувствовал это. А когда сюда пришли новости о зверствах фашистов в Праге, когда он смотрел на карту, вывешенную по приказу Киршнера, он понял многое, и его охватил ужас. Теперь он знает все. После слов Микулаша он все понял. Он понимает уже и себя, понимает, что́ нагоняло на него уныние. Разлетелись все радостные чувства, он пуст внутри, как дуплистое трухлявое дерево. Он знает совершенно точно, почему гитлерюгенд под началом Леммера сейчас бьет в барабаны перед каменным домом Пастухи. Близится первое октября! Микулаш ничего не видит в будущем, не представляет себе своей старости, своих детей взрослыми. Да и он, Фарник, носит в себе ту же мысль, то же самое пророчество. Неясно, туманно, но он думает то же самое, ничего другого. По какому праву люди в Планице продолжают смеяться, жениться, по какому праву живут прежней жизнью? Они ничего не предчувствуют? Не задумываются? Все равно им, что делается на фронте? Обманывает их расстояние? До такой степени обманывает? Можно ли быть настолько слепым? Как это возможно? Гитлерюгенд марширует под началом Леммера. Они шагают сейчас перед домом Фарника. И жена его вышла на улицу. Она молча

всматривается в них. Тра-та-та, тра-та-та-та, бумм! Раз, два, три, четыре! Айн, цвай, драй, фир! Собака Леммер, голенастая собака Леммер! Что он видит в будущем? Свою старость, своих детей взрослыми? А те, что маршируют, видят они что-нибудь в будущем? «Быть коммунистом, товарищи, значит видеть будущее!» Так сказал Дриня на последнем, уже тайном, собрании в Планице. Они собрались в передней Микулаша через три дня после запрещения компартии. И взгляд в будущее причиняет сейчас боль. Трудно быть сегодня коммунистом. Для этого требуются сверхчеловеческие усилия. А Микулашу надо очень мало, достаточно одной искорки. «Фарник! Далеко ли они от Москвы? Москва, вот что самое главное, туда их никак нельзя допустить!» Вот гитлерюгенд под началом Леммера уже марширует перед домом Микулаша, слышен барабанный бой. Это под барабаны марширует капитал, ведь он силен, и у кого-то в этой войне вышла промашка. А Микулашу достаточно искорки! На следующей неделе он поедет в Правно, увидит там карту, три стрелы, что-то он тогда скажет? «И долго ли выдержу я? Я ведь уже отчаялся, а остальных подбадриваю. Кричу на Микулаша, чтобы он не смел выдумывать, а на языке вертится: ты прав, Микулаш, так оно и есть. Человечество не доросло до коммунизма. Что мешает мне сказать ему это? Нет, я всегда буду кричать на Микулаша, никогда с ним не соглашусь, никогда! Почему? Опять я ничего не понимаю, сам себя не понимаю. Гораздо проще распуститься и позволить себе сказать все, что просится на язык!» Язык! Откуда он это берет? Он сам не думает, откуда же он все это берет. Из головы, из мозга? Или это сидит где-то в душе? «Душа? Это поповская выдумка. Религия — опиум для народа, я верю Ленину. Сердце? Сердце! Как связано сердце с мозгом, мозг — с сердцем? И как связан с ними язык? Провалиться бы всему этому в преисподнюю, хватит так безбожно грызть самого себя!»

— Дай мне поесть!

— Ишь какой скорый! И не поздоровается, давай, мол. Рычишь, будто собака,— говорит Фарничка по пути к дому.

— Помалкивай.

— Не лопни со злости! — Но Фарничку смущает странное лицо мужа. На языке у нее вертятся вопросы о Пастухе, о голенастом Леммере. В ней все горит от любопытства, но ничего не поделаешь, приходится молчать.

■

Ночь, как вода, унесла с собой все волнения. На заре Фарник проснулся.

Планица вставала спозаранку. По улице прошли три женщины. Фарник не узнал их, они были слишком далеко. Зорька горела ярко, охватив полнеба. Росистая трава приняла бледно-зеленый, водянистый оттенок. На ней остались темно-зеленые пятна следов — должно быть, собака бегала. А может, лисица? Впрочем, что надо лисице в деревне? Сейчас еще лето. Собака бегала! Собака или кошка! Кричат петухи. Воздух свежий. Чистое небо. «Если бы я был мошкой...» — вспомнился Фарнику Пастуха.

К риге Герибана Фарник пришел не первым. Ворота были уже отворены. Во дворе возвышались две копны снопов, на гумне стояла молотилка. Фарник поздоровался.

Женщины приветствовали его визгом, одна воскликнула:

— Третий!

Он не понял, к чему она это сказала. У молотилки стоял Минат. Фарник подошел к нему. Они поздоровались за руку. Минат сказал:

— Бабье! По-другому не умеют, им бы только кучей стоять. Что в церкви, что в корчме, что на молотьбе. Заметил? И всегда зубоскалят. Бабы, бабы и есть.

Хозяина не было видно.

Пришел маленький Мрачко. Пиджак накинут на плечи, словно у холостого. Он улыбается, быстро вертит головой во все стороны, будто воробышек. Что-то жует.

Женщины завизжали. Одна крикнула:

— Четвертый!

— Какие там четверо? Три с половиной. Не видишь, какой он плюгавый?

— У, гадина! — обругал женщину Мрачко и сплюнул черную слюну.

— Жвачка!

— Пятый!

Из дому вышел Герибан с бутылкой.

— Будет чем червячка заморить, кум принес,— сказал Мрачко и поздоровался с Минатом и Фарником.

Женщины, даже молодые, выпили по рюмочке. Мужчины — по две. Герибан унес бутылку в кухню. Вернется — и можно начинать. Минат и Фарник сняли пиджаки, повесили их на забор, потом засучили рукава.

— Ты у нас богатырь, силушка-то у тебя! — сказал Минат, обращаясь к Мрачко.

— Работаешь как вол с утра до ночи, а толку что? Сил, конечно, прибавляется. Да я тебя, Минат, знаю. Ты у нас позубоскалить любишь. Минат и есть Минат. Кому еще насмешничать?

— Ты только послушай его, Фарник! Я с ним как с человеком, как с партийцем...

— Ты и вправду ловок выворачиваться! «Как с партийцем»! Пора бы и забыть об этом. Глаз у тебя нет? Не видишь? — Мрачко опять сплюнул.

— Вот он весь тут!

— Оставь ты меня в покое! — Мрачко отошел и закричал на женщин: — Эй вы, сороки! Кто со мной наверх пойдет?

— Я.

— Глаза бы мои на тебя не глядели. На что ты там нужна? Ты старая!

— Тебе лишь бы табак за щеку!

Задумавшийся Минат поглядел на Мрачко и сказал с сердцем:

— Как есть баба! Поставь его среди них и не разберешь, где кто. Баба и есть! Давай, Фарник, поплюй-ка на ладони, вон хозяин идет. К черту вся работа полетит! Такой лапоть, как Мрачко, весь день испортит. Где ты хочешь стоять?

— Мне все равно.

— Ладно! Я стану сюда. Ладно, сюда так сюда. К черту вся работа пойдет! — проворчал Минат и добавил, обращаясь к женщинам: — Будет вам спорить. Начинать пора!

— Правда твоя, Минат. Кому еще лезть вперед-то? Ты что, дома?— продолжал приставать Мрачко к Минату.

Разъяренный Минат поднял было кулак, открыл рот, собираясь осадить Мрачко, но только махнул рукой.

— Я сейчас готов на стену лезть из-за невесть какой пустяковины. А Мрачко — баба. Может, он оттого и табак жует, чтобы мужчиной себя показать? Начнем!

Фарник и Минат повернули маховое колесо молотилки.

Зубчатый барабан закрутился, загремел. Сдвинулись с места сита. Молотилка звякнула, и ясный, резкий звук разнесся по всей деревне. Мрачко подал первый сноп. На зубчатом барабане зашуршала солома. Веялка выбросила мякину. На землю кучками посыпалась солома. На

ситах остались просеянные зерна пшеницы. Герибан сгреб их, пересыпая в ладонях, и бросил несколько зерен в рот. Он был доволен.

Руки, держащие ручку колеса молотилки, описывают точный круг. Два тела по очереди то наклоняются вперед, то выпрямляются. Через некоторое время мышцы привыкнут к этому движению. Они поболят немного, потом окрепнут. В них не сохранится ничего человеческого, они станут частью гремящей машины, сольются с ней. Наклон — круг. Наклон — круг. И так до самого вечера, и так до половины сентября. Все в этом году запаздывает. Природа, а вместе с ней и люди. И все это от изумления перед тем, что творится в мире и что еще предстоит перенести. Уже многое произошло и многое еще должно произойти.

«К черту такую работу! — думает Минат.— Где-нибудь молотилку крутит электричество либо мотор, а здесь мы с Фарником надрываемся, словно лошади. Но если бы здесь было электричество, мы с Фарником сидели бы без работы. И этак плохо, и так скверно. Глупо устроен мир. Хорошо Фарнику, он хоть на время устроился. Пастуха берет его к себе на работу. Все возможно, ведь Имриха взяли в армию. Война! О чем бы ни думал, все она приходит на ум. Лучше бы всего ни о чем не думать. А кто так сумеет жить? Хотел бы я видеть такого волшебника. Вот бабы так живут — не думают. Если бы суметь прожить без умаразума, от всего убежать как-нибудь, ослепнуть, оглохнуть, но не навсегда, понятно, а только так, чтобы видеть и слышать одно хорошее да красивое. Кто так сумеет жить? Надо подумать. Но такие мысли ни к чему не ведут».

И Минат заговорил с Фарником:

— Я слышал, тебя Пастуха к себе в работники берет?

— Верно. Мы вчера договорились.

— Это хорошо. Без дела шататься не придется, у кого попало работу просить. Пастуха, правда, как флюгер, старается быть хорош со всеми, но с ним можно поладить... Я его, гада, еще мальчонкой помню, и тогда уже он был этакий скользкий. Из Америки вернулся щепка щепкой. А дома опять откормился. Тебе повезло.

Наклон — круг. Наклон — круг...

Женщины сгребают солому. Хозяин набирает ее деревянными вилами и двигает к чердаку. Летит мякина. Герибан жмурится.

Молотилка гремит, издавая ясный, резкий звук. Ее слышно далеко в округе, за садами, в полях, до самых гор.

Наклон — круг...

— Тебе повезло. За конями ходить ты умеешь, что же еще тебе надо? А я все по-старому: тут ухвачу, там ухвачу, потом бездельничаю дня три. Да ты и сам знаешь. Слыхал я, что осенью будут нанимать в лес на работу. Стану лесорубом. К черту такое дело! Опять же война. Лес-то для немцев пойдет, а как скажешь «немец», так будто сказал «война». Противно.

Наклон — круг...

— Улыбаешься? Знаешь что-то? Скажи, чего молчишь?

Молотилка гремит, издает резкий звук. Он чем-то напоминает барабаны Леммера.

— Война тянется уже четырнадцать месяцев, товарищ Минат, а Москва все еще стоит. И вторая зима не заставит себя долго ждать. Не заставит. И не заметим, как все вокруг будет белым-бело. Или...

И Фарник словами Дрини заговорил о воде, о давлении и говорил быстро, уверенно, чтобы не думать о барабанах Леммера, которые гремели в дребезжащей молотилке.

Минат пал духом, и Фарнику теперь это было непонятно. Но он знал, что все сперва должно улечься в голове Мината, как улеглось в его собственной.

«МЕРТВЫЕ НЕ ПОЮТ...»

«Вылитый Христос».— Кляко смотрится в зеркальце и качает головой, выставляя вперед заросший подбородок. Бородка густая, рыжеватая, аккуратно подстрижена. Бреясь, он обычно говорил: «Если я отпущу бороду, то вот посмотрите — буду рыжий, как лиса. Волосы у меня каштановые, на лице — рыжие. Может, вы знаете, почему это так?» Серьезно над этим он не задумывался. И когда борода в конце концов отросла, он часто гляделся в зеркальце и говорил себе: «Вылитый Христос,— втайне ненавидя эту рыжину.— Творить чудеса я не умею, и потому меня назначили командиром батареи».

За тем же столом сидит поручик Кристек, подперев голову руками. Он сидит здесь с самого утра и просидит так до ночи, а если его о чем-нибудь спросить, грубо выругается и опять будет упорно молчать.

«Он кончит тем, что спятит»,— думает иной раз Кляко. Они стоят на этой огневой позиции два месяца. Уже несколько недель он, Кляко, командует второй батареей, наивно полагая, что обязан интересоваться душевным состоянием своих подчиненных.

— Кристек! Почему тебя не сделали командиром?

Поручик Кристек не отвечает.

Да-да, так оно и должно быть. Кристек должен сидеть молча, подпирая голову руками. Обязан ли он отвечать Кляко? Нет, не обязан. А почему нельзя спросить Кристека, тем более зная, что тот не ответит?

— Что ты сделал бы, став командиром?

Кляко знает, какой последует ответ.

— Дерьмо! — смачно отвечает Кристек, и кажется, что все вокруг начинает вонять. Поручик громко хохочет и потом еще долго сидит, ухмыляясь.

Раньше Кляко думал, что это новые проявления безумия, и лишь недавно убедился, что Кристек вполне серьезно и даже наслаждаясь представляет себе, как к нему приходят солдаты и умоляют его вымолвить хоть словечко. А он ничего не отвечает. Солдаты вызывают командира дивизиона, тот — командира полка, все стараются выжать из Кристека хотя бы слово. А ему плевать, он не скажет ничего, он будет молчать даже перед генералом. Он ничего не скажет, не поднимется из-за стола, пальцем не шевельнет, чтобы взять в руки телефонную трубку, не отдаст ни одного приказания. А ночью ляжет на нары и будет спать, сколько ему вздумается. Потом он снова сядет на свое место, денщик принесет ему еды, а иной раз и немного рому. Он выйдет из блиндажа только за нуждой, да, для этого он выйдет, потому что его нужда важнее всякого генерала и любого военного начальства... Все это однажды пьяный Кристек рассказал поручику Кляко, и тот его понял. Кристек теперь пил, и пил бы не меньше Гайнича, было бы только что. От прежнего Христосика в Кристеке ничего не осталось. Он научился пить и грязно ругаться, беззаботно отсиживаться в блиндаже и после этого завоевал симпатии солдат. Он забросил свои каски и дал под зад коленкой денщику, запретив приносить ему в блиндаж ночной горшок. Никто не называл его теперь Христосиком.

— Что-то поделывает Гайнич? Что делает этот выродок, этот кавалер Железного креста? — спрашивает Кляко и тут же сам себе отвечает: — Кутит.

После этого он сует зеркальце в карман на груди, ерошит бородку. Взглянув на Кристека, тотчас же отворачивается и думает: «Нельзя на него смотреть. Я возненавижу его. У него всегда одно и то же выражение лица, и это действует на нервы. Он, правда, не виноват, но я-то тут при чем? За что меня заставляют вечно на него смотреть? Может, я его уже ненавижу? Всегда одно и то же лицо! Тот же самый

стол, нары, накрытые темно-зелеными одеялами. Когда я завтра проснусь, все повторится». И Кляко озирается, будто впервые попал в этот блиндаж. Он смущен. Если он будет глядеть на Кристека и дальше, не прекратит этого занятия, смущение перейдет в страх, и тогда он, Кляко, сделает какую-нибудь мерзость, например, даст Кристеку в морду или же... тут уж все может статься. Дело не только в одной проигранной жизни. «Servus, господин Виттнер. Вот так сюрприз! — И Кляко недоумевает, не понимая, откуда взялся призрак и именно сейчас, когда это всего опаснее.— Удобрили вы высотку триста четырнадцать? Безусловно! Ну вот, видите, а то некоторые утверждают, что эта война не принесла людям ничего, кроме вреда. Я по-прежнему воюю, тяну, в общем, лямку, как говорится, и могу выдать вам секрет: все это у меня в зубах навязло. Но это дело давно известное. Старина Гайнич смылся. В один прекрасный день пошел на медпункт, а оттуда отбыл со славой в Vaterland. В Vaterland unter die Hohe Tatra, unter das schönste und höchste Gebirge der Slovakei *. Он благодарит вас за Железный крест и сказал, что напишет благодарственное письмо этому идиоту и гомосексуалисту. Ну, ладно... А меня назначили командиром второй батареи. Впрочем, все это пустяки, и вам они не интересны. Вы помните, как... Что я говорю! Вы не можете помнить. Словом, мы тогда отступили на всем участке фронта, и наши солдаты радовались, что идут прямехонько домой. И я так по глупости своей думал. Отступали все словацкие батареи. При этом русские взяли в плен нашего командира полка, судетского немца, и с ним еще двадцать словаков. Те, попав в плен, повесили своего начальника на первом же суку. Так, по крайней мере, болтают, и я этому охотно верю, потому что он был первостатейной скотиной. Но о том, что произошло дальше, я почти ничего не знаю. Здесь я человек очень маленький. Вашим соплеменникам удалось остановить наступление русских и перейти в контрнаступление. Вас это радует, да? Мы все лето проторчали в тылу, извели стопы бумаги на акты о том, как «пан пес потерял свой хвост». Могу сказать точно: семнадцать актов составили мы по поводу брошенных орудий, коней, боеприпасов и всего прочего. Ну и насочиняли мы там! И я сочинял не меньше других. Но у нас тут есть один поручик, Кристек по фамилии. Нет-нет, его вы не знали. От этих актов он совсем пал духом. Бедный парень даже пить начал. Слишком близко принял к сердцу, что мы в этих актах сочинили множество красивых и интересных сказок. Надо же было как-то объяснить наше беспорядочное бегство без оглядки. Нет? На войне и такое бывает. «Немцы догадаются — расстреляют нас!» — даже во сне кричал этот молодой человек. Словом, он совсем пал духом. И запил горькую. Лишь изредка я мельком вспоминаю ваш французский коньяк. Отдаю должное — это было здорово. Боже мой, было же такое время! Я пью теперь мало, просто хоть плачь. Но если бы вы знали нашего каптера, господин Виттнер, если бы вы знали его, вы бы только плюнули: тьфу! Мы дошли до Кавказа, а теперь уже третий месяц стоим на месте. Я отрастил бородку и думаю, что принадлежу к поколению, которое от нечего делать проклял господь бог. Ну, пока, пока — и молчать! Я приказываю вам молчать, черт возьми! Гнить и молчать! Я завидую вам, многоуважаемый господин Виттнер, страшно вам завидую. Вы уже сгнили насколько положено, ваши кости пока не рассыпались, что еще вам нужно? У вас уже все позади. А я вынужден глядеть на Кристека, на его лицо, подпертое руками, встречать его тяжелый взгляд, видеть нары, одеяла, котелки с объедками на дне. Но хотя я начинаю ненавидеть этого Кристека, он все-таки редкостный парень — днем с огнем такого

---

* На родину. На родину под Высокие Татры, прекраснейшие и высочайшие горы Словакии *(нем.)*.

не сыщешь. Принципиальный парень. И боялся он принципиально, и со своими двумя касками был посмешищем всей батареи. Он сумасшедший! Сумасшедший ли? Я просто негодяй, но всякая душа да хвалит господа, ибо не пробил еще двенадцатый час. Если бы у меня был литр рому, мать честная, мы бы с Кристеком здорово тяпнули. А так я могу только дать ему по морде».

И Кляко заорал на Кристека:

— Пляши, ходи на руках, черт тебя побери, или пусти себе пулю в лоб! Только не сиди! Не сиди, а то я тебя убью!

Кляко вцепился что есть силы в волосы Кристека и оттянул его голову назад.

И что, что он увидел в глазах Кристека? Что еще было в этом тяжелом взгляде, кроме насмешки?

— Нервы расходились.

Кляко выпустил чуб Кристека и неизвестно почему вытер руки о штаны.

— Нервы? — насмешливо переспросил Кристек.— Нервы и нервишки.

«Все-таки такого парня надо днем с огнем поискать. А я — негодяй, и именно поэтому меня назначили командиром батареи. Я не сумею сделать то, что сумеет он. Сейчас я выйду отсюда и буду гонять солдат за то, что они лодырничают, и первому, кто подвернется мне под руку, влетит больше всех, он расплатится за всю батарею. Вы не верите? Не угодно ли вам пойти за мной, потому что командиру положено быть впереди. Герр командир! Вы и этому не верите? Прочитайте приказ по полку за таким-то номером, от такого-то числа. Я не помню. Можете выяснить это в канцелярии. Но канцелярия довольно далеко отсюда, до нее шесть километров, потому что начальство всегда тащится где-то позади. Там не так пыльно. Можете выяснить и по телефону. Вызывайте «Софью». Вот и все. И не угодно ли вам последовать за мной...»

■

Командирский блиндаж был вырыт прямо на огневой позиции. Солдатские блиндажи охватывали его подковой, этот неправильный круг замыкали четыре орудия. Опушка старого дубового леса, луг, рыжий, пожелтевший луг, местами серый, потому что сейчас конец января и трава пожухла от ночных заморозков.

Снегу нет.

Он идет часто, но быстро тает на солнце.

Солнце светит, но в воздухе еще прохладно, хотя скоро полдень. Видимость очень хорошая, однако здесь это не играет роли. Впереди несколько холмов, поросших лесом, вправо и влево такие же холмы, и все они рыжие, ржавые и местами серые, как и луг перед огневой позицией.

Деревья без листьев. Ведь сейчас конец января.

Телефонист сидит под старым дубом на пустом снарядном ящике. Он сгорбился, весь утонул в овчинном тулупе, в лицо ему светит солнце. Заслышав шаги у командирского блиндажа, телефонист приоткрывает глаза и тотчас же зажмуривается.

Кляко стоит над ним и ждет. Ждет долго.

— У меня времени достаточно. Я жду, когда ваша милость,— Кляко повышает голос и говорит все быстрее,— соблаговолит подняться с места и отрапортовать по всей форме.

Солдат встает, отдает честь, докладывает, что на НП происшествий не было, и затем насмешливо добавляет:

— Ну и что?

Они одного роста.

Орудийные расчеты роют землю. Теперь все бросают работу.

— На НП ничего нового. И не звонили даже оттуда?

— Нет, не звонили. Ну и что?

— Молчать!

Кляко сейчас куда больше занимают землекопы, чем издевающийся над ним телефонист. В конце концов тут происходит нечто интересное. Не понимая, в чем дело, Кляко медленно подходит к солдатам и с любопытством спрашивает:

— Копаете?

— Копаем.

— А зачем копаете?

— Так. Просто так.

— А почему не вот так?

Кляко показывает рукой поперек свежего окопа. Все молчат. Никто не смеется. Копают все орудийные расчеты и молчуны-ездовые тоже. Четыре окопа, четыре орудия. Четыре окопа с метр глубиной. Земля! Чистая земля, черная и желтая, без единого камушка. Солдаты копают изо всех сил. Должно быть, они спешили — утром этих окопов еще не было. Зачем они копают, почему торопятся? Солдаты чего-то боятся. «Меня?» Встревоженный Кляко спрашивает:

— Кто распорядился?

Между ним и солдатами разверзлась прежняя пропасть, которую он видел и ощущал во время длительного похода на фронт. Или они стали старше, огрубели, а может, это с ним произошло что-нибудь? И без того он уже не в силах видеть застывшее лицо поручика Кристека, чего же он ищет в лицах этих солдат, какое утешение ему могут дать эти крестьяне? Крестьяне! Такой крестьянин пашет свою землю, добивается от нее, чтоб она ему приносила урожай. И так из года в год, всегда, вечно. И он всегда будет гнуть над ней спину, а если земля позволит ему распрямиться хоть на миг, даже и тогда спина его останется слегка согнутой. И кажется, что от этой работы руки его делаются длинней. Вон там копает землю Лукан. Что из того, что они из одной долины, что Лукан знает его сестру и что они три недели по-братски делили хлеб и сигареты? Что из того? Когда-то это могло иметь значение, но в то время Кляко был уверен, что эта подлая война скоро кончится. Тогда он еще не знал, что принадлежит к поколению, проклятому богом. Теперь и слепому видно, что война сильнее человека, сильнее людей и их желаний. Мечтать, как прежде, цепляться за прежние представления — значит попусту тратить силы и раньше времени копать себе могилу. Война, как прокатный стан, расплющит всякого, никого не пощадит. Для чего же солдаты роют землю и почему делают это с таким воодушевлением? Откуда это воодушевление? Ведь воодушевляться может лишь тот, кому удалось сохранить какие-нибудь иллюзии.

— Кто это вам приказал, ребята?

Их воодушевление все-таки трогательно, и Кляко не находит в себе смелости высмеять его.

— Сами придумали.

— Это просто так, пан поручик. От нечего делать.

— Вы недисциплинированная банда, делаете, что вам взбредет в голову! — И все-таки Кляко не в силах их высмеять, потому что окопы вырыты по строгой системе, в них заключается какой-то таинственный смысл, непостижимый для Кляко и, безусловно, связанный с воодушевлением солдат.— Ну, копайте, коли охота припала!

Кляко сел на лафет третьего орудия и позвал Лукана.

— Рядовой Лукан явился по вашему приказанию!

— Сядь. Сигарету?

— Спасибо!

— Рядовой Лукан отказывается взять сигарету у офицера. Знакомое явление. Мы это дело когда-то переживали и пережили. Просить не стану.

— Я курил...

— Я ничего не говорю.— Кляко обхватил руками колено и стал раскачиваться на лафете.— Помнишь триста четырнадцатую высотку?

— Помню.

—Штрафную роту?

— Реннер? — Лукан встрепенулся.

— Обер-лейтенант Виттнер.

Лукан внимательно посмотрел.

— Я убил его.

— Так я и думал.— Лукан ждал этих слов и быстро на них откликнулся.

Это не удивило поручика Кляко. Мысль молниеносно подсказала ему несколько причин, которые позволили Лукану прийти к такому заключению.

— Я никому об этом не сказал и не скажу.

— Для чего ты это мне говоришь, рядовой Лукан?

— Вы такой задумчивый...

— Что означают эти окопы, Лукан?

— Ничего. И вправду ничего, пан поручик.

На этом разговор их кончился. Они расстались холодно, без всяких сожалений. И оба были уверены, что так будет лучше. Кляко поплелся обратно в командирский блиндаж к Кристеку с его застывшим лицом, а Лукан — к лопате.

— Что ему надо? Об окопах спрашивал?

— Спрашивал, но я ничего не выдал.

— Мог бы и сказать. Что тут такого?

— Не сходи с ума!

— Здорово будет, когда офицер от неожиданности обалдеет.

— Любо посмотреть. Никак не могу устоять.

— Узнает, не беспокойся. Долго тебе ждать не придется, не больше получаса.

— Твоя правда.

— Достаточно глубоко, ребята. Бросайте!

— Хватит и этого.

Солдаты повыскакивали из ям, свалили шанцевый инструмент в кучу. У окопов остались молчуны. На то они имели право — это была их выдумка, достаточно наивная, хотя и достаточно рискованная и продиктованная, безусловно, отчаянием. Хотя как сказать! При Гайниче они не посмели бы так сделать, это было ясно. Но всему приходит конец.

Гайнич откомандирован, война тоже когда-нибудь кончится. Вчера вахмистр Чилина говорил, что фронт растянулся на две тысячи километров — от Финляндии до Черного моря. Где же эта самая Финляндия? А Черное море, говорят, вон за этими горами. Две тысячи километров! Одного этого хватит, чтобы нагнать страху на всякого. Но всего страшнее эта война потому, что тут они одни. А если подсчитать время от перехода словацкой границы до нынешнего дня, так они воюют уже шестнадцать месяцев! И потому им пришлось вырыть эти самые окопы. Только потому, не почему-либо другому. Лукан правильно говорит, что русские — славяне, братья, с ними можно легко договориться. Мы пробовали проверить. Так оно и есть. Но Лукан говорит, что русские не только славяне, а еще и коммунисты. Славяне — братья, а коммунисты стоят за бедноту. А что такое солдаты? Та же беднота. Вот почему эти окопы

здесь нужны. И никакой Кляко, никакой Кристек больше не помешают. Солдаты и сами пока еще не решили, зачем им эти окопы, но скоро во всем разберутся. Мало ли что будет. Офицеры скажут, пожалуй, что это бунт, и тогда вторая батарея предстанет перед полевым судом.

«Так далеко заходить нельзя. Полевому суду не видать второй батареи, потому что мы убьем Кляко, как договорились. Я не был при этом сговоре, ребята сами все придумали, и недурная эта выдумка. Я в то время валялся мертвецки пьяный.— Молчун Виктор Шамай рассмеялся.— Но выпивка была — во! Господу богу лучше не придумать! Нет. И не придумает он, как отдать под суд вторую батарею. Понадобится — и Кристека и вахмистра Чилину убьем, хоть он и хороший человек, и каптера-вояку прихлопнем. Но только если иначе не обойдемся. Вот как договорились на своей сходке солдаты. Жалко, что меня там не было. Когда мы их всех перебьем, придется собраться еще раз и подумать, как быть дальше. Все в разные стороны тянут. Кто хочет на сторону русских переходить, другие говорят, что лучше будет всем разойтись по двое, по трое и пробираться через горы по ночам к себе домой. Так я и не знаю, что же потом-то будет, когда мы офицеров поубиваем. Но подумать времени у нас еще хватит. Придется собраться и все обдумать. Нет у нас другого пути! Зря господа говорят, будто нас солдаты другого года рождения сменят, мы этому не верим. Полгода обещают, лишь бы нам рот заткнуть. Больше мы не дадим морочить себе голову. Конец! Дальше терпеть невозможно! Нас вши жрут, скоро мы с голоду передохнем, погубим здесь лучшие годы, а чего ради? Зачем, спрашивается? Немцам помогаем! Немцы здесь целые деревни, целые города под корень выводят. Вот она — истина-то! Никто ничего нам не говорит, а нам и так все известно. Уж лучше Лукана послушаться и перебежать к русским. Ну, ладно, поживем — увидим. А нужно будет, так и еще разок соберемся».

От всех этих дум на лбу Шамая выступили крупные капли пота. Он знает, как договорятся ребята, он уже предчувствует: «К русским!». Ночью идти через горы — ни черта не получится. Никто там не проскочит, полевая жандармерия всех выловит. Все они герои, покуда идти никуда не надо. А когда же он, Виктор Шамай, увидит свою жену и сына? Ей ведь пособия не дадут, если дознаются, что он перебежал к русским. И еще, можно ли будет провести Титана с Сильвией. Об этом на сходке речи не было. Разбудили бы его, так он сказал бы насчет коней: на другую сторону переходить, так и коней надо с собой брать. Они, правда, казенные, но в этом не виноваты. Они не то что Уршула с Урной были, нет, он их любит, а на русской стороне они будут напоминать ему дом, его собственных коней, на которых пашут землю, возят бревна из лесу, а не повозки со снарядами, телефонами и проводом. «Сейчас конец января, значит, вся деревня на ногах, народ лес вывозит. А справится ли дед с таким делом? Или кони зря стоят в конюшне? Из дому нет писем второй месяц, и — господи! — что, если и сегодня вечером с полевой кухней письма не привезут? Боже!.. Окопы уже вырыты, все решено, и, того гляди, ребята и полевой кухни ждать не станут. А на русскую сторону жена мне не напишет. Господи боже мой!»

И Виктор Шамай снова вытирает потный лоб. «Окопы вырыты. А чего проще — вон лопаты лежат, взять их да забросать окопы землей, а после посмеяться и доложить начальству, что солдаты, мол, просто так, от нечего делать копали. А чтобы офицеры поверили, завтра опять выкопать и снова засыпать. Вот так и играть, да еще объяснить начальникам, что за такой работой забыть можно и про фронт и про войну. Отчего бы им и не поверить. Поверят! Обзовут дураками, но поверят. А когда офицеры не ругаются? Может, и правда нам так счастья попытать? Придется, может, объяснить ребятам, что это, мол, был дурной

сон, просто дурной сон и больше ничего. Сказать, что теперь мы проснулись и нужно вести себя так, как подобает людям, которые как следует выспались, а не продирают глаза спросонок. Это будет нам куда как выгодно, потому что можно успеть получить письмо из дому еще сегодня, можно и подождать недельку-другую, а то и побольше. Тогда у моей жены пособие не отберут, ведь это чистые денежки в дом, они всегда пригодятся. Эх, и жалко мне, что не был я, когда ребята сговаривались. Сказал бы я им все это, и никто не стал бы тогда окопы эти рыть. Лукан остался бы ни при чем. А кто виноват, что меня там не было? Я сам? Как бы не так! Все Чилина! Зачем он меня в город посылал? Зато выпивка была, какой свет не видел, сам господь бог лучше бы не придумал. И я жив остался! Жив и смерти не побоялся.

Как же это вышло? Я оттого и пил, что смерти боялся, и в то же время меньше всего думал о ней. Не знаю, не знаю. «Лошадиный батька» меня в город послал. Город тот далеко, двадцать часов мы туда ехали. На шести повозках, и вернулись сегодня ночью, часа в три. Я коней выпряг и в блиндаж пошел — разбудить Яно. «Встань, Яно! Встань и ни о чем не спрашивай, приведи-ка ко мне наших. Жду всех у своей повозки». Яно встал и тут же пошел, куда надо. Он из нашей деревни, и еще есть двое из соседней. Я к повозке вернулся, взобрался на нее и попоной прикрылся. «Чего тебе надо?» — спросили ребята, когда пришли. Я так и знал, что они придут. «Сейчас увидите. Да одеяла захватите, здесь холодно». Они ушли, ни о чем спрашивать не стали. Потом вернулись, расселись на возу, в одеяла закутались. Я еще им сказал: «Хорошенько закутайтесь, холодно». «Вот мы»,— сказали они, и тут часовой вмешался. «А я и забыл про часового!» — сказал я. «Вы что тут делаете? Почему не спите?» «Да мы просто так, мы все из одной деревни,— говорю, а потом жалко мне его стало, я возьми да и позови его:— Присядь и ты с нами да послушай».

Мы чуточку этак потеснились, и всем местечко нашлось. Он был не из нашей деревни и даже не из соседней, просто солдат, как и мы. Обыкновенный солдат, а это самое главное. «Я в городе побывал. Знаете ведь?» — «Знаем».— «Я водки привез. Литра три. Целую бутыль! Вот она!» Сперва я по бутылке рукой похлопал, потом поднял ее. Сухой камыш, которым бутыль оплетена была, зашуршал. Подбросил я ее несколько раз на руках, и в ней этак приятно забулькало. Все это слышали. Я поставил бутыль на землю, потрогал ее руками, и тут Яно, которого я раньше всех разбудил, спрашивает: «Три?» — «Три».— «А нас пятеро. Сперва было четверо». Понял я, о чем он подумал. А Яно этак недовольно продолжает: «Если бы нас четверо было, на каждого из нас почти по литру пришлось бы». Я хорошо понимал Яно. Он не пьяница. Не то чтобы он совсем не пил... Этого не скажешь, нет. Не каждый день, а случалось выпивал, и мертвецки в другой раз напивался. Кишки чтоб, значит, прополоскать. И, по-моему, не плохо это, кишки-то прополаскивать. И часовой понимал, что речь о нем идет. И потому молчал. Прогнать его из компании Яно тоже не хотелось. А мне? Как же можно человека выгнать? Знай Яно то, что было известно мне, ничего бы он не стал говорить. Но я махнул на все рукой: пускай себе говорит.

Потом все стихло и долго все молчали. Потом я начал: «Стянул я эту бутыль на складе немецком, где мы продукты получали. И был там этакий, в гражданской одежде, русский человек. Увидел он меня, отвернулся было, будто не видит ничего. Погрузились мы, сел я на воз. Мы нашего вояку-каптера еще ждали, тот доставал что-то, он вечно что-нибудь достает. Русский-то и подходит ко мне, спрашивает, знаю ли я, что взял». На этом самом месте запнулся я. Вдруг в голову мне пришло ничего дружкам моим и часовому не говорить, да не смог я промолчать, тяжкий грех это был бы, смертный грех, нельзя такой на душу

брать. И тут я без утайки выложил, как дело было. Но и приврать ничего не приврал. Да и что привирать-то? О русском, что ли? Этот русский сказал мне, будто никому не известно, что́ в этих бутылках находится — яд ли, водка ли, древесный или обыкновенный спирт, какой все пьют. Полон склад этого добра, и лишь поезда ждут в Германию отправить, пускай там как-нибудь сами разбираются. И отобрали этот спирт у разных людей, а потом их расстреляли на месте, потому как немецкой солдатни много от этой выпивки жизни лишилось, полно кладбище набралось. И яд тот от настоящего спирта отличить невозможно — и вкус, и цвет, все как надо быть. И спирт тот эти люди продавали бутылками, по триста марок за литр брали. И хорошим спиртом они торговали, и яд, однако, примешивали. И русский сказал мне, что, будь я немцем, ни слова бы он не проронил. Вот как он мне сказал. А после того вдруг исчез: наш каптер пришел и давай орать что есть мочи. Каптер всех нас созвал, предупреждать принялся, что, мол, пока не поздно, не смейте спирт покупать. И пить его не вздумайте, потому как спирт древесный, ядовитый и много немецких солдат от него на тот свет отправилось — вот как, мол, русские партизаны с немцами расправляются. Стал он меня расспрашивать, чего этому русскому от меня понадобилось. Тут я объяснил, что это был человек со склада, ну каптер и отстал. А еще каптер рассказал нам, какая это страшная отрава. Выпьешь, говорит, двести граммов — ослепнешь, а пол-литра — кишки все как есть выест и через два часа с жизнью прощайся. Вот и все.

Долго молчали мои дружки, долгонько-таки молчали. И тут Яно облапил бутыль, откупорил ее и понюхал. «Как есть чистый спирт»,— говорит и передает бутыль соседу. И так дошла она, бутылочка, до меня, я тоже понюхал — и не в первый раз — и тоже сказал: «Чистый спирт, как есть спирт!» И снова мы замолчали. Никто от воза не отошел, никто не заговорил. Сидели мы будто домовые, а бутыль посередке. Не видно ее было, однако все знали, что тут она. И это было самое страшное. Что она в себе затаила? Радость или смерть? Смерти мы не боялись. Пить так уж до дна. Часовой высморкался. Он не из нашей деревни был. Высморкался еще разок, быстро слез с воза, и след его простыл. Он плакал. Он был не из нашей деревни и не из соседней. Он плакал. Унизительно это было. Ночь, солдатские слезы — и войне конца не видно. Все вдруг на меня навалилось, и мне стало боязно, что не станем мы пить, все выльем. «Страшно-то ему как! — сказал Яно.— Страшно!» Часового не слыхать было. Он не из нашей деревни и не из соседней был, и я знал, что о нем все думают то же самое. И мне стало еще страшнее. И Яно тоже боялся, потому что деревянным голосом сказал: «Надо написать письмо. Каждый пусть напишет письмо». Но сказал он это так, что всякому стало понятно: сам он ничего писать не станет. «Домой?» — «Да, домой написать. Жене». Он все еще говорил этим деревянным голосом, и я понял, что он о жене не думает. «Темно!» — «Да, темно!» Мы понимали, что о жене и ни о чем другом думать нам нельзя. Можно только о том, что стояло посреди в бутыли, оплетенной камышом, который шелестел, если взяться за ручку. Мы должны были думать об этом и о войне, которой конца не видно, о бутыли и о войне! То и другое было крепко связано меж собой: бутыль могла нас от войны на несколько часов или навеки избавить, и потому стоило посидеть на возу и подождать, пока не расхрабрится кто-нибудь. Ни так ни этак проиграть мы не могли. Всякий это знал, и потому спокойненько мы сидели и никто не жаловался на холод, никто не удивился шагам в темноте и тому, что кто-то подошел к нашему возу. «Это я!» — сказал часовой. Он мог себя и не называть. Мы и без того знали, что он вернется, к нам на воз подсядет и будет с нами, что никуда не денется. Нашел он свое место, и его никто не прогнал. Мужик, значит, что

надо! Теперь он стал наш, связанный с нами, как рука с телом, и Яно теперь не посмел сказать, что нас пятеро и что на каждого пришлось бы больше, будь нас четверо. Этого Яно не сказал, ведь он тоже мужик что надо! В нашей батарее таких много, слов нет.

И Яно из нашей деревни опять схватил бутыль, и плетеный камыш зашуршал. Я все хорошо слышал. Откупорил Яно бутыль, понюхал еще раз и сказал: «Чистый спирт!» — и на старое место бутыль поставил. Голос у него был как всегда. Потом Яно резко сказал: «Начинай!» Он это мне сказал, никому другому не мог сказать, и все правильно его поняли. Первому выпить полагалось мне. Осенил я себя крестом второпях и порадовался, что ночь сейчас и никто не видит, а то еще подумали бы, что я боюсь. Я уже притронулся к бутыли, а часовой и спрашивает: «А попрощаться нам не надо?» «На это времени хватит!» — сурово ответил Яно. И ясно стало, что он никому уклониться не позволит, потому как сам боится, что испугается и сбежит. «Конечно»,— сказал я, голос мой дрожал, и я объяснил ребятам, что бутыль я должен держать крепко и что ни слова не могу больше произнести. Дыхание у меня сперло, словно я предчувствовал, что в бутыли спирт древесный и такова воля божья... и начал пить. Показалось мне, что долго очень я пью, и я остановился. Дружки мои молчали. Перепугала меня эта тишина, а может, этой ночи я боялся. Не знаю почему, но никто бутыль у меня не просил, и тут мне страшно стало: бросят они меня да и уйдут. И боязно мне было еще, что выпил мало. Этого я боялся больше всего. Много спирта мимо пролилось, подбородок мой стал весь мокрый. «Пресвятая богородица!» — только сказал я да подумал еще, что ослепну, а этого уж никак нельзя было допустить. И тут я чуть не расплакался, поднял бутыль, снова пить стал и все пил бы и пил, пока Яно не вырвал бутыль из моих рук, и, когда мы с ним сцепились, он сильно толкнул меня в грудь, но сказать я ничего ему не посмел, чувствовал, что сделал я что-то не по-товарищески. И стало мне очень грустно.

Пил Яно, пил следующий. Камыш все шуршал. Слышать это невмоготу мне было, особенно когда булькал этот спирт в чужой глотке. Я пить хотел, хотел пить, а они мне не давали. «С тебя хватит!» — «Не пейте, помрете ведь! Это спирт древесный, я знаю, я его принес и знаю». Слова эти меня очень радовали, и оттого я их повторял. Приятно было их повторять. «В рожу получишь! Перестань!» — пригрозил мне Яно. «Не пейте, братцы, помрете ведь. Это древес...» И тут Яно дал мне в морду и сказал что-то вроде: вот, мол, тебе по заслугам. «Ты мужик что надо, Яно, но тебя это не спасет, все равно вместе со мной помрешь. Ты себя в жертву принес, чтобы я один не остался. Ты знал, что я все равно пить буду, если остальные даже откажутся. Но как дошел до этого часовой? Он не из нашей деревни, не из соседней — и умрет вместе с нами. Это несправедливо! Не дежурь он сегодня на посту, мог бы спать, а вместо него кто-нибудь другой отдал бы богу душу. Несправедливо это! Он не из нашей деревни и даже не из соседней...» — «Замолчи!» — «Дай мне в рожу, может, это меня от греха спасет. Я вижу, нельзя было с собой смерть приносить, а раз уж я принес ее, все один и выпить должен. Стреляйте в меня, ребята! Пальните в меня, как в бешеную собаку, я не пикну! Буду словно истукан стоять».

Часовой отпил, поставил бутыль рядом со мной. Я потряс ее. Спирт булькал совсем на донышке. Им было боязно, как и мне, ослепнуть. В голове моей все затуманилось, внутри становилось все приятней и жарче. Этот жар, должно быть, и была смерть, и через два часа я помру, когда он по всему телу разойдется... Батарее нашей и всем словацким солдатам на Восточном фронте крышка. Хоть этого никто из них и не знает, но это истинная правда. И нам лучше, чем прочим. Мы смерть сами выбрали. Жар в желудке — это она и есть, жар, который по всему телу

растекается. Других разорвут снаряды, передавят русские танки. Заодно и немцев в кашу превратят. «В лепешку!» — произнес Яно.

«В кашу!» Яно — дубина, так говорит человек, которого я ненавижу. А кто он? Батарея спит, все солдаты спят и не знают еще, что уже умерли. Надо было бы их всех разбудить да сказать им об этом. Как я радовался, что никто не шевелится, и мне тоже двигаться не хотелось. Хорошо было в повозке сидеть. Эта повозка моя, и каждый в своей сидеть должен. А откуда часовому свою повозку взять? Он из орудийного расчета, и потому нам пришлось оставить его здесь. Почему же я не пьян? Древесный спирт допить надо, что осталось — между всеми поровну разделить, ослепнуть нельзя никому. Такая беда будет похуже бесконечной войны. Вот мы и допили. Туман в голове рассеялся, из желудка по телу ползла горячая смерть. А когда мы все прикончили, Яно бутыль бросил, и она разбилась. Тут я понял: что Яно ни делает, все хорошо, ведь он из нашей деревни был. И в это время кто-то из нас забормотал. Я не знаю, что это было. Боль? Нет, это была песня. Пел Яно, и мне одернуть его пришлось. «Перестань, Яно, мертвые не поют!»

Он меня не послушал, пел нашу песню дальше, песню без слов, знакомую, и плакать от нее хотелось. Я тоже не помнил ее слов. И вдруг я все понял. Наш Яно мужик что надо! Не пел наш Яно — он молился. Он из нашей деревни был. Молился он, был душой в нашей деревне, в лугах, на сенокосе. С незапамятных времен бежал там ручей, вербы склонялись над ручьем, и я чувствовал, как над Яно склоняется его жена. И потому я хотел подойти к нему; и дойди я до него, в лугах увидел бы и свою жену. Но это было далеко, и никакие силы не могли меня туда доставить. Где Уршула с Урной? Где кони мои добрые? Никого здесь у меня нет, я один и один помру. Чрево мое горит, того и гляди лопнет, горячо у меня и в груди и в боках. Жар подступает к горлу, но недавно еще в голове стояли туманы, и в ней пока прохладно.

Кто-то поет.

Чрево мое! Чрево мое болит, вот-вот лопнет. И откуда тут дерево взялось? Надо его обнять. Кто-то хочет, чтобы я лег на землю, а я не могу — это ведь смерть. Нет еще, нет! Я не хочу умирать! Умирать один не хочу! Позовите ко мне Яно! Яно из нашей деревни! Яно! Яно!

Не хотят держать меня ноги, и нет здесь ни единого деревца. Здесь вербы, луга и кто-то колышет траву. Кто колышет траву в лугах? Поет женщина, это жена моя поет и колышет траву в лугах. И я должен пойти к ней, и я верю, что мы еще встретимся.

. . . . . .

Мертвые не поют!

. . . . . .

А ведь кто-то поет...»

. . . . . .

Молчуны сидят у окопов и заглядывают в них, словно в собственные могилы. Виктор Шамай смотрит с презрением на товарищей, думая: «Вы боитесь, потому что смерть вас еще не коснулась. У меня уже все позади».

■

Тут подскакали два всадника: командир дивизиона капитан Рудаи со своим ординарцем.

— Пан поручик Кляко!

Капитана отвели в командирский блиндаж.

— Servus, поручик, servus, Янчи! Как поживаешь? Как медведь, на-

стоящий медведь, только медку маловато,— быстро сыпал капитан словами, пожимая руку изумленному Кляко и похлопывая его по плечу.

— И ты еще жив? — приветствовал Рудаи Кристека, но более холодно и тут же сухо добавил:— Мне нужно поговорить с командиром батареи, пан поручик Кристек.

— Пшел вон, словом. Понимаю.

— Ну, ну, пан поручик! — тем же веселым дружеским тоном, что и в разговоре с Кляко, остановил его капитан.— Ты сам понимаешь, что есть дела, которые...

— Да, есть такие дела, вот я и уберусь к дьяволу, и очень мне хотелось бы знать, повлияют ли ваши дела на ход войны. До свиданья! — И поручик Кристек с руганью вышел из блиндажа. Он отвык двигаться, вечно сидя за столом или валяясь на нарах, и походка его стала неуверенной, словно у пьяного.

Рудаи посмотрел ему вслед.

— Какой он чудной!

— Несчастный.

— Ну, а ты, поручик, ты, Янчи, как поживаешь? Ну, говори же! Бородку отпустил. Я,— он обнял Кляко за плечи,— я даже стал подумывать, не приказать ли всем офицерам подразделения отпустить бороду. Бородку à la Кляко. Вот здорово-то было бы!

— Pardon! Сегодня утром я видел двух сорок.— В дверь вошел Кристек.— Двух обыкновенных сорок. Плевали они на войну. Они перелетали с дерева на дерево, с дерева на дерево...

— Да-а,— растерянно заметил Рудаи.

Кристек громко захохотал и снова вышел вон.

— Чудной какой-то! — сказал капитан, потом долго молчал и наконец заговорил, понизив голос: — Янчи, я приехал по очень важному делу. Сегодня ночью мы отступаем. Командование дивизии и нашего полка упаковало чемоданы уже с утра и отбыло. Сам понимаешь: начальство — это начальство. Собирайся и ты, да поскорей. Солдат на НП не забудь! Отзови их оттуда. И отзови мигом. В четыре часа надо выступить. Времени у тебя осталось больше четырех часов. В шесть часов вечера на перекрестке тебя будет ждать мой адъютант. У него ты получишь дальнейшие инструкции. Как настроение у солдат, Янчи?

— Великолепное, блестящее настроение! — огрызнулся Кляко, которому что-то не понравилось в тоне капитана. Он еще не понимал, где тут собака зарыта, но запах одеколона, которым разило от Рудаи, раздражал его.— Ребята ждут не дождутся, когда к ним приедет генерал или кто-нибудь из этих сумасшедших гардистских министров, они с наслаждением перережут им горло. Чик-чик — и готово!

— Янчи, ты преувеличиваешь! Ты всегда преувеличивал. Но, говоря откровенно, я потому сам и приехал, что по телефону нельзя было все сказать. Сам понимаешь, ситуация не из розовых. Ростов, того и гляди, падет. Мы ждем этого с минуты на минуту. Да, да, Ростов! И под Сталинградом что-то неладное творится. Но у этих швабов разве что выведаешь? Сам ты, Янчи, понимаешь, когда русские захватят Ростов, нам будет отрезан единственный путь для отступления. И потому начальство и запаковало чемоданы еще с утра.— Рудаи вытер потное лицо.— Ты сидишь здесь, будто медведь, знать ничего не знаешь, но я могу тебе сообщить, что весь Кавказ поднялся, все дороги с востока забиты отступающими войсками. Тут и немцы, и румыны, будто их черти какие гонят. Своими глазами видел. Иначе я бы и не поверил. И вдобавок скажу — не проговорись только, Янчи,— даже на самолетах армию вывозят. На аэродромах до драки дело доходит. Солдаты стреляют, конечно, каждому хочется стрекача задать, потому что вокруг все горит. И немцы дерутся с немцами, румыны с немцами, крошат друг друга, будто на

гуляш. И ты, повторяю, отзови своих с НП, только живей. В шесть тебя будет ждать на перекрестке мой адъютант, потому что... Не закуришь ли, Янчи? У меня отличные сигареты, швабы последнее время расщедрились, полные штаны наложили, понимаешь? Один капитан дал мне две коробки, говорит, из генеральского пайка. На, бери! Что я стану тебя оделять, как мачеха, возьми всю коробку! Генеральские! У нас в последние дни была буря — говорить не хочется! Наш генерал, этот старик, со швабами поцапался, дело до драки чуть не дошло. Я в генштабе узнал, там у меня знакомый есть, может, и ты его знаешь. Такой высокий щеголь, с усиками, майор Кисена. Не знаешь? Понятное дело, откуда тебе всех знать, когда ты здесь торчишь, будто медведь, и холишь свою бородку. Твое право! О нашем отступлении немцы и слышать не хотели. Через три дня, мол. Считая с нынешнего дня, через три! В своем они уме? Ну, скажи. Но наш старик молодчина. Поднял крик и отбился, дескать, после этого он за армию не ручается, она и сейчас уже разложилась, и за эти три дня могут произойти такие события, о каких он и подумать боится и говорить вслух не осмеливается. Немцы перепугались, потому мы сегодня ночью и выступим. Мы сосредоточили наши войска где-то на юге Украины, туда должны прибыть и новые пополнения, со стариками ведь просто сладу не стало. Их надо сменить, чтобы перед немцами нам не осрамиться. Не осрамиться, Янчи!..— И Рудаи уставился на бородку Кляко.

Но Кляко едва не расхохотался ему в лицо, он не поверил ни одному его слову. Да и как поверить! Напрасно искать здесь и в окрестностях хоть какие-нибудь признаки, подтверждающие слова Рудаи. Последние недели на этом участке фронта стояло затишье. С НП не поступало никаких сигналов. Словаки отойдут на Украину. Оттуда рукой подать до Татр. Но здесь не верится, что существуют на свете такие горы. Следовало бы обрадоваться этим новостям, повеселеть, а Кляко не может. Да и чему радоваться, он не знает. Он забыл обо всем на свете. Нет прошлого, ничего нет в настоящем, кроме зеркальца, бородки и скучного лица Кристека. Скучного, нагоняющего уныние Кристека, который не поддается никаким уговорам, не желает и пальцем шевельнуть и торчит целыми днями на одном месте. Заживо гниет, скоро и следа от Кристека не останется. Почему же притих Рудаи, эта надушенная сорока с капитанскими петличками, почему он больше не трещит: «Янчи, Янчи!» Почему эта сорока рассыпается в любезностях, почему дарит сигареты из генеральского пайка? «Для него я всегда был только пан поручик Кляко. Но я понимаю, он приехал, чтобы выставить меня отсюда. Сейчас он скажет, что все это неправда, что он хочет меня подтянуть. Потом отправится на огневые позиции, начнет там гонять солдат и меня за эти окопы. А я знать не знаю, ведать не ведаю, зачем они вырыты. Он распорядится их засыпать. «Прикажите-ка их мигом засыпать, поручик Кляко! Что за свинство? Удивляюсь, как вы это терпите. Мигом засыпать!»

— ...болело, но старику пришлось согласиться. Ничего не вышло. Немцам эти восемь пушек нужны позарез. Когда наш командир получил предписание, он начал ругаться на чем свет стоит. Впрочем, ты его знаешь. Говорят, он метался по блиндажу, как тигр, и кричал без умолку: «Восемь пушек! Кого я им дам? Восемь пушек! Кого я им дам?» Наконец он вспомнил о тебе. Ты говоришь по-немецки, человек молодой, младше всех по чину, так что... Тебе не повезло, Янчи. Я говорю все откровенно. Сегодня в шесть на перекрестке ты найдешь еще четыре орудия с прислугой и двумя офицерами запаса. Это третья батарея нашего полка. Ты присоединишь ее к своей и будешь командиром сводной батареи. Понятное дело, тебе мало радости от этого, но ничего не поделаешь. На перекрестке тебя будет ждать мой адъютант и немецкий офи-

цер. Кроме того, должен предупредить тебя, что сводная батарея подчинена немецкому командованию. Наш старик просил тебе передать, чтобы ты над этим не ломал голову. Истратишь все снаряды, новых тебе в этом хаосе не доставят, и ты отправишься за нами вслед. Я считаю это разумной точкой зрения, вполне разумной. И старик со мной согласен. Да, чтобы не забыть, Янчи. Не утруждай себя, не ломай над этим голову!

— Я это, кажется, уже слышал.

— Так. Servus, Янчи. Я поехал,— сказал капитан, протягивая руку, но Кляко отвернулся.

— Не задерживайтесь, пан капитан. Скачите скорей упаковывать свои чемоданы.— И Кляко вдруг взревел:— Ну, чего вы еще ждете?

— Я понимаю тебя, Янчи...

С этими словами капитан выскочил из блиндажа.

Кляко стоял выпрямившись, с каменным лицом и не шевельнулся до тех пор, пока не услышал топота двух скачущих галопом коней.

Когда он вышел из блиндажа, Кристек сидел на дышле.

— Эх, мальчик, мальчик!..— сказал Кляко, постояв рядом с Кристеком. «Надо приказать ему построить батарею. Прикрикнуть, что ли, на Кристека! Да он все равно не подчинится. Двенадцать часов восемнадцать минут. Времени терять нельзя». Кляко повторил со вздохом: — Эх, мальчик, мальчик! — поднес руку к губам и закричал, словно в рупор:— Батарея, стройся!

Построение заняло меньше минуты.

— К вам разве мой приказ не относится? — громко крикнул Кляко каптенармусу, который выглядывал из повозки. Кляко подождал, пока каптенармус встанет позади Чилины.

— Лукан!

— Здесь!

— Возьми трех солдат, пустые катушки и сними линию, что ведет на НП. Но предупреждаю, будь здесь в половине четвертого, хоть сдохни. Шагом марш!

— Слушаюсь!

— Кореник!

— Здесь!

— Марш к телефону и сообщи ребятам на НП, чтобы сматывали удочки и шли сюда. Немедленно!

— Слушаюсь!

— Вахмистр Чилина!..

■

К трем часам батарея была готова выступить, а через несколько минут вернулись связные с мотками провода. Пришел с НП и поручик-запасник, служивший у Кляко уже второй месяц. Раньше он был учителем. Его голова была голой, как колено, и он утверждал, что в семье у них все такие же лысые.

Один поручик Кристек сохранял сдержанное достоинство. Он никого не искал, чтобы поделиться своими мыслями. Мысли его были печальны, приходилось покидать места, где он сумел отгородиться от внешнего мира. А сейчас эту стену беспощадно разбили, и на него обрушился поток человеческих голосов, замелькали какие-то скучные картины. Вокруг было светло, не то что в полумраке блиндажа — батарея готовилась выступить в поход. Куда? Зачем? В конце концов все это узнают, и это так же важно, как конская моча. Вообще все вокруг провоняло конской мочой. Провоняли одеяла, повозки, деревья и даже люди.

И после этого говорят... что, собственно, говорят? Пожалуй, лучше всего будет в той повозке, с тем солдатом...

— Как тебя звать?

— Виктор Шамай. Ездовой Шамай...

Кристек прикинулся, что это говорит ему очень многое. Он забрался в повозку, сел и опустил голову на руки.

— Пан поручик, это мы домой собрались?

Они почти не знали друг друга. Молчун Шамай повторил вопрос и, не получив ответа, не обиделся. «Домой идем, наконец-то домой! Через шестнадцать месяцев домой! Эти сборы ничего иного не могут означать. Когда отдают такие приказы, они ничего другого значить не могут. Батарея не попадет под суд! Окопы батарее не понадобятся. Как вдруг все может измениться! Идем домой. Все солдаты так считают, и вахмистр Чилина на что-то такое намекал. Домой!»

— Солдаты! — Кляко вздумал обратиться к своим подчиненным. Конь становился на дыбы. Его давно не седлали.— Солдаты! Мы отступаем. Отступает вся словацкая армия, она идет на Украину, но нас оставляют под командой немцев, нам предстоит воевать и дальше. Я знаю, о чем вы думаете, и я, ваш командир, думаю то же самое. Я знаю, для чего вы вырыли окопы на огневой позиции. И я понимаю вас. Солдаты! Вы все должны отдавать себе отчет в том, что с этой минуты мы предоставлены сами себе и никто нам не поможет. Я требую от вас строжайшей дисциплины. Запрещаю вам какие бы то ни было знакомства с немецкими солдатами. Не говорить с ними ни слова! Мы онемеем. Мои слова относятся и к офицерам и к унтер-офицерам! Того, кто ослушается, я пристрелю на месте собственными руками. Но я вам верю. Рядовой Лукан.

— Здесь!

— Вести переговоры с немцами разрешается поручику Кляко и рядовому Лукану. И еще: к вам присоединятся солдаты третьей батареи. И пушки. Распоряжение относится и к ним. Вы должны вбить им это в голову. Да приглядывайте за ними. Мы не знаем этих людей. Мы должны обезопасить себя на марше. Вахмистр Чилина!

— Здесь, пан поручик!

— Чередовать: их орудие — наше орудие. Повозки тоже. Вы меня поняли?

— Так точно, пан поручик!

— Шаго-ом марш!

Кляко ударил коня в пах и поскакал в конец колонны.

Батарея тронулась. Солдаты шли молча, как убитые. Лишь поскрипывали повозки, визжали немазаные колеса да слышались крики ездовых.

Колонна уже скрылась в высоком густом лесу, а на огневой позиции все еще метался поручик Кляко. Он кружил вокруг груды оставшихся снарядов. Их хватило бы на четыре повозки. Может, нужно было разгрузить здесь еще несколько повозок? Нет! Сводная батарея подчинена немецкому командованию. Нельзя рисковать, рисковать чересчур явно. Он пустил коня рысью, чтобы догнать ушедшую вперед батарею, хотя и знал, что для него нет возврата. В конце концов, он желал этого! Заткнуть рот негодяю и трусу Кляко! Отрезать путь к отступлению трусу и негодяю!

К перекрестку они прибыли около шести часов. Было уже темно. Все произошло точно так, как говорил надушенный капитан Рудаи. И третья батарея ждала, и четыре орудия были, и немецкий офицер. Все было так, как говорил надушенный капитан, кроме двух незначительных мелочей: немецкого офицера сопровождали двадцать немецких верховых солдат, а в хвосте бывшей третьей батареи катилось двадцать

шесть повозок со снарядами. Кляко трижды проклял капитана, трижды проклял себя, но легче на душе у него не стало. Полетел к черту весь план. Он все равно вынужден возглавить сводную батарею, дать ей команду, погнать вперед и поехать во главе ее. Впереди потянулась дорога, запруженная отступающими войсками.

Кто-то его окликнул. Или ему это только показалось?

— Пан поручик...

— Чилина?

Вахмистр подошел ближе и процедил сквозь зубы:

— Не получается.

— Вижу. Плюнь.

— Я буду приглядывать за немцами. И ребята пусть глаз не спускают. Черт возьми, мне это не по душе. Мы невезучие, пан поручик.

— Бог нас проклял. Я безбожник.

Чилина вытаращил глаза.

ДАЛЕКОЕ И БЛИЗКОЕ

Зима выдалась снежная. Снег выпал еще в декабре, перед рождеством. Святки и конец года прошли так быстро, что старый Лукан едва успел призадуматься, почему сын Яно второй год не сидит в сочельник за столом со всей семьей. Начались метели и занесли дороги. На шоссе у поворота за деревней выросли высокие белые сугробы, появились глубокие ухабы. Приходилось непрерывно разгребать снег. Лукан работал лопатой с утра до ночи. Он пробивал белую стену, вырезывал большие снежные кубы, сбрасывал их на занесенные вербы у речки. Ее сковали льды, метели замели русло. Только по черным верхушкам ивняка можно было догадаться, где оно проходило летом.

В январе стало полегче. Ложась вечером спать, Лукан прислушивался, не завоет ли опять за окном вьюга. Только от нее одной делалась у него бессонница. Утром он вставал, с лопатой на плече обходил свой участок — от второго правненского километра до Планицы, оттуда до Липин и через все Липины до самого моста. И так ежедневно, весь месяц, и не только потому, что был честным дорожным сторожем, но и из боязни, что за ним следят. Лукан никак не мог забыть обыск в своем доме. Три жандарма и гардист рылись в доме, переворачивали все вверх дном, а начальник гарды Махонь сидел за столом, просматривал бумаги и все повторял:

— Так вы, значит, тот самый сторож? На государственной службе состоите?

■

Было начало февраля 1943 года.

Лукан возвращался со стороны Правно. Он успел побывать в Липинах и навестил директора школы Кляко. Они поговорили, пожаловались друг другу на свои недуги, выпили по рюмочке домашней настойки, и потому сторож шагал сейчас быстро, по-солдатски выпрямившись и подняв голову. Пар от дыхания расплывался в воздухе. На куртке Лукана оседал иней. Под ногами похрустывал снег.

— Добрый день, пан Лукан,— сказал, останавливаясь, догнавший его велосипедист.

— А-а, пан Дриня! Добрый день. Мы, кажется, оба никак не расстанемся с этой дорогой.

Лукан громко рассмеялся.

— Ну, скажете тоже! Что нового в Планице?

— Ничего. Да и что там может быть нового?

— Гардисты вас больше не тревожат?

— С тех пор, слава богу, не были.— И снова смех.

— А сторож Лукан сегодня что-то навеселе.

— Был, был такой грех. У пана директора Кляко согрешил. Я и с вами бы выпил, если бы было что. Зембал торгует спиртным, да я к нему не хожу. Знаете, что он сказал перед рождеством? Незачем, мол, сыну было идти к немцам. Сейчас был бы дорожным сторожем. Это вместо меня. Не Зембал ли и гардистов на меня натравил, чтоб ему пусто было!

— Все может быть.

— Правда! — И Лукан самодовольно продолжал:— Посмотрите-ка, пан Дриня. Сугробы тут были, что твои горы! А я все вот этими самыми руками убрал. Этот поворот когда-нибудь меня уморит. Зимой или летом долго ли здесь до беды? Ну, да ладно! — И Лукан, глубоко вздохнув, выпустил изо рта целое облако пара.— Я все выдержу, лишь бы Яно мой воротился с фронта. Скоро два года будет...

— Воротится, теперь уж ясно.

— Так мне все говорят. Несколько добрых слов никому не трудно сказать, а старому Лукану они по сердцу. Так почему бы его не порадовать? Вот так. А Яно все еще там. Уже вторые святки без него прошли. Он даже не пишет. Как и сын учителя Кляко.

— Вернется. Большие события произошли. Дело такой неожиданный оборот получило, пан Лукан, что он непременно вернется. Через несколько дней все узнаете, попомните мои слова. Ну, до свиданья. Мне некогда.

— До свиданья. Порадовали вы меня. А плохо сейчас ездить на велосипеде.

— Плохо. Дышать трудно.

— Оно понятно.— И помолчав немного, Лукан протянул:— Такой неожиданный оборот дела получили... Чего уж неожиданнее этой войны? Эх, Дриня, Дриня! — Тут он спохватился, что говорит сам с собой.

■

Фарника на мельнице у Пастухи не оказалось. Дриня нашел его дома. Они вышли на улицу, и уже за деревней Дриня сказал:

— Собери-ка членов партии на десять часов вечера!

— Что-о?

— Нет у меня времени тебе объяснять. Неожиданный оборот дела получили. На десять часов вечера собери коммунистов. Только хорошенько обдумай, кого позвать.

— Где я их соберу? Какие такие дела? Что случилось?

— Я еду в Липины, оттуда в Острую, потом вернусь сюда, в Планицу. Сейчас полдень. Между тремя и четырьмя жди меня на шоссе, на этом же месте. Скажешь, где вы соберетесь, и точка. Не забудь!

И Дриня, даже не подав Фарнику руки, с разбегу вскочил на велосипед.

Фарник помчался домой.

— Чего же ты на работу не идешь? — сердито накинулась на него жена.

— Сходи к Пастухе, скажи, что сегодня я не приду. А спросит почему, говори, что заболел.

— Ты в своем уме? Не пойду! Иди сам говори!

— Ну, отправляйся! Живо!

Фарник подскочил к двери и отворил ее.

— Ишь как разозлился! Дай хоть платок теплый взять! И не оставляй дверь открытой! Для кого я печь топлю?

Дочь штопала чулок, украдкой поглядывая на рассерженного отца. Ей было смешно. Но она прикусила язык, потому что отец, стукнув кулаком по столу, воскликнул: «Чертова работа!» — и ушел из дому.

Фарник злился на Дриню. Тот ничего не объяснил ему, так и не сказал, какие такие дела получили неожиданный оборот. Насчет войны, наверно, что-нибудь. А что? Партийное собрание велел созвать. Хорошо этому Дрине распоряжаться! Будто он совсем забыл, что последнее собрание коммунистов четыре года назад было. Ладно, так и быть, соберу! Всего лучше, пожалуй, у Микулаша. У него и то, последнее, собрание было. В десять! Какие такие дела? Радио отобрали, газеты врут, откуда мне знать, что на белом свете творится?

Не было еще и трех часов, а Фарник уже нетерпеливо топтался, поеживаясь от холода, на дороге между Планицей и Липинами, на приличном расстоянии от первого планицкого дома — от каменной мельницы Пастухи. Он ходил, стараясь убить время, и размахивал руками, чтобы согреться. А любопытство все разгоралось. От ослепительно сверкающего белого снега заболели глаза. Фарник один-одинешенек торчал черным пятнышком на белом снегу. Пушистый иней облепил деревья. Стволы были черные. И такими же черными казались деревянные стены планицких домов и липинских хлевов и амбаров. Фарнику видны были обе деревни. Над крышами вился дымок.

Еще засветло подъехал Дриня. Он соскочил с велосипеда, оставил его на дороге, сделал несколько приседаний, разминаясь, и объяснил:

— До костей промерз!

Фарник, весь перекосившийся, съежившийся от холода, стоял, скрестив руки и прижимая оба кулака к подбородку.

— Холодище чертов. Созвал, кх-кх, в десять к Микулашу, созвал, кх-кх...

— До костей промерз.

— Придет шестеро. Надежных, кх-кх. Да ты их всех знаешь. Мината знаешь...

— Черт возьми, никак не согреюсь.

— Да ты меня послушай...

— Дальше говори...

— Что еще сказать-то? Это все, кх-кх...

— Что товарищи говорят?

— Ничего. Раз собрание, так собрание, кх-кх. Я только не знал, что им отвечать, объяснить не мог, зачем собираемся. Неожиданный оборот делу — и крышка! От таких слов никто умней не станет. Что случилось-то?

— В десять придет один товарищ. Ты с ним знаком, не беспокойся. Значит, у Микулаша?

— Где же еще? У меня, что ли? Ты что, жену мою не знаешь? Завтра же утром на всю Планицу раструбит, кх-кх. Одно горе от такого языка, кх-кх.

— До свидания. Ты понимаешь, мне еще нужно до Правно доехать и обратно — в Острую. Дышать просто невозможно на велосипеде. До свиданья! Вечером все узнаешь.— Дриня вскочил было на велосипед. Потом спрыгнул, вернулся к неподвижно стоявшему Фарнику и крикнул: — У фашистов нынче бессонница будет!

Фарник шагнул было к Дрине, хотел побежать за ним, но тот уже подъезжал к деревне, к первому каменному дому Планицы...

■

— Добрый вечер!

Минат вошел в кухню Микулаша.

— Садись! — предложил ему Микулаш.

— Дай хоть человеку кожух снять. Вылезти из него,— сказала Микулашка.

— Сразу видно хозяйку. Она понимает, что к чему.

Минат разделся, подал кожух Микулашке, и та отнесла его в комнату. Минат сел, вынул кисет с табаком и заговорил:

— От своей бабы еле отбился. Пристала: куда? К кому? Подумайте только! В мои-то годы... На кой черт мне бабы!.. Который час? — Он растерянно окинул взглядом стены — часы висели над его головой.— Есть, кажись... где-то тикают.

— Девять.

— А я с семи, да что там! Никак с половины седьмого сидел под часами, все дождаться не мог. Просто ужас как медленно время ползет, когда чего-нибудь ждешь. Полкисета, наверно, выкурил, если не больше. Да разве тут усидишь? Станешь разве бабу слушать? Да ну ее к... взял да и пришел. Фарник наказывал в десять приходить, да уж все равно. Час-другой лишний — не беда. Верно ведь, Фарник? Какие такие дела, что он тебе сказал?

— Неожиданный оборот дела какие-то получили.

— Ну, это насчет... насчет...

— Насчет чего? — накинулись на него.

— У меня голова кругом идет.

— Непременно насчет войны что-то. Непременно. Чем угодно ручаюсь. Ну, да скоро узнаем. Через часок. А кто придет? Дриня?

— Нет.

— Тогда кто же?

— Не знаю,— сердито ответил Фарник.

— Одни тайны. Нельзя хоть узнать у тебя, как мы тут разместимся? Надо бы в комнату, как в тот раз. Когда это было?

— Да-а, конечно. Чтобы табаком всю ее провонять. Там дети...

— Хозяйка! Ты вроде моей...

— Мы все собрались. Больше я никого не звал. Шестеро — ну и хватит. Прежний комитет.

Наступила тишина.

Лампа на столе. Фитиль привернут. В кухне почти темно. Но, приглядевшись, можно различить все лица. Вот у двери в комнату чернявое, небритое лицо Фарника. Тут же, у притолоки, стоит жена Микулаша. Она придерживает дверь за ручку и время от времени заходит в комнату — взглянуть на спящих детей. Она придерживает дверь потому, что закрыть ее совсем нельзя, а напустить в комнату табачный дым не хочется. Между столом и плитой греется прихворнувший Яниска, самый старый из всех собравшихся. На скамье, у задней стены, между Микулашем и Минатом сидят еще Контур с Дулаем, оба чуть помоложе Яниски, хотя обоим уже за пятьдесят.

Все курят, стряхивая пепел на каменный пол, окурки бросают в плиту, горящую жарким пламенем.

— Половина.

Минат оборачивается, смотрит вверх на часы и тоже говорит:

— Половина. Еще полчасика. А если он не придет?

— Придет.

— Может и не прийти.

— Может и так быть.

— Да, понимаю.— Минат прочищает трубку.

— Ты, Фарник, сказал, что мы все собрались, весь прежний комитет...— слышится голос Яниски.

— Самые надежные. За остальных поручиться не могу.

— Мрачко тоже был в комитете.

— Нас достаточно. Шестеро.

— Мрачко — баба! Табак жует, показать себя мужчиной старается, но он баба. Попробуй отличить его среди баб. Не отличишь. Фарник правильно сделал, что его не позвал. Я это одобряю. Не знаешь ты Мрачко, что ли?

— Конечно.

— Ну и помалкивай.

— Принеси-ка мне кожух. Я выйду на улицу,— сказал Фарник жене Микулаша.

Он оделся, нахлобучил шапку на уши и вышел вон.

— Странно,— говорит Яниска.— Не знает, кто придет, а встречать пошел. И темно вдобавок. Ты, Минат, если такой умник да во всем разбираешься, объясни-ка мне... Объясни, как Фарник его узнает, если неизвестно, кто придет.

— Кто это тут умника из себя корчит? — сердито басит Минат.— Выдумываешь все. Выдумывать ты мастер, а сам ни черта не понимаешь. Разве Фарник не сказал Дрине, что собрание будет здесь? Сказал. Так что товарищ знать должен, где Микулаши живут.

— Должен-то должен...

— Ну, вот... Непременно насчет войны что-нибудь будет. Непременно! Головой ручаюсь. Скоро, должно быть, придет. Еще минут двадцать подождем. Я на место Фарника сяду. Буду на часы смотреть. У меня шея уже заболела, то и дело оглядываюсь.— Минат пересел на стул у двери в комнату и посмотрел на часы.— Они правильно идут?

— Да, правильно... И я тоже думаю, что насчет войны речь пойдет. Немцы давно уже стоят на одном месте, а это добром для них не кончится.

— И они мерзнут,— хихикает Дулай.

— Если же речь не о войне, а о чем-нибудь еще пойдет? Тогда как?

— Не знаю.

— А если ничего не будет, если никто не придет?

— Не морочь нам голову, Минат. Сиди и жди.

— Ладно, понимаю...

■

Фарник прошел деревню, но никого не встретил. Жители Планицы спали. Даже в кухонном окне Зембалов было темно. Срубы потрескивали от крепкого мороза. Луна не светила, яркие звезды мерцали на темном, холодном небе. За поворотом дул резкий ветер, покалывал нос. «Не могу здесь стоять. Пойду-ка во двор к Микулашу, там не дует. Прижмусь к стене и увижу всех прохожих. Холодище чертов! Неожиданный, стало быть, оборот! Товарищи, поди, умирают от любопытства. Яниска с Дулаем пришли в семь. Дриню я обидел зря, он о себе совсем не думает. И Мрачко можно было бы позвать, но я не позвал. Если этот мужик не опомнится, неизвестно, до чего он дойдет. С Зембалом его видали. Надо бы его одернуть как следует да напрямик ему все сказать. Когда-то он хорошо служил делу революции». Фарник стал к стене дома Микулашей. Ноги его совсем застыли. «А что, если не придет никто? Хорошо бы валенки надеть. Да где взять?»

На дороге остановился какой-то человек. На белом снегу ясно было видно, как он поглядел по сторонам и, поеживаясь, быстро шагнул к Микулашам во двор.

— Ты кто такой? — спросил Фарник, выходя навстречу незнакомцу.

— Тише ты. Я Крамер.

— А чтоб тебя! Ну, входи же, входи. Товарищи давно ждут. Какие новости ты нам принес?— шепотом спрашивал Фарник, заведя его в сенцы. Он отворил дверь в кухню и пропустил впереди себя Крамера.

— Ба! Да это Крамер! Крамер! Добро пожаловать!— Минат встал и протянул ему руку.— Я на часы гляжу, на двери, все глаза проглядел, думал невесть кто придет. А это ты! Здравствуй!

— Да, это я, всем известный Крамер. Привез новости прямо из Москвы. Из Москвы, повторяю.

— Слышим!

Минат сел, а Крамер тем временем поздоровался с остальными.

— Пусть он отдохнет. Я тебе и чаю приготовила, мой милый. Промерз, наверно. И пальто сними, я в комнату отнесу.— Микулашка взяла с плиты кружку, поставила ее на стол и заметила, обращаясь к Минату: — Мог бы и подвинуться. Человек из Правно пришел в такой холодище. Эх, ты!

Все уселись. Микулаш сходил в сенцы, запер двери на щеколду. Крамер взял кружку в обе ладони, согревая их, потом вывернул фитиль лампы повыше. Все молча следили глазами за его движениями. Микулашка снова стала у двери, придерживая ее за ручку. Для Фарника не осталось места.

— Товарищи! Вот дело какое! Красная Армия... словом, Красная Армия уничтожила гитлеровские войска под Сталинградом. Сначала она их окружила, потом уничтожила.— Крамер достал из кармана на груди бумажник, вынул из него листки бумаги.

— Так и есть — о войне! Говорил я, что разговор о войне пойдет. Ну, послушаем.

Крамер читал по бумажке:

— ...взято в плен двадцать четыре генерала, д-а-а...

— Ох!— И Фарник закатил глаза.

— Среди них, да-да, генерал-фельдмаршал фон Паулюс, командующий шестой армией. Кроме того, взято в плен две тысячи пятьсот офицеров; всего девяносто одна тысяча пленных! Девяносто одна тысяча, повторяю.

— Пресвятая богородица!— Яниска прижал ладонь к горлу.

— Ребята! Запишите! Или ты, хозяйка!

— Не надо, у меня все на машинке отпечатано. Как в книжке. Каждому по бумажке дам и тебе, мамаша. В благодарность за чай.

— Капля чаю-то,— покраснев, сказала хозяйка.

— У фашистов убито больше ста сорока тысяч человек. Вот какие дела!

— Пресвятая богородица!

— Красная Армия захватила тысячу пятьсот пятьдесят танков, семьсот пятьдесят самолетов, шесть тысяч семьсот орудий, свыше шестидесяти одной тысячи автомашин, пулеметы, минометы, девяносто тысяч винтовок, словом, почти столько же, сколько солдат, и мотоциклы, радиостанции. Повторяю: это было грандиозное сражение. Эти цифры сами за себя говорят. Мамаша, вот тебе листок. Тебе первой. Раздай товарищам.

Хозяйка раздала листки, и все стали проталкиваться поближе к лампе. Яниска сидел за столом. В одной руке он держал листок, другую прижимал к горлу.

— Мне сразу все подозрительным показалось. С самой осени в их газетах только о Сталинграде и писали.

— Умник! Всегда умника из себя строишь. Скажи еще, что ты этого ждал.

— Товарищи! Еще не все. Красная Армия начала наступление на всех фронтах. Фашистов прогнали с Кавказа.

Но никто уже не слушал Крамера. Он мог говорить все что угодно, все глядели только в листовки.

— Что такое, товарищи! Соблюдайте порядок! Все сядьте. Товарищ Крамер еще не кончил говорить.

Глаза Фарника блеснули.

— Сядем, сядем! Слушаем! Во всяком случае, событие важное. Мы слушаем.

— Это торжественный день! Весь мир радуется, а я больше всех, потому что я немец. И Германия когда-нибудь свободно вздохнет.

— Ну, товарищ, какой же ты немец?— Минат встал и подошел к столу.— Ты старый коммунист, хороший человек, насколько я тебя знаю. Разве ты немец? Что ты такое мелешь?

Крамер удивился. Он вытаращил глаза на Мината и покачал головой.

— Поглядите на него, на этого немца...

— Что ты к нему пристал? Почему не садишься? Мы — интернационал. Вот кто мы! У Бела Куна на всяких языках говорили, друг друга не понимали, но все вместе были интернационал. Что тебе надо? Что ты не садишься? Умника из себя строишь, а такой простой вещи не понимаешь. Ты, Крамер, дорогой мой, сказал, что взяли в плен девяносто одну тысячу фашистов. Просто даже не верится.

— Москва по радио сообщила. Уже второй день по радио передает. Весь мир может слушать.

— Значит, все верно. Теперь я доволен. Крамер, ты Мината не слушай. Ты такой же, каким и раньше был. Главное, что ты наш. У Бела Куна тоже так было: ты за революцию или против нее. Больше ни о чем не спрашивали. Но все и так было ясно. Я порядок знаю. Только неизвестно мне, что нам сейчас делать. Объясни, коли знаешь. Ведь делать-то нужно что-нибудь и нам.

— Нужно, конечно.

— А что?

Крамер притих. В его ушах еще звучали слова Мината. Но он не ожидал такого вопроса. И сам себе его не задавал. И некогда было осознать, что он немец. Он чуть не сошел с ума от радости, не мог трезво рассуждать. «Хладнокровные люди, эти жители Планицы. Деревенские люди тугодумы. Но когда раскусят, в чем дело, на одном месте уж не топчутся. «Мы выслушали тебя. Спасибо. А теперь пораскинем мозгами, что делать дальше?» Что же дальше делать? Что? Скажем, спросят об этом Дриню. Или остальных. Как и что отвечать? У товарищей может сложиться впечатление, что все опять по-прежнему стало, что партией кто-то руководит, что все идет своим чередом... А на самом-то деле... у нас нет никакой связи с центром. И мы не так уж много сделали сами. Каждый жил в одиночку, каждый старался выплыть, как умел. И я пришел в отчаяние. Кто не отчаивался, кто не боялся? Как страшно было в прошлом году! Как ужасны были эти бесконечные ночи! Теперь все изменилось. Нет, не все. Обстановка все та же, но дышать стало легче. Подполье еще существует, кое-что нужно изменить в нашей работе, ведь теперь фашисты усилят террор. Что же еще им делать? Что еще фашисты могут теперь предпринять? А я — немец! «Ты старый коммунист, хороший человек, насколько я тебя знаю». Выходит, что я не имею права быть коммунистом, что ни один немец не имеет права быть человеком. Но ведь я не такой, как Киршнер, я могу смело смотреть этим людям в глаза. Перед ними стыдиться мне нечего. Я не таков, как Киршнер, нет, не таков!»

Все не сводили с Крамера глаз, ждали, когда он заговорит. И он начал:

— Товарищи! Мы должны бороться, да-да, бороться за людей. Ты, мамаша, будешь работать среди женщин. Среди женщин, повторяю. А вы должны привлекать на нашу сторону мужчин. У нас в руках все козыри. Вся Планица должна стать нашей.

— Хоть бы немного оружия, Крамер! Ничего не будет? У Бела Куна...

— Замолчи! Мы слушаем Крамера.

— Умник! У Бела Куна много не разговаривали: брали винтовку и шли, а я спрашиваю, чтобы всем было ясно.

— Да, правильно. Со временем дело дойдет и до оружия. Но прежде всего, говорю, мы должны привлечь на свою сторону людей. В деревнях, в городе, всеми доступными нам способами. Работы будет по горло. Мы должны действовать с умом, должны действовать, как наши действовали под Сталинградом. Собирались долго, зато прямо в лоб немцев стукнули.

— Большевистская тактика! Я все думал, что с этой войной какая-то промашка вышла. Нет, не вышла. Все дело в тактике,— сказал Фарник, выйдя на середину кухни. Затем он подошел к дверям в сенцы.

— Крамер! — сердито воскликнул Дулай.— Почему же в газетах ничего не пишут? Такое дело ведь не утаишь.

— Хорошо, что ты об этом напомнил. Чуть не забыл. Сегодня вечером и фашистское радио сообщило наконец о поражении армии Паулюса. Завтра все, должно быть, появится и в их газетах, да. Фашисты объявили траур.

— Траур? Иди ты к черту!

— И знаете, как этот траур называется?

— Ну, как?

— Национальный траур. Полуспущенные знамена, никаких кино, театров, никаких развлечений. Национальный, повторяю. Значит, война идет к концу. Гитлер положен на лопатки, ему конец пришел! Теперь все под горку покатится. Фью-у — и трах! И все кончится еще в этом году.

— А знаете, ведь Минат, может быть, и прав? Крамер, дорогой, неужто оружия никакого не будет? У Бела Куна долго не разговаривали, там...

— Тише! Словно в корчме! — прикрикнул Фарник.

— Я только хотел сказать...— начал было оправдываться Яниска, показывая на Крамера.

— Товарищи! — Микулаш встал.— Завтра все поедем в Правно. Все до одного! Фарник выпросит у Пастухи коней и сани, и мы съездим в город. Очень мне любопытно поглядеть на фашистов. И на их карту. Да они все теперь попрячутся. Я просто с ума сойду от радости.

Микулаш уже ни в чем больше не сомневался.

— Можем и поехать. Коней я у Пастухи выпрошу. И сани. Он даст. Я что-нибудь придумаю.

— Но никаких провокаций, товарищи! Никаких провокаций, повторяю. Мы все еще в подполье.

— Конечно! Чего ты боишься? Но я не я буду, если хоть один из них покажется на улице!

— Милый мой,— озабоченно спросила жена Микулаша, положив руку на плечо Крамера.— А что я должна с женщинами делать?

— Вот что нужно, мамаша...

Фарник прислонился к двери, его щетинистые брови нахмурились. Он уверял сейчас себя, что ждал такого известия с первого дня, с тех пор как стоял на площади в Правно, когда пришел Дриня с газетами и сказал: «Через месяц здесь будут наши. Готовьте красные флаги». Он этого ждал. Был уверен в победе, и сегодняшний вечер должен был когда-нибудь наступить! Не сегодня, так через неделю или через месяц, но наступил бы. «Дело решила тактика. Все сделала большевистская тактика: собирались долго, зато прямо в лоб немцев стукнули. Мощь немецких армий разлилась, как вода по площади в Правно, и потеряла свою силу. Существуют такие законы. А ведь Дриня о себе совсем не

думает. Он человек умный. А я его обидел. Когда завтра мы поедем в город, постараюсь увидеть Леммера. Только увижу ли? Теперь его барабаны меня не испугают. Что видит Леммер в будущем? Видит ли он свою старость, своих детей взрослыми? Нет, не может он ничего этого видеть! Теперь он ничего не может видеть в будущем, как раньше Микулаш не видел. Как Микулаш! В этом году все кончится, в этом году наступит мир! Леммер ничего не может видеть в будущем, бедняга Леммер! Леммер — бедняга! Леммер... а все дело в тактике...»

КОМАНДИР ЖЕЛЕЗНОЙ РОТЫ

Они шли всю ночь и часть дня. Кругом все замело. Они сделали привал на снегу и затем шли еще одну ночь по дороге, забитой отстающими войсками. И под утро, когда уже брезжил рассвет, вошли в переполненный солдатами город. Воинские подразделения располагались на улицах, во дворах. В большом парке рубили деревья и разводили костры.

Порывы ледяного ветра крутили и рвали огонь, и языки пламени метались и взлетали клочьями, исчезая в воздухе. Солдаты грели над огнем почерневшие обмороженные руки и топали, согреваясь, словно табун подкованных лошадей. Злобно звучали хриплые голоса. Солдаты садились орлом там, где стояли, и это казалось совершенно естественным, никого не возмущало. Окружающие равнодушно смотрели на свежие испражнения, и если кто-нибудь говорил: «Дизентерия! В госпиталь не возьмут!» — так и на это не обращали внимания.

Середина улицы была свободна, и по ней шли войска. Кляко ехал верхом. Он посинел от холода, но продолжал сидеть на коне. Перед ним был страшный суд, иначе этого не назовешь. Он отдал бы несколько лет жизни, если бы мог воскресить Виттнера и показать ему этот город. Поражение! Разбитая армия похожа на престарелую пьяную проститутку, которая вышла на улицу.

В этом городе не было видно начищенных сапог. Шагали тысячи ног, завернутых в тряпки, двигались тысячи голов, закутанных в шерстяные платки. Головы эти казались нечеловечески огромными. Определить воинские звания этих людей было невозможно. Немногочисленные военные в меховых пальто могли быть офицерами, могли быть и из полевой жандармерии. Но и над меховыми пальто тоже торчали огромные головы.

На доске висел клочок бумаги с черепом над скрещенными костями и с надписью: «Не пейте спирт, опасно для жизни!»

— «Не пейте спирт!» В этом городе все обезумели,— вслух произнес Кляко и рассмеялся так, что зеваки, стоявшие на тротуарах, могли подумать, что он сошел с ума.

Порывы ледяного ветра насквозь прошивали окоченевшее тело Кляко, но он не замечал этого, не думал о застывших ногах. Его удивляла картина всеобщего разложения, он никогда не предполагал, что оно может быть столь всеобщим, таким многоликим в своих проявлениях на таком ничтожном пространстве.

Этот хаос распада восхищал Кляко, ибо его самого он не захватывал. Он был здесь посторонним зрителем, окруженным врагами. Его больше не злило, что сводную батарею сопровождают два десятка немцев и что ему так и не удалось бросить где-нибудь по пути хотя бы еще одну повозку с боеприпасами. Он даже и не пытался это сделать. Еще ночью он приходил от этого в отчаяние, он приходил в отчаяние от всего только потому, что ночь мешала ему видеть многое. Двадцать шесть повозок со снарядами подкинул ему этот проклятый раздушенный капитанишка да еще пять своих, всего, значит, тридцать одна, снарядов хватит до кон-

ца зимы. Когда батарея окажется на новых позициях одна, он, Кляко, прикажет вырыть при орудиях окопы, подложить бикфордов шнур и взорвать все к чертовой матери. Ребята здорово это придумали, чтоб ни один снаряд не попал в тех, для кого его готовили. Орудия они уничтожат дня через два, превратив их в бесполезную груду стали. Он сам прикажет сделать это, когда словацкая сводная батарея останется на огневой позиции одна. После этого он сам, под свою ответственность, отпустит солдат на родину. Под свою ответственность? Он ведь с ними не пойдет. Но сводная батарея подчинена немецкому командованию, на новых позициях едва ли оставят одних словаков. Придется каждую ночь прятать по нескольку повозок со снарядами. Куда? Выкопать большую яму где-нибудь в лесу. А будет ли еще там лес?..

Один план сменяется другим, и что ни план, тем он ребячливее. Кляко не хочет понапрасну проливать кровь. Обдумывая свои планы, он тщательно следит за тем, чтобы все разыгралось как по писаному, словно действует он в безвоздушном пространстве.

«Не страх ли это? Не боюсь ли я? Нет, не боюсь! Но солдаты рвутся домой и затаили подлые мысли, они воображают, что родина — это приготовленная для сна постель. Молчуны женаты, и их тянет домой сильнее, чем остальных. Приготовленная для сна постель всегда выглядит заманчиво, и я готов поспорить на что угодно, что окопы, вырытые на старых позициях, выдумка молчунов. Мысль сама по себе очень хорошая, и если мы очутимся одни, то ею воспользуемся. И тогда я отпущу солдат домой, пусть добираются сами, как знают. Они достаточно сообразительны, чтобы добраться. Им поможет наступивший хаос. На юге Украины их заменят свежими пополнениями. А мне что делать? Идти с ними я не могу. Перед уходом со старых позиций я наболтал всякого вздору, поддался гневу. Всему виной этот раздушенный паяц, который спешил упаковать свои чемоданы. Я потерял голову, вот что. Солдаты — негодяи. Не все, конечно, но среди них найдется несколько негодяев; если я вернусь домой, они все свалят на меня, и после этого... я окажусь на свалке. Меня ждет тюрьма, а может, и еще кое-что похуже. Каптер меня терпеть не может и донесет при первом же удобном случае».

Кляко привстал на стременах и громко крикнул:

— Каптенармуса к поручику Кляко!

Этот зов передали в задние шеренги, и там он стих в грохоте колес. Явился каптенармус.

— Возьмите коня у учителя и подъезжайте ко мне.

— Слушаюсь, пан поручик! — Каптенармус прискакал на коне учителя и со страхом сказал: — Прибыл по вашему приказанию, пан поручик.

— Ты разговаривал с немцем. Мне об этом известно.

— Но, пан поручик, я все время лежу в повозке.

— У тебя ничего такого не найдется? Холодно!

— Ни капли, пан поручик. Клянусь богом...

— Придержи язык!

«Этот тип донесет на меня при первом удобном случае. Каждый каптер из кожи вон лезет, чтобы выслужиться, и потому его следовало бы расстрелять... снег белый, совсем белый, на нем все хорошо видно. Если расстрелять каптера, можно было бы и мне отправиться домой. Дома нас ждут готовые постели. Черт побери, готовые постели! Хватит! Придержите язык, поручик Кляко! Негодяй и трус, придержите язык! Вы не слышите, командир Кляко? До каких пор вы будете уклоняться от ответственности?.. Вы хорошо, по-мужски говорили перед уходом со старых позиций... Я никогда не буду этого стыдиться. Я отведу солдат на новый участок, они славные ребята, там что-нибудь придумаю, может, еще и по

пути туда придумаю, и пусть они после этого убираются на все четыре стороны. Прощайте, прощайте, с богом! Я останусь здесь. Каково мне одному придется, сколько времени я проведу один? В горы! Хорошо, что горы здесь есть! В этих горах я должен встретить их! А будут ли горы на новых позициях? Если их не будет, придется вернуться сюда. Самое важное, что русские — славяне. Не нужно, чтобы этот снег был такой белый, и не должно быть его столько. На нем все слишком хорошо видно. Опять прилетят самолеты, и от меня останется мокрое место».

Так думал Кляко в ту ночь, после того как батарея оставила старую позицию.

А сейчас был день. Поручик ехал на лошади по городу, дожившему до судного дня. Кляко больше не строил планов, а смотрел, наслаждаясь зрелищем. Он знал, что, какой бы план он ни придумал, с этим хаосом придется считаться.

Порывы ледяного ветра уносят клочья пламени. Огонь согревает тысячи почерневших пальцев...

■

Кристек еще до въезда в город слез с повозки Шамая. Он шагает, придерживаясь за нее рукой. Он не устал, ему не хочется спать, он мог бы долго, очень долго вот так шагать, потому что человек — это вол, и будь у него рога в придачу, он был бы еще более совершенной скотиной, даже лучше вола, этого неповоротливого животного. Если человек не опомнится, навсегда останется дурнем, так у него, пожалуй, и рога вырастут. «А что значит, скажите на милость, «опомниться»? Объясните мне это таинственное выражение, и я успокоюсь. Я буду слушать вас внимательно, словно школьник — учителя. И слушая, стану слегка раскачиваться, как полагается прилежному школяру. Я не ударю вас ни в пах, ни по ногам, я человек цивилизованный. Но вполне возможно, что я заеду в морду тому, кто станет давать мне объяснения. Ни в чьих объяснениях я не нуждаюсь. Я слишком неповоротлив для этого. Тело, сапоги, вши, мундир, ремень плюс притяжение матери-земли — все это делает человека неповоротливым. Мать-земля и ее притяжение... Так будет более точно. Итак, начинаем! Нет, не надо ничего начинать, ни в чьих объяснениях я не нуждаюсь...»

Порыв ледяного ветра — и на лице поручика Кристека играет улыбка. Изнутри прет лавина загнивших слов. Вонючая каша. «Это болезненно и противно, но боль эта — скорее не боль, а наслаждение, самое лучшее из того, чего можно здесь достигнуть. И у того, кто не понял этого, кто не пережил и не прочувствовал этого очищения, всю жизнь отвратительно кисли мозги, такой человек никогда не прозреет. Что происходит в душе вола? Да и есть ли она у него? Да, она была и есть, вот в чем вся беда! Вол, пошевели мозгами! Шевели, работай мозгами! Мозг управляет десятью пальцами, одной рукой — половина мозга, не все ли равно какой, правой или левой. Мозги! Дай им работу, пораскинь ими так и этак, подхлестни их, дай пинка своим мыслям, и они подчинятся тебе. Это трудное дело, оно тянется достаточно долго, но придет день, и ты отпразднуешь победу. И тогда ты потеряешь душу. Это мой день, мой торжественный день, он настал в этом городе, и я могу назвать город своим. Сегодня я выблевал душу, покончил с этим паразитом и пугалом. Она угнетала меня, а я не понимал, что меня гнетет. Может быть, только сию минуту я с ней покончил, не знаю, но души во мне больше нет! Я больше ее не боюсь! Я могу презирать кого угодно и что угодно. Могу презирать людей и пространство, все, имеющее размеры и не имеющее их. Вселенная — это грязная лужа. Я горд, что постиг это. Ничто не привязывает меня к луже. Ничто, ничто, ничто! Я свободен! И мне нет нужды

держаться за эту повозку. Руки прочь от нее! Я иду сам! Я иду, ни за что не держась! Я шагаю, я марширую по городу, который имеет право называться моим. Мой город! Ты и я! И есть еще третье понятие, о котором хорошо знаем лишь мы двое. Ты и я. В этом ничто может поместиться и лужа».

И Кристек шагает, лицо его озарено внутренним светом, и кажется, что над его головой, как у святого, сияет нимб. Лицо его дышит силой, надеждой, оно пылает ею, оно погружено в безграничный покой.

«Благодать божья! — рассуждает Виктор Шамай.— Точь-в-точь такая икона висит в нашей церкви, и пан священник любят говорить про эту икону в своих проповедях. Они говорят — нет, говорили, потому как сейчас у нас новый священник, не знаю только, померли старый или еще что с ними вышло. Но они говорили в проповеди, что были бы очень довольны, если бы у всех прихожан было такое благостное лицо, как у святого Винцента на иконе. Это благодать божья! Пан поручик Кристек верит, что мы доберемся до дома. Откуда иначе благодати этой взяться. И я верю, что так и будет взаправду, хоть и неказисто выглядит наше возвращение. Господа отдали нас на съедение немцам, но пан поручик Кляко что-нибудь уж придумает, он, как пить дать, перехитрит этих проклятых швабов. Эй, слышите! Знаете вы, какой у нас поручик? Истинный отец! Не поручик, а отец родной! Десяток ваших генералов с ним не сравняется. Где там сравняться, бедняги бегут, штаны по дороге теряют. Кажись, русские надавали генералам по шее! Крест господень, надавали! Хоть целый год я любоваться готов, глядя, как вы драпаете, и легко у меня на душе! Тьфу, свинья ты бесстыжая! Что ты делаешь! Гадина ты, а не человек. На виду всех раскорячился! В штаны наложил!.. Мы уже домой идем, доберемся туда, сдыхайте вы тут все до единого! Не глядели бы глаза мои на вас, а то еще вас пожалеешь. Вот было бы чудно-то! И когда всевышний поможет нам выбраться из этого несчастного города? Хорошо бы шагу прибавить. Домой идти надо быстро... Вот благодать-то! Хоть бы холодно там не было... Благодать! Наш поручик Кристек похож на святого Винцента...»

Порывистый ветер завывает на перекрестке.

■

— Ростов! Путь на Ростов еще свободен! — радостно воскликнул немецкий лейтенант, показывая на широкую улицу, ведущую к северу.— Мы повернем вправо. На восток!

— На восток?

Они ехали рядом, оба верхом. Иногда касались друг друга коленями.

— Куда мы направляемся?

— В свое время узнаете,— ответил немец, не глядя на Кляко.

— Я командир и отвечаю за своих солдат. Мне непременно нужно знать, куда мы идем. Нужно подготовить квартиры для солдат, воду для лошадей, конюшни, а я ничего не знаю. Я требую, чтобы вы мне все сказали.

— У вас нервы не в порядке. Не спали две ночи, вот нервы и пошаливают. Я привык не спать по ночам. Как сова.

— Это меня не касается.

— Упрямая вы голова. А мне все интересно. Почему, например, молчат ваши солдаты? Они что, немые? Но я ведь не выхожу из себя, не спрашиваю, почему они такие?

— Для этого у них достаточно причин,— осторожно отвечает Кляко и смотрит на обер-лейтенанта, прищурив глаза. Немцу лет тридцать. Упитанное, продолговатое лицо, нижняя губа слегка оттопырилась. Ему не удается скрыть насмешку.

— Я вас не об этом спрашиваю,— как ни в чем не бывало продолжает обер-лейтенант.— Я понимаю, в чем дело. Ваша словацкая армия отходит в тыл, а вы остаетесь здесь. Догадаться не так уж трудно, почему молчат солдаты. Так?

— Объясните положение более конкретно.— Нужно втянуть немца в разговор, узнать, с кем он, Кляко, имеет дело.

— Они уже по горло сыты войной?

— А вам это кажется странным?

— Вы говорите как шпак. А вы сами, может быть, тоже сыты?

— Такие вопросы не задают военному, господин обер-лейтенант. Я кадровый офицер. Получаю жалованье плюс полевую надбавку — за службу на фронте.

— Спасибо за откровенность. Курт Грамм, обер-лейтенант Курт Грамм. Я лишь ничтожное колесико в этой колоссальной войне, и, возможно, мне придется попросить вас объяснить своим солдатам, что я, обер-лейтенант Курт Грамм, тут ни при чем. Но я вас об этом не прошу. Я не верю словам, которые можете сказать вы, я или кто угодно. Здесь слова ничего не значат. Эта страна, ужасные люди, которые ее населяют, уничтожили мою веру в слова. С большевиками можно говорить только таким языком.— Обер-лейтенант поднял руку и показал на деревья, где висели люди. Люди в гражданской одежде! — Они продавали отравленный спирт нашим солдатам, а какой солдат откажется от выпивки? Он платит триста марок за литр — и отправляется к праотцам. Он купил древесный спирт, отраву. Может быть, ему повезет, и он купит настоящий чистый спирт. Чистый спирт стоит тоже триста марок. Но я считаю своей обязанностью напомнить вам, что вы подчинены нашему командованию, а в немецкой армии анархии никто не потерпит.

— Это что, угроза?

— Нет.— Немец любезно улыбнулся.— Совет. Дружеский совет. Вы симпатичный, откровенный, не очень дисциплинированный молодой человек. Мне не доставит удовольствия, если ваши солдаты ввяжутся в какую-нибудь историю. Я не фантазер и трезво смотрю на вещи, пожалуй даже слишком трезво, и на ваш вопрос, куда мы направляемся, все еще не ответил только потому, что это совсем не важно. Все это ровным счетом ничего не значит. Это не деревня и не город. Вам будет там хорошо.

— Там степь? Горы?

— То и другое.

«Курт Грамм — опасный человек. Он сказал лишь часть того, что ему известно и что он подозревает. Анархия! Какой смысл вкладывают в это слово немцы? Неповиновение приказу? Или выполнение его с явной неохотой? Или случайно вырвавшееся слово, слово, сказанное где-нибудь в уголке. Такого слова достаточно, чтобы угодить в штрафники, а в критическом положении и под расстрел. Что известно Грамму? Что ему известно? Важно знать и то, что он подозревает. Немцы попросту нас конвоируют. Они растянулись цепью вдоль всей нашей колонны и стерегут нас. Господин Курт Грамм опасный человек! Он подозревает, что мы попытаемся воспользоваться все возрастающим беспорядком. Это значит... да, это значит, что я должен принять меры, не предусмотренные Граммом. Боже, шепни мне, что делать, ведь от всего этого можно потерять голову!»

Сводная батарея продолжала продвигаться к востоку. Казалось, весь мир тронулся ей навстречу, весь мир идет на запад, одна лишь словацкая батарея направляется в обратную сторону.

Отступающие немецкие солдаты смотрели на нее, удивлялись, не понимая, что будут делать солдаты в незнакомой форме там, откуда пришлось бежать немцам.

■

Там, куда пришла батарея, и в самом деле были и горы и степь. Занесенная снегом белая бесконечная степь, с кое-где разбросанными голубыми пятнами. Это могли быть озера. На юге тянулись горы. Они казались значительно выше тех, где находились прежние позиции, были видны совсем близко, всего в каком-нибудь полукилометре. Низкий кустарник вплотную подступал к нескольким зданиям. Это, очевидно, была недостроенная усадьба какого-то совхоза. Впереди кирпичный неоштукатуренный дом, низкий и длинный. Двери посередине фасада. По обе стороны их — пять окон. Окна справа застеклены, из двух труб идет дым. Левая половина дома мрачная, кирпичи над окнами покрыты копотью, черепичная крыша провалилась, по всей вероятности, от бомбы. Второе, двухэтажное, здание — повыше, оно значительно лучше, но совсем без кровли. Трубы торчат как пальцы. Это жилой дом, и в нем несколько квартир. Позади домов — четыре огромнейшие недостроенные конюшни.

Батарея направилась туда, лошадей выпрягли.

— Где здесь вода, пан поручик? — спросил у Кляко повар с двумя ведрами в руках.

— Я еще и воду тебе искать стану! — рявкнул на него Кляко и добавил по-немецки, обращаясь к Грамму: — Им и воду еще найди!

— С солдатами нужна прежде всего строгость,— ответил Грамм. Кляко только сейчас заметил, что Грамм прихрамывает — правая нога у него была короче левой.— Не хочу вам льстить, но меня удивляет ваш немецкий язык. Вы говорите очень бегло. Впрочем, это пожалуй не совсем точно. Вы сразу находите слова. Ваши коллеги мне говорили, что вы научились немецкому языку в гимназии. Мне просто не верится. Вы не из немецкой семьи? Или, быть может, ваши родственники... Отвечать не надо, это, так сказать, просто любопытство.

— Разве у меня немецкая фамилия?

— При чем тут фамилия? В моей роте есть солдат по фамилии Танеса. Та-не-са! Загадочное происхождение. Или фельдфебель Лессуа. Оба немцы. Нет, фамилия тут ни при чем.

Грамм многозначительно помолчал и, не получив ответа, закусил губу.

По пути к дому офицеров разделили кусты и объезжать их пришлось с разных сторон. На самом большом расстоянии друг от друга они внезапно переглянулись и сейчас же стали смотреть в разные стороны. У Кляко возникло какое-то неприятное ощущение, и он никак не мог от него избавиться. Когда он снова поехал рядом с Граммом, тот пояснил:

— Соседство не из приятных. Я не должен, полагаю, подчеркивать, что леса в этой стране так же опасны, как и люди. Здесь следует поставить усиленную охрану.

Кляко заметил в кустах часового.

Они доехали до двухэтажного здания, и после короткого совещания Грамм отправился в дом с пятью застекленными и пятью закопченными окнами.

Из-за угла вышли двое часовых.

«И тут часовые? Выяснить расстановку часовых, состояние роты Грамма и ее вооружение. Все это надо узнать сегодня же. Теперь я бы с удовольствием соснул часок. Итак, мы будем жить здесь на первом этаже. Выходит, что второй этаж приготовлен еще для кого-то. Для кого же? Там нет ни единого окна. Вот солдаты будут браниться! Курт Грамм хромает, гм. Итак, он хромает. А если он станет так же внимательно следить за мной, как я за ним, и до греха недолго. А он следит. Почему хоть однажды судьба не пошлет мне дурака? Герр командир Кляко, ступайте спать! В вашей голове станет яснее...»

■

— Господин фельдфебель, вы когда-нибудь видели словаков?

— До сих пор я никогда не видел словаков, господин обер-лейтенант.

Грамм раздевался. Он сидел на постели и курил. Фельдфебель Ринг стоял почти навытяжку и почтительно улыбался.

— Вы скоро их увидите.

— Охотно посмотрю на них, господин обер-лейтенант.

— Охотно?

Грамм встал, снял с себя брюки, вывернул их наизнанку и принялся искать вшей.

Когда Ринг не знал, что ответить, он поднимал голову, повертывал ее и смотрел в угол, туда, где под потолком сходились три прямые линии.

— Это не армия в нашем смысле слова, а варвары и анархисты! Господин фельдфебель, вы отвечаете мне головой за то, что наши солдаты не будут с ними соприкасаться. Разве рота Грамма не известна своей железной дисциплиной?

— Так точно, господин обер-лейтенант. Рота господина обер-лейтенанта Грамма известна своей железной дисциплиной. Я устрою так, чтобы наши солдаты не соприкасались со словаками.

— Хорошо.

Грамм снял кальсоны и остался совершенно голым. Ринг старался сохранить серьезность. Грамм вывернул кальсоны наизнанку. Это были самые обыкновенные вывернутые кальсоны, но фельдфебель продолжал стоять с серьезным видом.

— А вы знаете, почему воюют словацкие офицеры?

— Не могу знать, господин обер-лейтенант, почему воюют словацкие офицеры.

— Потому что они получают жалованье плюс полевую надбавку за службу на фронте. Смешно.

— Так точно, господин обер-лейтенант. Смешно.

— Ничего тут смешного нет, это очень плохо. Это происходит от недостатка национального самосознания, а отсюда недалеко и до измены.

— Так точно, господин обер-лейтенант...— Ринг повторил всю фразу, но вместо слова «самосознание» сказал «воодушевление». Грамм осторожно поправил Ринга, и тогда тот повторил фразу правильно.

— Здесь их командир.— Голый Грамм заковылял к окну. Тело у него было как у женщины — рыхлое, словно сдобная булка.

— Так точно, господин обер-лейтенант.— И Ринг промаршировал к окну.

— Он в чине лейтенанта и говорит по-немецки ничуть не хуже, чем я или вы.

Три линии сходятся в углу под потолком.

— Это постыдно! Он осмеливается отрицать свое немецкое происхождение, а мы не в силах воздействовать на него. Это постыдно!

В углу под потолком сходятся три линии.

— Вы хорошо меня знаете; надеюсь, вы меня хорошо знаете, господин фельдфебель.— Грамм встряхнул подштанники и достал из-под подушки яркую пеструю пижаму. Тем временем Ринг усердно ему поддакивал.— Я требую от своих солдат железной дисциплины. Они должны оказывать мне знаки уважения, какие положены командиру. Дело не в моей особе. Я — командир! Если бы вы были командиром, а я фельдфебелем, вы должны были бы требовать от меня точно такой же дисциплины. Если бы вы ее не требовали, я счел бы своей обязанностью тактично и деликатно предупредить вас об этом.— После каждой фразы Грамм делал паузу. Ринг мог и не повторять его слов, но он не был идиотом и

потому повторял и поддакивал.— Фамилия этого лейтенанта Кляко. Он лейтенант словацкой армии, армии наших союзников. А между нашей армией и их армией существует не-ко-то-рая разница. Тем хуже для них. Вы ее поймете, когда я скажу, что он разговаривал со мной, словно с каким-нибудь взводным. Вам это понятно?

— Это вообще невозможно понять, господин обер-лейтенант.

— Хорошо. Я лягу. Проследите, чтобы эти варвары не заняли второй этаж. Вы знаете, что он предназначен для горных егерей. Они прибудут сюда через три дня, господин фельдфебель. Вам не кажется странным, что в степь посылают горных егерей? Над этим вы не задумывались? — В углу под потолком сходятся три линии.— А я об этом думаю... Что у вас тут нового?

— Хлебный паек уменьшили вдвое.

— Что? — испуганно переспросил Грамм.

Три прямых сходятся в углу под потолком.

— Что еще?

— Больше ничего.

Ринг забылся, подумав о хлебе. В сорок первом году он был под Москвой. В тот раз, как и сегодня, им уменьшили хлебный паек, а на следующий день большевики перешли в наступление. Рота Грамма понесла тяжелые потери: было убито двадцать человек. Лейтенанта Грамма ранило в ногу под коленом, а уцелевшие солдаты жалели, что он не был двадцать первым.

— Господин фельдфебель Ринг забывает, что он говорит со своим командиром!

Грамм покраснел от гнева. Он встал, сбросил с себя одеяло.

— Больше ничего нового нет, господин обер-лейтенант.

— Можете быть свободны!

— Так точно, господин обер-лейтенант! Я могу быть свободен! — Ринг щелкнул каблуками, а когда командир кивнул, громко произнес: — Хайль Гитлер! — повернулся и вышел вон.

— Идиот! — проворчал Ринг в коридоре, вытащил носовой платок и вытер лоб и шею: в комнате было жарко. Обер-лейтенант Грамм любил тепло и собственные слова, хотя и говорил, что в этой стране он потерял веру в слова.— Идиот, идиот, миллион раз идиот! Тьфу, даже пот меня прошиб!

В коридоре с каменным полом гулко отдавались шаги Ринга, и его слов никто не мог услышать.

Призадумавшийся Грамм не ответил на нацистское приветствие Ринга. Он тоже был под Москвой. Тогда вдвое уменьшили дневной паек, и на следующий день началось русское наступление. Его ранило в ногу. А что будет теперь? Война все продолжается, скоро пойдет третий год. «Сейчас февраль тысяча девятьсот сорок третьего года. Невероятно! Что позволяют себе эти большевики? Расстрелять! Кто позволил им двинуться на Ростов? Кто позволил им наступать на Кавказе? О Сталинграде точно ничего не известно. Шестая армия удерживает город, перерезала Волгу. Но как же так получается? Бои идут к северу от Ростова, под Ворошиловградом и под... тьфу! Эти большевистские названия и не выговоришь! Как же так получается? Значит, Сталинград должен быть окружен. Невероятно! Окружена шестая армия! Невероятно! Армия — это двести пятьдесят тысяч человек... Отче наш иже еси на небесех,— сколько же это автомашин? — да святится имя твое, да приидет царствие твое — невероятно! — да будет воля твоя на небеси яко и на земли.. Большевики воображают, будто могут делать, что им вздумается! — хлеб, да, хлеб наш насущный даждь нам днесь,— половинную норму! — и оставь нам долги наша — расстрелять! — яко же и мы оставляем

должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, аминь...»

Грамм еще немного подумал, потом встал, опустился на колени и смиренно помолился богу. Так когда-то он молился вместе со своими родителями перед сном.

■

— Идиот!

Теперь эти слова были слышны. Но тут не было ни стен, ни чужих ушей. Ринг, однако, не считал себя идиотом и придавал этому обстоятельству большое значение. Он произнес это слово уже во дворе. Прежде... да, существует «прежде» и «теперь». И человеческая жизнь и война — все разделяется на несовместимые «прежде» и «теперь». «Прежде» — ах, боже! — всякий может иной раз оказаться в дураках. Прежде он воображал, что война не затянется и у него не найдется ни времени, ни случая выйти в люди. Теперь же он опасается за ее исход. Фельдфебель Ринг понимает, что он не генерал, что и до обер-лейтенанта ему далеко. Вот уже месяц, как он генерала не видел и сказать о нем ничего не может. Зато на обер-лейтенанта Курта Грамма нагляделся вдоволь и может кое-что о нем сказать. Тот спокоен, за исход войны не опасается. Своих солдат он тиранит — все железную дисциплину в головы им вбивает. При фельдфебеле донага раздевается, при фельдфебеле грязные подштанники выворачивает, бьет вшей без всякого стеснения, и все только для того, чтобы Ринг не забывался, помнил, что в немецкой армии начальники и подчиненные пока еще есть. И обер-лейтенант совершенно спокоен.

«Зато у меня на душе не спокойно. Потому, должно быть, что я простой фельдфебель. Но кто мне ответит на вопрос? Кто объяснит, почему не слыхать в нашей роте смеха? Почему солдаты лежат на постелях и глядят в потолок, заложив руки за голову? А другие сидят, задумчиво подперев голову руками? Придешь в казарму, и все, кто лежал или сидел, тотчас вскакивают, и хватают что попало под руку, и начинают возиться, будто дело какое делают, между собой разговоры заводят. А я все знаю — только что за дверью стоял, подслушивал, как все фельдфебели, и ничего не мог услыхать, там было совсем тихо. А войдешь — и тишины как не бывало: такая удивительная суматоха поднимается, видимость жизни, и в ней столько мелких радостей и пустяковых интересов. А все в общем — сплошное притворство. Солдатам лежать жутко, сидеть тоже. Пусть я простой фельдфебель, мне все это понятно, думать и мне обо всем приходится. Что было «прежде» и что «теперь»? Ведь когда я, фельдфебель Ринг, вхожу, солдаты боятся сидеть или лежать: тот, кто лежит или сидит, поневоле думает и вспоминает. Солдаты меня боятся. Они не хотят, чтобы я догадался об их мыслях и воспоминаниях. Мне об этом знать не положено, не положено догадываться, а если уж мне не положено знать, так никто знать не смеет. Они понимают, что это стоило бы им головы. Вот они и остерегаются, хотя и понимают, что я простой фельдфебель. Они меня боятся, а я боюсь Курта Грамма. Я прикидываюсь, что занят только железной дисциплиной, только о ней и думаю, все выслуживаюсь и ничего другого за душой у меня нет. Изо всех сил стараюсь показать, что давно нет у меня в груди сердца, что я из себя не выйду, хоть тут все в тартарары вались, ни о жене, ни о детях не вспомню. И потому беспрестанно прикидываюсь твердым, словно каменный, будто верю в победу, никогда в ней не сомневался, не падал духом, и исход войны меня не тревожит. Вот взять горных егерей хотя бы! Почему их в степь отправляют? Всякий дурак догадается, что русские их с Кавказа выгнали... Я тоже не идиот... Только есть такие дела, в которые фельдфебелю нос совать не положено, господин обер-лейтенант Грамм.

А вы как? Вы спокойны, хоть тресни. Может, и вы тоже обманываете да притворяетесь? Солдаты меня боятся, я — вас, а вы, может, спокойны оттого, что своего начальника боитесь? Тот такую силу имеет, что ему не надо не спускать глаз со своих подчиненных, а вам не к чему торчать всегда перед ним. Вам и подписи его на бумаге хватит да вызова раз в неделю. Тогда и вы своего фельдфебеля зовете, своего верного пса, и ему все от слова до слова повторяете... Не знаю, не знаю, я простой фельдфебель! Может, мне вы и не все скажете, может, мне и знать не все положено. Но вы бьете вшей, когда говорите со мной! Вы не знаете,— да и откуда вам знать, вы же идиот! — что у меня на душе легче становится, когда жирные вши щелкают под вашим ногтем. Они напились крови командира. Колоссально! Вши, они всех нас уравнивают, это демократический элемент. Я всегда буду это говорить. Хотел бы я дожить до той минуты, когда можно будет сказать вам это прямо в глаза. Это было бы еще колоссальней! Не знаю, может, это достойное внимания насекомое не дает покоя и вашему начальству. Вообще я мало что знаю о вашем начальнике, могу лишь предполагать, что и он живет в страхе, что и он от страха дрожит, и так все, вплоть до генералов. Они боятся сумасшедших, но чего боится он, самый главный сумасшедший, мне разгадать не удалось, потому что я простой фельдфебель — не больше. Я самого себя боюсь, мы друг друга боимся, я думаю, так оно и должно быть, иначе не победили бы мы в себе еще больший страх — страх перед русскими. Зачем мы полезли с ними в драку? Иван ужасен. Как случилось, что этого никто не предусмотрел? Плохо то, что голова у меня фельдфебельская, и я ничего не в силах придумать. Вынужден обходиться той, что есть, должен поддерживать железную дисциплину в роте, тянуться перед голым обер-лейтенантом и благодарить бога за сумасшедших, которые над нами поставлены, и за главного сумасшедшего, до которого рукой не достать, как до бога. Он невидим и наводит на всех ужас только потому, что где-то он существует. И страх доходит до меня, а я нагоняю его на всех своих подчиненных в роте. Раз мы полезли в войну с *ними,* перед лицом своей совести я снова повторяю, что только этот страх поддерживает во мне надежду все-таки когда-нибудь победить, надежду, что я все-таки вернусь в горы Гарца. Там шумят ели, бегут чистые, как слеза, ручьи. Я питаю надежду, что останусь в этой стране не дольше, чем потребуется, никогда сюда не вернусь, не навещу здесь ни одного приятеля или знакомого из тех, у кого здесь будут поместья и плантации. Мои нервы этого не выдержат... Оказывается, сегодня не будет солнца... Черт побери! Эти варвары выглядывают из окон на втором этаже, а обер-лейтенант ясно сказал их командиру, что они должны разместиться на первом. Знают ли что-нибудь эти солдаты о дисциплине? Бегу!..»

■

Ринг помчался что есть духу к двухэтажному зданию, а словацкие солдаты отпускали по его адресу какие-то непонятные шуточки.

Трое с мешками и винтовками тащились вверх по лестнице. Под сапогами хрустело стекло.

— Эй, вы там, куда лезете?

Солдаты оглянулись, в упор разглядывая Ринга.

— Ваше место внизу, на первом этаже! Словакам первый этаж отведен! — Ринг показал жестом где, а они как захохочут и марш наверх. Ринг обогнал их и загородил им дорогу.— Словаки на первом этаже! На первом этаже!

Они, словно ничего не заметив, молча обошли его у стены.

По коридору неслись крики и топот. Ринг зашел в первую комнату. Вещевые мешки были уложены у стены, несколько солдат высунулись из окон. Человек десять лежало на полу. Фельдфебель выругался, схватил

два мешка и вышвырнул их в коридор. Когда он взялся за следующие, позади него появилась тень, и он инстинктивно посторонился. Первое, что он увидел, было круглое, добродушно ухмыляющееся лицо. Солдат произнес:

— Швабикбоитса.

Ринг ничего не понял. Тот же солдат вышел в коридор, принес выброшенные мешки и повторил, приложив палец к губам, то же варварское слово «швабикбоитса»; при этом он громко захохотал.

— Но, господа, вам сюда нельзя...

Ринг пытался понять, в чем дело, но смех сбивал его с толку.

— Что такое? Почему вы не спите? — спросил Кляко, входя в комнату.

— Окон здесь нет! Засвинячено все кругом...— недовольно загудели солдаты.

— Что? Может, еще и шторы вам повесить? Спать!

— Этот шваб все к нам привязывается. Наши мешки выбросил.

— Скажите, чтоб убирался, а не то...

Фельдфебель Ринг выглядел, должно быть, очень глупо, потому что тот же круглолицый, добродушный с виду солдат подошел и по-коровьи промычал прямо ему в лицо: «Му-у!».

Кляко увидел немца и окинул его строгим взглядом с ног до головы.

— Фельдфебель Ринг!

Разыгралась невиданная словацкими солдатами, единственная в своем роде сцена. Немец вытянулся, прищелкнув каблуками, отделил левый локоть от тела на положенное уставом расстояние. Правая рука образовала прямой угол с телом.

— Поручик Кляко.

Ринг не сразу решился подать руку, но словацкий офицер явно ждал этого. Ринг протянул руку и тотчас отдернул ее, словно обжегся, затем, опустив руку к ноге и продолжая стоять навытяжку, сказал:

— Господин лейтенант, осмелюсь доложить, что для вашего подразделения мы отвели помещение на первом этаже. Сюда...

— Сюда...— Кляко наклонил голову.

Это привело Ринга в замешательство.

— Сюда прибудут... извините! Осмелюсь доложить, господин лейтенант, что на второй этаж прибудут горные егери. Мы ожидаем их через три дня.

— Сколько их будет?

— Этого, извините, господин лейтенант, не могу знать. Этого не знает даже господин обер-лейтенант, и никто не знает.

— Вольно!

— Спасибо!

— Ребята! Отнести барахло на первый этаж — и спать! Давно пора!

— Только и знай что таскайся. На кой дьявол?

— Не все ли равно, тут или там?

— Помочь, может, прикажете? Кого-нибудь пригласить, чтобы мой приказ выполнили? — рявкнул на своих солдат Кляко, и оттого, что он вдруг стал похож на Гайнича, солдаты свесили головы и пошли.

Уходя, они, словно у них отнимались ноги, зашаркали сапожищами по полу. Винтовки они волокли за собой, вещевые мешки тащили за ремни, пинали осколки стекла. А фельдфебель Ринг, службист до мозга костей, стоял разинув рот. Он никогда в жизни не видел ничего подобного и не мог даже представить себе такое. Он счел свои обязанности выполненными и немедленно отправился к своим солдатам. Рота Грамма славилась железной дисциплиной. В этом была и его, Ринга, заслуга. «Такую роту необходимо изолировать от этих варваров, кто их там знает,

да и вообще солдата легче научить дурному, чем хорошему. А о хорошем он быстро забывает. Это не солдаты. Их офицеры подают фельдфебелю руку, но командуют варварами и анархистами. Я был бы счастлив, если бы они попали в мои руки денька на два. Даже одного дня хватило бы. К вечеру они были бы как шелковые. Вот было бы колоссально! И на смертном одре они помнили бы, как я их гонял».

— Разрешите обратиться, господин лейтенант?

— Пожалуйста.

— Солдаты распущенны, без...

— Дисциплина словацкой части пока что мое дело!

— Извините...— и Ринг сбивчиво пробормотал что-то. В душе Ринг одобрил строгий тон словацкого лейтенанта. Он признал, что превысил свои права. О том, что он видел, следовало доложить обер-лейтенанту Грамму. Может ли Грамм приказывать словацкому лейтенанту, хотя он и старше по чину?.. И фельдфебель Ринг бодрым шагом хорошо откормленного тридцатилетнего человека вошел в дом, постоял под дверью Грамма, прислушался.

— Спит...

И Ринг поплелся в свою роту.

■

Днем застрелился поручик Кристек. Он выстрелил себе в грудь. Рука его не дрогнула в последний миг, потому что он продолжал улыбаться и после смерти. Эта улыбка была единственным, что он оставил после себя. Кляко приказал выкопать могилу и назначил похороны на пятнадцать часов. Земля замерзла, могильщикам пришлось спешить. В их распоряжении было не больше часа.

■

— Глупое положение.

— Так точно, господин обер-лейтенант, глупое положение.

Грамм встал и в пижаме начал расхаживать по комнате. Рингу пришлось отступить к самой стене.

— Самоубийство при создавшейся ситуации есть проявление самой гнусной трусости и равняется измене. Это мне ясно! Но должен ли командир всегда руководствоваться своими чувствами? Или следует взвесить все обстоятельства даже в том случае, когда некоторые из них для него унизительны? Как быть?

В углу сходятся три линии.

— Мы не пойдем на похороны, пусть они сами хоронят своего труса.

— Так точно, господин обер-лейтенант, это очень правильно. Пусть они сами хоронят своего труса.

— А если они это дурно истолкуют?

Обер-лейтенант повернулся на пятках. Он коснулся пальцем пуговицы на мундире Ринга и подергал ее. В растрепанных волосах Грамма поблескивали серебряные нити. «А это что же такое? Это вошь! Вошь в волосах! Нет! Слава богу, это только перхоть. Было бы прескверно, если бы это оказалась вошь. Черт возьми! Это было бы очень скверно! Редко бывает, когда вошь заползает в волосы, а если заползет, старые солдаты уверяют, что она сулит смерть».

— Они дурно истолкуют наше поведение, а мы не в таком положении, чтобы пойти на это. Или вы иначе думаете? — Грамм дернул за пуговицу изо всех сил, так что Ринг пошатнулся.

— Я ничего... то есть, извините. Ничего другого я не думаю, господин обер-лейтенант.

— Моя рота в этой церемонии принимать участие не будет, но никто не скажет, что ее там не было. Понимаете?

— Так точно, пожалуй...

— Ни черта вы не понимаете, господин фельдфебель Ринг! Не лгите в глаза своему командиру. Он этого не заслужил, и он этого не желает.

— Так точно, он этого не заслужил, нисколько не заслужил!

Ринг смотрел в глаза Грамма, и в этом взгляде обер-лейтенант мог прочесть, что фельдфебель ради него пойдет в огонь и в воду и даже через три дня после смерти будет гордиться своим поступком.

— Я доволен вами. Я решил, что на похороны пойдете вы один как представитель нашей роты.

— Слушаюсь! Есть пойти на похороны как единственному представителю нашей роты!

— Надеюсь, вы будете вести себя образцово.— Грамм выпустил пуговицу, прикрыл рот рукой и зевнул.— Я еще немного сосну...

«Я должен вести себя образцово. Что это значит?» Ринг открыл дверь в комнату, где разместилась рота, и проревел:

— Шерер! Я буду бриться! — Он направился в комнатушку, которую занимал вместе с заместителем Грамма, лейтенантом, второй день болтающимся в соседнем городишке в ожидании горных егерей. «Что должен означать приказ господина обер-лейтенанта? Прежде всего надо побриться. Правда, я бреюсь через день. Мне полагается бриться завтра, но будет правильно, если я сделаю это сегодня. А Шерер, эта ослиная башка, должен почистить мой мундир и навести глянец на сапоги».

Ринг разулся, а когда снимал с себя одежду, вошел рядовой Шерер, простоволосый, маленького роста солдат, с крохотным хитрым личиком, похожий на лису. Через руку у него было перекинуто полотенце. Он держал бритвенные принадлежности и жестянку, из которой шел пар.

— Где твоя шапка?

— Что?

— Одежду и сапоги вычистить! Я потом все посмотрю. А ты хорошо знаешь, что означает, если я говорю: потом все посмотрю.

— Так точно, господин фельдфебель, я знаю, что это означает.

— Ну, ладно.

Ринг милостивым жестом показал, что принадлежности для бритья можно поставить на столик. Шерер, взяв мундир и сапоги, вышел из комнаты, и Ринг начал бриться. «Какое наслаждение! Искупаться бы в горячей воде, вот было бы колоссально. И находятся же такие болваны — стреляются! Я должен вести себя образцово. Что он имел в виду? Выразить соболезнование словацкому командиру нельзя. Черт возьми, ясно, что застрелился трус. Как это будет выглядеть? Что эти варвары подумают обо мне? Ведь нас весь мир считает цивилизованной нацией. Мое ли дело решать такие вопросы? Почему их решает не Грамм, а я, простой фельдфебель? Идиот! Он посылает меня на похороны, а потом сядет мне на шею. Идиот! Он будет смотреть из окна, будь все проклято! А потом мне на шею сядет. Это не война, а ералаш какой-то. Интересно, как бы поступил бог, будь он на моем месте? Находятся же такие ослы, которые выбирают самое неподходящее время для самоубийства! Я не стану выражать соболезнование словацкому командиру. Плевать я хотел на варваров, а вот с Граммом нужно считаться. Горячая-прегорячая водичка. Если бы еще ванна, душ — черт побери! — и как следует, докрасна растереть спину мохнатым полотенцем. Я буду держаться немного в сторонке, пусть они поймут, что хоронят труса...»

— Шерер, Шерер! Осел треклятый! Я порезался Не гляди как баран на новые ворота, а достань мне квасцы, камешек достань, эх ты, чучело! — «Черт побери, еще и это! А потом кто-нибудь скажет, что фельдфебель вел себя слишком просто. Но я знаю, кто так скажет. Господин Грамм, вы идиот! Я фельдфебель, а вы — идиот! Извините...»

■

На похоронах не произошло ничего примечательного... А за то, что произошло, никто не мог отвечать — ни покойник, ни Кляко, ни державшийся несколько в стороне фельдфебель Ринг. Шоссе, по которому еще совсем недавно валила отступающая армия, внезапно затихло и опустело. Перестали завывать перегруженные автомашины, греметь конские упряжки, исчезли тянувшиеся по степи на запад пехотные части. На востоке, должно быть, что-то произошло.

«Или уже отступили все немецкие войска, и мы одни остались лицом к лицу с неприятелем, или же кто-то остановил русское наступление! А что, если русские отрежут все дороги на Ростов и у нас для отступления останется только море? Ужасно! Перепрыгнем мы его, что ли?»

Солдаты проходили мимо могилы, бросали в нее по горсточке земли, а фельдфебель Ринг отправился доложить Грамму, что на шоссе, по которому отходила немецкая армия, прекратилось всякое движение.

С востока доносилась канонада.

У засыпанной могилы остались Кляко и денщик покойного поручика. Чувствуя себя в роли родственника, денщик стеснялся уйти раньше Кляко.

— Надо привести в порядок его вещи. Принеси их мне.

— Какие вещи, пан поручик? У него ничего не было. Мне все пришлось распродать. Ранец, простыни, запасную пару, сапоги, пистолет и бинокль. Деньги все ушли на шнапс. У него уже давно ничего не было...

— Я имею в виду переписку. Фотографии. В карманах ничего не нашли?

— У меня ничего нет. Ведь он никогда не получал писем. Разве вы не знали?

После этого разговора Кляко долго стоял, молча разглядывая в бинокль шоссе. И только сумерки прогнали его прочь от могилы. Но он ушел нехотя — на плечи легла непомерная тяжесть, рой мыслей жужжал в голове, приводя его в смятение. Этим мыслям он когда-то придавал почти трагическое значение. А над могилой Кристека он понял, сколько было в них высокомерия и неуместной гордости. Он видел перед собой Кристека, и ему казалось, что он, Кляко, его хорошо знал. Но неожиданная смерть Кристека удивила Кляко, и лишь теперь он понимал — в ней не было ничего страшного, она ничему не противоречила, а логически завершала жизнь человека, давно уже шедшего ко дну, молчаливого или некстати ронявшего непонятные замечания. В его смерти не было ничего непонятного, ничего такого, что можно было бы назвать несправедливым. Кляко видел Кристека и сегодня, но это был уже другой Кристек. По-прежнему молчаливый, замкнутый и неприступный, он, казалось, нашел то, чего давно искал, и потому презрительно улыбался. Эту улыбку он унес с собой в могилу. А он, поручик Ян Кляко, командир словацкой сводной батареи, все еще размышляет, все еще в нерешительности. Уже полгода назад он убедился, что служит преступлению и что подло служить ему дальше. Но он прислуживал немцам, стал даже начальником. Только на недавно покинутых позициях он хотел было выступить, сам не вполне понимая смысл этого выступления. Он даже не помнит, что тогда сказал. Потом он великодушно решил отвести батарею сюда, в незнакомое место, теперь уже известное, и что-нибудь здесь придумать. Господи, насколько смерть Кристека понятнее! «Как у этого юноши все было понятно! Когда я поумнею, когда перестану строить воздушные замки? Повернись же избушка на курьих ножках, повернись ко мне лицом, а к лесу задом. Самое главное, что русские — тоже славяне. Я перебегу на ту сторону — и во веки веков аминь. Эй, ты, опереточный офицерик, послушай, может, тебе хочется

при этом бегстве еще и замшевые перчатки надеть? Или белые? А начищенные сапожки тебе не потребуются? Нет? Нет. У тебя еще не окончательно размякли мозги? Нужно ли тебе это, молодой человек? Тебе всегда что-нибудь нужно, но все твои требования обычно бессмысленны. Время от времени тебе необходимо обругать себя дураком, подлецом и трусом, и ты крепко бранишь себя, а после этого по-прежнему тешишься тем, что ты подлец и трус. А когда тебя от всего этого начинает тошнить, ты снова себя бранишь. Чтобы не повторяться, ты выкладываешь все свои сомнения кому-нибудь другому. Все-таки эффектно получается! А тебе больше ничего и не нужно, кроме эффекта. И ты любишь поиздеваться над собой. Тоже никчемное занятие. Это поведение отличает тебя от других, делает тебя оригинальным, но ты все-таки подлец и трус, только в иной личине. Сейчас ты надел на себя личину элегантного офицерика, щеголя в белых перчатках. Для чего ты напускаешь все это на себя, выдумываешь, обливаешь себя помоями? Какой в этом смысл? Из-за этого кровь не льется, вот в чем вся штука. Ты тщательно следишь, чтобы она не пролилась, и остаешься прежним Кляко. Ты боишься за свою шкуру, вот оно что! Ты уже изведал кое-какие прелести жизни, уже пользуешься кое-какими удобствами, как же тебе не бояться? Но так ведут себя только самые отъявленные трусы. А разве ты что-либо другое? А что другое ты делаешь, обливая себя помоями, как ни оправдываешь в себе труса? Что другое? Чем ты оправдаешь это завтра? Завтра тоже будет день. Останется ли все по-старому? Тебя это мучит, тебе больно. А прежде что было? Прежде тебя ничего не мучило? Не было тебе больно? Что будет завтра? Не знаю. Это, по крайней мере, откровенно. Значит, избушка на курьих ножках не поворачивается к тебе лицом, мы просто сели в лужу. И не в первый раз. Мы уже не думаем, как спасти батарею, перестаем прикидываться спасителем. Ну, дай нам бог здоровья! Услышь нас, господи. Мы начинаем все сначала. Первая буква в азбуке «а». Она бывает прописная и строчная. Кроме того, бывает долгая и краткая».

Кляко сплюнул и был рад, что на обратном пути никого не встретил. Солдаты на огневой позиции рыли орудийные окопы. Работой руководил поручик запаса, лысый учитель.

Кляко лег. На полу были постелены две конские попоны. Единственное окно в комнате для офицеров было завешено брезентом, но он не держал тепла. Под двумя одеялами удастся вытерпеть до утра. Кляко решил поступить именно так. Его не пугало, что ему придется пролежать неподвижно тринадцать часов. Тишина стояла такая, что ему хотелось растерзать себя и снова сбежать из этого гнетущего мира.

Из этого состояния его вывели топот и крик. Денщик заглянул в комнату.

— Вы здесь, пан поручик?

— Что тебе надо?

— Я хотел только узнать, тут ли вы. Я принесу вам ужин.

— Не лезь ко мне. Шкуру спущу, а потом...— от ярости он захлебнулся собственными словами и замолчал.

Но тут вернулись после ужина остальные офицеры. Вдобавок все трое сразу.

— Темно, как в погребе.

— Свечки у тебя нет? Мне бы хоть огарок!

— Нет.

— Я, братец, этого письма так и не напишу. Уже второй день собираюсь, и ты думаешь, время у меня есть? Нет времени!

— Собачий у тебя характер. Только что похоронили поручика Кристека, а ты свечку ищешь!

— Ну, похоронили. Так что?.. Что из этого следует? Жизнь должна остановиться, что ли?

— А если уже остановилась?

Вопрос прозвучал горячо и заинтересовал молчащего Кляко.

— Ты ничего не видел? На дороге, по которой отступали немцы, пусто, что-то произошло на востоке. Новое наступление Красной Армии, новое отступление немцев. А о Ростове ты слышал? Как мы попадем домой? Морем? Я боюсь моря... А ты не боишься моря?

Никакого ответа.

— Вы поужинали, господа? — спросил Кляко, закуривая.

— Поужинали. Извините, пан поручик, я не знал, что вы тут.

— Пора спать. У нас у всех есть о чем подумать. Курить разрешается, но я не желаю слышать ни единого слова. Есть вопросы? Нет? Тогда спокойной ночи.

— Спокойной ночи! — послышалось трижды.

Двухэтажный дом засыпал. Мир погружен в темноту. Он уже отдыхает, как Кристек. У него тоже прострелено сердце. Кляко яростно курит.

Темнота тянется очень долго. Не до бесконечности, но долго. В ее ходе нет ничего великолепного. Бег времени почти страшен. Бегут секунды, минуты и часы, двигаются сигареты в руках, шевелятся пальцы и моргают веки, с гулом летят самолеты. И над всем висят пугающие до ужаса мысли. И самолеты, нагоняя страх, проносятся над двухэтажным домом и сбрасывают бомбы где-то неподалеку, на востоке. И тогда уносятся мысли, не возвращаясь больше, а с ними улетает и ночь. Она уже не идет, а мчится и с каждым мигом угрожает все настойчивее: «Я ухожу, ухожу очень скоро, и за мной настанет день!» Кляко вынужден слушать все эти угрозы и терпеть их.

И все-таки в конце концов произошло то, чего он боялся: все-таки настало утро. Он не спал всю ночь, и спать ему не хотелось. Охваченный отчаянием, он не замечал бомбежки. Завтра должны прибыть горные егери, значит, завтра будет уже поздно. Решиться нужно сегодня. И небо пасмурно, словно враждебно Кляко. Он смотрит в окно. Тишина. Не грустит ли он о Кристеке? До чего удивительно видеть новый день! А чувствуют ли это отчаявшиеся люди? Он не спал всю ночь, и его удивляет новый день. Денщик приносит всем кофе и шепчет своему поручику:

— Пан поручик, солдатам чего-то надо. Они чего-то от вас хотят. Боюсь, с ними творится неладное.

— Не приставай и убирайся вон!

Кто ничего не знает и не хочет знать, кто живет лишь настоящей минутой, тот может смеяться и найдет время обругать повара и каптенармуса, которые спекулируют сахаром и подают офицерам горький кофе, и даже не кофе, а настоящие помои. Такие люди найдут время сказать, что были бы счастливы, если бы повар и каптер у них на глазах сварились в этих помоях и они увидели бы, как их потом выбросили собакам, и тому подобную чепуху, порожденную минутой и выдуманную людьми, что живут только ради нее.

Нет, кофе вкусный, горячий, если это вообще что-то значит. Кляко невыносима глупая болтовня офицеров. Он уходит. Солдатам что-то нужно. Он уходит так решительно, словно у него есть ясная цель, а ее-то и нет. Он утратил ее вчера, утратил у могилы Кристека, и прошедшая ночь подтвердила это. И предъявила ему соответствующий документ — его собственное лицо, пожелтевшее и осунувшееся. И подписала его. Темный круг под одним глазом, темный круг под другим. Подписала, как безграмотный человек. Где же третий круг?

Непрерывно бомбят самолеты. И рвутся снаряды. Это похоже на раскаты грома. Двухэтажный дом содрогается, с востока все ближе доносится мрачный гул, глухие, клокочущие звуки. Это рвутся бомбы, артиллерийские снаряды и снаряды, выпущенные танками. Кляко знает

уже многое, ко многому привык, и именно потому все это ему не интересно.

Денщик сказал правду. Солдаты ждут Кляко, они в полном снаряжении, с винтовками, пулеметами, в касках. Когда он выходит из командирской комнаты, солдаты отлепляются от стены. После бессонной ночи он воспринимает все очень четко, более четко, чем когда-либо. Может быть, это от лихорадки, что вполне естественно. Ведь он прежде всего подумал, что каждый коридор состоит из двух длинных стен и представляет собой сильно вытянутый прямоугольник. Солдаты стоят у этих длинных стен. Все организовано, все отлично организовано кем-то, кто объявил поручика Кляко, командира словацкой сводной батареи, врагом. Кляко это чувствует, как и то, что рука, устраивавшая все это, очень сильна. Это строй! Для Кляко оставлен лишь узкий проход сквозь строй. Он, Кляко, преступник, да, преступник, и потому должен пройти сквозь этот строй. Он не дитя счастья! Но у них, у его солдат, та же судьба, и потому они имеют право на гнев, ненависть, на желтые осунувшиеся лица. И у них под глазами ночь оставила свою подпись, и они боятся этого утра. И, кажется, они тоже подумали: как странно видеть новый день!

«Сквозь строй надо пройти гордо, высоко держать голову. Упасть в середине и умереть в конце строя. Раз, два, три, четыре! Стой! Вольно! Должно быть, у меня лихорадка. Я похож на безумного. Чего они хотят?» И Кляко кричит солдатам:

— Что вам надо, ребята?

— Мы ждем.

— Кого?

— Вас. Мы идем домой на свой страх и риск. И вы или пойдете с нами или...

— Или?

— Что ты с ним канителишься? Дай ему как следует, этому щеголю!

— Нам никаких офицеришек не нужно. Доберемся и сами.

— Тихо, ребята!

Стены дома дрожат. Все явственней доносится канонада.

«Вот она, вот эта сильная рука, что все организовала»,— думает Кляко, узнав голос Лукана.

Лукан подходит с другого конца коридора. В руках у него пулемет.

— В этом коридоре вы должны все решить, пан поручик. Мы отправляемся домой. Это наше последнее слово.

— Ты знаешь, что я не могу вернуться. Ты лучше всех это знаешь.

— Мы будем молчать. Даю вам честное слово за всех.

— Плевать на него! Пошли! Если мы не сделаем этого сейчас, не сделаем никогда. Эту суматоху мы должны...

— Alarm! Alarm! * — послышались крики немцев.

Перед домом затрещал немецкий автомат, раздался громкий топот. Солдаты в коридоре оцепенели.

— Вы все тут? — повелительно спросил Кляко.

— В конюшнях остались люди с Чилиной,— тихо ответил кто-то.

— Беги! — Кляко схватил за ремень ближайшего солдата и оторвал его от стены.— Веди всех на позицию.

Солдат побежал сквозь строй, предназначенный для Кляко, свернул вправо, ко второму выходу.

От задних дверей Кляко отделяли восемь шагов. Он сделал их, успев, однако, спросить себя: «Чем объяснить, что я так спокоен?» И его голос прозвучал резко и повелительно, по-командирски:

---

* Тревога! *(Нем.)*.

— Солдаты! Все за мной на огневую позицию! Лукан! Ты станешь здесь и уйдешь последним! За мной! Бегом!

Он выскочил вон, воодушевив всех остальных. Солдаты побежали следом, потому что он один знал, чего хочет и что нужно делать. Один за другим они исчезали в густых зарослях кустарника позади дома.

■

Обер-лейтенант Грамм стоял во дворе и терпеливо ждал, когда последние запоздавшие солдаты его роты выбегут из дома. Он не имел представления о положении, никто ничего не сообщал ему, не было даже телефонной связи. Фронт должен был стабилизоваться на берегу речки, километрах в восьми к востоку. В трех километрах уже несколько дней назад начали возводить вторую оборонительную линию. Но Грамм не предполагал, что русские могут пробиться сюда, да еще за такой короткий срок. Ведь командир полка совершенно ясно сказал ему несколько дней назад: «Считайте, что вы отправляетесь на отдых, обер-лейтенант. Никаких блиндажей, никаких лачуг — у вас будет дворец. И если вы организуете постели, то останется только вообразить себе пляж, и вы почувствуете себя, как на Ривьере. Поддерживайте в роте дисциплину».

«Russische Panzer! * Не бред ли это? Слышен подозрительный гул. Это гудят танки. Лязг гусениц. Никакой паники, Курт Грамм. Ты бывал в переделках и похуже этой. И все же не терял головы. Два-три русских танка прорвались через фронт и сеют панику. Это безумцы. Но в моей роте нет трусов! Я знаю эту тактику, знаю и русских танкистов».

— Все вышли, фельдфебель Ринг?

— Все, господин обер-лейтенант! Словаки! — Ринг кивнул головой в их сторону.

— Удивительно, фельдфебель Ринг. Я рад, что ошибся. У меня создалось впечатление, что за месяц я сделал бы из них настоящих солдат. Принесите мне каску. У словаков есть каски, а у меня нет.

— Слушаюсь!

Ринг охотно выполнил этот приказ. Глухие, дребезжащие звуки на востоке его не так уж пугали.

— Не будем терять времени зря,— сказал Грамм, надев каску и подтянув пояс. Он дружески похлопал Ринга по плечу. Фельдфебель понял, что положение очень серьезно.

Рота Грамма окапывалась в каких-нибудь ста метрах от своей казармы. Солдаты ковыряли штыками промерзшую землю.

Грамм не очень беспокоился за них, они уже научились делать что полагается. Теперь они окапывались, и потому он решил, что положение серьезное. Но разумеется, он и не подозревал, что у его солдат не осталось никаких идеалов. «Железный вал против большевизма», «Передовая линия обороны европейской и немецкой цивилизации»! Все это вылетело из головы солдат Грамма. Они были обыкновенными солдатами, и это была подлая война, когда нужно было помнить только одно: «Я убиваю, чтобы остаться в живых. Если я убью десяток врагов, в десять раз увеличатся шансы выжить и выкарабкаться из этого свинства. Поэтому я окапываюсь. Прежде наших убитых солдат называли «герои». Дерьмо! Совсем они не герои, а просто дохлое пушечное мясо, и стать им я не намерен. Когда я буду убит, на меня могут все... Я говорю «все», а это, черт возьми, кое-что значит. Отче наш, иже еси на небесех...»

Солдаты работали упорно, преодолевая боль в окровавленных пальцах. При этом они молились. Они верили в бога, только в бога и ни в кого больше. Все остальное было ни к чему. Наплевать на все! Пока бог их не обманывал. Это свой парень! Они молились ему перед каждой

---

* Русские танки *(нем.)*.

атакой, и он их слышал. Они живы. Еще живы! Они — живы! тельство его надежной спасительной руки. Ибо те, кто погиб не молились, или же молились кое-как. Факт. Мало ли лентяев И правильно, что лентяям будет крышка. Совершенно правильно молодчина, он не шарлатан какой-нибудь. От всех он требует ния долга на все сто процентов. В конце концов, это и правильно бога сделай все с благодарностью, и он воздаст тебе сторицей. А что получишь, если сделаешь кое-что для этой свиньи Грамма или еще большей свиньи Ринга? Шиш! Если бы только шиш! Смерть...

Грамм залег впереди и без бинокля убедился, что солдаты оценили обстановку правильно. Русские танки были близко, меньше чем в двух километрах. Путь отступления, вчера после полудня опустевший, снова был забит бегущей армией — солдатней, грузовиками, транспортерами. За дорогой, по полям и всюду, куда хватало глаз, в беспорядке отступали немецкие пехотные части. Танки обстреливали шоссе. Какая-то артиллерийская батарея продолжала еще сопротивляться. Она подожгла две машины. На дороге горели грузовики, рвались снаряды. Обезумевшие кони, становясь на дыбы, метались между двумя кострами, их косило пулями, они гибли в огне. Возле последнего стреляющего орудия что-то подпрыгивало. Грамм взялся за бинокль. Это были три солдата. Вдруг пространство вокруг орудия окутал дым. Грамма словно стегнули кнутом. Он положил бинокль и пошевелил губами, произнося: «Герои». Взвыли моторы. Шесть... восемь... одиннадцать танков выползли на шоссе, и никто не оказал им сопротивления. За танками двигались человеческие фигурки. Они бежали, и от их крика холодела кровь. Молчаливое шоссе пылало погребальным огнем.

— Они нас обходят, господин обер-лейтенант,— сказал Ринг, лежавший рядом с Граммом.

Что может сказать на это обер-лейтенант Курт Грамм? Фельдфебель всегда останется фельдфебелем. И все-таки Грамм ответил:

— Если бы в моем распоряжении была двадцатиметровая вышка, я доказал бы вам, что вы ошибаетесь. Вы разве не слышите? — он показал на горизонт, где пригорок переходил в какую-то ложбину. И в это мгновение, словно из воды, там вынырнула башня танка, а за ней еще четыре. Это был решающий момент. Или танки свернут вправо к дороге, где отступает немецкая армия, или же они пойдут прямо на роту Грамма. С танков стали спрыгивать человеческие фигурки. Облачко. У-и-ии! И бах-бах! Еще облачко.

— Вы останетесь с солдатами. Словаки должны стрелять прямой наводкой. Я иду! — Грамм пополз.

Два солдата окапывались вместе. Грамм ободряюще заметил:

— Отлично, ребята! Вдвоем веселее!

— Дурак,— сказал один солдат, но Грамм не слышал, потому что на крыше дома, где до этого была размещена рота, разорвался снаряд. Второй солдат усмехнулся и вытер окровавленные пальцы о штаны.

— Все мы дураки! — сказал он.

Грамм побежал. Он потерял выдержку и побежал. Существование железной роты зависело от его ног, от его легких, и потому он не смел беречь себя, вообще не смел остерегаться. А раздвигая кусты, он зря терял время и энергию. Здесь не больше трехсот метров, но сейчас это было очень много. Пока не поздно, он должен добежать.

«Орудия необходимо вытащить из земли. Кажется, их закопали не очень глубоко? Нет, не глубоко. Я знаю, что не глубоко. Солдаты любят делать все кое-как, и словаки — не исключение. Потом мы протащим орудия через кусты и установим для стрельбы прямой наводкой. Десять минут. А если это старательные ребята, они управятся и за восемь минут. Они сумеют это сделать, и мы остановим танки. Достаточно остановить

танки хотя бы на час, а там мы как-нибудь уж выкрутимся. Я всегда выкручивался, когда попадал в переделку. А в переделку я попадал не

двух лет будет мало, чтобы все рассказать внукам. А у меня

л. Когда мы победим, я найду жену и сделаю кучу детей.

они вырастут, поженятся и выйдут замуж, у них будут свои дети. Вырастут мои внуки. Сначала я стану обо всем рассказывать детям, потом внукам. Я стану рассказывать им обо всем, что я пережил в этой войне. Мы должны победить. Мы добьемся победы, с такими солдатами, как у меня в роте, мы, конечно, этого добьемся. Удивительно, как они сумели отбросить от себя все, что не связано с войной. Они живут только ради нее. Они действуют самостоятельно, настолько самостоятельно, что любой из них мог бы стать полководцем. Они закапываются в землю, будто кроты. И я бы ничего лучшего не придумал. Они сделали это и без меня. Блестяще, я горжусь...» Грамму хотелось развить эту мысль. Он искал в глубинах мозга новые истины, новые факты, стараясь уверить себя, что все немецкие пехотные части на русском фронте таковы, как его рота. Он хотел это продумать, но в голове шумело, кустарник больно хлестал по лицу, и все ближе слышался лязг танковых гусениц.

Два снаряда снесли часть крыши над жарко натопленной комнатой, где осталась постель и пижама обер-лейтенанта. Крыша взлетела и с грохотом рухнула на землю. Впереди блестели щиты гаубиц сводной батареи.

Словаки стояли молча, сбившись в кучу. Они мрачно посматривали на кустарник, откуда должны были появиться коноводы с вахмистром Чилиной во главе. Где они застряли? Неужели этих кляч нельзя отвязать поскорей? Да и зачем отвязывать? Люди поважнее лошадей. И пусть наконец кто-нибудь, черт возьми, заговорит! Пусть хоть словечко вымолвит. Может, оно что решит, а может, и нет, ведь все уже давно решено. Кто его знает, зачем этот горластый Кляко потащил их на огневую позицию? Они не спали всю ночь, толкуя между собой. И решив бежать на родину, взяли свои каски и винтовки. В такие скверные минуты лучше себя чувствуешь, если эта дрянь у тебя в руках, и Кляко тоже думал, как они, и потому привел их сюда.

— Хорошо,— сказал кто-то.

— Что хорошо? Не будь Лукана, и след бы наш простыл. Но он потребовал, чтобы мы взяли с собой и поручика, тот знает немецкий, и с офицером легче пробраться мимо полевой жандармерии.

— Истинно так.

— А теперь что? У нас под носом русские танки. Они, должно быть, прорвут фронт. Пусть немцы об этом думают. Мы-то чего здесь застряли?

— Я уже объяснял тебе, что мы ждем «лошадиного батьку». Ты забыл, что ли? Они там коней отвязывают, на свободу их выпускают.

— И то правда. Подло было бы бросить товарищей в беде. Но все равно эти коноводы порядочные скоты. Я бы Чилине как следует намылил голову. Теперь вот жди их! А как придут, мы через кусты и подадимся. Сам господь бог их тут посадил. Лучшего места не придумаешь. Нас тут никто не найдет. Кляко-то парень с головой!

У-и-и! Бах!

— Ложись! Здорово тряхнуло! И чего они не идут? Бегите им навстречу! Крышу снесло! Смотрите, смотрите, ее несет, будто парус! Коноводы вот-вот появятся. Эти кусты здесь посадил сам господь бог и шепнул, должно быть, об этом Кляко...

— Herr Leitnant! Herr Leitnant! * — кричал Грамм, выдираясь из кустов. Он тяжело отдувался, испуганное лицо его было все в крови.— Господин лейтенант, русские танки! Мы должны их остановить, остановить хоть на минутку — стрелять прямой наводкой...

---

* Господин лейтенант *(нем.)*.

— Ну, и?..— Кляко ехидно усмехнулся и спросил ледяным тоном: — Не угодно ли закурить, господин обер-лейтенант? Сигарета успокаивает.

Кляко хотелось сделать что-нибудь ужасное. Это вдруг стало сразу заметно по его поведению. Так хищный зверь готовится к прыжку на свою жертву. И если бы хищный зверь умел курить, он точь-в-точь так же закуривал бы сигарету, и если бы у него были руки, то точь-в-точь так же сунул бы их за пояс и направился бы к орудию, и точь-в-точь, как Кляко, он должен был бы перепрыгнуть через лафет.

Уи-и-ии... уи-и-ии-и! Бах!

Никто не закричал «ложись», никто не бросился на землю, никто не заметил, как облако пыли взлетело над постройками, никто не ждал «лошадиного батьку» и молчунов.

Грамм, по-видимому, ничего не понял.

Грохот превратился в звон, в металлический лязг, и Грамм бросился к гаубице, попытался выдернуть ее из земли один. Он быстро говорил что-то, и все слова его сливались в хриплое воронье карканье. Словаки не понимали его, но догадались, чего он добивается. Кляко стоял неподвижно, ожидая чего-то. Кобура у него была расстегнута.

— Чилина идет!

Грамм выпрямился.

— Господин лейтенант, приказываю вам...— Грамм постучал по щиту. Тут к нему подскочил молчун с легким пулеметом, ударил немца по руке и закричал.

— Унзер канон, ферштест, никс дойч, словакиш канон, ферштест? * Пшел отсюда! — Солдат оттолкнул Грамма, и лишь кусты удержали немца на ногах. Он мгновенно схватился за револьвер. Кляко трижды выстрелил, и вслед за тем молчун всадил в Грамма половину магазина легкого пулемета. Рука Грамма продолжала и теперь держаться за ремешок. Кустарник подпирал его мертвое тело. Вдруг оно сползло и так и осталось лежать на правом боку.

Уи-и-ии...

Кто-то протолкался вперед и сказал:

— Ну, проклятые богом!

Это был вахмистр Чилина.

Кто-то захохотал, как безумный.

Это был Кляко.

Молчун держал пулемет, глядя на убитого Грамма.

С полминуты стояла тишина. В этой тишине в сердцах солдат отмирало детство и все, что было связано с ним и что зависит от детства. В этой тишине отмирал их детский разум, их выдумка с окопами на прежней огневой позиции, их замысел взорвать батарею. Их клятвы и планы любой ценой добраться до дому. В этой тишине отмерло и то, что хотел сделать молчун с легким пулеметом. Он хотел выгнать немецкого офицера с огневой позиции, а там — прощай война, мы уходим через кусты, которые посадил здесь сам господь бог... И пока Кляко с молчуном не выстрелили, до тех пор все это казалось умным и правильным.

Уи-и-и-и! Ба-а-х!

— Пулеметы, ко мне! — Кляко держал над головой руку с пистолетом. Подошли солдаты с пулеметами, пришел и Лукан. Кляко сказал: — Мне нужно еще двадцать человек. Пока не придут русские танки, мы должны держать под угрозой немецкую роту.— К Кляко присоединились двадцать молчунов.— Вахмистр Чилина!

— Здесь!

— Занять круговую оборону! И быстро! Мы идем! За мной!

---

* Unser kanon verstehst nichts deutsch, slowakisch kanon verstehst? (искаж. *нем.*).— Наши пушки, понимаешь, не немецкие, а словацкие пушки, понимаешь?

Кляко бросился вперед и побежал. Кусты хлестали и царапали его лицо, как царапали обер-лейтенанта Грамма. Но Кляко упорно мчался вперед, бежал навстречу какому-то героическому поступку, который ждал его впереди и который позволил бы ему заглянуть в глубину своей совести, не увиливая, и почувствовать при этом удовлетворение.

— Растянитесь цепью! Мы пойдем в атаку! — закричал он, оборачиваясь, и снова побежал, боясь, что не прибежит вовремя, что все там впереди сделает за него кто-то другой.

— Братцы! Чертовы дети, вы слышали! Круговая оборона! Ясно вам? Стрелять во фрицев, ноги немецкой чтоб тут не было! Ясно? А если русского солдата увидите, не стреляйте, а кричите: «Свои!» Все ясно?

— А если мы увидим танки?

Коротышке вахмистру пришлось посмотреть вверх на длинного солдата, который наклонился к нему.

— Тихо! Никаких вопросов! А вы, пан поручик, если вам угодно, возьмите своих солдат и отправляйтесь вон на тот участок.— И Чилина показал на горы.— А вы, пан поручик, займите вот этот участок! — Чилина обвел рукой западную часть горизонта. И третий офицер подчинился ему.

— Чертовы дети, ну и дела! Они мне подчиняются!

Вблизи взревели танковые моторы. В той стороне, куда ушел Кляко, послышались частые выстрелы.

Солдаты сводной батареи расположились широким кругом.

— Ребята, вы там слишком густо лежите. Идите сюда, вас трое,— позвал Чилина, а когда батарейцы приблизились, сказал: — Вы будете моими связными. Ясно? — Он сел на лафет третьего орудия. Глаза его остановились на убитом командире железной роты. Чилина долго смотрел на белый лоб Грамма, словно выполнял боевое задание. Но лоб был безнадежно мертв. «Хорошо я придумал насчет связных! Сам не знаю, как до этого додумался. Свыше осенило!»

— Как, ребята, закурим?

— Ну...— неуверенно ответил рябой солдат, и Чилина никак не мог вспомнить его фамилию. Но лицо было такое знакомое... боже, ведь он вез в своей повозке снаряды. Эх...— И когда Чилина предложил молчуну сигарету, у него дрожали руки.

Дрожали руки и у Виктора Шамая, потому что под ногами дрожала земля. Тут раздвинулись кусты. Пришлось стиснуть зубы и выстрелить.

— Не стрелять! — взревел немец, замахал винтовкой и кинулся к Виктору Шамаю. Но слева от молчуна выстрелили, и немец упал.

В той стороне, где был Кляко, лаяли пулеметы.

В кустах перед Шамаем кто-то бежал. Молчун отбросил пустой магазин, вставил новый, прицелился, и руки его уже не дрожали, ибо много секунд прошло с тех пор, как он перестал быть ребенком.

ОН УМЕР МОЛОДЫМ...

Впервые я встретился с ним давно — в нашу динамичную эпоху пятнадцать лет можно назвать давним сроком; это было в Партизанском, на обувной фабрике. Я выступал с докладом, и в перерыве ко мне подошел застенчивый человек, представился — Яшик — и, чуть ли не стыдясь чего-то, сознался, что он тоже журналист. И тут же поправился: впрочем, не журналист, это ведь совсем другое дело, а обыкновенный редактор обыкновенной фабричной многотиражки. Я пригляделся к нему внимательнее — не притворяется ли он? Их многотиражка достигла в то время уровня, которому могла позавидовать не одна «большая» газета. Яркий, живой, злободневный, этот еженедельник печатался на превосходной бумаге. И, что главное,— люди, рабочие фабрики всегда

с нетерпением ждали очередного номера. Перелистав старые подшивки этой многотиражки, вы нашли бы в ней имена многих ныне уже признанных писателей. Заманчиво было сотрудничать там. Зачем же такая скромность? К чему такое подчеркивание «обыкновенности»? Это свойственно людям, почитающим себя в действительности необычайно выдающимися, или — что тоже бывает — людям очень робким, застенчивым, склонным к рефлексии, неуверенным в себе.

Позже я много раз имел случаи убедиться, что у Рудо Яшика это не было позой. Если он подчеркивал свою обыкновенность, то только из опасения как-нибудь выделиться из тысяч безымянных тружеников. Похвала всегда приводила его в крайнее замешательство, а если ему случалось невзначай встретить упоминание своей фамилии — безразлично, в хвалебном или менее хвалебном тоне,— у него от смущения даже вспыхивали уши. Думаю, тут было и нечто иное, чем просто застенчивость. У Рудо Яшика была приятная внешность, но сам он считал, что слишком мал ростом, что родинка на лице портит его, что он не умеет держать себя в обществе. Много подобных претензий предъявлял он себе. Летели годы, мы близко сдружились с ним, и я могу засвидетельствовать и другое — то, что делает человека человеком: его чистую душу, его принципиальность, правдивость, его требовательность к себе и к другим. При всем этом он был очень веселый человек: в кругу близких друзей, которых, правда, у него было немного, он держался непринужденно, любил петь, и смех его звучал, как колокол.

Я часто бывал в Партизанском, и когда бы ни приезжал, обязательно встречался с Яшиком, забегал к нему хоть на часок, а несколько раз и ночевал у него.

Как-то раз — мы были знакомы уже несколько лет — сидели мы за ужином. Рудо Яшик был сам не свой.

«Лацо,— будто против воли, несмело заговорил он, и уши его загорелись, как всегда, когда он смущался,— ты можешь смеяться, но я... я написал роман».

Он, конечно, хотел, чтобы я прочитал рукопись, и требовал, чтобы я сказал ему правду, пусть самую жестокую. Он и сам понимает, что роман не стоит ломаного гроша, да и куда ему, он, дескать, совсем не знает, как надо писать, работа подвигается с таким трудом, в рукописи уже более тысячи страниц, а значит, это скорее плод графоманства, чем серьезный, стоящий литературный труд. Тут он со вздохом назвал несколько фамилий — вот если б он умел писать, как они!

Он вытащил из портфеля толстенную рукопись, сказав, что если я ничего хорошего в ней не найду, то могу выбросить ее на помойку. А через два дня он примчался ко мне в Братиславу: «Лацо,— попросил он меня,— отдай мне этот винегрет, не хочу, чтобы его кто-нибудь читал, все это пустое, и мне так досадно, что я напрасно утруждал тебя...»

Теперь я жалею, что отдал ему рукопись. Никто никогда не узнает, что это было: Рудо Яшик сжег ее, сжег тысячу двести страниц своего первого труда. А я как раз тогда начал верить — поймите, он еще ничего не написал, никто еще не знал его как писателя, но именно тогда я начал верить, что он писатель, и незаурядный. В наших спорах и ссорах, достаточно частых, я видел, что для него важно все на свете, что он глубоко вдумывается в сложности, в тайны жизни, что всякое зло причиняет ему страдание и что он радуется всякой радости, где бы ни встретил ее.

Он был редактором, профсоюзным работником, агитатором, он делал никем еще в полной мере не оцененную работу безымянного коммуниста, домой приходил поздно вечером и, когда у него выдавалась свободная минутка, продолжал свои поиски, пополнял знания и писал, писал, писал. Жена Рудо Яшика пани Гедвига не раз жаловалась, что совсем не видит его, но думается мне, что она была единственным человеком, который читал все написанное им. и что она задолго до того, как это стало известно всем, знала: растет необычайный талант.

Он послал свою рукопись на литературный конкурс. Получил премию — и не напечатал книжки. Только в 1956 году вышел его первый роман «На берегу прозрачной реки» — книга, полная очарования и благоухания бедного Кисуцкого края. Вещь несовершенная, с многочисленными погрешностями против добрых нравов прозы, вещь неотделанная, несозревшая — и все же дразняще новая, во многих отношениях совсем, совсем новая. Как водится, она осталась незамеченной — лишь позднее, когда вышло его лучшее творение, не законченное из-за нелепой, внезапной, мгновенной смерти, критики

серьезно занялись Яшиком. Тогда они вернулись и к его первой книге, стали оценивать ее в новом аспекте, делая вид, будто давно знали, какой Яшик талантливый, какой он великолепный рассказчик, как глубоко он проникает в жизнь. Но факт остается фактом: кроме нескольких настоящих друзей — среди них на первом месте надо назвать Катарину Лазарову, которая была большой опорой Яшику в его писательских поисках,— никто не принимал его всерьез, даже тогда, когда вышла в свет его бесспорно удачная книга «Площадь святой Елизаветы». Помню, с каким недоумением было встречено чье-то предложение на заседании правления Союза словацких писателей выдвинуть эту книжку на соискание Государственной премии. Предложение не прошло, его сочли несерьезным. А сегодня эту книгу считают одной из лучших во всей чехословацкой литературе. Она выделяется своей исключительной поэтичностью, присущей лишь балладам, мастерством рассказчика, культурой слова. Самый сюжет — любовь бедного юноши к еврейской девушке, которую ждет участь всех евреев в фашистском государстве, то есть неотвратимая, жестокая и бессмысленная гибель — был тогда чем-то новым; позднее такая коллизия стала предметом внимания многих писателей. «Площадь святой Елизаветы» Яшика по значению можно приравнять к повести Отченашека «Ромео, Джульетта и тьма». Но повесть Отченашека завоевала мировой успех; «Площадь святой Елизаветы» не снискала подобной славы.

При подведении итогов в области чехословацкой литературы имя Яшика теперь всегда называют среди первых. В последние годы жизни он замахнулся на огромный труд, поставив перед собой величайшие цели. «Мертвые не поют» — это только фрагмент, это первая и отрывок второй части задуманной и незаконченной трилогии *.

Незаконченный роман?.. Не внушают ли сразу эти слова читателю мысль, что его ждет разочарование? Что он не найдет в книге того, что ищет? Вероятно, немало людей именно с такими опасениями брались за книгу, которая ныне является одной из вершин прозы социалистической Чехословакии. Яшик отважился на огромный очистительный труд — он приподнял завесу над событиями, о которых стыдливо умалчивалось в литературе и в истории.

С блестящим талантом рассказчика, с большой нравственной силой осудил он участие армии фашистского словацкого государства в преступном нападении на Советский Союз. Он хотел сказать об этом все — и, как ни удивительно, несмотря на то, что не успел дописать роман, он сказал все главное — хотя нам, к глубокому прискорбию, самим теперь приходится додумывать ненаписанные главы.

Ибо не исключительные события, а простой словак, сын маленького народа — вот подлинная тема всего творения Яшика. Фигуры и фигурки, каких никто еще до Яшика, и пока еще никто после него, не выписал так ярко, так точно и так человечно. Словацкий солдат марширует на восток, на войну, которой не хотел и которой ужасается; словацкий солдат убивает людей, куда более близких ему, чем «спасители Европы», относительно которых в ходе войны у него исчезли последние иллюзии. У словацкого солдата гудят ноги и гудит голова, он ничего не понимает и тщетно вопрошает, что же это такое делается с ним самим и со всем миром. Ответ приходится искать самому, и пути к ответу нелегки и неблизки. Где-то очень далеко остался у солдата родной дом, он знает обо всем, что там может происходить,— как отец, как мать, как милая. И он сокрушенно качает головой: нет, этого он не хотел и никогда такого не захочет; из этого «нехотения» вырастает сначала стихийный, а позднее сознательный протест.

Не много найдется военных романов, в которых бы так мало стреляли, редко в каком романе стрельба, смерти, ужасы и страхи играют такую второстепенную роль. Яшик пробует самое трудное в литературе: глубокое психологическое зондирование, установление гуманистических норм для человека в годы, столь неблагоприятные для гуманизма. И это ему удается. Если можно утверждать, что трилогия Минача — большой очистительный труд, что это исповедь народа,— то же самое, только в большей мере, можно сказать о неоконченном романе Яшика. Словацкий солдат страдает, глубоко страдает, и не знает, за что, он еще не понимает, но должен это понять; он очень хорошо знает: надо понять, иначе он погибнет.

---

* В журнале опубликована лишь первая часть романа.

«Мертвые не поют», в отличие от стольких романов о последней войне, книга о бессмысленности, о преступности словацкого фашизма. Конечно, есть тут и немцы, фашистские солдаты и офицеры, «повелители мира», «союзники», на примере поведения которых словацкий солдат весьма конкретным образом узнает, какой долженствует стать пресловутой «новой Европе». Это так называемые «друзья». А есть и «недруги» — украинские женщины, дети, старики, пленные красноармейцы, и словацкий солдат не может прийти в себя от удивления, до чего перепутались все понятия. Этого он не хотел. Не хотел ни воевать, ни стрелять, ни убивать. В этой стране ему нечего делать в том качестве, в каком он сюда прибыл. Он марширует плечом к плечу с ненавистным, а убивать ему приказывают любимое. Но как поступить? Может ли он, словацкий солдат, хоть что-нибудь сделать в этом исполинском всемирном хаосе?

Так он созревает для бунта. Но и бунт этот пока скромен, он соразмерен возможностям словацкого солдата на огромном театре Восточного фронта. Кто причина всех его мучений? Офицер, ненавистный погоняла. Может, сам-то он не так уж и плох, но в нем воплотилось все зло, обрушившееся на словацкого солдата. У него, у офицера, свои проблемы — с солдатами, с этой сволочной войной; у него, человека более ответственного, и забот больше, чем у солдат, и нелегко ему принимать решение. А решать надо, надо, если он хочет жить.

Содержание книги? Нет, содержание объясняет далеко не все. Содержание ее — война, и от автора зависит, как он овладеет этим материалом, как утвердит себя в соревновании со многими и порой замечательными романами о войне. Сила Яшика — в его очищающей нравственности, в цельном восприятии человека: герои не стоят у него черные против белых, добрые против злых. Они могут быть и добрыми и злыми, главное, они сами должны решать. И Яшик ни в коей мере не облегчает им поиски решения. Это жестокая борьба, ибо она разыгрывается в душе человека и часто касается сокровеннейших дум его.

Мастерство Яшика-рассказчика, яркость его языка, его глубокая заинтересованность в судьбе героев делают этот роман выдающимся произведением, и чехословацкий читатель принял его без обиняков, принял, как слово, сказанное от имени всего народа, как слово освобождающее, как слово, которое помогает понять, разобраться в событиях.

Первая часть незавершенной трилогии Яшика — весомый вклад в дискуссию, которая проходит в последние годы в чехословацкой литературе. Нашлись критики, провозгласившие, что прозе на военную тему приходит конец, никто не скажет уже ничего нового, все аспекты достаточно освещены, да и читатель уже хочет передохнуть и читать о чем-нибудь другом. Роман Яшика опроверг эту теорию, больше того, подтвердил, что роману о войне предстоит еще долгая жизнь, по меньшей мере до тех пор, пока свободе народов будет угрожать бесчеловечный, варварский фашизм. «Мертвые не поют» — последний роман в серии так называемых военных, на недостаток которых не приходится жаловаться словацкой литературе: ведь все лучшие словацкие писатели считали своим долгом выразить свое отношение к событиям, столь драматическим образом втянувшим народ Словакии в гигантскую войну.

Роман Яшика, повторяю, пока что последнее и вместе с тем важнейшее слово в этом направлении. И хотя его композиция, его философия предъявляют к читателю высокие требования, популярность его все растет, он выходит все в новых изданиях, большими тиражами. Наконец, наши прозаики сами ставят это произведение на первое место во всей чешской и словацкой прозе.

Яшик умер молодым, ему было всего сорок лет... Он оставил пусть незаконченный, но настоящий шедевр. И Яшик — не эпизод в словацкой литературе. Он — к сожалению, уже после смерти — стал в первых рядах ее.

Ладислав Мнячко

Молодые поэты Италии

Перевод с итальянского
ЕВГЕНИЯ ВИНОКУРОВА

Из пяти представленных в подборке поэтов советскому читателю знакомо лишь имя Анджело Мария Рипеллино. Один из крупнейших славистов Италии, переводчик Блока, Маяковского, он в своем сборнике «Не когда-нибудь, а сейчас» предстал перед читателем интересным, запоминающимся поэтом.

Как и он, Лино Матти, Мария Бишетти, Ламберто Пиньотти и Джованни Джудичи принадлежат к молодой, послевоенной поэзии. Все пятеро мучительно ищут выхода из лабиринта «экономического чуда» и отчуждения, путь к людям. Со страстью неофитов они отвергают изжившую себя «поэзию для поэзии», обветшалые поэтические побрякушки и красивости. «Что за нелепая привилегия, по которой слово «роза» имеет в стихах куда больше прав, чем слово «холодильник»,— восклицает Ламберто Пиньотти. И, как это часто бывает с молодыми, они стараются быть старше и мудрее своих лет. У того же Пиньотти человек обычно показан в минуты кризиса, на переломе. Но и в эти решающие моменты он подчас больше декларирует, чем действует. Стихи Пиньотти — причудливый сплав народных речений, технических терминов, фраз из журналов и газет. Иной раз в своей беспощадной борьбе со всякой мишурой и красивостью поэт впадает в другую крайность. И тогда его стихи утрачивают свою динамичность и взволнованность. Они становятся немного рассудочными, «головными».

Этой опасности счастливо избежала Мария Бишетти. С мягким лиризмом воспевает она мир простых людей, их маленькие радости и большие горести. Она традиционна в лучшем смысле этого слова. Ее образы пластичны, язык безыскусен, она испытывает к своим героям огромную нежность и теплоту и не стыдится в этом признаться.

А вот язык стихов Лино Матти нарочито сух и лаконичен. Поэт убежден, что тема Сопротивления и верности его идеалам может быть передана лишь скупыми, предельно точными словами. Словами холодными, как его родина — голые Апеннинские горы, в недрах которых, однако, бушует лава.

Разные по стилю, по мировоззрению, по традициям, эти поэты одинаково не приемлют фальшь буржуазной морали и всяческий конформизм. Тот самый конформизм, который, по образному выражению Джудичи, отнимает у человека надежду и ярость.

Для каждого из этих пяти поэтов самый верный способ творить историю — это быть ее участником. И они не остаются равнодушными наблюдателями, а в меру своих сил и таланта «бросаются в схватку, толкают вперед время».

Л. Вершинин

ЛАМБЕРТО ПИНЬОТТИ

Современное приспособленчество

Сначала много солнца — солнца
в избытке.
Затем дается закат
В широком масштабе.
Небо не такое уж торжественное.
Оно скорее причудливое.
Но сойдет вполне.
Ну а уж вечер,
Тот должен быть
Легким-легким,
Тогда все оборачивается
К вам своими
Самыми приятными сторонами.
Позвольте вещам и событиям
Руководить вами,
И тогда вещи и события позволят
вам
Руководить ими.
Они дадут вам
Овладеть собой — без крика,
Спокойно, бездумно.
Главное — избегайте толчков!
Удачно лавируйте
Меж безднами —
Их не должно быть
Ни внутри, ни снаружи.
Мечты должны быть
Прогулочными.
Мир должен быть
Портативным,
Удобным, карманным.
Тогда беспрепятственно
Можно путешествовать по радостям,
А каждый день будет
Самым лучшим днем в году.

■

Сверхэксплуатация

Что может быть хуже
Нашего существования?
Нет времени, чтоб улыбнуться,
В голову не приходят
Ни великие мечты,
Ни мысли о приключениях.
Пот и слезы —
И ничего взамен.
Живот нам нужен,
Чтобы жить.
Но мы живем не для себя.
И даже злости в нас нет.
Какое нам дело,
Что реки и бабочки —
Это декорация.
Мы движемся к пропастям.
Мысли кружатся,
Как слепые мухи.
Но есть и такие,
Которым еще хуже.

■

Интеллектуальное отравление

Меня никто не упрятал
В тюрьму,
Я сам себя посадил
И хочу выйти на свет
Из этой жизни.
О, как я нуждаюсь
В тепле!
Разделю чужие судьбы,
Встану на чью-то сторону.
Быть может, я буду
Побежден,
Но кем-то,
А не самим собой!
Не надо быть вещью.
Не набирайся терпенья.
Бросайся в схватку.
Толкай вперед время!

■

АНДЖЕЛО МАРИЯ РИПЕЛЛИНО

Человек как человек

Он знает Спинозу —
как же! Это портной,
что живет напротив.
Он знает Челлини.
Это ж парикмахер,
чье ателье направо, за углом!..
Его воображение неподвижно,
как ноги в гипсе.
Он отражается каждый вечер
в консервной банке своего
телевизора.
Он знает все. Он эрудит.
Он кладезь премудрости,
Он столп житейской опытности.
И потому, когда в кабинете
позеленевшего от времени дантиста
он замечает статую Психеи,
у которой тоже кариозные зубы,
он решает, что перед ним —
кинозвезда.
Он вздыхает:
— Ах, история — это ж
сплошной стриптиз!
Напрасно Психея рыдает, осыпая
сверкающими звездами
захватанное грязными ручищами
тело,
все в щербинках древности.
Он улыбается высокомерно.
Он знает все —
ведь наука до мелочей
объяснила жизнь.
Он доволен, что в голове
нет мыслей, нет химер
и этих надоевших сверчков
фантазии.
Он все знает.
Офелия?
Это же название
зубного порошка!

■

Галоп

Каждая станция мне кричит:
— Останься здесь!
Умоляюще смотрят на меня
Глаза подсолнечников.
Так одними глазами
Красноречиво говорят
Малыши из пеленок!
Водокачки шепчут мне что-то,
Протягивая гроздья воды.
Мой поезд беспрестанно
Спрашивает меня,
Хочу ли я слезть:
— Хочешь? Хочешь?
Но я тороплюсь. Я шагаю
Сквозь злобный ливень
Вперед и вперед, как солдат,
Как беспутный ветер.
Колеса — мои ноги.
Отдыхать мне не надо!
Глаза мои унеслись от меня
Уже далече.
Напрасно каждая станция
Кричит мне:
— Останься здесь!
Семафор, как арлекин,
Протягивает мне руку.
Разламываются рельсы.
Придумываются катастрофы,
Лишь бы дать мне
Прочный, уютный рай.
Но я не хочу останавливаться.
Я тороплюсь, как тигр,
Голодный и хромой,
Я — стремительная птица,
Мне надо скорее!..
Но куда?

■

Крик

Сползают со стен неистовые следы
Мятущейся гривы огня.
Звучит трагическая песнь битвы —
Каждый день, каждый день,
Огромные корчащиеся колосья
Гнутся на ветру.
Подняться, как пробитое знамя
(горе звалось Варшавой,

горе зовется Испанией!),
Захлебнуться криком,
Разорвать воздух, сзывая всех,
Ударив в желтые колокола набата,
И, прогремев в красные фанфары,
Взметнуться, как мельница,
Объятая пламенем.
Над киверами, полными крови,
Над пробитыми боевыми шлемами
Развеваются твои рвущиеся вперед
знамена.
Бой идет против пигмеев,
Против ханжей, против
Дутых фетишей,
Против глухого бормотанья
Лживых колдунов.

Я бы хотел написать

Я бы хотел написать поэму,
которая была бы похожа на большой город
с широчайшими улицами
и с маленькими двориками,
с перепутавшимися меж собою улочками,
с виадуками.
Поэму, по которой можно было бы гулять,
поэму с садами, в которых можно было бы
собирать одуванчики, где на лавочках
сидели бы пенсионеры и грелись на солнце.
Поэму такую, чтобы по ней можно было
пройти строем под духовой оркестр,
да так, чтоб развевались знамена.
Поэму с калейдоскопом
вывесок и реклам.
Каждую улицу я бы назвал
именами стрекоз.
Поэму с маленькими домиками, сделанными
из комочков хлебного мякиша и изумрудов,
с домиками, на которых были бы мемориальные доски
и перед которыми гид рассказывал бы
увлекательные истории
отупевшей толпе туристов.
— Это,— сказал бы он,— стихотворение-собор,
с витражами из патетических образов,
а это тупик, в котором поэт
ничего не увидел,
кроме чьих-то чужих следов.
А это плесень
стершихся слов,
щебень от фраз в стиле барокко,
серебряная мишура,
пышные одежды,
скрывающие тонкое притворство,
от которых поэт хотел бы освободиться,
чтобы стать простым.—
как любовь.

Интервью

А картины маслом писать, простите?
— Не стоит.
Строить ладьи по лунным рекам?
— Не стоит.
А стихи писать длинные,
как бороды, метущие ветром стекло?
— Не стоит.
А стыдиться, как глупенький ребенок
или как человек, который
весь в рубцах?
— Не стоит.
А расколоться, как копилка,
чтобы отдать душу
за други своя?
— Не стоит.
А горланить на перекрестках, весело,
как древние греки на рынке?
— Не стоит.
А это самоуверенное солнце,
эта непрочная луна,
а эта тень, что крадется,
как некто в штатском!
Смеяться над всем и вся,
как неудачливые охотники?
— Не стоит.
Кричать, словно динозавры,
в анфиладе пустых комнат?
— Не стоит.
Так что же?
Спать, спать, спать,
зевая, заглатывать смачно
воздух,
спать, как раскиснувшие от жары,
спать без просыпу?
— Это стоит.

■

Что-то дало трещину

...Но самое худшее на свете —
Это внезапно для себя открыть,
Что жить надо было бы
Совсем по-другому,
Внезапно понять, что все, что было,
Было ошибкой —
Никчемной игрой!
Да, это совсем не то,
Что взять и закрыть зонтик.
А ведь каждое проплывавшее в юности
Облачко на небе
Вызывало мечту о необыкновенной жизни.
И весь мир казался цирком
С подмигивающими волшебниками,
С гуттаперчевыми сверкающими телами.

Достаточно
Двух-трех плетеных стульев,
Старых и желтых —
И можно было уже
Соорудить великолепный поезд.
Достаточно было
Прищурить глаза —
И перед тобой вспыхивали роем
Разноцветные бабочки,
А у радуги появлялись крылья.
А теперь чувствуешь себя
Ненужным, потухшим,
Потерянным
И разражаешься беспричинными слезами,
Как только услышишь
В темную дождливую ночь, в ресторане,
Банальное пенье
Крикуна.

ДЖОВАННИ ДЖУДИЧИ

Из самого сердца «экономического чуда»

Я говорю из сердца
«Экономического чуда».
Моя вина —
Я не улыбаюсь,
Я не растроган.
Я пока что медленно
Умираю
В ожиданье жизни.
Горечь — это то,
Что приходит,
Когда оставит надежда,
Жалость к себе
Заставляет меня надеяться,
Что жизнь еще впереди.
Сдавшийся,
Я обольщаюсь,
Что еще не сдаюсь.

ЛИНО МАТТИ

Засада

Они погибли, попав в засаду.
Все в полночь погибли они.
Их было мало. Врагов было много.
Оружье? Винтовки одни.
Они погибли, попав в засаду,
В лунную ночь. Весь взвод.
Матери ждут, что сыны возвратятся
Вот-вот...

Под тенью бука

Сколько раз я мечтал,
Долгим взглядом блуждая по сини,
Отдохнуть под развесистым буком
В долине.
Ты уже не услышишь!

Ни треск пулемета,
Ни гром рукопашной.
Враг бежит — вон бежит! —
Разношерстной толпою нестрашной.
Ты же вечно лежать
Будешь, друг мой, отныне,
В тишине, под развесистым буком
В долине.

Сопротивление продолжается

Мы любим полет голубиный
В голубеющем небе,
Орошенном оранжевым
Солнцем,
И влажность листвы,
И терпкость сумерек,
И даже соловьев — в черноте.
Но если небо погаснет,
И песня превратится в плач,
И бедствие раздавит
Своей железной пятою людей,
Пусть дрожит
Под рубашкой сердце,
Откликнувшись на зов,
И две руки
В братском единстве
Схватят
За глотку
Смерть.

МАРИЯ БИШЕТТИ

Я знаю птиц, что не вьют гнезда

Я знаю птиц, что не вьют гнезда,
Они всегда живут в небе,
Дома на земле они не имеют.
Стать бы свободной птицей,
Что вершит свой бесконечный полет!
Я, как безгнездая птица,
Крыши не имею,
Чтобы укрыть под ней
Свои мысли.
Пусть они летят смело
И свободно,
Лети ж и ты, мое сердце!
Что делать тебе
В гнезде моей груди?
Но тогда без
Сердца и без мыслей
Я буду стоять, как дерево без листьев,
И одиноко гнуться на ветру,
Отдав всю себя порыву.

Тоненькая ниточка песни

Тоненькая ниточка песни
Вьется из губной гармоники.
Ее наигрывает человечек, сидя на пороге.
Слишком тонка улочка,
Такая бедная, грязная, темная.
Слишком тоненькая она
Для этой надежды на счастье,
Собранной в песне,
Как в венчике цветка.
Тоненькая для всех мечтаний,
Повисших на ниточке песни,
Мечтаний, что никогда не сбудутся.
Бедность ходит
На тоненьких детских ножках,
Но крепкие и сильные
Пускает корни в сердца людей.
Слишком тонка ниточка песни.
Всего лишь одна нота,
А небо, громадное,
Пока еще затянуто тучами.

Маленькая радость

Тарелка супа —
Вот что нам осталось
Из всех богатств.
А когда-то и мы,
Сияя молодыми лицами,
Мечтали о сияющем
Будущем.
Не говорите о войне!
Невесты
С веточками апельсина
В черных волосах,
Мы, вернувшись,
Разожгли огонь в очаге,
И каждая посадила цветок герани
В дырявую кастрюлю.
Не говорите о войне.
Не давайте новой
Пищи
Нашему отчаянью!

Хоть и мало у нас счастья
И денег нет у нас,
Чтоб выложить их
Со стуком
На ярко размалеванные
Прилавки ярмарки,
Мы все же знаем,
Что и сегодня вечером,
Как вчера,
Он вернется
В комбинезоне,
Заляпанном белоснежной известью,
И усталой рукой
Измажет лицо
Самого младшего из сыновей.
Не говорите о войне,
Оставьте нам,
Если уж не сбылись
Наши мечты,—
Хотя бы смерть, но
Ту, что дает природа.

ПАУЛЬ ШАЛЛЮК

Энгельберт Рейнеке

РОМАН

Перевод с немецкого
В. СТАНЕВИЧ и С. ШЛАПОБЕРСКОЙ

8

Вольфганг: К чему этот цирк? Мне нужно с господином Рейнеке кое о чем договориться.

Пауль: Пожалуйста, никто не запрещает. Этот господин и так сидит напротив тебя, вероятно, уже несколько часов.

Вольфганг: Я! Я сам попросил его прийти сюда сегодня вечером. Я! А почему вы не спите? Давно пора.

Пауль: Мы будем вести себя тихо, не правда ли, Хильдхен?

Вольфганг: Все это решительно никого, кроме нас, не касается.

Пауль: Ну, ты можешь и ошибаться, Вольф. Смотри будь осторожен.

Вольфганг: Никого, понятно? Я и дочь свою вовсе не приглашал присутствовать при нашем разговоре.

Хильдегард: Почему ты мне раньше не сказал? Я тебя спросила совершенно ясно, не помешаю ли? Верно ведь, Энгельберт? Но ты ничего не ответил.

Вольфганг: Молчание — это тоже ответ.

Пауль: Энгельберт? А почему не господин Рейнеке? Вы все еще жених и невеста? Или опять стали?

Хильдегард: Я могу и уйти, если хочешь.

Вольфганг: Оставайся. Теперь это не играет роли.

Пауль: Я тоже так считаю.

Вольфганг: Да и главное ты уже слышала.

Хильдегард: Тогда нечего сердиться.

Пауль: Эй! Не ссорьтесь. Я этого не терплю. Давай, Вольф. Продолжай. Мне страшно интересно, что ты тут рассказываешь.

Вольфганг: С чего бы это? Вдруг ему стало интересно? Все эти годы ты только издевался. Когда мы оставались одни и я об этом заговаривал... Я отлично помню все сказанное тобой.

Пауль: Ну и что же я сказал?

Вольфганг: Таких вещей не забывают. Я, по крайней мере, не могу. Тем более если это родной брат и он бросает тебе в лицо бессовестные обвинения.

Пауль: Ну, так валяй.

Окончание. Начало в № 11.

Вольфганг: Может быть, даже очень хорошо, если Хильдегард узнает — и господин Рейнеке тоже: ты меня называл чересчур щепетильным.

Пауль: Ну и?

Вольфганг: Ты сказал — аллергическая внутренняя жизнь. А внутренняя жизнь и без того роскошь, следовало бы давно ее из тебя вытравить. Ты сказал: стыдливая мимоза по призванию, только слишком поздно нашла себя.

Пауль: Ну, я вообще ничего подобного не помню.

Вольфганг: А я помню. Неустойчивая самоуверенность, слегка поцарапанная щепками, летевшими, когда срубали всегерманский ясень. Я не забыл. И еще ты сказал: верно, спинной хребет повредил при наших набегах? Маленькая профессиональная травма? Пройдет! Займись делом! Думай о чем-нибудь другом! Типично немецкая душонка! И прочие грубости. Но я тебя знаю, ты будешь теперь все оспаривать и уверять, будто это мне приснилось. А мне не приснилось, Хильда.

Пауль: Оспаривать? Зачем же? Формулировка оказалась удачной.

Вольфганг: Ты называешь это удачной формулировкой...

Пауль: Никогда от себя не ожидал такой прыти. Пьян был, наверно, вот и придумал.

Вольфганг: Я мог бы напомнить тебе еще кое-какие дерзости. Например, кающийся ариец.

Пауль: А разве не подходит, господин Рейнеке? Но стыдливая мимоза, по-моему, лучше всего. Прямо здорово!

Вольфганг: Пожалуйста, не смейся! Перестань смеяться! Мне, право, не до смеха. Достаточно вспомнить — и становится противно.

Пауль: Очень сожалею, господин учитель. Постараюсь исправиться. И ты все это принял всерьез?

Вольфганг: Я все это запомнил.

Пауль: Но ты забыл, я говорил еще кое-что, мой милый Вёльфхен. И даже не раз. И готов в ваших же интересах это повторить. Я старался внушить тебе следующее: если под тобой пал конь, то не следует лежать на земле и обиженно торговаться с судьбой или еще там с кем-нибудь. Разве я не прав, господин Рейнеке? Над тобой будут смеяться зрители, которые стоят в тени деревьев. Или же наступающие затопчут тебя насмерть. И то и другое мало приятно. Либо как можно скорее удирай и, если ты способен — способен больше не мчаться вперед,— выходи из игры. Прошу прощения, но это не по мне. У меня нет охоты расплачиваться за какого-то одра. Разве я его создал? Разве я его выбрал? Итак, либо исчезни, пока зрители не захохотали, либо вскочи на труп, а затем — только, пожалуйста, осторожней, не один себе на этом шею сломал — садись на первого же коня, который пройдет мимо тебя рысью, даже если на нем сидит кто-нибудь. Этот другой так растеряется, что его мизинчиком спихнешь. И скоро ты опять будешь ехать в головном отряде. Вот что я называю чувством действительности, дорогие мои, я показал вам его на почти библейском примере. Откройте же глаза! Посмотрите вокруг себя. Вот как надо действовать, и только так. И это правильно.

Вольфганг: Но тут и конец твоему примеру.

Пауль: Даром вам ничего не дается и мне тоже. Ты должен крепко взяться за дело, быть энергичным. Не медлить! Благородные движения души? Потребность все выложить? Пожалуйста. Заняться анализом совершенных ошибок, раскаянием... всепрощением? Ничего не имею против. Но я также ничего не имею против стакана крепкого виски. Это я тебе тоже тогда сказал, Вольф. Все перезабыл? Да?

Вольфганг: Отнюдь нет. Напрасно ты так думаешь.

Пауль: Тем лучше. Но действовал ты не так, ты не последовал доб-

рому совету старшего брата! Почему ты наконец не вскочишь на другого коня, а? Момент же благоприятный.

Вольфганг: Мне хотелось бы никогда этого от тебя не слышать.

Пауль: Как угодно. Дело твое.

Я: Ушам своим не верю. Только таких типов, как вы, нам не доставало. Неужели вам не стыдно?..

Пауль: А вы молчите, да! Итак, чего же ты хочешь, Вольф? Ну, конечно, я просто пошутил. Но ведь и ситуация была до отчаяния комичной. Меня мучили заботы о том, как снять с мели мое предприятие, годами мучили, ты знаешь. А ты? Ты тем временем торчишь в этой своей школе, с изношенным сердцем, и считаешь самым полезным для себя копаться в хламе нашего прошлого и размышлять о благородстве этого Низачтока. Да если бы я даже сделал то, о чем говорил!

Я: Этот Низачток был все же моим отцом, господин Зондерман. Не забывайте! Я не позволю...

Пауль: Ах, извините, пожалуйста. Я не хотел вас обидеть, вовсе не хотел вам причинить боль. Простите меня. Я вам добра желаю. Иногда я думаю: этот Вольф никак не может забыть, что был когда-то директором, вот и все. Но, боже мой, почему ты давно не стал им опять? Здесь или в другой школе?

Вольфганг: Надеюсь, ты на такой вопрос не ждешь ответа?

Пауль: Жаль. А теперь послушай меня внимательно, братишка, таким сопливым я тебя уже давно не видел. Всему свое время, верно? Тогда было, пожалуй, еще рановато. Да и что это были за времена? Развалины, голод, в Италию поехать нельзя, скверные сигареты и сигары, да еще денацификация да шпики! Фу! При чистосердечном раскаянии,— а ты был, без всякого сомнения, на это способен, не удержи я тебя,— ты рисковал бы головой или, по меньшей мере, возможностью благополучно существовать.

Вольфганг: Не преувеличивай же так бессовестно.

Пауль: А почему бы и нет? Хоть какая-то острая приправа к преснятине нашей жизни. Я еще в детстве мечтал о том, что мое призвание— быть поэтом. Но все сложилось иначе.

Я: Боже мой! Долго мы, Хильдегард, еще будем слушать эту шарманку?

Хильдегард: Останься, пожалуйста. Я хочу знать, чем все это кончится. Мне становится интересно...

Пауль: Но теперь, Вольф, хотя бы сегодня ночью, теперь, мне кажется, время настало. Ведь я проводил у вас раньше всего по нескольку дней. Неужели надо было те немногие часы портить себе всякой гнилятиной?

Хильдегард: Меня удивляет одно, дядя Пауль, как это ты все еще у нас бываешь? И почему, собственно?

Пауль: Н-да, почему? На твой вопрос вовсе не легко ответить. Почему? Ну, хотя бы... хотя бы потому, что мне нравится твое личико, Хильдегард, твои глаза. Потому, что я на свете один.

Хильдегард: И мы должны все вместе жалеть его, этого беднягу. Всегда один, одинок, покинут...

Пауль: А я такой и есть! До сих пор я думал, что доставляю вам радость, когда появляюсь у вас, особенно тебе Хильдхен.

Хильдегард: Иногда доставляешь, а иной раз и нет.

Пауль: А ведь мы частенько, сидя вместе, болтали всякую чепуху.

Хильдегард: Я и бываю рада, дядя Пауль, но...

Пауль: Тогда все в порядке. Не будем ссориться. Что этот молодой человек о нас подумает? Продолжай, Вольф. Мне, право же, этот разговор очень интересен. Он может стать забавным. Пресмешная штука — этакая имитация исповеди. Мне, по крайней мере, так кажется.

Вольфганг: А мне — нет.

Я: В чем, собственно, ваш брат провинился перед вами? Почему вы издеваетесь над ним? Не угодно ли вам наконец замолчать?

Пауль: Надо уметь наслаждаться. А в заключение господин Рейнеке шепотом, но проникновенно произнесет: Ego te absolvo*. И тогда твоя душа будет опять свободна, Вольфганг Зондерман. Чокнемся за это — и твое сердце станет невинным, как у новорожденного. Итак, начнем. Тебе придется теперь выяснить вопрос, кто именно в тот вечер, когда состоялось обручение — не правда ли, как романтично! — бросился к телефону и вызвал гестапо.

Вольфганг: Как так?

Пауль: Ведь это и есть тот вопрос, который стоит на повестке. Ради него ты рассказал всю эту скучнейшую предысторию. И теперь тебе не отвертеться.

Вольфганг: Что обсуждать и чего не обсуждать в этом доме, пока еще решаю я. И уж во всяком случае не ты.

Пауль: Разве? Можно и ошибиться. Но будь осторожен. Ведь перед тобой сидит инквизиция. Ты, видимо, этого все еще не понял. Немножко бледности, покорности, немножко честности и чистосердечия, немножко измученности, вероятно, тоже. Со всем соглашаешься. Должно быть, нелегко преодолеть такое прошлое.

Хильдегард: Ты пошляк, дядя Пауль.

Пауль: Нет, не пошляк. Я ведь говорю серьезно, господин Рейнеке! Конечно, не всё! Да и кто мог бы этого от меня требовать? Я тоже люблю пошутить. Но сейчас я серьезен, в самом деле.

Хильдегард: А все-таки, глядя на твое лицо, твоим словам не веришь.

Пауль: Не везет. Разве я виноват, что люди стали в наши дни столь недоверчивы? Итак, Вольф,—инквизиция. И к тому же—он молод. О да, опыта маловато, если не считать того, что этот мальчик в Европе или в Африке все-таки видал виды. Еще одно потерянное поколение. Чудно. Конца этому нет. А люди очень чувствительны, очень жалостливы. И каждое поколение желает, чтобы непременно его считали потерянным поколением. И оно действительно потерянное. Но заблуждаться не следует. В этой потерянности немало горечи, и они хотели бы, чтобы от этой их горечи наш хлеб стал горек. Но мы аппетита не потеряем. Они молоды, честны и порядочны, до смертной скуки порядочны — от недостатка возможностей. Вот новое лицо инквизиции. Новый стиль.

Я: Вы хотите...

Пауль: Не прерывайте меня. Итак, существует мягкий закон, с помощью которого нас хотят упразднить. Ну, давайте выпьем в первый раз за ваше здоровье, господин Рейнеке.

Хильдегард: Не пей с ним, Энгельберт, он подлая личность!

Пауль: Что же делать, если молодой человек не желает со мной чокнуться. Выносливость у нынешней молодежи тоже не бог весть какая. Так вот, продолжаем. Все мы на подозрении, будьте в этом уверены: Вольфганг и моя скромная особа, Хильдхен, покойная невестка и уж конечно Зигфрид. Все. Итак: кто же в тот идиллический вечер помолвки вызвал гестапо? Мы все должны или сознаться, или обелить себя. Это неотделимо от исповеди.

Хильдегард: Вся идиллия того вечера исчезла уже в ту минуту, когда ты вскочил, точно подколотый бык, и смешал шахматные фигуры на доске.

Пауль: А вы все стояли вокруг, жались и мялись.

Хильдегард: Все — отец и Зигфрид рядом с тобой; мама, фрау Рей-

---

* Отпускаю тебе грехи твои *(лат.)*.

неке и тетя Луиза — по одну сторону стола, Энгельберт и я—по другую. Эльке и Фрауке лежали на полу и играли в солдатики. Брунгильду и Эдду мама уже уложила спать. И тогда...

Пауль: Ах, верно, еще девочки! Они тоже были. Давайте сюда этих индюшат, всех четырех!

Вольфганг: Об этом не может быть и речи. Я не разрешаю!

Пауль: Их ведь тоже можно подозревать, Вольф. Разве ты не понимаешь? Они должны присутствовать, должны...

Вольфганг: Ни в коем случае! И хватит!

Хильдегард: А потом, дядя Пауль, ты вдруг вскочил. Мы не знали, что случилось. Но ведь ты еще ни разу не мог стерпеть проигрыша, сколько я тебя знаю. И вот ты стоишь весь багровый, в ярости, и швыряешь шахматные фигуры в доктора Рейнеке, и бранишься, и проклинаешь... Это было ужасно.

Пауль: И никто не удержал меня.

Хильдегард: Да разве кто-нибудь тебя удержит, когда ты взбесишься.

Пауль: Вы же видели, что я пил. А в те времена я все еще не мог пить много. Незадолго перед тем я раненый вернулся из Франции. Помните? И мне, по сути дела, следовало еще лежать в лазарете.

Я: Помню, господин Зондерман, что вы в Париже...

Пауль: На фронте, милейший, если хотите знать совершенно точно.

Хильдегард: Мы просто боялись тебя. Обе девочки расплакались, и мама увела их наверх. А женщины забились в угол.

Пауль: А ты, Хильдхен? Ты же обычно очень хорошо со мной справляешься.

Хильдегард: Мне тоже стало страшно. Я была в ярости. Меня так радовало, что все получалось удачно. В первый раз в жизни я была счастлива. А потом произошло это. И это было ужасно. Когда ты начал ссориться с доктором Рейнеке — мы слушали недолго: нам эта ссора показалась слишком глупой и вполне безобидной, и мы вышли в сад — Энгельберт и я.

Вольфганг: Не пей так много, Пауль.

Пауль: А жаль, что не остались. Вы кое-что упустили — возможность изысканного духовного наслаждения. Сцепиться с Низачтоком было одно удовольствие. Как он отвечал на удары! Без грубой силы и всегда ловко, всегда элегантно. И как он потом, шаг за шагом, заставлял противника переходить к обороне — это был высокий класс — и никогда не припирал к стенке, чтобы можно было продолжать. Очень благородно действовал ваш папаша, очень по-рыцарски! А как он защищался, когда я на него нападал! Великий воин перед господом! С таким хорошо было и кусаться, и тягаться, и драться. Великолепно, дети мои, просто великолепно! А что видишь в наши дни? И притом был всегда приветлив, вот что самое удивительное. Я мог ударить его куда угодно: он улыбался. Вот с кого следует брать пример, господин Filius. Настоящий духовный турнир. Я никогда ни с кем не ссорился так вдохновенно. Правда, и противник ему нужен был равноценный, скажу я вам, иначе ничего не получалось. А потом — рюмку водки, пить он, впрочем, тоже умел: ваше здоровье, господин доктор,— ваше, господин Зондерман. И все забыто.

Я: А вы не замечаете, что все время ходите вокруг да около? Право же, хватит. Вероятно, все-таки самое важное, что в тот вечер явилось гестапо.

Хильдегард: Правильно, Энгельберт. Гестапо. Может быть, ты знаешь, дядя Пауль, кто вызвал его?

Пауль: Ах так, ах, Хильдхен, ты допускаешь, но ты же говоришь это несерьезно. Это же неправда.

Вольфганг: Не пей так много. Давай на этом кончим. Я устал.

Пауль: Ты действительно допускаешь, что... это я... Я тогда пошел к телефону — я! Оттого что еще никогда не терпел поражения, с тех пор как ты меня знаешь? Ладно, заметьте это себе на всякий случай, господин инквизитор. Одна из обвиняемых подозревает своего дядю. Хотя не привела ни одного доказательства. Что ж, посмотрим.

Хильдегард: Я тебя не подозреваю. Да и на каком основании? Потом в нашем доме об этом почти не говорили, пока мама была жива, а когда она умерла — тем более.

Пауль: Никогда не говорили? Как так?

Хильдегард: Я понимаю, это тебе кажется странным, дядя Пауль. Наблюдать и слушать других ты не умеешь. Когда ты приезжал к нам, только и было разговору: моя фабрика, моя фабрика...

Пауль: Разреши тебя поправить. Теперь это называют предприятием. Фабрика в наш социальный век слишком напоминает об эксплуататорах, капиталистах и тому подобном.

Хильдегард: Как мне опять добиться сырья? Как проникнуть на рынок? И ни о чем другом. Нами ты никогда не интересовался. Я рада, что наконец могу тебе это высказать. Так откуда тебе знать, что мы здесь, в этом доме, с того вечера помолвки дошли до виртуозности, сводя на нет любую тему, едва только от нее потянет запахом гари. Тут мы с папой — настоящие волшебники. Впрочем, и ты, Энгельберт, показал себя в этом деле отнюдь не бездарным.

Я: А что же мне прикажете делать? Я хочу, чтобы меня оставили в покое.

Хильдегард: А если иной раз — конечно, на минуту — разговор и соскальзывал не в ту сторону, мы всегда сходились на одном! Почему так получалось, я тоже не знаю. Во всяком случае, мы были твердо убеждены, что в вечер помолвки никто не вызывал гестапо, и это исходило вообще не из нашего дома; какой-нибудь мальчишка, член гитлерюгенда, давно донес на доктора Рейнеке и, когда дело дошло до помолвки, сообщил гестапо. Все эти годы я считала, что так оно и было. И ты тоже, Энгельберт, а может быть, нет?

Я: Считаю и до сих пор.

Хильдегард: Тогда извини... Но сейчас, сегодня вечером, я начинаю сомневаться. Кто же кому налгал? Хоть один человек должен все-таки знать, как это произошло.

Пауль: Конечно, кто-то должен знать.

Вольфганг: Почему ты смотришь на меня?

Пауль: Кажется, мне еще не запрещается смотреть на родного брата. Господи, Вольфганг! Какой ты осел! Какой дуралей! Почему ты мне все не объяснил? Почему я об этой версии ничего не знаю? Просто отчаяние берет! Ведь ясно же: у каждого факта есть две стороны. Надо только знать, которая сверху. Ну, ладно. И с этим справимся. Я стараюсь всеми силами вытащить тебя из ловушки инквизиции; восхваляю отца этого господина, чтобы создать хорошее настроение, подчеркиваю безобидность наших ссор и делаю это с успехом, как мне кажется. Ты же сидишь, точно воды в рот набрал. А ты должен защищаться, должен все это запротоколировать, господи боже ты мой!

Хильдегард: Я бы на твоем месте вышвырнула его из дому, отец. Вышвырни! Слышишь?

Вольфганг: Что же мне сказать? Все и так ясно.

Пауль: Вот именно, что нет. Уже не все ясно, Вольф. Твоя дочь начинает сомневаться в твоей версии, то есть в честности своего отца. Возникает семейная драма. Неужели ты никак этого не поймешь? Подыгрывай же нам хоть немножко!

Вольфганг: А виноват во всем ты со своей болтовней.

Пауль: И твоя дочь считает своего дядю, старого честного коммерсанта, способным на такое предательство? Хильдхен! Как, по-твоему, мог я это сделать? Обдумай-ка спокойно: я играл с Низачтоком в шахматы. Я проиграл и с ним поссорился. Ладно.

Вольфганг: И чем попало стал швырять ему в голову.

Пауль: Ну ясно. Жаль, что я позабыл. Такие сценки дуэлей на рапирах следовало бы записывать для потомства. Но я был в форме, это-то я помню.

Вольфганг: Ты кричал ему в лицо, что он-де пораженец, жалкий демократишка, что он подрывает волю нации к обороне.

Пауль: Но он это и делал, разве нет?

Вольфганг: Что он большевик, саботажник; вероятно, его подстрекают ко всему евреи: он же друг этого старика учителя рисования Августа Лемкёстера, который каждую ночь позорит германскую расу с еврейкой,— извини, Хильда. Я не выдумал, я лишь цитирую: что таким людям-де место только в концлагере. Это ты ему несколько раз крикнул в лицо. Хильда и господин Рейнеке уже ушли в сад.

Пауль: Великолепно! Я ведь сказал, что был в превосходной форме. Но чтобы наш поединок протекал столь блестяще, этого я уже не помню.

Хильдегард: Ты говоришь — поединок?

Пауль: Ну, что-то острое в этой схватке должно было быть, иначе она не доставила бы удовольствия и Низачтоку.

Вольфганг: Ты сказал: ему место в концлагере.

Пауль: Да, да, конечно, и что его подстрекают евреи. И тогда Низачток заявил — теперь я вспоминаю: прошу вас, господин Зондерман, мне верить, я искренне и от всей души жалею вас за то, что вы начисто лишены тонкости и умения понять дух еврейского народа. Недурно, а? Довольно опасные слова. А я отвечаю: наши белокурые пареньки дадут вам возможность немножко закалить ваши утонченные нервы. А он: прошу вас опять-таки не обижаться на меня, если я осмелюсь утверждать, что в жизни не встречал такой чудовищной глупости, как у вас. Ну, это попало в точку. Я же был офицером...

Я: Эрзац-офицером.

Пауль: Не перебивайте. Это было сильно сказано. У меня дух перехватило. Я замахнулся. Он этого ждал, я по глазам видел. Ну, говорю, опыт у вас еще невелик. Я уж позабочусь, милый друг, о том, чтобы вы в концлагере узнали побольше и поосновательнее относительно этих самых чудовищных глупостей. Обещаю вам. И пошло: удар — и тут же сдача.

Вольфганг: Странно только, зачем тебе понадобилось в это время бросать взгляды на меня, а главное,— на Зигфрида.

Пауль: Ну, это же ясно. При таких драках необходимы зрители. И им выражаешь свое уважение тем, что поглядываешь на них с улыбкой. Я ведь смотрел и на твою жену, и на Луизхен.

Вольфганг: Но прежде всего на нас двоих, и всякий раз, когда ты упоминал о концлагере. Причем ты отлично знал, насколько мальчик был раздражен, какая ярость в нем кипела против доктора Рейнеке. Прямо бочка с порохом. Он уже давно был как бочка с порохом.

Пауль: Оттого что Низачток на пасху оставил его на второй год?

Вольфганг: Итак, тебе это было известно.

Хильдегард: Отец! Значит, Зигфрид...

Вольфганг: Ничего это не значит. Ну, я иду спать. Извините, господин коллега. Может быть, нам потом еще представится случай...

Пауль: Скажи, пожалуйста! Смыться захотел? Смотри, как бы тебе это не вышло боком. Ты останешься, понятно? Так просто ты от меня не уйдешь, нет, не уйдешь, братец!

Вольфганг: Лучше помолчи. Опять напился.

Пауль: Господин Вольфганг вдруг испугался собственной исповеди. А кто все затеял? Скажи-ка лучше, братец, где ты был, когда мы ругались?

Вольфганг: Спокойной ночи, господин Рейнеке.

Пауль: Ну давай, будь честным, смелым.

Вольфганг: Не прикасайся ко мне.

Пауль: Отвечай. Где ты был?

Вольфганг: В той же комнате, ты отлично знаешь.

Пауль: Очень уж твердо я этого не знаю, иначе я бы не спрашивал. Я, напротив, вспоминаю, что ты не все время был в комнате: ты отсутствовал по крайней мере полчаса.

Вольфганг: Полчаса? Просто смешно. Самое большее — несколько минут. Я выходил в уборную.

Пауль: Так, выходил. Вероятно, господин инквизитор будет столь любезен и запишет: директор Вольфганг Зондерман в упомянутое время выходил в уборную. А для этого ты должен был пройти через прихожую, не правда ли?

Вольфганг: Не задавай глупых вопросов.

Пауль: А в прихожей и теперь еще стоит телефон.

Хильдегард: Отец!

Пауль: Не пугайся. Ничего с ним не случится. Сейчас мы кончим. И когда ты проходил через прихожую прямехонько в клозет и обратно, ты ни на что не обратил внимания?

Хильдегард: Отец! Значит, ты не все время был вместе с дядей Паулем и доктором Рейнеке?

Вольфганг: Как я уже сказал, нет, не все время.

Хильдегард: А Зигфрид?

Вольфганг: Этого я не знаю.

Пауль: Но знаю я, с твоего разрешения. А я ведь не думал, что ты такой трус. Ты выказываешь перед лицом инквизиции столько страха, что вряд ли это пойдет тебе на пользу. Чего ты, собственно говоря, боишься? Итак, в комнате вдруг оказалось только четверо: Низачток, его жена, Луизхен и моя ничтожная особа. И фрау Рейнеке говорит: пойдем, Леопольд, хватит, перестань. А Луизхен говорит: перестань, пожалуйста. А Низачток бледнеет и говорит: минутку, я сейчас вернусь... выбегает из комнаты. Наверно, в уборную, думаю я. Сажусь, опять расставляю фигуры и жду его, чтобы снова начать игру. Но он не возвращается. Вместо него в комнату входит мой брат, не менее бледный, чем Низачток. И я спрашиваю: где он? А мой брат спрашивает: кто? О ком ты спрашиваешь? Твой коллега, говорю, мы будем продолжать игру. И мой брат говорит: не знаю, откуда же мне знать? Разве я за него отвечаю? И я спрашиваю: а где Зигфрид? И мой брат говорит: мальчик лег спать. Ты теперь вспоминаешь, Вольф?

Вольфганг: Ну да, и что же?

Хильдегард: Отец! Ты видел Зигфрида, ты говорил с ним?

Вольфганг: Это становится интересным. Дознание начинает вести моя дочь. Решительный тон, должен признать. Тебе следовало бы стать прокурором.

Хильдегард: Пожалуйста, не уклоняйся. Ты видел его?

Вольфганг: Ну конечно. Я не мог его не видеть.

Хильдегард: А где ты его видел? В прихожей?

Вольфганг: Разумеется, и в прихожей. Он же должен был пройти через прихожую, чтобы подняться наверх.

Хильдегард: Значит, все-таки? А ты только что это отрицал. Ты солгал мне.

Вольфганг: Ну, это уж слишком! Ты могла бы говорить со мной другим тоном.

Хильдегард: Что делал Зигфрид, когда ты его увидел? Смотри на меня. Ты же можешь еще смотреть мне в глаза, отец?

Вольфганг: Да я и в самом деле стою здесь перед каким-то судом. Это что — все еще игра или уже серьезно?

Пауль: Я ведь сказал тебе: инквизиция. Я, разумеется, не мог предугадать, что в конце концов их окажется двое. Я считал, Хильдхен, что ты — наша, что ты принадлежишь своей семье.

Вольфганг: Да оставьте вы меня наконец в покое. Я иду спать.

Хильдегард: Ты не уйдешь, пока я не узнаю всего. Мы годами не смели об этом заговаривать. Именно ты, отец, ты научил меня искусно переводить разговор с одного на другое. И многие годы ты лгал мне. В день моей помолвки вызвали гестапо, и это сделал один из нас.

Вольфганг: Ради бога, Хильда! Я тебе не лгал. Все-таки Зигфрид твой брат. И он погиб на поле боя. Об этом тебе никак не следует забывать. И мы даже не знаем, где он похоронен, мой единственный сын.

Хильдегард: Если можно, без сентиментальностей, отец. Видел ты Зигфрида? Да или нет?

Вольфганг: ...

Хильдегард: Я не слышу, говори, пожалуйста, громче.

Вольфганг: Да, я видел его.

Хильдегард: Он говорил по телефону?

Вольфганг: ...

Хильдегард: Громче!

Вольфганг: Да, он говорил по телефону.

Хильдегард: Или — я обращаюсь к тебе, отец,— или это ты звонил, когда Зигфрид ушел наверх?

Вольфганг: Не выходи из рамок, Хильда! Я ведь все еще тебе отец.

Хильдегард: Отвечай.

Вольфганг: Я не звонил. Верь мне, Хильда, прошу тебя, верь же мне, твоему отцу, Хильда! Я не звонил.

Хильдегард: Хорошо. Я верю. Я не хотела сделать тебе больно, отец, прости. Но нужно же наконец внести ясность. Значит, позвонил Зигфрид. А ты?

Вольфганг: Я ведь уже сказал: я прошел мимо.

Пауль: Вот вам и вся правда, господин инквизитор. Отец и сын в прихожей. Сын звонит. Отец проходит мимо и говорит: побыстрей.

Вольфганг: Неправда. Этого я не говорил.

Пауль: Так мне рассказывал Зигфрид. Он умер, а мертвым надо верить. Ты сказал: побыстрей.

Вольфганг: Подлая ложь! Это неправда!

Хильдегард: Пожалуйста, не кричи. Что ты сказал?

Вольфганг: Ничего. Я ничего не сказал. Я прошел мимо и ничего не сказал.

Пауль: Ну, ладно. Господин следователь, будьте добры занести в протокол: обвиняемый прошел через прихожую и ничего не сказал. Я думаю, на этом следствие по делу Рейнеке contra * Зондермана можно было бы считать законченным. Теперь суду предстоит вынести приговор. Желает ли суд предварительно удалиться для совещания? Прихожая в вашем распоряжении. Кроме того, оттуда удобно звонить по телефону.

Хильдегард: Ах, отец! Почему ты раньше со мной не поговорил! Почему, почему?

Вольфганг: Да... дитя...

Хильдегард: И почему ты ничего не сказал, ничего не сделал, когда Зигфрид начал звонить? Ты же одним пальцем мог нажать на рычажок. Почему ты ему не запретил?

---

* Против *(лат.)*.

Вольфганг: Поди сюда, Хильда. Хильда, поди ко мне. Ты думаешь, Зигфриду можно было запретить? Да он способен был всех нас впутать, мне очень жаль, что приходится сказать об этом вслух, но я ведь тоже только человек. Хильда, иди же сюда.

Хильдегард: Ах, оставь меня!

Пауль: Мы тут теперь лишние, господин инквизитор. Начинается интимная часть, кульминация семейной драмы. Жестокая трагедия, не правда ли? Но инсценировка удачная, как вы находите?

Я: Я нахожу ваш смех совершенно неуместным.

Пауль: Не думал, что после стольких лет все это произведет такое впечатление. А ведь нам нужно еще ответить — будь они прокляты — на совсем другие вопросы, будь они трижды прокляты! Покончить с совсем другими делами, не имеющими отношения к этому устаревшему вздору. По крайней мере я должен ответить. Но вы, очевидно, никак не можете от него освободиться. Сидят, как кролики под взглядом издохшей змеи. Вот и приходится устраивать кое-какую инсценировку. А получилось неплохо. Я кажусь себе прямо-таки психоаналитиком. Надеюсь, мое лечение поможет. Впрочем, что я еще хотел напомнить вам, господин Низачток: мой брат — это все же мой брат.

Я: Не понимаю вас.

Пауль: Ну так я выражусь яснее: если вы насчет сегодняшней милой игры скажете кому-нибудь хоть словечко, мой милый мальчик, я не желаю вам зла,— хоть полсловечка,— берегитесь, предупреждаю вас! Только чтобы излечить моего брата, взялся я руководить этой милой игрой в исповедь. Я все точно обдумал, когда захлопнул весьма увлекательный детектив и спустился вниз. Всю эту чепуху вы и без меня рано или поздно узнали бы от моего брата. Но теперь эта история приобретает другой оттенок.

Я: Допустим. И все-таки мне не ясно, зачем было поднимать столько шума вокруг всей этой канувшей в прошлое чепухи. А показаться психиатру следовало бы как-нибудь вам, именно вам.

Пауль: Что вы сказали? Повторяю: одно слово, одно маленькое замечание. Ведь это не только прошлое для вас, нет, для вас это будущее. Поймем ли мы друг друга, милый молодой друг? Одно крохотное замечание — и вы будете уничтожены, все равно, где бы вы ни находились Уж я вас настигну. Не усмехайтесь! Я вас просто раздавлю, вам известно, что вас и так уже подозревают в излишних симпатиях к Востоку. Легкий нажим, простой поворот диска — это не составит для меня никаких трудностей,— и вы будете уволены из школы. Мы не можем, дескать, допустить, чтобы наше молодое поколение воспитывали коммунисты,— примерно в таком роде. Я знаю, как это делается, имею некоторое отношение к министерству. Так вот: берегитесь! А теперь: желаю вам спокойной ночи, спокойной во всех отношениях.

Я: Подождите еще одну минуту. Теперь моя очередь. Остается еще кое-что уточнить.

Пауль: Весьма интересно.

Я: Зигфрид вызвал по телефону гестапо, и оно схватило моего отца, когда он хотел уйти к себе домой и, может быть, бежать. Отец Зигфрида проходил мимо, когда сын звонил, и не сказал ни слова. Но это вы, вы бросили искру в пороховую бочку.

Пауль: Какую искру? В какую пороховую бочку?

Я: Вы сказали...

Пауль: Одно слово, милейший, а какое значение может иметь одно слово?

Я: Мы это видели. Вы сказали: Низачток, ваше место в концлагере. А Зигфрид стоял рядом, он и был пороховой бочкой. И он услышал то, что вы сказали. И то, что он услышал, попало в пороховую бочку, то есть

в него. Это вы, господин Зондерман, вы бросили искру, целый сноп искр. И вы отлично знали, что делаете.

Пауль: Слушайте, вы...

Я: А теперь я требую, чтобы вы меня не прерывали... Вы не только знали, что делаете, у вас был точный расчет, как и во всем, что вы предпринимали. Зигфрид убит. Ваш брат промолчал, и он до сих пор страдает от этого. Вам это известно не хуже, чем мне. Но вы, вы бросили искру и потом хорошо перенесли и военную катастрофу и время после нее, да, исключительно хорошо перенесли, вас это ничуть не затронуло, видно по вас. И если здесь кто-нибудь...

Пауль: Какое это имеет?..

Я: Не прерывайте меня! Слушайте. И если здесь кто-нибудь и стоит перед судом, то это вы — вы, Пауль Верлен Зондерман.

Хильдегард: Сдавайся, дядя Пауль, и не смей прикасаться к Энгельберту!

Пауль: Очень хотел бы...

Хильдегард: Да я тебе глаза выцарапаю! Ты меня еще не знаешь, дядя Пауль.

Я: Пожалуйста, ударьте, это как раз в вашем духе.

Хильдегард: Не зли его, Энгельберт.

Вольфганг: Расходитесь, живо расходитесь. Как тебе не стыдно, Пауль.

Я: Советую вам обратиться в министерство. Попытайте счастья.

Хильдегард: Он способен это сделать и сделает.

Я: Пусть... Я не боюсь. Вопрос только в том, не подрубит ли он сук, на котором сидит. Что касается прошлого...

Хильдегард: Прошлому они теперь уже не придают значения, во всех учреждениях и министерствах достаточно людей такого же сорта.

Я: Все равно. Пусть попробует. Я принимаю бой.

Пауль: Вы слишком глупы, чтобы я стал с вами драться. Воображаете, я буду о вас руки марать? Но в один прекрасный день я вас все-таки сцапаю, подождите, придет такой день.

Я: Буду ждать и надеяться.

Хильдегард: Замолчи же, Энгельберт. Он действительно опасен. Прошу тебя, больше не связывайся с ним.

Пауль: В конце концов, Хильда знает меня.

Я: А как же теперь с вашим «Ego te absolvo»? Последним актом? Это ведь самое трудное. Вы, как видно, не слишком большой мастер по части исповедей, или я ошибаюсь?

Вольфганг: Довольно. Извините, господин коллега, что я так решительно прерываю разговор. Я не мог знать, чем все это кончится. Пауль, пойди ляг и проспись.

Пауль: А вы здесь больше не показывайтесь, во всяком случае, пока я в этом доме, сморчок вы этакий. Разве у вас отцовские масштабы? Как бы не так.

Хильдегард: Он потом успокоится, Энгельберт. Я поговорю с ним завтра, когда он протрезвится.

9

Мы одновременно подняли головы, и Луиза, оторвав взгляд от рукописи, уставилась на пестрые стекла маленького кафе-синагоги.

Куда она смотрела — через стекла на улицу, наблюдая непрерывный поток прохожих? Да и видела ли что-нибудь? Взволновал ли ее диалог при свете настольной лампы, или она сочла его порождением моей угне-

тенной фантазии? Может быть, теперь она одобрит мое бегство из школы, даже признает его необходимым и поддержит меня перед мамой? Но Луиза молчала, выжидая. На лице ее я не мог прочесть ответа на свои вопросы. Уже стемнело.

Мне казалось, что теперь, много месяцев спустя, я опять вижу перед собой багровое лицо Пауля Зондермана. И все-таки я чувствовал себя свободнее, чем прежде, почти совсем свободно, ибо теперь — что бы ни сказала Луиза — существовал наконец человек, прочитавший диалог при свете настольной лампы. Он перестал быть тайной, которую я вынужден был хранить со страхом в душе.

У меня был план: прежде чем оставить школу, навестить старика Лемкёстера, бывшего моего учителя рисования; я хотел просить его по возможности прочесть рукопись, дать мне совет и уж во всяком случае — быть моим свидетелем, если он того пожелает. Луиза опередила его, надеясь вновь снискать мое доверие. И я не знал, помогло ли мне то, что я все открыл Луизе и тем самым вновь связал нас узами доверия,— быть может, мне удалось наконец бежать из мрака воспоминаний?

Бежать из мрака навсегда — или это обман, и все мне только мерещится, и я вовсе не убежал? Даже если бы я и ускользнул из той комнаты с лампой, была ли это последняя камера воспоминаний, через которую я обречен пройти и все перечувствовать снова? Неужели придется опять пережить помолвку, последнее классное сочинение, мучительное ожидание после пасхи, спор с отцом? Сколько таких камер под землей, на которой я стою? Сколько их, камер, где опять — нет, не опять, а все еще жив Низачток? И самое главное: есть ли между ними стены, может ли сын Низачтока верить или хотя бы надеяться, что, вступая в новую камеру, он навсегда покидает прежнюю? А вдруг камеры воспоминаний сливаются воедино, по горизонтали и по вертикали, одна переходит в другую, одна походит на другую, одна неотделима от другой, они неразличимы по месту и расположению, по кубатуре и долговечности, по делимости и обратимости и прежде всего по своей ценности и значению для нынешнего дня, который требовал от меня решения?

Меня сбивало с толку и угнетало, что, минуя разные отрезки времени, я не могу найти ни намека на границу, отделяющую один отрезок от другого, что я неразделимо пребываю во всех, что я не могу замкнуть за собой пройденное пространство и распрощаться с каким-то одним воспоминанием; нигде в этом лабиринте не удавалось мне найти регулировщика времени, который вытянул бы руку, направляя бурный поток событий, который мог бы прервать ночную исповедь Зондермана: стоп, назад, ты уже побывал на сцене,— и сказать лабораториям, ожидающим меня у Дитриха Барча: подождите, подождите-ка, ваша очередь еще не пришла.

Было тихо, холодно и темно: по каким же признакам мог я определить, где мне следует пробыть дольше — в ночи с настольной лампой или в той, когда горел еврейский молитвенный дом; где вести себя осмотрительнее — в учительской среди коллег или в актовом зале, во время торжественной речи отца в честь Вольфганга Зондермана? По каким данным мог я судить об этом? Их нельзя было различить во мраке, ведь с тех пор как отец, «к нашему прискорбию, скончался от сердечной слабости», данные эти в их холодном безмолвии стали неизмеримы. Какие вести — если бы я мог отличить одну от другой — были для меня важнее сегодня, когда мне предстояло принять решение? Или все воспоминания жили во мне одновременно и я был приговорен к одновременному пребыванию во всех камерах? Приговорен или помилован сегодня утром, когда отцовские часы — они перейдут к тебе, если я все-таки не пойму,— изрекли свой приговор: «помиловать», сразу же приведенный в исполнение?

Через сколько еще катакомб придется мне пробираться ощупью, прежде чем я смогу забыть сложный перекрест воспоминаний и выбраться на свет из их одновременности? На сколько ступеней предстояло мне еще взобраться вверх или спуститься вниз? Без светильника в руке. Без всякой уверенности, что найду выход. Куда открываются двери? И есть ли выход вообще? А может быть, мне следовало с готовностью принять это осуждение или помилование — все равно что — и безропотно пребывать во всех воспоминаниях и камерах, стараясь даже быть довольным? В этом лабиринте без ясного плана?

Что, если мое бегство окажется бесцельным, неосуществимым, попросту невозможным, потому что я не в силах выбраться из воспоминаний? Потому что я не могу ускользнуть из камер, никуда не могу? Даже и в том случае не смог бы, если бы мне больше не угрожал никакой паша, если бы никакой учитель гимнастики не высмеивал при всех на школьном дворе мое телосложение, если бы никакой местный поэт не посылал меня в катакомбы памяти, если бы я больше не чувствовал возле себя господина Лемкёстера, который после смерти жены вел жизнь отшельника. Не мог бы укрыться и в лаборатории Дитриха Барча. Потому что мне пришлось переварить события, потому что пережитое стало моей плотью и кровью, а воспоминания — мясом, костями, жилами и кожей, и от этого я сделался старше и старее. Потому что мое нежелание быть только сыном Низачтока оказалось ребячьим бунтом, к тому же весьма похожим на самоубийство. Что за сумятицу чувств рождает эта одновременность оживших воспоминаний!

Я искал выход, потому что паша грозил мне доносом в министерство; подрыв моей репутации — вот чего я боялся. Я искал выход: я не хотел больше двигаться по лабиринту скачками шахматного коня; пусть меня навсегда и без оговорок отпустят на свободу, в рамки нормального времени, в границы настоящего, где жили, и как будто не протестуя, Хильдегард, Луиза и мама, Вольфганг и Пауль Зондерман и все остальные. Или я обманывался? Быть может, они обманывали меня, сами того не сознавая? А быть может, просто отворачивались от прошлого? Или же их силы целиком уходили на то, чтобы беспрестанно бормотать себе под нос: «нынче, нынче, нынче» и «завтра, завтра, завтра»; бормотать до тех пор, пока они не уверятся в равномерной поступи времени, неуклонно шагающего вперед, хотя даже в учебниках истории все-таки не решаются утверждать: «вчера, сегодня, завтра», то есть — «всегда». Вокруг была тьма.

Сегодня? Настоящее? Ну да. Но усердные рабы — секунды — взялись за свои тонкие блестящие инструменты. Они копали еще глубже, они строили еще выше, без устали трудились они над моим прошлым, над моим лабиринтом, прибавляя все новые ходы и каналы к старым, прокладывая пути и перепутья, вырубая в скалах и в воздухе новые камеры воспоминаний: подвалы и камеры, залы и подземелья, коридоры и галереи, гостиные и площади, спальни, улицы и туннели, тюрьмы и бараки, небоскребы и доты — все новые и новые ячейки пространства... и так без конца...

Я был богат и все-таки не замечал своего богатства — вплоть до того утра, когда остановились часы и пришло письмо. Теперь же, когда я наконец его заметил, вид этого богатства вызвал во мне смятение. Я владел целым городом воспоминаний, но, чтобы расположиться в нем и радостно пребывать в его необозримом пространстве, а может быть, и остаться там навсегда, я должен был найти тщательно скрытый план. И я подозревал уже, что ошибся, выбрав эти образы — город и камеры, катакомбы и лабиринт; с их помощью я хотел уяснить себе пережитое, но не мог; я подозревал, что план, запечатленный в моей памяти, вовсе не похож на чертеж, который можно носить с собою в кармане, время от

времени в него заглядывая,— он похож скорее на формулу. А формулы я не знал. И потому по-прежнему не расставался с этими образами — лабиринтом и катакомбами. И наступила минута, когда образы овеществились, став осязаемой действительностью.

Богатый молодой человек, заплутавшийся в лабиринте, и нет у него под рукой путеводной нити, которая вывела бы его на дорогу. Скачки коня по лабиринту, неслышные и неустанные скачки, почти не причиняющие боли.

Здесь вас ждут всевозможные развлечения; зловоние из подвалов тирании — благоухание с вершин любви; стоны в темницах — безмолвные молитвы на улицах; сладострастная игра со смертью — и шепот при свете луны: останься же, останься, я вернусь, это все говорят, я вернусь, останься же, останься, я не хочу быть одна, мы должны быть вместе — образы, слова, вести и знаки; камеры, камеры, камеры.

Может быть, я не должен был, не имел права показывать Луизе диалог при свете настольной лампы? Неужели и она попадет теперь во власть Пауля Зондермана?

Я взглянул на нее. Она не заметила этого или просто не подала виду, размышляя. И когда я смотрел на нее, не разжимая губ, что-то твердило во мне, непрестанно и беззвучно: ВОЛЬФГАНГ, ПАУЛЬ, ХИЛЬДЕГАРД, Я — так же плавно и беспрерывно, как утром, когда во мне вертелись слова: НЫНЧЕ, НЫНЧЕ оно придет, НЫНЧЕ. А теперь я уже не понимал, что такое нынче. А потом завертелись другие имена: КИПП, говорило что-то во мне, и я был не в силах остановить пластинку, ШТЕЛЬТЕНКАМП, ЛЕМКЕСТЕР, о да, АУГУСТ ЛЕМКЕСТЕР, ГЕРБЕРТ ЛАДЕГАСТ, твердило оно, БЕТТЕНБЮЛЬ и НИЗАЧТОК — имена-пули, стрелявшие вперед и назад, отлитые для диалогов. И еще: ГЕРБЕРТ ЛАДЕГАСТ, ДИТРИХ и снова: ВОЛЬФГАНГ, ПАУЛЬ, ХИЛЬДЕГАРД, Я, ХИЛЬДЕГАРД...

Я встряхнулся — это помогло.

— Рукопись ты можешь захватить с собой и показать маме,— сказал я.— Но прошу тебя, будь осторожна. Не выпускай ее из рук.

— Ты возьмешь и Хильдегард?

— Попытаюсь.

— И тогда мы снова останемся одни — я и твоя мама.

— Мне очень жаль. Но что я могу поделать...

— Перестань, Энгельберт. Тебе незачем извиняться. Я понимаю. Теперь-то я тебя понимаю. Ведь до этого дня я ничего не знала. Когда я теперь оглядываюсь назад, многое проясняется для меня из событий последних месяцев. Твое бледное лицо, твоя нервозность, временами это было невыносимо. О школе ты уже давно нам ничего не рассказывал. Ну, теперь-то я знаю почему. Итак: ты не можешь остаться. Таково и мое мнение. Это невозможно. Мы все в опасности. Пауль Зондерман — опасный человек, поверь мне, я его знаю.

— Спасибо, Луиза. Я рад.

— Чему?

— Тому, что поговорил с тобой. Сейчас я пойду в больницу.

— К Герберту Ладегасту?

— Завтра или послезавтра его выписывают.

— Так скоро?

— Да ведь операция аппендицита — пустяк.

— Хорошо. Послушай, Энгельберт, расскажи ему все. Он сможет дать тебе совет. Ведь Герберт знает лучше нас всех, какие у тебя перспективы.

— Поэтому-то я и иду туда.

— Обедать придешь?

— Еще не знаю.

— Но нам нужно знать.

— Лучше не рассчитывайте на меня. Я хочу еще навестить господина Лемкёстера.

10

Всего несколько шагов — и я очутился в самом сердце нашего городка, там, где скрещиваются и сливаются обе его главные артерии.

Я шел к Герберту Ладегасту в больницу, куда по настоянию своих родителей — они наконец-то снова решили взять на себя заботы о сыне — он лег на операцию аппендицита, все еще чего-то выжидая, все еще надеясь, что случай сведет его с Хильдегард Зондерман.

Герберт Ладегаст, наш классный вожак.

На несколько месяцев позже, чем мне, пришлось и ему расстаться с короткими штанами, влезть в солдатские сапожищи и мундир защитного цвета и затянуть поясной ремень с вытесненной на коже вдохновляющей надписью: «С нами бог!». Во имя торжества «тысячелетнего рейха» ему дозволено было прижиматься щекой к полированному коричневому прикладу винтовки, которую он научился лелеять, как невесту; ему приказано было целиться, нажимать на спуск, убивать: «С нами бог!» И на месяц позже, чем я из французского плена, он вернулся из плена американского — прямо в грязь и руины, разумеется, без невесты, но все такой же рослый и здоровый.

С набитым рюкзаком за плечами перешагнул он через кордон и, не говоря ни слова, пожал мне руку. Он был доволен, хотя ничуть не гордился тем, что ему удалось пересидеть по ту сторону большой лужи весь этот ад и быть сытым; а я рядом с ним выглядел истощенным, ибо мне пришлось оставаться в дряхлой Европе и отбывать плен под надзором таких же истощенных староевропейских братьев.

Чернота его глаз стала еще угрюмее, лицо было мужественное, угловатое.

Вскоре после этого мы как-то ночью сидели друг против друга в его холодной комнате, подняв воротники шинелей, которые мы еще не успели перекроить на гражданский лад, вокруг — светлые прямоугольники на стенах, где прежде были приколоты чертежными кнопками фотографии кинозвезд, разбитый рояль, струны гитары лениво свисают, в трубке — пепел, который забыли выколотить. Тут Герберта внезапно обуяли гнев и бессильное отчаяние. Он грохнул кулаком по столу и стиснул зубы, молча загоняя ярость внутрь.

Что с тобой, старый вояка? — осторожно спросил я. Он был, пожалуй, не в состоянии понять мой вопрос, и, если хорошенько подумать, это и не был настоящий вопрос, а скорее какой-то робкий стук в одиночество. Как ничтожно все, что мы способны сказать друг другу. Волосатой ручищей он схватил со стола пивную кружку с остатками пены, швырнул ее в стенку и крикнул, перекрывая звон осколков:

Проклятая дрянь! Он — и больше никто!

Кто? — спросил я.

Чертово дерьмо!

Да кто же?

Низачток! Кто же еще? Он знал все, он один только и понимал, что происходит и что неизбежно произойдет дальше. Только он один, Низачток, черт бы его взял! Сейчас он был бы нам нужен, как никогда, дозарезу нужен, говорю я тебе, нам, жалким окаянным свиньям. Нужен больше, чем все остальное. Всем нам — и тебе тоже.

Да, да, согласился я робко и боязливо, ибо он произнес вслух то, о чем я не смел и думать, так как боялся попасть в капкан. Да, конечно. Мне, пожалуй, больше, чем тебе, Герберт, сказал я.

И я убежден, что это была правда. Мне острее не хватало Низачтока, чем ему, а ни в одном из пактов, которые заключали с богом Авраам или Моисей, Христос или Магомет или кто-то там еще, не было обещано, что человек сможет удерживать подле себя того, кто ему нужен: сын — отца, мужчина — возлюбленную, жена — мужа, друг — товарища. Все когда-либо заключенные договоры и попытки искупления казались мне несовершенными.

Потом мы вместе поступали в университет, швырнули на стол угрюмого секретаря свои аттестаты зрелости, избавлявшие нас от необходимости снова полировать задами школьную скамью, после того как мы основательно помесили ногами земли Европы; не зная, какую профессию избрать, мы ходили на все лекции подряд. В чужих халатах прокрадывались в анатомический театр, препарировали мозг, копошились в нем с неистовством, которое старались скрыть друг от друга, хотя сами не знали, что именно надеемся отыскать в его извилинах. Криминалистика и экзистенциализм, международное право и этнография, проблемы философии и история Европы и многое другое. Ничто нас не удовлетворяло. Нас неудержимо несло вперед и вперед; в костюмах из эрзац-шерсти мы переходили из аудитории в аудиторию, вступая в каждую как маловеры, которые сами не рады своему неверию и спешат из одной церкви в другую, моля чужих богов даровать им веру. Нас гнала и гнала вперед яростная ненасытность Герберта.

Жили в одной комнате, в одной лачуге, и оба ладили с молодой хозяйкой, солдатской вдовой, полной неутоленных желаний.

Дырявый потолок нашей комнаты был оклеен предвыборными плакатами. Одна из стен усеяна заплесневелыми изречениями: «Ты — ничто, твой народ — все», пошлая премудрость, с которой давно сошел весь лоск, но ведь надо же нам было над чем-то посмеяться. Еще стена, украшенная обнаженными герлс — вырезками из засаленных журналов. На железной печурке жарили макароны на конском сале. В жестяной ванне обливали друг друга водой, когда воздух под скатом крыши мерцал от зноя. Играли в покер и подвешивали на нитках танцующие фигурки из пластика, которые с неожиданным долготерпением мастерил Герберт, часами добиваясь того, чтобы пестрые кружочки на паучьих ножках парили в воздухе, а я не позволял себе смеяться над взрослым мальчишкой, который и этой забаве предавался так же яростно.

Пять долгих лет, прожитых вместе. Кровати, стоящие по диагонали: моя — под окном, Герберта — под книжной полкой, о которую он набивал себе шишки, вскакивая во сне. Пять лет подряд его храп по ночам, слышный даже спящему. Эта тирания сна приводила меня в бешенство; я подползал к его постели и зажимал ему нос, и мне казалось, что я мальчик с пальчик, ощупывающий лицо великана.

Иногда мне приходилось укрываться одеялом с головой, Герберт в это время в потемках под книжной полкой вел философскую беседу со своей кузиной Нотбургой о непостижимом соседстве нарастающей радости и бессильной печали, а иной раз там же хихикала Ульрика с междугородной телефонной, издеваясь над его свирепой покорностью, которую — о чем я могу лишь догадываться — не всегда венчал должный и желанный успех. И как-то потом, под сенью Шопенгауэра и Канта, Борхерта, Ветхого Завета и Хемингуэя очутилась изящная и веселая докторская дочка, которую Герберт, с моей робкой помощью, пытался раздеть. Но попытка не удалась. Ловкость девушки одержала верх и помогла ей вырваться невредимой из двух пар мужских рук. Запыхавшийся Герберт подошел к зеркалу и попытался щербатым гребнем прочесать чащобу своей шевелюры. Но и это было тщетно. Ветхие грабли сломались. Он швырнул их в стену с изречениями и угодил как раз в затейливую надпись, утверждавшую, что «Достоинствами немецкой

жены и матери не обладает ни одна женщина ни в какой другой стране». И все же потом Герберт ухитрялся рассказывать об этом поражении как о неожиданной и весьма удачной авантюре, причем не скупился на подробности.

Герберту было труднее, чем мне, окончательно выбрать профессию: он умел петь и при этом подыгрывать себе на гитаре, умел писать абстрактные картины; в антропологическом институте он измерял черепа, глаза и уши, помогая своему профессору найти иной раз среди пятидесяти кандидатов настоящего отца какого-нибудь внебрачного пацана. Он умел язвительно и страстно спорить, говорил по-английски, как американец говорит по-немецки, и мог часами стоять в витрине шляпного магазина, водрузив на голову одну из новейших моделей, и со счастливой миной ежеминутно подмигивать прохожим одним глазом. Я тоже пытался этим заняться, но через полчаса был уже не в силах подавить в себе приступ смеха, и меня выгнали. Герберт писал юридические сочинения, которые вызывали у его профессоров желание заполучить его в ассистенты; он сочинял также короткие рассказы и лирические стихи во всех новомодных стилях.

Лишь когда я стал готовиться к экзаменам, он решился наконец после долгого приступа депрессии отдать предпочтение юриспруденции.

И тут оно свершилось. Настал день, которого мы боялись,— после пяти лет равенства, товарищества и полной общности имущества. Угрюмо, засучив рукава, взялись мы за работу: живей, живей. В один прекрасный день произошел раздел — операция, проведенная при полном сознании: рассортировать — эта книга твоя, эта моя,— запаковать, завернуть, уложить; разорвать пополам общее достояние и свою половину вновь вверить атавистическому чувству, которое мы, при нашем анархическом образе жизни, считали уже преодоленным. Напрасно, мне пришлось в этом сознаться.

Но страдая от приступа старой болезни, в чем-то похожего на новое грехопадение, мы не говорили: скорей, скорей, до свидания, au revoir, bye, bye.

Однако мы знали, что за нашей суетливой трезвостью кроется чреватая сомнением тоска: что нам делать теперь, когда каждый останется в одиночестве и больше не будет радоваться победам другого, не будет находить в другом понимающего противника, которому можно наподдать под ложечку, если вспыхнет вдруг непонятная ярость; что делать теперь, когда каждый из нас останется один в холодном мраке, которого мы за пять лет так и не озарили светом, но о котором сумели все же забыть, непрестанно взрывая его бранью и хохотом. Мы защищали друг друга от мрака, который назывался Зондерман, Штельтенкамп, Беттенбюль, Кипп и Прошлое... Прошлое; защищали друг друга, когда ловким и подчас циничным щучьим броском перелетали через каждое всплывающее воспоминание, когда старались опять все забыть и вскоре действительно забывали, среди шашней с девицами и экзаменационной страды. Теперь же мрак надвинется снова, и мы не знали, хватит ли у каждого из нас душевных сил одолеть то, что только общими усилиями нам удалось забыть.

Я стал младшим учителем в городской школе. Семестр спустя Герберт, отныне доктор права, поступил сначала в металлургический концерн, а вскоре — на завод «Кондор». Шли месяцы, долгие месяцы, мы не виделись, не переписывались. Потом, через несколько лет, когда я был уже в Нидерхагене, он написал мне изменившимся почерком, с наклоном вправо, хотя прежде его буквы неумолимо стояли торчком:

«Стал руководителем курсов для торговых агентов. На предприятиях фирмы «Кондор» это человек, которому поручено обучать по спе-

циальной программе наших торговых агентов, внушать им, какую броскую рекламу и, разумеется, технические рекомендации следует применять, чтобы увеличить сбыт легковых и полулегковых автомобилей — несравненной продукции наших заводов. Неплохая должность, приезжай ко мне, если хочешь».

И я поехал к Герберту Ладегасту. Когда я вышел из электрички, он помахал мне из открытого окна своего оранжево-желтого автомобиля с черным брезентовым верхом.

Энгельберт, старина. How do you do? — приветствовал он меня, усадил в машину и нажал на стартер.

Он не взял протянутой ему руки. Может быть, в его кругу вообще не принято здороваться за руку? Существуют племена, усвоившие совершенно иной приветственный ритуал. У меня было такое чувство, будто я въезжаю в чужую страну.

Заводы «Кондор» находятся недалеко от станции. Мы могли бы запросто дойти пешком. Но и мне казалось куда более шикарным — в глубине души я чувствовал себя польщенным — подкатить туда на машине, затормозить под бесчисленными окнами многоэтажного административного здания и высадиться на берег.

Он поставил машину возле стоявших рядами мотоциклов, мопедов и малолитражных автомобилей и при этом поглядывал на меня с улыбкой, которой я прежде за ним не знал,— с улыбкой веселой непринужденности.

Здесь нет никаких сословных различий, nothing like that, сказал он. Сам босс ставит здесь свой бьюик. Таков дух фирмы «Кондор», милейший, понял?

Доктор Герберт Ладегаст, руководитель курсов для торговых агентов фирмы «Интернационале верке Кондор»,— я спрашивал себя, сколько раз в течение дня или ночи он задумывается над этим фактом и какие высокие чувства его при этом обуревают. Привратник — старообразный человечек, со спиной, изогнутой в виде параболы,— выглянул из застекленной проходной.

Алло, наш молодой доктор. Этот господин — ваш гость?

Мой друг, ответил Герберт.

Значит, все в порядке. Ха, ха, ха. Вряд ли он окажется шпионом, ваш друг, проходите, пожалуйста, доктор. Хотя постойте, чуть не забыл. Вас только что спрашивал господин директор Вельк, из экспортного отдела.

Вельк? Oh, sorry, сказал Герберт, посмотрел на меня, и лицо его опять озарила улыбка веселой непринужденности.

Sorry, Горецки, сейчас у меня совсем нет времени. Вельку придется подождать.

Подождать так подождать, all right, дорогой доктор. Уж этот господин директор Вельк — вечно у него спешка. Я передам ему.

Приду попозже, скажем, через час — тебе тогда все это наверняка надоест, Энгельберт.— So long, o'kay, милейший, пойдем.

Герберт повел меня по длинному двору, вдоль которого тянулись упругие рельсы, сходившиеся где-то далеко-далеко, словно их слияние не должно было совершаться у нас на глазах. На открытых платформах, сверкая в лучах осеннего солнца, громоздились пирамидами изделия заводов «Кондор», полные лошадиных сил.

Герберт равнодушно шел вдоль ряда платформ. Он усвоил теперь другую походку — на полшага впереди меня. А может быть, подумал я, эта его размашистая, молодцеватая походка совсем не нова. Может быть, Герберт всегда ходил такой самоуверенной поступью, слегка вразвалку. Я просто не замечал этого, потому что все эти годы шагал слиш-

ком близко к нему. Но вот манера одеваться у него теперь бесспорно стала другая, для меня непривычная и какая-то броская: узкий галстук бабочкой с заостренными кончиками — маленький бледно-голубой пропеллер, в меру усыпанный прихотливыми серебряными искорками. Костюм светло-серый, двубортный, классический фасад с двумя параллельными рядами пуговиц, приветливый осенний облик. Мне казалось вполне вероятным, что он сам терпеливо и самоотверженно набросал на бумаге проект этого сооружения.

Ты видел, как одевается доктор Ладегаст? — спросила меня мама в последний приезд Герберта. Не мешало бы тебе взять с него пример.

Пожалуйста, почему бы и нет, ответил я. Только зачем? Я ведь всего лишь «учителишка».

Доктор Ладегаст — элегантно-самоуверенный светский человек. Руководитель курсов для торговых агентов и бывший вожак в классе у Низачтока.

И вот он спешит впереди меня, всего только на полшага впереди. Но мне кажется, будто в этом промежутке мерцают последние отсветы его былой ярости.

Не будь я так поглощен изучением его самоуверенной внешности, я мог бы задать ему вопрос: ублаготворен ли он, сыт ли, доволен? Но я боялся поспешного ответа, вроде:

Ну, колоссально, милейший, разве ты сам не видишь? А ты, Энгельберт? Как живешь, что нового в школе? И я не смог бы ответить:

Колоссально, милейший. До чего же я ненавидел это слюняво-фамильярное словцо «милейший»! Мне следовало рассказать ему про Зондермана и Киппа, про Штельтенкампа, Беттенбюля, про Аугуста Лемкёстера, я уже давным-давно должен был рассказать ему про Хильдегард, про то, как мы с ней снова нашли друг друга, хотя все еще не решаемся задать себе вопрос, не пора ли нам наконец пожениться. Но прежде всего мне следовало рассказать о Низачтоке — он, наверно, был бы рад, что я вернулся к Хильдегард,— рассказать, что он по-прежнему с нами и этому нет конца, много-много рассказать о Низачтоке. А Герберт до сих пор даже не упомянул этого прозвища, и о Хильдегард он тоже не спросил.

Вместо этого доктор Герберт Ладегаст сказал:

Послушай-ка, Энгельберт, МЫ ежедневно производим... И доктор Ладегаст сказал: НАШЕ предприятие — одно из крупнейших в автомобильной промышленности... И Герберт сказал: число НАШИХ рабочих составляет в настоящее время... И он сказал: весь НАШ личный состав... И сказал: НАША футбольная команда... Сказал: НАШ swimming pool *, НАША библиотека. И: НАШ оркестр, НАШИ дома отдыха и НАШИ оклады, НАШИ мелкие акционеры, НАША организация досуга... И сказал еще многое в этом роде — я позабыл что: НАШЕ, МЫ, НАШЕ, МЫ...

Я еще вижу выражение его лица, вижу, как он говорил, подставляя лицо мягкому ветру, и я еще вижу, как всякий раз в его глазах вспыхивал огонек, когда он произносил своим ровным голосом с самоуверенной невозмутимостью: МЫ и НАШ. И я вспомнил, что ему и прежде было свойственно что-то такое — гордость, невозмутимость или непринужденность; он и прежде — не часто, но с энергической готовностью к действию — говорил: НАШ класс... Или: что бы там ни было, МЫ с Низачтоком... Или: НАШ Низачток... да НАШ Низачток, и при этом, если только было возможно, он глядел на Зигфрида Зондермана, и мы знали, что Зигфрида он исключал из понятия «МЫ», исключал из этой надежной общности и тем оскорблял его.

---

* Бассейн для плавания *(англ.)*.

Под водительством Герберта мы пересекли двор между цехами. Он толкнул маленькую дверцу в больших воротах, которая вела в цех, где кузовы машин прокатывались, штамповались, формовались, сваривались, склепывались — и бог знает, что еще. Лицом, горевшим от любопытства, я с размаху налетел на стену из шума и рева; ударившись об нее, отпрянул назад и едва не потерял сознания. Я боялся задохнуться в зловонии пламени, дыма, ржавчины и кипящей жидкости. Герберт улыбнулся и крикнул мне в ухо:

Не пугайся, это скоро пройдет.

И в самом деле, немного спустя все это уже не так пугало меня. Несмотря на шум, я уже мог расслышать, о чем говорил Герберт со сварщиком, который стоял к нам ближе других, окруженный облаком пара — фосфоресцирующей прозрачностью, с фонтаном ослепительных искр в центре. Он выключил свой брызжущий искрами сварочный аппарат; сдвинул на лоб темные очки и глядел прищуренными глазами то на меня, то на Герберта.

Как дела? — спросил Герберт. Ему пришлось так сильно напрячь голосовые связки, что на шее вздулись жилы.

Ах, господи, да вы же сами знаете, доктор, как всегда, делаешь, что в твоих силах, живешь себе помаленьку.

В лотерее ничего не выиграл?

Эх, черт возьми, ни пфеннига. Ставлю теперь на лошадей, немножко поинтересней будет.

И тут они пустились рассуждать о разнице между лотереей и тотализатором, а я все смотрел на голубые молнии. Для меня это был хаос, из которого день за днем, час за часом рождались всевозможные блестящие и подвижные предметы.

И тогда я в свою очередь спросил сварщика — ему могло быть и восемнадцать и сорок восемь лет, до того непроницаемо было его лицо под маской копоти: скажите-ка, уважаемый... И вот уже скользнула ухмылка по лицу руководителя курсов для торговых агентов доктора Ладегаста, владеющего не столь смехотворными, но куда более подобающими случаю формами обращения. А как должен я был обратиться к этому покрытому копотью человеку: милостивый государь, или коллега, или, может быть, приятель, или просто парень, или рабочий-специалист, или даже товарищ? И рабочий тоже ухмыльнулся — эту ухмылку можно было разглядеть сквозь слой грязи. У меня не было никакого желания продолжать разговор, но оба они ждали и смотрели на меня, и после небольшой паузы я все-таки сказал:

Вы давно работаете на заводах «Кондор»?

О господи, да уж лет десять, а что?

Тут бы мне и замолчать, нелегкая меня возьми, отделаться бы ничего не значащим: да просто так интересуюсь. Но черт знает почему я не мог прекратить болтовню, будто во мне заработала какая-то машина.

Наверно, испытываешь большое удовлетворение, разглагольствовал я, когда целых десять лет проработаешь на таком большом и всемирно известном заводе. Я старался выражаться хотя бы не так книжно, как привык говорить в школе. Ежедневно наблюдать, как выпускается столько автомобилей, сознавать, что дирекция обеспечивает тебя организованным досугом и всевозможными видами развлечений, да, это наверно, дает большое удовлетворение — или я ошибаюсь?

Герберт осклабился, а чернолицый рабочий опустил на глаза защитные очки и пробурчал:

Нет, нет. Ничуть не ошибаетесь, это дает удовлетворение, конечно. И затем, обращаясь к Герберту, спросил: что это еще за профессора вы к нам приволокли, дорогой доктор? Он громко, грубо захохотал и снова пустил свой аппарат.

Я сказал, что думал: я был восхищен совершенной организацией этого огромного предприятия, хотя до сих пор я видел только крошечный его кусочек, словно сквозь замочную скважину. А Герберт во дворе говорил: МЫ и НАШ. Это звучало как обетование мирной земли. Неужели все это была только игра? Нечто, считающееся на их территории признаком хорошего тона, общепринятым заводским языком? Или же это было пустое бахвальство? Мне не хотелось так думать. Я видел его довольную улыбку и напрасно искал в нем прежнюю ярость. МЫ и НАШ. У меня не хватало мужества так говорить о моей школе. Я не имел на это права. У нас каждый трудился сам по себе — разумеется, согласно плану, разделенному на учебные часы, но всегда один на один с целой сворой отнюдь не любознательных юнцов и рука об руку с коллегами, чьи ладони потели от потаенных усилий забыть Низачтока. А может быть, мне все же надо было присоединиться к кружку моих младших коллег. Макс Блудау был среди младших преподавателей самый живой и искренний, и я нисколько не сомневался в том, что ученики всех классов ценят и уважают его больше всех других учителей: он умел каким-то загадочным для меня способом пробудить их внимание на уроках немецкого языка и музыки; обходным путем, с помощью литературы и искусства, он добивался от учеников таких успехов, о которых никто другой не смел и мечтать.

За все время, пока мы осматривали склад, поточные линии, душевые кабины, прессы и два больших конвейера, я не раскрыл рта — по крайней мере больше не заговаривал с рабочими, все они как-то оторопело глядели мне вслед, будто сварщик уже передал всем тем, мимо кого мы проходили, по беспроволочному телеграфу: внимание, внимание, тут ходит этакий чокнутый профессор, остерегайтесь!

Осмотр завода больше не доставлял мне удовольствия.

Ну что, милейший? — спросил Герберт, когда мы наконец закончили обход. И я сказал ему, что впечатление у меня очень сильное и что после всего увиденного я волей-неволей сравниваю себя с ним, да и не только себя, а и мою школу с заводами «Кондор».

Как это? — удивился он. Я попытался объяснить ему, что он в отличие от меня... ну, в общем, понимаешь, мне кажется, в один прекрасный день я переменю профессию, ты только подумай, какое будущее у тебя, а я — топчусь на месте, вечно одно и то же, a^2 плюс b^2, и так всегда, всю жизнь: открыть окна! Или: На последнем уроке... Мне кажется, в один прекрасный день я переменю профессию.

Ну, ну, ну, протянул Герберт.

Правда, правда. Хватит с меня этого балагана. Скажем, поступлю к вам. Как ты на это смотришь? Нет ли случайно в твоей торговой школе вакансии младшего преподавателя?

Он засмеялся своим линялым смехом — мы как раз проходили через спортивную площадку — и наконец сказал: Listen to me *, Энгельберт. Здесь у нас великолепно, спору нет, для себя я не желал бы ничего лучшего, я доволен; утром спускаюсь к своей машине, еду на завод, знаю, с кем имею дело, все расписано — от сих и до сих, наперед ясно, какие возможны результаты, по статистике я могу судить, как мои агенты прокладывают колею, и так далее, и тому подобное. Конечно, бывают и неприятности, ясное дело, как же без этого? Не все идет так гладко, как кажется на первый взгляд. Ведь и здесь тоже работают только люди, не более. Но в общем с заводами «Кондор» — полный порядок. Только вот... Он запнулся.

Что «только»?— нетерпеливо спросил я.

---

* Послушай *(англ.)*.

Дело в том, что для такого предприятия, как НАШЕ, так сказать, надо родиться. Я был бы искренне рад, если бы мы с тобой служили в одной фирме, определенно. Но уж поверь мне, Энгельберт, ты не создан для этого, определенно нет. Ведь я тебя знаю. Твое место в школе. У тебя есть педагогическая жилка. Я знаю, милейший, что тебя точит: история с Низачтоком и ее отголоски. Мне это известно. Мой старик посылает мне вырезки из газет. Я читал, как наш король поэтов Феликс Звонкозвучный нападает на бездомных бродяг — в особенности на пришлых молодых учителей, которые считают себя вправе отчуждать нашу молодежь от ее исконной, родной почвы и господствующей жизненной формы национального сознания, при этом за показной современностью их методов кроется не что иное, как неблагодарность к отечеству и внутренняя неустойчивость или разлагающий нигилизм, а вернее всего — материалистические идеи. И каждый в нашем городе конечно же знает, что эти нападки метят в тебя. И на улице тебе смотрят вслед. И в кафе землячества тебя обслуживают как бы нехотя. И на родительском собрании в связи с твоим именем кто-то произнес слово «коммунизм». Ну да ладно, бог с ними. Это все мелкая сошка. Погоди, в конце концов ты еще станешь в городе знаменитостью, а я здесь так и останусь мелким служащим. Да и старые хрычи понемногу выйдут на пенсию либо перемрут. Не такое уж это жизнестойкое поколение. Терпение, милейший. Кроме того, по-моему, нельзя целую вечность сражаться с воспоминаниями. Ты должен наконец забыть это, Энгельберт, я имею в виду все эту историю с Низачтоком. Я тоже пришел к такому выводу здесь, на заводах «Кондор». Думаешь, такое предприятие могло бы работать, если бы его руководители все еще копались в своем прошлом? Знал бы ты, сколько бывших нацистов занимают у НАС руководящие посты! Ну и что с того? Дело-то идет. А это главное. Так что, по-моему, оставайся ты на своем месте. На НАШЕМ предприятии тебе с твоей чувствительностью и твоими реакциями не пробиться, определенно.

Это была самая длинная речь, какую я когда-либо слышал из уст Герберта Ладегаста, но — видит бог! — и самая бездарная, к тому же скучнейшая, бестактнейшая, черт бы ее побрал! И говорил-то он вовсе не со мной, а с самим собой.

Я разозлился и стал ему возражать, вероятно, тоже не слишком остроумно, а Герберт возражал мне, я снова возражал ему, и так все время, пока мы пересекали футбольное поле заводов «Кондор», но к согласию мы не пришли, и Герберту вдруг понадобилось вернуться в контору, разумеется, срочно, а я соответственно должен был немедленно отправиться на станцию. Он протянул мне руку, как делал прежде, пожелал мне доброго пути, душевного покоя и ухода на пенсию кого-нибудь из стариков, скажем, Штельтенкампа, забросал меня приветами тому-то и тому-то и отпустил восвояси.

Меня переполняла какая-то едкая жидкость. Ну и болван! Я дал себе слово как-нибудь доказать Герберту Ладегасту, что не хуже его способен пробиться в таком месте, которое он называет НАШИМ предприятием,— и чем скорее, тем лучше. Как-нибудь я ему это продемонстрирую. Буду добиваться места у Дитриха Барча, о котором Герберт не знал,— только бы это удалось, только бы Дитрих прислал мне телеграмму или письмо: «...хорошо, если бы ты мог немедленно приступить к исполнению своих обязанностей».

О, милейший! Все произошло именно так. Исполнилось то, чего я так жаждал тогда, взошло посеянное мною, взошло, Герберт, тебе наперекор, стало осязаемым. Дитрих Барч написал мне, он дал согласие: «хорошо, если бы...» И отцовские часы стояли, и я показал Луизе запись диалога при свете настольной лампы, и я искал Хильдегард, чтобы обсудить с нею наше будущее.

Я молчал, пока не пришло письмо, пока Герберт Ладегаст лежал в больнице нашего городка; его для того только и раздели, уложили на холодную клеенку операционного стола, побрили, привязали ремнями, ловко лишили сознания и избавили от придатка слепой кишки, а потом снова зашили и болью пригвоздили к постели без права смеяться — все только для того, чтобы я пришел к нему и чтобы он, хоть и в силах был уже вытянуться в постели и, пожалуй, даже отвернуться к стене, все же не смог ускользнуть в свой учебно-торговый отдел, чтобы ему некуда было деваться и волей-неволей пришлось хотя бы выслушать письмо, даже если оно и будет ему не по вкусу, или по крайней мере внять его смыслу, частица которого, быть может, застрянет у него в мозгу, а через несколько дней наведет его на размышления и заставит пересмотреть свою позицию.

Легким шагом свернул я в Шперлингсгассе, где находится больница св. Винцента — старое длинное двухэтажное здание, густо покрытое белой масляной краской, создающей впечатление должной чистоты и достойной доверия строгости.

Я уже видел перед собой болезненно-бледное лицо Герберта. Только что его коснулось дыхание слов, слов письма Дитриха Барча. Я забыл письмо на отцовском письменном столе, это было глупо, но я держал его в памяти. Мне было незачем теперь доводить наше объяснение с Гербертом до ссоры. Я мог бы предложить ему со временем установить связь между заводом холодильников Дитриха Барча и заводами «Кондор» — так, чтобы мы, работая под маркою различных фирм, могли хотя бы переписываться друг с другом.

II

Затейливый номер на дверях палаты я приметил еще во время моего недолгого посещения Герберта через два дня после операции. Так что сейчас мне не было нужды задерживаться в вестибюле. Я мог сразу же войти в длинный, зеркально гладкий коридор, источавший свежесть, пахнувший мастикой и всевозможными медикаментами и в то же время чем-то ненастоящим, отрешенным от жизни, не просто болезненным, но все-таки еще способным вернуться в строй, а уже овеянным дыханием смерти. Я послушно не сходил с дорожки и, предвкушая торжество, а потому в хорошем расположении духа, шагал мимо множества дверей, пока не очутился перед совсем тихой палатой.

Я постучал. Но голос Герберта не предложил мне войти. Никто вообще не ответил мне. Я постучал снова желтоватой костяшкой указательного пальца, потом еще и еще раз. Затем я открыл дверь — даже не слишком осторожно, полагая, что вступаю в еще совсем невинный сон доктора Ладегаста. Жажда мести клокотала во мне — я должен признаться в этом, как и в том, что мне это было приятно. Но вдруг я увидел лицо Герберта, постаревшее на много десятков лет,— морщинистое, серое лицо с островками желтоватых пятен, на которых уже гнездилась смерть. Два выцветших глаза недоуменно смотрели на меня. Это был не Герберт Ладегаст.

Я попросил извинения у старика — в ответ он разочарованно улыбнулся,— потом я закрыл за собой дверь, с минуту постоял в нерешительности, раздумывая, не вернуться ли мне и не посидеть ли хоть пять минут у постели беспомощного старца, но затем направился в вестибюль и подошел к стене из матового стекла, нижний квадрат которой оставался прозрачным. В квадратной раме мне улыбнулась хорошенькая девушка, монахиня с лицом, исполненным радостного благочестия и невинности, перед ней стояла портативная пишущая машинка, а позади нее — коммутатор с множеством гнезд.

Ах, господин доктор Ладегаст, сказала веселая девушка, запрятанная в футляр крахмального чепца. Тот самый доктор Ладегаст — так его у нас уже нет.

То есть как? Неужели выписали?

Три дня назад. Рановато, верно? Шеф тоже так сказал. Но что мы могли поделать? За ним приехали.

Кто? Кто приехал за ним?

Не знаю. Должно быть, его фирма. Они приехали за ним на машине, знаете, на большой, американской, настоящий корабль. Девушка хихикнула. Он мог там растянуться, как в каюте. Очень удобно. Мы стояли у окна, и доктор еще успел помахать ему. Она снова хихикнула и прочирикала что-то еще более ошеломляющее о кондоровском баркасе, укравшем у меня триумф. Господин доктор Ладегаст ваш друг, не правда ли?

Да, ответил я, господин доктор Ладегаст — мой друг.

Он каждый день по два-три раза звонил по телефону в свою фирму. Такой молодой и уже директор...

Ну... Я готов был раскрыть глаза благочестивой девушке, объяснить ей разницу между директором и руководителем курсов для торговых агентов, однако вовремя сообразил, что мне не одолеть восхищения этой прелестной невинности и я только выдам свою завистливую досаду. Разве он уже оправился после этого... спросил я, имея в виду операцию...

Шеф сказал, что у доктора Ладегаста на редкость удачная конституция.

Ах, вот как? Благодарю вас, ответил я, вышел из больницы и все то время, что я шагал обратно по Шперлингсгассе, направляясь теперь к Аугусту Лемкёстеру, я чувствовал во рту пошлый привкус моего поражения, и вместе с тем меня, как заноза, колола мысль о победе, которую я мог бы одержать над Гербертом, не обладай этот доктор Ладегаст такой на редкость удачной конституцией и такой достойной восхищения способностью много быстрее оправиться после операции аппендицита, чем не столь незаменимый сотрудник.

Ну и не забывай также, что на заводах «Кондор» затормозится производство, если слепая кишка господина руководителя торговых курсов вздумает вдруг чересчур медленно и еще, чего доброго, с гнойными осложнениями поправляться после маленького разреза; ясное дело, за ним приехали, его выписали, увезли в сухопутном крейсере — во имя благоденствия предприятия это должно было совершиться с такой беспрекословной быстротой, что у господина доктора Ладегаста, бывшего классного оратора у Низачтока в Нидерхагене, к несчастью, не нашлось даже времени, чтобы на прогулке попрощаться со своим прежним другом, штудиенасессором Энгельбертом Рейнеке...

Мне не следовало воспринимать все это так серьезно и так мелочно, так по-учительски уязвимо. Я упрекал себя в этом, идя к Аугусту Лемкёстеру, но даже мысль об этом человеке, к которому я устремился с чувством почтительного восхищения, не защищала меня от моей ворчливо-злобствующей досады. Ну хватит! Кончено! Перестань, сказал я себе, будь справедлив и признай, что у Герберта и в самом деле удачная конституция: крепкие кости, сильное и сгройное телосложение, хорошая сопротивляемость и слабая болевая чувствительность, правильно размещенные и отлично развитые мускулы; ресницы, не вздрагивающие, когда он получает удар кулаком или в него невзначай угодит камень; упругие жилы, здоровье, в сочетании с брутальной волей, в общем и целом — мужской тип, который я встречал в учебниках по расоведению, где он изображался как высший образец человеческой породы, несмотря на то, что одна из бабушек Герберта была французская эмигрантка из окрестностей Марселя — смуглая миниатюрная женщина, хрупкая красавица. Однако эта его удивительная конституция не была благопри-

обретенной, он не добился ее планомерной и неустанной тренировкой, как, скажем, Зигфрид. Она была у него врожденной. Он привык к ней с детства и потому, в довершение всего, имел право считать эту свою конституцию чем-то само собой разумеющимся. Но от отца он не мог ее унаследовать: тот был маленький, щуплый, много лет страдал бронхитом и мучительным ревматизмом; не унаследовал и от матери. Скорее всего, она досталась ему от деда с отцовской стороны; такой же прямой и статный, как Герберт, он пешком вернулся в Нидерхаген после первой мировой войны, куда отправился добровольцем, и уже отнюдь не молодым. Правда, явился он без цветов в дуле винтовки, поскольку даже не мог захватить ее с собой. Вскоре после возвращения и недолгой славы дед начал заполнять свой пенсионный досуг тем, что в им же основанном Союзе фронтовиков поддерживал и оживлял бесконечными рассказами воспоминания о героических подвигах кайзеровской армии, оказывается, все-таки не побежденной, а только раненной подлым ударом в спину и вследствие предательства в тылу в конце концов обескровленной врагами. То были необыкновенные рассказы, они воскрешали и возвышали события прошлого.

Община решила поставить памятник павшим воинам — тройной каменный алтарь с парящим над ним орлом. Союз фронтовиков должен был внести в это дело хотя бы свой «идейный» вклад. Таким образом, деду Герберта представилась возможность истощить кассу своего Союза, которую питали главным образом два нидерхагенских фабриканта сапожной ваксы: он заказал большой ящик с песком, уставленный и украшенный крошечными деревцами из холста, реками из серебряной фольги, городками и деревеньками, валами, окопами, орудиями и крепостными сооружениями из фанеры и множеством человечков в мундирах защитного цвета.

Вокруг этого ящика раз в неделю собирались усталые нидерхагенские ветераны, чтобы под началом и водительством Гербертова деда с кайзеровскими усами вновь разыграть позиционную войну под Верденом или Мар-ля-Туром. После того как дед самолично произвел себя из лейтенантов запаса в верховные главнокомандующие, он неизменно становился у ящика с бутафорским маршальским жезлом в руке — ведь считалось, что каждый немецкий солдат носит его в своем ранце, причем даже много лет спустя, во время второй мировой войны, когда на спинах пехотинцев вообще не было никаких ранцев,— и командовал войсками. Перед каждой игрой в сражение из числа участников по жребию избирались враги Германии — союзные державы. Дед одерживал блестящие победы во всех боях. Да и немудрено: ведь играющие условились, что неспокойный тыл с разлагающей массы интеллигенцией и бульварными писаками, со всеми трусливыми штафирками — не в счет. К тому же в сводках с фронта — их обязан был составлять секретарь Союза — никогда не значилось ни одного убитого, в худшем случае какой-нибудь раненый, которого отважные санитары немедленно доставляли в полевой лазарет. И, кроме того, в ящике с песком неизменно царила весна, а благодаря висевшей над ним лампе в двести свечей — всегда стоял ясный день. Само собой разумеется, что битва под Верденом не могла быть разыграна за один вечер. Отважные вояки старались соблюсти хотя бы точность во времени, раз уж им было заказано пространство в натуральную величину. Они провели не один год, переживая вновь те героические часы, когда, окутанные мистической дымкой «общности судьбы», они вынуждены были торчать в траншеях и окопах под Верденом; конечно, при этом ни на минуту не допускалось, чтобы перед их глазами вновь возникали растерзанные тела, окровавленные трупы, братские могилы и жалобно зовущие маму подростки.

Так шел год за годом, а население городка и не подозревало о том,

чем занята в задней комнате пивной призрачная компания инвалидов. Это было по-прежнему обособленное, замкнутое сообщество. Но тут у маршала родился внук Герберт. И Герберту было дозволено, держась за руку старого вояки, переступить порог маленького зала. Фельдмаршал Ладегаст приподнял его за локотки и держал над ящиком в полном молчании, ожидая, когда же его нарушит восторг малыша. Но внук сразу схватился за разрушенную церковь, а потом принялся поднимать опрокинутые деревца; кайзеровский главнокомандующий строго-настрого запретил ему такие действия, как страшнейшее кощунство, и надавал внуку по рукам, вследствие чего в ближайшие годы внук не смел и помышлять о том, чтобы еще раз бросить взгляд на поле битвы. После этого неудачного посещения нидерхагенцы узнали, что происходит раз в неделю в задней комнате пивной. Когда Герберт подрос, был сделан «новый опыт» — правда, после обстоятельных наставлений о том, как ему следует вести себя перед лицом Вердена: почтительно, безмолвно. Однако всего два раза удалось старику удержать Герберта возле ящика, где ему разрешалось лишь наблюдать, но не участвовать в битве. Потом мальчик неизменно зевал и притворялся усталым, как только дед, подмигивая, пытался взять его за руку.

И дед, с маршальским жезлом в портфеле, снова отправлялся в пивную один. И опять потянулся год за годом, пока старик однажды не отправился как делегат своего Союза на имперский съезд участников мировой войны — на сей раз уже осенённый багровыми флагами со свастикой; автобус деда налетел на яблоню, деда выбросило из машины, и через несколько минут он умер, не издав ни единого стона, ни единой жалобы, а его внук Герберт не проронил и слезинки у открытой могилы, которую обступили увечные фронтовые соратники. И один из них вместо кома земли бросил на крышку гроба деревянный маршальский жезл — последний привет и обет хранить наследие маршала и продолжать войну с Францией. Но обет был нарушен, война с Францией в ящике с песком затихла. И только теперь Герберт готов был простить старику, что тот запретил ему поднимать упавшие деревья, и даже испытывал некоторое восхищение перед его простодушным упрямством. Ибо своей на редкость удачной конституцией он был всецело обязан деду — маршалу первой мировой войны. И он это знал.

Стоило только взглянуть, как он стоит в своих белых спортивных трусах, облокотившись о барьер, и снисходительно и слегка надменно наблюдает за рукопашной схваткой, происходящей в нашем спортивном зале.

Фрид Штельтенкамп, наш учитель гимнастики, в темно-сером тренировочном костюме — на блузе как эмблемы нашиты все добытые им спортивные знаки отличия — позволял Герберту стоять там в то время, как все мы должны были сидеть вокруг неуклюжих борцов и подзадоривать их без особой на то охоты. Исключение составлял еще Зигфрид Зондерман — он стоял против Герберта на другой стороне зала, прислонившись к коню. Мы знали, что эти двое готовятся к боксерскому поединку, который обещает быть необычайно ожесточенным — и не только из-за спортивного азарта. Схватка эта начнется после того, как каждый из нас отбудет свой срок, три минуты, на матах.

Конечно, и Штельтенкамп давно уже знал, что произошло сегодня утром на уроке немецкого языка.

Низачток начал разбирать творчество Генриха Гейне, запрещенного поэта.

Зигфрид чуть не взорвался, как только прозвучало имя этого «либерального еврейского интеллигента», произнесенное столь артистически подчеркнуто, что невозможно было определить, какие чувства выражает говорящий — преклонение или же отвечающую духу времени неприязнь.

Имя еврейского бульварного писаки, чуждого устремлениям национального духа и всего исконно отечественного, оскверняющего своеобычные народные силы страны. Однако Низачток разочаровал жадную бдительность Зигфрида. После того как это имя достаточно долго висело в воздухе, Низачток с наигранной непринужденностью прочитал нам строки из какой-то истории литературы:

«Зачинатель «Молодой Германии» пиит Генрих — прошу прощения — семит Генрих Гейне, обокрав в своей лирике немецкую народную песню, вырыл могилу романтизму. Его лозунг гласил: эмансипация или реабилитация плоти, а затем — эмансипация женщины. Эмансипация человека: свобода личности, избавление от старой веры, политическая и экономическая свобода и так далее. Колючий стиль—прошу извинить—трескучий стиль этого направления, в котором господствовал фельетонизм еврейского типа, не создал никаких значительных произведений искусства».

Зигфриду пришелся по душе этот переход к отвечающей духу времени анафеме. Тем не менее он прилежно записал в свой блокнот еретические высказывания, продиктованные раньше. Потом Низачток, делая вид, будто теперь он должен продемонстрировать нам этот трескучий стиль, написал на доске стихотворение «Ночные мысли», которое начинается словами:

Как вспомню ночью край родной,
Покоя нет душе больной.

С помощью такого приема Низачток мало-помалу познакомил нас со всеми немецкими, а также с некоторыми иностранными поэтами, преданными анафеме нацистским режимом. Он их цитировал, называл их произведения, рассказывал содержание, анализировал форму и интерпретировал их духовную сущность — прямую противоположность тому, что возвещали пропагандистские фанфары нацистского евангелия. Своим округлым почерком он набрасывал на доске прозаические отрывки и стихи и рекомендовал нам занести их к себе в тетради. После того как мы завели знакомство или даже дружбу с запрещенными авторами. Низачток обрушился на них со всеми официальными проклятьями. При этом он обычно сходил с кафедры и маршировал взад и вперед перед классом, как на параде, печатая шаг в такт каждой фразе. Однако все эти осуждающие нелепости он преподносил с таким вызовом, таким напыщенно-патетическим тоном, что нам хотелось положить карандаш или ручку и дружно качать головами в такт его парадному маршу.

Вначале и Зигфрид записывал в тетрадь стихи Генриха Гейне. Потом он заерзал, поднял голову, задумался, погрыз ноготь указательного пальца, побарабанил по крышке парты и наконец спросил: к чему нам, собственно, записывать это дерьмо?

Низачток терпеливо объяснил ему, что уберечься можно лишь от того, что хорошо знаешь, и чем лучше мы запомним всю эту халтуру, тем меньше будет нам грозить опасность поддаться ее губительному антинародному влиянию.

Говоря это, он усмехался, неосторожно подмигивал и щурил глаз. И вот позади меня кто-то хихикнул, рядом со мной кто-то фыркнул. Это было опасное веселье. Оно не могло не оскорбить Зигфрида. Я увидел, как он озирается, пытаясь понять, в чем дело.

Что все это значит? — крикнул он. Это был раздраженный окрик командира, сознающего, что солдаты не принимают его всерьез. Идиоты! Дурачье! Что это за цирк, господин штудиенрат? Скажите мне сию же минуту, зачем вы нам вбиваете в голову всю эту пакость? Это надо бы...

Зондерман! Я ведь только что пытался вам растолковать. Извольте прочистить уши. Не могу же я повторять все сначала!

Я буду говорить об этом с моим баннфюрером!

Пожалуйста, пригласите к нам вашего фюрера, мы вместе обсудим этот спорный вопрос.

Вы приказываете мне списать с доски эту дрянь?

Приказываю? Если вы хотите остаться тупицей и невеждой, Зондерман, то пожалуйста. Но тогда уж пеняйте на себя, если в один прекрасный день вас спросят о разлагающих элементах в нашей литературе и вы не сможете дать четкого и ясного ответа. Не говорите, что наш учитель немецкого языка нам не объяснял.

Смехота! Я сам знаю, что вредно. И, наверно, не хужее вас.

Не хуже вас, Зондерман, не хуже — сравнительная степень. Как это у вас хватает дерзости препираться со мной, когда вы даже не знаете степеней сравнения?

Вы нарочно пичкаете нас этой баландой!

Внезапно рассвирепев, Низачток сердито хлопнул ладонью по крышке кафедры.

Я запрещаю вам этот наглый тон, Зондерман. Разве вас этому обучают на ваших фюрерских курсах? Я запишу вас в журнал за дерзкое поведение.

Он засопел, открыл окно и выглянул в сад, где густо зеленели платаны. Потер лоб и снова повернулся к классу.

Пойдем дальше. Сейчас я продиктую вам другое стихотворение.

Он встал, но не подошел к доске, как раньше, когда диктовал «Ночные мысли»; на этот раз он прочел преувеличенно торжественным тоном:

Венчает слава подвиг твой,
Бог сердце укрепит,
Для всех свободу и покой
Борьба твоя сулит.

Лицо Зигфрида стало похоже на спелый помидор. Он побагровел до корней волос. Вытянув шею, он крикнул через головы сидящих впереди:

Чушь! Халтура еще почище! Типично еврейские штучки. «Бог сердце укрепит». Если вы не перестанете надоедать нам этой слюнявой интеллигентской жвачкой, я пойду в гестапо...

Услышав это слово, Низачток вздрогнул. Он не дал Зигфриду излить свое возмущение:

Смотрите-ка! Молодой человек изволит называть эти стихи интеллигентской жвачкой! Типично еврейские штучки?

Какая наглость, они еще позволяют себе произносить слово «бог»! Еврейская наглость.

Очень интересно, господин Зондерман, очень поучительно для всех нас и, наверно, для многих других. Если бы я дал ход тому, что вы только что изрекли, вам пришлось бы расстаться с вашей красивой формой. Неужели вы не догадались, что я цитировал стихотворение Герхарда Шумана, одного из наших талантливейших национал-социалистских поэтов младшего поколения? И сделал я это, дабы показать вам неизмеримую разницу между его стихами и стихами Гейне. Стихотворение молодого поэта, который лучше всех нас доказал, что он понимает знамения великого исторического часа и почитает своим долгом сплотиться вокруг своего фюрера, когда он мчится на восток и, не щадя жизни, создает непреодолимую преграду для надвигающихся славянских орд.

Уже несколько минут в глубине класса шелестел смех, теперь он взметнулся высоко — смеялись над поэтом, который сплотился вокруг своего фюрера.

Тихо, тихо! — сказал Низачток. Но мы продолжали хохотать, пока

он не встал, не прикрикнул на нас и не скомандовал: тихо! Зигфрид побледнел. Ярость его перешла в дрожь, он, заикаясь, пробормотал: почему же вы нам сразу...

Если бы вы без конца не прерывали урок, то узнали бы об этом в свое время. Вы сказали про эти стихи: «еврейская наглость», я вас правильно понял?

Зигфрид в бешенстве схватил свои книги и ринулся к двери. Но, опередив его, там уже стоял Герберт Ладегаст — широкоплечий страж. Директорский сынок хотел было протиснуться мимо Герберта, оттолкнуть его. Однако он недооценил стойкость нашего классного вожака. Он не мог пройти, Герберт с невозмутимым видом наблюдал за рассвирепевшим Зигфридом — тот пригнулся и напряг мышцы для прыжка, но прыгнуть не успел: его схватили сзади. Множество рук держали его, вцепились ему в штаны, тащили назад. Штаны сползли вниз, открыв нижнее белье. С искаженным судорогой лицом Зигфрид заорал:

Пустите! Трусы! Все на одного! Петер, Альфонс! Где же вы? Трусы! Пустите!

Низачток наблюдал за пленением Зигфрида вначале весело, потом озабоченно и наконец сказал: хватит!

Он подбежал к двери и, взяв Зигфрида за плечо, высвободил его из клещей, потом со смущенным видом подтянул ему штаны и сказал:

Не стыдно вам? Все на одного. Я считал вас более смелыми. А вы, Зондерман, будьте благоразумны. Чего вы хотите этим добиться? — И он бережно отвел униженного обратно на место.

Вы мне за это заплатите, бормотал Зигфрид.

Все это может обернуться для вас очень плохо, если я доложу педагогическому совету, заметил Низачток.

Вы мне за это заплатите, вы все! — бурчал Зигфрид.

Низачток заверил его, что не будет докладывать педагогическому совету. Однако он обещал это при одном условии:

Если впредь вы будете вести себя в классе прилично, как все остальные. Потом, обращаясь к нам, сказал:

А вы бы хотели попасть в новый класс и оказаться среди незнакомых товарищей?

И все мы, за исключением Зигфрида и трех-четырех его дружков, ответили в унисон:

Ни за что!

Ни за что! — повторил и подтвердил он. Так что я прошу всех впредь больше считаться с этим обстоятельством. Помогайте друг другу. Во всяком случае, я не потерплю, чтобы в моем классе образовались две партии, и я не желал бы вновь оказаться свидетелем такой сцены, как сегодня, понятно?

Ни за что! — заявили мы в унисон вполне серьезным тоном. Прозвище это годилось для самых разнообразных целей — как для серьезного разговора, так и для озорства.

Таким образом, Фриду Штельтенкампу уже было известно, что произошло и о чем шла речь, хотя Зигфрид вряд ли способен был запомнить в подробностях все изощренные ходы мысли старшего учителя Низачтока.

Штельтенкамп достаточно хорошо знал Герберта Ладегаста и поэтому имел все основания полагать, что и на ринге он будет изображать классного вожака и конечно же непрошеного защитника Низачтока. И он знал также, как трудно справиться с Зигфридом, когда он трет себе затылок, что он делал и сейчас, опираясь о коня. Штельтенкамп все укорачивал очередные схватки, каждую следующую — еще на несколько секунд, чтобы наконец приступить к последней, намеченной на этот день.

Они по-прежнему стояли друг против друга, Зигфрид и Герберт. Но когда нас, не боровшихся, осталось только двое — я да Петер Леппер, слабак, к тому же еще очкарик,— Штельтенкамп крикнул сражавшимся дилетантам:

Отставить! — И затем: Зондерман против Рейнеке.

Этого я не ожидал. Слова эти поразили меня, словно первый удар. Не то чтобы я трусил на ринге — в классе я считался не самым худшим боксером; я был в числе средних, чуть выше, чем на тройку. Но выступать против Зигфрида я до сих пор не отваживался. Волнуясь и слегка дрожа, я взял у своего предшественника перчатки, сунул пальцы в их теплое нутро и ступил на пыльный квадрат мата. Перед глазами у меня стоял туман.

Начали! — крикнул Штельтенкамп. Сквозь туман я видел, как он пританцовывает передо мной, словно это его я должен атаковать и победить. Его приплясыванье казалось мне издевкой. В конце концов, я ведь не вызывался защищать Низачтока против Зигфрида. К чему? У отца хватило бы характера, чтобы на свой лад расправиться с директорским сынком. Мне даже казалось излишним, что Герберт собирается за него драться. Я поднял голову и вдруг ощутил на лице перчатку Зигфрида. Боль была не особенно сильная, но вопль мальчишек, окружавших маты,— вот что поразило меня куда больнее. Я ударил в ответ, вслепую, уже рассвирепев, ударил, выбросил правую руку — защищаясь левой, угодил в него, но слишком слабо, услыхал, как перчатка шлепнула о голую грудь, почувствовал, как в ту же минуту Зигфрид вмазал мне прямой правой, дохнул на меня пламенем, обрушил мне на голову огневой шквал, искры посыпались у меня из глаз; задыхаясь, я нацелил кулак, но он просвистел мимо, а тело потянуло меня вперед, многопудовая тяжесть, я зашатался, шлепнулся на маты, услыхал в тишине злорадное хихиканье Фрида Штельтенкампа, мне больше не хотелось драться,— где-то в стороне я углядел его черные спортивные ботинки, они приближались. Он взял меня за плечи, оскорбительно нежно похлопал по спине, сказал:

Нет, нет, так не пойдет. Неужели вы, к слову сказать, сдрейфите, надеюсь, что нет. Итак, продолжим, Рейнеке! Встать!

В ярости я перевернулся, вскочил на ноги и очутился как раз напротив Зигфрида Зондермана. Туман рассеялся. Зигфрид сразу замолотил кулаками в грудь, в лицо, в шею — ураганный огонь; я бил наугад, не зная, попадаю ли в цель, он теснил меня, гнал перед собой по кругу, я бил со всей силой, какая еще была во мне, метал в брата Хильдегард пудовые кулаки, безрассудно атаковал, защищался, колотил, бесился, пока он перчаткой не бахнул меня в подбородок, все завинтилось вокруг меня, и я шмякнулся на пол, не то чтобы без сознания, а как продырявленный баллон, со свистом выпускающий воздух.

Штельтенкамп опять стоял надо мной и говорил: да, господин Рейнеке, таким способом — скаля зубы и молотя по воздуху — Зондермана не одолеть. Но, к слову сказать, вы держались храбро. Вам не хватает только хладнокровия настоящего борца. Быть может, оно еще придет до того, как вас призовут.

Что толку было от этой болтовни побитому, поверженному, которому хотелось лишь одного — чтобы его наконец оставили в покое.

Так что ступайте на место. Как дела, Зондерман, выдохся?

Смехота, сказал Зигфрид. Ничего подобного. С чего бы это?

А вы, Ладегаст?

Немножко unfair *, я думаю, сейчас драться с Зондерманом, когда он...

---

* Нечестно *(англ.)*.

Смехота, сказал Зигфрид. Давай. Я только слегка разогрелся. Скорее ты в невыгодном положении. Если б ты сперва тоже с кем-нибудь... скажем, с Петером, я бы не хотел, честное слово... пусть и у тебя будет разбег.

Перчатки, сказал Герберт. Я снял их, отдал ему, вернулся в круг и только там заметил, что левый глаз у меня стал заплывать. Я ощупал его. Было очень больно, а когда я взглянул на палец, то увидел на нем кровь. Борьба Зондермана с Ладегастом началась, и, несмотря на дергающую боль, мне теперь некогда было заниматься своим окровавленным лицом.

Я увидел Зигфрида и Герберта на все более вспухавшем холме под моим глазом. Они прыгали там, семенили и пританцовывали, пока Зигфрид не выпустил первый снаряд, но Герберт в ту же секунду пригнулся, и перчатка только задела его плечо. И Герберт сразу отвесил прямой правой, но удар этот почему-то не произвел впечатления на Зигфрида. И каждый удар, который они наносили друг другу, бил по моему распухшему лицу.

Мне стало нехорошо. В голове у меня гудел пчелиный рой, искавший выхода; на лице обосновалась толпа нахальных мастеровых: один, как ювелир, размеренно постукивал по уголкам рта и вгонял мне шипы между зубами, другой, как нищий, стучался в дверь моего подбородка, в голове возился барабанщик, он натягивал шкуру и пробовал силу звука, а под глазом кузнец бил молотом по добела раскаленному железу. Мне было совсем нехорошо.

В смотровой щели над вспухшей горой Герберт и Зигфрид колотили друг друга, сколько раундов прошло, я не знал. В голове отчаянно гудело, и мне почудилось, будто это я обрушил сейчас свою мощную правую, будто это Штельтенкамп, улыбаясь, принял удар, а потом, шипя, стал тузить противника в ближнем бою, будто не только мой класс, а вся наша школа испустила вопль, когда Герберт, получив первый раз по носу, упал наземь,— вопль, в котором потонуло ликование Зигфридовых вассалов. При счете «три» Герберт уже опять был на ногах, пригнув голову, он наступал на Зигфрида, гнал его перед собой, грохнул кулаком, но железная левая Зигфрида снова швырнула его на пол. И снова судья не успел досчитать: Герберт опять вскочил на ноги, сопя, стиснул зубы и атаковал Зигфрида пружинящими ударами слева и справа. Класс скандировал: ни за что! Это привело судью в бешенство, и он заорал: молчать! Слева и справа, в плечи, в грудь, еще раз в грудь, потом в нос, в незащищенный подбородок — прицельная бомбардировка. Зигфрид был застигнут врасплох, он отступил, они вошли в клинч, их развели. Герберт замахнулся и всю тяжесть своего тела вложил в удар, заставивший Зигфрида зашататься, тогда Герберт ударил снова, всей тяжестью, и, заработав еще три «сухих», Зигфрид Зондерман упал на колени, рухнул под молотящими ударами Герберта; он лежал до счета «четыре», медленно поднялся, но получил еще, зашатался и долго-долго лежал на пыльных матах... четыре, пять, шесть...

Давай, давай, давай! — в ужасе вопил судья, СЕМЬ... ну, ну, ну, что такое, Зондерман, вставайте же, вставайте... ВОСЕМЬ. Учитель гимнастики Штельтенкамп, дрожа от беспомощности, смотрел на побитого Зигфрида. Ну, так!!! ДЕ-Е-СЯТЬ! Все!

Крик ребят взорвался у меня в ушах, где и без того шумело и шипело; то было ликование верных; я боялся, что меня стошнит, и встал, тогда как другие — взлетевший осиный рой — штурмовали ринг и окружили Герберта. Я еще успел увидеть, как Зигфрид протиснулся сквозь кольцо ребят и протянул руку своему противнику, поздравляя его, и как Герберт взял эту руку и смущенно улыбнулся. Потом я выбрался из толчеи и через спортивный зал побрел в уборную — колени у меня подги-

бались. Когда я глотнул свежего воздуха, мне стало немного легче. Вдруг я увидел, что по школьному двору под окнами спортивного зала прохаживаются двое мужчин, размеренным шагом, почти ничего не говоря, слегка наклонив головы. И я узнал отца и нашего учителя рисования Аугуста Лемкёстера. Наверно, они стояли за дверью и через стекло наблюдали за борьбой. Я побежал за ними.

Герберт победил, нокаут, отец, с торжеством сообщил я, едва переводя дыхание.

Мы видели, сказал господин Лемкёстер, и на его костистом лице замерцали желтые отблески гнева; но в голосе гнева не было.

И ты, Энгельберт? И ты подставил ланиту свою, чтобы тебя побили, сказал он не только с отвращением, но и с упреком. Кто любит ссоры, любит грех; и кто высоким делает свой дом, тот ищет падения. И все-таки он говорил до странности ровным голосом, почти без модуляций, что никак не вязалось с явными признаками гнева на его лице — словно это говорил не он сам, а кто-то другой его устами.

Ступай домой, сказал отец, пусть мама наложит тебе уксусную примочку.

Гнев на лице господина Лемкёстера сменился состраданием, когда он подошел ко мне поближе, чтобы лучше разглядеть мои раны.

Вот, Леопольд, так выглядит теперь человеческое лицо, если оно выражало отвагу. Плебейская манера в кровь разбивать друг другу лицо страшит меня, вызывает у меня отвращение, сказал господин Лемкёстер своим монотонным голосом. Голосу этому была чужда какая бы то ни было страсть. Зато, казалось, гнев его снова проступает наружу через поры, вытесняет сострадание и равномерно растекается по серой, иссохшей коже.

Они бьют друг друга по лицу, они выдумали правила и приемы, как закалить и натренировать тело, чтобы хорошенько ударить, и они почитают себя героями, если побили кого-то или побиты сами, если они, эти быки, держались стойко, а потом ушли с поля боя нетвердой походкой, обливаясь кровью. Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с глупостью его.

Не кипятись, Аугуст, сказал отец, бог с ними, ведь ты опять преувеличиваешь. И он улыбнулся мне, словно хотел сказать: смотри на это проще.

Господин Лемкёстер продолжал говорить таким тоном, будто его устами вещает кто-то другой:

Но еще хуже того, кто бьет и бывает бит, тот, кто приказывает, чтобы человек — будь то в игре или в спорте — бил другого по лицу. И плохо придется тому народу, который преклоняется перед такими повелителями и за их повеления чтит их как государей и выбирает своими вождями. Что влагающий драгоценный камень в пращу, то воздающий глупому честь, говорит проповедник, и он говорит также: кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится.

Меня озадачили его непонятная неуравновешенность, а также его странные речи. Наши занятия боксом, как видно, разожгли его пыл и вдохновили на ветхозаветные изречения. Таким я его не знал. Лицо его в эти минуты словно покрылось сетью бороздок, и сквозь эту сеть пытливо смотрели глаза. Передо мною было лицо, на котором отвращение медленно застывало, становясь маской. Я испугался и только потом понял, что все это мне почудилось. Ибо то, что я принимал за его ярость и его гнев, а затем за его сострадание, не могло быть ни гневом, ни состраданием, это было, по-видимому, нечто иное, нечто чуждое, быть может, волнение или растроганность, но не от него они исходили, не ему принадлежали, не ему одному, а маске кого-то другого, и над ними, этими чувствами, он был не властен: волнение или растроганность,

нахлынувшие издалека, волны или ветер, принесенные далеким штормом, они прошли сквозь него, увлекли с собой, исполнили участия к другому.

За то возгорится гнев Господа на народ ЕГО, продолжал он тихо и монотонно, обращаясь теперь не ко мне или к отцу, а к чему-то внутри нас, и простре́т ОН руку свою на него, и поразит его, так что содрогнутся горы, и трупы их будут как помет на улицах. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их... доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и домы без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет.

Когда Низачток произносил в классе библейские стихи, они не трогали нас, да и сам он редко загорался. Но теперь я не остался равнодушным.

И младенцы их будут разбиты перед глазами их, домы их будут разграблены, и жены их обесчещены.

Это звучало иначе, чем у моего отца, шире, значительнее, это было убедительней, шло из глубины времен. Все, что говорил господин Лемкёстер, было проникнуто чем-то таким, что не могло исходить от этого человека — нашего учителя рисования. Он служил только орудием, только посредником. Он был какой-то нездешний. Именно это взволновало меня. Вероятно, господин Лемкёстер был сумасшедший, но не полоумный, нет, он был такой многоумный, каким не мог бы стать нормальный человек. Другой вещал его устами — быть может, это было Настоящее, Вечнонастоящее или же само Время, окаменевшее в текстах Ветхого Завета, ибо не он произносил эти слова, а Ветхий Завет говорил через него.

Чем дольше он говорил своим монотонным голосом, тем меньше человеческого оставалось у маски, тем больше приобретала она черты чего-то древнего, божественного, демонического — не знаю, как сказать точнее, во всяком случае, черты какого-то неведомого существа.

После того как они с отцом ушли, а я в умывалке рискнул стать под холодный душ, мне впервые открылось, что Аугуст Лемкёстер очень древен. Не просто стар, как может быть стар человек, у которого за плечами восемьдесят или девяносто лет,— нет, до таких лет он еще не дожил,— другими словами, не дряхл, не отравлен ядами естественного распада; он древен в вечном смысле этого слова, так древен, что просто не верилось — неужели и он был когда-то молод, хотя разум мой не допускал тут сомнений; возраст его уводил в глубь времен, так же как его облик, как его гнев и сострадание, которые не были ни его гневом, ни его состраданием, как его твердый голос. Человек, который пережил века, ибо пребывал в извечном потоке, в слове, тот, кто смотрел на школьника Энгельберта Рейнеке — или на что-то внутри него — с тем же волнением или растроганностью, с какими позднее смотрел на штудиен-асессора Энгельберта Рейнеке — или на что-то внутри него,— в тот день, когда я навестил старика и попросил его, последнего друга моего отца, дать мне совет.

Дело в том, что Альфред Ханенберг, которого я репетировал по математике, сын вдовы, не пожелавшей узнать меня на почте, под большим секретом сообщил мне, что священник Штоффе́рс на уроке закона божьего, воздев перст указующий, как на церковной кафедре, предостерегал против молодых учителей, которые, видимо, не считают нужным хоть раз в неделю ходить к обедне и не приобщаются к благодатным таинствам церкви. Ныне, когда большевизм угрожает всему миру духовно, а также военной силой, люди эти могут совершить предательство по отношению к Западу и к западнохристианскому мышлению, и так далее — набор пустых фраз, для устрашения; все в классе — во всяком

случае, большинство поняли, что он мог иметь в виду только меня, наследника Низачтока. Я ведь был единственный из учителей, кто пытался искать свою правду — если это вообще возможно; я жил вместе с Гербертом Ладегастом в те годы, когда он был близок к коммунизму, не столько к его политическому учению и доктрине о спасении мира, сколько к элементам раннего христианства, которые он находил в коммунистическом мировоззрении; но это прошло, ибо мы осознали, что и таким путем из мира не изгнать ни телесных страданий, ни мук правдоискательства, ни тоски по совершенству, ни ужасающего одиночества всех любящих, ни всеразрушающей смерти; позднее я пытался не задаваться больше вопросами, ничего больше не искать, это не вполне удалось мне, но мне уже не удается и совместить несовместимое в постулате о западной гармонии; таким образом я стал в тупик перед многими несовместимыми вещами и мыслями, перед несовместимостью моих познаний о жизни и смерти; но я не дал сковать себя в моей повседневной деятельности; напротив: лишь теперь, когда я больше не расточал своих сил на поиски вечных истин, я мог всецело посвятить себя повседневной работе. И я надеялся, что не потеряю мужества и буду спокойно держаться перед Несовместимым.

Вместо того чтобы дать мне совет, господин Лемкёстер долго смотрел на меня, потом процитировал что-то из Библии и снова посмотрел на меня и в меня, а под конец рассмеялся своим упрямым, спокойным смехом, который не мог принадлежать ему.

Я не сомневался, что и сегодня, придя к нему прощаться, я найду его таким же древним.

Шперлингсгассе, где находится наша больница,— это узкая улочка с домами не выше двух этажей. Некоторые из них недавно отремонтированы — их ободрали, поскоблили, затем покрасили заново. И вот теперь, как сотни лет назад, белые островерхие фасады разделены на клетки черными каркасными балками.

В то утро у меня было мало охоты разглядывать улицу. Зачем? Улица как улица, хотя всякая улица это не просто дорога, а плетение из многих проводов и нитей, запутанный узел из времени и пространства, с человеческой примесью. Образование капли воды — и то чудовищно сложно и почти неуловимо во всей его обусловленности, что уж говорить о сложности улицы, она куда запутанней. Например, сейчас, когда я вышел из больницы, Шперлингсгассе была совсем не та, что раньше, когда я предвкушал свое торжество и надеялся застать Герберта Ладегаста еще в постели. Вместо этого, по неисповедимости непрерывной смены воспоминаний, я еще раз пережил схватку боксеров, потом еще раз увидел древнее лицо господина Лемкёстера, а позднее, когда уже пересекал соборную площадь — чисто выметенная и осененная старыми деревьями, она дремала в тишине знойного дня,— услышал священника Штоффepca.

Его ядовитое предостережение на уроке закона божьего — отнюдь не единственное и не последнее — разозлило меня тогда, когда мне о нем рассказали, да и теперь, когда я о нем вспомнил. Но моя злость вскоре размякла и утратила остроту. Я ведь не забыл, как вел себя несколько лет назад, еще при жизни отца, этот пухлый человек, по-прусски подстриженный ежиком, уже давно достигший пенсионного возраста, но не отпущенный из-за нехватки молодых священников.

Ни одна душа в Нидерхагене и не подозревала тогда, что Элла Лемкёстер еврейка — даже друг Лемкёстера Низачток. Через два года после

захвата власти Гитлером холостяк Аугуст Лемкёстер привез ее в Нидерхаген из какой-то деревни на севере Германии, подделал ее метрику, добыл у священника Штоффepca — единственного, кто был посвящен в тайну,— фальшивое свидетельство о крещении и обвенчался с ней. И священник Штофферс делал все, что мог, пытаясь скрыть ее истинное происхождение, всячески старался, чтобы она с самого начала не попала в тенета опасных слухов. Он поручал жене Аугуста Лемкёстера заниматься делами местной организации Caritas, хотя, несмотря на венчание в церкви, она так и не стала католичкой; он показывался с ней на улице, и не только случайно; он заставлял свою экономку время от времени ходить с Эллой Лемкёстер в кафе и таким образом скрепил дружбу между обеими женщинами, он включил ее в состав женского католического союза и доверил ей обязанности казначея, чтобы она с помощью этого звания могла завести знакомства — так оно и случилось; еврейке, которая все еще не соглашалась креститься, хотя и до коричневого потопа перестала посещать иудейское богослужение и не соблюдала еврейских законов и обычаев, он рекомендовал ходить к католической службе, таким путем — как он однажды объяснил моему отцу — он старался создать впечатление, что дело идет о «заблудшей овечке, которая отбилась от стада и от веры, то есть от матери-церкви, однако теперь, в годы тяжких испытаний для веры, исполненная раскаяния, мужественно вернулась в ее лоно». Священник Штофферс разрешал ей принимать причастие даже в те страшные дни, когда, несмотря на все предосторожности, распространился слух о ее «нечистой крови». Это было тяжкое преступление против законов его церкви, да и против его совести — он разрешил ей совершить кощунство. Он взял это на себя. Но только после того, как отец и господин Лемкёстер уговаривали ее почти всю ночь, маленькая русоволосая фрау Лемкёстер — веселое создание, прежде почти прелестное в своей некрасивости,— впервые поднялась с церковной скамьи в черном платье, с благочестивым выражением лица, молитвенно сложив на груди маленькие руки. И священник Штофферс — я убежден в этом, как был убежден и мой отец,— делал это и еще многое другое для Эллы Лемкёстер без всякого миссионерского пыла, без навязчивости и уж конечно без всякой корысти. Однако всем его усилиям суждено было остаться бесплодными. Ибо его осторожную помощь свели на нет уже в тот день, когда отец отказался от ужина, когда он, под испуганным взглядом мамы и удивленным — Луизы, встал из-за стола, не проглотив ни куска, и, ни словом не объяснив свое поведение, скрылся у себя в кабинете.

Мы молча, растерянно смотрели ему вслед, застыв с ножом и вилкой в руках. Потом переглянулись, почувствовав, что дело тут вовсе не в физическом недомогании, скажем, не в том, что он выкурил слишком много сигар,— за последние недели это уже дважды вызывало у него дурноту; нет, на сей раз случилось что-то такое, что, видимо, глубоко потрясло его.

Откуда у нас возникло такое чувство, трудно сказать: у меня, во всяком случае, не было для этого никаких оснований. Однако с тех пор, как власть в школе перешла к директору Зондерману, у всей нашей семьи — у отца, у мамы, у Луизы и у меня, — у всех у нас, бесспорно, выработалось особое чутье, позволявшее нам предчувствовать многое, как ощущаешь надвигающуюся грозу или зной еще до того, как появились их видимые признаки; у нас пробудилось шестое чувство — инстинкт преследуемых.

Итак, мы молча сидели за столом. Без отца нам не хотелось продолжать ужин. И тогда мама встала, так же молча, как отец, и пошла к нему. Она сразу вернулась и сказала: идемте. Он велел нам всем войти.

Он сидел за своим письменным столом и перекладывал какие-то папки. Я не мог разглядеть, что это было: письма, документы или папки, куда он подшивал бумаги по делам своих «ферейнов». Он не поднял глаз, когда мы вошли.

Садитесь, сказал он, как будто перед ним была не семья его, а класс. Мы послушно сели. За столом он не хмурился, и сейчас в лице его не было мрачности — только напряженность. Говорил он, как всегда, спокойно и сухо — пожалуй, даже с оттенком удовольствия.

Они сговорились, сказал он. Это я понял сразу, как только Кипп, Штельтенкамп и Беттенбюль уселись в учительской справа, а нам с Лемкёстером пришлось сесть слева, потому что посредине поместились тростники, колеблемые ветром.

О чем сговорились? — спросила мама.

Терпение, Ирмгард. Дело вот в чем: мы заметили, что на общих собраниях нашего союза стали появляться какие-то молодые люди. Они вслушивались в каждое мое слово. Кое-что записывали. И со злобным упорством усаживались в задних рядах, всячески давая понять, что им поручено почетное, но трудное дело и никто не может помешать им его выполнить. Они выдали себя довольно скоро, эти мальчишки-шпики с истеричными лицами гитлерюгендовского образца. А послал их не кто иной, как Filius нашего уважаемого господина директора.

Боже мой, воскликнула мама. И ты нам ничего не сказал, Леопольд!

Мелкая сошка. Они не услышали ничего неподобающего; от меня, во всяком случае, ничего крамольного, от других тоже. Мы ведь знали, Ирмгард, что к чему, и были настороже. Но вот сегодня на педагогическом совете эти молодчики все же предъявили мне счет.

Кто? Какой счет? — спросила мама.

Все сообща — Зигфрид Зондерман, и господин папаша, и господа коллеги. Все. Шеф, нервно откашлявшись, начал делать намеки на внешкольную деятельность некоторых учителей — «внешкольную», смех да и только. Сначала он говорил о «достойном порицания усердии некоторых учителей, не предусмотренном программой», о своей «глубокой озабоченности» и своей «искренней потребности» наконец приобщить и наше заведение к «тотальным событиям современности». А местный поэт Беттенбюль все поддакивал ему — усердно кивал головой и время от времени бормотал: совершенно верно, да-да. Кипп говорил о «мощном движении», которое не может не захватить каждого, в ком живут истинно германские чувства и течет арийская кровь, о «тотальной готовности к действию всех творцов культуры, которым и в секторе школьного обучения и в области воспитания следовало бы брать пример с наших храбрецов на фронте», при этом он без конца хватался за свои очки без оправы. А Штельтенкамп в качестве вдохновляющего примера сослался на закрытые интернаты СС и заявил, что и в «сфере школы надо наконец ставить и разрешать проблемные вопросы», несколько раз повторил, обращаясь в пространство, что в «политическом, философском и, разумеется, также национальном аспекте вряд ли лояльно, скорее всего нелояльно...»

Тут Луиза громко рассмеялась, а мама сказала:

Да перестань, Луиза. Продолжай, Леопольд.

Я был горд, что мне разрешили присутствовать при этом разговоре. Отец всегда чувствовал некоторую скованность, когда ему приходилось говорить при мне о своих коллегах; он делал это весьма редко и почти никогда не обсуждал со мной происшествий в нашем классе.

Вот ты смеешься, Луиза, сказал он, не глядя на нее. Может быть, и мне следовало бы смеяться. Это было бы хорошо, полезно. Но, к сожалению, все это совсем не смешно, ты и сама знаешь. Мы должны нако-

нец понять, что слова, которые произносились сегодня — кстати, в учительской они прозвучали впервые, это только сейчас пришло мне в голову,— что слова эти — револьверные пули.

Подобны револьверным пулям, поправила Луиза и улыбнулась.

Нет, возразил отец. Это и впрямь пули. Не «подобны». Это гранаты или мины, торпеды, бомбы, что угодно, все зависит от веса того, кто стреляет. Так или иначе — снаряды: «тотальная готовность к действию», «лояльно», «нелояльно» и так далее — это снаряды, и они могут попасть в нас. Пустопорожность этих оборотов речи обладает взрывчатой силой, поверь мне. Ну, да ладно. Тогда я сказал: давайте выложим карты на стол. Дражайшие коллеги были ошарашены, а еще более тростники, колеблемые ветром, для меня они безымянны. Остальные все еще не решались взглянуть мне в лицо. Они готовы были часами излагать свои верования, копошиться в них, как свиньи в помоях, они продолжали бы говорить будто совсем не обо мне, на общие темы, но все-таки стараясь угодить в меня, если бы Зондерман, внезапно собравшись с духом, не заявил с мужеством, которое я всегда ценил в нем: это относится прежде всего к вам, господин доктор Рейнеке, весьма сожалею. Но мне хотелось бы раз навсегда покончить с этим делом. А тростники, колеблемые ветром, словно оцепенели. Они опустили долу невинные очи. Им было бы так неприятно выдать себя взглядом направо или налево или каким-нибудь еще более незначительным движением и вообще обнаружить, что решение уже принято. Я ненавижу их, я ненавижу этих статистов, этих нерешительных, этих марионеток, этих евнухов, кастратов и губошлепов, я их ненавижу! — Он сказал это с холодным волнением, тихо и даже спокойно и, как ни странно, с удовольствием, которое заметно было и на лице и в голосе.

Боже мой, Леопольд! — отозвалась мама. Будь осторожен, мы ведь не одни, подумай о мальчике.

Ах да, прошу прощения. Ты все это забудешь, Энгельберт, ясно?

Да, отец, ответил я.

У тростников, колеблемых ветром, нет ни лица, ни имени, нет связей, нет друзей, нет настоящего. Кто не может ни на что решиться, тот на грани преступления. Шеф сказал, что дорогой коллега доктор Рейнеке должен был бы, пожалуй, сложить с себя часть своих председательских обязанностей, чтобы раз и навсегда исключить какие бы то ни было подозрения, а также иметь больше сил и времени для удовлетворения требований школы. Ну и комедия! Но Аугуст Лемкёстер взглянул на дело иначе, он возмущенно вскочил: никто не смеет вмешиваться в частную жизнь учителя, он со всей решительностью будет протестовать против этого. Я положил руку ему на плечо и заставил опуститься на место, а Штельтенкамп с иронией спросил:

Частная жизнь? Что это такое?

Тогда я спросил, обращаясь к собранию: господа, какой свой председательский пост должен я принести вам в жертву?

Не нам, перебил меня директор Зондерман, не нам, а всецело требованиям школы.

Ну ладно, сказал я, значит, требованиям школы. Только я не пойму, как школа, то есть абстрактное выражение того, чем мы здесь занимаемся, может предъявить мне требования; я хочу сказать, как может она когда бы то ни было настаивать на моем отчете, если вы, господа, решительно отказываетесь? Но уж так и быть: требования школы. Какой же председательский пост? В каком «ферейне»? Выбирайте. Общество друзей роз, Содружество любителей астр или же Союз по облагораживанию коз — или же Друзья немецкой скаковой лошади? Что вы пожелаете, господа, выбор необыкновенно широк, как вам, по-видимому, известно. Я только настоятельно прошу, сказал я еще, не требовать от

меня, чтобы я принес в жертву запросам школы Общество почитателей голубей. Только не это. К голубям я привязан всей душой.

Луиза снова рассмеялась.

Вы думаете, кто-нибудь из них засмеялся? Ни один. Эти садовые гномы сидели серьезные, молчаливые. И тут лицо отца потемнело, и холодное удовольствие, с которым он вел рассказ до сих пор, исчезло из его глаз. Теперь он впервые поднял взгляд и посмотрел на маму, потом на меня и еще на Луизу, затем продолжал:

Аугуст Лемкёстер все не мог успокоиться. Зачем жертвовать? — спрашивал он. Это же чисто личное дело. Неужели мы станем предписывать господину коллеге Рейнеке... Но тут и он услышал хихиканье Штельтенкампа, а Беттенбюль робко заметил:

Ну да, я тоже считал бы, в том же смысле, не следует слишком... Но Штельтенкамп перебил его:

То, что вы так думаете, коллега Лемкёстер, меня ничуть не удивляет, к слову сказать.

То есть как? — спросил Аугуст. Что это значит?

И Штельтенкамп ответил: просто так, просто я так считаю.

Тут вмешался шеф: выражайтесь, пожалуйста, яснее, господин коллега. В этом совете не место голословным подозрениям. Вы знаете, превыше всего я ценю откровенность и совершенно не выношу недосказанных обвинений, вы могли уже в этом убедиться. Мы должны мужественно говорить друг другу в лицо все, что хотим сказать. Этому я научился там, на фронте, господа, в товариществе не на жизнь, а на смерть. Итак, господин коллега?..

Штельтенкамп: Так вот. И закурил сигарету. При жене, которая похожа на еврейку или вроде того, хорошего ждать не приходится, к слову сказать, что-то ведь все равно прилипнет, разве не так?

Отец сделал паузу, а мама вытаращила глаза и возмущенно заявила:

Элла Лемкёстер? Что за чепуха!

А Луиза сказала: этот фокус он ведь испробовал уже на тебе, Леопольд.

Конечно, ответил отец, но я хорошенько наорал на него, и Штельтенкамп рассмеялся и извинился, это, мол, была просто шутка, тогда другие тоже засмеялись. Но на сей раз Аугуст Лемкёстер...

Это же полнейшая чепуха, повторила мама.

Аугуст Лемкёстер вышел из себя. Сжав кулаки, он закричал на Штельтенкампа: как вы это пронюхали?! Он хотел сказать что-то еще, но, совладав с собой, встал и направился к двери. Его била дрожь; ни разу не оглянувшись на нас, он сказал достаточно громко, так, что все слышали: делайте со мной что хотите, господин директор. И выбежал вон.

Ну вот, сказал Штельтенкамп. Он сам сознался. Я застыл на месте. Этого я не знал. А ты знала?

Нет, о господи, ответила мама, господи! Отец захлопнул папку. Луиза побледнела.

В тот же вечер, как только смерклось, отец отправился к Лемкёстерам. Когда он вернулся, я уже был в постели. Но я не спал, я никак не мог заснуть и слышал, что он еще долго шептался с мамой, и временами мне казалось, что мама плачет. Я полагал, что в ту же ночь — самое позднее через два-три дня — Лемкёстеры скроются, тайком покинут Нидерхаген и где-нибудь найдут себе убежище. Но все оставалось по-прежнему. Аугуст Лемкёстер, как и раньше, вел у нас уроки рисования, а его жена каждое утро ходила в церковь, кстати, в обществе моей мамы.

Почему они не уезжают? — спросил я отца. И он ответил:

Не спрашивай, Энгельберт. Они не могут уехать.

Почему? У них нет денег?

Мы могли бы сложиться, не знаю, хватило бы или нет. Только куда ехать, мальчик? Где они могут скрыться? Их везде найдут.

Уехать из Германии, сказал я, за границу.

Это же совершенно невозможно, ответил отец. Им нигде не перебраться через границу. Несколько лет назад — да, тогда это было еще возможно, но сейчас об этом не может быть и речи.

Тогда они должны спрятаться, уехать куда-нибудь в деревню. Хоть это-то возможно?

Они не знают куда. И я тоже не знаю, куда бы я мог их отправить. Ты должен понять, Энгельберт: все эти годы они жили очень замкнуто, встречались только с нами, больше ни с кем, у них теперь нет ни друзей, ни знакомых. Это было необходимо, чтобы не выдать себя.

А как же узнал Штельтенкамп? — спросил я.

Он ничего не узнал, это и есть самое страшное, он сказанул просто так, и, если бы Аугуст Лемкёстер наорал на него, как я в свое время, ничего бы не случилось. Но кто мог предвидеть? Пожалуйста, веди себя спокойно. У нас одна-единственная надежда, что коллеги будут молчать. Не говори об этом и с Хильдегард.

Я пытался ловко выспросить Хильдегард, но не узнал ничего такого, из чего можно было бы заключить, что в доме Зондерманов говорили об Элле Лемкёстер. Все же этот случай наверняка обсуждался. Только они поостереглись посвящать Хильдегард, поскольку она, при моей поддержке и поддержке Низачтока, всегда и во всем давала отпор отцу и брату, они знали также, что она любила и почитала моего отца и что мой отец привязался к ней как к родной дочери, дарил ей розы, а в день рождения преподнес книгу.

Спустя три недели после педагогического совета поздно ночью кто-то зашел к нам в палисадник. Я проснулся, сам не знаю отчего.

Человек этот даже не постучал в окно спальни моих родителей, а тихонько поклевал в стекло, как пичужка. Его сразу же впустили, и примерно час он пробыл у нас в доме, потом ушел, и безмолвная тьма поглотила его шаги. Наутро Луиза сказала мне, что к нам приходил господин Лемкёстер, внешне он был спокоен, как всегда. Забрали ее, понимаешь, Энгельберт, жену его, Эллу Лемкёстер, забрали прошлой ночью, вот ужас!

Штельтенкамп совершил убийство. Нет, все это не так просто, для убийства он слишком труслив, не скажешь даже, что он донес. Штельтенкамп пошутил, вот и все, но это была смертельная шутка.

Позднее, уже после войны и после моего возвращения в школу, Хильдегард высказала мысль, что ни у кого из тогдашних учителей не хватило бы мужества донести на Эллу Лемкёстер. Она полагала, что ее отец мог так, между прочим, выболтать дяде Паулю тайну фрау Лемкёстер; она и отца считала слишком трусливым для предательства, он мог просто проболтаться, без всякого злого умысла, так сказать, мимоходом,— так думала Хильдегард, а я не хотел и не мог с нею спорить. И даже сегодня, после диалога при свете настольной лампы, вернее, именно сегодня она по-настоящему готова была поверить в то, что ее отец впоследствии искренне раскаивался в своей болтливости. И на этот счет я опять-таки не хотел с ней спорить. А от дяди Пауля до Зигфрида всегда был один шаг, продолжала она, крылся тут злой умысел или нет, она не берется судить. Ведь дядя Пауль человек легкомысленный, хотя по натуре он совсем не плохой, Энгельберт. А Зигфриду — такой вывод сделал я из слов Хильдегард и из собственных наблюдений,— Зигфриду стоило только мимоходом обмолвиться об Элле Лемкёстер, что-нибудь сболтнуть о ней в своем штабе, своем взводе, своей

группе или где-то там еще, ему стоило только пустить какую-либо шутку или, назвав имя Эллы, поднять брови, и вот он уже выманил слушок из клетки с редкими прутьями и подтолкнул его, и он помчался, теперь можно спокойно предоставить его самому себе, пусть скользит по закоулкам Нидерхагена, разгуливает по улицам, обходит квартиры, пивные, кафе и магазины — едва уловимый шепоток, вот он прошелестел мимо ушей или в одно ухо вошел, в другое вышел и понесся дальше, гонимый ветром, но понемногу разросся в прожорливую бестию, которой дано право на существование, и обходными путями — но уж наверняка — добрался до соответствующей канцелярии, а там — до соответствующего стола, где «смазливая девочка» в белой блузке, с узлом черных волос, впишет имя Эллы Лемкёстер на безукоризненно вычищенной пишущей машинке в документ со штампом: «совершенно секретно», под рубрикой «первое», «второе» или «третье» приложение, и против него сейчас же поставят карандашом галочку или крестик. Может быть, все-таки, Хильдегард, заметил я, может быть, он сам, то есть Зигфрид, прямо вошел в дверь и направился к этому письменному столу? Хильдегард считала это возможным, так же как я, она понимала, что Зигфрид был не злобным интриганом, а ревностным исполнителем, честным и преданным последователем своего фюрера, послушным и как раз поэтому субъективно безвинным членом национальной общности и вожаком гитлерюгенда. Он, как идеалист, боролся за новую веру и в конце-концов сложил за нее голову.

Невинный слух — больше ничего и не требовалось, чтобы однажды ночью, вернее, тихим и безмятежным ранним утром к дому Лемкёстера медленно подкатила машина с приглушенным светом фар; она остановилась и через несколько безмолвных минут, которые ничем не отличались ни от предыдущих, ни от последующих, так же тихо скользнула прочь с этой улицы. Больше ничего и не требовалось. С этого дня господин Лемкёстер перестал ходить в церковь. Впрочем, это была единственная перемена, которую мы заметили в нем до пасхальных каникул, а до них уже было недолго; и даже мама, узнав об этом, нашла, что нужно дать ему время, и лучше, чтобы он не причащался, пока не обретет внутреннюю ясность. До каникул он еще оставался в школе. Это был из ряда вон выходящий случай: муж еврейки не мог состоять на государственной службе, но бюрократический зверь неповоротлив. После каникул, когда и отца уже не было с нами, господина Лемкёстера уволили. Не знаю, чем он жил с тех пор,— не думаю, чтобы ему назначили пенсию. В те дни и недели у нас были собственные тревоги, мы пытались как-то перебиться на пенсию Луизы и наши небольшие сбережения, и случилось так, что в нашем маленьком городке мы и в самом деле потеряли из виду господина Лемкёстера. Кроме того, он уже с давних пор жил очень замкнуто, один-одинешенек в своем домике у реки,— таким нелюдимым он остался и после войны, и в пору послевоенной разрухи — вплоть до нынешнего дня, когда я отправился к нему из больницы, чтобы с ним попрощаться.

Никто толком не знает, чем заняты его дни. Их не может всецело заполнить рыбная ловля — однажды мне было дано несколько минут наблюдать ее, когда я пришел к нему за советом,— даже если он просто часами сидит в своем тесном садике на берегу реки, не сводя глаз с поплавка.

И сегодня по городу ползут всевозможные слухи. Его называют чудаком и нелюдимом, отщепенцем и отшельником; слухи утверждают, что господин Лемкёстер впал в какую-то странную, какую-то, можно сказать, нелепую религиозность или сектантство. Но ни в одном из этих слухов не найти указания или хотя бы намека на то, когда это случилось и в чем именно заключается его сектантство и вообще его религиоз-

ность. Разве кто-нибудь слышал, как слышал я на школьном дворе после бокса, когда господин Лемкёстер говорил и его устами словно вещал кто-то другой? Кому довелось переступить порог его жилища после той ночи, когда перед его домом остановилась машина,— за исключением разве моего отца? Никому из моих знакомых, да и мне тоже, и я даже не знаю, пытался ли кто-нибудь это сделать, например, священник Штофферс. Его экономка умерла в последний год войны. А мама и Луиза наверняка ни разу не пытались: Аугуст Лемкёстер нагонял на них страх.

Дверь его дома выходит прямо на песчаную дорогу, а дорога ведет к реке. Я нажал кнопку звонка, пальцы у меня слегка дрожали. Собственно, почему? Я нажал раз, нажал два, нажал три раза, но не услышал ни звона, ни дребезжанья. К дверному косяку чертежной кнопкой была прикреплена бечевка, на конце которой болталась маленькая стеклянная гильза, закрытая обыкновенной латунной крышечкой; когда я подул на нее, она слегка зашуршала. В запотевшей гильзе я обнаружил свернутую трубочкой бумажку, уже немного пожелтевшую и покрытую какими-то неизвестными мне письменами, вероятно, древнееврейскими. Мелкие, тщательно выписанные знаки. Что это — послания для непосвященного, вести с невидимой звезды, сигналы, сверкнувшие из зловещего мрака? Для меня, во всяком случае, это были зашифрованные сообщения, составленные из мертвых букв. Послания смерти — или послания жизни? Я не слышал их. Знаки, в большей или меньшей мере построенные на геометрической основе — квадрате. Я постучал в некрашеную дверь и через некоторое время услыхал шарканье туфель. Я отступил, напряженно всматриваясь в ручку двери, услыхал, как отодвигают засов, увидел, что с той стороны взялись за ручку и повернули ее до отказа, и отступил еще на шаг. Дверь отворилась. Передо мной стоял господин Лемкёстер.

Внешне он очень изменился, это сразу бросилось мне в глаза: незнакомый старик. У него была теперь козлиная бородка, почти совсем седая. на голове торчала шляпа — поверх черной ленты шел зубчатый кожаный ремешок. На плечи он набросил четырехугольный платок из синей шерсти с пестрыми кистями и — я заметил это только у него в комнате — весь расшитый древнееврейскими письменами. Но самым странным показались мне узкие ремешки, которые он закрепил на левой руке, на уровне сердца и на лбу. На каждом болталась маленькая коробочка.

Кто увидел бы в этом облачении только его необычность и не понял бы, сколь это серьезно, кто из-за своей предвзятости не смог бы почувствовать искренность и покоряющую правдивость старика, тому господин Лемкёстер и весь его облик показались бы нелепыми. Но я не смеялся.

И пока я его разглядывал, господин Лемкёстер стоял передо мной и упорно смотрел мне в глаза, пытливо отыскивая в них что-то. Наконец он сказал:

...Вот как, Леопольд Рейнеке? Блудный сын! — и поздоровался со мной, заключив меня в объятья. Он обнимал меня молча и по-отечески долго, словно я и в самом деле был возвратившимся домой блудным сыном.

Леопольд Рейнеке? Неужели он сказал Леопольд, а не Энгельберт? Неужели и он спутал меня с отцом? Нет, старик, должно быть, оговорился. Не волнуйся, он, конечно, оговорился, он не скажет «сын Низачтока». Но ведь он сказал «блудный сын»!

Я почитал господина Лемкёстера, это правда, я уважал его хотя бы только в память об отце; и я чтил его, как никого другого из живущих на земле. Но я не желал быть блудным сыном, я не был блудным сыном. А он не мог быть отцом, принимающим блудного сына.

Он закрыл дверь на задвижку и повел меня по коридору в свой кабинет, размашисто и величаво шагая впереди меня. И мне показалось: господин Лемкёстер, последний друг Низачтока, рад моему приходу.

Коридор был оклеен его старыми акварелями; все без рамок, они были налеплены прямо на стены, вплотную друг к другу. На столе, стоявшем посреди комнаты, лежал каравай хлеба; мне показалось, будто от него только что отрезали кусок; рядом стояла стеклянная солонка. А вокруг — книги, книги, книги; такое множество книг, что все они не помещались на полках. Они лежали повсюду неровными стопками, громоздились на полу, на стульях и на зеленом диване; в беспорядке валялись тут и там, открытые или заложенные бумажками.

Один угол комнаты, по-видимому восточный, он пощадил. Там, меж двух продолговатых досок, на которых я опять обнаружил незнакомые письмена, под запыленным стеклом, в пыльном сумраке, слегка наклонясь вперед, парил святой Михаил. А под ним на маленьком столике без скатерти стоял светильник — золотой семисвечник. Две свечи горели в светильнике, и господин Лемкёстер торопливо подошел к нему, погасил свечи, отвязал ремешки с руки и со лба, снял платок и шляпу и с нервной поспешностью уложил все это под семисвечником.

Семисвечник, и письмена, и свиток пергамента, и хлеб и соль, и святой Михаил, и доски в восточном углу, и ремешки, и шерстяной платок на плечах — откуда все это? Что это значит? Неужели господин Лемкёстер, у которого похитили и потом убили жену — коллега Штельтенкамп не донес, не убил, он только пошутил, должен ли он отвечать перед судом? — жену Аугуста Лемкёстера, еврейку — но ведь она с давних пор перестала соблюдать обряды своего народа,— неужели господин Лемкёстер все-таки?.. Голос, которым еще тогда, на школьном дворе, будто говорил кто-то другой. Древнее слово, Ветхий Завет, подумал я.

Я закрыл за собой дверь и вошел в комнату; ослепленный чем-то блестящим и черным, взглянул наверх и остолбенел, взглянул снова и увидел над дверью *его;* увидел пять раз, пять раз на меня посмотрели его глаза — ясные, живые и смеющиеся; пять раз повторялось его лицо, расположенное пирамидой: крупным планом, возвышаясь над остальными, лицо посредине — его лоб, его брови, его блестящие глаза, и рядом слева и справа лицо поменьше — его незабвенное лицо. Пять раз над дверью ступенчатой пирамидой лицо моего отца, лицо Низачтока. Леопольд Рейнеке? Разве Лемкёстер не сказал: «Вот как, Леопольд Рейнеке?» Неужели он все-таки спутал меня с отцом? Нет, он подразумевал меня, Энгельберта Рейнеке; коллеги говорили: сын старого Рейнеке. И ученики говорили: сын Низачтока, и соседи говорили: вон тот — сын доктора Рейнеке. И теперь Аугуст Лемкёстер сказал: блудный сын.

Все еще не говоря ни слова, господин Лемкёстер освободил стул, швырнул книги в угол, гордым жестом пригласил меня сесть и сам уселся на скрипучий диван так, что мы оказались теперь прямо друг против друга, на двух концах одной дуги, с самого начала ощущая взаимную полярность; ускользнуть было невозможно, это я чувствовал, а он смотрел на меня и мог в то же время видеть моего отца над дверью. И он все смотрел, не говоря ни слова.

Но с меня было довольно этого молчания и таинственности. Я решил нарушить тишину — он уже достаточно воспользовался ею и успел вглядеться в меня своим упорным взглядом,— я сказал:

— Господин Лемкёстер, я пришел... я хотел... собственно, я хотел только проститься с вами... понимаете... ничего особенного... просто сказать «до свиданья»... дело в том, что сегодня — я его ждал две недели — и вот наконец это письмо пришло... понимаете...— Жалкий лепет!

— Я тебя ждал,— сказал старик своим спокойным голосом, он все смотрел на меня, но его взгляд утратил теперь свою напряженность, гла-

за его заблестели, даже засияли.— Я тебя ждал, Леопольд, и вот наконец ты пришел.

Опять он сказал «Леопольд», но его голос и сияющие глаза понемногу брали меня в плен и вынуждали к терпению.

— Ждали, господин Лемкёстер? Вы меня ждали?

— Да, Леопольд.

— Не понимаю. Как это может быть? Ведь я один раз уже был у вас. Разве вы не помните? В тот день... ну, когда священник Штоффepс, внизу у реки, на берегу... Это было не так уж давно

— Я отлично помню. Но в тот раз ты не пришел, Леопольд, извини, ты пришел не ко мне,— сказал спокойный древний голос, и древнее лицо стало печальным, оно все еще улыбалось, но сияние глаз погасло. Они потемнели.

— Тогда ты только прошел мимо,— сказал он,— замкнутый в круг своих мелких забот и тревог. Я не люблю взывать к замкнутому. Поэтому я прочел только про себя и только для себя несколько мест из Библии — видишь, я помню,— а потом засмеялся, так ведь? Ты явился не затем, чтобы обратиться ко мне, как может один человек обратиться к другому, ты явился не затем, чтобы послушать меня, узнать, что я мог бы сказать о поведении священника Штоффepса, а лишь затем, чтобы через меня послушать себя самого. Ты явился не затем, чтобы я посоветовал, помог тебе и укрепил тебя, дабы ты сумел помочь самому себе. И не затем, чтобы ты укрепил меня, которого укрепляет теперь только твой отец, вон там над дверью, и, само собой разумеется, еще ОН, Всемогущий! Ничего не изменилось бы от того, поддакнул бы я тебе или нет.

— Может быть, и так,— сказал я.— Вы правы и в том, что сегодня у меня действительно тяжело на сердце. Понимаете, со школой мне хотелось бы...

— Пожалуйста, подожди минутку.

— Господин Лемкёстер,— сказал я,— пожалуйста, извините, господин Лемкёстер, но меня зовут не Леопольд, я ведь Энгельберт, сын Леопольда.

— Я знаю,— сказал он,— и тебе незачем меня поучать.— Лицо его стало суровым.— Я знаю, почему называю тебя так. Ты должен думать о нем. А ты его забыл.

— Это не так, господин...

— Это так. Ты его забыл. Ты преподаешь в той же школе, где учил твой отец, и ты стыдишься называть его имя.

— У коллег совесть нечиста...

— И у тебя тоже. Кто говорит, что знает, тот говорит правду, а у свидетеля ложного — обман. Ты, Энгельберт, обманываешь своим молчанием; этим ты еще глубже закапываешь отца твоего в землю и обманываешь всех, кому надлежит слышать его имя.

— Вы хотите сказать...— начал я... Скорее, скорее прочь отсюда, найти Хильдегард, она должна мне помочь вырваться из Нидерхагена, пусть это будет обман, я больше не могу. Хильдегард, где ты? Неужели никто не скажет тебе, куда я пошел? Я здесь, у Лемкёстера, здесь, Хильдегард...— Господин Лемкёстер, я больше не хотел бы вас задерживать. У вас, конечно, есть дела. Я хотел только попрощаться с вами, вот и все. Через несколько дней я оставляю нашу школу. Я перехожу в промышленность, кажется, это мне больше подходит. Сегодня утром наконец пришло письмо...— На этом слове я запнулся; я уже жалел, что пошел к Лемкёстеру, ибо я чувствовал, пока еще смутно, что он сильнее мамы и Луизы, что своим голосом — это все еще был голос другого человека — он может врезаться в самый фундамент моих планов и перевернуть их. Скорее, как можно скорее прочь отсюда! Хильдегард!

— Не оглядывайся,— сказал голос.— Еще не время. Там висят его фотографии, пять штук. Подумай. Считай меня сумасшедшим, если тебе угодно, но все-таки подумай. А потом скажи мне, хорошо ли, что я отдал ему это место над дверью, может быть, на твой взгляд, мне лучше было бы предоставить его Моисею или Христу, апостолу Павлу или кому-нибудь еще, кого ты вспомнишь.

— Вы хотите сказать...

— Подумай. От этого многое зависит — для тебя. Твой отец на этом месте — пока не оглядывайся,— да кто он такой, не правда ли, ты ведь так рассуждаешь. Ты, должно быть, заметил: я никого из них не умалил, оказав предпочтение твоему отцу, хотя, конечно, и мне приходила в голову мысль: что может значить простой учитель в сравнении с этими именами. Но я знал, что делал.

Мне стало не по себе. Отец над дверью... оказывается, Лемкёстер ждал меня... я хочу покинуть Нидерхаген...

А Лемкёстер рассказывал о том, как он беседует с Низачтоком и как даже теперь, через порог смерти они укрепляют друг друга.

Я не знал, что и думать обо всем этом — не то чтобы он молол вздор, но мне было еще не совсем ясно, куда он клонит,— от бесед с моим отцом он вдруг перескочил на общие проблемы и заговорил о людях, которые в сутолоке будней и хлопот своих уже не в состоянии поговорить друг с другом, один не замечает другого, не желает больше поддерживать человеческих отношений с этим Другим. Он, Лемкёстер, не рискует теперь выходить на улицу, ибо опасается, как бы кто-нибудь из этих одиноких не сбил его с ног или не переехал. И тут он встал, прошелся по комнате и сказал совсем спокойно, но с какой-то жуткой сосредоточенностью:

— И потому они способны прибегнуть к последнему средству: забраться в самолет, нажать кнопку и сбросить бомбы. А скоро им и этого не надо будет делать, наверно, мы уже достигли такого уровня техники. Они смогут нажать кнопку, не выходя из своей кельи, им даже не понадобится подниматься в воздух и утруждать себя, летя на цель, на то, что еще осталось от Другого. Поскольку же для них не существует Другого, они не видят больше и действительности. Понимаешь? Где нет Другого и нет сочувствия к этому Другому, там нет и действительности, а есть пустота — она не отзывается и ничего не требует.

Он сел. Постепенно я начал понимать, что он и меня включал в это множество суетящихся Неразговорчивых. Ему, наверно, стало известно, что я порвал со всеми, не только со старшими коллегами, но и с младшими; например, я боязливо — в самом прямом смысле этого слова — избегал говорить с Максом Блудау, который не раз пытался завязать со мной разговор — и не только об отце. А Лемкёстер продолжал наседать на меня, воскрешая передо мной отца — воспитателя Низачтока, образец и воплощение долга.

— Он доверял вам, юношам, и одним этим творил действительность вокруг вас и в вас самих. Оттого, что он доверял вам и, доверяя, был с вами рядом, вы не ощущали страха. Он даже верил в то, что понемногу вы поймете разницу между тем, что хотят сделать из вас все эти барабанщики, молодежные группы, государство, нацистская партия с ее могущественной пропагандой,— и тем, что он взялся пробудить в вас, дабы мир открылся вам в своей реальности. Ты, наверно, помнишь, что мои дорогие коллеги явились к твоему отцу, после того как Зондерман оставил попытки обратить его в свою веру. Они тоже стали призывать твоего отца быть благоразумным и хотя бы вступить в партию, а он отверг и эти уловки; они подступались к нему, вооруженные аргументами громкоговорителей, а он пытался беседовать даже с ними. Он так и не

вступил в партию — ради вас, чтобы вы не начали сомневаться в нем. А теперь ты, Энгельберт.

— То есть как я?

— Ты хотел мне что-то сказать, попрощаться. Ты намерен уехать, ведь так? Чтобы вырваться из этого безмолвного одиночества, тебе пришлось бы сделать слишком большое усилие.

Я рассказал ему о письме Дитриха Барча, но не открыл всей правды, я заверял, что работа в промышленности привлекает меня больше, чем школа, предложение заманчивое. Но господин Лемкёстер гневно прервал меня:

— Ты лжешь, Энгельберт. Я по тебе вижу, что лжешь. Если ты не хочешь говорить со мной откровенно, зачем ты пришел? Скажи мне правду или оставь мой дом!

— Извините, пожалуйста,— ответил я.— Но я больше не могу оставаться в Нидерхагене — и прежде всего в школе. Я живу среди призраков, и этого я уже выдержать не в силах. Не могу же я без конца жить в прошлом. Например, сегодня, с тех пор как я получил письмо,— ничего, кроме прошлого. Где бы я ни был, с кем бы ни говорил — вдруг стена раздвигается и все возникает снова: отец и те страшные месяцы перед пасхой, для полноты картины недостает только заключительного педагогического совета и нашей помолвки — все остальное я уже пережил вторично. Я этого не вынесу, господин Лемкёстер.

И тогда он сказал то, о чем утром думал я сам: все эти образы могут быть знаками; он объяснил мне, что в этих явлениях нет ничего таинственного, мистического, они вполне естественны.

— Ты хотел все забыть,— сказал он,— это мне понятно. И я не свободен от этого, мне тоже хотелось бы забыть. Ты отталкивал от себя твоего отца, подавлял в себе его образ, хотел этот образ убить. Но мертвые не дают себя умертвить. Если бы ты прислушался к голосу твоего отца, если бы ты поговорил с ним, если бы ты продолжил дело, начатое им у тебя на глазах — беседовал с людьми и доверял им,— тогда, поверь мне, он не восстал бы против тебя как призрак. Можешь бежать куда угодно, но, пока ты не прислушаешься к его голосу и не послушаешься его, верь мне, мальчик, он будет преследовать тебя всегда и повсюду; даже в те часы, когда ты будешь чувствовать себя вполне свободным, думая, что никогда уже не столкнешься с призраком. Я повесил над дверью его портрет, дабы укрепить себя и не сдаваться, дабы в один прекрасный день не оказалось, что я его забыл.

Кто-то уже несколько раз стучал в дверь. Теперь опять постучали, и господин Лемкёстер хотел встать и открыть. Но я спросил его:

— Разрешите мне?

Он кивнул. Слегка согнувшись, я прошел под пирамидой отцовских фотографий, сжал кулаки и подумал: «Нет, старику меня не поймать, я не размякну, я уеду, в Нидерхагене не останусь».

А еще я подумал: «То, что он говорит про отца, похоже на правду; он жив, сегодня я узнал это, отец жив, он ждет меня, ждет в моей комнате, я пойду и все скажу ему, не теперь, позже, я потом пойду к нему, вместе с Хильдегард, позднее — сейчас я должен отворить дверь, господин Лемкёстер ждет гостей, кто-то стучал». Я отодвинул засов, открыл дверь и, помедлив секунду — наверно, она думала, что ей открою не я, а господин Лемкёстер,— Хильдегард бросилась мне на шею.

— Откуда ты узнала?

— Мне сказала Луиза.

— Входите, дети,— окликнул нас господин Лемкёстер, стоявший на пороге своей комнаты. Он поспешно освободил еще один стул, подвел к нему Хильдегард, ласково усадил ее, потом меня, сам опять уселся на

диван и сказал: — Это хорошо, Хильдегард, что ты тоже пришла ко мне.

О да, это было хорошо: Хильдегард была со мной, она чувствовала, что я в тисках, она внимательно наблюдала за мной, в ее присутствии я чувствовал себя сильнее — она не должна была ничего говорить, только быть рядом, в своем черном пуловере и черных брюках,— струя свежего воздуха. Она поддержит меня.

— Итак, вы хотите покинуть Нидерхаген? — сказал Лемкёстер.

— Да,— ответила Хильдегард, улыбкой испрашивая его согласия.

Но старик вдруг помрачнел и заявил:

— Вы хотите бежать!

— Нет,— возразил я.

— Вы хотите бежать! — повторил он, медленно и веско выговаривая каждое слово. Он выпрямился и застыл, не спуская с Хильдегард неумолимого взора, глядя на меня с такой строгостью, что я не выдержал и опустил глаза, а он повторил, стиснув кулаки:

— Значит, вы хотите бежать!

Хильдегард выдержала его взгляд.

— Вы должны понять, господин Лемкёстер, что работать в здешней школе для Энгельберта невыносимо. Так не может продолжаться. Он этого не выдержит — я тоже. А я считаю: если какое-то положение нельзя изменить, надо с ним покончить.

— Вы не можете изменить положение?

— Но как, господин Лемкёстер, каким образом? — спросила Хильдегард.

— Разве вы пытались?

— Вы же знаете...

Но он перебил меня.

— Ты не пытался, Энгельберт, я бы знал о твоей попытке. Ты поставил свою свечу под сосудом и в страхе скрыл свое имя.

— Во-первых, я не герой, во-вторых, мне суждено всю жизнь быть только сыном Низачтока, великого человека, который не оставил ничего на мою долю.

Лемкёстер спросил Хильдегард:

— Разве он один?

— Я с ним.

— Это уже много, Хильдегард.— Его суровость начала таять...— Это поистине много. А кроме тебя? Разве среди учителей нет никого, кто мог бы ему помочь? Неужели в наши дни всех молодых штудиенратов обуревает та же тревожная забота, что и его,— ничем не выделяться, забыть все, что сделали их отцы, как доброе, так и злое. Неужели вы полагаете, что вы невиновны, что вы не привязаны к отцам тысячью нитей, что вы можете просто перерубить веревку и сделать вид, будто вы появились на свет без отцов? Вы не отвечаете за своих отцов, но вы стоите у них на плечах — надо быть слепым, чтобы не видеть этого. Неужели в Нидерхагене нет ни одного молодого человека, который с вами заодно? Разве я пока еще не с вами?

— Да, господин Лемкёстер,— сказала Хильдегард и улыбнулась.— Вы еще с нами. Но, простите, откуда вам знать, что теперь творится в школе. В ваше время люди делились на черных и белых, это было просто. Сегодня все они серые — это защитная окраска. Как же мы можем угадать, кто с нами заодно? Знаете ли вы моего отца? Имеете ли представление о том, каким он стал теперь и сколько на нем защитных оболочек?

— Я старик, пусть так. Но я еще жив, и я знаю, каким стал твой отец. Я знаю, что творится в школе. Потому я и ждал вас, тебя тоже, Хильдегард. Но вы не сочли нужным прийти и поговорить со мной. А те-

перь вы хотите бежать и даже не знаете того, что вам не уйти от Низачтока. Вы боитесь меня, ибо я тоже призрак, нарушающий ваш покой. Но рука господня достанет вас и на краю света.

— Господин Лемкёстер,— сказал я,— мы ведь даже не знали, будет ли вам приятно, если мы вдруг начнем обременять вас нашими заботами.

— Нашими заботами... Энгельберт. Ты не знаешь, что говоришь. Лучше бы ты молчал, ведь ты меня оскорбляешь. Твои заботы — это мои заботы.

И опять, как тогда на школьном дворе, мне показалось, будто его устами говорит кто-то другой: Вы простираете руки свои, но утешителя нет вам. Господь дал повеление врагам вашим окружить вас, ибо сделались вы мерзостью среди них. А ты должен быть среди них светочем и ясным словом.

— Я не могу, господин Лемкёстер, я больше не могу.

— Пожалуйста, не волнуйся,— сказала Хильдегард.

— Ну что мне делать? Биться головой об стену? Я не могу ничего сделать, не могу и не хочу!

— Склоняйтесь до земли перед вашими врагами, бегите, бегите, я презираю, я ненавижу вас!

Хильдегард, перестав улыбаться, сказала:

— Извините, господин Лемкёстер, но, если вы попытаетесь удержать Энгельберта, я стану вашим врагом.

— О глупая девчонка! — он вскочил, выпрямился перед нею и воздел руки в безудержном волнении: — Девчонка, глупая, глупая девчонка. Испытает тот горе от жезла гнева ЕГО, кто повел тебя и ввел во гьму, а не во свет. Начало ссоры, как прорыв воды; оставь ссору прежде, нежели разгорелась она. Энгельберт, говори!

— Да, но что же мне сказать? Я правда не могу, господин Лемкёстер, я готов еще подумать, но вряд ли что-нибудь изменится...

— Тогда ступайте. Идите туда, куда гонит вас ваша глупость. Я вас не держу. Идите, идите! В моем доме для вас нет места. Ступайте же, ступайте прочь. Я больше не хочу вас видеть. Сейчас я больше не хочу вас видеть. Но я стану ждать вас, как ждал до сих пор. Я стану ждать, когда вы по-настоящему придете ко мне. И вы придете. А теперь идите наконец, идите же!

Он распахнул дверь и стоял возле нее, как ангел господень, изгонявший Адама и Еву из рая.

— Я сказал вам: идите куда хотите. Язык мой сух, голова пуста. Я хочу отдохнуть, забыть вас, пока вы не придете ко мне.— Он пылал гневом, который принадлежал не ему.

И мы наконец встали. Не глядя друг на друга, подошли к нему, у двери он казался необычайно высоким. Я протянул ему руку, но он не взял ее, он ее не видел.

Могучий в своем гневе старец с древним лицом, с вечным, вечно гневным лицом. Закрытые глаза гнали меня прочь.

Хильдегард схватила меня за руку. Мы промчались по коридору и пустились бежать и бежали до тех пор, пока не выбрались из этой улицы. Тогда мы остановились.

Хильдегард подошла ко мне вплотную, положила мне руку на плечо и сказала, глядя мне прямо в глаза:

— Прошу тебя, Энгельберт, не слушай его, очень, очень прошу тебя, не слушай Лемкёстера. Он же старик. Где ему понять, почему мы вынуждены уехать! Как он был ужасен! Наверно, мне следовало промолчать. Ты только не слушай его, Энгельберт, умоляю тебя.

Я был не в силах что-либо сказать, меня била дрожь, и я пытался как можно скорее вытравить из своего сознания образ гневного старца, но это не удавалось. Рядом с Лемкёстером возникло видение отца.

— Что делать, Хильдегард?
— То, что собирался, ничего другого.
— А отец? Он стоит позади Лемкёстера.
— Пойдем, Энгельберт, прогуляемся немного. Тебе надо успокоиться. Он же старик, к тому же он выгнал нас.
— Господин Лемкёстер указал мне на дверь. Это ужасно.
— Ничуть не ужасно. Подумаешь! Он же старик.

Она крепко прижалась ко мне и не отпускала, и я смотрел ей в глаза до тех пор, пока ко мне мало-помалу не вернулось какое-то подобие спокойствия. И тогда я ощутил ее тело, и холмики ее груди, и ее рот. Сияло солнце, я взял ее под руку, и мы пошли.

— Не думай об этом больше, Энгельберт. Главное сейчас — письмо. Тебе надо уже завтра?..
— Об этом после. Дай сначала перевести дух, потом я расскажу тебе про письмо.
— Ты обедал?
— Обедал? Разве уже время?
— Где же ты был? Луиза сказала, что ты искал меня.
— А нашла меня ты.

13

У Хильдегард было достаточно тонкое чутье, чтобы подождать с расспросами о письме Дитриха Барча. Но после бури гнева, которая только что прошумела надо мной, это письмо почему-то стало казаться мне нелепым. Не то чтобы оно устарело и оттого сделалось смешным, нет; но оно как-то обесценилось, это письмо, которого я так долго ждал.

Неслышно шла она рядом со мной, пока мы спешили вдоль кирпичной стены позади монастыря, чтобы укрыться в тени бульвара от яркого дневного солнца. Я даже не слышал ее шагов. Я чувствовал, как она искоса поглядывает на меня любовно-испытующим взглядом.

И я знал также, что она делает это с тревогой, даже с некоторым страхом и с мольбой, призывая меня наконец заговорить с ней — как в тот вечер после бокса с Зигфридом, когда мы вышли за город, к реке, и она озабоченно ощупывала мое распухшее лицо, а потом, когда мы лежали в траве на берегу, мягко положила обе ладони на пульсирующие мышцы моего лица. Две прохладные ладони, легкие, как ветер. Они помогли мне больше, чем влажные полотенца, которые прикладывала мама,— под ними было темно.

— Знаешь, это очень успокаивало,— сказал я.
— Что успокаивало? — удивленно спросила она.
— Твои ладони. Твои ладони на моем лице.
— Мои ладони? Не понимаю, Энгельберт.
— В тот вечер...
— Да что с тобой? Ты меня пугаешь. Еще раньше, у Лемкёстера, когда я увидела тебя, мне стало страшно. И Луиза мне тоже дала понять, что ты сегодня не в себе.
— ...когда я дрался с Зигфридом.
— И ты сейчас об этом вспоминаешь?
— Я и сам не знаю почему.
— Меня это тогда не успокаивало, Энгельберт, ты уж прости. Зигфрид страшно тебя разукрасил.
— И на это страшно разукрашенное лицо ты положила свои ладони. И меня это успокоило.
— А на меня действовало совсем по-другому. Разве это не ужасно, Энгельберт, ты только подумай, ведь мы с тобой что-то пережили вместе, одно и то же пережили, а воспринимаем совсем по-разному. Меня

воротило тогда от твоего лица, поверь мне, Энгельберт. С чего это ты сейчас об этом вспомнил? Я давным-давно забыла. Теперь-то уж я могу тебе сказать. Я боготворила Низачтока... по мне, он был ну просто великий человек, я часто мечтала: ах, если бы я была его дочерью. Мне ничего не стоило бы уйти из дому и попросить его взять меня к себе. Но это, наверно, было невозможно, из-за тебя, понимаешь?

Я поцеловал ее.

— И немножко его света перешло в тебя, какая-то частица. А тут я вдруг обнаружила, что ты трус, потому что позволил Зигфриду так измолотить себя. Я не хотела, чтобы ты был трусом, и не хотела видеть твое лицо. Вот почему я закрыла его руками. А потом я не хотела их отнимать — боялась, что они будут в крови. И ты лежал неподвижно, как мертвый, извини меня — как мертвый трус. Но скажи, почему ты об этом вспомнил?

— Не знаю.

Быть может, потому, что после визита к Лемкёстеру я тоже чувствовал себя побитым? Но этого я ей не сказал. Я сказал другое:

— Сегодня я вспомнил о многом.

— Ну ладно. Но теперь наконец скажи мне, что пишет Дитрих Барч, все как есть, слово в слово.

— Разве Луиза еще не рассказала тебе?

— Да, но только в общих чертах. Как ты не понимаешь — это ведь очень важно для меня. Я хотела бы услышать все от тебя самого. А когда ты думаешь...

— После бокса, спустя день или два, меня вызвал шеф. Кстати, он передал вызов через тебя.

— Да, да, Энгельберт.— Она нетерпеливо вздохнула.— Но разве это так важно? Как раз теперь?

— Знаешь, что он сказал?

— Прошу тебя, поговорим об этом после. Я уже ничего не знаю, я все забыла, и мне сейчас не хочется вспоминать. Должен же ты понять это. Наступил день, когда я могу наконец вырваться из Нидерхагена. Все прочее меня не касается. С меня хватит вечера при свете настольной лампы. Какую должность предлагает тебе Барч? Вы уже договорились насчет оклада и прочего?

— Ты забыла все прошлое, Хильдегард. Я понимаю. Я тоже забыл, пытался забыть, мы все пытались, и мне тоже не хотелось вспоминать, точно так же, как и тебе, до нынешнего утра.

— Перестань без конца думать о том, что уже позади. У нас теперь дел по горло.

— Но, Хильдегард, ведь все, что мы делаем сегодня, связано с тем, что уже позади.

— Ты говоришь совсем как Лемкёстер. Это он тебе сказал?

— Не так, по-другому. Ну вот, будь добра, послушай. Твой отец и, разумеется, мой шеф, но при всем том наш сосед, человек, которого ты постепенно научилась ненавидеть,— этот человек просил меня поговорить с Низачтоком, переубедить его. Он достаточно мрачными красками расписал мне, что может случиться, если Низачток будет продолжать свою игру, если он хотя бы не вступит в партию. Зигфрид куда активнее, чем все мы вместе взятые, сказал он, а он, твой отец, бессилен. В этом он откровенно мне признался. Пусть вступит в партию хотя бы для виду. И когда он сказал это, я ему поверил. Он говорил искренне. Я и сегодня так считаю. Не страх руководил им, не желание избежать затруднений, которые возникли бы у него — это он предвидел,— как только школьное начальство запросило бы списки учителей. С этим он бы еще справился. Причина скорее в том, что он не понимал отца, Низачток был для него загадкой. Правда, он и не очень старался по-

нять Низачтока. Он не беседовал с ним, как я пытаюсь беседовать с тобой — что-то говорю и жду ответа. Он не прислушивался к нему, а только стремился заглянуть под его маску, увидеть насквозь. Ему было неприятно, что именно доктор Рейнеке не хочет принять новую веру. Чего он только не пробовал. Отказ унизил его.

— Что ты болтаешь, Энгельберт... Я думаю, дело совсем не в этом. Отец любил Низачтока, вот и все. Я должна сказать это в его защиту. Он не хотел, чтобы с Низачтоком что-нибудь случилось. Он мог бы в два счета поставить его на место.

— Нет, как раз этого он и не мог. Ты все никак не поймешь меня, Хильдегард. У него не хватало мужества сражаться с Низачтоком, с тех пор как он понял, что нас с тобой ему не разлучить. А потом, вплоть до самой помолвки — только потому он и согласился на нее,— он все еще надеялся, что сумеет обратить Низачтока в свою веру. Он считал для себя оскорблением, что не в силах этого добиться. Я ведь это чувствовал. И на меня это подействовало. Он внушил мне страх, страх за отца. и за мать, и за меня самого, и за Луизу.

— Энгельберт, не изображай моего отца хуже, чем он есть. Я уверена, что он хотел пощадить Низачтока из чистого человеколюбия. У моего отца по крайней мере доброе сердце — не будь этого, неужели, по-твоему, я могла бы так долго с ним уживаться? Несмотря ни на что мне и теперь еще тяжело расставаться с ним.

Я продолжал:

— После этой беседы я отправился домой, постучался к отцу, вошел в кабинет и остановился возле его рабочего стола.

В чем дело, Энгельберт? — спросил он.

И тогда я повторил то, что сказал шеф. Своими словами, не упоминая шефа. К этому примешался еще мой собственный страх. Я говорил пять или десять минут, а он удивленно смотрел на меня, но не перебивал.

Он не листал лежавших перед ним бумаг, не играл карандашом, не вертел в пальцах сигару — она одиноко дымилась в пепельнице.

Один раз вдруг зазвонил телефон. Он не снял трубки. Он сидел, откинувшись на спинку кресла, и смотрел на меня, и слушал, и принимал всерьез, принимал близко к сердцу то, что я говорил. Мы не были уже отцом и сыном или кем-то еще в этом роде. Теперь мы были противниками, равными противниками в споре. Приходилось тебе когда-нибудь переживать что-либо подобное?

— Нет. Кажется, нет. С моим отцом — никогда.

— Я хотел убедить моего противника, Низачтока, потому что меня убедил твой отец. Но я был неправ. Ведь по сути дела твой отец убедил меня уже в ту минуту, когда вошел в актовый зал для торжественного приветствия — новый молодой шеф,— понимаешь, он убедил меня своей походкой, своей выправкой, стройный, как древко знамени, он произвел на меня сильное впечатление своей прямой спиной — где мне было знать, что его спинной хребет всего-навсего древко знамени. А теперь я хотел убедить Низачтока. Он же вовсе не пытался убедить меня в чем бы то ни было. Он думал над моими словами и вполне серьезно к ним отнесся. Это было великолепно — так мне казалось. Впервые в жизни меня принимали всерьез, и впервые в жизни я почувствовал это. А когда я кончил, он сказал:

Энгельберт, мне кажется, я тебя понимаю. Стараюсь понять. Тебе делает честь, что ты встревожен и пытаешься что-то придумать. А теперь попробуй взглянуть на дело с моей точки зрения. Я чувствовал, что ты придешь и будешь говорить именно так. Я готовился к этому разговору, чтобы не оказаться беззащитным и не спасовать перед тобой. Но теперь я могу возразить тебе только одно: я не имею права.

Как то есть не имеешь права? Почему? Другие же имеют право. Неужели ты думаешь, что штудиенрат Беттенбюль — нацист?

Нет, нет, этого я вовсе не думаю. Да и коллега Кипп, конечно, тоже не нацист.

Вот видишь. А ведь оба они в нацистской партии. И другие тоже. Все. Кроме тебя. Они прежде всего подумали о своих семьях. Что за беда, если человек будет числиться в списках членов партии в такое время, когда опасно там не числиться? Вовсе не обязательно заявлять о своей солидарности или чувствовать солидарность. Это же только вопросы тактики, отец. Можно ведь и внутри партии делать кое-что, я разумею, в нашем смысле. Просто твои коллеги подумали о своих семьях.

Я знаю, Энгельберт. Я тоже о вас думаю. И я знаю, что нет ничего более естественного — ведь нам без конца приходится ломать голову над тем, как обезопасить себя от власти, которая притесняет нас и хочет использовать во зло, прикрываясь всевозможными звучными лозунгами. А вступить в партию — это, пожалуй, и значит в какой-то степени обезопасить себя. Я понимаю моих коллег и вынужден согласиться с их действиями. Как бы я мог с ними не согласиться? Разве мы в силах пойти против власти и раскаленного аппарата партии? Каким образом? Я хотел бы это сделать. Но как? Быть может, я слишком труслив для этого. Подсыпать в машину немного песку, а? Неплохо бы. Но сначала надо подобраться к машине. Как ты считаешь?

Да, да, но если ничего не получается...

Я давно уже вступил во всевозможные «ферейны» и занимал там кое-какие руководящие постики и отпускал дурацкие шутки. Зачем я все это делал? Затем, чтобы мы все могли обезопасить себя, скрывшись под маской, понял? Что мне еще оставалось? Но с тех пор как Зондерман стал моим шефом, я не знаю, поможет ли мне эта маска. И все-таки, Энгельберт, партия не обезопасит меня, да и вас тоже. Я там задохнусь — кого в ней только нет. И я не имею права, потому что кроме всего прочего думаю еще и о вас, о моем классе.

Класс это поймет, отец.

Ну, ты поймешь, и Герберт Ладегаст, и еще кое-кто. А остальные? Что, если найдется хоть один человек, который не поймет, ради чего я это делаю?

Что может значить один человек?

О, мальчик, один человек — это все, все. Не только потому, что, на мой взгляд, один может стоять за всех, как тот единственный праведник, который мог бы спасти Содом, если бы только удалось его найти...

Что ты говоришь? И ты уже не можешь обойтись без Библии? — сказал я. Но он оставил мои слова без внимания.

Я не считаю себя тем единственным праведником и не могу спасти Содом. Что толку от моих шуток — это все равно что слону дробинка. А для многих — даже подтверждение того, что господствующий режим выполняет свои обещания и делает каждого тем счастливее, чем он ограниченнее. Это меня угнетает. Я мало что могу сделать. Но я не могу оставаться равнодушным, даже если меня не понимает один-единственный ученик.

— Перестань, Энгельберт. Прошу тебя, перестань! — взмолилась Хильдегард.— Честь и хвала Низачтоку, я никогда его не забуду. Но теперь ты должен думать не о нем, Энгельберт, ты должен думать о нас, обо мне, о нашем будущем.

— А может быть, мне как раз и нужно еще раз все вспомнить, чтобы вполне ясно представить себе, как должно выглядеть наше будущее. Ведь не исключено, что и Низачток будет играть в нем какую-то роль? Так вот, он сказал: когда из всех ребят меня понимает только

один, я не придаю этому особого значения. Но вот когда среди всех находится такой, который меня не понимает, это уже имеет значение. Вспомни сказку о гнилом яблоке. С меня довольно Зигфрида и его гнилых дружков. Ведь тогда получилось бы — извини,— что я себе противоречу, но я не имею права обманывать даже самого заурядного из моих учеников, выдавая за действительность то, чего не существует. А если бы я вступил в партию, это и означало бы выдавать несуществующее за действительность.

Кто сказал, что ты не имеешь права?

Совершенно верно. Ты попал в точку: это-то и есть самое трудное для меня. Никто мне этого не сказал. Никто. Это плохо, согласен. Может быть — нет, наверняка — мне достаточно собственной воли и даро-ванной мне малой толики разума, чтобы действовать. Я вижу, что происходит, думаю и говорю себе: ты отвечаешь за каждого, за каждого мальчика в твоем классе.

Перед кем? — спросил я.

Перед самим собой.

Это все теории, отец, абстрактные рассуждения.

Ты спросил меня об этом, Энгельберт.

— Перестань! — опять сказала Хильдегард.— Это все теории, я слышала их от тебя, ты как-то говорил мне в точности те же слова. Подумай лучше о том, что предстоит, о письме.

Но я все не унимался.

Ты спросил меня об этом, сказал отец. Твои опасения не беспочвенны, я не могу просто так отмести их. Но знай: эту профессию я выбрал сам, добровольно. Я мог стать кем-нибудь другим. Но выбрав профессию учителя, я тем самым выбрал и ответственность за ребят. Значит, я этого хотел. Это не бог весть что, это не назовешь стройным мировоззрением, я не могу обосновать свое поведение какой-то глубокой идеей, но я должен держаться и знаю, что все мы связаны друг с другом, все, я вполне серьезно так думаю — все люди. Ты можешь мне возразить: это недоказуемо, твое знание ни на что не опирается, ни на какую-либо идею, ни на веру. И в этом ты будешь прав. И все же, Энгельберт, существует принадлежащий всем людям воздух, земля, жизнь и смерть. Подумай об этом. Тогда ты, может быть, поймешь, что мы — я и твоя мама — вовсе не облегчаем себе жизнь. Твоя мама — верующая женщина. Она добивается от своего бога ответа на вопрос: можем ли мы оставаться в Нидерхагене? Я никогда не стану принуждать ее. Я и сам не так уж тверд, но я рад, что по крайней мере у нее есть бог, с которым она может беседовать. Мы оба разными путями пришли к одинаковому решению: я не должен ни вступать в партию, ни уходить из школы. Теперь скажи ты, Энгельберт. Ты считаешь — только говори откровенно,— ты считаешь, что мне следует отойти в сторону? Подумай. Я вовсе не так уж уверен. Надо ли мне отойти?

Отойти в сторону? Этого я не понимал.

Должен ведь быть такой человек, цельный и ясный, без обмана и задней мысли, такой человек, который хотя бы покажет ребятам, если уж он не может им сказать, что правда и что ложь.

Я все еще ничего не понимал. Но сегодня, Хильдегард, сейчас, в эту минуту, когда я опять, как прежде, беседую с отцом, сейчас, мне кажется, я его понял. И если я уйду из школы, я обману своих учеников и коллег. Может быть, Лемкёстер все-таки прав, когда он говорит, что это бегство.

— О, Энгельберт. Ты думаешь только о других, о ребятах и о коллегах. Неужели ты не можешь хоть раз подумать и обо мне? Ты ужасно благороден, ты идеалист.

— Что-то в этом роде и я сказал отцу. И знаешь, что он ответил?

Вот как ты считаешь? Я называю это иначе. Когда ты родился, я еще не знал, что из тебя может выйти. Каждый человек, рождаясь, вплетается в бесконечную цепь, и каждый может способствовать тому, чтобы наша земля стала мрачней или светлей. Ты начал очень рано, Энгельберт, в своем малом мире ты пытался что-то создавать или разрушать. И случалось, что в твоих играх возникало нечто такое, чего еще никогда не было. Ты изобретал новые слова, новые реальности, и никто не смел тебе помогать. Я не мог принимать в этом участия — ты не хотел. Но я мог говорить с тобой, мог доверять тебе и принимать тебя всерьез. Это я и делал, ничего больше. И постепенно ты тоже обрел доверие ко всему, что тебя окружало, потому что рядом был я. Может быть, я немного преувеличиваю, но лишь для того, чтобы тебе стало ясно, что я имею в виду, когда спрашиваю: должен ли я отойти в сторону и уехать отсюда. Я не могу допустить, чтобы хоть один из моих учеников потерял ко мне доверие, не говоря уже о коллегах, которые, невзирая ни на что, все еще со мной считаются.

Отец, я не понимаю ни слова.

Ну так оставим это. Но что, по-твоему, мне делать?

Эмигрировать, отец, ты должен эмигрировать, мы все должны. Наконец-то я придумал, как нам поступить, и я очень гордился этим. Эмигрировать, отец. Я поеду с тобой. Мама и Луиза, конечно, тоже. И тогда отец принялся мне объяснять, почему мысль об эмиграции совершенно нелепа. Куда мы поедем, в какую страну? Война идет везде. Я сразу перестроился и сказал: тогда ты должен добиться, чтобы тебя перевели, хотя бы этого.

Это одно и то же, Энгельберт: вступлю ли я в партию, спрячусь ли в каком-нибудь медвежьем углу или попрошу перевода. В конце концов это одно и то же — в ваших глазах, в глазах моего класса, в глазах школы. Не будь я учителем, поверь мне, мы уехали бы уже несколько лет назад. Или, если бы меня в принудительном порядке уволили на пенсию, или, если бы вместе с тысячами учителей мы... так что им пришлось бы закрыть школы, но все это утопии. Разницы не было и нет: бегство вперед, бегство назад. При всех обстоятельствах — бегство, отступление, отход.

Но, отец, ведь бывают случаи, когда все поставлено на карту. Подумай о Зигфриде. Он способен на многое.

Кто может утверждать, что все поставлено на карту?

Отец, сказал я тогда, я с трудом выдавил из себя это слово, наклонился к нему через письменный стол и стал уговаривать его: отец, если бы ты точно знал, что Зигфрид донес на тебя, что завтра или послезавтра они придут за тобой, если бы ты точно знал это, тогда мы бы...

...уложили чемоданы и скрылись?

Да.

Возможно. Даже наверное. Да, можно считать, что в этом случае я уложил бы чемоданы. Я не единственный праведник в Содоме и не какой-нибудь одержимый. У меня нет особого желания украсить свое чело венцом мученика. Надеюсь, ты это понимаешь, мальчик. Но сегодня до этого еще не дошло.

Завтра может дойти, отец.

Завтра — до завтра мы подождем. Пожалуйста, Энгельберт, если хочешь, приляг на кушетку. Подумай обо всем. И тогда мы еще раз поговорим. Если ты пожелаешь, до глубокой ночи. И я достану из погреба бутылку вина, а то и две, и мы с тобой...

Я не прилег на кушетку. Я пошел к себе в комнату и все думал о чемоданах. Меня бесил его проклятый идеализм. Из-за него-то все и случилось. Зачем отцу понадобилось так долго ждать?! Что бы он ни говорил — пусть это прекрасные слова, пусть они звучат великолепно,—

но все это легкомысленно. Не будь он таким закоренелым идеалистом, он, быть может, не погиб бы. Если бы он только меня послушал! Никто не стал бы его спрашивать: почему вы не остались? Наоборот, сегодня они бы все им гордились. Отойти в сторону? Что за слова! Быть бы мне тогда понастойчивей. И я злился на себя за то, что не спросил его, стал бы он укладывать чемоданы, если бы только предчувствовал. Во всяком случае, я...

— Во всяком случае, ты не спросил его об этом,— заявила Хильдегард.— А теперь перестань наконец. Хватит.

Мы присели на скамью. Хильдегард отодвинулась от меня на краешек. Солнечные блики играли у нее на лице. Она просила, молила меня прекратить болтовню и уложить наши чемоданы, не медлить хоть сейчас, раз уж так случилось, что тогда проспали и упустили время, уложить, да поживее, и сделать наконец то, чего она давно так жаждет и что я наконец-то устроил: уехать вместе с ней к Дитриху Барчу или на завод «Кондор», к Герберту Ладегасту — куда угодно, только прочь, прочь отсюда.

— Ты полагаешь,— сказал я,— что там мне не придется сводить счеты с живыми или мертвыми призраками, что воздух там чист, клетки памяти проветрены, очищены для новой жизни, без прошлого, без печали, без мести и воспоминаний?

— Нет, Энгельберт, что только тебе приходит в голову. Ну откуда мне знать?

— Или ты считаешь, что дела там обстоят проще, чем в школе, цели ясней, а успех можно рассчитать заранее? В отличие от школы — никаких интриг. Зато там светлые помещения, свежеокрашенные стены, никаких унылых казематов за белым фасадом, никаких замурованных воспоминаний, которые начинают тикать в стенах по ночам и в пасмурные дни, да и новые обои не налеплены там прямо на старые?

— Да нет же, Энгельберт, что ты несешь? Ты прямо как Лемкёстер.

— Только на таком предприятии я могу чувствовать себя независимым, а здесь в школе — никогда. Там нет ни принципов, ни высшей инстанции — совести, надо лишь приспособиться к окружающим. Так ведь? На заводе все куда трезвее. Разве я сам не сказал, что отец не погиб бы, если бы не был таким закоренелым идеалистом, если бы он хоть немножко приспособился, но у него не было аппарата для приспособления. Или сорокачасовая неделя? Ты это имеешь в виду? Всего этого в школе нет. Завести друзей, бывать в обществе, большой город, ночная жизнь — разве это тебя не привлекает, Хильдегард? Устраивать всевозможные развлечения и больше никогда не быть в одиночестве? Ведь ты это имеешь в виду?

— Нет. Ты отвратителен. Что я тебе сделала? Я ничего такого не говорила.

— Но ты так думаешь.

— Откуда ты взял?

— Я же тебя знаю.

— Ты совсем меня не знаешь. Вот так было после бокса. Ты все толкуешь превратно.

— Ты думаешь о том, что я наконец-то смогу сшить себе новый костюм. А тебе — новое, роскошное платье по последней моде. Что я наконец-то смогу читать все те книги, которые всегда стремился прочесть. А в отпуск мы поедем на собственной машине в Италию, на Ривьеру. Да, когда-то мы ездили, с отцом! Что будет потом? Поедем на Канарские острова. Этого не может себе позволить какой-то жалкий асессор.

— Ты подлец, Энгельберт. Я ничего подобного не говорила и не думала. Дело совсем не в том. Мне теперь кажется, что ты все это говоришь о себе. Если ты из-за этого решил уехать, тогда лучше оставайся в Нидерхагене, тогда пойди к Лемкёстеру и скажи ему: вы правы, это бегство, я остаюсь.

— А в чем же тогда дело?

— Во всяком случае, не в обществе, которое ты только что описал. Это не наше общество, в нем мы никогда не будем счастливы. По мне, ты можешь хоть перевестись в другую школу, только прочь из Нидерхагена, только подальше от этого бульвара.

Она умолкла. Я тоже молчал. Рядом со мной были холод и неподвижность. В этом враждебном холоде меня пробирала дрожь. Что я опять натворил? Неужели это были мои собственные мысли, которые я скрывал от самого себя?

Вдруг Хильдегард вскочила. Она пристально-пристально посмотрела на меня, схватила за плечи, встряхнула:

— Открой же глаза, Энгельберт! Проснись наконец! — она отчаянно и ожесточенно трясла меня...— Ты бродишь по улицам, как лунатик, ищешь, ищешь уж не знаю чего. Чего ты ищешь, скажи мне наконец?

— Сам не знаю. А может быть, я ничего и не ищу. Может быть, оно ищет меня.

— Энгельберт! — И она снова трясла и теребила меня, и в глазах ее были огонь, и гнев, и отчаяние, и руки ее были горячи: — Что с нами будет здесь, в Нидерхагене? Я уже толком не знаю, нравлюсь ли еще тебе, не знаю, люблю ли тебя еще, ты слышишь, Энгельберт, ты понимаешь, я не знаю, люблю ли тебя еще так, как раньше. Я больше не могу ждать. Ты заставил меня ждать слишком долго. Они погубят нас, погубят все, все! Они приветливо улыбаются, глядя мне в глаза, и умалчивают о том, что думают, и они лгут, все время лгут и говорят: немножко влюбились, ну что ж, все мы когда-то влюблялись, это проходит. И я молчу, хотя готова вцепиться им в рожи, и я уже не знаю: может быть, я тоже начала лгать и вести себя так, будто я с ними заодно. Я не заодно с ними. Я заодно с тобой, только с тобой. И я не хочу, чтобы это проходило. Их ничтожные представления о жизни мне противны. Мне нужно больше, чем их капелька счастья: новое пальто, и новое платье, кофейный кружок, и вечные сплетни, и раз в год стрелковые соревнования, и раз в год карнавал, да раз в неделю эти дела в постели и рождение детей — меня тошнит от этого. Мне нужно больше! Я хочу жить другой, живой жизнью, я не хочу быть полутрупом, я хочу узнать до конца хотя бы одного человека и все делить с ним, я хочу любить его, любить без остатка, любить, любить и любить вечно, я хочу большого, а не маленького, жалкого счастья, и я не хочу, чтобы это проходило. Здесь все гнилое, Энгельберт, все грязное и протухшее. Все здесь душит меня, отравляет мои чувства. Я не позволю убить во мне то, что сберегла с той поры, когда мы узнали друг друга. Я не такая, как другие. Я ждала, несмотря ни на что...

— И ты думаешь, в другом месте будет иначе?

— Этого я не знаю, откуда мне знать. Но это уже будет зависеть от нас. Здесь же это зависит от других. Там мы по крайней мере будем одни и сможем позаботиться о том, чтобы это не проходило. Я не хочу стать такой, как они. Я не хочу довольствоваться малым и радоваться той капле счастья, которую они, пожалуй, разрешат нам в наших четырех стенах, если мы будем паиньками. Мне нужно все — или ничего! Вся живая жизнь — или ничего! И я не хочу дожидаться, пока они сделают из тебя то, что хотят сделать: маленького, послушного асессора, который раболепно поддакивает всем и вся и не протестует, потому что это утомительно и бесполезно. Тогда я уже не смогу любить тебя, Эн-

гельберт, клянусь тебе. Тогда я не захочу больше смотреть на тебя. Я хочу уехать отсюда, уехать вместе с тобой. Понимаешь теперь почему? Но я уже не знаю, насколько ты...

— Не знаешь?..

— Почему ты не скажешь прямо: да или нет? Неужели ты уже стал таким, как другие? Но это происходит только потому, что у нас за спиной всегда кто-то стоит, мой отец или твоя мать. А теперь у нас за спиной стоит еще Низачток, покойник. Боже мой, Энгельберт, я ведь его очень любила, но он не должен стоять у нас за спиной! Разве мы хоть раз были одни? Уезжай, Энгельберт, прошу тебя, уезжай отсюда и возьми меня с собой. Не оставляй меня одну. Почему ты колеблешься? Почему ты вдруг раздумал уезжать?

— Я колеблюсь? Кто это сказал?

— Да я же вижу по тебе. Лемкёстер сбил тебя с толку. Ты уложил свои вещи? Оба моих чемодана давным-давно упакованы, я ведь все время жду, что ты скажешь: ну, поедем. Ты в самом деле дал Барчу телеграмму? Ты простился с шефом, купил билеты, узнал расписание поездов, просил Барча снять тебе комнату? Энгельберт, почему же ты еще колеблешься?

— Разве я колеблюсь?

— Ты все-таки должен уехать, Энгельберт. До каких пор ты будешь мириться со всем этим — пока тебя не выставят из школы? Пока ты окончательно не рехнешься? Разве ты не видишь, что с тобой творится? Тебе стоит только посмотреть в зеркало, Энгельберт!

— Мириться — с чем?

— Послушай, ты что, прикидываешься дурачком? А история с библиотекой? Разве они в конце концов не уговорили тебя на прошлой неделе, после того как ты?..

Это была правда. В самом начале, когда я только приступил к работе в школе, я выразил желание взять на себя школьную библиотеку. Однако педагогический совет не удовлетворил моей просьбы. Дело в том, что в библиотеке хозяйничал коллега Штельтенкамп, никто ведь не мог доказать, что он совершил убийство, да и обвинителя у него не было,— и он отнюдь не выражал желания пустить меня на свое место, в это узкое, вытянутое помещение, в сумрак корабельной каюты. Когда кто-нибудь подходил к резным деревянным полкам, они слегка шатались и скрипели. Они были словно заколдованные. Они и понятия не имели о происшедшей катастрофе. Невредимые — как и само школьное здание — стояли они в темноте и по-прежнему несли на себе «Наши битвы во Франции», и «Провидец Третьей империи», и «Завещание Чемберлена немецкому народу», и «Народ без пространства», и «Вера в Германию», и в довершение всего еще «Песни крови».

Дерево все терпит. А мы, учителя, взрослые, видели, слышали и молчали. Я в том числе. Я молчал, возмущался, но все же молчал, чтобы не думать о Низачтоке: я искал забвения.

Позднее, хотя я не возобновлял своей просьбы, педагогический совет решил вверить библиотеку мне, сыну доктора Рейнеке.

Спасибо, спасибо, но как же я теперь справлюсь со всем: школьный туризм, дежурство на переменах, оборудование лаборатории, замещение директора, подготовка к юбилейным торжествам, дополнительные уроки, киносеансы, кружок любителей радио, школьная статистика, опрос учеников и родителей... сплошные общественные обязанности, и все между делом, на досуге... как же я справлюсь со всем — а теперь еще и библиотека?

Коллега Кипп: Вы же человек молодой и полный сил, господин Рейнеке, и вы не женаты.

Я был молод, полон сил, не женат, о да, и я взял на себя библио-

теку, я был идиотом. Об условиях я узнал только в тот день, когда собрался очистить полки: библиотекарю запрещалось вычеркивать из списка книг хотя бы одно название, а также прикупать хотя бы одну книгу, не получив на то согласия большинства педагогического совета.

В конце концов мы живем в демократическом государстве, парировал мое возмущение коллега Штельтенкамп, который ни разу за все мое пребывание в школе не поднимал вопроса о том, чтобы очистить полки от хлама или оснастить их новой литературой. Всегда нашлась бы причина для того, чтобы на самый «демократический» лад провалить мои предложения: куда девать старые книги, ведь это документы, ученики должны изучать прошлое по достоверным свидетельствам; если уж мы не можем позволить себе быть терпимыми... Или: экономия, недостаток места, все эти новые книжонки — нигилистическая ересь, яд для невинных душ, к тому же их не сравнишь ни с одним из наших классиков.

Примерно такими доводами меня убеждали на прошлой неделе, когда я хотел взять в школьную библиотеку для старших классов «Манифест Коммунистической партии».

— А что происходит с учениками? — спросила Хильдегард, сидя рядом со мной на скамейке.— Ты ворчишь, отец ворчит, все жалуются. Но кому? Вы бессильны.

Она была права. Стою я у доски и пишу: a^2, помноженное на $в^2$, в чисто выбеленной классной комнате тишина, полная тишина, а у меня рука опускается, я перестаю писать, но не оборачиваюсь, я только стою и слышу, что позади меня кто-то храпит, два-три раза всхрапывает, словно скрипя ступеньками деревянной лестницы, потом захлебывается.

Тогда я поворачиваюсь и начинаю искать спящего, и мой взгляд перескакивает с парты на парту, ищет и находит среди тридцати воспитанников десять или пятнадцать вялых детских лиц, синевато-бледных, с хмурыми лбами.

Вот один зевает, не прячась за спину впереди сидящего; другой трет лицо, десять-пятнадцать мальчишек даже не пытаются выпрямиться под моим взглядом и хотя бы изобразить на лицах внимание. Они как пятна плесени в яркой толпе моих ребят. Йозеф Плескер! — вызываю я. Парень устало выползает из-за парты и, едва встав, опирается на нее руками. К доске! Но он не идет. Да я не могу, господин Рейнеке. Почему, Плескер? Ведь это было вам задано. Слишком много задают, господин Рейнеке: латынь и немецкий, потом геология, и французский, и математика— каждый день столько всего, мы не успеваем, у нас слишком много домашних заданий. Но я-то ведь знаю, что Плескер до глубокой ночи простоял за стойкой в заведении своего отца, мыл стаканы, цедил пиво и наливал водку, курил сигареты, чокался и пил; что Мюллер по утрам, с пяти часов, разносит газеты; что Кунстлеве после обеда занимается продажей угля, Весткамп дает уроки, а Шлёпкер репетирует в джазе, Шнейдер тренируется на стадионе, так как собирается стать средним нападающим... И я возвращаюсь к доске, а за моей спиной Йозеф Плескер ворчит: разве он может понять... Ремонт... грузовая машина... налоги... Нанимать кельнера нам пока еще не по карману... И я смиренно втягиваю в себя воздух, чувствую, как он испорчен зевками мальчишек, и печально говорю:

— Откройте окна...

...Открыть окна! — говорил Низачток, и все, кто сидел в первом ряду, мгновенно вскакивали и рвали к себе рамы и высовывались наружу, а мы — остальные — перебегали по партам и плевали вниз через головы тех, кто лежал на подоконниках...

А я, Энгельберт Рейнеке, тихонько повторяю про себя написанные на доске белые буквы — вот уже две недели, как я пичкаю ими ребят, потому что половина класса...

Закрыть окна, говорил Низачток, а Хильдегард все повторяла:

— Ты недоволен, отец недоволен, все жалуются.

— Скажи мне, Хильдегард, неужели твой отец ни разу даже не поговорил с Зигфридом?

— Хватит об этом, Энгельберт. Я больше не могу, ну, пожалуйста. Зачем ты меня мучаешь? Если ты и дальше будешь продолжать в том же духе, я не смогу даже произносить имя Низачтока — и только по твоей вине.

— Я имел в виду...— сказал я,— извини, пожалуйста, я не хотел причинить тебе боль. Ведь он знал, какие отметки у Зигфрида. Неужели он не втолковал ему?..

— О! — она застонала и сдалась.— Нет, отец не стал этого делать,— тихо сказала она, опустив голову, от чего на глаза ее упала светлая копна волос, и принялась теребить рукав своего черного пуловера.— Отец не стал, это сделал дядя Пауль. Дядя Пауль, наверно, битый час ходил с Зигфридом по саду, взад и вперед, от забора к дому и обратно, все время по одной и той же дорожке. А мы — отец, мать и я — по очереди стояли за гардиной и отгоняли девчонок, когда они тоже хотели поглядеть, что делается в саду. Мы следили за ними и молча качали головой. Мы ведь не знали, о чем они там договариваются или что затевают.

Но когда они вернулись с этой прогулки, по лицу Зигфрида видно было, что он чувствует себя уверенней. Он галопом промчался мимо меня, что-то насвистывая, и шлепнул меня сзади — по-братски и с чувством превосходства. А отец спросил дядю Пауля, я еще примерно помню его слова:

Ну как? Ты прописал ему горяченьких за его отметки? — Отец всегда выражался образно.

Само собой, сказал дядя Пауль. Все в порядке, можете не беспокоиться, все будет в порядке, заявил он своим игривым и торжествующим тоном. Он смотрел на нас сияющими глазами. Слова его внушали такое доверие, что я на месте отца больше ничего бы не сказала. Но отец спросил:

Ну что, будет он теперь немножко больше стараться? Боюсь, помочь ему уже ничем нельзя.

Что такое, братец? — И дядя Пауль захохотал, да так оглушительно, что Эльке и Фрауке высунули головы из-за двери. Ничем нельзя помочь? Что это значит? Да ты никак спятил! Стараться? Ради кого? Уж не ради ли этого Низачтока? — Смех его трещал как пулемет. Его-то мы как следует обработаем.

Пауль, послушай...

Только ничего не бойся, братец. Знаю, ты в него втюрился. Он и правда мировой парень.

Что, что ты говоришь? Я бы очень просил тебя... Ты просто смешон...

Не бойся, мы не сразу свернем ему шею, если он только немножко образумится. Мы хотим чуть-чуть припугнуть этого отъявленного штафирку, вот и все, сказал он, потирая руки и заколыхавшись всем своим грузным телом.

— Они попробовали это сделать после пасхи, после раздачи табелей, в пивной Бееленхерма,— сказал я,— и позорно провалились, я знаю. А потирание рук мне, кстати, знакомо: при выступающем вперед двойном подбородке и широкой выпуклой груди рукопашная схватка на уровне живота для телесного самоутверждения. Это мне знакомо. Смотри, Хильдегард.

— Что такое?

— Вон он стоит, в двух местах.

— Кто?

— Пауль Верлен Зондерман. Вон там слева и справа еще раз.

— Энгельберт! Не говори чепухи!

— Протри глаза. Слева — в мундире, рука на перевязи, крест «За военные заслуги». Справа — в серо-голубом штатском костюме. Но оба раза — одна и та же фигура.

— Так ведь это же кусты, Энгельберт, кусты, ты слышишь, всего только кусты, Энгельберт.

— Да я же знаю.

— У тебя жар.— Она взглянула на меня с ужасом и растерянностью, схватила за руку и сжала ее своими тонкими пальцами.

— Слева и справа. И в обоих случаях он потирает руки. И слева, в военном, говорит: уж эта мне Европа, просто-напросто свиной хлев, но мы введем новый порядок, под немецким господством. И теперь, как эхо, отвечает правый Пауль Зондерман — штатский: наше производство игрушек покорит мир. Опираясь на нашу стабильную валюту, мы сможем обосновать западноевропейское сообщество.

— Прошу тебя, Энгельберт, я боюсь. Если ты не перестанешь, я уйду.

— Еще минутку. Тут вновь берет слово военный: я безусловно верю в биологическое превосходство германца. А теперь взгляни-ка еще раз налево, откуда отвечает серо-голубой костюм: победоносная энергия немецкого народа. И опять эсэсовец: наши массовые демонстрации — пропаганда для заграницы, производит грандиозное впечатление. На это фабрикант игрушек: такого экономического чуда не повторить никому. Вчерашние победители стоят сегодня в очереди у нашей кассы. Самое главное во всем этом — потирание рук. А теперь вольно, Пауль Верлен Зондерман, долой со сцены, не то Хильдегард и вправду подумает, что я сумасшедший.

— Ты все же немного не в своем уме,— сказала она.

— Не бойся. Ты поняла? Периферийные мутации — вот в чем дело. Потирание рук и мутации. Только мы с тобой не участвовали в этой игре да еще, пожалуй, Макс Блудау. Мы не изменились. Это хорошо. Очень хорошо. Мы еще об этом совсем не думали. А в этом, ведь, собственно, наша сила. Меня только бесит, что временами я кажусь себе совершенно ничтожным, встречаясь с самоуверенностью твоего дядюшки, который при всех переменах ее не теряет.

— Если бы у тебя было хоть немного, хоть самая малость его самоуверенности, Энгельберт. Тогда дело не дошло бы до того, что нам приходится бежать из Нидерхагена.

— Теперь и ты говоришь «бежать», как Лемкёстер!

— Да. Это бегство, я вынуждена признать. Мы бежим от дяди Пауля, от отца, от девчонок и от коллег. Но мне это безразлично. Лучше бежать, чем погибнуть.

— Я должен дойти до конца, Хильдегард, все пережить еще раз, кое-чего пока недостает. Потом мы примем решение вместе с тобой, да?

— Это будет нелегко.

— Значит, Пауль Верлен Зондерман поддержал Зигфрида с тыла?

— Да,— сказала она тихо, не поднимая глаз. Над нами, в ветвях лип чирикали воробьи. А вокруг нас была такая тишина, как в классе, когда Низачток открыл окно и впустил в комнату воробьиный щебет, пока мы писали или грызли ручки, ломая голову над сочинением.

— Это было незадолго до пасхи,— сказал я Хильдегард.— Хотя отец мне ни разу не проговорился, я знал, что это классное сочинение он подсунул нам только как последний шанс для Зигфрида. Для табеля нам,

по сути дела, больше никакого сочинения не требовалось. Тема была легкая, сейчас я ее не помню; сформулирована она была без всякого подтекста, просто для пересказа некоторых мыслей, которые Низачток изложил нам и обсуждал с нами три-четыре недели назад. Я взглянул на Зигфрида.

— Что? — спросила Хильдегард, не поднимая головы.

— Я сказал: я взглянул на Зигфрида. Он поставил локти на крышку парты, а руками подпирал лицо и собрал кожу в такие складки, что они налезли на глаза и прикрыли их: скучающая, но довольная гримаса. Тогда я вытянул шею, чтобы определить, много ли он успел написать. Его тетрадь лежала нераскрытая между локтями. Неужели он кончил? Этого не могло быть. Так быстро? Тогда это случилось бы в первый раз, что Зигфрид... Но мне нельзя было медлить, я должен был подумать над своим сочинением.

Хильдегард вытерла лицо пестрым носовым платком. Я не знал, слушает ли она меня, в состоянии ли она видеть картины прошлого, готова ли к этому. Я должен был бы ей все объяснить. Но у меня не нашлось времени, я был слишком угнетен, после, после...

— Примерно минут за десять до конца урока Зигфрид вытащил свой портфель, бросил туда авторучку, поднялся, загрохотав партой, зажал портфель под мышкой, взял двумя пальцами тетрадь для сочинений, словно грязную тряпку, и с довольным видом стал размахивать ею. Потом неторопливо двинулся по проходу между партами, к кафедре. А там шлепнул тетрадь прямо на книгу, которую читал Низачток. Низачток, наверно, даже не заметил, что кто-то встал с места.

Он сильно вздрогнул, уставился на Зигфрида, потом на тетрадь и был так неподвижен и бледен, каким я еще никогда его не видел. Зигфрид усмехнулся и хотел было идти.

Минутку, с трудом выдавил из себя Низачток. И те из учеников, кто еще не заметил происшедшего, теперь остановились на полуслове — все смотрели на него.

Готово, сказал Зигфрид.

Низачток протянул руку, словно хотел взять тетрадь, но рука его застыла в воздухе, он задышал ртом, переводя глаза с Зигфрида на тетрадь и опять на Зигфрида,— в безмолвии класса его нерешительность как-то особенно пугала,— пока под взглядом своих учеников не почувствовал себя вынужденным что-то сделать; тогда он вытащил из-под синей тетради свою книгу, отложил ее в сторону, рывком схватил тетрадь, раскрыл ее перед собой, снова посмотрел на Зигфрида и наконец начал листать, медленно, не спеша, потом все быстрей и быстрей, с какой-то гротескной, машинальной безостановочностью, листал и листал, искал сочинение, шанс, последний шанс Зигфрида — и свой собственный тоже.

Ничего? — спросил он голосом, который просвистел у меня в ушах и холодком пробежал по спине.

Ничего, совсем ничего? — Он покачал головой, и, казалось, у него начался приступ озноба, с которым он не мог справиться.

Заглавие и больше ничего! Он не поднимал глаз, бормоча, точно в приступе озноба, это свое «ничего, ничего, больше ничего, больше ничего, совсем ничего!» Выше голову, отец, подними глаза, взгляни на меня, я здесь, отец, я, Энгельберт, я здесь, с тобой, отец, ты не один, взгляни на меня. Но он не взглянул на меня, он больше не смотрел на Зигфрида, больше не видел никого.

Зигфрид, просил он, Зигфрид — на сей раз отечески ласковым, но нетвердым голосом,— Зигфрид; в словах его уже звучало отчаяние: ты слышишь меня, Зигфрид, ты слышишь меня? Я этого не понимаю. Он все

еще не подымал глаз, а ведь я был с ним. Но теперь он пытался взять Зигфрида за руку. Тот вовремя это заметил и отступил, словно боясь оскверняющего прикосновения, обернулся к нам и осклабился.

Я этого не понимаю, Зигфрид. Не могу понять. Неужели вам не ясно!..

Могу я теперь уйти?

Я вас прошу...

Могу я уйти или нет? Я кончил.

Если вы непременно хотите... Я даю вам еще десять минут... десять минут... перемена... мы можем без нее обойтись... Попытайтесь хотя бы...

Очень благодарен, незачем. Нет смысла — мне все равно ничего не приходит в голову.

И Зигфрид медленной, торжествующей поступью направился к двери, усмехаясь и слегка покачивая бедрами. Герберт Ладегаст и в этот раз напрягся, готовый к прыжку, он ждал, вцепившись руками в парту, ждал, ждал, но никто так и не подал ему знака — тогда он ослабил руки и сдался. Он чуть не плакал. А Зигфрид все еще шествовал к двери и, наверно, чувствовал, что Низачток смотрит ему вслед, но не видел того, что видели мы все,— Низачток прижал ко рту стиснутые руки — поза не героическая, но, видимо, выражавшая его последнюю надежду: вдруг мальчик в последнюю минуту все же одумается, остановится, вернется на свое место и поможет ему, Низачтоку, своему учителю, поможет самому себе, использует хотя бы последние десять минут и перемену... Нет, он не одумался, вот он уже у двери. Или все-таки? В дверях он остановился, наслаждаясь жуткой тишиной, вскинул голову, выслушал еще просьбу Низачтока: Зигфрид, подите сюда... взялся за ручку двери, крепко стиснул ее — некоторые привстали с места,— втянул в себя воздух, поднял плечи и замер, не шевелясь, пока наконец не нажал на ручку с такой силой, что она затрещала. Ударом ноги он распахнул дверь, вышел и ногой же захлопнул ее.

У Низачтока опустились руки. Он встал и подошел к раскрытому окну. Я, конечно, не знаю, слышал ли он разноголосое пение птиц.

Это случилось незадолго до пасхи, незадолго до окончательного обсуждения отметок.

— Я знаю,— сказала рядом со мной Хильдегард.— Отец рассказывал мне об этом обсуждении. По-видимому, оно было ужасно; чего стоит один парад гладиаторов в директорском кабинете. Конечно, это был никакой не парад, они прокрадывались туда, как обвиняемые в зал суда. Ни один из господ коллег не желал смотреть на своего ближнего или позволить тому смотреть на себя. Низачток вошел последним. Напряжение немного ослабло, когда начали зачитывать итоговые отметки... Пожалуй, хорошо, Энгельберт, что мы вспоминаем об этом. Ведь господа коллеги все еще на своих местах. Итак: когда Низачток достал свои записки, двое или трое коллег пытались улизнуть, помнится, Кипп и Беттенбюль. Но шеф не разрешил им. Однако, прежде чем Низачток дошел в алфавитном порядке до буквы «З», шеф сделал перерыв.

— А в перерыве... тебе известно, что?..

— Теперь твоя очередь, Энгельберт.

— В перерыве они подходили к нему, один за другим. Подходили к окну, где он курил свою сигару,— строго по одному.

Беттенбюль, например, заверял, что сложившаяся ситуация ему неприятна, что он крайне огорчен и за Низачтока, которого он столь высоко ценит, и за школу в целом: ведь все коллеги, которые не могут выставить Зигфриду отличные отметки,— в опасности: речь идет не об отметках ученика, даже не о переводе в следующий класс директорского сына — тут и он сохранил бы твердость; речь идет о вожаке молодежи.

Зигфрид распустил такой слух: если его не переведут, значит, здесь пахнет заговором, значит, мы имеем дело с учителями, которые стремятся подорвать боевую силу нации. Он, Беттенбюль, настоятельно просит быть сейчас уступчивее, в конце концов это пустяк.

А коллега Кипп сказал, что сложившаяся ситуация ему крайне неприятна; мы живем в опасное время, он не стал бы возводить в принцип такие смехотворные манипуляции; манипуляции? Ну ладно: если Низачток немного повысит отметку по немецкому языку, он согласен подправить отметку по французскому; в настоящее время Зигфрид и те, кто стоит за его спиной, сильнее честности и педагогической ответственности; он не хотел бы теперь оказаться неуступчивым при этой маленькой манипуляции.

Прежде чем к нему приблизился священник Штофферс, Низачток задымил сигарой, окружив себя облаком.

А священник Штофферс принялся уверять его: если рассматривать этот случай в связи с его вероятными последствиями, то можно решительно утверждать, что некоторое повышение отметки по немецкому языку при наличии явной опасности следует считать допустимым грехом, к тому же совершенным по принуждению. Это говорит Низачтоку он, его священник, и он призвал отца подумать о судьбе Эллы Лемкёстер и прежнего директора этой школы.

И тогда важной поступью подошел учитель гимнастики Штельтенкамп и стал поучать своего коллегу относительно содержания и значения подлинной Fairness *, которая в секторе спорта играет центральную роль, он убедительно просит поразмыслить над тем, не имеет ли это понятие такого же значения и в сфере школы; он как коллега дал понять Низачтоку, что Зигфрид безусловно должен быть переведен, дабы он как можно скорее мог встать под знамена и начать свою офицерскую карьеру; лично он, Штельтенкамп, всемерно старается открыть дорогу каждому юноше, и того, кто не желает с этим согласиться, он вынужден рассматривать как человека нелояльного; он советует Низачтоку, которого чрезвычайно высоко ценит, проявить Fairness.

А потом потянулись тростники, колеблемые ветром; они заверяли, что ценят Низачтока и советуют сейчас не упрямиться, а уступить.

Потом снова подошел Беттенбюль: я настоятельно прошу вас, господин коллега; и Кипп: вы ведь меня понимаете, господин коллега; и священник Штофферс: это в худшем случае — допустимый грех, господин доктор; и Штельтенкамп: Fairness, Fairness.

А пока они говорили, Низачток записывал на листке бумаги какие-то цифры и выстраивал их столбиком, складывал, вычитал, делил — он высчитывал, сможет ли Зигфрид перейти, если все они приукрасят ему отметки. Ни единым словом не ответил он досточтимым коллегам; только смотрел на них и мимо них и считал. Закончив подсчеты, он спрятал листок в карман и попросил шефа продолжать обсуждение.

— А что шеф? — спросила Хильдегард; она наклонилась и смотрела на меня снизу вверх.— Что отец? Он тоже подходил к Низачтоку?

— Нет, шеф не подходил. Если не считать нескольких колеблющихся, которые предпочли вообще остаться в стороне, шеф был единственный, кто не подкрался к окну. Теперь ты расскажи, что происходило в учительской. Ты ведь знаешь. Этот штрих не должен быть стерт с портрета моего отца.

Хильдегард выпрямилась и сказала:

— Я знаю, отец рассказал мне. Оказалось, что коллеги действительно повысили Зигфриду отметки. Однако Низачток высказался против

---

* Порядочности *(англ.)*.

такого метода: он готов уступить, если соответственно будут повышены отметки и остальным ученикам, по крайней мере в его классе — может быть, как скидка на трудности военного времени, тревоги, рассеянность или просто в память о солдатах, павших на всех фронтах.

— Таким ходом он зажал шефа в клещи. Твой отец — он ведь вернулся с фронта — ни в коем случае не мог допустить, чтобы мальчикам делали снисхождение, ссылаясь на войну; многие их сверстники уже лежали в грязи окопов. Так ведь?

— Совершенно точно,— ответила Хильдегард.— Отец произнес длинную речь; великое, трудное время и так далее, ты и сам это знаешь, навязанная нам война, поголовное участие, отец подошел вплотную к своим излюбленным понятиям: образец и пример, безупречное поведение и тому подобное. Должно быть, он чувствовал, что благодаря этим звучным словам стал союзником Низачтока. Ведь своим невыполнимым предложением Низачток и хотел добиться того, чтобы шеф показал пример и не прятался за спины коллег. Все его речи оказались бы смехотворной болтовней, если бы он теперь не потребовал от самого себя образцового решения. Он приказал, чтобы каждый огласил первоначальные отметки. Не знаю, что произошло потом, какие рожи скорчили коллеги, о чем они шептались, как по окончании заседания прощались с Низачтоком и прощались ли вообще. Знаю только, что отец пришел домой, надел старые брюки и отправился в сад.

— Мой отец тоже молчал, как ни подъезжали к нему мама и Луиза. Они его ни о чем не спрашивали, но обе умели с помощью всяких мелочей дать ему понять, чего от него ждут. Он попросил только стакан воды и заперся у себя. Само собой, что мы трое подслушивали у двери и ждали. И когда я уже больше не мог этого вынести, я постучал, потом забарабанил в дверь. Отец подошел к двери, повернул ключ, открыл, и мы ринулись в кабинет. Он, видимо, лежал перед тем на кушетке и читал Библию. Пристыженные, мы юркнули обратно в коридор и оставили его одного.

Через несколько дней Низачток должен был раздавать табели с отметками. Казалось, он подготовился, взял себя в руки. На сей раз он не зачитывал отметки по отдельным предметам, как делал в прежние годы. И не давал пояснений или указаний, по какому предмету следует подтянуться тому или другому ученику. Он говорил лишь: переведен, переведен, не переведен, переведен. Дойдя до Зигфрида, он тихо сказал:

Мне очень жаль, Зигфрид, но вы же знаете...

Мы все стояли перед кафедрой. Зигфрид пробрался вперед, взял у него из рук табель и сказал угрожающе-веселым тоном: А вы знаете, что вам придется за это поплатиться.

Будьте же благоразумны, господин Зондерман, сказал Низачток и печально посмотрел на него. Я пытался вам помочь. К сожалению, вы не дали помочь вам. Мне в самом деле жаль. Но я не вижу тут особой катастрофы. Не раз случалось, что человек оставался на второй год, а потом все-таки становился значительной личностью.

И он продолжал раздавать табели.

А Зигфрид на глазах у всех вышел из класса. В дверях — он больше не оборачивался и брел вперед,— в дверях он сказал:

Вы меня еще плохо знаете, но вам придется меня узнать.

С тем он и ушел. Низачток пытался улыбаться. Так начались пасхальные каникулы.

— А теперь мы пойдем домой,— заявила Хильдегард.— Я, во всяком случае. Знаешь, Энгельберт, я захвачу чемоданы. Если ты решил здесь остаться...

— Я иду с тобой.

14

Мы могли бы кратчайшим путем через город добраться от нашей скамейки до дома. Но, взяв Хильдегард под руку, я повел ее кругом по бульвару. Мы шли под аркадами сквозь насыщенный солнцем день, по песчаным коврам, испещренным солнечными бликами и полированным костяком корней, сквозь болотный запах, исходивший из городского рва,— испарения бешеной плодовитости, сквозь аромат цветущих лип и сквозь наше молчание. Об руку со мной — Хильдегард Зондерман.

Нелегко было это постичь. Быстроногая, стройная, не изменившаяся Хильдегард, сестра Зигфрида — рядом со мной. Разве я мог когда-нибудь это забыть, где бы я ни был — у Дитриха Барча или в другой школе? Разве я мог когда-нибудь покончить с этим, если мне даже не удавалось одолеть Низачтока, который был моим отцом, но остался в прошлом, в то время как Хильдегард была частью моего будущего и я только вместе с ней мог решить, уехать мне или остаться? Много лет назад мы были помолвлены, сто лет назад, в прошлом веке. Почему с тех пор, как я вернулся в Нидерхаген, я старался не думать о том, что наконец женюсь на Хильдегард? Неужели и в ней я боялся прошлого — оно не всплывало в мимолетных вечностях любви, но возникло бы снова после свадьбы, в буднях супружества, в долгие часы между ласками.

Пока мы шли об руку, я пытался сформулировать самые простые в мире слова — что я ее люблю, что я... Но это только казалось простым, а на самом деле было трудным. Я ничего не мог придумать. Потом я решил, что заключу Хильдегард в кольцо, сжимая его все теснее и теснее, пока с прицельного расстояния не поражу ее в самое сердце. В сердце? Где находится у такой женщины, как Хильдегард, этот орган, состоящий отнюдь не из плоти и крови, а может быть, из слишком поспешного соединения всего того человеческого в человеке, что один человек надеется обнаружить в другом как свое собственное начало? Потом я подумал, что ее сердце можно опутать нитью таким образом, чтобы в моих намеках она разглядела эту нить и дернула за нее. Но и это не удалось мне. Я не нашел такой нити. Я был отравлен своими раздумьями и соображениями, размышлениями и колебаниями. Она сказала недавно, что я все толкую превратно. Я взглянул на уста моих мыслей — и они умолкли; я взглянул на мускулы моих слов — и они перестали двигаться; я шел рядом с самим собой и наблюдал себя. Любой сварщик на заводах «Кондор» справился бы с этой задачей. Самые простые в мире слова вертелись у меня в голове. Я был беспомощен, скован — это и есть тот самый человек, который нужен Дитриху Барчу на его заводе? Ну да, как бы не так. Давай-ка соберись с духом, попробуй хоть на секунду стать сварщиком!

И тогда я сжал ее руку. Я вовсе не хотел, чтобы она остановилась и посмотрела на меня. Я спросил:

— Скажи-ка, Хильдегард... ведь хорошо было бы?..— Я поцеловал ее.

— Что такое? Я уже знаю, Энгельберт. Какой ты странный. Я собираюсь уехать с тобой, уже уложила чемоданы, а ты никак не можешь решить, стоит ли на мне жениться?

— Нам будет нелегко.

— Тебе — труднее всего. Я дочь Вольфганга Зондермана и сестра Зигфрида — с этим ничего не поделаешь. Боюсь, что этого нам никогда не забыть, где бы мы ни находились. Но вместе с тобой, Энгельберт,— не думаешь ли ты, что вместе мы все преодолеем?

— Даже в том случае, если мы останемся здесь, если я не переведусь?

Она опустила глаза:

— Вот этого я и боялась. Зачем только ты ходил к Лемкёстеру, Энгельберт! Как же ты наладишь отношения в школе?

— Так ведь я не один.

— Ты имеешь в виду Макса Блудау?

— И еще трех-четырех других. Я мог бы показать им диалог при свете настольной лампы.

— Нам будет ужасно трудно, если мы останемся в Нидерхагене. Не знаю, хватит ли у меня сил. Я не хочу стать такой, как другие женщины.

— И не нужно, Хильдегард.

Она шла, тесно прижавшись ко мне, до тех пор, пока мы не увидели перед собой зондермановский дом, а на другой стороне улицы в уже неярком солнечном свете черный автомобиль Пауля Зондермана — чернота его местами отливала серебром, там, где в нее попадали солнечные стрелы.

— Ты не зайдешь к нам? — спросила Хильдегард.

— А надо зайти?

— Не обязательно, если не хочешь. Тогда иди, я приду потом.

— К нам?

— Да, а ты как думал? По-твоему, я могу оставаться у нас дома после того, что пережила с тобой сегодня? Ты еще увидишь, подожди только...

С этими словами она юркнула в палисадник и скрылась за дверью.

Еще минуту я стоял там, стоял неподвижно, только одну минуту, но эта минута была достаточно широка, достаточно глубока, чтобы на дне ее...

После пьянки у Бееленхерма в обоих домах потянулись тихие дни. Отец работал за своим письменным столом, курил сигары или возился в саду. Мама не спрашивала: что было у Бееленхерма? А Луиза находила для себя в кухне всевозможные мелкие и непривычные дела: она ни с того ни с сего приносила нам пить, предлагала фрукты и сигареты. Хоть мы и не уславливались, нам удавалось не разговаривать друг с другом. Мы ждали. Мы не говорили ни о пьянке, ни о Зигфриде; только тихим голосом произносили самое необходимое. Обед готов, сегодня у нас рыба, я иду в сад, сейчас хлынет дождь, я немного покатаюсь на велосипеде, я иду спать, всем спокойной ночи.

Языки у нас словно окостенели, слух был насторожен. Луиза не раз застывала посреди кухни, когда по улице проезжала машина. Мама, казалось, все время прислушивается к звукам на улице.

У Зондерманов тоже царила мертвая тишина, и там тоже ждали, что будет: приведет ли в исполнение Зигфрид свои угрозы; и там кто-нибудь говорил: в это время года могло быть потеплее, обедать будем в час, пойди погуляй с девочками, принеси мне из города капкан для крота, я покатаюсь на велосипеде, детям пора спать.

Эльке и Фрауке, Брунгильда и Эдда, казалось, чувствовали, как дрожит воздух, они меньше шалили, чем обычно, и часто усаживались в кружок где-нибудь в углу сада для тайного совещания. Тщетно пытался дядя Хильдегард поговорить с Зигфридом. Тот был неизменно мрачен и чаще всего сидел, запершись у себя в комнате. Никто не знал, что он там делает.

А однажды, когда я садился на велосипед, чтобы прокатиться за город вместе с Хильдегард, Луиза спросила меня:

Как у вас обстоят дела?

У кого это «у вас»?

У тебя с Хильдегард? Я же видела, как вы сговаривались наверху у окна.

Как могут обстоять дела? Все так же.

Скажи-ка, Энгельберт, ведь Хильда славная девушка, я считаю, что она вполне тебе подходит: она приветлива, умна и к тому же не безобразна. Или же?..

Что ты хочешь этим сказать?

Ты ее любишь?

Уже тогда мне было неприятно, что меня так, в лоб спрашивают о невыразимом и что я должен ответить напрямик.

А что?

Я думаю, что вы, пожалуй, могли бы спасти положение.

Мы? Каким образом? Что мы должны сделать?

Раз ты ее любишь, Энгельберт...

Какое вам до этого дело?

...Я думаю, конечно, если это не гимназический флирт... Правда ведь или все-таки?..

Откуда мне знать?

Тогда вы могли бы обручиться.

Ты сошла с ума, Луиза.

А может быть, и пожениться.

Я вытаращил на нее глаза; но она с обворожительной ласковостью провела рукой по моему застывшему лицу и сказала: почему? Почему бы и нет, скажи мне...

Ну, ты с ума сошла, извини, сказал я, сел на велосипед, оставив ее одну, и поехал по бульвару, по мосту через Ниду и дальше. Еще издали я увидел Хильдегард — пятнышко лазури, втертое в сумрак леса,— она сидела на своем серебристом велосипеде и ждала меня, держась рукой за ствол дерева.

Не такой уж сумасшедшей была Луиза, как я говорил. Ибо у нас с Хильдегард однажды был разговор на эту тему, через день после раздачи табелей — конечно, не столь трезвый, какой могла бы вести Луиза. Но мы решили что-либо предпринять, хотя и ограничивались намеками, которые все же кое-что раскрывали — может быть, больше, чем хотела затронуть Луиза. И я полагал, Хильдегард думала тогда не только о помолвке, а о чем-то большем, не только о свадьбе, а о чем-то еще более значительном, о предвосхищающем события принудительном маневре — о ребенке. Эта мысль заставила меня стать серьезней, она взвалила на меня бремя выдуманных отцовских чувств и незаметно преображала меня.

Хильдегард Зондерман и Энгельберт Рейнеке, дочь директора и сын Низачтока, должны обручиться — жениться,— должны пожениться, чтобы при всех случаях опередить Зигфрида, непременно опередить его, и как можно скорее. И теперь, когда, проехав бок о бок небольшой отрезок пути, мы спрятали наши велосипеды в обычном месте, в кустах, и прокрались в наш сарай, теперь, когда мы лежали на соломе, прильнув друг к другу, ощущая тепло сарая, запах соломы и пыли, когда мы с нею, тело к телу, ринулись в вечный пожар, затерялись в огне и окликали друг друга, а потом, затихнув в жизнерадостном покое, наслаждались, обретя друг друга вновь, и мои руки стали разведчиками ее умиротворенной непостижимости — теперь нам обоим было ясно, что придется платить и что это должно случиться в ближайшие дни.

Мы крепко, очень крепко держались за эту мысль, ибо мы решили теперь помочь Низачтоку и выйти из своего укрытия, во всеуслышание объявить о нашей любви.

Когда я опять очутился дома, я хотел сразу же поговорить с отцом о нашем решении. Я не собирался с ним спорить — он мог бы и не согласиться; я хотел бесцеремонно поставить его перед фактом. Но я не мог этого сделать. Кухня была пуста, в гостиной я никого не нашел, в саду отца тоже не оказалось. Они все сидели у него в кабинете и слушали

Аугуста Лемкёстера. Луиза вышла в переднюю и сообщила, что Аугуст Лемкёстер заклинает Низачтока немедленно перевестись в другую школу или скрыться, если еще не поздно.

Уж мы уговорим отца, сказал я.

Не думаю, возразила Луиза, это такая упрямая башка, я просто не понимаю, на что он еще надеется. Она вернулась в кабинет, а я умылся и тоже пошел туда. Аугуст Лемкёстер встал и обратился ко мне: Кто наблюдает ветер, тому не сеять, а кто смотрит на облака, тому не жать. Как ты не знаешь путей ветра и того, как образуются кости во чреве беременной, так не можешь знать дело Бога, который делает все.

С этими словами он застегнул свое поношенное пальто и простился с нами. Отец попросил всех выйти и заперся у себя в кабинете. Он провел взаперти всю ночь, весь следующий день и следующую ночь без пищи, у него были только сигары да немного воды — и никто из нас не посмел даже постучаться к нему. Луиза написала письмо и подсунула отцу под дверь, потом долго ходила взад и вперед по прихожей, но никакого ответа не последовало, ничего. Она уселась в гостиной, где, перебирая четки, молилась мама, и написала второе письмо, которое тоже сунула отцу под дверь, и опять заходила взад-вперед по прихожей, выжидая и поглядывая на дверную щель всякий раз, когда ее твердые каблуки, стучавшие как маятник, поворачивали обратно, но она ждала напрасно. Она написала еще четыре или пять писем, и мама каждый раз упорно отказывалась подписать хотя бы один из этих листков. Я тоже написал отцу письмо, в котором кратко извещал его, что я и Хильдегард в ближайшие дни намерены обручиться; я не спрашивал его, не просил разрешения — я извещал; но и в ответ на это послание из-под двери не появилось никакой записки — ни одной строчки. Днем и ночью — мы спали так же плохо, как, наверно, и отец за дверью своего кабинета,— я то и дело прислушивался, не свистит ли Хильдегард, подавая условный знак. Она не подавала знака. А в определенные часы, и днем и ночью, я подходил к окну ванной комнаты и выслушивал от Хильдегард сводку новостей; и каждый раз она говорила: ничего нового, ничего не произошло. Можеть быть, у Зигфрида все-таки не хватит храбрости позвонить из собственного дома, думали мы, может быть, он уйдет. А в этом случае — так мы условились — Хильдегард сейчас же даст мне знать, немедленно, в ту же минуту, как только Зигфрид шевельнется. И я стремглав кинусь вниз по лестнице, вскочу на велосипед, который днем и ночью стоял наготове у дверей, и полечу к Герберту Ладегасту — мы посвятили его в тайну,— а потом назад, чтобы перехватить Зигфрида еще на бульваре или же вместе с Гербертом подстеречь его по дороге в Коричневый дом. Но Хильдегард не подавала знака.

Когда отец отпер дверь, мы уже были в постели. Но мы все-таки услыхали, что он открывает, и через секунду стояли возле него в прихожей.

Леопольд, сказала мама. Что случилось?

Ничего, сказал отец, что могло случиться? Извините, пожалуйста, что я причиняю вам неприятности.

Неприятности! — сказала Луиза. Он боится, что причиняет нам неприятности. А больше тебе ничего не приходит в голову? Неприятности!

О, кое-что приходит, отозвался отец.

Мама оставила нас, пошла в церковь и часами молилась. Отец работал в саду, а Луиза пробовала заговорить с ним там. Это ей удалось; однако он умолчал о том, о чем ей больше всего надо было говорить с ним, о нашей помолвке. Только не терять самообладания — вот все, что он ответил осаждавшей его Луизе.

А я тоже ждал, чтобы он высказался. Что он задумал? Или совсем ничего не задумал? Он словно был парализован. Этот его проклятый

идеализм! Ведь его бездействие граничило с самоуничтожением. Я ждал, торчал в гостиной, лежал на кушетке, выходил в сад, ждал, ждал отца и Хильдегард, ждал, что, может быть, придут фрау Зондерман или шеф, ждал, ждал и ждал — вдруг явится Пауль Зондерман, почему бы и нет? А мне не следовало ждать сложа руки. Почему я ничего не предпринял, почему?

Я стоял на бульваре, Хильдегард исчезла.

Краткий путь от ее дома до соседнего казался расстоянием, которое мне в этот день уже не одолеть, не поддающийся учету марш через катакомбы был все еще не окончен; двери, переходы и щели — все призывно открыто; западни, расставленные прошлым, завешенные только истертой картиной, только одним словом, и только одно слово способно было приподнять завесу. Слова налетали на меня и увлекали дальше, в камеры и переходы, которых пытались не видеть мама и Луиза, Вольфганг и Пауль. Только Лемкёстер смотрел на них открытыми глазами, и Хильдегард не защищалась больше от посланий.

Всего несколько шагов отделяют один дом от другого, несколько шагов вдоль зондермановского зеленого забора. Узкие вертикальные планки. Они надежно вели мою руку от ее дома к нашему, но все же не так надежно, чтобы я мог пройти мимо входа в катакомбы. А теперь я и не хотел проходить мимо. Планки забора вызывали в моей памяти живые картины, выманивали из долгого ожидания и направляли... да, так куда же? Куда теперь? Тревожила самая невозможность заглянуть вперед.

Сперва — в квадратные клетки цементных плит, на которых я стоял. Посмотрим, куда это меня приведет. Светло-серые плиты, нагретые солнцем. Множество маленьких квадратных капканов — грубые цементные плиты, разделенные серыми швами — продольными и поперечными,— равные в длину и ширину, точные квадраты. Неподвижность, поддающаяся учету, организованная в систему. По шахматной доске между нашими домами — посмотрим, куда это меня приведет. С одного квадрата на другой, из одной камеры в другую, шаг за шагом продвигаясь сквозь теплый день, неторопливый и нерешительный, полный противоречий; быть может, он ничем не кончится, этот день, заманивший меня в прошлое, я еще не испил его горечи — а теперь, влекущий в, казалось бы, неподвижный перекрест шахматных клеток; у меня под ногами раскрывали они свои бесконечные возможности — нет, не бесконечные, шахматные клетки поддавались учету, чего не скажешь о камерах моего лабиринта, куда мне пришлось бы, а сейчас даже хотелось войти, чтобы попасть наконец домой; только не ступить ногой на один из швов, так и не узнав, какова же моя роль в этой бессмысленной игре — пешка я или конь, слон, ладья или, может быть, король, и правда ли, что Хильдегард — королева. Я должен был вернуться из этого солнечного дня — скачками, как конь, или шагом, как пешка,— в один из дней после пасхи,— ведь я еще не испил их горечи: сегодня, завтра, послезавтра...

Когда начался дождь, отец пришел из сада домой, встретил меня в прихожей и спросил:

Послушай-ка, Энгельберт. Пауза, во время которой было слышно его шумное дыхание. Когда это должно состояться?

Завтра или послезавтра, ответил я, никак не позже, послезавтра может оказаться уже слишком поздно.

Почему слишком поздно? Для чего слишком поздно?

Да господи, отец, скажи мне, в каком мире ты живешь? Неужели ты не знаешь... ты запираешься у себя и возишься в саду... а все мы знаем...

Оставь, Энгельберт. Я вполне трезв. Я так же осведомлен, как вы

все, и я знаю Зигфрида, можешь мне поверить, я его знаю. Итак, послезавтра, согласен.

Лучше всего нам исчезнуть сегодня же ночью, отец, ведь уложиться недолго, что мы там возьмем с собой, я все подготовил, вот здесь у меня записано, что нам нужно, чемоданы...

Нет, сказал отец. Это все фантазии. Разве мы с тобой однажды не говорили о чемоданах?

Да, вот именно — и как раз теперь, теперь дело дошло до этого...

До чего? Что ты имеешь в виду?

Ах, отец!..

Довольно, Энгельберт. Благодарю тебя. Я знаю, почему ты это делаешь. Только надеюсь, ты понимаешь, что берешь на себя. Что касается меня, то я очень люблю Хильдегард. Пустяк! Для тебя, пожалуй, этого было бы недостаточно. Но это твое дело, ты уже совсем взрослый. Я согласен, Энгельберт. Тебе все еще мало? Это уже не такой пустяк. Благодарю тебя, мой мальчик. Должен ли я поговорить с Зондерманом... или вы уже с ним говорили? Впрочем, если ты на этом настаиваешь — не делай такое лицо,— если ты этого хочешь, пожалуйста, а если вы успеете закончить все приготовления — по мне, пусть это будет хоть завтра.

Дело, правда, не терпит, отец.

Хорошо, тогда завтра.

Хильдегард говорила со своим отцом, а заодно и с матерью ночью, когда оба лежали в постели. Вольфганг Зондерман не изменил своего предписанного гигиеной положения — он распластался на жестком, как доска, матраце, совершенно неподвижно и даже не взглянул на дочь, когда она, присев на край кровати, пыталась хитростью выманить у него согласие на нашу помолвку. Она заклинала его подумать о войне и военных потерях, которые надо как можно скорее возместить и восполнить за счет рождаемости, подумать в конце концов и о том, что фюрер неоднократно и настойчиво поддерживал идею раннего брака, ибо он неколебимо верит в то, что юные германские матери вкупе с юными германскими отцами произведут на свет более здоровых детей, возможно даже больше мальчиков, чем девочек, а значит, и больше боеспособных солдат для фронта.

Соответствующую литературу я перекинул Хильдегард из ванной комнаты на древке флага, после того как Луиза подчеркнула красным карандашом те места, которые Хильдегард должна была использовать как доводы в разговоре с отцом или с Зигфридом, если мальчишке удастся вмешаться, несмотря на все предосторожности Хильдегард.

Однако уже после этих первых фраз ей стало противно пользоваться такими средствами. Она поднялась, встала в ногах кровати и заявила: она не понимает, зачем ей надо произносить длинную речь, она просит без дальних слов дать ей согласие на то, чтобы выйти замуж за Энгельберта Рейнеке, чтобы с ним обручиться.

Пожалуйста, сказала она, вы же знаете, как это бывает, вспомните только, ведь вы тоже любили друг друга. Папа, мы решили обручиться.

Никто ей не ответил. У Хильдегард опустились руки. Тогда она подошла к матери, сказала:

Мама, пожалуйста, скажи что-нибудь!

Мать ничего не ответила. Она подошла к отцу и спросила: Папа, разве ты не слышал?

Я слышал, ответил отец, но я не понимаю, почему это должно произойти именно теперь.

Тогда Хильдегард выпрямилась и опять стала в ногах супружеской кровати, а мать начала плакать и не сводила глаз с Хильдегард, пока та тихим, покорным и немного — но не слишком — виноватым голосом

выкладывала заранее заготовленную ложь: кроме того, дело зашло слишком далеко, теперь уже не поправишь, я, по крайней мере, не хотела бы.

Как далеко? — спросил Вольфганг Зондерман.

Я жду ребенка от Энгельберта. Хильдегард не могла разобрать, что вспыхивало в слезах ее матери — буйки еще не вполне преодоленного христианско-бюргерского стыда за проступок ее старшей дочери или радиосигналы, извещающие об удачной атаке; светограмма непостижимой скорби или световые ракеты предвосхищаемой радости оттого, что она станет бабушкой. Она покинула родительскую спальню с чувством неуверенности и два часа ждала, сидя на своей кровати.

Потом к ней постучался отец: он вошел в сильно измятой белой ночной рубашке, доходившей ему до щиколоток, закрыл за собой двери и заговорил:

Хильда, послушай-ка: твоя мать и я — ты должна это понять, нам нужно было время для размышления. В конце концов, Энгельберт Рейнеке — оставь, оставь, я знаю, что их семья в родстве — хотя и дальнем — с семьей фюрера. Но Энгельберт — сын доктора Рейнеке, а ты, наверное, знаешь, какие у меня с ним трудности. И кроме того, ты должна понять, что твоей матери не так уж легко...

Ах, папа...

Дай мне договорить. Ergo: твоя мать и я — мы готовы отбросить всякие сомнения.

И тут Хильдегард бросилась ничком в подушки и зарыдала.

Ибо теперь речь идет о чем-то более серьезном. Сколь бы ни были обоснованы наши личные сомнения — речь теперь идет о ребенке, а значит — о будущем нашего народа. Ergo: мы согласны, твоя мать и я, раз уж дело обстоит именно так.

Хильдегард вскочила и бросилась отцу на шею, а он погладил ее по голове.

А если ты дашь нам еще немного времени, Хильда, мы, возможно, будем гордиться нашей дочерью.

О да, папа, я тоже так думаю, я благодарю вас, папа Но тем не менее, может быть, стоит подождать.

Минутку. Послушай. Мы живем в маленьком городке, где нас знает каждый, и не все еще идет здесь так, как этого хотел бы фюрер; найдется еще немало интриганов, кроме того, тебе известно, какую роль все еще играет в Нидерхагене церковь. А я директор средней школы. Мы полагаем, что хотя бы ваша помолвка должна состояться как можно скорее, а за нею следом, возможно, уже на троицу — так говорит мать — и свадьба. Торопить вас мы не собираемся, этого ты не думай, Хильда. Энгельберт еще учится. Но раз речь идет о ребенке — ведь это все формальности. Во всяком случае, было бы хорошо, если бы мы играли в открытую и перед городом и перед школой.

Не знаю, надо ли так скоро...

Разумеется, матери будет не легко за такое короткое время приготовить все для помолвки. Но она все же не хотела бы, чтобы вы откладывали. Не обязательно закатывать большой пир...

Так скоро мы не предполагали...

Хильда, я думаю, что в этих формальностях ты могла бы пойти нам навстречу, мы-то ведь со своей стороны стараемся тебя понять. Через четыре дня начинаются занятия в школе. До тех пор должна состояться хотя бы помолвка. Ведь семейство Рейнеке уже...

Так оно и было. До начала занятий состоялось торжество помолвки, как любил выражаться Вольфганг Зондерман, а в первый день занятий в наш класс, где больше не было места для Зигфрида Зондермана, вместо Низачтока вошел сам шеф:

Господин штудиенрат доктор Рейнеке продолжительное время не сможет вести ваш класс, сказал он, не имея мужества посмотреть кому-нибудь из нас в глаза; он глядел на свои руки, затем его взгляд, минуя нас, скользнул на потолок, а потом обратно на его нервные руки.

Почему? — спросил Герберт Ладегаст. Что значит «продолжительное время»? Я точно знаю, что доктор Рейнеке здоров, правда ведь, Энгельберт?

Я молчал.

Где находится доктор Рейнеке? — резко спросил Герберт.

Ну, видите ли... Он взял отпуск для путешествия с научной целью. До его возвращения...

Когда он вернется? — спросил Герберт.

Это пока неизвестно. Во всяком случае, до его возвращения я буду вести ваш класс. Я надеюсь, господа, что мы поладим с вами, так же как вы ладили с доктором Рейнеке.

И действительно случилось так, что наша помолвка не стала шумным празднеством: все члены обоих семейств получили через Хильдегард или через меня устное приглашение в зондермановскую гостиную.

Стоя с поднятым бокалом, отец попросил у шефа руки его дочери для своего сына. И шеф в ответ на это дружелюбно чокнулся сначала с Низачтоком, а потом с элегантной снисходительностью подошел к маме. Когда наши матери подняли бокалы и потянулись друг к другу, в глазах их вспыхнули огоньки. Тете Луизе пришлось несколько утомительных часов объяснять моей матери, что ложь, к которой прибегла Хильдегард, была вынужденной ложью и что она имеет право рассчитывать на милосердное снисхождение бога.

Хильдегард и я должны были чокаться со всеми, в том числе и с девочками — с Эльке в зеленом и с Фрауке в голубом, с Брунгильдой в желтом и с Эддой в коричневом. Они очень гордо держались в своих нарядных платьицах и были исполнены несказанного удивления.

С Зигфридом тоже. Но Зигфрид в своей сверкающей форме весь вечер был мрачен, не произносил ни слова и откровенно сверлил меня глазами, словно хотел что-то выпытать. А когда я об руку с Хильдегард подошел к Паулю Верлену Зондерману — после свадьбы мне пришлось бы звать его дядей,— похожий на командира воздушной эскадрильи в штатском, он небрежно поднял свой бокал, и мы звякнули нашими бокалами, он сказал вполголоса:

Чисто сработано, мошенники вы этакие. Ну и продувные же бестии — все втихаря, никому ни слова. Мне это нравится, ей-богу. Здорово вы это обтяпали! Надеюсь, окажется, что игра стоила свеч. Я вам этого желаю — за одно то, что вы так лихо начали, только за это, понятно? И ко всему еще получили свое удовольствие. Ваше здоровье, лисята! С вами полный порядок, определенно.

Он обнял нас обоих сразу, потом повернулся к тете Луизе, которая стояла позади нас, будто телохранитель, и я расслышал, как он так же тихо сказал ей:

И вам тоже, Луизхен,— мои наилучшие пожелания. Вышло очень кстати — не так ли? Тут, конечно, не обошлось без вас, серый кардинал * или что-то в этом роде? Ну, великолепно, первый сорт! Это в моем вкусе. Так что — ваше здоровье!

Да, ваше здоровье, Пауль Верлен Зондерман, приятного аппетита... Ваша машина — на той стороне улицы. Каким образом я вернулся домой из той ночи, когда была помолвка? От ее дома до нашего краткий путь и долгая дорога, одна минута — и цепь часов. Кончился забор из зеле-

---

* Ставшее нарицательным прозвище Франсуа Леклерка дю Трамбле (1577—1638) — правой руки и советника кардинала Ришелье.

ных планок. Моей руке пришлось прыгать по прутьям, железо было ржавое; тихо позвякивая металлом, рука скользнула в живую изгородь, которую я посадил; ограду пора красить, ладно, возможно, в ближайшие дни. Вот я в нашем родовом имении. От деда к отцу, от отца к сыну — а дальше? Хильдегард.

Но по цементным плитам перед нашим домом все еще движутся — ход за ходом, из квадрата в квадрат, с поля на поле, с клетки на клетку — пешки и кони, слоны и пешки, пешки, пешки; хороший заслон из невидимых фигур. Его построил Низачток, и сначала он был несокрушим, недоступен для слонов и коней Пауля Верлена Зондермана. А Низачток играл осмотрительно: он не торопился, не давал сбить себя с толку гостям, которые обступили стол, в то время как обе средние девочки в своих нарядных платьицах играли на ковре в оловянные солдатики Зигфрида.

Однако Пауль Зондерман заворчал: непременно надо всем тут торчать и глазеть?

Вас это раздражает? — спросил Низачток.

Раздражает? Меня? Меня никто не может раздражать, понятно? Вообще никто!

Он осушил свой бокал и протянул невестке, чтобы она его наполнила снова. Но вместо нее подошел Зигфрид и налил в бокал вина; а потом он пододвинул своему дядюшке рюмку коньяку и, как только Пауль Зондерман выпил, сразу же налил ему еще.

Но сильнее, чем фигуры на шахматной доске, приковывали меня к себе ботинки Пауля Зондермана. Они топтались и барабанили, пританцовывали и шаркали, они плавали, раздраженно переступали с каблука на носок и обратно; они радостно шлепали и гладили ковер, гневно бухали и наступали, потом внезапно остановились, упрямые и неподвижные, неся на себе всю тяжесть этого человека и его смертельно серьезной игры; стали давить, уничтожать и вдруг исчезли, ибо Пауль Зондерман вскочил на ноги и принялся швырять шахматные фигуры в лицо Низачтоку.

Обе девочки сразу заревели, хором, и фрау Зондерман увела их в детскую. Мама и тетя Луиза забились куда-то в угол. Только Зигфрид, Хильдегард и я все еще стояли у стола и слушали, как Пауль Зондерман затевает ссору — лицо у него налилось кровью, а на багрово-красном лице сияла улыбка, ухмылка, казалось, он пытается загладить все оскорбительные слова, которые он говорил.

Оставь их, сказала Хильдегард и крепко сжала мне руку выше локтя. Оставь их, дядя Пауль опять разошелся. Может быть, у него пройдет пыл, когда он останется в одиночестве.

Мы вышли из комнаты в сад. На небе стояла луна с ее безмолвием и любопытством, а мы сидели близко друг к другу на скамейке, невыразимо серьезные, и ощущали свою близость. И я слышал дыхание Хильдегард, а временами издалека — приливы и отливы шумной ссоры в гостиной; я слышал тревожное биение пульса на ее шее, биение ее испуганного сердца, но я легко ее успокоил, выразив надежду, что инсценировка Пауля Зондермана — в самом деле только игра; я и себя убаюкивал той же иллюзией. Потом, еще теснее прижавшись друг к другу, мы радовались успеху нашей помолвки, но внезапно отшатнулись и обменялись испуганным взглядом, когда в доме начал кричать Пауль Зондерман. Я ощущал ее прохладную кожу, а луна смотрела на нас. Мы были счастливы хрупким счастьем, оно длилось часы, годы, мы зажали себе уши, чтобы каждый слышал только биение сердца другого, как вдруг кто-то выбежал из дома и бросился на улицу, мы услыхали тяжелые шаги и вскоре поняли, что это Низачток бежит по квадратам цементных плит. И через секунду я был уже у ворот, а Хильдегард — рядом со

мной, и мы увидели, как они схватили его, втолкнули в легковую машину и увезли.

Отец! — закричал я. Отец, отец!

А Хильдегард кричала: Ни за что! Ни за что! Она плакала и беспрестанно твердила: Ни за что. Ни за что.

И я наконец сошел с квадратов, шагнул в наш палисадник, а оттуда — в дом.

15

Ну и прием они мне устроили! Должно быть, они наблюдали за мной, мама и Луиза, и проследили, как я шел к себе от зондерманов-ского дома по квадратным цементным плитам, вдоль одного и другого забора, и шагнул в палисадник. Но они не могли догадаться, откуда я на самом деле явился и что я скорее заслуживал радости, смеха, объятий, по меньшей мере рукопожатия и похлопывания по плечу, чем того оскорбительного молчания, с которым они встретили меня у дверей. Они открыли мне, впустили меня в дом и расступились, чтобы дать мне пройти, захлопнули за мной дверь — обе одновременно, не заперев на ключ, и следом за мной вошли в прихожую, стали плечом к плечу перед дверью моей комнаты, без единого звука, без единого слова, холодные и несхожие, стояли молча и пристально смотрели на меня. И я тоже стоял, нерешительный и сбитый с толку какой-то невероятностью их поведения, стоял перед блестевшей лаком дверью и перед их жесткими лицами, обрамленными белым паспарту, и молча смотрел на эти немые призраки, пока мама не начала:

— Ну, наконец-то, Энгельберт, наконец, наконец!

— Да,— сказал я.

— Ты не в своем уме,— заявила Луиза.

— Возможно,— ответил я.

— Где ты был все это время? — спросила мама.

— Где? Везде,— сказал я.— Я был везде.

— Ты и правда не в своем уме, Энгельберт,— повторила Луиза.

— Мне это безразлично,— ответил я.

И тут мама открыла рот и начала говорить — не знаю, мне или мимо меня; в темпе vivace* замелькали резиновые губы, задергалось бледное лицо; зубы ее сверкнули, погасли, опять блеснули и опять исчезли; губы и зубы, уголки рта, морщины, складки и десны, выпуклые в блеклом свете, неестественно четкие — vivace. А откуда-то снизу глухо доносилась флегматичная поступь литавр, в моей комнате раздавался размеренный шаг Низачтока, вперед, назад, амплитуда его размышлений. А рядом с маминым vivace — Луиза в белом паспарту, недвижная и тоже из какой-то иной, не моей действительности. Я не мог понять, слушает ли она, воспринимает ли то, что говорит мама, или только ждет своей реплики — сама такой же призрак, как и мама. А я, одной ногой еще стоящий в лабиринте, старался понять ее, но улавливал лишь немногое:

Мир в сердце, и секира при корне зла лежит, будь всецело предан богу, ОН внутренний свидетель и мир в сердце, осаждаемом искушениями страстей, ОН надежный защитник, надо хранить в чистоте и совесть, и душевный мир свой, над другими суда не творить, не почитать себя лучше соседа, все заботы предать в ЕГО руки, ЕГО милость и утешение, душевный покой, без малодушия следовать ЕГО заветам и страдать во имя вечной жизни, душевный мир, даруемый ЕГО помощью,

---

* Очень быстро *(итал.)*.

все мы бренны, пока не успокоимся с миром в сердце, с ЕГО миром в сердце.

Мамины губы сомкнулись, как мне показалось, совершенно неожиданно. И тут заговорила Луиза — под непрерывный стук шагов Низачтока: вперед — назад, вперед — назад; vivace резиновых губ, и зубов, и десен, и морщин, и складок, попавшее в поле зрения, освещенное лучом маяка; и опять я старался постичь эти веления, но улавливал из слов Луизы только немногое:

С каплей здравого смысла, это не так уж трудно, переходы, сплошные переходы, в каждом мгновении — отзвук прощанья, всегда поможет искра фантазии, сознание и предсознание, подсознание и сверхсознание, и человек проступает как пятнышко во мгновенье, создавай себя сам, зачем же длить эту муку, постигни смысл мгновения, превращения и переходы, пойми, пойми, не помогут ни небо, ни ад, только здравый смысл и фантазия.

Смотритель маяка стал поворачивать фонарь: а вернее, зубы Луизы погасли, луч света снова скользнул на маму:

В ЕГО руке, с ЕГО помощью вечный мир в ЕГО сердце и вера в ЕГО милосердие, неужели у вас мало доверия к богу и вы не нашли опоры в НЕМ и своем смиренном сердце, ибо нет человека без вины и порока, и все же каждому, в ком живет добрая воля, дано бесконечное счастье созерцания, даровано неизменно пребывать в истинном смирении с миром в сердце.

Слова, слова. Но я все еще не терял надежды понять их, потому что теперь снова заговорила Луиза:

Нет ни вины, ни порока, зачем же неволить, когда перемена так ничтожна, надо открыть глаза, видеть, слышать, и боль ослабеет вдвое. Не с одной точки зрения, а с бесчисленных точек; ищи своевременный переход и понимание, порог, который надо перешагнуть, пути, ведущие на свободу, все отношения дошли до абсурда, постигни мгновенье, ищи фантазию и здравый смысл на земле, на земле.

Непрерывные шаги в моей комнате — вперед — назад, и опять мамино монотонное бормотание:

Вырастить нового человека — такова цель, с верой в небесное утешение побеждать в себе зло и дурные порывы, воздвигать достойное убежище и крепость в сердце своем для НЕГО, и доверие ЕГО поразит удивлением, и ОН возьмет на себя ответственность, с ЕГО миром в сердце.

И опять Луиза:

Новое сознание и в изумлении раскрытые глаза, немного здравого смысла и познание мгновенных перемен.

Я ничего не понял. Мама:

В вышних обитель, глубоко проникнуть в ЕГО сердце, в мир ЕГО сердца.

Луиза:

Пусть все идет своим чередом, не надо усиливать муку бесплодным призывом, все остается только попыткой, не закрывай глаз.

Реплики мамы:

В вышних обитель. Мир в сердце, в глубинах сердца, преображенного в боге.

Я не мог понять даже порядок реплик. Теперь мама и Луиза бормотали в два голоса: duo, vivace мелькающих губ. Я слышал только слова, одни только слова:

Глубины умиротворенного сердца, раскрытые глаза, переходы, ЕГО мир, мгновенье здравого смысла.

Хватит, хватит с меня! Перестаньте! Я не сказал этого, не крикнул, не прорычал. А они все говорили и говорили.

Да хватит же! Я сложил ладони клином и врезался в пространство между мамой и Луизой, заставил их разойтись. А они все говорили — грации, парки. Я взялся за ручку двери, толкнул ее, захлопнул за собой. Хватит!

Шаги Низачтока, его вперед — назад? Это не был мой отец. Это был Макс Блудау, штудиенасессор Макс Блудау. В лабиринте я с ним не встретился. Но едва только я вышел на свет, как сразу услышал его имя.

Почему я не пошел к нему утром или днем?

Коллега Макс Блудау, невысокого роста, с еще густой шевелюрой и полный энергии, которой мне так недоставало.

Мы поздоровались, и он сказал:

— До сих пор я ничего не знал об этой рукописи. Не понимаю, почему вы раньше не показали ее мне. То есть я, конечно, понимаю, только мне кажется...

— Какую рукопись?

— Мне принесла ее ваша тетя. Я хотел сначала попросить у вас разрешения.

— На то, чтобы ее прочесть?

— Такая вещь не должна гнить в ящике.

— Я боялся...

— Так вы позволите? Ваша тетя дала ее мне на тот случай, если бы господин Зондерман привел в исполнение свои угрозы. И кроме того, она ждет, что я уговорю вас оставить работу в школе. Но я не понимаю зачем? Если все дело в вашем отце, который был учителем в здешней школе, то ведь это еще не основание, господин Рейнеке. Пришло наконец время определить позиции как старших, так и младших коллег. Мне уже давно опротивела вся эта возня у нас в школе.

— Да, да,— сказал я и попытался вильнуть в сторону.— Кстати, я хотел в четверг провести контрольную. Или, может быть, вы собираетесь? Будет лучше, если мы договоримся.

— Нет, я не собирался, пожалуйста. А кто это разговаривает в прихожей?

— Две парки.

— Скажите, вы не хотели бы завтра вечером зайти ко мне, в мою берлогу?

— К вам? А по какому поводу? Я еще ни разу у вас не был.

— Вот и пора побывать. Никакого особенного повода. Просто я собирался пригласить нескольких коллег: Меерфельда и Майера, потом Грюнера и, может быть, Конбурского. Я хочу прочитать им вашу рукопись и вместе поразмыслить, что тут можно предпринять. И вообще — всем вместе поговорить о школе. А то каждый живет сам по себе. Только старики по всякому поводу начинают шептаться в своем кружке. Не бойтесь, я не собираюсь основывать новый кружок.

— Ну хорошо, если вы считаете...

— Так вы придете? А я предварительно еще раз просмотрю диалог. Может быть, мы найдем в нем основание для того, чтобы поскорее отправить на пенсию Штельтенкампа и еще некоторых. Я подозреваю, что у него на совести есть кое-что.

— Господин Блудау, понимаете, я бы не хотел...

— Знаю, не бойтесь, слежка не в моих правилах. Но, во-первых, этот господин с его деревянной ногой слишком стар для учителя гимнастики; во-вторых, он и теперь ведет себя так же, как тогда. Вот что меня беспокоит.

— Очень возможно.

— Знаете, вам незачем так осторожничать. Я — за откровенный разговор.

— Ну что ж...

— Так до завтрашнего вечера?

— И дамы будут? — спросил я.

— Почему бы нет? Конечно, будут. Вы приведете фрейлейн Зондерман?

— Я был бы не прочь...

— Хорошо, значит, до завтра.

Макс Блудау вышел. Парки все еще стояли в прихожей. Увидев его, они умолкли. Я проводил Макса Блудау до дверей, мимо безмолвных женщин, и поблагодарил его. И тут я увидел, что в палисадник входит Хильдегард, сияющая, в белом платье. Я бросился ей навстречу, взял на руки, понес через прихожую в мою комнату, усадил, и ее руки замкнули нас с нею в нерасторжимое кольцо.

— А чемоданы? — спросил я.

— Их принесут Брунгильда и Эдда.

— А твой отец?

— Сидит у настольной лампы и молчит. Не сказал мне ни слова, руки не протянул.

— Скажи, Хильдегард, господин Блудау...

— Да, чего он хотел от тебя?

— Он пригласил нас завтра вечером к себе, в свою берлогу. У него была Луиза и передала ему «Диалог при свете настольной лампы».

— Энгельберт! — глаза у нее стали огромные, полные печали и неиссякаемого мужества.— Энгельберт, значит, ты не поедешь...

— Но ты можешь остаться у нас, Хильдегард, слышишь, остаться навсегда. Останься сейчас со мной, прошу тебя. Ты не будешь такой, как другие, Хильдегард, это я тебе обещаю. Ты должна мне помочь, пойми!

— Это будет нелегко, Энгельберт.

— Но мы вдвоем...— Теперь уже я замкнул нас с нею в нерасторжимое кольцо, понес ее сначала к кушетке, потом к письменному столу и посадил на спинку кресла. Сам же сел в кресло и начал писать, а она смотрела через мое плечо, прижимаясь щекой к моему лицу.

«Глубокоуважаемый господин директор!

Некоторые обстоятельства помешали мне сегодня выполнить мои педагогические обязанности. Прошу меня извинить. Завтра...»

ЖАН СЕНАК

Утренняя песнь Алжира

■

Перевод с французского
М. ВАКСМАХЕРА

Стихи Жана Сенака, вошедшие в сборник «Утро моего народа», написаны в трагические годы борьбы Алжира за независимость. Это строки мускулистые и шершавые, как ладонь крестьянина и партизана, лаконичные и отрывистые, как боевой приказ, как слово бодрости, кинутое на марше идущему рядом другу, недосказанные и звучащие затаенной болью, как письмо, тайком переданное из тюрьмы товарищем по оружию. Стихи Сенака полны ожиданием света, они — как предвестье зари. Надежда и свет вырастают в этих гражданских и лирических миниатюрах из образов мрака и терпения, горя и боли. Сейчас, когда мечты поэта о новом Алжире становятся явью, диалектика поэтической мысли Жана Сенака обретает особый смысл. Его стихи говорят о непобедимости света и о том, что за свет надо бороться. Напоминая, как нелегко досталось людям утро, они зовут «ковать новое счастье новым оружием». Поэзия Жана Сенака — это поэзия эпохи, поэзия людей, добывающих счастье собственными руками.

■ ■ ■

Когда они говорят о грядущем,
Их мускулы светом зари золотятся,
Гул раннего утра
В их голосе слышен,
Они — горды,
Они — полумесяц,
Пронзающий мертвенный сумрак неона.
Взглядом своим на лохматых тучах
Пишут они суровую фреску.
«Прочти! Расскажи!» — говорят нам они.
И мы по крохам
Им открываем
Простую истину,
Что они — герои.

■ ■ ■

Наша ночь засверкала.
Нет, я не пророк.
И нашу историю я не пишу.
В минуты привала на гладкой странице приклада
Худыми и сильными пальцами
Пишет ее мой народ.

Он винтовку к скале прислонил,
Он расправил под звездами плечи
И, табаком затянувшись, мечтает
О блистательных кавалькадах.
И колышется в памяти мирное море хлебов.
И мне остается расставить
Запятые и точки.
Вот и все.

Держитесь скромнее, поэты!
Если б не брат мой неграмотный, кем бы я был?
Мертвым деревом.
Поэты, изучим в боях
Гордый синтаксис непокорных.
И прилежно запишем
Завтрашний день.

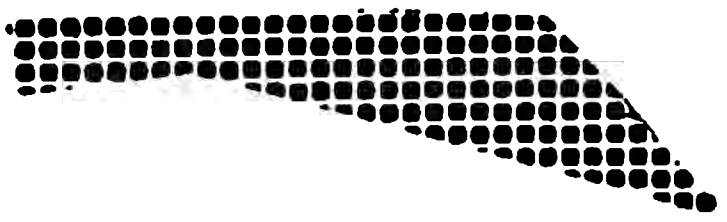
■ ■ ■

Дающий радость
Приходит к людям,
Стучится в двери.

«Я с гор спустился
С горстями хлеба —
С горстями надежды.
В свои берлоги убираются тучи.
На столетьях Магреба — свежие почки.
Величье веков оживает.
Прах наших павших —
Победы вестник.
Мы небывалым богатством богаты,
Как никогда сильны».

Так идут от селенья к селенью,
От города к городу,
Через колючую проволоку,
Через кордоны,
Сквозь черную ярость красных беретов —
К людям идут
Дающие радость.

Тростник, пронзи их прозрачностью ночи!
О чистое счастье моего народа —
Песня!



ЮЛИАН ТУВИМ

Из стихов последних лет

К 10-летию со дня смерти

Есть поэты, преданные природе, как язычники. Они понимают говор птиц, чувствуют сновидения деревьев, ощущают настроение ручья. Но голос общественной жизни не касается нерва их поэзии. Есть другие поэты. Эти живут дыханием своего народа, они будят его, подымают на труд, на борьбу, на подвиг. Но они глухи ко всему, что находится за пределами политических интересов общества. Юлиан Тувим счастливо сочетал в своем творчестве социальный мир с миром природы. Это — мастер эпиграммы и одновременно тончайший пейзажист. Гимн «лучистому дождю и солнечному дыму» пересекается у него реквиемом памяти коммуниста Юрия Борейши. В этом огромном, всеобъемлющем сердце живут оба полюса поэзии. Взгляните, как нежно и любовно изображает он маленькую птичку:

Сел на ветку малый птах,
То прищелкнет, то присвистнет,
Острый клювик в перьях чистит —
Стало весело в кустах.
Щебетнул — и в небо фьют!
Ну, а ветка расхлесталась,
И качалась, и смеялась —
Распотешил баламут!

(Перевод Д. Самойлова)

Сколько поэтов воспевали березу, а он подошел и увидел не просто весеннее деревце, а зеленое облачко, потому что природа жила в нем и он берег ее в себе, как драгоценное сокровище.

Но совсем другие звуки и краски находит Тувим, когда саркастически изображает польских генералов времен пилсудчины:

Тщеславие, помпа, блеск и шик,
Штабы, адъютантов гладкие лица.
Слово процедит — и тут же крик:
«Рады! стараться! ваш! сок! дит! ство!»

(Перевод Д. Самойлова)

Кстати, именно в эти годы я и познакомился с Юлианом Тувимом. В Германии уже дорвался до власти оголтелый нацизм, поляки чувствовали себя очень неуютно, живя бок о бок с таким соседом, и Юлиан, который ясно представлял себе неизбежность нападения гитлеровской империи на его родину, очень страдал, так как тяжело разочаровался в Пилсудском. Конечно, он не говорил мне этого прямо (в те годы было небезопасно в белой Варшаве откровенничать с советским человеком), но я чувствовал его душевное состояние по мелким репликам. Однажды, бродя с Тувимом по городу, я увидел офицера с соколиным пером на шляпе. Офицер пронзительно смотрел в глаза Тувима, как бы ожидая поклона. Но Тувим отвернулся.

— Кто это?

— Офицер горностелковой части.

— Вы знакомы?

— Да.

— Отчего же вы не раскланиваетесь друг с другом?

— Да как вам сказать... Он не хотел поклониться первым, потому что считал свое соколиное перо выше моего стального, а я потому, что это его соколиное на самом деле — петушье.

В другой раз я спросил его:

— Где же ваши хваленые польские красавицы?

— Вас они интересуют?

— Еще бы! Не напрасно же Гейне назвал ангелов «польками неба»!

— Польских красавиц в Польше не ищут,— уныло ответил Тувим.— Все они в Париже. Это наш единственный экспорт.

Но в глухое время пилсудчины даже страх перед грядущим был для него, как ни странно, спасительным чувством. Об этом говорят его удивительные «Стихи с глухим концом»:

Не грех — но как все это пусто:
Благополучие и слава,
Блеск рифм, изведанные чувства,
И словоблудье, и Варшава.
Не грех -- но скука и истома:
Бесстыдство счастья год от года,
Послеобеденная дрема,
Моя постылая свобода.
Спасает только страх щемящий...

(Перевод Д. Самойлова)

Только великий поэт мог с такой предельной откровенностью сказать о себе столь обидную правду.

Вскоре события пошли для Тувима кресчендо. Разгром Польши гитлеровской военщиной. Эмиграция в Бразилию, затем в Нью-Йорк. Нестерпимая тоска по родине и поэзии. Окончательно сбросив с себя остатки веры в людей с петушьими перьями на шляпах, поэт на далекой заокеанской чужбине понял, откуда родине ждать спасения.

...дружнее, по-соседски —
Дай жить с народом ста народов! —

(Перевод Н. Чуковского)

восклицает он, имея в виду Советский Союз. С этим сознанием создал он свою лебединую песнь — поэму «Цветы Польши». Здесь — все, что поэт любил и ненавидел. Здесь всплывает в своих очертаниях дорогая сердцу родина со всей ее пронзительной нищетой, которую не прикрыть мишурой рыцарских мечтаний псевдопатриотических пройдох. Юлиан Тувим прямо и откровенно противопоставил этим подонкам великую идею народовластия.

Одна из самых трогательных страниц поэмы — описание запахов простых цветов Польши: резеды и сирени. Они благоухают, несмотря на орхидеи, маракуи, фламбояны и прочие одуряющие цветы Рио-де-Жанейро. Поэт вдыхал аромат своей родины через весь океан и вернул ей дыхание ее цветов в образе своей прекрасной поэмы.

Возвращение Юлиана Тувима на родину было триумфальным. Тувим тосковал о Польше, но и Польша тосковала о Тувиме. Однако Юлиан хорошо помнил, кому обязана Польша своим освобождением от германских орд. По его словам, он «рвался в Москву, как правоверный в Мекку». И ои осуществил свою мечту.

Умер Тувим на родине в 1953 году.

Юлиан Тувим — национальный польский поэт. Воспитанная на польских поэтах от Мицкевича до Стаффа, поэзия Юлиана впитала в себя также культуру французской, немецкой и английской поэзии. Но с особенной нежностью относился Юлиан к русской литературе. «Когда я слышу: «Пушкин»,— мне хочется встать!» Он великолепно перевел «Евгения Онегина» и стихи других классиков России. Очень был привязан к русским своим современникам. Много и отлично переводил Маяковского. Что касается перевода моей стихотворной новеллы «Охота на тигра», то я считаю его образцовым. Но дело не только в переводах — гораздо важнее то, что влияние русской поэзии сказалось и на собственном творчестве Юлиана.

Народ Польши никогда не забудет своего любимого поэта. Не забудем его и мы.

Илья Сельвинский

Апрельская березка

Нет, не листики, не листочки —
Это деревцо-невидимка,
Это облачко, это только
Золотисто-зеленая дымка.

Если есть лесное небо,
Эта тучка спустилась оттуда,
Среди сада, недвижимо и немо,
Над землей возникла, как чудо.

Неужели ей зеленеть
И сравниться с березой по цвету,
И густеть, и отбрасывать тень?
Не могу я поверить в это!

Перевод с польского И. СЕЛЬВИНСКОГО

Стану кустом пламенеющих роз

Стану кустом пламенеющих роз. Как неистов их цвет!
Только глаза (как умеешь) зажмурь ты, и сразу
Алыми розами заполыхаю в ответ
По твоему я приказу.

Если рассыплюсь я мертвою серой золой,
Горстью земли безнадежной в кладбищенской яме,
Снова зажмурься — глаза, как бывало, закрой —
Розы из пепла заблещут огнями.

Товарищи по судьбе

Связаны одной судьбою,
Мы работаем запоем:
Будем строить общий дом —
Май сдружил меня с тобою.

Крепость мы возводим ввысь,
Сотни рук — одна работа,
В сердце родины слились
Все сердца — и нет им счета.

Улицы Варшавы — в щебне,
Город выстроим волшебный!
Гром в листве — веселый май
Прогремит на целый край.

Наша польская весна
Новой ждет себе усадьбы.
Кирпичи быстрее класть бы —
Смотришь — выросла стена.

Перевод с польского ВЯЧ. ИВАНОВА

Литературное наследие

В декабре этого года исполняется 25 лет со дня смерти замечательного чешского писателя Карела Чапека. Его творчество давно завоевало любовь советского читателя. Мы печатаем в этом номере статьи Чапека, в которых со свойственным ему остроумием он размышляет о серьезных вопросах литературы и жизни.

Статьи публикуются на русском языке впервые.

КАРЕЛ ЧАПЕК

—

ЗАНИМАТЕЛЬНОСТЬ, НАРОДНОСТЬ И МОРАЛИЗМ

Сегодняшний день малоблагоприятен для появления критической статьи. Сочельник — это не судный день. Но даже если в виде исключения действительно наступит мир «для всех людей доброй воли», то все же добрая воля еще не означает добрую литературу. В течение целого года я читал книжки и писал о них, тем не менее мне не удалось высказать всего, что лежит у меня на сердце. И вот теперь я признаюсь, что часто молчал как раз о том, что казалось мне самым важным; я не всегда прямо говорил, что мне действительно нравилось и что казалось чуждым, чего бы я хотел от литературы и что вызывает мое решительное неудовольствие. И теперь вместо того, чтобы критиковать других, я признаюсь вам в своих собственных прегрешениях — я судил других, судите теперь меня. Я ничего не предписываю, не предрекаю даже, какой будет «литература завтрашнего дня»,— литературу завтрашнего дня создадут люди завтрашнего дня, и нечего нам придумывать за них, что они должны делать.

Прежде всего я признаюсь с подобающим случаю смирением в очень низменном желании: я хотел бы, чтобы литература была более занимательной, ну, просто чтобы она была действительно занимательной. Мы все в большей или меньшей степени грешим против этой заповеди. Мы сочиняем программы «коллективной литературы», говорим о демократизации литературы, о необходимости книг для народа. Но задумайтесь над тем, как обстоит дело с народом в действительности. Народ сидит в кино, потому что на экране что-то происходит, и происходит нечто увлекательное. Очень легко негодовать по поводу упадка вкуса. Но не кажется ли вам, что публика, сидящая в кино, близка той публике, которая двадцать пять столетий тому назад окружала возле костра гомеровского Аида? Они слушали тогда песни о том, как бились ахейцы с троянцами, как Ахилл трижды протащил труп Патрокла вокруг крепостной стены или как Одиссей выколол глаз Полифему. И фильм при всех своих недостатках имеет одно простое преимущество: он эпичен, в нем не прекращается действие; жизнь проявляется тут в своей самой полнокровной, в самой ясной форме — в действии. Народная литература всегда будет эпической (речь идет, конечно, только о прозе). Я хотел бы поговорить о вечной молодости народа; народ остается юно-

шей, которого очаровывает героизм, величье и несгибаемость характеров, простота чувств, напряженный, пусть фантастический сюжет. Его реакция на литературу — живое сопереживание, соучастие в том, что происходит; он хочет не наблюдать, а участвовать, пережить нечто необычное. Это не романтизм — такое стремление к сильному переживанию гораздо старше, чем любое разделение литературы на направления. И действительно, если литература не станет снова эпичной, она будет чем дальше, тем менее народной.

Нет, нет, отсюда вовсе не вытекает требование к писателям, чтобы они во имя демократии начали сочинять увлекательную приключенческую фабулу для своих будущих романов. Не надо «опускаться до народа» и вырабатывать специально для него изделия погрубее. Если мы говорим о народной литературе, то это вовсе не значит, что будет «народная» литература и «высокая» литература; мы хотели бы, напротив, чтобы высокая литература была народной, чтобы искусство, и только подлинное искусство, доставляло радость и развлечение всем слоям и классам (да, да, сегодня самое главное — классы), так же как когда-то античная поэзия. Ничто не доказывает так ясно упадок европейской культуры, как «народные» книги, «народный» театр и т. д. Они все основаны на мысли о том, что народу нужно нечто похуже, нечто более низкое, чем элите; стоило бы как-нибудь практически исследовать другое предположение: народу нужно более здоровое и более масштабное искусство, для того чтобы захватить народного читателя, нужны великие добродетели и потрясающие происшествия, цельные люди, героические деяния и чудесная фантазия, словом, все чары поэзии, которые помогут высечь из жизни ослепительную искру необычного.

А теперь я признаюсь в еще более позорном грехопадении: часто, прочитав книгу, я думаю о том, что ее задача не только создавать образы героев — книги должны создавать и читателя. Тем самым я не без опаски вступаю на почву тенденциозности, которая, как говорят, «преодолена», и беру на себя риск, связанный с этим непопулярным понятием. Да, литература должна создавать людей, должна стремиться влиять на самое действительность; я верю не столько в постепенное воспитательное влияние, сколько в чудодейственное творческое воздействие, которое непосредственно порождает новую действительность. Я верю, что в тот самый момент, когда у нас будет создана героическая литература, среди нас появятся живые, настоящие герои. Я верю, что морально здоровая литература сейчас же вызовет к жизни высокоморальные, великодушные поступки. И действительно, Робинзон Крузо не воспитал тысячи робинзонов, а открыл что-то от Робинзона в каждом порядочном мальчишке — каждая литература, каждое великое творчество вызывает в действительности соответствующие события. Я вижу великую моральную ответственность писателей даже не в том, что они могут портить или исправлять людей, но в том, что они порождают людей по образу и подобию того, что ими создано. То, что литература соответствует жизни, это только полуправда; столь же верно и то, что жизнь соответствует литературе и старается приспособиться к ней, пусть в исключительных и единичных случаях. Если бы художники всегда сознавали свою власть над действительностью, они бы, я думаю, не опасались так слова «тенденция» и, благоговейно склоняясь над жизнью, старались бы выловить в ее потоке то, что великодушно, прекрасно и героично. Они взывали бы к самому лучшему, самому ценному и истинному в душах мужчин и женщин, и я верю, что они взывали бы не напрасно. Ибо они творят больше, чем образы,— они создают пример. Может быть, я обманываюсь в своем убеждении, что великая литература может создать великое и в жизни, но до сих пор не было достаточно длительного и широко поставленного опыта, мы недостаточно исследовали

меру волшебной силы поэзии и искусства, чтобы наперед отвергать эти возможности. Мы в наших романах, пожалуй, чересчур увлекаемся описанием разложения, упадка, безысходного трагизма судьбы слабых людей; значит ли это, что в нашей жизни господствуют слабость и упадок; а если это так, достаточно ли мы сделали, чтобы изменить положение? Мне кажется, что заметная слабость романа у нас проистекает также из неясного понимания, чего мы, собственно, хотим от жизни; а это сомнения чисто морального порядка. Поэтому я вдвойне сожалею о том, что наша молодая литература оказалась не способной создать роман, ибо только он в конце концов мог бы стать основой народной литературы.

На этом не ограничиваются мои требования к литературе; но, когда я сейчас вспоминаю то, что прочел за год, эти претензии остаются наиболее серьезными. Занимательность, народность, морализм — это, пожалуй, самые неходкие слова на ярмарке литературных понятий, и все же, думается, они живут, и живут весьма интенсивной жизнью. Они очень примитивны, очень стары и, вероятно, именно поэтому непреходящи.

1920 г.

ПОСЛЕДНИЙ ЭПОС, ИЛИ РОМАН ДЛЯ СЛУЖАНОК

Уже два часа ночи, а до конца книги осталось еще сто пятьдесят страниц. И Фанни или Мария, лежа под полосатым одеялом, читает:

«Никогда,— вскричала Берта страшным голосом и рухнула в обмороке на пол». Или: «Тут негодяй захохотал и пронзил Анделу дьявольским взглядом.— Теперь уж тебе не уйти от меня,— зарычал он и бросился на бедную сироту».

«Клянусь вам, граф де Бельваль,— промолвила Цецилия торжественно,— что эту тайну я унесу с собой в могилу». «Их губы встретились в первом чистом поцелуе.— Ах, не сон ли это? — вздохнула Анжелика, и ноги ее подкосились. Тут дверь отворилась, и в комнату вошел...»

«Этот благородный человек,— сказал добрый нотариус, низко поклонившись,— ваш родной отец, мадемуазель де Клеманс. Да будет вам известно, что двадцать лет тому назад, незадолго до вашего рождения...»

Уже три часа ночи, а керосиновая лампа еще не погашена. Марии или Фанни нужно вставать в шесть часов утра. Она будет стирать, хозяйка будет целый день ворчать, но неужели вы не понимаете, что Мария или Фанни *должна* проводить мадемуазель де Клеманс к алтарю. «А когда через год граф де Бельваль вернулся из кругосветного путешествия, он прибыл как раз вовремя, чтобы стать крестным отцом очаровательного ребенка...»

Слава богу, все обошлось хорошо; Мария или Фанни может теперь спокойно уснуть, да и я могу уснуть спокойно. Иногда я хандрю и грущу, не верю ни в себя, ни в мир, размазываю свое неудовольствие и тку в своем мозгу такую серую паутину, что и вам стало бы грустно, если бы вы ее увидели. И когда старая служанка застает меня в таком состоянии, она добывает для меня какую-нибудь толстую книгу без переплета — уж и не знаю, у кого из соседей она ее одалживает — и сообщает, что это очень хорошая книжка и пану доктору надо ее прочесть. Я говорю об этом для того, чтобы объяснить, почему мои познания в такого

Статья печатается с сокращениями

рода литературе не совсем систематичны. Обычно отсутствует титульный лист, поэтому я не знаю ни одного названия таких книг или фамилий их авторов. А, впрочем, название тут так же не важно, как название песни, которую играет во дворе шарманщик. Прелесть этой музыки — как и прелесть такого романа — в их безличности; они безымянны и имеют общечеловеческий смысл.

Если вы разочаруетесь во всем или будете больны и несчастны, возьмите роман Марии или Фанни и читайте, читайте до двух часов ночи.

Прежде всего надо различать роман для служанок и литературный раздел календарей. Календарная литература происходит по женской линии (так как она преимущественно плод труда женщин) от реализма. Роман для служанок — прямой потомок романтики. Фаннин или Мариин роман восходит в конце концов к рыцарской эпике и может похвастаться более старой традицией, чем даже христианство. Его корни уходят в мифические времена, вы найдете их в сказках (...)

Видимо, герцоги и графы Фаннииного или Марииного романа это вариация на эпическую тему рыцарей, принцев и королей, и Фанни с Марией, лежа под своим полосатым одеялом, приобщаются к тысячелетней традиции Великого Героического Эпоса. Хотя Фанни любит слесаря, а Мария выйдет замуж за портного, в глубине души той и другой живет эпическое мироощущение вековой давности — культ героя, стремление восхищаться, преклонение перед силой и великолепием. В этом эпическом мире богатство и знатность связаны не с социальным неравенством, а с наивной идеализацией и восславлением человека. Мария прекрасно знает, что ее портной не может совершать на каждом шагу благородные и героические деяния — у него просто нет времени для этого, и никто из ее знакомых не может стать дьявольским злодеем — ему тоже просто некогда. Нужно быть графом или герцогом, чтобы беспрепятственно предаваться страстям, героическим деяниям, любви или дьявольским козням. Знатность и богатство являются как бы средством передвижения, доставляющим в область романтических происшествий и увлекательных событий. От барона вниз по социальной лестнице начинается область реализма, психологии и порой социальных проблем. Область эпики расположена кверху от барона, банкира или известного грабителя — конечно, если речь не идет о далеких странах (...)

Замечу мимоходом, что этот романический объект (мужской или женский), как правило, совершенен в том смысле, в каком, например, совершенна гипсовая модель идеального носа или универсальный манекен у портних. У него не только не может быть слишком большого носа или выпирающей лопатки, но он в духовном отношении свободен от каких-либо особенностей, чисто индивидуальных черт. Если бы у него был огромный нос, он стал бы персонажем Ростана и принадлежал бы высшей поэтической сфере. Если бы он увлекался рыбной ловлей, заикался или изучал инфузории, если бы он имел пристрастие к фуксиям или к различного рода слабительным, он тут же перешел бы в совершенно иную область литературы, куда мы не могли бы за ним следовать. Нет, если ему позволено какое-либо пристрастие, то только к охоте и верховой езде — к этим старым рыцарским забавам; его лицо должно быть или бледным, или смуглым; у него не бывает ни лысины, ни двойного подбородка, ни бородавок, ни волосатости, ни прыщей, ни складок на коже, в крайнем случае его лицо «испещрено глубокими морщинами, свидетельствующими о перенесенных страданиях». Он совершенно безупречен, и его характер дистиллирован: он не слишком буйный и не слишком унылый, не паникер и не флегматик, не рассеянный и не любопытный (...)

Человек, который обладает индивидуальными качествами, является прежде всего носителем своих качеств и не может поэтому стать чистым

олицетворением действия. Например, Цецилия должна быть проткнута кинжалом изверга, связана и заперта им в горящем павильоне; в такой ситуации совершенно не имеет значения то, что Цецилия, скажем, страдает малокровием, что она рассеянна и во многих отношениях непрактична,— ее и без того отчаянное положение страшно осложнили бы подобные качества. Ведь не забудьте, что в следующей главе распахнутся двери и Цецилия войдет в ту самую комнату, где совещаются ее убийцы. Чтобы человек был на это способен, у него должна быть лошадиная натура или вовсе никакой; это необходимо в интересах действия. Чем сложнее действие, тем проще персонажи. Для того чтобы ситуация была увлекательной, не должна быть увлекательной сама Цецилия. Если бы соединилось и то и другое, мы имели бы дело с чем-то потрясающим, с чем-то вроде Достоевского или Стендаля.

Иначе дело обстоит со злодеями. Само чело злодея отмечено печатью злодейства; он худ, у него пергаментная кожа, ледяной и пронизывающий взгляд, ястребиный нос; часто он имеет какой-нибудь физический недостаток, голос у него отталкивающий. Злодей женского рода чаще всего брюнетка ослепительной красоты со жгучим взглядом. Злые люди просто-напросто злы. Развращенность, жадность, лживость и жестокость соединяются в одном лице, чтобы получился настоящий дьявол во образе человеческом. У злодея нет никаких пристрастий, кроме злодейства. Он не занимается ничем, кроме злодеяний. Его возможности безграничны и прямо-таки сверхъестественны; к его услугам потайные двери, подземные ходы, яды, подложные письма, союзники в полиции и профессиональные убийцы. Он может вас умертвить даже отравленной шпилькой. Кроме того, он способен превратиться в кого угодно и во что угодно. Вы никогда не можете быть уверены, с кем, собственно, вы имеете дело; такой изверг может превратиться даже в вашу собственную жену, а вы ничего и не заметите. Точно так же злой волшебник может превратиться в дикую свинью или в черного пса. Я думаю, что эти превращения связаны с язычеством, с магией и с шаманством (...)

И все же было бы неверно полагать, что роман Марии или Фанни — морализирующее или мифологическое сочинение. Это эпос. Его главная тема — борьба. Борьба не на жизнь, а на смерть, кровь, страшные козни, слежка, преследование, поражения и победы (...)

Что мне воспеть прежде? Честную и не поддающуюся никаким соблазнам невинность, преследуемую, как лань, и беззащитную, как ягненок? Или верную и самоотверженную любовь, любовь вечную, любовь, не знающую страха, огромную любовь, добродетельную и великодушную, одним словом, любовь вообще? Конечно, это великие идеалы; но здесь я хочу воспеть действие, напряженное и сложное, необычное и важное,— действие эпическое, кровавое, удивительное и устрашающее; действие, полное загадок, козней и случайностей, кошмарных ситуаций, внезапных приходов, убийственных ловушек, чудесных поворотов, потерянных писем, потайных дверей, нотариусов, любви, разоблачений, пустынных закоулков, поединков, подкидышей и похищений. А также страшных клятв, семейных тайн, завещаний, тюрем, бегств, зарытых сокровищ, секретных ящиков, фальшивых носов, фальшивых свидетельств и прочих великолепных и волнующих вещей, которые я не могу даже перечислить. Да, а к тому же еще пожаров, тайных браков, бокалов с отравленным (при помощи белого порошка) вином, ночных сражений и подделанных писем. А сколько ударов кинжалом! Сколько отмычек и тайных убежищ! (...)

Мне бы следовало теперь написать труд об Упадке Эпичности или Вымирании Действия. Роман Марии это уж последняя резервация, куда укрывается Действие, изгнанное из литературы, обессиленное ужасными моральными качествами персонажей романов, истощенное прогрес-

сом, уничтожением лесов, демократией, возросшим интересом к эротике, ростом влияния реализма и психологии. Действие, вытравленное из жизни полицией, а из литературы — критикой, древнее, изгнанное из родных мест, как индейцы, оно выброшено из общества, насильно содержится в темноте и невежестве и в то же время лишено веры своих предков. Оно сохранило место — и то тайком — под подушкой Марии и на столике старой девы; оно еще имеет доступ к мальчишкам и к ложу больного, которому рекомендуется легкое чтение; да еще в газетах ему предоставляется самое непочетное место — между сообщениями о несчастных случаях и о банковских растратах. Но я верю все же, что оно не погибнет. Действие подобрали детективные романы. Его берет на вооружение фильм. Возможно, что мы стоим на пороге великого ренессанса эпики. Потому что Действие так же старо и неистребимо, как волшебство, как фантазия и как человечество.

Я мог бы долго рассуждать на тему о том, как влияет упадок эпичности на нашу жизнь. Если что и противостоит в нашей жизни эпичности, то это вовсе не лиризм, а ее механичность. Скажем, в трамвае вы едете совершенно машинально; но если бы вы подумали о возможном сражении между вагонами и о героической выдержке и самоотверженности, которую вы при этом проявите, если бы вы представили себе, что вдруг водитель сойдет с ума и вы после страшной и победоносной борьбы завладеете ручкой управления, если бы вы имели в виду перспективу, что На Мустку на ваш трамвай совершит нападение вооруженная банда в масках и вы обратите ее в бегство с помощью палки и ключа от дома,— вот тогда ваша езда в трамвае была бы столь же эпичной, как путешествие Роланда на своем Боярде. Каждая первая любовь скорее эпична, чем эротична; влюбленный больше думает о похищении, чем о каком-либо ином решении вопроса. Любить кого-нибудь это значит мечтать о том, как вы спасете вышеупомянутую особу из горящего дома; и большей частью дело кончается браком только из-за недостатка подлинного действия. Первичный инстинкт человека — это эпический инстинкт; тяготение к героическому деянию сильнее даже, чем инстинкт самосохранения или размножения. Первые книги, которые мальчишка берет в руки, это книги, повествующие о героических подвигах; и мы часто, тайком, получая хотя и тщательно скрываемое, но глубокое удовольствие, перечитываем приключенческий роман или детектив (...)

О страстное, полное ужаса нетерпение: что будет дальше?! Какая лихорадочная поспешность гонит читателя от страницы к странице навстречу все разрешающему концу! О ночные часы, подгоняемые бегом потрясающих происшествий! Вот сейчас Ангелика брошена в подземную темницу, в то время как Рауля арестовывают за мнимое убийство. Что будет дальше?

Вы можете думать о романах что хотите, но настоящий приключенческий роман не требует изысканного стиля. В нем должны быть короткие абзацы, по которым взгляд скользит так быстро, как будто ты мчишься вниз по лестнице. Некогда плестись по длинным абзацам. Нет времени оценить хорошо составленное предложение или задержать внимание на прекрасном образе. Вперед, скорее вперед! Пусть фразы проваливаются тут же за спиной запыхавшегося читателя! Пусть диалоги и ситуации обрушиваются, как только мы из них выберемся! Неуклюжая фраза! Ты здесь только для того, чтобы мы через тебя перескочили. Беседа влюбленных! Ты так мелка потому, что мы должны галопом перебежать через тебя вброд и мчаться дальше. Было бы ужасно, если бы Тацит был увлекателен, и я бы рехнулся, если бы Ницше писал детективные романы. Скорее, скорее вперед! Нужны большие пространства для разгона читателя, пространства без деталей; страницы и листы для того, чтобы читатель мог через них перескакивать. Я прочитал тысячу

двести восемь страниц за два часа пятьдесят минут. Это мой рекорд скорости. К сожалению, название этой достойной внимания книги было оторвано.

Теперь мне ясно, что я не исчерпал свою тему. Она разбегается перед моими глазами до бесконечности; там она встречается с историческим романом и сливается с детективом. Все неизвестные и неисследованные области страшно обширны. Наука сделала много для изучения клещей или, скажем, состава крови, но не сделала ничего для исследования приключенческого романа. Существует целая литература о социальных проблемах, касающихся прислуги, но никто еще не собрался написать о моральном и общечеловеческом значении романа для служанок. И я скажу наконец то, что надо было, собственно, сказать в самом начале: исследовать эту проблему выше моих сил. Я попытался запустить зонд там и сям. Мне удалось вытащить со дна только зернышки песка, и я попробовал установить, к какой горной породе они принадлежат. Спуститься глубже у меня не хватает сил.

И я далеко не уверен, что пишу о литературной проблеме, принадлежащей прошлому.

1924 г.

О ПЕССИМИЗМЕ

Пессимизм, как и оптимизм, имеет двоякое значение, в зависимости от того, относится ли это понятие к нам самим или к нашему ближнему. Когда я говорю о себе: я оптимист, под этим подразумевается, очевидно, что я полон сил и надежд, что я очень бодр и энергичен,— одним словом, парень что надо. Когда же я называю оптимистом моего ближнего, то тут я имею в виду, что он фантазер, крайне наивен, непрактичен и доверчив до глупости. Одним словом, что он растяпа.

Если я утверждаю, что мой ближний пессимист, то тем самым я высказываю свое убеждение в том, что он размазня, трус, неврастеник и брюзга, что он страдает запором или разлитием желчи и что вообще он преувеличивает и совершенно не прав. Ну, а если я провозглашаю пессимистом себя, то это значит, что я опытней других, что уж мне-то пальца в рот не клади, я на этом собаку съел и вообще я во всем прав; увидите, что моя правда еще подтвердится.

Для человека, который не бахвалится ни тем, ни другим, пессимизм это нечто такое, в чем зарыт дохлый пес.

В качестве примера пессимизма можно было бы привести взгляды Гераклита, Шопенгауэра или Эдуарда фон Гартмана. Но я предпочитаю гораздо более страшный пример, квинтэссенцию мирового пессимизма: я имею в виду грозное и неопровержимое утверждение, что «бутерброд всегда падает на пол той стороной, на которую намазано масло».

Нет на свете оптимиста, который мог бы опровергнуть это мрачное утверждение столь же принципиально высказанным положением о том, что «бутерброд всегда падает на пол той стороной, на которой нет масла», потому что — и в этом трагедия оптимизма — подобный взгляд будет опровергнут, если бутерброд хоть раз упадет на намазанную сторону. В то же время воззрения пессимиста ничуть не будут поколеблены, если бутерброд упадет и на ненамазанную сторону — очевидно, потому, что такой случай, не имеющий тяжелых последствий ни для бутерброда, ни для брюк или ковра, куда весьма охотно падает вышеупомянутый

бутерброд, пройдет незамеченным и не будет иметь такого значения, как обратный казус.

К сожалению, до сих пор не собраны статистические данные о том, падает ли бутерброд чаще на ту сторону, которая намазана маслом, или наоборот. Но если бы и выяснилось, что в восьмидесяти случаях из ста бутерброд падает на пол намазанной маслом стороной, мы могли бы считать причиной этого, скажем, то, что намазанная маслом сторона тяжелее. Подобный взгляд имел бы так же мало общего с пессимизмом, как и мысль Ньютона о том, что тяжелые предметы падают на землю. Разумеется, ничуть не отдает пессимизмом и утверждение, что тот, кто упадет с дерева, скорее всего сломает себе ногу; пессимистична будет уверенность в том, что нельзя лезть на дерево, так как господь бог наказывает за это. Пессимистично убеждение обитателей Меланезии, что каждый, кто упадет с верхушки пальмы, разобьется, потому что когда-то разбился, упав с пальмы, какой-то мифический предок. Из этого вы можете сделать вывод, что пессимизм заключается вовсе не в предвидении дурных результатов, а в признании мрачных роковых причин. Это значит, что истинный пессимизм метафизичен. Если я считаю, что все в мире дурно, потому что люди метафизически и неизменно дурны, то это пессимизм. Гораздо более утешительно и менее пессимистично убеждение в том, что мир дурен, потому что люди тупицы; хотя результат один и тот же, однако причина явно менее трагична.

Иначе говоря, истинный пессимизм заключается вовсе не в убеждении, что все в мире плохо или что все плохо окончится, а в убеждении, что иначе и быть не может. Если случайно что-либо обернется хорошо, то ведь это еще не конец и не хвалите дня до вечера; если же действительно все кончится плохо, то этим только подтвердится извечная закономерность — к мрачному удовлетворению пессимиста. Дурное положение вещей доставляет пессимисту особое пессимистическое удовольствие, прямо-таки наслаждение. Пессимизм в своем роде очень удобен, это верный способ радоваться дурному положению вещей. Каждый несчастный случай, катастрофа, вообще любая чертовщина — нечто вполне уместное в общем бедственном положении света; это только очаровательная деталь и освежающий душу пример универсального непорядка; чем хуже, тем лучше, потому что все плохое служит пессимисту неисчерпаемым источником радости, удовлетворения и развлечения. Пессимизм — это вовсе не уверенность в том, что мир дурен, а уверенность в том, что так оно и должно быть. Пока же ты видишь в ошибке ошибку, в глупости глупость, а в несчастье просто несчастье, ты не пессимист и не можешь быть им. Ты не пессимист, если ты видишь вокруг подлость, жестокость и бессмысленность. Пока твое сердце болит из-за этого, пока ты содрогаешься от сочувствия и возмущения, ты не будешь пессимистом.

А что касается бутерброда, то единственный способ опровергнуть унылое утверждение, что он *всегда* падает на ту сторону, которая намазана маслом, это крепче держать его в руках.

1927 г.

Перевод с чешского И. БЕРНШТЕЙН

Дневники, Воспоминания

ПАБЛО НЕРУДА

Жизнь поэта

Молодой провинциал

В одном журнале (я не хочу вспоминать его название) есть юмористический раздел — «Мой незабываемый персонаж».

Свои воспоминания о далеких днях и годах детства я начну с моего «незабываемого персонажа» — дождя, южного дождя, который, подобно водопаду, берущему начало на южном полюсе, низвергается с небес над мысом Горн и несется до границы. Здесь, в Араукании, я родился, чтобы жить, писать стихи и мокнуть под проливными дождями. Поскольку я много странствовал, мне кажется теперь, что этот дождь потерял свое свойство лить не переставая, которое раньше казалось проявлением какой-то страшной и коварной силы, нависшей над моей родной Арауканией. Дождь лил месяцы... годы. Дождевые струи напоминали длинные стеклянные иглы, которые разбивались о крыши или, соединяясь, как прозрачные волны, омывали окна, и каждый дом напоминал корабль, с трудом пробивающийся к порту по этому зимнему океану.

Холодный дождь Южной Америки — это не то, что порывистые шквалы дождя теплого, который обрушивается на землю, как бич, и быстро проходит, оставляя небо безоблачным. Наоборот, южный дождь терпеливо и непрерывно падает и падает с серого неба.

Улица напротив моего дома напоминает огромное море грязи. Я смотрю в окно и вижу сквозь дождь, как какая-то повозка увязла посреди проезжей дороги. Крестьянин в черном кастильском плаще нахлестывает кнутом быков, выбившихся из сил от непрерывного дождя и грязи.

Но это глубокое уныние окупалось моим цветущим детством, и небо мне казалось голубым, улицы — полными света, холмы мне виделись одетыми хлебами.

Темуко — это город-пионер из тех городов, у которых нет прошлого, но зато есть кузницы. Поскольку индейцы не умеют читать, кузницы выставляют прямо на улицах свои броские эмблемы: огромную ручную пилу, гигантский котел, ковш, подобный созвездию Большой Медведицы. А дальше — сапожные мастерские, эмблема — сапог колоссальных размеров. Около пяти лет назад, для участия в очередной сессии конгресса в Гоянии, я проделал с писателем и сенатором Балтасаром Кастро путешествие, которое мне показалось очень длинным. Привязанные к сиденью, точно узники, мы летели над просторами Бразилии в грузовом самолете, который скрипел и раскачивался под ударами небесного урагана. И когда, вконец разбитые, мы добрались до отеля, я высунулся в окно и увидел город без прошлого, без паутины, в котором все еще только начинало создаваться. Еще один мир кузниц. Я обернулся к Балтасару и сказал ему: «Столько вынести в самолете, исколесить весь мир — и все ради того, чтобы вновь очутиться в Темуко».

Темуко стал аванпостом чилийской жизни на южной окраине Чили после долгих и кровавых лет борьбы.

Теснимые испанскими конкистадорами, арауканцы отступили в эти холодные края после трехсотлетней войны. Чилийцы продолжили так называемое «умиротворение Араукании», иными словами, они вели войну огнем и мечом, чтобы согнать наших беззащитных соотечественников с их земель. Против индейцев были щедро пущены в ход все средства: карабины, поджоги хижин, а позднее, с по-

истине отеческой заботой, стали применяться закон и спирт. Адвокаты также стали специалистами по изгнанию индейцев с их земель, судьи выносили им приговоры, когда они пытались протестовать, служители церкви сулили им вечные муки ада, и, наконец, алкоголь завершил истребление этого гордого народа, чьи героические подвиги, мужество и красоту воспел в строках из железа и яшмы дон Алонсо де Эрсилья в своей поэме «Араукана».

В Темуко мои родители приехали из Парраля, где я родился. Там, в центре Чили, много винограда и много вина. Я не помню своей матери доньи Росы Басоальто, ее образ не сохранился в моей памяти. Родился я 12 июля 1904 года, а месяц спустя, в августе, скончалась моя мать, измученная туберкулезом.

Тяжелой была жизнь мелких землевладельцев в центральных районах страны. У моего деда, дона Хосе Анхеля Рейеса, было мало земли и много детей. Имена моих дядей казались мне именами принцев из далеких королевств. Их звали Амос, Осеас, Хоэль, Абдиас. А у моего отца было обыкновенное имя — Хосе дель Кармен. В ранней молодости он покинул родные места и сначала работал на верфях в порту Талькауано, а затем железнодорожником в Темуко.

Отец мой был кондуктором в поезде, возившем щебень и песок, которые обычно засыпают между шпалами на железнодорожных путях, чтобы пути не размывало во время сильных дождей. Неделями простаивал поезд моего отца в каком-нибудь окруженном сельвой месте, пока его грузили щебнем из каменоломни.

Это был сказочный поезд. Впереди большой старый паровоз, за ним — бесконечные платформы, на которые ковш экскаватора насыпал маленькие горки, вынутые из недр земли, затем платформы с пеонами, в большинстве своем людьми суровыми, привыкшими к трудностям, и, наконец, вагон, где проводили жизнь на колесах мой отец и телеграфист. Хорошо помню этот поезд — фонари из зеленого и красного стекла, сигнальные флажки и брезент на случай дождя, запах масла и ржавого железа и мой отец, маленький суверен с русой бородой и голубыми глазами, который отдавал команду как капитан корабля во время плавания.

Я не раз путешествовал в этом домике на колесах, который останавливался обычно среди весенней девственной сельвы, хранившей для меня самые чудесные сокровища: огромные папоротники, блестящих жуков, необычные яйца диких птиц.

В Темуко отец поселился в 1910 году. В этот памятный год я поступил в лицей — большое нескладное здание с беспорядочно расположенными залами и мрачными подвалами. Весной с крыши лицея можно было увидеть, как катятся волны прекрасной реки Каутин среди берегов, заросших дикими яблонями. Мы сбегали с уроков и шлепали босиком по ее холодной воде, струившейся по белым камням.

Для меня, шестилетнего мальчишки, лицей сулил много неизведанного. Все казалось загадочным. Физическая лаборатория, полная поразительных приборов, реторт и бачков, куда мне не было доступа. Постоянно закрытая библиотека — дети первооткрывателей не обладают благоразумием. И конечно, самым соблазнительным местом был подвал. Там царили полнейшая тишина и такая же темень. При свете свечей мы играли в войну. Победители привязывали пленников к старым опорным столбам. Я, как сейчас, чувствую застоявшийся запах могильной сырости, исходивший из подвала лицея в Темуко.

Я взрослел. Меня начали интересовать книги — сказания о подвигах Буффало Билля и похождения героев Сальгари уносили меня в страну грез. Мое первое, по-юношески чистое увлечение выросло и окрепло в письмах, адресованных Бланке Уилсон. Эта девушка была дочерью кузнеца, и один из моих товарищей, потерявший голову от любви к ней, попросил меня, чтобы я за него писал ей нежные любовные письма. Я не помню содержания этих посланий, но, по-видимому, это были мои первые литературные произведения, поскольку однажды, повстречав меня, Бланка спросила, не я ли автор писем, которые она получала от своего возлюбленного. Я не решился отречься от своих творений и з великом замешательстве ответил «да». Тогда она протянула мне айву, которую я, конечно, не стал есть и спрятал как сокровище. Вытеснив таким образом моего товарища из сердца девушки, я продолжал писать ей бесконечные любовные послания, получая в ответ айву.

В этих воспоминаниях мне трудно определить последовательность во времени. В моей памяти перепутались некоторые факты, имевшие для меня значение, и мне кажется, что этой любовной истории предшествует другая, странным образом смешанная с природой. По-видимому, любовь и природа очень рано стали источником моей поэзии.

Меня часто спрашивали, когда я написал свою первую поэму, когда родилась во мне поэзия.

Попытаюсь вспомнить это. В раннем детстве, когда я едва еще умел писать, я почувствовал однажды сильное волнение и нацарапал несколько слов почти в рифму, необычайных для меня, не похожих на повседневный язык. Я переписал их начисто, захваченный глубоким волнением, каким-то незнакомым доселе чувством, чем-то похожим на томление и на грусть. Это были стихи, посвященные моей матери, то есть той, которую я знал как мать,— мачехе, больше похожей на ангела, чья ласковая тень осеняла все мое детство. Будучи совершенно не в состоя-

нии оценить свое первое произведение, я отнес стихи родителям. Я нашел их в столовой, погруженных в один из тех разговоров вполголоса, которые сильнее, чем река, отделяют мир детей от мира взрослых. Я протянул им бумагу со стихами, еще испытывая трепет от первого визита вдохновения. Отец рассеянно взял их, рассеянно прочитал, рассеянно вернул мне с вопросом:

— Откуда ты списал их?

И продолжал вполголоса обсуждать с матерью свои важные и такие малопонятные дела.

Насколько я помню, именно так родилась моя первая поэма и такой была первая из услышанных мною рассеянно высказанная литературная критика.

Между тем я продвигался в мире познания по беспорядочной реке книг, как одинокий пловец. Дошло до того, что я проглатывал по три книги в день. Моя жадность к чтению не насыщалась ни днем, ни ночью. На берегу, в маленьком Пуэрто Сааведра, ныне разрушенном землетрясением, я нашел муниципальную библиотеку и старого поэта дона Аугусто Винтера, который поражался моей читательской ненасытности. «Вы уже прочитали их?» — спрашивал он, протягивая мне новую книгу Варгаса Вилы, томик Ибсена, новые приключения Рокамболя. Я глотал все что попало, как страус.

В эти годы в Темуко приехала высокая и плохо одетая сеньора — директриса женского лицея. Рассказывают, что, когда местные дамы предложили ей носить шляпку, она ответила улыбаясь:

— Зачем? Это было бы смешно.

Да, это было все равно что надеть шляпу на Анды.

То была Габриэла Мистраль. Я видел, как она проходила по улицам моего городка в туфлях на низком каблуке и в длинном балахоне, и я испытывал страх перед нею.

Но когда, поборов мою нелюдимость, меня повели к ней, я нашел, что она хорошая девушка, у нее было очень смуглое лицо, говорившее о преобладании индейской крови. Открытая и добродушная улыбка: обнажая кипенно-белые зубы, она освещала всю комнату.

Я был слишком молод, чтобы стать ее другом, и чересчур застенчив и замкнут. Я бывал у нее очень редко. Но каждый раз уходил с несколькими подаренными книгами. Это всегда были русские романы, которые она считала самым выдающимся явлением в мировой литературе. Могу сказать, что Габриэла открыла для меня серьезный и страшный мир, показанный русскими писателями, и что Толстой, Достоевский, Чехов стали моим самым большим пристрастием. Я и сейчас не расстаюсь с ними.

Это — не единственное благо, которое я получил от Габриэлы Мистраль. Ее драматическая поэзия и ее озорная девичья улыбка живут и хранятся в моей памяти, как сокровища.

Затерянный в городе

После многих лет, проведенных в лицее, где я всегда спотыкался в декабре на экзамене по математике, я был формально готов к встрече с университетом в Сантьяго-де-Чили. Я говорю — формально, ибо голова моя была забита книгами, грезами и рифмами, которые жужжали у меня в ушах, подобно пчелам. С жестяным баулом, в неизменном черном платье поэта, худущий и тонкий, как лезвие ножа, я вошел в вагон третьего класса поезда, отправлявшегося на Сантьяго. В нем мне предстояло провести бесконечные ночь и день. Этот длинный состав, пересекающий различные пояса и климаты, в котором я столько раз путешествовал, и посейчас хранит для меня какое-то странное очарование. Крестьяне в мокрых пончо с курами в корзинах, молчаливые индейцы мапуче — вся жизнь проходила передо мной в вагоне третьего класса. Многие ехали без билета, под лавками. Когда появлялся контролер, происходила метаморфоза. Одни исчезали, а другие прятались под своими широченными пончо, и тут же двое пассажиров начинали играть на их спинах, как на импровизированном столе, в карты.

А поезд между тем уходил от полей, от дубовых рощ и араукарий, от мокрых деревянных домов, приближаясь к тополям центра Чили, к пыльным строениям из необожженного кирпича. Много раз проделывал я этот путь между столицей и провинцией, но всегда испытывал острую тоску, когда родные сердцу лесные чащи оставались позади. Сломанные дома, старые города казались мне полными паутины и тишины. Я и поныне остаюсь поэтом непогоды, прохладной сельвы, с которой мне пришлось тогда расстаться.

Я вез с собой рекомендательное письмо в пансион на улице Марури, 513. Я никогда не забуду этого номера. Я забываю все даты и даже годы, но номер 513 навсегда врезался в мою память сорок лет назад, когда я затвердил его из боязни не добраться до этого пансиона и потеряться в огромной и незнакомой столице.

Жизнь тех лет в студенческом пансионе была сплошь жизнью впроголодь. Здесь мною было написано гораздо больше, чем до приезда в столицу, но ел я гораздо меньше. Многие из поэтов, с которыми я познакомился в те годы, мои однолетки, жившие в таких же условиях, как я, умерли (уступили, сдались) в результате строжайшей диеты по бедности. Среди них мне припоминается один поэт, мой сверстник, однако гораздо более высокий и нескладный, чем я, тонкая поэзия которого была полна откровений и

заполняла собою все там, где она звучала. Его звали Ромео Мурга.

С этим Ромео Мурга мы ездили в те годы читать наши стихи в город Сан-Бернардо, недалеко от столицы.

До нашего появления на сцене все шло своим чередом, в атмосфере большого праздника: одетая в белое русоволосая королева конкурса со своей свитой, речи именитых граждан городка и относительно стройные мелодии, исполнявшиеся местными любителями; но когда я вышел на сцену и начал читать свои стихи заунывнейшим голосом, все переменилось — публика стала кашлять, отпускать шуточки и очень забавлялась моими меланхолическими стихами. Увидев такую реакцию, я поспешил закончить декламацию и уступил место моему товарищу Ромео Мурга. То, что последовало, было незабываемо. Увидев вышедшего на сцену двухметрового донкихота, одетого в черное поношенное платье, услышав стихи, которые он начал читать еще более жалобным голосом, уже весь зал не смог сдержать возмущения, раздались крики: «Голодные поэты, проваливайте, нечего портить праздник!»

Студенческие поэты вели богемный образ жизни. Я же оставался верен своим провинциальным привычкам, много работал дома, писал несколько стихотворений в день, выпивая бесчисленное количество чашек чая, который сам себе и готовил. Но за пределами моей комнаты и моей улицы шла суматошная жизнь писателей того времени, которая имела свое очарование. Они собирались не в кафе — местом их собраний были пивнушки и таверны. Стихи и разговоры сменяли друг друга до рассвета. Постепенно я запустил учебу. Железнодорожная компания выдала моему отцу для работы под открытым небом плащ из толстого серого сукна, которым он никогда не пользовался. Я уготовил ему «поэтическую» судьбу. Три или четыре поэта также стали носить мой плащ, который пошел по рукам, или обзавелись собственными, подобными моему. Это вызвало бешенство добропорядочных людей, а также той части публики, которая не отличалась этим качеством. То было время танго — оно пришло в Чили не только со своими ритмами, со своими гитарными переборами и аккордеонами, но и в сопровождении свиты забияк, наводнявших в ночные часы город и уголки, где мы собирались. Преступники, танцоры и драчуны затевали ссоры из-за наших плащей и других далеко не модных атрибутов.

Мы, поэты, стойко защищались.

Среди моих товарищей того времени был Альберто Рохас Хименес, живое воплощение той эпохи, великий прожигатель собственной жизни. Элегантный и статный несмотря на нищету, он жил беззаботно, как золотая птичка в клетке,— ходячее олицетворение всех канонов нового дендизма: надменная манера держаться, быстрая и горячая реакция на малейшее недоразумение, веселая мудрость и острый интерес ко всему в жизни.

Книги и девушки, бутылки и корабли, маршруты и архипелаги — все его интересовало, все было ему знакомо, и он умел блеснуть своей эрудицией. В Париже сумасбродные девушки с гремевшего тогда Монпарнаса оспаривали его друг у друга. «C'est le vrai matador» *,— говорили они, а он, в своей кордовской шляпе и красном галстуке, милостиво позволял обожать себя.

Рохас Хименес привил нам некоторые новшества в костюме, в манере есть, курить, в каллиграфии, но ему так и не удалось заразить меня своим скептицизмом и бесшабашным пьянством. До сих пор я с большим волнением вспоминаю этого человека, который освещал собою все, к которому красота слеталась отовсюду, подобно ожившей вдруг бабочке.

У дона Мигеля де Унамуно Хименес научился делать бумажных птиц. Он мастерил птицу с длинной шеей и распростертыми крыльями, а затем надувал ее. Это он называл «вдуванием жизни».

Он открывал поэтов Франции, темные бутыли винных погребов, писал любовные письма героиням Франсиса Жамма **. Свои прекрасные стихи он носил скомканными в карманах, и они никогда, вплоть до сегодняшних дней, не были опубликованы. Я только что приехал в Испанию, в Барселону, когда получил известие о его смерти. Редко я испытывал такое сильное горе. В те дни я написал элегию «Спешит Альберто Рохас Хименес», которую напечатал потом журнал «Ревиста де оксиденте». Но я должен был что-то придумать, как-то проститься с ним. Он умер так далеко, в Чили, в дни ужасного ливня, затопившего кладбище. Невозможность быть рядом с его прахом, сопровождать его в последний путь побудила меня придумать своеобразную похоронную церемонию. С моим другом художником Исаиас мы отправились в чудесную базилику Санта-Мария-дель-Мар. Купив две огромные свечи, почти в рост человека, мы вошли с ними в сумерки этого необычного храма. Санта-Мария-дель-Мар считалась кафедральным собором мореплавателей — рыбаки и моряки построили ее камень за камнем несколько веков тому назад. Впоследствии стены собора были испещрены тысячами обетов, расписаны корабликами различных форм и размеров, которые, подобно ковру, покрыли стены и потолки прекрасной базилики. Я подумал, что этот храм был бы великой сценой для бедного поэта, его излюбленным местом, знай он его раньше. Мы разбудили пономаря и попросили его зажечь наши свечи

---

* Он настоящий матадор *(франц.)*.

** Французский поэт (1868—1938).

в центре храма, под облаками, украшающими свод.

Я и мой друг художник, сидя в пустой церкви, каждый с бутылкой вина под рукой, считали, что эта церемония, несмотря на наш агностицизм, каким-то таинственным образом приближает нас к нашему другу. Свечи, зажженные в самой высокой части пустого храма, напоминали что-то живое и блестящее, они как бы смотрели на нас из тени мрака и обетов, как два глаза того безумного поэта с сердцем моряка, которое остановилось навсегда.

...В 1923 году была издана моя первая книга стихов «Сумерки». Чтобы оплатить издательские расходы, пришлось продать мою немудреную мебель, а вскоре в ломбард отправились и часы, торжественно преподнесенные мне отцом, на которых были выгравированы по его просьбе два скрещенных знамени. За часами последовало мое черное платье поэта. Издатель был неумолим, и, наконец, когда уже целиком было отпечатано издание и оплачен переплет, он заявил мне с мрачным видом: «Нет, не дам ни одного экземпляра, пока мне не будет заплачено сполна». Разлетелись мои последние песо, исчезнув в ненасытной пасти издателя, и вот я выхожу от него с моими книгами за плечами, в рваных ботинках и сумасшедший от радости. Первая книга! Одно из моих стихотворений как бы оторвалось от той детской книжки и пошло своей собственной дорогой: это «Farewell» *, которое до сих пор многие знают наизусть. В самых неожиданных уголках мне читали его наизусть или просили, чтобы я прочитал его. Мне это сильно докучало: стоило появиться где-нибудь, как какая-нибудь девица начинала громко декламировать эти навязчивые строки, и порой министры принимали меня, по-военному вытягиваясь и протыкая меня первой строфой из этого стихотворения.

Несколькими годами позже, в Испании, Федерико Гарсиа Лорка рассказывал мне, что нечто подобное происходило с его стихами «Неверная жена», поэтому наибольшим доказательством дружбы со стороны Федерико было, если он вспоминал ради кого-либо это свое популярнейшее и прекраснейшее стихотворение. Есть какая-то радость в непреходящем успехе одного из наших творений. Это чувство здоровое и даже биологическое. Читатели произвольно стремятся запечатлеть поэта в какой-то определенный момент, в то время как в действительности творчество — это вечное колесо, которое вертится все с большим проворством и все хитроумнее, хотя, быть может, с годами исчезают свежесть и непосредственность.

В 1924 году вышла в свет моя книга стихов «Двадцать поэм любви и одна песнь отчаяния», тесно связанная с самыми глубокими увлечениями ранней юности. Эта печальная книга-пастораль рассказывает о моих юношеских увлечениях и переживаниях и о буйной природе юга моей родины. Печаль, тоска и отчаяние этой книги продолжают находить отклик в сердцах молодых людей наших американских стран, и в Буэнос-Айресе вскоре выйдет ее юбилейное издание.

Меня не перестают спрашивать, кто же эта героиня двадцати поэм,— вопрос, на который нелегко ответить. Два или три образа, которые переплетаются в этой меланхоличной и страстной поэзии, соответствуют, скажем, Марисоль и Марисомбре *.

Марисоль — это идиллия зачарованной провинции, с ее огромными ночными звездами: темные глаза Марисоль подобны мокрому небу Темуко. Она присутствует почти на всех страницах, радостная, резвая красавица.

Марисомбра — это столичная студентка. Серый берет, нежные-нежные глаза, постоянный запах жимолости — спутницы бродячей студенческой любви. Физическая умиротворенность после страстных объятий в укромных закоулках города.

Между тем жизнь Чили менялась. В стране поднималось бурное народное движение, встречая наибольшую поддержку среди студентов и писателей. Известный лидер мелкой буржуазии, ловкий демагог Артуро Алессандри Пальма стал президентом Республики, предварительно всколыхнув всю страну своим угрожающим красноречием. Очень скоро по пришествии к власти он превратился в характерного для нашей Америки правителя: господствующая олигархия, против которой он битийствовал, разинула свою пасть и поглотила все его пышные речи. Моя страна по-прежнему билась в тисках самых жестоких конфликтов.

В те же годы народный вождь Луис Рекабаррен с изумительной активностью организовал пролетариат; создавались профсоюзные центры по всей стране, открылось около десяти рабочих газет. Безработица снежной лавиной ударила по устоям государства. Я каждую неделю писал в студенческую газету того времени «Кларидад». Мы, студенты, поддерживали народные требования, и полиция избивала нас во время демонстраций на улицах Сантьяго. В столицу прибывали тысячи безработных с селитровых и медных рудников. Манифестации и следующие за ними репрессии трагически окрашивали жизнь страны.

---

* Прощание *(англ.)*.

* Марисоль — Мари солнце; Марисомбра — Мари-тень.

С тех пор в мою жизнь, в мою поэзию стала периодически вмешиваться политика. Было невозможно в моих поэмах захлопнуть дверь на улицу, как невозможно было захлопнуть дверь перед любовью, перед жизнью, радостью или печалью в моем сердце молодого поэта. Моя первая книга! Я всегда утверждал, что задача писателя не является ни таинственной, ни магической, по крайней мере, задача поэта — это его долг служить на пользу обществу. Больше всего поэзия похожа на испеченный хлеб, или на блюдо из керамики, или на тонко обработанное, пусть и грубыми руками, дерево. Однако, мне думается, ни одному ремесленнику не дано испытать того, что раз в жизни приводится испытать поэту — это пьянящее ощущение первой вещи, созданной своими руками, это непередаваемое чувство, еще трепещущее смятением неостывших грез. Это — момент, который больше никогда не повторится. Книга будет много раз переиздаваться, более тщательно написанная и еще более прекрасная. Ее слова перельются в бокал других изданий, чтобы, подобно вину, они пели и благоухали в других уголках земли. Но эта минута, когда, пахнущая типографской краской, в мягкой обложке, выходит твоя первая книга, эта восхитительная, пьянящая минута, с шумом порхающих крыльев и шорохом цветка, распускающегося на завоеванной высоте,— эта минута бывает лишь один раз в жизни поэта.

Дороги мира

...Студенческая литературная премия, несомненная популярность моих новых книг и мой знаменитый плащ придали мне некоторую респектабельность или создали мне ореол за пределами круга эстетов. Но в двадцатые годы культурная жизнь моей страны — и, надо думать, также других стран континента — зависела исключительно от Европы, не имела собственного дыхания. В каждой из наших республик существовала космополитическая элита. Писательская олигархия жила в Париже. Наш поэт Висенте Уидобро не только писал на французском языке, но изменил свое имя на французский лад и превратился в Венсана. Живопись была и продолжает оставаться в полной зависимости от того, что пишут в Париже, и весь континент, за жалким исключением, ждет полета эстетической парижской мушки, дабы переменить направление собственного полета.

Что касается литературы, то эта колониальная картина заметно изменилась с тех пор.

И действительно, стоило мне обрести росток юношеской славы, как каждый при встрече на улице стал говорить мне: «Да что вы делаете здесь? Вам надо ехать в Париж!»

Я не совсем понимал, почему я, поэт-полуарауканец, дремучий провинциал, для того чтобы писать, должен отправляться в Париж, во Францию, когда там говорят на другом языке и живут по-иному. Как бы то ни было, но под влиянием коллективного напора я почувствовал, что обязан думать и готовиться к путешествию, которое в те времена было более трудным, нежели в нынешнее время полет астронавта.

Кто-то из друзей рекомендовал меня начальнику одного из отделов министерства иностранных дел. Я был немедленно принят. Он уже был знаком с моими стихами.

— Я знаю ваши стремления. Садитесь вот на это кресло, оно удобное. Отсюда вид на площадь, точнее — на суету площади. Посмотрите на эти автомобили... Все это суета сует. Вы счастливчик, что вы — молодой поэт. Видите этот дворец напротив? Он принадлежал моей семье... а сейчас я сижу в этом свинарнике, погрязший в бюрократии... Единственная ценность — это дух. Вам нравится Чайковский?

После часа такой беседы на темы искусства, протянув мне на прощание руку, он сказал между прочим, чтобы я не беспокоился, что он был директором консульского управления и что я могу считать, будто назначение у меня уже в кармане. После этого контакта с исполнительной властью я почувствовал почву под ногами, и, когда мои друзья спрашивали меня, чем я занимаюсь, я напускал на себя важность и отвечал: «Готовлюсь к поездке в Европу».

Надо сказать, что в течение двух лет я время от времени наносил визит учтивому дипломатическому шефу, который с каждым разом становился все любезнее.

Едва я появлялся в его кабинете, как он с угрюмым видом вызывал одного из своих секретарей и, подняв бровь, объявлял:

— Кто бы меня ни спрашивал, меня нет. Дайте мне забыть прозу будней. Единственная пища для духа в этом министерстве — визит поэта. Дай бог, чтобы он никогда не покинул нас.

Я уверен, что он желал этого, ибо тут же без всякого перехода он начинал рассказывать о породистых псах: «Кто не любит собак, тот не любит детей». Затем следовал разговор об английском романе, за ним — об антропологии и спиритизме, и заканчивалось все геральдикой и генеалогией. В другой раз, прощаясь, он намекал мне вкрадчиво, как будто это было большой тайной между нами, что пост за границей мне обеспечен. И хотя у меня не было денег, чтобы поужинать в тот вечер, я выходил на улицу, посапывая, как советник в ранге посланника.

Так длилось до тех пор, пока я не встретился с моим другом Бианчи. Эта семья в Чили принадлежит к благород-

ному клану. Художники и народные музыканты, писатели, юристы и бывшие у них в роду исследователи оставили в наследство всем Бианчи дух беспокойства и способность быстрого восприятия. Мой друг Бианчи, бывший послом и знавший министерские секреты, задал мне пресловутый вопрос: «Чем занимаешься?» Я ответил ему напыщенно: «Занимаюсь подготовкой поездки в Европу».— «И у тебя уже все готово?» — «В этом меня заверяет один важный покровитель искусств, занимающий высокий пост в министерстве»,— ответил я. Он спросил меня: «А твое назначение еще не состоялось?» — «Я получу его со дня на день, как заверяет меня один высокий покровитель искусств, который имеет большой вес в министерстве».

Бианчи улыбнулся и сказал: «Пошли к министру». Он взял меня под руку, и мы поднялись по мраморным ступеням. Перед нами поспешно расступились посыльные и служащие, и, не останавливаясь, мы проследовали в кабинет министра. Я был так огорошен, что не мог говорить. Я впервые видел министра иностранных дел. Последний был коротышкой и, чтобы казаться значительнее, слушая первые слова моего друга, уселся на письменный стол. Мой друг сообщил ему о моем жгучем желании выехать за границу. Не говоря ни слова, министр нажал на одну из многочисленных кнопок и вскоре появился, к моему вящему смущению, мой духовный покровитель. Едва он склонился перед министром, как тот сказал ему: «Какие вакансии имеются по вашему отделу?» Мой покровитель, который здесь не мог разглагольствовать о Чайковском, перечислил названия нескольких городов, разбросанных по всему миру. Мне удалось расслышать лишь одно, о котором мне никогда доселе не доводилось ни слышать, ни читать,— Рангун. Министр спросил меня: «Куда бы вы хотели поехать, Пабло?» — «В Рангун»,— ответил я, не дрогнув. «Назначьте его»,— приказал министр. Мой покровитель выбежал и вернулся с приказом о назначении.

В министерском салоне был огромный глобус, и мы с моим другом Бианчи принялись искать далекий город Рангун. На старом глобусе была глубокая вмятина в районе Азии, и там мы отыскали Рангун. Когда несколько часов спустя я встретился со своими друзьями и они захотели отпраздновать мое назначение, я совершенно забыл название города, куда меня назначили. Единственное, что я мог объяснить им с великой радостью,— это то, что меня назначили консулом на сказочный Восток и что место, куда я еду, находится на вмятине в глобусе.

Июньским днем 1927 года мы отправились с Альваро де Сильвой в далекие края. В Буэнос-Айресе мы обменяли мой билет первого класса на два билета третьего класса и обосновались на «Бадене». Это был один из немецких пароходов, про которые говорят, что они единого класса. Но тот, куда попали мы, был, скорее всего, пятого класса.

Он делал два рейса: один для португальских и испанских иммигрантов, работавших летом на аргентинском и бразильском побережьях, и другой — для прочих разносортных пассажиров, в основном немцев, возвращавшихся с рудников или с заводов Латинской Америки. Мой товарищ Альваро, заядлый сердцеед, немедленно произвел классификацию пассажирок. Он разделил их на две группы. К первой относились те, что атакуют мужчину, и ко второй — те, что повинуются лишь кнуту. У него был целый арсенал приемов для победы над женским сердцем. Когда на палубе показывалась парочка интересных пассажирок, он хватал меня за руку и делал вид, будто читает по ладони мою судьбу, сопровождая это загадочными жестами. Они проходили мимо второй раз, останавливались и умоляли его предсказать им судьбу. Он немедленно брал их за руки, принимался истово их поглаживать, и всегда будущее, которое он им предрекал, таило в себе посещение нашей каюты. Когда его приемы обольщения не имели успеха, он прибегал к прямолинейной тактике «пещерного человека».

Что же касается меня, то и я вскоре перестал наблюдать море и пассажиров, которые шумно протестовали против вечного картофельного меню, перестал видеть мир и монотонную Атлантику и лишь смотрел в большие темные глаза молодой дочери Бразилии, поднявшейся на пароход в Рио-де-Жанейро с родителями и двумя братьями. В моей памяти надолго осталась ее изумительная грация и эти темные глаза, чей взгляд мимолетно скрещивался с моим.

Веселый Лиссабон тех лет, с рыбачками на улицах и без Салазара на троне, поразил меня. Готовили в маленьком отеле восхитительно, огромные подносы с фруктами венчали стол. Разноцветные дома, старые дворцы с луками на дверях, чудовищные соборы, игорные дома в древних дворцах, по-детски любопытная толпа на улицах, безумная графиня де Браганса, бродившая в религиозном экстазе по каменистой улице в сопровождении сотни бездомных, пораженных ее видом мальчишек,— так началось мое знакомство с Европой. А затем — Мадрид с его переполненными кафе; Примо де Ривера, дававший первый урок тирании народу, которому впоследствии предстояло испить эту чашу до дна, первые стихи «Местожительство — Земля» — испанцы не понимали их до тех пор, пока не пришло блестящее поколение Альберти, Лорки, Алейксандре,

Диего. Особенно Испания запомнилась мне бесконечным путешествием в поезде, в вагоне самого жесткого в мире, третьего, класса, доставившего нас в Париж. Мы затерялись в толпе на Монпарнасе среди аргентинцев, бразильцев, чилийцев. Еще не появились венесуэльцы, погребенные в царстве тирана Гомеса. А потом — первые индусы в своих длиннополых одеждах и моя соседка по столу, которая с меланхолической леностью потягивала кофе со сливками, в то время как вокруг ее шеи обвивалась живая змейка. Наша южноамериканская колония пела и танцевала танго, выжидая удобного случая, чтобы учинить какой-нибудь колоссальный дебош, затеяв драку с половиной земного шара.

Мне также навсегда запомнился доставивший нас в Марсель поезд, набитый, подобно корзине с экзотическими плодами, пестрой публикой — крестьянами и моряками, ехавшими с музыкой и песнями, которые подхватывал весь вагон. Мы направились к Средиземному морю, к вратам Солнца... Это было в 1927 году. Почему поезда не возят больше веселых пассажиров? Меня зачаровал Марсель с его торговой романтикой и старый порт, бурлящий, крылатый от множества парусов, с присущей ему подозрительной суетой. Пароход компании «Мессажери маритим», на который мы взяли билет до Сингапура, был кусочком Франции в море, с ее «petite bourgeoisie» *, эмигрировавшей в колонии, чтобы поступить там на службу. Когда во время плавания матросы увидели наши пишущие машинки и нашу писательскую возню с бумагами, они упросили нас писать для них письма на машинке. Мы писали под диктовку невероятные любовные письма их подружкам из Марселя, Бордо, из деревни. В сущности, этих парней не интересовало содержание, было важно то, что письма отпечатаны на пишущей машинке. Но когда они диктовали, это было как поэмы Тристана Корбьера **, послания неуклюжие и нежные.

Перед нами открывалось Средиземное море, с его побережьем, портами, коммерсантами и рынками. Особенно поразил меня порт Джибути в Красном море. Выжженный песок, столько раз вспаханный нашествиями Артюра Рембо, черные статуи с корзинами фруктов, жалкие хижины туземцев, сумбурная атмосфера кафе... Здесь пили холодный чай с лимоном.

Сингапур. Мы думали, что Сингапур рядом. Горькое разочарование! То, что на карте выглядело расстоянием в несколько миллиметров, на деле оказалось ужасной пропастью. Нам оставалось несколько дней пути пароходом, а единственное судно, курсировавшее на этой линии, отошло на Рангун за день до нашего приезда. Денежный перевод ждал нас в Рангуне. У нас нечем было заплатить ни за отель, ни за билеты. Но ведь для чего-то существовал же здесь чилийский консул, мой коллега! Сеньор Мансилья не замедлил явиться. Мало-помалу улыбка с его лица сошла, и на ее месте застыла гримаса возмущения: «Ничем не могу вам помочь. Обратитесь в министерство». Я объявил ему, что он, как коллега, должен помочь мне в этом непредвиденном затруднении, что денежный перевод на мое имя находится в Рангуне, совсем неподалеку отсюда, что географическая ошибка поставила нас в это щекотливое положение. Его лицо сохраняло выражение неумолимого тюремщика. Он взял шляпу и уже засеменил к дверям, когда мне в голову пришла спасительная идея. «Сеньор Мансилья,— сказал я ему,— мне придется прочитать несколько платных лекций о нашей родине, чтобы добыть деньги на билеты. Прошу вас обеспечить меня помещением и необходимым для этого разрешением». Тот побледнел: «Лекции в Сингапуре? Я не разрешаю. Это область моей юрисдикции, и никто кроме меня не имеет права говорить здесь о Чили».— «Успокойтесь, сеньор Мансилья. Чем больше людей будет говорить о нашей далекой родине, тем лучше,— ответил я.— Я не вижу оснований для вашего гнева». В результате этих необычных переговоров, во время которых я пустился на шантаж, мы пришли к компромиссному решению. Дрожа от бешенства, он заставил нас подписать десять расписок и вручил деньги. Пересчитав их, мы увидели, что расписки были на бóльшую сумму. Мы в изумлении уставились на него. «Это проценты»,— заявил он.

Десять дней спустя я перевел ему из Рангуна чек, но без процентов.

Несколькими годами позже я прибыл в Сингапур, чтобы по решению правительства Чили возглавить консульство. Мне удалось установить, что Мансилья получил мой денежный перевод и еще другой, с процентами, высланный министерством. Но это еще не все. Этот человек изобрел нечто поразительное. Консульства не существовало. А был один старый голландец, который получал консульские сборы и переправлял их в Париж, тогда как Мансилья в течение нескольких лет направлял ему из Парижа свои счета и донесения, и голландец отправлял их в Чили почтой из Сингапура. Каков хитрец! Интересно, как далеко он пойдет?

Через несколько дней с палубы парохода, подходившего к Рангуну, я увидел гигантский золотой купол Большой пагоды — «Свей Дагон».

Огромная толпа в необычных, ярких одеждах сгрудилась у причала. Широкая и грязная река впадала здесь в за-

---

* Мелкая буржуазия *(франц.)*.
** Французский поэт (1845—1875).

лив Мартабан. Название реки — одно из самых красивых в мире: Иравади.

Рядом с этой рекой началась моя новая жизнь.

Свет в дебрях

Воспоминания унесли меня в далекое прошлое, но неожиданно я очнулся... Это шумит море... 1961 год. Я — в Исла-Негра, недалеко от Вальпараисо. Только что утихли шквалы ветра, исхлеставшие побережье. Океан — он смотрит на меня в окно тысячью глаз своей пены — еще хранит следы страшного шторма.

Далекие, далекие годы! Воспоминания о вас наплывают на меня одно за другим, как шум океана, то убаюкивая колыбельной песней, то внезапно вспыхивая, подобно блеску клинка. Я не буду соблюдать хронологию, пусть воспоминания набегают и уносятся вдаль, как волны.

1929 год. Мы — в Индии, на конгрессе, проходившем в самый разгар борьбы за освобождение страны. Тысячи делегатов заполняют галереи. Я узнаю Ганди, Пандита Мотилала Неру, также одного из патриархов движения Индийский национальный конгресс, его сына, молодого элегантного Джавахарлала, только что приехавшего из Англии. Он — сторонник независимости, тогда как Ганди отстаивает как необходимый шаг, лишь идею автономии.

Ганди. Тонкое умное лицо. Опытный политик, похожий внешне на наших старых креолов. мастер по созданию комитетов, искусный тактик, человек, не знающий усталости. Толпа бесконечным потоком проходит мимо него, чтобы, в знак преклонения, коснуться его белой туники, повторяя: «Ганди-джи! Ганди-джи!» — а он рассеянно отвечает на приветствия и улыбается. Он принимает и читает послания, отвечает на телеграммы. Все это — без малейшего усилия. Это святой, которому неведома усталость.

Неру. Умный академик освободительной борьбы своего народа.

Воспоминание о старухе, которую мне показали в одном домике, до сих пор вызывает у меня содрогание. Мне показали ее старые, сморщенные и темные ноги, на которых не хватало больших пальцев. Они были отрублены прежними английскими властителями. Так наказывала «Ист индиан компани» ткачей и ткачих, которые в прошлом веке, вопреки приказам империи, пытались делать национальные ткани.

...Однажды мы ехали в автобусе, отправлявшемся из Пенанга; нам предстояло пересечь джунгли и деревни Индокитая, прежде чем попасть в Сайгон. Это был ночной рейс. Здесь никто не понимал меня, и я не понимал никого. Уставшие от бесконечного пути по девственным джунглям, сходили пассажиры — крестьяне с раскосыми глазами, молчаливые, исполненные достоинства, в странных одеяниях. Было уже за полночь, нас, пассажиров, осталось трое или четверо, а автобус упорно скрипел в знойной ночи, грозя развалиться.

Внезапно меня охватила паника. Где я? Почему еду? Что делаю этой бесконечной ночью среди незнакомых мне людей? Я оглядел оставшихся пассажиров. Мы пересекли Лаос и Камбоджу. Я всмотрелся в непроницаемые лица моих попутчиков. Они сидели с открытыми глазами, и черты их лиц показались мне отталкивающими — типичные разбойники из восточной сказки.

Мне почудилось, что они обмениваются многозначительными взглядами, относившимися на мой счет. В это самое время автобус тихо остановился среди дремучих джунглей. Я выбрал место, где решил умереть. Они не поведут меня, чтобы принести в жертву, под те неизвестные деревья, что отбрасывают темную тень, заслоняя небо. Я умру здесь, на этом сиденье развалюхи-автобуса, среди корзин с зеленью и клеток с курами, которые в конечном счете были чем-то единственно человеческим в ту ужасную минуту. Я огляделся, чтобы достойно встретить своих палачей, и обнаружил, что автобус пуст.

Я стал ждать со сжавшимся сердцем в кромешной темноте чужой ночи.

Умереть в безвестности, так далеко от моей любимой маленькой страны, вдали от всех моих книг и привязанностей.

Вскоре появился один огонек, затем — другой. Дорога наполнилась огнями. Прогремел барабан, к небу взлетели пронзительные звуки камбоджийской музыки. Флейты, тамбурины и факелы заполнили дорогу светом и звуками. В автобус поднялся человек, который сказал мне по-английски: «Автобус сломался. Поскольку ждать придется долго, может быть, до рассвета. а переночевать здесь негде, пассажиры разыскали труппу музыкантов и танцоров, чтобы вам не было скучно».

В течение нескольких часов, сидя под деревьями, которые уже не угрожали мне, я смотрел на дивные ритуальные танцы, рожденные благородной и древней культурой этой страны, и без устали слушал восхитительную музыку, звучавшую над дорогой.

Воспоминание об этой ночи, освещенной сердечностью незнакомого народа, осталось в моей памяти как назидание. Поэт не может бояться народа. Мне показалось тогда, что жизнь предупредила меня, навсегда преподав мне урок глубоко спрятанной честности, братства которое нам незнакомо, красоты, цветущей во тьме.

ПАБЛО НЕРУДА
ЖИЗНЬ ПОЭТА

...Время проходило в знойной безмятежности. Я почти окончил первую книгу «Местожительство — Земля», когда у меня впервые завязались братские отношения с писателями европейского мира, который никогда не существовал для меня в осязаемой форме. Алехо Карпентьер в Париже, а затем молодой поэт Рафаэль Альберти, о котором мне никогда не приходилось слышать, прочли мою книгу стихов и решили издать ее. Их попытки потерпели неудачу, однако у меня появилось ощущение, что моя лира не одинока, что она начинает звучать и за пределами моей ссылки. С тех пор началась искренняя дружба с Алехо Карпентьером, который сегодня, в разгар кубинской революции, неразрывно связан со своим народом, возвеличен им и окружен уважением. Что же касается Рафаэля Альберти, короля всегда свежей и благоуханной поэзии,— война в Испании связала нас еще более прочными и глубокими узами братства.

Буря в Испании

В момент, когда я пишу эти строки, официальная Испания празднует двадцатипятилетие путча. Сейчас в Мадриде каудильо, разодетый в синий с золотом мундир и окруженный мавританской гвардией, вместе с американским, английским и другими послами принимает парад войск. Эти войска, думается мне, состоят из парней, которые не изведали той войны.

Я же ее изведал.

Миллион убитых испанцев! Миллион высланных за пределы родины! Казалось, этого не забыть. Казалось, что никогда не исчезнет из человеческой памяти эта кровавая заноза. Однако годы идут. И парни, которые сегодня маршируют перед мавританской гвардией, возможно, не знают истории или знают лишь ее темную или светлую сторону.

Я познал все стороны этой страшной истории. Для меня все началось однажды вечером, а именно 19 июля 1936 года. Один симпатичный и предприимчивый чилиец, по имени Бобби Деглане, был импрессарио зрелища «catch as catch can» * в огромном помещении «Сирко присе» в Мадриде. На мой взгляд, этому спектаклю изрядно недоставало серьезности, но чилиец убедил меня пойти в цирк с Гарсиа Лоркой в тот вечер 19 июля, чтобы убедиться в том, что это серьезная вещь. Я уговорил Федерико, и мы решили встретиться там в назначенное время. Почему бы не посмотреть на Переодетого Троглодита, Абиссинского Душегуба и Орангутанга Злонравного?

Но на свидание Федерико не явился.

В этот вечер он уже шел своей последней тропой. Нам больше никогда не довелось свидеться. Он встретился с другими душегубами.

Так эта война в Испании, изменившая мою Музу, началась для меня смертью поэта.

И какого поэта! Ни в ком не видел я больше такого сочетания изящества и ума, крылатого сердца и кристально-чистой души.

Федерико Гарсиа Лорка — это неистощимое остроумие, это генератор радости, вырабатывающий и излучающий, подобно солнцу, счастье жизни. Наивный и острый на язык, гражданин мира и провинциал, исключительно одаренный музыкант, великолепный мим, робкий и суеверный, веселый и радостный — он был чем-то вроде конгломерата всех эпох Испании, символом народного процветания, потомком арабов и андалузцев, осветившим и овеявшим своим благоуханием, подобно кусту жасмина, все, что происходило на арене той Испании, увы, исчезнувшей...

Действительно, мне довелось присутствовать при одном из самых горестных событий этой длительной борьбы. Испания всегда была ареной гладиаторов, и ее земля обильно полита кровью. Плаза де Торос, с ее жертвами и суровым изяществом, подобно труппе комедиантов, повторяет извечный смертный бой между светом и тенью.

Инквизиция бросает в темницу монаха Луиса де Леона, Кеведо томится в подземелье, Колумб шествует с кандалами на ногах, а народу показывают усыпальницы в Эскориале, ныне же — памятник Павшим, увенчанный крестом, который высится над миллионом убитых и над несметным множеством брошенных в мрачные застенки.

Но ни одна усыпальница, какой бы глубокой и мрачной она ни была, не может погасить свет Федерико, скрыть следы его крови.

Мне кажется, что он предчувствовал свою смерть. Однажды по возвращении из театрального турне он пригласил меня к себе, чтобы рассказать об одном весьма странном происшествии. С артистами театра «Баррака» он приехал в захолустный городок Кастилии, на окраине которого труппа и расположилась лагерем. Устав от дорожных хлопот, Федерико не мог уснуть. На рассвете он поднялся и пошел побродить по окрестностям. Стоял пронизывающий холод, который Кастилия держит про запас для путешественника, обходясь с ним как с незваным гостем. Туман рассеивался белыми клочьями, придавая всему вокруг причудливые очертания. Большая решетчатая ограда из ржавого железа. Разбитые статуи и колонны, покоящиеся среди опавших листьев. В калитке старого имения Федерико задержался. Это был вход в обширный парк одной феодальной усадьбы. Запустение, ранний час и холод усиливали тоскливое чувство одиночества, и Федерико вскоре впал в состояние подавленности, им овладело смутное предчувствие чего-то,

* Борьба кетч *(англ.)*.

что должен был принести с собой рассвет. Он присел на упавшую капитель. Крохотный ягненок подошел пощипать траву среди развалин, и его появление было подобно появлению маленького волшебника, сотканного из тумана. Он будто вдохнул жизнь в это заброшенное место, как нежный светлый луч озарив тоскливое одиночество Федерико. Поэт почувствовал, что он не один.

Вдруг в этот тихий уголок ворвалось стадо свиней: несколько страшных бестий, черных, полудиких, голодных, с твердыми, как камень, копытами.

И вот Федерико стал свидетелем ужасной сцены. Увидев бедного ягненка, свиньи набросились на него и, к ужасу поэта, разорвали и сожрали.

Эта сцена кровожадности и одиночества побудила Федерико приказать своему бродячему театру немедленно трогаться в путь.

Все еще содрогаясь от ужаса, Федерико рассказывал мне эту страшную историю за три месяца до гражданской войны.

Впоследствии передо мной все более отчетливо вставал услышанный эпизод, как пролог смерти Федерико, предвестник его невероятной трагедии.

Когда я обращаюсь памятью к войне в Испании, я не могу не думать о смерти тех, кого знал и любил. Все политическое значение этой войны, вся ее жестокость и ее последствия слились для меня в несколько имен, имен скорби.

Одно из них — имя молодого поэта Мигеля Эрнандеса. Только сейчас оно стало всемирно известным. Я познакомился с ним в ту пору, когда он пришел ко мне в альпаргатах и в крестьянских вельветовых штанах из своей деревни в Ориуэла, где он пас в те годы коз. Я опубликовал его стихи в своем журнале «Зеленая лошадь», меня радовали блеск и живость его богатой палитры.

Мигель был типичным крестьянином. Лицо его напоминало ком земли или картошку, которую только что вырыли и которая еще хранит свежесть земли. Он жил и писал в моем доме, и моя южноамериканская поэзия с иными горизонтами и равнинами произвела на него впечатление и начала оказывать на него свое влияние.

Он рассказывал мне земные сказки о животных и птицах. Этот поэт, пришедший от природы, напоминал каменную глыбу: были в нем первозданная свежесть и покоряющая жизненная сила.

Он рассказывал мне, как интересно приложиться ухом к животу спящих в знойный день коз. Можно услышать журчание молока, переливающегося в вымя, чего никому, кроме этого поэта-козопаса, не довелось слышать.

В другой раз Мигель рассказал мне о соловьином пении. Испанский Левантий, откуда он был родом, славился цветущими апельсиновыми рощами и соловьями. На моей родине нет этого великого певца, а Мигелю не терпелось дать мне возможно более точное представление о его могуществе. Тогда сумасшедший Мигель прямо на улице взобрался на дерево и через несколько секунд с самых высоких ветвей начал свистеть и пускать трели совсем как его любимые соловьи. Забавно было видеть там, на вершине, этого парня, который свистел до изнеможения, чтобы я мог представить себе, как поют соловьи.

Ему не на что было жить, и я подыскал ему работу, а найти в Испании работу для поэта — дело нелегкое. Наконец один виконт, высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел, заинтересовался его судьбой и велел передать мне, что он готов помочь, он читал стихи Мигеля, восхищен ими и что поэту следует указать лишь, какая работа ему по душе, чтобы можно было оформить желаемое назначение. Я с ликованием объявил поэту: «Мигель Эрнандес, наконец судьба улыбается тебе. Виконт зачисляет тебя на службу. Ты будешь чиновником, но ты должен сказать мне, какую работу предпочитаешь, чтобы оформить свое назначение».

Мигель глубоко задумался. Его лицо с резкими преждевременными морщинами выражало крайнюю озабоченность. Прошли часы, и лишь вечером он ответил. По его блестящим глазам я понял, что решение принято. Он сказал мне: «А не мог бы виконт выделить мне стадо коз здесь, неподалеку от Мадрида?»

Весь этот довоенный период сохранился в моей памяти как вкус виноградной грозди, сладость которой уже забывается, свет воспоминаний о нем — как зеленый, мерцающий луч, прощальный привет солнца, садящегося за море.

Альберти, живший рядом со мной в мансарде, возвышающейся над аллеей, которая исчезла вместе со скульптором Альберто *, Федерико, Альтолагирре и Бергамин, великий поэт Луис Сернуда, Висенте Алейксандре, поэт с бесконечным диапазоном, архитектор Луис Лакаса — мы все вместе или по нескольку человек ежедневно встречались дома или в кафе.

Из пивной на Кастельяна или около Корреос мы ехали ко мне домой, к моим цветам, в квартал Аргельес.

Шумными группами спускались мы со второго этажа одного из самых больших автобусов, которые мой соотечественник, великий Котапос **, называл «бом-

---

* Альберто Санчес (1895—1962) — известный испанский скульптор и художник. С 1938 по 1962 год был членом компартии Испании. По приглашению советского правительства приехал в 1938 году в СССР, где жил и работал до своей кончины.

** Чилийский композитор.

бардище» *, и отправлялись есть, пить и петь. Среди моих товарищей по поэзии и веселью я вспоминаю поэта Артуро Серрано Пласа, Хосе Кабальеро, блестящего остряка и талантливого художника, ныне учителя герцогини Альба, Антонио Апарисио, который также прибыл в мой дом прямо из Андалузии, и многих других, которых уже нет в живых или которых я уже не могу назвать своими товарищами, но чьей братской дружбы мне очень недостает, как частицы меня самого.

Мадрид тех лет! Мы бродили с галисийской художницей Марухой Мальо по кварталам нижнего города, разыскивая дома, в которых продавались испанский дрок и циновки, разыскивая улицы бондарей, канатчиков, улицы ремесленников... Испания — сухая и каменистая страна, и солнце из зенита бьет по ее земле, высекая искры из равнин, возводя замки из света и облаков пыли. Единственные реки Испании — ее поэты; это Кеведо с его глубокими, зелеными водами, покрытыми черной пеной, это Кальдерон с его поющим слогом, это кристальные братья Архенсола **, это Гонгора ***, рубиновая река.

В Мадриде тех лет, который принял меня как сына и брата, я познакомился с выдающимися людьми. Мне очень жаль, что я не встречался с ними чаще, ибо я никогда не думал, что Мадриду суждено стать иным, что уже был намечен день, когда мне предстояло покинуть его с тем, чтобы никогда не вернуться.

Валье Инклана я видел всего лишь раз. Очень худой, с белой, бесконечно длинной бородой, он показался мне сошедшим со страниц своих собственных книг, спрессованный ими, цвета пожелтевшей бумаги.

Рамон Гомес де ла Серна ****. Я познакомился с ним в кафе «Крипта-де-Помбо», а затем бывал в его доме; поэт, приехавший из Америки, никогда не сможет забыть громовой голос Рамона, которым он со своего места в кафе управлял и разговором, и смехом, и мыслями. Для меня Рамон Гомес де ла Серна является величайшим среди писателей нашего языка, и его гений можно сравнить и отождествить лишь с многокрасочным величием Кеведо и Пикассо. Любая страница Рамона Гомеса де ла Серны подобно пытливому исследователю проникает в суть природы и духа, в истину и многообразие красок, и все, что известно и написано об Испании, сказано только им и никем другим.

Этот писатель-прозаик был величайшим поэтом нашей страны, первооткрыватель таинственного мира, родного языка. Он переделал испанский синтаксис своими руками, оставив на нем следы своих пальцев, которые не стереть никому. Когда в нашей провинциальной Америке перебираются имена на представление к Нобелевской премии, я всегда возмущаюсь, почему не подумают о великом писателе, почти забытом в изгнании, в Буэнос-Айресе.

Дона Антонио Мачадо я видел несколько раз в кафе, которое обычно посещал; он сидел в своем черном платье нотариуса, весьма молчаливый и сдержанный, мягкий и суровый, напоминающий старое испанское дерево. Кстати, желчный Хуан Рамон Хименес, старый бесов сын поэзии, говорил, что дон Антонио набит пеплом и что в карманах его лежат лишь окурки сигар.

Хуану Рамону Хименесу, блестящему поэту, суждено было познакомить меня с пресловутой завистью испанцев.

Этот поэт, которому, в сущности, нечему было завидовать, ибо его творчество — это великое сияние, родившееся вместе с мраком века, жил как отшельник, обругивая из своего уединения всякого, кто, по его мнению, застилал ему свет.

Молодежь — Гарсиа Лорка, Альберти, а также Гильен и Салинас — подвергались упорному преследованию со стороны бородатого демона, который ежедневно метал свои копья то в одного, то в другого.

Против меня он еженедельно писал в своих витиеватых комментариях, которые помещал из воскресенья в воскресенье в газете «Эль соль». Но я предпочитал «жить и давать жить другим». Я никогда ничего не отвечал. Не отвечал и теперь не отвечаю на литературные нападки.

Таков был мой метод, моя манера полемизировать о своей персоне — прежде и теперь. На литературные раздоры, на всю эту мышиную возню, питающуюся обидами, я отвечаю необычным в таких случаях молчанием, которое храню в подобных случаях и поныне и которое обладает убийственной силой.

Поэт Мануэль Альтолагирре, имевший свою типографию и призвание издателя, однажды пришел ко мне и рассказал, что он собирается издавать солидный поэтический журнал, где будет публиковаться все самое высокое и самое лучшее, что есть в испанской поэзии. «Лишь один человек может возглавить его,— сказал он мне,— и этот человек — ты».

После этого в свет вышло пять номеров моей «Зеленой лошади», отличного журнала, который Манолито издавал с истинной любовью. Шестой номер должен был появиться 19 июля 1936 года, но в тот день улицы наполнились пороховым дымом. Неизвестный генерал, по имени Франсиско Франко, поднял мятеж против Республики в своем гарнизоне в Африке.

И здесь, на улице Вириато, так и

---

* «Бомбардище» от «бомбарда» — двухмачтовое судно.

** Братья Архенсола: Бартоломе (1562—1633) и Куперсио (1563—1613) — испанские поэты.

*** Испанский поэт (1561—1627).

**** Испанский литератор (1888—1953).

остался несверстанным и непереплетенным последний номер «Зеленой лошади».

Он посвящался Хулио Эррера-и-Рейсигу *, второму Лотреамону из Монтевидео, и стихи, написанные в его честь испанскими поэтами по моей просьбе, канули в забвение во всей своей прелести.

Прошло время. Подходила к концу гражданская война. Поэты сражались рядом с испанским народом. Погиб в Гранаде Федерико. Возмужал Мигель Эрнандес, бывший козопас. Одетый в солдатскую форму, он читал свои стихи на передовой. Мануэль Альтолагирре (умерший всего несколько лет назад) продолжал заниматься книгопечатанием. Одну типографию он открыл на Восточном фронте в старом монастыре около Хероны. В ней необычным образом была напечатана моя книга «Испания в сердце».

Думаю, что из книг с необычной историей немногие вышли в свет так необычно и имели столь необычную судьбу. Солдаты-фронтовики научились мастерству наборщика. Но затем оказалось, что нет бумаги. Они отыскали старую мельницу и наладили там производство бумаги. Необычной была эта продукция, которая изготовлялась под разрывами снарядов в разгаре боя. Все шло в мельницу, начиная с вражеского знамени и кончая окровавленной рубахой солдата-мавра. Несмотря на необычайное сырье и полное отсутствие опыта, бумага получилась прекрасная, и немногие сохранившиеся экземпляры этой книги поражают своим полиграфическим совершенством и бумагой загадочного изготовления. Спустя годы я увидел один экземпляр этого издания в Вашингтоне, в библиотеке конгресса, где он был выставлен на витрине как одна из самых редких книг нашего времени. Едва была отпечатана и переплетена эта книга, как наступило поражение Республики. Сотни тысяч людей заполнили дороги, уводившие из Испании. Это было бегство испанцев, самое горестное событие в истории страны.

Среди уходивших в изгнание были также оставшиеся в живых бойцы Восточной Армии. С ними уходили и Мануэль Альтолагирре, и солдаты, отпечатавшие мою книгу «Испания в сердце» и изготовившие для нее бумагу. Моя книга была гордостью этих людей, которые бросали вызов смерти, трудясь над ее изданием. Я знал, что вместо пищи и белья они положили в свои вещевые мешки мою книгу и совершили с ней долгий переход до Франции.

Много раз падали бомбы на бесконечный поток людей, покидавших родину. Там погибло много солдат, и вместе с ними их книги остались лежать на дороге. Другие, измученные и истощенные, прятали под камнями и кустами опасные ростки моей поэзии.

На границе французские войска жестоко обошлись с людьми, прибывшими в долгое изгнание. Там были принесены в жертву последние экземпляры этой пламенной книги, которая родилась и погибла в бою.

Мигель Эрнандес попросил убежища в посольстве Чили, где на протяжении войны укрывалось до четырех тысяч франкистов. Бывший в то время послом Кардос Морла Линч отказал ему, хотя и выдавал себя за друга Мигеля.

Через несколько дней его задержали и бросили в тюрьму. Мигель Эрнандес умер в одиночной камере от туберкулеза семь лет спустя. Соловей не вынес плена.

Мое консульство кончилось. За участие в защите Испанской Республики правительство Чили решило отстранить меня от должности.

Я отправился на родину снова в третьем классе, с намерением полностью посвятить себя литературной работе. Впечатления от пребывания в Испании отстоялись и созрели. Истекало грустное время моей поэзии. Меланхолический субъективизм моих «Двадцати поэм любви» и скорбная патетика стихов «Местожительство — Земля» уходили в прошлое. Мне показалось, что я нашел наконец заветную жилу, но не под пластами земли, а под листами книг. Может ли поэзия служить людям? Может ли она бороться вместе с ними? Я уже достаточно блуждал по кривым дорогам безрассудства. Пришло время остановиться и искать путь гуманизма, изгнанного из современной литературы, но всегда неотделимого от надежд и чаяний человека.

Я начал работать над моей «Всеобщей песней», и мне нужно было место для работы. Я нашел еще не достроенный каменный домик в скрытом от всего мира уголке на берегу океана, в местечке под названием Исла-Негра. Его хозяин, испанец дон Эладио Собрино, старый социалист, капитан корабля, строил этот дом для своей семьи, но надумал продать его мне. Где найти деньги? Я предложил план «Всеобщей песни» издательству «Эрсилья», которое в то время издавало мои произведения, но получил отказ. С помощью других издателей я смог наконец купить в 1939 году этот домик в Исла-Негра.

Идея создания большой поэмы, которая отразила бы общность истории, географических условий, жизни и борьбы наших народов, представлялась мне неотложной задачей. Уединенность и заброшенность моего домика в Исла-Негра, куда доносился лишь шум океана, позво-

---

* Уругвайский поэт (1875—1910).

ляли мне со страстью отдаться созданию моей новой поэмы.

Но жизнь заставила меня покинуть мое уединение.

До Чили доходили тревожные вести об эмиграции испанцев. Более пятисот тысяч мужчин и женщин и среди них бойцы-республиканцы перешли французскую границу. Правительство Леона Блюма под нажимом реакционных сил заключило их в концентрационные лагеря, в крепости и тюрьмы, выслало в районы Африки, прилежащие к Сахаре.

Сменилось правительство в Чили. Резкие изменения, происшедшие в сознании испанского народа, укрепили чилийские народные силы. Наше новое правительство было прогрессивным.

Полуинвалид, с ногой в гипсе после операции, я покинул свое уединение и отправился к президенту Республики.

Дон Педро Агирре Серда принял меня приветливо. «Привозите испанцев сюда, у нас работы хватит на всех. Привозите рыбаков, привозите всех: басков, кастильцев, эстремадурцев». Через несколько дней, еще с ногой в гипсе, я вылетел во Францию, чтобы вывезти испанцев в Чили.

У меня была конкретная должность: я был назначен консулом, поверенным в делах испанской иммиграции. И явился в наше посольство во всеоружии своего титула.

Правительство и политическая обстановка на моей родине изменились, но не изменилось наше посольство во Франции. Возможность направить испанцев в Чили приводила в бешенство наших вылощенных чиновников. Мне выделили кабинет рядом с кухней, враждебность ко мне проявлялась во всем, дошло до того, что мне отказали в писчей бумаге. Перед дверями посольства уже стала собираться «нежелательная публика»: раненые бойцы, юристы и писатели, врачи, потерявшие свои клиники, рабочие всех специальностей. Поскольку они все-таки нашли дорогу в мой кабинет, ведомые желанием обрести приют в Чили, а помещался я на четвертом этаже, мои сотрудники прибегли к поистине дьявольской уловке — они вывели из строя лифт.

Многие из испанцев были ранены во время войны, иные едва выжили после заключения в африканских концентрационных лагерях, и у меня разрывалось сердце, когда я видел, как они с трудом поднимались на четвертый этаж, а бесчеловечные бюрократы наслаждались моими переживаниями.

История каждого испанца, уцелевшего после поражения или выжившего в заточении, была целой повестью со своими главами, где были слезы, смех, одиночество, идиллия. Некоторые из этих историй врезались мне в память.

Я познакомился с генералом авиации Эррерой. Высокий, аскетического склада человек, окончил военную академию и имел несколько титулов. Он вышагивал по улицам Парижа, как тень Дон-Кихота, пришедшая из Испании, старый и прямой, словно черный кастильский тополь.

Когда франкистская армия вклинилась в республиканскую зону, разделив ее на две части, генералу Эррере приходилось в полной темноте инспектировать линии обороны и одновременно командовать двумя образовавшимися группировками. Для этого самолет в кромешной тьме ночи пролетал над расположением противника. Изредка франкистские пули задевали его самолет. Генералу было скучно летать в потемках. Тогда он изучил письменную азбуку слепых и пальцами читал во время своих опасных полетов, между тем как под ним бушевал горестный огонь гражданской войны. Генерал рассказал мне, что ему удалось прочитать так «Графа Монте-Кристо», а когда он начал «Трех мушкетеров», его ночные чтения были прерваны поражением, а затем высылкой из страны.

Другая история, которую я не могу вспоминать без волнения, это история андалузского поэта Педро Гарфиаса. Свое изгнание он проводил в замке одного лорда в Шотландии. Замок всегда пустовал, и Гарфиас, беспокойный, как все андалузцы, ходил каждый день в таверну этого графства и молча, в одиночестве тянул пиво. Английского языка он не знал. Своим постоянным молчанием он привлек внимание хозяина таверны. Однажды вечером, когда уже ушли все местные посетители, хозяин таверны попросил его остаться, и они продолжали пить в молчании, сидя около очага, который говорил за двоих языком своих искр.

Подобные приглашения вошли в обычай, и каждый вечер Гарфиас просиживал с хозяином таверны, одиноким, как и он, человеком — без жены, без семьи. Постепенно языки развязались. Гарфиас рассказывал ему о гражданской войне в Испании, пересыпая свой рассказ междометиями и крепкими словечками чисто в андалузском духе. Хозяин таверны внимал ему с поистине религиозным благоговением, не понимая, естественно, ни одного слова. А затем и сам начинал рассказывать о своих несчастьях, возможно о том, как его покинула жена, какие подвиги совершили его сыновья, чьи фотографии в военной форме стояли на камине. Очевидно, он рассказывал именно об этом, хотя во время этих странных бесед на протяжении месяцев Гарфиас также не понял ни слова.

И однако дружба между двумя одинокими мужчинами, горячо поверявшими друг другу свои несчастья, каждый на своем языке, непонятном для другого, крепла день ото дня, а каждодневные встречи и разговоры до рассвета стали необходимы обоим.

Перед отъездом Гарфиаса в Мексику они в последний раз пили вместе пиво

и разговаривали, потом крепко обнялись и всплакнули при прощании. Их глубокое взаимное волнение было волнением уходящих в свое одиночество людей.

— Педро,— спрашивал я не раз поэта,— как ты думаешь, о чем он тебе рассказывал?

— Я не понимал ни слова, но когда я слушал его, мне всегда казалось, что я знаю, о чем он говорит. Возможно, что мой одинокий друг из Шотландии также знал, о чем говорил я.

Назревала мировая война. Трудности с отправкой испанцев росли с каждым днем. В Сантьяго мое правительство под нажимом иных сил также мешало моей работе. Идя против течения, я выполнил свою миссию, отправив, наконец, в Чили несколько тысяч человек.

Мы отправили их на французском пароходе «Виннипег». На пристани встретились наконец мужья и жены, отцы и дети, которые долгое время были в разлуке, съезжаясь по одному из Европы и Африки. К каждому поезду бросались толпы уже прибывших людей и среди сутолоки, слез и криков искали родных и близких, находя и узнавая их в этих гроздьях из человеческих лиц в окнах вагонов. Все поднялись на пароход. Это были рыбаки, крестьяне, рабочие, интеллигенция — олицетворение силы, героизма и труда.

Моей сражающейся Музе удалось помочь им обрести родину, и я гордился этим.

Чрево Латинской Америки

Купив газету, я прогуливался по улице местечка Варен-сюр-Сен. Прошел мимо старого замка, из руин которого, горевших красными вьюнками, поднимались крытые шифером башенки. Этот старый замок, под чьими сводами звучали в старину золотые одиннадцатисложные рифмы Ронсара и поэтов его плеяды, вставал в моем воображении крепостью из камня и мрамора. В тот памятный день разразилась вторая мировая война. Об этом сообщила крупным, мажущимся черной краской шрифтом газета, которая оказалась у меня в затерянной французской деревушке.

Война должна была разразиться. Гитлер проглатывал страну за страной, а английские и французские государственные деятели спешили, помахивая зонтиками, преподнести ему новые города, государства, народы.

В умах царила страшная неразбериха. Из выходившего на площадь Инвалидов окна моей комнаты в Париже я видел, как отбывали на фронт первые контингенты: мальчики, только что надевшие солдатскую форму, отправлялись прямо в ненасытную пасть смерти. Их уход был печальным, и ничто не могло этого скрыть. В воздухе словно витал призрак заранее проигранной войны.

Добровольные пособники полиции из числа «патриотически» настроенных граждан шныряли по улицам, вылавливая представителей прогрессивной интеллигенции. Они не считали врагами последователей Гитлера или Лаваля, для них врагами были представители передовой французской мысли. В нашем посольстве, состав которого был заметно обновлен, укрылся великий поэт Луи Арагон. Он провел у нас четыре дня, не переставая писать ни днем, ни ночью, пока его разыскивали банды убийц. Здесь, в посольстве Чили, он закончил свой роман «Пассажиры империала». На пятый день, надев военную форму, Луи Арагон отправился на фронт. Это была его вторая война против немцев.

В те смутные дни я привык к атмосфере неуверенности, царившей в Европе, которой не свойственны ни частые перевороты, ни землетрясения, но где смертоносный дух войны носился в воздухе, отравляя хлеб насущный. Из страха перед бомбежками великий город гасил ночью свои огни, и эти потемки, в которых сливалось дыхание семи миллионов человеческих существ, эти густые сумерки, в которых я бродил по городу света, навсегда запечатлелись в моей памяти.

Такие же потемки были и в душах людей. Запах крови, пропитавшей так называемый Запад, пробуждал алчность. В консульства началось паломничество преследуемых.

Как-то я зашел к посланнику одного из наших южноамериканских государств. Никогда не забуду поразительного зрелища, представшего моему взору. Его большой письменный стол в посольстве был буквально весь покрыт столбиками золотых монет. Посланник почти не обратил на меня внимания, продолжая складывать монеты.

Это был невысокий бледный человек с редкими светлыми волосами, обрамлявшими блестящую лысину. Его пухлые пальцы непрестанно двигались, перекладывая фунты стерлингов; белые, как у монахини, руки словно порхали над золотом.

За несколько дней посланник стал миллионером. Ювелиры из Амстердама, торговцы из Брюсселя, богатые евреи из разных стран оставляли ему целые сокровища, горы часов и ожерелий взамен одной лишь визы или паспорта. Посланник принимал подношения и своей рукой игуменьи подписывал документы, которые гарантировали преследуемым спасение, а вскоре, чтобы скрыть свои махинации, выдавал беглецов гестапо. Недолго служили им дорого оплаченные документы.

Мое правительство направляло меня в Мексику, и в 1940 году, с невыносимо тяжелым чувством, вызванным страда-

ниями и беспорядками, свидетелем которых довелось мне стать, я прибыл на плато Анауак, по словам Альфонсо Ройеса, оно славилось необычайно чистым, прозрачным воздухом.

Мексика — страна орла, змеи и кактуса, изображенных на ее гербе. Мексика — страна цветов и колючек, засух и ураганов, сочных красок и нежных мелодий, страна вулканов и удивительного творческого взлета — околдовала и ослепила меня своим чарующим светом. За многие годы я изъездил всю страну, побывал на ее базарах, ибо Мексика прежде всего именно это, а не пистолетная перестрелка, не гортанные песни и тривиальные усы, чем изобилуют дешевые, изрядно надоевшие кинофильмы.

Мексика — это страна сарапе*. Это страна огромных кувшинов и сладких плодов, над которыми вьются пчелы.

Мексика — это бескрайнее поле меченосных серовато-голубых агав, усеянных цепкими шипами.

Все это можно увидеть на самых прекрасных в мире базарах, где фрукты и шерсть, гончарные изделия и ткани свидетельствуют об изумительной силе созидания, таящейся в вечно творящих пальцах мексиканцев.

Ведущее место в искусстве Мексики еще двадцать два года назад заняла живопись.

Стены многих зданий города Мехико расписаны художниками на исторические, географические, гражданские и острополемические темы. ...На вершине славы был тогда Хосе Клементе Ороско, тощий однорукий титан, своего рода мексиканский Гойя. Я не раз беседовал с ним. В нем самом, казалось, не было той мощи, которой отличались его произведения. В нем была мягкость гончара, который потерял руку и оставшейся рукой должен по-прежнему создавать целые вселенные. Изображенные им солдаты и солдатская жизнь, крестьяне, которых расстреливает управляющий на плантации, его саркофаги со зверски распятыми — это бессмертные творения южноамериканской живописи, запечатлевшие жестокость пережитого.

Диего Ривера, этот художник-гигант, к тому времени столько написал и так перессорился со всеми, что уже стал как бы персонажем из сказки. Когда я смотрел на Диего, мне казалось странным, почему я не вижу у него чешуйчатого хвоста или когтистых лап.

Ривера всегда был фигурой былинной. Еще много лет назад Илья Эренбург опубликовал в Париже книгу о его подвигах и мистификациях под названием «Необычайные похождения Хулио Хуренито».

Тридцать лет спустя Диего Ривера попрежнему был великим учителем живописи и великим выдумщиком.

Иногда, вращая своими угрюмыми глазами индейца, он часами доказывал мне то, что он европеец, а в другой раз, забыв об этом, утверждал, что он — отец генерала Роммеля, и предупреждал, что я должен хранить это в строгой тайне, в противном случае могут быть серьезные международные последствия.

Он обладал удивительным даром убеждения, а его спокойная манера выкладывать самые неожиданные детали делала его неотразимым шутником, очарования которого не могли забыть все, знавшие его.

Давид Альфаро Сикейрос находился тогда, как и сейчас, в тюрьме. Я познакомился и встречался с ним в тюрьме, а по правде говоря — и вне ее, когда вместе с майором Пересом Рульфо, начальником тюрьмы, мы все отправлялись выпить бокал-другой вина куда-нибудь, где нас мало кто знал. Мы возвращались поздно ночью, я прощался, а Давид шел к себе в темницу.

Ривера и Сикейрос, эти страстные вдохновенные художники, всегда были в центре всеобщего внимания. Иногда между ними разгорались жестокие споры Во время одного из них, исчерпав все аргументы, Диего Ривера и Давид Альфаро Сикейрос выхватили пистолеты и почти одновременно выстрелили, но не друг в друга, а в крылья гипсовых ангелов, которые украшали потолок театра. На головы зрителей посыпались тяжелые гипсовые перья, оба художника покинули театр. В опустевшем зале стоял сильный запах пороха.

Руфино Тамайо в то время жил не в Мексике. Он поселился в Нью-Йорке, откуда доходили слухи о его темпераментных картинах, представлявших Мексику так же, как фрукты или ткани на мексиканских базарах.

Между живописью Диего Риверы и Давида Альфаро Сикейроса нельзя проводить параллель. Диего — классический мастер рисунка, своего рода каллиграф в живописи. В его картинах отражены история, трагедия и обычаи мексиканского народа. Живопись Сикейроса — это взрыв вулканического темперамента, где удивительная техника сочетается с большим жизненным опытом.

По вине Сикейроса я побывал в Гватемале.

Во время тайных выходов из тюрьмы и бесед о суете земной мы договорились с Сикейросом о способах его окончательного освобождения из тюрьмы. Я собственноручно поставил визу в его паспорте и вместе с женой Анхеликой Ареналь он выехал ко мне на родину. В городе Чильян, разрушенном землетрясениями, Мексика выстроила школу, и в этой «мексиканской школе» Сикейрос необыкновенно хорошо разрисовал одну из стен. Фреска Сикейроса, возможно, является единственным произведением живописи, которое навечно прославит Чили.

За эту услугу, оказанную националь-

---

* Многоцветная индейская накидка.

ной культуре, правительство Чили отплатило мне: я был на два месяца отстранен от обязанностей консула.

Я решил съездить в Гватемалу и отправился туда на автомобиле. Мы проехали через перешеек Теуантепек, золотой край Мексики, где одеяния женщин напоминают по расцветке бабочек и воздух напоен ароматом меда. Путь наш лежал через густую сельву в Чиапас. Ночью мы остановили машину, напуганные удивительными звуками — своеобразным телеграфом сельвы. Мириады цикад стрекотали как-то по-космически громко и необычно. Загадочная Мексика раскинула свою зеленую тень над старинными сооружениями, фресками, сокровищами и памятниками, над каменными головами колоссальных размеров и над каменными животными. Все это покоится в сельве на протяжении многих веков.

Когда мы пересекли границу на самой высокой точке Центральной Америки, узкая дорога, ведущая в Гватемалу, поразила меня зарослями лиан и гигантской листвой, спокойной гладью горных озер, лежащих, как глаза, забытые сумасбродными богами, сосновыми борами и широкими реками, с их первозданной красотой.

Неделю я провел в доме Мигеля Анхеля Астуриаса, который тогда еще не написал своих знаменитых романов. Мы почувствовали, что родились быть братьями, и почти не разлучались. По вечерам мы планировали поездки далеко в горы, на вершины, одетые облаками, или в тропические порты, где властвует «Юнайтед фрут компани».

Гватемальцы избегали говорить на политические темы: у стен были уши. Иногда, чтобы свободно поговорить, мы останавливали машину на каком-нибудь плато и, удостоверившись, что за деревьями никто не прячется, принимались всласть обсуждать положение в стране. Каудильо звали Убико, он уже много лет был у власти. Это был тучный, с холодным взглядом человек, отличавшийся жестокостью. Убико диктовал законы, и в Гватемале все совершалось лишь с его письменного разрешения. Я познакомился с одним из его секретарей, ныне моим другом, революционером. За какое-то незначительное возражение каудильо приказал привязать его к колонне в своем кабинете и зверски избил плетью.

Молодые поэты попросили меня почитать им стихи. Предварительно они направили Убико телеграмму и получили его разрешение. Зал был заполнен моими друзьями и студентами. Читал я с удовольствием, мне казалось, будто моя муза распахивала окна огромной тюрьмы. Начальник полиции с важным и высокомерным видом восседал в первом ряду. Позднее я узнал, что четыре пулемета держали меня и публику под прицелом, готовые открыть огонь, в случае если начальник полиции демонстративно покинет зал во время моего выступления. Но ничего подобного не случилось, ибо он до конца оставался на своем месте. Потом меня хотели представить диктатору, страдавшему наполеоновской манией величия. Как и Бонапарт, он спускал на лоб прядь волос и любил фотографироваться в наполеоновской позе. Мне сказали, что отказываться от этого предложения опасно, но я предпочел не подавать ему руки и поспешил вернуться в Мексику.

Мексика вобрала в себя всю соль земли. Под сень мексиканской свободы стекались писатели из всех стран мира по мере того, как в Европе разгоралось пламя войны и гитлеровские орды одерживали победу за победой, оккупировав уже Францию и Италию. Среди других там находилась Анна Зегерс и ныне покойный чешский писатель-сатирик Эгон Эрвин Киш. Киш оставил после себя несколько великолепных книг, и я всегда был искренним поклонником его неистощимого остроумия, любознательности и умения показывать фокусы. Едва войдя ко мне, Киш вынимал яйцо из моего уха или глотал одну за другой монеты, которых так недоставало этому большому писателю-изгнаннику. Мы познакомились еще раньше, в Испании, и всегда он настойчиво расспрашивал, почему я выбрал псевдоним Неруда, а я обычно отвечал в шутку: «О, великий Киш, ты раскрыл тайну полковника Редла (нашумевший случай шпионажа в Австрии в 1914 году), но ты никогда не раскроешь тайны имени». Так оно и получилось. Он умер в Праге, окруженный почестями, но так и не узнал, почему Неруда называется Нерудой. А ответ был настолько простым и лишенным всякой сенсации, что я обычно отмалчивался.

Когда мне было 14 лет, отец упорно не разрешал мне заниматься литературной деятельностью. Он не хотел, чтобы его сын стал поэтом. Решив опубликовать свои первые стихи, я стал искать псевдоним, который не вызвал бы у него никаких подозрений. В одном журнале я натолкнулся на чешскую фамилию, не ведая, что она принадлежала великому писателю, широко известному у себя на родине, чей памятник стоит в районе Мала Страна в Праге. Когда много лет спустя мне довелось побывать в Праге, первое, что я сделал — положил цветы у подножия бородатой статуи Неруды.

У меня бывали испанцы Венсеслао Росес из Саламанки и Констансиа де ла Мора, республиканка, родственница герцога де Мауры (ее книга «Вместо роскоши» * была бестселлером в Соединенных Штатах), поэты Леон Фелипе, Хуан Рехано, Морено Вилья, Эррера Петере, ху-

* В 1942 году издана в СССР под этим же названием.

дожники Мигель Прието, Родригес Луна; итальянцы-изгнанники Витторио Видали, прославившийся в Испании под именем Карлоса, командира Пятого полка, и Марио Монтаньяна, полные воспоминаний, удивительных историй и любознательности. Жили там и Жак Сустель и Жильбер Медиони, деголлисты, представители Франции; и добровольные или вынужденные изгнанники из Центральной Америки — гватемальцы, сальвадорцы, гондурасцы. Вся эта многонациональная масса людей наводняла город Мехико, и казалось иногда, что в моем доме на Пятой старой улице в квартале Сан-Анхель трепещет и бьется сердце мира.

С этим Сустелем, тогда — левым социалистом, а позже — политическим руководителем алжирских мятежников, у меня вышла история, о которой я не могу не рассказать.

Шел 1941 год. Нацисты блокировали Ленинград и продвигались в глубь советской территории. Японские милитаристы начинали опасаться, что Германия выиграет войну и они потеряют свой куш военной добычи. По миру ползли разные слухи. Даже указывался час, когда японцы обрушатся всей своей мощью на Дальний Восток. А в это время японская Миссия мира била поклоны в Вашингтоне перед североамериканским правительством. Не оставалось сомнений, что японцы нападут скоро и неожиданно, поскольку «блиц криг» стал кровавой модой эпохи.

Чтобы моя история была понятна, следует сказать, что старая японская пароходная линия соединяла Японию с Чили. Я неоднократно путешествовал на этих пароходах и знал их очень хорошо. Они задерживались в наших портах, где их капитаны занимались скупкой железного лома и щелкали фотоаппаратами. Пароходы плыли вдоль всего чилийского, перуанского и эквадорского побережий и дальше, к мексиканскому порту Мансанильо, откуда брали курс на Иокогаму через Тихий океан.

Итак, когда я был генеральным консулом Чили в Мексике, однажды ко мне пришли семь японцев с просьбой срочно выдать им въездные визы в Чили. Они всего лишь несколько часов назад прибыли в Мексику. По их лицам видно было, что они взволнованы. Японцы имели при себе документы, где говорилось, что они являются инженерами или представителями различных промышленных предприятий. Естественно, я спросил их, почему они хотят отправиться в Чили с первым же самолетом, ведь они только что оттуда прибыли. Они ответили, что хотят сесть на пароход в чилийском порту Токопилья (селитровый порт на севере Чили). Я сказал, что для этого им нет необходимости ехать в Чили, на другой конец континента, потому что японские суда заходят в мексиканский порт Мансанильо, куда они поспеют во-время, даже если отправятся туда пешком.

Японцы переглянулись и смущенно заулыбались, потом заговорили на своем языке, советуясь с секретарем японского посольства, который их сопровождал.

Тот решил быть откровенным со мной и сказал: «Видите ли, коллега, дело в том, что пароход больше не пойдет на север от Токопильи и поэтому не зайдет в Мансанильо. Вот почему эти высокие специалисты должны сесть на него в чилийском порту».

В моей голове мелькнула смутная догадка: происходит нечто очень важное. Я взял у них паспорта, фотографии, поинтересовался их работой в Соединенных Штатах и т. д. и затем попросил зайти на следующий день.

Их это не устраивало. Визы необходимы немедленно, и они готовы уплатить за это любую сумму.

Мне надо было выиграть время, и я объяснил, что должен запросить разрешение на выдачу виз и что мы продолжим разговор на следующий день.

Я остался один.

Чем объяснить это бегство из Северной Америки и такую спешку с визами? А японский пароход, впервые за тридцать лет меняющий курс? Что бы все это значило? Мало-помалу загадка прояснялась.

Вывод был один. Речь шла об очень важной и хорошо информированной, с присущей японскому шпионажу достоверностью, группе, которая бежала из Соединенных Штатов накануне какого-то очень серьезного и неизбежного события. А это не могло быть ничем иным, кроме вступления Японии в войну. И поспешно убегавшие японцы, безусловно, знали об этом.

Догадка повергла меня в состояние крайней нервозности. Что я мог предпринять?

Из представителей союзников в Мексике я не был знаком ни с англичанами, ни с американцами. Я знал лишь Сустеля и Медиони, официально аккредитованных как представители движения, возглавляемого генералом де Голлем, и имевших доступ к правительству Мексики.

Я быстро связался с ними и объяснил ситуацию. У нас были имена японцев и сведения о них. Если бы французы решились вмешаться, те были бы схвачены. Быть может, кто-нибудь из них не отважится на харакири и предпочтет заговорить. Я взволнованно и нетерпеливо доказывал это бесстрастным французам.

— Молодые дипломаты,— говорил я им,— будьте на высоте и вырвите тайну у японцев. Что же касается меня, я не выдам им визы. Но решение надо принимать немедленно. Теперь все зависит от вас.

Эта канитель тянулась еще два дня. Сустель остался равнодушным и не пожелал что-либо предпринять, а мне нель-

зя было заходить слишком далеко. Я отказал японцам в визе, но они быстро обзавелись дипломатическими паспортами, и наше посольство позаботилось о том, чтобы они вовремя прибыли в Чили и успели сесть на пароход в Токопилье. Неделю спустя мир узнал о бомбардировке Пирл-Харбора.

В человеческой памяти, так же как и в жизни, порой уживается рядом, казалось бы, несовместимое. И сейчас, после истории с этими загадочными японцами, мне вспоминаются мои не менее загадочные раковины.

Несколько лет назад одна чилийская газета писала, что когда мой хороший друг, знаменитый профессор Джулиан Хаксли, прилетел в Чили, он осведомился в аэропорту обо мне, назвав мою фамилию.

— Ах, поэт Неруда? — спросили журналисты.

— Нет,— сказал он.— Я не знаю никакого поэта Неруду. Я хочу говорить с малаконологом Нерудой. (Греческое слово «малаколог» означает «специалист по моллюскам»).

Меня очень позабавила эта басня, хотя авторы ее стремились лишь позлить меня, ибо мы с Хаксли знали друг друга уже несколько лет и, конечно, мне известно, что он большой шутник и человек гораздо более живой и непосредственный, нежели его знаменитый брат Олдос.

Когда я был в Мексике, на Кубе и в других латиноамериканских странах, я часто ездил по побережью и собирал там чудесные морские раковины. Обменивая и покупая их, получая подарки и воруя (честных коллекционеров не бывает), я собрал такую большую коллекцию, что ей стало тесно в моем доме.

У меня были редчайшие разновидности раковин, встречающиеся в морях Китая и Филиппин, Японии и балтийских стран, а также антарктические и разноцветные кубинские раковины красного и шафранового, синего и коричневого цвета, похожие на одежды танцовщиц в странах Карибского бассейна. По правде говоря, в моей коллекции недоставало лишь наземной раковины из бразильского Матту Гроссу, которую я видел всего лишь один раз, но не смог приобрести: съездить же за ней в сельву на поиски мне также не удалось. Она была зеленого цвета и по красоте напоминала изумруд. Страсть коллекционера гнала меня в самые отдаленные места. Мои друзья заразились этой страстью и также стали заниматься коллекционированием морских раковин.

Когда я собрал более пятнадцати тысяч раковин, они заняли все стеллажи для книг и буквально сыпались со столов и кресел. Книги о раковинах, или по малакологии, как их называют, заполняли мою библиотеку. В один прекрасный день я уложил всю коллекцию в огромные ящики и отвез все в чилийский университет в качестве первого подарка моей Alma Mater. Это была знаменитая коллекция. В духе добрых, старых южноамериканских градиций университет принял ее с высокопарными речами и похоронил в одном из подвалов. С тех пор эти раковины никто никогда не видел.

Выполнение обязанностей, связанных с пребыванием на посту генерального консула Чили в Мексике, с каждым днем становилось для меня все более тягостным. «Холодные» и «горячие» войны наложили свой отпечаток на консульскую службу, и каждого ее представителя постепенно превращали в обезличенный автомат, который сам ничего не решает и чья работа подозрительно начинает смахивать на полицейскую.

Министерство обязывало меня устанавливать расовую принадлежность обращавшихся ко мне лиц, а именно — африканцев, азиатов и евреев. Представителям этих расовых групп был закрыт въезд на мою родину.

Подобная политика некоторых южноамериканских правительств, среди членов которых немало лиц смешанного расового происхождения, является чисто колониальным порождением. Подразумевается, что лишь горстка снобов с белой или «беловатой» кожей может появляться в обществе чистокровных арийцев или философствующих туристов. К счастью, все это уходит в прошлое, и ООН пополняется представителями все новых рас и национальностей — иными словами, древо рас человеческих, по мере того как по его стволу поднимается сок мудрости, покрывается разноцветными листьями.

Кончилось тем, что все это стало невыносимым для меня, и в один прекрасный день я навсегда отказался от поста генерального консула. Министерство не замедлило принять мою добровольную отставку.

Мое дипломатическое «самоубийство» принесло мне величайшую радость — возможность вернуться в Чили. Я считаю, что человек должен жить на своей родине, и думаю, что когда люди отрываются от родной земли — это так или иначе сказывается на их душевном состоянии. Я не мыслю себе жизни вне моей родной земли, где я могу ходить, трудиться, слушать ее дыхание, видеть бег ее вод и теней, ощущать, как мои корни находят в ней материнские соки.

Но перед возвращением в Чили мне довелось испытать чувство, которое обогатило новым звучанием мою поэзию.

Я задержался в Перу и поднялся на руины Макчу-Пикчу. Мы поднимались в горы на лошадях, так как в те времена еще не было шоссейной дороги, и там с высоты я увидел древние сооружения из камня, окруженные высоченными вершинами зеленых Анд. С цитадели,

изъеденной неумолимым временем, низвергался водопад, и клубы густого белого тумана поднимались над рекой Вилькамайо. Я почувствовал себя бесконечно маленьким в центре вымершего мира, мира гордого и возвышенного, к которому в какой-то степени принадлежал и я. Мне показалось, что и сам я когда-то в далекие времена работал здесь, прокладывая борозды, обтесывая скалы. Я почувствовал себя чилийцем, перуанцем, американцем. На этих труднодоступных высотах, среди славных руин я обрел веру, столь необходимую мне, чтобы продолжать мою песнь.

Там родилась моя поэма «Вершины Макчу-Пикчу».

Борьба и изгнание

В конце 1943 года я снова был в Сантьяго. Обосновался я в своем собственном доме, предусмотрительно и заблаговременно приобретенном. В этом доме, окруженном высокими деревьями, я обложился книгами, и вновь началась для меня трудовая жизнь.

Моя родина не изменилась. Сонные поля и деревни, ужасающая нищета угольных районов и элегантная публика, толкущаяся в своих загородных клубах. Надо было выбирать. И мой выбор принес мне жестокие преследования, зато и светлые мгновения. Но разве поэтам свойственно раскаиваться? Об этом хорошо сказал Курцио Малапарте — мне довелось с ним встретиться несколько лет спустя после тех событий, о которых я собираюсь поведать. Он сказал: «Я не коммунист, но если бы я был чилийским поэтом, я стал бы коммунистом, как это сделал Пабло Неруда. Здесь надо быть или с теми, кто ездит в кадиллаках, или с людьми без школ и без башмаков».

Четвертого марта 1945 года эти люди без школ и без башмаков избрали меня сенатором республики.

Я всегда буду гордиться тем, что за меня голосовали тысячи людей из самого сурового края Чили — из великого края руды, меди и селитры.

Ездить по пампе трудно и утомительно. Дождь здесь выпадает чрезвычайно редко, и пустыня наложила особый отпечаток на шахтеров. На их обожженных солнцем лицах, особенно в темных глазах, застыло выражение печали и отрешенности. Подняться из пампы в горы, побывать в домах бедняков, увидеть невероятно тяжелые условия их работы и почувствовать, что на тебя возлагает свои надежды одинокий и удрученный человек,— это нелегкое дело. Но мои стихи открыли мне дорогу к их сердцам, и я навсегда стал родным для моих собратьев.

В сенат с трудом пробивались известия о тяжелой жизни тех людей, которых представляли мои товарищи и я. Парламентский зал сената, казалось, был выстеган изнутри ватой, чтобы сюда не проникали крики недовольных масс. Мои коллеги из оппозиции были многоопытными экспертами в искусстве патриотической велеречивости, и я чувствовал, что задыхаюсь от их пропитанного фальшью красноречия.

Но вскоре надежды вновь ожили: один из кандидатов на пост президента поклялся творить справедливость, и его убедительные заверения привлекли к нему большие симпатии. Мне было поручено руководить предвыборной пропагандой. И я разнес добрую весть во все концы нашей страны.

Подавляющим большинством голосов народ избрал его своим президентом.

В нашей креольской Америке с президентами происходит зачастую необыкновенная метаморфоза. Новый наш избранник, быстро сменив друзей, породнился с аристократией и постепенно превратился в магната. Сейчас он является президентом одного международного банка.

Всякий волен в своем желании стать банкиром, многие предпочитают проводить свою жизнь в изысканном мире клубов для избранных. Но в данном случае превращение было уж слишком быстрым и неожиданным.

Из-за несогласия с подобной метаморфозой многие друзья правителя, неизменно следовавшие за ним в его предвыборных поездках, были заточены в тюрьмы, находившиеся далеко в горах или в пустыне.

А случилось то, что не раз уже случалось: высшие классы прибрали к рукам наше новое правительство, опутав его сетями своего экономического могущества.

Мои выступления в переполненном зале заседаний сената становились все более яростными, и вскоре я был объявлен вне закона, полиция получила приказ арестовать меня.

Но мы, поэты, в большинстве своем, среди прочих оригинальных свойств, имеем способность становиться то огнем, то дымом. Четыреста пятьдесят квалифицированных полицейских искали меня в течение полутора лет. Но я был неуловим, как дым, и вновь занялся писательством.

То, что произошло со мной, драматически переплеталось с печальной судьбой наших латиноамериканских стран, и в тот год опасностей и подполья я закончил мой основной труд — «Всеобщую песнь».

Я менял квартиру почти ежедневно. Всюду открывались двери, чтобы укрыть меня. Как правило, это были люди незнакомые, но с готовностью дававшие мне убежище на несколько дней. Они звали меня к себе, шла ли речь о часах или неделях. Я жил в деревне и в городе, в портах и в таборах, в домах крестьян и инженеров, адвокатов и матросов, врачей и шахтеров.

Есть одна старинная песня, которую

знают во всех наших странах. Она называется «Всюду частица меня». Народный певец говорит, что ноги его находятся в одном месте, сердце в другом, и так, говорит он, все части его тела разбросаны по деревням и городам.

В те дни у меня было такое же ощущение, и, если бы не вести о тяжелой жизни соотечественников, доходившие до меня со всех концов страны, я чувствовал бы себя бесконечно счастливым тем счастьем, которое дается поэту, когда он чувствует себя единым целым со своим народом.

Я сознаю, что удостоился этой большой чести, этого необычного звания, лаврового венка, который многие презирают, но не имеют.

Среди особенно дорогих моему сердцу приютивших меня семей я вспоминаю одну, что жила в небольшом домике из двух комнат, затерявшемся среди бедных растительностью холмов Вальпарайсо.

На мою долю приходился угол комнаты и кусочек окна, откуда я мог наблюдать за жизнью порта. В мое крошечное поле зрения попадала лишь часть улицы у подножия холма; по вечерам по ней куда-то спешили люди. Это был бедный район, и та небольшая улица, что находилась в ста метрах от моего окна, была единственной освещенной улицей. На ней было много небольших лавчонок.

Поскольку я не мог выходить из своего убежища, меня чрезвычайно заинтересовало, почему ко всему безразличные и вечно торопящиеся прохожие останавливаются всегда в одном и том же месте. Сидя в одиночестве, я ломал себе над этим голову. Что за чудесные товары выставлены в той витрине? Иногда я наблюдал, как там подолгу простаивала какая-нибудь семья с малыми детьми на плечах. Я не мог видеть, но представлял себе, какое восхищение отражалось на их лицах, когда они смотрели на волшебную витрину.

Только месяцы спустя я узнал, что это была витрина обыкновенного обувного магазина, и сделал заключение, что башмаки — вот что больше всего интересует человека. Я пообещал себе изучить и исследовать этот вопрос, а затем написать о нем. У меня всегда не было времени для осуществления этого намерения, созревшего при столь необычных обстоятельствах, но в моих стихах не раз фигурируют башмаки. Они выбивают дробь каблуками во многих моих строфах, хотя я и не намеревался стать поэтом сапожников.

Порой в домик, где я жил, приходили гости. Они не могли знать, что рядом, за легкой перегородкой из картона, оклеенного старыми газетами, находится поэт, которого ищут те, чья профессия — охота на человека.

В субботу вечером и в воскресенье утром приходил жених одной из живущих в этом домике девушек, который тоже ничего обо мне не знал. Он завоевал сердце девушки и был любим, но, увы, ему еще не верили. Я видел из своей половины окна, как он подъезжал на велосипеде, на котором обычно развозил яйца по всему обширному рабочему району, а минуту спустя этот враг моего спокойствия уже входил, напевая, в комнату. Я говорю — враг, потому что он упорно не желал покидать комнату, воркуя с девушкой всего лишь за несколько сантиметров от моей головы и упорно отвергая предложения заняться платонической любовью где-нибудь в парке или в кино. Этот наивный разносчик яиц до сих пор не знает, как он мне мешал. Остальные обитатели домика — овдовевшая мать, две очаровательные девушки и два сына-моряка — были посвящены в тайну.

Моряки в то время вынуждены были разгружать бананы в порту, и мне доводилось видеть их гнев и возмущение, когда их не нанимали ни на один пароход. От них я узнал, что какое-то старое судно разбирается на слом, и, следуя моему совету, а также указаниям, которые я давал им из своего секретного убежища, они сняли чудесную статую, украшавшую палубу, и спрятали ее в одном из складов порта. Я увидел эту статую лишь после возвращения из изгнания. Сейчас, когда я пишу свои воспоминания здесь, на берегу моря, передо мной стоит деревянная фигура прекрасной женщины с античным лицом, как у большинства фигурных украшений на носу старинных парусников, и я любуюсь ее печальной красотой.

Кстати, в то время мои друзья готовили мне побег. Я должен был незаметно укрыться в одной из кают и сойти на берег среди банановых зарослей в Гуайякиле. По мнению моих спасителей, мне следовало появиться на палубе неожиданно, в качестве элегантного пассажира, с сигарой в зубах — которой они никогда не пробовали,— одетого по моде, принятой в тропиках.

Поскольку мой отъезд был неизбежен, на семейном совете решили сшить мне такой костюм, и с меня заранее сняли мерку.

За несколько дней до отъезда костюм был готов. Давно уже у меня не было таких веселых минут. Их понятие о моде сложилось под влиянием нашумевшей тогда кинокартины «Унесенное ветром». У ребят же понятие об элегантности сформировалось в танцевальных салонах Гарлема и в барах и дансингах карибских стран. Двубортный, узкий в талии пиджак доходил мне почти до колен. Брюки были узки в щиколотках.

Я сохранил тот живописный костюм, сшитый для меня добрыми людьми, хотя надеть его мне так и не пришлось, ибо

покинул я свое убежище все-таки не на судне и не сходил я на берег среди банановых зарослей в Гуайякиле в качестве безвкусно одетого туриста.

Я избрал другой путь: выехал на юг Чили и оттуда, верхом на лошади, пересек великие Кордильеры.

В Андах есть много тайных троп, которыми, возможно, пользовались в старину контрабандисты; они настолько трудны и опасны, что даже не охраняются местной полицией. Реки и пропасти взяли на себя труд преграждать путникам дорогу.

Мой друг Хорхе Бельет возглавлял экспедицию. Человек действия, бывший раньше летчиком, он руководил тогда строительством большого лесопильного завода на берегу озера Майуе. Оттуда мы и пустились в путь однажды на рассвете. Начался период дождей. Девственная сельва была окутана предрассветным мокрым туманом. Проводниками нашими были местные пастухи, пять человек, все хорошие наездники. К ним присоединился также мой старый друг Виктор Бианчи, оказавшийся в тех местах в качестве землемера. За полтора года подпольной жизни у меня отросла борода, и он меня не сразу узнал. Услышав о моем намерении пересечь сельву, Бианчи, опытный путешественник, предложил нам свои услуги. В свое время он поднимался на Аконкагуа с экспедицией, трагически там погибшей; Бианчи был едва ли не единственным, кому удалось спастись.

Мы ехали гуськом в торжественной предрассветной тишине. Давно уже, почти с детских лет, я не садился на лошадь, но сейчас мы продвигались вперед шагом.

В сельве южных Анд много больших деревьев, растущих на некотором расстоянии друг от друга. Это гигантские хвойные деревья, лиственницы, майтены. Деревья раули поражают своей голщиной. Одно из них я даже измерил — его диаметр равнялся объему лошади. Кроны деревьев закрывают небо, а под ногами опадавшие веками листья образуют слой перегноя, в котором утопают копыта вьючных животных. Мы молча пробирались по этому грандиозному храму девственной природы.

Проводники возглавляли и замыкали шествие, охраняя нас и прислушиваясь к многоголосым, едва слышным шумам дикого края. Время от времени они делали ударом мачете зарубки на деревьях. Их удары оставляли на стволах, на уровне наших голов, влажные шрамы желтого цвета.

Ближе к вершинам Кордильер деревья стали низкорослыми. Когда на них смотришь сверху, они напоминают множество раскрытых зонтов. Им не давал расти снег. Мы продвигались по бездорожью, и мне трудно было понять, как это проводникам удается не сбиться с пути. Но иногда я видел, что кто-то здесь уже проходил до нас. Я замечал это по могилам, на которые проходившие клали ветки. Они, как пирамиды, возвышались на нашем пути, под ними лежали неудачливые путники — снег навсегда оборвал их путь.

Каждый раз, проходя мимо безвестной могилы, мы со скорбным чувством тоже клали на нее по ветке, воздавая последнюю почесть погибшему.

Глубокой ночью мы прибыли к минеральному источнику Чиуио. Здесь были люди. Мы находились недалеко от границы с Аргентиной. Мне навсегда врезался в память момент нашего появления на этой вершине Кордильер.

В кое-как сколоченном сарае, где громоздились горы сыров, горело в очаге целое дерево. У огня расположились какие-то тени, которые трудно было признать за человеческие существа, так как единственным освещением служили пылающие головешки. Кажется, люди пели, и бренчание гитары выплывало из темноты, сопровождаемое меланхолическим стуком дождевых капель.

Мы нашли пристанище, в котором никому не отказывают на этих вершинах планеты, и, прежде чем лечь спать, погрузились в горячую, почти кипящую воду минерального источника. От нашей усталости не осталось и следа.

На рассвете следующего дня, освежившиеся и отдохнувшие, мы снова тронулись в путь.

Дорога стала обрывистой. Мы продвигались с трудом. Как будто сходились изборожденные морщинами вечные стены Анд, чтобы встать у нас на пути. Войдя в такой скалистый туннель, лошади начинали скользить, высекая подковами искры из камней.

Затем одна река, другая. Величественная, девственная природа не хотела нас пропускать. Мы гуськом въехали в клокотавшую, пенистую реку, которая мчалась с ревом и завыванием страшного зверя. Я едва держался в седле, так как мне пришлось положить ноги на шею лошади. Мне казалось, что река становится все шире, а моя лошадь делала неимоверные усилия, стараясь следовать за теми, кто шел впереди и уже выбирался на берег.

Ступив на твердую землю, я вновь почувствовал, что живу.

— Ну, а если бы я упал и меня понесла бы река? — обернулся я к ехавшему за мной проводнику.

Он ответил со своей неизменной улыбкой:

— Ничего бы не случилось, дон Паблито, как раз здесь упал мой отец и его понесло. Но я ехал с лассо наготове и заарканил его.

Мы миновали реки и броды, и тут произошла какая-то необычайная перемена в пейзаже и в людях.

Бывает так, что палочка дирижера оркестра, исполняющего симфонию, внезапно заставляет смолкнуть все инстру-

менты, чтобы прозвучало соло скрипки, мелодия которой льется и льется, лаская и освежая усталый слух,— нечто подобное случилось и с окружающей нас природой, открыв нашему взору необъятный зеленый простор, от которого веяло ясной безмятежностью. Бескрайние луга с шелковистой травой, как на английских газонах, словно возделанные руками человека, простирались в бесконечные дали; веселое журчанье кристально чистых, причудливо переплетающихся ручьев — все это, казалось, сошло со страниц Гарсиласа. Я был восхищен. Здесь не хватало лишь обнаженных наяд, погружающих белоснежные ноги в прозрачные воды.

Углубившись в это зеленое великолепие, мы спешились и расседлали лошадей. Я едва передвигал ноги и уже собирался растянуться на блестевшей под ласковым солнцем и манившей меня траве, как проводники стали готовиться к какому-то обряду.

В центре почти правильного, вытоптанного ногами круга поблескивал под солнцем бычий череп. Проводники, а затем и все мы стали прыгать на одной ноге вокруг черепа, бросая в него монеты. Они предназначались заблудившимся. А этот обрядовый танец? Я до сих пор не знаю. Тайна гор, ритуал тех, кто всегда в пути.

Нежилая хижина была для нас обозначением границы. Наконец я свободен. Преследование осталось позади. На стене хижины я написал: «До встречи, моя родина. Я ухожу, но я уношу тебя с собою».

В местечке Сан-Мартин-де-лос-Андес мы должны были разыскать одного ожидавшего нас чилийского друга. Так как это горное аргентинское селение было небольшим, мне сказали: «Отправляйся в лучший отель: там Педрито Рамирес и найдет тебя».

Но судьба распорядилась иначе. Сан-Мартин-де-лос-Андес славился не одним, а двумя лучшими отелями. Какой выбрать?

Мы направились в самый дорогой, расположенный в удаленном квартале, оказав ему предпочтение перед другим первоклассным отелем, который, я полагаю, все еще стоит там, на красивой городской площади.

Вышло так, что выбранная нами гостиница оказалась уж слишком фешенебельной и нас не пожелали пустить. После нескольких дней путешествия на лошади, с поклажей за плечами, обросшие и пропыленные, мы могли внушить страх кому угодно, а директору лучшей гостиницы — тем более.

Нам сказали, что здесь разместились знатные англичане, приехавшие из Шотландии половить лососей. Мы ничего общего с лордами не имели, и директор дал нам «от ворот поворот», объяснив и при этом сильно жестикулируя, что последний номер был забронирован всего лишь десять минут назад. Тут в дверях показался элегантный молодой человек, в котором безошибочно угадывался военный, в сопровождении типичной кинематографической блондинки. Он громко воскликнул, обращаясь к нам: «Стойте! Чилийцев ниоткуда не гонят! Они остаются здесь!» И мы там остались.

Он был так похож на Перона, а она — на Евиту, что мы все подумали: это они. Но когда, помывшись и переодевшись, мы уселись вместе с ними за одним столом, на котором красовалась бутылка сомнительного шампанского, мы узнали, что он — начальник гарнизона, а его спутница — актриса из Буэнос-Айреса.

Меня здесь никто не знал, и мы выдали себя за чилийских торговцев лесом, сказав, что приехали по делам. Начальник гарнизона называл меня Человек-гора. Он был чрезвычайно любезен с нами, всячески выказывал нам свое внимание. Наша группа стала неотъемлемой частью небольшого мирка этого местечка. Виктор Бианчи, который сопровождал меня до Сан-Мартин-де-лос-Андес по дружбе и из любви к приключениям, разыскал гитару и своими веселыми чилийскими песнями вызывал восхищение аргентинских дам и кавалеров.

У нас была программа на каждый день и каждый вечер. А Педрито Рамирес все не появлялся. Мои товарищи возвращались в Чили, мне же предстояло пересечь океан. И я отнюдь не был уверен в том, что мне это удастся сделать. На третий день у нас не было ни чистых рубашек, ни денег, чтобы купить новые, а всякий солидный торговец лесом должен иметь по крайней мере рубашки.

Между тем начальник гарнизона давал в нашу честь обед в полку. Наша дружба с ним стала еще более тесной, и он даже поведал нам о своих антипатиях к Перону. Мы часами спорили о том, чей президент хуже — чилийский или аргентинский. Он всячески старался одержать верх в споре.

Вдруг, когда мы одевались к званому обеду, в мой номер вошел Педрито Рамирес.

— Несчастный! — закричал я.— Где ты так долго пропадал?

Случилось то, чего и надо было ожидать. Он остановился в другом лучшем отеле, что расположен на площади.

Через десять минут мы уже ехали на машине по бесконечной пампе. Нам предстоял долгий путь. Время от времени аргентинцы останавливали машину и готовили мате, а потом мы снова пускались в бесконечное однообразное путешествие.

В Буэнос-Айресе я провел лишь несколько часов, чтобы повидаться с Рафаэлем Альберти, обнять его, и затем

уже не останавливался почти до Парагвая, где сел в самолет, доставивший меня в Европу.

В Париже я порвал свои фальшивые документы и вновь стал самим собой.

Меня ждал Пикассо.

Всего за месяц до этого он произнес свою первую в жизни речь и был счастлив, как ребенок. Его речь была посвящена моему исчезновению. И вот теперь этот гений, минотавр в живописи, циклоп нашего времени, с заботливостью брата занимался самыми ничтожными деталями, связанными с моим приездом, ведя переговоры с властями, обзванивая полмира. В душе я жалел, что он тратит на меня свое драгоценное время.

В те дни в Париже проходил Конгресс сторонников мира. Я появился на нем лишь в последний момент, чтобы прочитать одно из своих стихотворений. Мне аплодировали, меня обнимали. Многие считали, что меня уже нет в живых. Французские газеты писали о жестоких преследованиях, которым я подвергался, и трудно было поверить, что мне удастся обмануть своих преследователей.

На следующий день ко мне в отель пришел брать интервью сеньор Альдерете, старый журналист из «Франс пресс». Он сказал:

— Правительство Чили, узнав из чилийских газет, что вы находитесь в Париже, заявило, что это известие — фальшивка, что здесь находится ваш двойник, ибо Пабло Неруда из Чили не выезжал, сыщики уже напали на след и арест его — дело нескольких часов. Что можно на это ответить?

Я вспомнил тогда, что во времена давнишнего и абсурдного спора о том, сам ли Шекспир написал свои произведения, Марк Твен заявил однажды следующее: «Эти произведения и вправду написаны не Вильямом Шекспиром, а другим англичанином, который родился в тот же самый день и час, а также и умер в тот же самый день, что и Шекспир, и, в довершение совпадения, также звался Вильямом Шекспиром».

— Ответьте,— сказал я журналисту,— что я не Пабло Неруда, а другой чилиец и тоже пишу стихи, борюсь за свободу и меня тоже зовут Пабло Неруда.

Перевод с испанского Е. КЕДРОВОЙ

БОГОМИЛ НОНЕВ

РАЗМЫШЛЕНИЯ О НОВОЙ БОЛГАРСКОЙ ПРОЗЕ

1

Один не слишком благожелательно настроенный западный журналист написал как-то, что на центральных улицах Софии книжных магазинов больше, чем магазинов тканей. Я не считал магазины тканей — надо полагать, что их хватает для удовлетворения нужд жителей Софии — но я знаю, что книжных магазинов всегда недостаточно, что они постоянно перестраиваются, так как помещения их оказываются слишком тесными. И бумаги не хватает. И полиграфическая база узка. И книготоргующие организации все еще работают не так, как надо. А мы не стыдимся говорить об этом книжном голоде, потому что видим в нем одно из ярчайших проявлений культурной революции.

С каждым годом у нас растет книжная продукция: около пятнадцати романов, более пятидесяти томов рассказов, повестей, очерков, столько же стихотворных сборников, около двадцати литературоведческих исследований и сборников литературно-критических статей. Я называю здесь только оригинальную художественную литературу, вышедшую за год. Среди этих книг мы найдем и зрелые произведения, написанные уверенным пером, и «первые опыты», которые радуют нас своей непритворной искренностью, внутренней взволнованностью и благородством устремлений. Мы найдем здесь и варианты старых схем, и бездушные ремесленные поделки — книги, которые не вносят в нашу литературу ничего нового. Однако мы с чистой совестью можем утверждать, что бóльшая часть книг, публикуемых сегодня, разрабатывает сюжеты, подсказанные нашим временем, касается проблем, волнующих человека социалистической эпохи, борьбы нашего народа за построение нового общества.

Наше время — время борьбы, и у него будут свои Бальзак или Толстой, Ботев или Елин Пелин. Они будут преемниками и продолжателями классического наследия и все же останутся сыновьями двадцатого века, века социалистической революции.

Я не верю в книги-сенсации, появляющиеся неизвестно откуда, я ищу произведения, в которых ощущается желание писателя познать душу нашего современника, почувствовать пульс и понять философию жизни, которой живем все мы. Одни из этих произведений будут написаны с подлинным талантом и широтой; другие — просто умело, с большой художественной культурой; будут среди них и такие, которые прежде всего взволнуют нас своей лирической непосредственностью, чистотой чувств и переживаний. Но каждая из этих книг возникнет закономерно, как плод гражданской и эстетической мысли писателя.

Болгарские прозаики среднего и молодого поколения уже сейчас весьма активно обращаются к современной теме. Здесь можно назвать рассказы и новеллы Богомила Райнова, Любена Станева, Йордана Радичкова, Любена Дилова, Петра Незнакомова, очерки и путевые заметки Веселина Андреева, Неделчо Драганова, Алберта Коена, Цанко Живкова, романы Камена Калчева, Андрея Гуляшки, Георгия Маркова, Ивайло Петрова, Атанаса Наковского. Особо следует отметить вышедшие два тома еще не завершенного романа Емилияна Станева «Иван Кондарев», который привлекает внимание читателя широтой своей философско-исторической основы и заслуживает рассмотрения в отдельной большой статье. Наконец, с произведениями на современную тему часто выступают такие известные прозаики, как Светослав Минков, Орлин Василев, Павел Вежинов, Димитр Чавдаров-Челкаш.

Однако здесь необходимо еще раз договориться, что понимать под «современностью» тематики. Для нас долгое время основным был выбор темы и сюжета, жизненного материала, актуального события. Такое толкование «современности» произведения, по меньшей мере, неполно.

Я всегда буду считать, что писателям необходимо обращаться к материалу больших социалистических строек, к тем событиям, которые определяют наш путь в истории. Но при этом никогда не следует забывать, что главная задача художника слова — раскрытие человека нашего времени. Другими словами, речь идет о том, следует ли превращать фон в передний план или же на переднем плане должен быть человек, встающий на фоне истории, событий, пейзажа стройки.

Пытаясь определить, каковы должны быть тенденции нашей современной литературы, я хочу отметить, что мы ждем от писателей не поверхностного, иллюстративного изображения жизни, но глубоких идейно-художественных обобщений, не отзвуков прошедших событий, а предвидения предстоящих, не беллетризованной информации о мероприятиях партии и правительства, а подлинно новаторского изображения жизни, психологии и стремлений человека сегодняшнего дня.

Иногда мы недооцениваем богатые возможности нашей современной литературы и метода социалистического реализма, разнообразие видов художественного выражения, способов раскрытия внутреннего мира писателя — от эпической организации жизненного материала до философско-лирических раздумий, от пространного высказывания до лаконичного, от скупого слова до многокрасочной метафоры, от прямого обращения к читателю до создания глубокого и сложного подтекста.

«Стиль эпохи» следует искать не во внешних изобразительных средствах, примененных тем или иным талантливым представителем современной прозы, а в раскрытии содержания нашей эпохи, в ее революционном движении, в ее устремленности к будущему, в самой сути того, что составляет нашу духовную и общественную борьбу. И чем лучше писатель поймет себя и своих современников, тем глубже проникнет он в существо окружающей его жизни, тем быстрее оформится его писательский почерк.

2

Борясь против лакировки действительности, против конструирования «мифических героев» вместо людей из плоти и крови, болгарские писатели обратились к изображению жизни и судьбы «простого человека». Некоторые стали называть его «маленьким человеком», и это породило сомнение, как бы «маленький» по своему общественному положению человек не оказался человеком с маленькой душой, человеком, чуждым нравственной атмосфере нашего времени. Вспоминали, кроме того, что именно «маленький человек» стал героем итальянских неореалистических фильмов и книг и, следовательно, не может быть типичным для нашего социалистического «климата».

Появление этого героя в современной болгарской прозе иногда было естественной реакцией на «идеальных героев» многих книг периода культа личности, нанесшего серьезный ущерб нашей литературе. И, таким образом, обращение к рядовому герою было в известном смысле защитой героев с высокими идеалами, характерными для нашей эпохи творческого героизма и борьбы за новую социалистическую нравственность.

Еще более несостоятельны сомнения в закономерности появления такого героя с точки зрения традиции нашей литературы. Разве не «маленькие люди» населяют роман Вазова «Под игом», его повести «Отверженные» и «Наша родня», его рас-

сказы и путевые очерки? Однако это люди не бесцветные, они не лишены богатой духовной жизни, высоких стремлений. А герои Елина Пелина и Йовкова? Эти крестьяне и учителя, люди, оскорбленные грубостью жизни, но лелеющие мечту о более справедливом и человечном мире? А герои Г. Караславова, Е. Станева — разве они не «простые» люди?

И если таковы традиции нашей реалистической литературы, тем больше у нас оснований обратиться сейчас к строителю заводов и плотин, к сельскому труженику и народному учителю, к врачу и агроному. Потому что именно эти люди творят в наши дни необыкновенные дела.

Светослав Минков — один из самых острых сатириков и изысканных стилистов болгарской прозы. В своих прежних произведениях, написанных между двумя войнами, он раскрыл нам судьбу обездоленного человека и выразил надежду на то, что жизнь должна быть и будет лучше, разумнее.

Теперь Светослав Минков работает в двух направлениях: с одной стороны — острая социальная сатира, с другой — попытки показать новую судьбу «простого» человека. Среди произведений первой группы следует отметить «сверхъестественное повествование в девяти гротесках» под названием «Патент САС». Американские миллиардеры посещают загробный мир и долго торгуются с богом; летают ангелы с ощипанными крыльями, тени беседуют о процентах и дивидендах, мелькают призрачные образы Тотенауэра и мистера Атомикуса; в этой повести мы видим Минкова-сатирика, безжалостного обличителя прогнившего мира империализма, в недрах которого готовятся новые войны.

Но вот Минков опубликовал рассказ «Орден» — и перед нами открылась судьба тихого архивариуса Петко. Судьба эта печальна, и все же она существенно отличается от судеб прежних героев Минкова — героев книг, созданных между двумя войнами.

Петко Хамсиева постигает несчастье за несчастьем: его домик разрушен во время бомбардировки болгарской столицы, сын его погиб на войне. Петко уже состарился, пора идти на пенсию. Но этот неприметный человек — один из тех, кто всегда делает что-то полезное и доброе: он занимается общественной работой в своем квартале, устраивает развлечения для детей, он для каждого найдет доброе слово.

Светослав Минков выписывает этот образ с волнующей сердечностью, применяя тонкий психологический анализ и добродушную иронию. Петко всю жизнь мечтает об ордене, но в этой его мечте нет суетности и тщеславия, а только чистое душевное стремление получить признание за свой труд. Атмосфера повествования предельно достоверна, образ главного героя написан автором с редким сочувствием и художественным тактом, экономными, сдержанными и в то же время богатыми и разнообразными художественными средствами.

Орлин Василев опубликовал сборник рассказов «Конфликты». Для этих его рассказов, а также для ряда других, напечатанных позднее в наших литературных изданиях, характерен обостренный интерес к судьбе и духовному миру «простого человека», к конфликтам, встречающимся на его пути, и к тем оптимистическим их разрешениям, которые делает возможными наша эпоха. Мне хотелось бы особенно выделить рассказ Орлина Василева «Сердце с изъяном».

История лесничего Алекси Монова, которого принимают в партию, правда, несколько затянута, но написана с теплотой и любовью к одному из тех строителей социализма, чей труд, быть может, остается незаметным при огромных масштабах наших пятилеток. Однако по своей глубокой сущности это труд нового человека, который любит лес уже не только как часть природы, а и как народную, социалистическую собственность. Отсюда — душевная тревога героя, его столкновения с друзьями и односельчанами, которые нарушают закон, безжалостно браконьерствуют, забывают, что лес — это народное добро. Вот почему болит у Алекси сердце, вот почему у него «сердце с изъяном». И именно в этих душевных тревогах и конфликтах Алекси обнаруживаются устои той новой морали, которая постепенно формируется сейчас.

Андрей Гуляшки получил признание в современной болгарской литературе прежде всего романами, в которых воссоздал насыщенную острыми конфликтами жизнь села периода кооперирования. В последние годы он издал четыре повести, объединен-

ные общим заглавием «Приключения Авакума Захова» и представляющие собой новую страницу его творческого развития.

Заглавие подсказывает нам, что это повести так называемого приключенческого, вернее, детективного жанра. Главный герой их, молодой археолог и сотрудник контрразведки Авакум Захов, во многом напоминает конан-дойлевского Шерлока Холмса. Авакум Захов начитан, смел, наделен острым аналитическим умом. Но он — сын нового времени. Андрей Гуляшки словно сознательно стремился к аналогиям с Шерлоком Холмсом, чтобы яснее показать основные психологические и социальные черты своего нового героя. Авакум Захов решает криминалистические загадки не только потому, что перед ним поставлена любопытная сама по себе проблема. Он — убежденный человек нового общества, который борется против вылазок врага, он ясно представляет себе свои задачи. Авакум Захов борется с врагом, проявляя в этой борьбе острый ум, смелость, сильную волю. Он обладает нравственными качествами коммуниста: он не спешит обвинять, если не вполне убежден в виновности человека, он сочувствует тем, кто оступился случайно, он близок простым людям и находит у них поддержку. Перед нами, таким образом, новый герой, завоевавший широкую популярность у болгарских и зарубежных читателей.

Несколько лет назад в болгарскую прозу вошел молодой автор — вошел небольшой книгой рассказов, которую он назвал «Сердце бьется для людей». Несмотря на наше уважение к многотомным романам с многочисленными героями, историческими панорамами и развернутым сюжетом, эта книга была принята без оговорок и колебаний. В нашей критике об этом писателе говорят с восхищением, но и с тревогой за развитие его таланта. Зовут этого молодого писателя Йордан Радичков. Сейчас он автор трех книг рассказов, первую из которых я уже упомянул. Вторая называется «Трудовые руки», третья — «Опрокинутое небо».

В рассказах Радичкова бьется сердце нашего современника. Это писатель, пленяющий нас чистотой и непосредственностью восприятия, высокой нравственностью своих эмоций, оригинальностью взгляда. Ему свойственна склонность к философским обобщениям, утонченность художественного восприятия, и в то же время в его творчестве властвуют простота и искренность переживаний.

Он черпает из источников живой жизни, и этим объясняется его ненавязчивая общительность, его стремление разговаривать с односельчанами и прохожими, которых он встречает на дороге и в лесу — людьми с морщинами забот и труда на лице, людьми с добрыми душами и чистыми помыслами.

Уже в первых двух своих книгах Радичков находит романтику времени не в жесте, не в грохоте тракторов и напряженном гуле собраний, а в едва заметных, но таких показательных переменах, происходящих в душе крестьянина. В этих рассказах чувствуется умение видеть, за спокойной манерой повествования скрывается ищущий, пытливый ум писателя, исследующего новые психологические ценности, присущие человеку нашего времени.

В последнюю книгу Радичкова «Опрокинутое небо» кроме рассказов вошли две повести — «Ветер спокойствия» и «Жестяной петушок», свидетельствующие о быстром развитии таланта молодого прозаика. В них автор словно хочет исповедаться в собственных заблуждениях и в то же время найти ключ к объяснению характера человека, призванного строить новую жизнь. Радичков пишет: «Революция выросла, и люди выросли, иначе бы она погибла». Он рассказывает нам о селе, где рушатся представления о «моем» и «твоем» и набирает силу великое «наше». Писатель не ограничивается констатацией роста материального благосостояния крестьян. Он ищет новые духовные качества того общества, за которое боролись светлые герои революции. Радичков воссоздает сложный сплав действительности, не упрощая и не примитивизируя ее. Как надо жить, чтобы совесть не обленилась, чтобы наше революционное сознание никогда не дремало — вот в чем, пожалуй, центральная нравственная проблема, стоящая перед героями «Жестяного петушка».

Село Черказки, о котором повествует Радичков,— место условное. Но в жизни этого села словно сплетаются все основные моральные проблемы нашего времени, и автор рассказывает нам о них с лирической доверительной интонацией, с характерной для него развернутой метафоричностью, тонко подмечая малейшие психологические движения героев. К сожалению, в некоторых новых его новеллах, опубликованных

в журналах, заметно известное сужение идейного горизонта; утонченность стиля в них доходит до манерности, а попытки философских обобщений не поднимаются выше аллегории. Однако мы не сомневаемся, что писатель такого дарования, встретивший уже на своем пути и горячее признание и немало упреков, всегда будет делать что-то для нас неожиданное и вводить нас в новые миры.

Итак, из рассмотренных нами произведений видно, что в современной прозе все больше утверждается тема простого человека. Она раскрывается средствами реалистическими, хотя нельзя не заметить и той романтической рамки, той поэтической атмосферы, в которой действует наш герой.

Это традиционный для болгарской прозы герой, который прошел через горнило невиданных перевоплощений, чтобы стать творцом, строителем, созидателем новой жизни.

Когда-то Энгельс восхищался людьми эпохи Возрождения, универсально развитыми личностями, полнотой и силой их характеров, их титаничностью. Мы и сегодня с трепетом и восхищением рассматриваем мир гигантов, который открывает нам великий ваятель Микеланджело,— неподражаемые символы творческой мысли и жизненной силы, человеческой дерзости и непоколебимой смелости. Нас потрясает монументальность дельфийских сивилл и библейских пророков, рабов, которые своими могучими мускулами словно рвут цепи веков, и Страшного суда в Сикстинской капелле, олицетворяющего великое возмездие за все несправедливости и преступления, веками угнетавшие человечество.

Эта великая ренессансная тема — человек — раскрывается и в словах шекспировского Гамлета: «Какое чудо природы — человек. Как благородно рассуждает. С какими безграничными способностями...» И, наконец, человек — «краса вселенной».

Суть этой темы — в убежденности философов и художников Возрождения в том, что раскрепощенный человек откроет миру невиданную творческую мощь и запас жизненных сил, богатство мыслей и чувств.

Сегодня мы говорим о создании нового человека, о его непрестанном формировании, изменении, становлении. Титан нашей эпохи — это человек-коммунист, тот, кто разрушает прошлое и, устремившись в будущее, созидает настоящее. Этот человек формируется в обществе, где его социальное поведение и развитие определяется моральным кодексом коммунизма, где он должен вырасти во всесторонне и гармонично развитую личность, сочетающую в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.

К такому герою нашей эпохи и устремлен прежде всего взгляд писателя. Быть может, нам еще недоступен во всей полноте его облик — то ли в силу творческой аберрации, то ли в силу того, что писательские дарования еще находятся в процессе роста и развития, то ли из-за идейных блужданий, сопровождающих порой развитие нашей литературы. Но эра социализма и коммунизма создает человека более великого, более благородного, более совершенного, чем человек Возрождения. Мне нравится определение польского поэта Юлиана Пшибося, который называет нашего современника *цельным простым человеком.* Цельный простой человек — это синтез знания и силы, гуманизма и непримиримости ко злу, это тот, для кого жизнь всегда будет богатством и открытием.

И если в нашей современной прозе становление этого человека показано все еще недостаточно, то нет оснований сомневаться в том, что наша литература покажет его в будущем. И пусть это будет частью наших «литературных мечтаний».

3

Как ни неприятно это некоторым теоретикам литературы, в области жанров происходит усиленное смещение пластов, которое не хочет считаться ни с какими учебниками.

Наиболее популярным жанром, где прозаики стремятся сохранить жанровую «чистоту», продолжает оставаться роман в его классическом виде; но в последнее время наряду с романом особенно широкое распространение получают путевые заметки. Они не имеют определенной жанровой физиономии — в них встречаются и рассказ, и философское эссе, и лирическая исповедь, но они привлекают читателя попытками объяснения интересных явлений современности.

Известные до недавнего времени только как журналисты, Алберт Коен и Неделчо Драганов написали книги о Париже и Африке, обнаружив подлинное писательское дарование. Интересны очерково-философские рассказы Невяны Стефановой о жизни наших черноморских рыбаков. Живой отклик получили опубликованные недавно путевые заметки Веселина Андреева «Мгновения в Египте». Эта книга написана умелой писательской рукой, с юмором и лиризмом; она включает в себя и исторические экскурсы, и живые наблюдения, относящиеся к современной жизни Египта. На страницах журнала «Пламък» известный поэт и прозаик Богомил Райнов начал публиковать свои очерки «Париж ночью». Эта книга — результат продолжительных наблюдений, серьезная попытка автора раскрыть недуги и пороки буржуазного города.

В произведениях, которые я только что назвал, отношения писателя и читателя становятся более близкими, интимными, устанавливается атмосфера доверия. Эта близость писателя к читателю есть проявление того духа коллективизма, который должен сплачивать людей при социализме.

Другой характерной чертой жанрового разнообразия, утверждающегося в болгарской прозе, является все более частое обращение писателей к лирической прозе. Серьезные шаги в этом направлении сделали Йордан Радичков и Ивайло Петров. Короткие рассказы, опубликованные этими писателями, отличает тонкость психологического анализа, философская глубина и взволнованность, покоряющие читателя.

Интересный опыт в жанре лирической прозы представляет и повесть Камена Калчева «Влюбленные птицы». Автор стремится передать атмосферу софийской весны, ее поэтические детали, звуковые и живописные приметы. Но это книга не о природе, а о людях, и рассказывает она обычную на первый взгляд историю — историю любви Лиляны, дочери полковника запаса, и рабочего Румена. Действие происходит в наши дни, да и герои — словно те самые молодые люди, которых мы встречаем каждый день на перекрестках улиц, те самые, которых мы видим, но которые не замечают нас. Камен Калчев умеет вести повествование непринужденным сердечным тоном, отдаваться лирическому порыву или обуздывать его тонкой добродушной иронией, обращаться непосредственно к читателю в лирико-публицистических отступлениях, столь характерных для этой книги. Воздух времени, которым она насыщена, простая и вместе с тем сложная логика нашей жизни многое говорят нашим чувствам и нашему разуму. И можно только пожалеть об известной ее незавершенности, о некоторой ее сентиментальности и о недостаточно углубленной психологической характеристике героев.

Лирико-философская проза — от рассказа до путевых заметок, от очерка до короткой новеллы — ждет своего развития. Первые ее проявления еще робки, но благодаря своей простоте и поэтической взволнованности этот жанр дает нам новые возможности коснуться незнакомых доселе черт в характере нового человека.

4

Мы не скрываем своего пристрастия к произведениям, ставящим важные социальные проблемы, независимо от того, пишем ли мы о прошлом или настоящем, о настоящем или будущем. Мы не скрываем и своего пристрастия к героике, понимая это слово в самом широком смысле. Мы считаем героизм естественной нормой поведения человека социалистического общества, определяющей его бытие.

Открытая защита писателем своих эстетических и этических позиций — вот характерная черта современной болгарской прозы.

Один из болгарских поэтов назвал свой сборник стихов «Четвертое измерение». Это звучит многообещающе. Было бы хорошо, если бы мы, наблюдая за движением жизни и движением литературы, видели не только их трехмерность, но не забывали бы и о четвертом измерении — времени. Мир событий существует не только в пространстве, но и во времени. Но почему же до сих пор еще бывает так, что мы оцениваем какое-либо литературное явление — книгу рассказов, роман или сборник стихотворений — по всем другим идейно-эстетическим измерениям, не связывая их тесно с этим четвертым — временем? И мало ли среди нас людей, теряющих чувство времени, не способных отрешиться от норм литературы прошлого, хотя нормы эти так же не абсолютны, как многие законы классической механики? Люди эти забывают, что каждое вступающее в литературу поколение приносит в нее что-то новое,— сначала неуверенно и робко или, напротив, слишком дерзко и субъективно, часто не поднимаясь до создания больших

произведений, но давая литературе новый психологический заряд, новый ритм, новую пространственно-временную объективизацию.

Нельзя не видеть, что время меняет и характер конфликтов. Основной конфликт в прозе критического реализма, существовавший до освобождения Болгарии, состоял в абсолютной непримиримости между прогнившим капиталистическим обществом и крепнущими силами революции. Этот же конфликт мы обнаруживаем в основе ряда талантливых современных произведений. Но сегодня мы часто говорим о борьбе между старым и новым внутри социалистического общества, между человеком инерции, догмы, схематического мышления и человеком — новатором, творцом, пионером наступающего коммунистического мира.

В своей речи перед работниками культурного фронта, произнесенной 15 апреля 1963 года, товарищ Тодор Живков сказал: «У нас возникают и будут возникать противоречия между старым и новым, между отрицательным и положительным, между отживающим и зарождающимся, у нас ведется и будет вестись борьба против всего того, что тормозит наше социалистическое развитие. Но характер этой борьбы уже совсем другой. Неантагонистические противоречия мы разрешаем другими методами и средствами. Вся политика партии и правительства, труд и усилия народа направлены сейчас на утверждение нового, на преодоление трудностей, на ликвидацию ошибок и слабостей. Вместе с тем мы ведем непримиримую борьбу и против влияния буржуазной идеологии, против выступлений врага—открытых и скрытых—на идеологическом фронте. Основная забота партии — своевременно раскрывать противоречия нашей жизни, мобилизовывать энергию и творчество всего народа на борьбу за их преодоление. Непонимание характера наших противоречий, методов и средств их преодоления неизбежно ведет к извращению нашей действительности, к пессимизму и бесперспективности».

Очевидно, что для современных болгарских прозаиков проблема новых конфликтов — одна из важных творческих проблем, которую они должны разрешить. «Климат» наших дней благоприятствует верному выявлению и отражению в литературе жизненных конфликтов.

Наша современная проза развивается в атмосфере, все более чистой нравственно и политически, когда риторика и славословие уступают место углубленному рассмотрению философских и этических проблем, поставленных партийными съездами, которые и в Советском Союзе, и в Болгарии, и во многих других странах уничтожили тяжелые последствия периода культа личности. В книгах наших лучших прозаиков мы видим результаты размышлений, моральных и политических уроков, преподанных нам в последние годы.

Литературные аксиомы кончаются там, где начинается борьба за современную тему. В библиографических справочниках вы можете насчитать десятки романов, повестей, рассказов, для которых в докладах и статьях была отведена специальная графа — «произведения на производственную тему». Теперь мы видим, как производственный сюжет, композиционная схема, заранее данные психологические решения вытесняли из литературы человека. Уверенность в том, что освоение современной темы приведет к созданию значительных художественных произведений, стимулирует обращение писателей к важнейшим, узловым идейно-психологическим вопросам наших дней.

Павел Вежинов — один из интереснейших мастеров современной болгарской прозы, и только что вышедшая книга его рассказов «Мальчик со скрипкой» вполне подтверждает это. Она подтверждает и тот факт, что в последние годы у нас действительно создана творческая атмосфера, позволившая талантливым и умным писателям быстро стряхнуть с себя пыль догматических схем и начать поиски свежих творческих приемов.

«Мальчик со скрипкой» — не однотемная книга. В ней мы найдем рассказы о строительстве, рассказы, трактующие морально-бытовые проблемы — любви, отцовства, брака; рассказы о жизни городской интеллигенции и части городской молодежи. Общее в этих рассказах — писательский почерк Павла Вежинова: сдержанная манера повествования, тонкость психологического анализа. Прозаик с большим опытом, Вежинов демонстрирует незаурядное художественное мастерство: пейзажи и атмосфера города выписаны предельно экономно, с большим вкусом и выразительностью; диалоги насы-

щены глубоким подтекстом; повествование увлекает остротой конфликтов и особенно постановкой нравственных и социальных вопросов, характерных для жизни нашего общества. В этом смысле чрезвычайно интересными мне представляются рассказы «Обеденный перерыв», «Мальчик со скрипкой», «Мужчина, похожий на утреннюю звезду» и недавно опубликованный в газете «Литературен фронт» — «Мой отец». В этих рассказах Вежинов обращает свой взгляд главным образом на городскую молодежь из вполне обеспеченных семей, молодежь, которой все дается без труда, но которая из-за неурядиц в семье оказывается предоставленной сама себе. В большом городе часто случается, что такая молодежь попадает под дурное влияние. Вежинов ведет рассказ со смелой откровенностью, с глубокой внутренней убежденностью ставит существенные вопросы коммунистического воспитания, стремясь избежать дешевого дидактизма. Писатель, обладающий острой наблюдательностью, Вежинов умеет за подробностями, которые кажутся на первый взгляд несущественными, увидеть много интересного, найти психологические детали огромной художественной силы, добиться определенного ритма, передать с помощью цветовых пятен и черно-белого рисунка жизнь нашей столицы.

Если у Вежинова мы находим конфликты нравственного порядка, возникающие в процессе роста социалистического сознания, то другой представитель так называемого среднего поколения писателей, Богомил Райнов, переносит нас в обстановку капиталистического мира. Недавно издана его книга «Дождливый вечер», в которую вошли три повести.

В первой из них — «Моя незнакомка» — с большим мастерством воссоздан колорит Венеции, описаны ее галереи, люди, вечерние пейзажи, отели на Лидо и дешевые рестораны старого города. Автор прослеживает краткую историю любви бедной девушки-венецианки и бедного парижского учителя. Такого рода сюжет, казалось бы, должен отдавать дешевой сентиментальностью, напоминать о вещах, давно известных, обстоятельствах, не раз фигурировавших в литературе (девушка уходит от своего возлюбленного, потому что он не может создать ей условий, о которых она мечтала всю жизнь). Но в том-то и состоит творческий успех автора, что в банальнейшем сюжете он сумел открыть новые социальные измерения и психологические ценности.

Действие второй новеллы — «Дождливый вечер» — происходит в Париже. Это история современного Растиньяка или Жюльена Сореля, мечты которого о завоевании большого города быстро терпят крах. Перепробовав все профессии от кельнера до продавца контрабандных сигарет, он кончает тем, что становится преступником. Новелла написана с большим знанием ночного Парижа, суровой механики жизни этого «города городов», цинизма улицы и цинизма людских сердец, давно лишенных любви к человеку.

Сюжет последней повести почерпнут из истории борьбы алжирского народа за свободу. Называется она «Как умираем только мы». Это история юноши Жака, борца Сопротивления, который попадает в полицейскую западню и, пройдя через все ужасы пыток (перед нами словно воскресают потрясающие строки, вышедшие из-под пера Анри Аллега), ничего не выдает, сохраняет честь бойца, не дрогнув перед лицом смерти: «И Жак идет вперед и чувствует, что сердце его спокойно и что у него хватит сил умереть. Умереть так, как надо. Как другие. Как умираем только мы». Поэтический пафос окрашивает все произведение, и тем не менее первые две повести обладают, пожалуй, бóльшим художественным единством, завершенностью, убедительностью.

Если Богомил Райнов ищет конфликты в капиталистическом мире, то один из более молодых писателей, Ивайло Петров, возвращает нас в болгарскую деревню. Его повесть «Нонкина любовь»*, обеспечившая ему видное место в современной болгарской прозе, завоевала признание советского читателя и читателей тех стран, где книга была переведена. Теперь Ивайло Петров выступает с новым романом «Мертвая зыбь». Написанный в суровой манере, этот роман рассказывает о недавних событиях в болгарской деревне — о массовом кооперировании крестьянства.

Книга вызвала оживленное обсуждение в литературной критике. Многие ее не приняли из-за отсутствия в ней положительного героя. В художественном отношении роман написан неровно: в нем есть прекрасные страницы и надуманный финал; диалоги, которые трогают своей искренностью, сцены,

* Под названием «Нонка» была опубликована в журнале «Иностранная литература» № 1, 1958.

которые говорят о высоких достижениях прозы, и психологически не оправданные конфликты, расплывчатые образы.

Особенно ценно в романе Ивайло Петрова то, что он пытается нарисовать сложную картину жизни болгарского села, раскрыть характерные для нее острые психологические и социальные конфликты, не ограничиваясь изображением подкупленного врага, который переброшен из-за границы, чтобы использовать недовольство крестьянина-середняка, с трудом расстающегося со своей мелкой частной собственностью. Особенно удачны в романе образы старого Догана и его сына Мануша — людей, которые в силу собственнических инстинктов стремятся затормозить коллективизацию села. Они гибнут под натиском новой жизни. Гибнет и Бойчанский, преданный коммунист, но сектант, готовый на жертвы ради партии, однако лишенный политического чутья, которое направило бы его по верному пути. Он превращает насилие в своеобразную философию исторического развития; ошибки приводят его к конфликту не только с широкими массами трудового крестьянства, но и с партийным коллективом. Постепенно Бойчанский отрывается от масс, политические схемы губят его, и, наконец, выброшенный из политической жизни села, он остается в одиночестве, окруженный ненавистью односельчан и своей семьи. Этот образ выписан с большим художественным мастерством, психологической остротой, жизненной правдивостью.

В болгарскую прозу вошел молодой инженер. Это Георгий Марков. За короткий период мы встречаемся с тремя его книгами — сборником рассказов «Между днем и ночью», книгой новелл «Анкета» и романом «Мужчины».

Георгий Марков ненавидит людей прошлого, которых новая жизнь сметает с переднего плана событий, он пытается раскрыть ничтожество их растраченных впустую судеб, призрачность их жизненных импульсов, нищету их опустошенных душ. Эта авторская позиция особенно ярко выражена в повести «Последний патент».

Но Марков не остается в этом замкнутом кругу жизненных проблем, которые исторически уже исчерпывают себя и не могут целиком поглотить внимание писателя, стремящегося воссоздать современность. В ряде лучших своих рассказов («Анкета», «Другой не придет», «Перелетные птицы», «Парень», «Матери и сыновья») Марков обращается к современнику, к изменяющейся душе человека, к психологии новых измерений. Писатель стремится раскрыть нравственный мир нашего современника — рабочего, интеллигента. Подобно ряду других представителей молодой болгарской прозы, Георгий Марков ищет общественные и личные идеалы в жизни и искусстве, пытаясь прийти к ним своими путями. Как и эти молодые писатели, он испытывает особый интерес к острым конфликтам, к «вечным темам», перенесенным в наши дни, к тем сюжетным ситуациям, которые открывают богатые возможности для «сердцеведения», для психологического анализа.

В «Мужчинах» автор стремится создать «антитрадиционный» роман. Мы видим здесь условность в построении сюжета, поэтическую гиперболу в обрисовке образов, философскую афористичность и в то же время романтический темперамент, придающий всему произведению предельно лирический облик. И если роман пользуется большим успехом у читателей, то я отношу это не столько за счет его «антитрадиционной» формы, сколько за счет духа современности, которым он несомненно проникнут, за счет актуальности нравственной проблематики, лежащей в его основе. Очевидно, Георгий Марков интересный, ищущий автор, враг традиционности не только в области формы, но и прежде всего сторонник нового в содержании. Он все чаще обращается к образу настоящего человека в наших социалистических условиях, придерживаясь романтической его трактовки.

Роман Атанаса Наковского «Мария против Пиралкова», известный советскому читателю *,— творческая удача автора. Молодой писатель стремится изобличить человеческую низость и показать торжество высокой коммунистической морали. Внешние события, изображаемые автором, не содержат в себе ничего исключительного, подлинная драма кроется в душах участвующих в них людей. Это вынуждает писателя возвращаться назад, в прошлое своих героев, искать причины, определяющие их характеры, в их молодости и общественном воспитании. Героиня романа Мария борется против профессора Пиралкова за торжество

* См. журнал «Иностранная литература» №№ 1, 2, 1963.

истины. Я бы не сказал, что сюжет оригинален, но значение романа заключается в точности психологического анализа, в раскрытии душевного состояния героев, в той нравственной атмосфере, которая царит в книге.

5

Выше отмечены некоторые характерные черты и произведения болгарской прозы, посвященной нашей современности.

Мы все еще не можем быть вполне удовлетворены. Образ нашего современника обладает большей душевной глубиной, чем это представлено в лучших произведениях. Образ человека, который является движущей силой революции, создает заводы и законы, сражается в недрах земли и парит высоко в облаках, человека, который борется с ложью и воздвигает устои будущего коммунистического общества,— образ этого человека все еще не нашел своего всестороннего и яркого художественного воплощения. А читатель и критика настоятельно требуют все более частых встреч на страницах книги с человеком воли и мысли, с образами-открытиями, которые вовлекут нас в интеллектуальную дискуссию нашего времени—общественно-философскую и эстетическую, этическую и политическую, дискуссию, которую в одном плане ведут между собой два мира, а в другом плане ведем мы — между собой и сами с собой, чтобы открыть горизонты будущего.

Основная проблема, волнующая наших прозаиков,— это борьба против буржуазной идеологии, против ревизионистских выпадов и против остатков сектантско-догматического мышления. После развенчания культа личности в нашей стране сложились благоприятные творческие условия, о чем свидетельствует рост молодых талантов во всех областях литературы и искусства, в том числе и в современной болгарской прозе. Разумеется, некоторые молодые писатели не ограждены от влияния буржуазной идеологии, от механических заимствований из литературы буржуазного Запада, от пустого подражательства или подчинения диктату временной моды. Об этом подробно говорилось на продолжавшейся несколько дней встрече Политбюро ЦК БКП с деятелями литературы и искусства и в заключительной речи товарища Тодора Живкова «Коммунистическая идейность — высший принцип нашей литературы и искусства». Во время этой встречи было подчеркнуто, что основные линии, по которым развивается наша литература, верны, перспективы ясны. Тодор Живков сказал:

«Никоим образом не следует допускать, чтобы борьба против проявлений чуждых влияний в искусстве, литературе, театре, кино и сатире сковывала творчество наших писателей, художников, киноработников. Нужно, чтобы именно теперь раскрылись еще более широкие просторы для творческих исканий, дерзновений, для создания сильных и оригинальных произведений. Создавать повсюду обстановку творческих обсуждений, терпимости и уважения к мнению других, развивать коллективный ум наших творческих работников, но оставаясь всегда на твердых идейных позициях, позициях марксизма-ленинизма, социалистического реализма — вот что сейчас жизненно необходимо».

Можно ли сомневаться в том, что подобная атмосфера творческой жизни будет способствовать в ближайшие годы еще большему росту успехов болгарской литературы?

В западной печати в последнее время снова стал подниматься вопрос о гуманизме в литературе. Мы знаем, что для буржуазного идеолога это фальшивое знамя, так как именно он лишен тех позиций, которые нужны для защиты человека. Гуманизм — знамя нашего мира; развитие его, начиная с этических основ, заложенных классической литературой, проходит через Ренессанс и французскую буржуазную революцию — к великой общечеловеческой этике коммунистической революции. И товарищ Тодор Живков в своей речи справедливо сказал: «Нет бóльших гуманистов, чем мы, марксисты, коммунисты. Мы, марксисты, за подлинную свободу, против всякого рабства и всяких цепей, которые сковывали и сковывают человека. И мы это доказывали, доказываем и будем доказывать. Мы несем знамя истинного гуманизма».

В рассмотренных выше произведениях современной болгарской прозы находит яркое выражение это человеколюбие, обогащенное революционным опытом нашего народа, прочными идейными позициями марксизма-ленинизма, ясными перспективами будущего. Эти книги написаны взволнованно, они разоблачают обман и защищают истину, воюют с консерватизмом и восхваляют новаторство, отражают ненависть к старому и утверждают проявления новой

морали, новых человеческих взаимоотношений, разрешают новые неантагонистические, но острые конфликты, характерные для нашего развития.

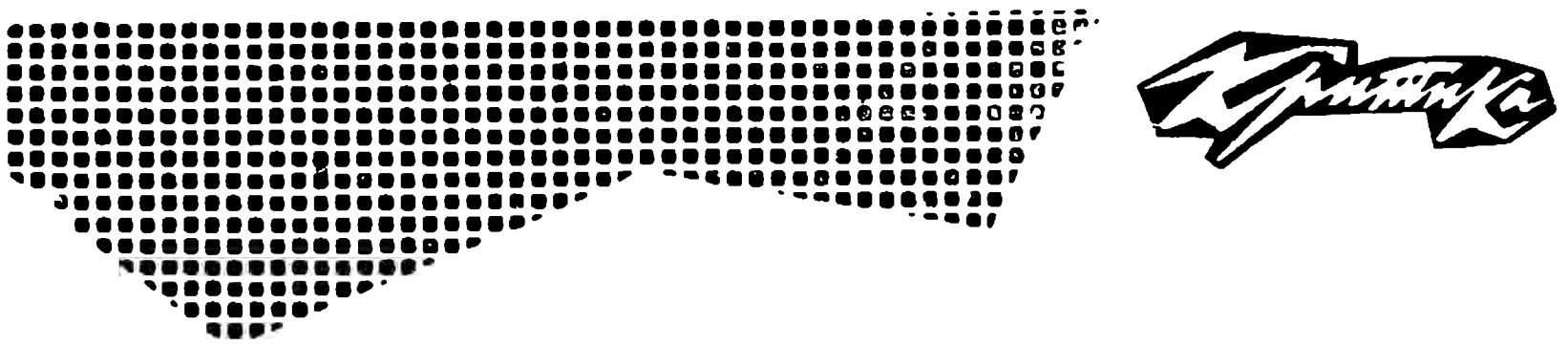
Атмосфера нашей литературной жизни сегодня способствует появлению произведений пробуждающих наши надежды, порождающих много мыслей и очерчивающих проблемы, которые нам предстоит в ближайшие годы разрешить. Разговор о литературе, состоявшийся в этом году, показал нам, что к литературным произведениям, проникнутым партийной страстностью и темпераментом художника, надо предъявлять еще более высокие идейные требования. Он показал нам и необходимость еще более углубленной разработки вопросов художественного мастерства, стоящих перед нашими литераторами.

Нетрудно заметить настойчивые попытки наших писателей расширить стилевые и жанровые границы современной прозы. Здесь можно быстро прийти к удачным открытиям, но можно и ошибиться, можно двигаться вперед медленно. Однако не подлежит сомнению, что далеко ушло то время, когда определенные жанровые или стилистические признаки считались непреходящим эталоном, когда опыт одного или нескольких лучших писателей выставлялся как единственно возможный образец. И чем горячей будет наша творческая дискуссия — а для такой дискуссии есть все условия,— тем успешнее сумеем мы избежать эпигонства, механического заимствования, шаблона.

В разрешении стоящих перед нами идейно-художественных проблем принимают участие писатели разных поколений. И «старые» и «молодые» работают сейчас на одном литературном фронте и стоят на единой идейно-художественной платформе. Правда, иногда можно заметить, как темперамент молодости приводит к необоснованному нигилизму, в то время как успокоенность, приходящая с годами, порой делает нас недоверчивыми по отношению ко всем бурным и бескомпромиссным выступлениям «молодых». Но и «старые», и «молодые» ищут одну правду, ищут пути развития литературы социалистического реализма, стремятся обрести свой творческий почерк, постоянно поддерживают огонь высокого идейного и творческого горения.

Литературный критик всегда живет не только радостями уже достигнутого в литературе сегодня — его «литературные мечтания» устремлены к успехам завтрашнего дня. И эти творческие победы уже ощутимы, они уже близко, они зреют вместе с расцветом нашей социалистической родины. Они придут.

г. София



А. ЕЛИСТРАТОВА

«ТРАГИЧЕСКОЕ ЖИВОТНОЕ — ЧЕЛОВЕК»

О двух романах Джона Апдайка

Менее пяти лет прошло с тех пор, как молодой американский писатель Джон Апдайк обратил на себя внимание читателей своим первым романом «Ярмарка в богадельне» («The Poorhouse Fair», 1959) и сборником рассказов «Та же самая дверь» («The Same Door», 1959). За эти несколько лет он успел, однако, выдвинуться на авансцену литературы США — причем творчество его приобрело направление, заставившее критику пересмотреть многие оценки и прогнозы, высказанные на основании его первых опытов.

Первые выступления Апдайка были встречены в США с благодушным одобрением. «Солидная и освежительная книга» — так аттестовал рецензент книжного обозрения «Нью-Йорк таймс» его сборник «Та же самая дверь», с особой похвалой отозвавшись при этом о «хорошем настроении», присущем Апдайку. Более требовательным и скептическим английским критикам эти рассказы показались, напротив, вялыми, незначительными, похожими на серию «хорошо сделанных, но ужасающе отлакированных американских фильмов». Поясняя это сравнение, рецензент еженедельника «Нью стейтсмен» попрекнул даже Апдайка «удивительной самоуверенностью», с какою он, подобно другим американцам, полагает, что «их образ жизни является нормой».

Но с выходом романа «Кролик, беги» («Rabbit, Run», 1960), после которого, собственно, и началась широкая литературная известность молодого писателя, положение резко изменилось.

Можно было по-разному судить об этой книге, но она уж никак не позволяла усматривать в авторе сторонника «американского образа жизни». Одна из первых рецензий на роман появилась под многозначительным заголовком: «Американская трагедия — год 1960». Рецензент литературного приложения к лондонской «Таймс» писал о «Кролике» как о «романе, внушающем тревогу», ибо в нем отразились «реальные и значительные» противоречия сегодняшнего американского общества.

Рецензент «Нью-Йорк геральд трибюн букс» Милтон Ругоф, сопоставивший роман Апдайка с «Американской трагедией» Драйзера, постарался, впрочем, сузить границы аналогии. Он подчеркивал и «значительную дистанцию», отделяющую друг от друга эти книги, и несхожесть индивидуального облика Гарри Энгстрома, «героя» Апдайка, и драйзеровского Клайда Гриффитса. И все же сопоставление остается правомерным несмотря на все эти оговорки: оно заключает в себе зерно истины, истины горькой и неприятной для вершителей общественного мнения США, но зато проливающей свет на закономерности и социального развития

США, и американской литературы. Как долго и упорно старались американская печать, литературная критика, академическая филология общими усилиями «навечно» отодвинуть Драйзера в прошлое, «закрепить» его творчество за первой четвертью века, чтобы нерушимыми межевыми знаками оградить от опасного влияния этого «грубого» таланта новые поколения американских писателей! И что же? Через тридцать пять лет после того, как Драйзер осудил «американский образ жизни» за его враждебность человеку и показал трагическую изнанку иллюзий американского буржуазного индивидуализма, молодой художник, которого даже не было еще на свете, когда появилась «Американская трагедия», снова обратился к той же теме, хотя и в несколько ином ракурсе, и доказал, что она сохраняет всю свою жизненность и в наши дни.

Мы напрасно стали бы искать в романе Апдайка драйзеровскую глубину социального анализа, емкость и последовательность его реалистических обобщений. Но критическое отношение молодого романиста к американской цивилизации несомненно, и книга его наводит на серьезные размышления.

«Американская жизнь, от которой убегает Кролик,— писал цитированный нами выше Милтон Ругоф,— страшна, вульгарна, убийственна в своем конформизме, уныла и невыразимо безвкусна; но страшен и сам Кролик...»

Гарри Энгстром, Кролик, как видно уже по его прозвищу,— не из хищников; впрочем, ведь и Клайд Гриффитс в «Американской трагедии» Драйзера был очень неумелым, трусливым и жалким хищником. Но на совести у Кролика по крайней мере одна человеческая жизнь, хотя он и старается обелить себя. («Нечего на меня смотреть. Не я ее убил... меня и близко не было»,— с упрямством труса твердит он на кладбище, у незасыпанной могилы своей крошечной, трехнедельной дочери.) По-своему Кролик даже добр; он никому не желает зла, он искреннее и честнее большинства окружающих людей, с которыми его может сопоставить читатель романа. В нем бродит смутное недовольство жизнью, которая кажется ему ненастоящей, лишенной искры божьей. Но он не в силах ни обдумать свое положение, свое настоящее и будущее, ни отнестись по-человечески к тем, чье счастье зависит от него. «Человеческий мусор»,—говорит о нем отец, старый наборщик Энгстром; «отбросы»,— думает о себе сам Кролик.

А между тем, казалось бы, Гарри Энгстром со своей молодой женой Дженис и двухлетним сынишкой живут именно той «благополучной» обеспеченной жизнью, стандартные внешние приметы которой прославляются и в рекламных картинках, и в статистических выкладках американской печати. У молодоженов есть и своя квартира с телевизором, холодильником и ванной комнатой, и своя подержанная, но еще почти новая машина, есть достаточно долларов и на еду, и на одежду, и на виски — есть все, кроме счастья.

Работа не занимает молодого Энгстрома. Да и трудно было бы всерьез видеть смысл своей жизни в рекламировании усовершенствованной машинки для чистки овощей, которую он изо дня в день демонстрирует домашним хозяйкам, или в том, чтобы, став приказчиком тестя, торгующего подержанными автомобилями, надувать покупателей, выдавая старые машины за новые. Самое светлое в душе Энгстрома — это воспоминание о том времени, когда он, еще подростком, был гордостью баскетбольной команды, одерживал победы и брал призы. Но это — в прошлом. Это было «первый сорт». А все остальное в его жизни заведомо «второй сорт», в том числе и его брак с Дженис; «право же, второй сорт»,— твердит он в ответ на фарисейские увещевания пастора Эклза, пытающегося, по долгу службы, заставить Кролика вернуться домой. А Дженис? И она несчастлива. Кролик уже не узнает «своей девочки», прежней Дженис, в этой вялой, отупевшей, ко всему равнодушной женщине, которая просиживает целыми днями перед экраном телевизора, машинально следя за всеми передачами, с неизменной бутылкой виски под рукой. Когда она пьет, ей кажется, что она не так одинока... На третий год после свадьбы Дженис начинает походить на старуху: опустились углы вялого рта, показались морщины, налились кровью глаза, запали виски, поредели волосы... А Гарри? Ему кажется, что и его жизнь уже кончилась. «Кажется, словно лежишь в гробу, только кровь не успели выкачать»,— говорит он жене.

Существование этой семьи, по видимости вполне безбедное, обывательски благопо-

лучное, «как у всех», страшно своей мертвенной бессодержательностью, полным отсутствием духовного тепла и света. Кролик смутно ощущает это. В его темном сознании — сознании подростка, который, выросши, так и не стал взрослым,— ворочаются неясные, недодуманные до конца мысли о какой-то другой, «настоящей», «божеской» жизни. Его пугает бездушный, безрадостный автоматизм существования. «Почему люди живут здесь? — спрашивает он себя, проходя по давно знакомым улицам.— Почему я оказался здесь, почему эта местность — скучное предместье третьестепенного городишка — должна быть для меня центром и мерилом вселенной, в которой есть бескрайние прерии, горы, пустыни, леса, побережья, города, моря?»

Ему кажется, будто он пойман в невидимую ловушку, и все, что остается,— это судорожные попытки вырваться и спастись бегством. Бежать от семьи, от работы, от людей, от чувства ответственности и вины, которые «словно две тени» следуют за ним. Им движет не разум, а глухой, темный инстинкт — инстинкт зверька, пытающегося вырваться из капкана и ускользнуть от погони. Недаром он — Кролик. Прозвище, данное ему когда-то на спортивном стадионе, когда тренер, бывало, кричал ему в разгар игры: «Беги, Кролик, беги!», оказывается выражением сокровенных свойств этого беспомощного и жалкого существа, которому весь мир кажется гигантской западней.

Образы ловушки, сетей, силков постоянно повторяются в романе, вырастая в символ пугающей Кролика власти обстоятельств. Ловушка — его брак с Дженис. Но бежав из дому, он чувствует себя по-прежнему в опасности. Тени деревьев на автостраде сплетаются в зловещий узор, словно сетка. Карта с ее разноцветными линиями тоже похожа на сеть — «сеть, в которую он пойман». Разговаривая с незнакомым собеседником, он видит подвох в каждой фразе: «Его собственные слова возвращаются к нему обратно, из них образуются крючки и силки...»

Бежать, в сущности, некуда: это смутно понимает и сам Кролик. «Что я, только этим людям чужой или всей Америке?» — в тоскливом недоумении спрашивает он себя, когда при первой попытке «побега» бесцельно гонит свою машину по большим дорогам. И все же он снова и снова пытается вырваться из силков. Он мечется из стороны в сторону, оставляет Дженис ради Рут — проститутки, потом возвращается к жене и опять покидает ее став невольной причиной гибели своей новорожденной дочери, утонувшей в ванне по недосмотру потерявшей голову, всегда пьяной Дженис. Когда же Рут, у которой он снова ищет прибежища, сообщает ему, что у них будет ребенок, мысль о новой ложащейся на него ответственности заставляет его тотчас снова искать спасения в бегстве. Выйдя из дому, чтобы купить съестного на ужин, он поддается привычному соблазну. Спрятаться. Стать «таким маленьким, чтобы его нельзя было поймать». С замиранием сердца, будто он переплывает широкую реку, он перебирается на другую сторону переулка, ускоряет шаг, мускулистые натренированные ноги привычно отталкиваются от мостовой, ветер свистит в ушах, панический страх, овладевший им, постепенно стихает. «Он бежит. Ах! Бежит. Бежит».

Так, этим паническим бегством в ночь, в пустоту, «в никуда» заканчивается роман. Написанный в сдержанной, неторопливой, «спокойной» манере, «Кролик, беги», в сущности, куда более страшен, чем полные убийств и насилий сенсационные боевики, которые в таком изобилии издаются в США. Страшен потому, что здесь воочию, в его повседневной, будничной достоверности показан процесс распада естественных человеческих связей, происходящий в обществе, враждебном подлинной человечности.

Моральное банкротство Кролика в изображении романиста предстает как часть панорамы жизни американского общества. И если жалок Гарри Энгстром, то насколько презреннее его наставники и пастыри! Спившийся, потерявший человеческий облик тренер Тотеро, который сводит своего бывшего питомца с уличными девками, по привычке бормоча заплетающимся языком обрывки назидательных фраз о «святости успеха» и «воле к победе». Ничтожный лицемер пастор Экльз, втайне сознающий, что «он подделывает имя божье каждым словом, какое он произносит», и «убивает веру в душе всех, кто его слушает». Последний «босс» Кролика — его тесть Спрингер, «трусливый ублюдок» с гитлеровскими усиками, торгующий подержанными автомобилями по принципу: «не обманешь, не продашь». Чему могут научить, на какой путь направить Кроли-

ка эти люди, которые берутся руководить им?

Особенно злой иронией исполнена одна из первых сцен романа: у экрана телевизора Кролик доверчиво и почтительно вслушивается в слова актера, поучающего: «Познай самого себя... Что это значит, мальчики и девочки? Это значит: будь тем, что ты есть. Не старайся быть Салли, или Джонни, или Фредом из соседнего дома, будь тем, что ты есть... Бог дал каждому из нас свой талант... Бог хочет, чтобы одни из нас были учеными, другие — художниками, третьи — пожарными, докторами, цирковыми акробатами. И каждому из нас он дал особый талант, чтобы сделаться именно этим, лишь бы мы работали, развивая свой талант. Мы должны работать, мальчики и девочки. Вот так-то: познай самого себя. Распознай свой талант, а потом работай, чтобы развить его. Вот путь к счастью».

Эти разглагольствования обдуманно предпосланы автором истории Гарри Энгстрома. Плачевная история Кролика, так и не сумевшего стать Человеком, служит одновременно и проверкой и опровержением этого пресловутого американского мифа о равных возможностях «поисков счастья».

Роман «Кролик, беги» не открывает просвета в будущее ни действующим лицам, ни читателям. Эту невеселую книгу читаешь с нарастающей тревогой. Автор не скупится на натуралистические подробности, тривиальность и мелочность которых вполне соответствуют духовному убожеству изображаемых им существ. Картины грязи, животной пошлости и унижения человека человеком, воспроизводимые романистом, взятые сами по себе, могли бы только оскорбить вкус читателя. Но в общей структуре романа они осмысляются пронизывающей их критической мыслью автора. Не давая ответа на поставленные им значительные общественные и моральные вопросы, писатель все же заставляет задуматься над ними своих читателей, и это делает роман «Кролик, беги» примечательным произведением современной литературы США.

Следующий роман Апдайка — «Кентавр» («The Centaur», 1963), сюжетно никак не связанный с «Кроликом», тесно примыкает к нему по общему замыслу, образуя с ним как бы своего рода диптих. Если в «Кролике» была раскрыта трагедия животного, обывательского существования в США, то в «Кентавре» предметом изображения становится трагедия американского «духа». Это роман из жизни американской интеллигенции, судьбы которой автор хочет представить в символически-обобщенной форме, в виде некоего современного «мифа» об Америке. «Миф» этот вырастает из реальности и не теряет с нею связи. При всей фантастичности причудливых аналогий и параллелей, странность которых иной раз, по-видимому, забавляет автора, «Кентавр» остается романом о современной Америке.

«Кентавр» построен одновременно в двух планах: в плане вполне достоверного повествования и в плане мифологической аллегории. История Джорджа Колдуэлла, преподавателя естествознания в средней школе провинциального городка Олинджер, воссоздается с соблюдением точных примет времени и места действия: перед нами штат Пенсильвания в начале 1947 года. Но вместе с тем, в мифологическом плане, Олинджер оказывается Олимпом, директор школы, деспот и сластолюбец Зиммерман — Зевсом-громовержцем, его любовница, член школьного совета миссис Герцог — волоокой Герой; хозяин авторемонтной мастерской Хаммел не кто иной, как Гефест, а рабочие в мастерской — его подручные — циклопы, жена его, Вера, инструктор по гимнастике в женских классах олинджерской школы,— богиня Афродита. Сам же Колдуэлл в своей мифологической «ипостаси» — мудрый кентавр Хирон, полуконь, получеловек из племени бессмертных титанов, который по античному преданию был наставником Ахилла и Ясона, другом Геракла. Раненный отравленной стрелой, он не захотел влачить жизнь в вечных муках и добровольно отказался от бессмертия в пользу другого титана — богоборца Прометея. Этот миф (краткое изложение которого предпослано роману в виде эпиграфа) и перелагает на современные американские нравы Джон Апдайк.

Этот мифологический маскарад многозначен по своим художественным задачам.

Прежде всего, низведение античных богов и титанов до уровня пошлого, мещанского существования провинциального городишка Олинджера производит пародийно-иронический эффект. Убогая, мелочная жизнь американских обывателей, соотнесенная с героическими мифами древности, предстает во

всей своей отталкивающей антипоэтичности и ничтожности. В портретах земных «богов» Олинджера сатирические черты проступают особенно резко при сравнении их с величавыми античными прототипами. Таков, например, провинциальный американский Зевс послевоенного образца — директор школы Зиммерман, тупой, самодовольный и развратный карьерист, чью немилость, как черную тучу, все время ощущает над своей головой Колдуэлл. Таков и местный олинджерский Марс — бог войны, выступающий в обличии бравого пастора Марча, сделавшего карьеру в экспедиционных войсках в годы второй мировой войны и пленяющего провинциальных дам своими грозными усами, офицерской выправкой и рассказами о похождениях в Северной Африке и Италии. А Минос античного мифа — мудрый, всеведущий и справедливый судья всех смертных в загробном мире — фигурирует в столь же сатирически переосмысленном образе содержателя закусочной Минора Кретца — невежественного и злобного обывателя, который чернит память Франклина Рузвельта и изрыгает клевету на советских людей, погибших в боях с фашизмом.

Но помимо сатирически-пародийной функции, мифология играет в романе Апдайка и другую роль. Образы античного мифа, воссоздаваемые в некоторых лирических отступлениях в духе романтической поэзии Китса, как бы открывают воображению читателя просвет из грязи и мерзости американской повседневности в иную, гармоническую и прекрасную жизнь. Как не похож Хирон, беседующий в рощах Аркадии со своими учениками, готовыми к героическим подвигам, на своего двойника — Колдуэлла, для которого школа — это «бойня», «фабрика ненависти», где он видит повсюду «бесплодное расточительство, гниение, опустошение, сумятицу, зловоние, смерть».

Образ самого Колдуэлла в трактовке Апдайка трагически раздвоен, что подчеркивается постоянным уподоблением его кентавру. «Его верхняя половина, казалось, плыла в звездном небе идеалов, где пели юные голоса; остальная часть его тела тяжко погрязла в болоте, где и должна была в конце концов утонуть»,— так формулируется эта роковая раздвоенность Колдуэлла уже в самом начале романа. «От пояса кверху я, говорят, всецело человек»,— заявляет о себе он сам. Но это человеческое начало не сближает героя с другими людьми, а отдаляет его от них. Даже его сыну, подростку Питеру, непонятны и чужды скрытые богатства духовной жизни отца. «Он ставил меня в тупик. Его верхняя половина была от меня скрыта, лучше всего я знал его ноги»,— вспоминает впоследствии Питер Колдуэлл.

Духовное одиночество Колдуэлла раскрывается воочию в сцене его урока. Тщетно старается он увлечь воображение учащихся грандиозными картинами развития мироздания, возникновения жизни на Земле, появления человека. Его не слушают. Классная комната кажется похожей на непотребный притон, где разрушительное буйство, животная тупость и разнузданная похоть не оставляют места ничему человеческому. В этой атмосфере торжествующей дикости особенно веско звучат горькие слова, которыми Колдуэлл завершает свой рассказ о развитии жизни на Земле: «На свет появилось обтачивающее кремень, добывающее огонь, предвидящее смерть трагическое животное, именуемое Человек».

Этот мотив и далее развивается в романе. Доктор Апплтон (в котором угадывается не кто иной, как Аполлон, бог света и знания) видит две роковые ошибки человека в том, что он — в отличие от других животных — встал на задние лапы и начал мыслить. Мысль и деятельность — губительны, они служат источником величайших страданий; к этому мрачному выводу автор снова и снова подводит читателей. Последние, предсмертные, дни Колдуэлла (а этими тремя днями и ограничивается, собственно, действие романа) — это история бесконечных мучений, терзающих и унижающих и сознание и плоть его. Античный миф, к которому автор многократно отсылает читателей, находил для раненого Хирона осмысленный и величавый конец. Но где же тот новый, современный американский Прометей, ради которого, наподобие Хирона, мог бы достойно пожертвовать собой Джордж Колдуэлл?

Этого Прометея читатель должен угадать в сыне героя, Питере. «Снижение» античной традиции здесь особенно разительно. Титан-богоборец, похитивший огонь у небожителей, предстает здесь в обличии мешковатого и замкнутого пятнадцатилетнего школьника. Питер мечтает стать художником. Мысленно он уже видит те сияющие полотна, на которых — подобно своему любимому живописцу Вермееру — он хотел бы запечатлеть все великолепие солнечного

света. (Как видно, этот мотив призван напомнить читателям о Прометее — похитителе огня, так же как периодически усиливающаяся кожная болезнь, оставляющая на груди мальчика пятна, похожие на распростертые крылья хищной птицы, служит сниженным вариантом мифа о Зевсовом орле, клевавшем печень непокорного титана.) Иногда странная прихоть воображения заставляет Питера на мгновение почувствовать себя титаном: ему чудится, что он «великан, на одном ногте которого умещаются все существующие галактики». Но этот «титанизм» остается бесплодной игрой фантазии.

Гораздо более интересны реальные жизненные проявления «прометеевского» бунтарства в поведении и характере героя. Эпизоды, где Питер восстает против маленьких, но зловещих божков Олинджера, многозначительны. Особенно примечателен тот политический спор, который разгорается в школьной закусочной. Питер приводит в ярость содержателя этого заведения, мракобеса-фашиста Минора Кретца, высказываясь в защиту коммунистов. «Минор, вы отстали от жизни,— кричит ему Питер.— Коммунизм — совсем не плохая штука. Через двадцать лет он будет установлен и в нашей стране». В ответ на панический вопль взбешенного Минора: «Не пройдет и года, как русские окажутся во Франции и в Италии», Питер восклицает: «Ну и что же из этого? Что же из этого, Минор? Коммунизм, так или иначе, должен быть установлен; это единственный способ покончить с бедностью». Именно Питер напоминает пышущему злобой Минору о героизме защитников Ленинграда; именно он с ненавистью произносит имя Гитлера — воплощение всех темных сил, борьба с которыми объединяла народы во второй мировой войне. «Что вы, забыли разве? Адольф Г-И-Т-Л-Е-Р!» — восклицает он. Но мальчишеский порыв Питера остается бессильным. Его запальчивость наталкивается на тупую, ожесточенную и неистребимую злобу. «Я люблю Гитлера,— провозглашает подголосок Минора Джонни Дедмен.— Он жив, он в Аргентине». С упрямством маньяка Дедмен зовет к атомной войне: «Бам! Бам! Нам надо бы сбросить атомную бомбу на Москву, на Берлин, на Париж, на Францию, на Италию, на Мехико и на Африку. Ка-пут! Я люблю это облако, похожее на гриб». «Через два года,— мечтает он вслух,— у нас будет война. Я буду майором. Минор будет старшим сержантом. А Питер будет чистить картошку на кухне, в заднем углу, за мусорным ящиком».

Эта чрезвычайно важная и смело задуманная сцена, где на наших глазах широко распахиваются двери, ведущие из области мифических аллегорий в самую гущу современной жизни, заканчивается, однако, несколько компромиссным финалом. Апдайк подчеркивает, что Питер и сам смущен своей дерзостью. Минор и Дедмен ему отвратительны; в них воплощаются все те силы, которые, как он чувствует, убивают его отца. Но в то же время он боится, что зашел слишком далеко. Он ждет, не дадут ли ему его противники возможность отступить, взять назад сказанное. Приход отца выручает его. «Это он просто вас дразнит»,— отвечает зашедший за сыном Колдуэлл Минору Кретцу, жалующемуся, что Питер публично объявил себя «безбожником-коммунистом». В этом примирительном объяснении слышится иронически-компромиссная интонация самого автора. «Бунт» Питера искренен, и сочувствие романиста, конечно, на стороне мальчика. Но этот бунт заведомо безрезультатен: это скорее запальчивая выходка подростка, чем выражение обдуманной, овладевшей героем идеи. Если читатель романа и должен узнать в лице юного героя Прометея, то это Прометей «несостоявшийся», скованный обстоятельствами еще до того, как он свершил свой подвиг. Подвигу в данном случае, иронически подчеркивает автор, и не суждено осуществиться. Заглядывая в будущее, романист видит Питера пятнадцать лет спустя неприкаянным и одиноким «второсортным абстракт-экспрессионистом», ютящимся со своей любовницей где-то на чердаке в Нью-Йорке. При мысли о псевдоискусстве и псевдолюбви, которыми занято его существование, он сам невольно задает себе вопрос: «Так неужели же во имя этого отдал свою жизнь мой отец?» На этот вопрос роман не дает ответа.

Смерть Колдуэлла поэтому, в обобщающе-аллегорическом плане романа, выглядит как сознательная капитуляция, хотя она и мотивирована естественными причинами — переутомлением, тревогой, болезнью. Из жизни уходит раньше времени добрый, честный, бескорыстный труженик, который тщетно пытался заронить искру божью в

А. ЕЛИСТРАТОВА

души своих учеников,— уходит, признав себя побежденным в неравной борьбе с тиранническими божками местного Олимпа — обывателями, карьеристами и дельцами, подобными Зиммерману и его присным.

Забегая вперед, еще до эпизода смерти Колдуэлла, Апдайк вводит в роман полный текст посвященного ему некролога, наслаждаясь ироническим контрастом между его действительной, унизительной и печальной судьбой и тем лицемерным благолепием, с каким конструирует его официальную биографию умелый газетчик.

«Мы — не в Золотом веке живем, это уж точно»,— эта горькая шутка Колдуэлла предопределяет сумрачный колорит изображения в романе «Кентавр» современной Америки.

В «Кентавре» Апдайк договаривает многое из того, что оставалось между строк в романе «Кролик, беги». Мысль о враждебности американского общественного уклада человеческой личности выражена здесь, может быть, еще более решительно, но столь же безотрадно. «Остается жить только доброта. Но она действительно живет»,— с этой мыслью умирает Джордж Колдуэлл, находя в ней оправдание и смысл своего бытия. Но «доброта», о которой идет речь, выглядит в изображении романиста слишком пассивной: она бессильна сплотить и вдохновить людей, она бессильна дать отпор темным богам, воцарившимся на американском Олимпе. Поэтому так мрачна общая атмосфера этого романа, хотя автор и намеревался, по-видимому, найти в нем место — в отличие от «Кролика» — и для поэзии, и для красоты. Мифологическая символика, в которую облекаются эти порывы к прекрасному, при всей своей изысканности и хитроумности — и именно из-за своей нарочитости — оставляет читателя холодным. Трагедия, пережитая в 30-х годах тружениками американской земли, вряд ли станет значительнее от того, что ее «украсят» (как это делает автор) напоминанием о великом «плаче Цереры» Трагедия американской молодежи, чье будущее может быть принесено в жертву поджигателями атомной войны, достаточно страшна и сама по себе — без мифологических ассоциаций с древними человеческими жертвоприношениями, с горестной судьбой прекраснейших юношей и девушек Афин, которых пожирало фантастическое чудовище — минотавр.

Самое ценное в романах Апдайка — острое чувство реальных жизненных конфликтов, наблюдательность и пытливость, с какими автор вглядывается в жизнь своих современников. Сквозь натуралистическое бытописание «Кролика», как и сквозь вычурную мифологическую образность «Кентавра», пробивается живая, смелая критическая мысль писателя. Характерно, что именно эту критическую, остросовременную, жизненную сущность творчества Апдайка намеренно оставляет в стороне автор статьи о нем в журнале «Америка» Артур Майзенер. Основываясь лишь отчасти на романе «Кролик, беги», а главным образом на рассказах Апдайка (гораздо более слабых и менее значительных, чем его последние романы), Майзенер хочет представить советским читателям этого молодого американского художника как «трансценденталиста», продолжателя романтической традиции в литературе США и ученика Джойса, «почти механически» подражающего своему учителю.* Если знакомиться с Апдайком по статье Майзенера, то трудно было бы предположить, сколько горечи, тревожного раздумья и глубоких реалистических жизненных обобщений заключено в его романах. Как видно, именно это критическое направление творческой мысли галантливого, ищущего молодого писателя не по вкусу официальному общественному мнению буржуазной Америки!

Думается, что советских читателей должны заинтересовать романы Апдайка «Кролик, беги» и «Кентавр», дающие представление о глубинных процессах, происходящих в сознании молодых американских писателей США, искренне и глубоко озабоченных условиями жизни своих соотечественников.

Творческий облик Апдайка еще не определился окончательно, он только складывается как писатель. Но дарование его несомненно, и дальнейшая судьба его зависит во многом от того, сумеет ли он сберечь и развить в своем творчестве тот живой интерес к людям своей страны и тревогу за их будущее, которые определяют достоинства его лучших книг.

---

* Артур Майзенер. Воспоминания и страсть. Дарование Джона Эпдайка. «Америка» № 81, стр. 21

А. КАРАГАНОВ

КАКИМ БУДЕТ ИСКУССТВО ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ?

С таким вопросом французский еженедельник «Ар» некоторое время назад обратился к художникам, искусствоведам, архитекторам, ученым, врачам, промышленникам, собирателям живописи, писателям, владельцам картинных галерей... Их ответы напечатаны в одном из номеров журнала.

Читателя, который захотел бы вместе с участниками анкеты помечтать о желанном и реальном будущем искусства, разочарования ждут почти на каждой ее странице: в ответах на вопрос еженедельника «Ар» нет обоснованных, аргументированных прогнозов, соединивших в себе опыт наблюдений и силу научного предвиденья. Это скорее пестрая разноголосица пророчеств, которые больше говорят о сегодняшнем искусстве, нежели о завтрашних его перспективах.

Известно, что человеческое воображение не может сконструировать будущее, кроме как из элементов прошлого и настоящего. Без наблюдений и опыта не обходится самая пылкая фантазия — мечты летят по координатам, проложенным практикой.

В большинстве случаев мысль пророков журнала «Ар» не выходит за пределы буржуазного миропорядка. Они опираются на опыт одного класса — для них словно бы не существует борьбы двух культур в каждой национальной культуре. В их расчетах и предсказаниях совершенно не учитывается — даже полемически, по принципу взаимоотталкивания — социалистическое решение проблем художественного развития. А ведь оно давно уже перешло из области теоретических предвидений в практику. И не учитывать данных этой практики — значит пренебрегать объективной реальностью, пророчествовать на зыбкой почве субъективизма.

Классовый эгоцентризм буржуазного мышления помешал участникам анкеты еженедельника «Ар» сказать веское и убеждающее слово об искусстве через 20 лет. Но в их заметках содержится много наблюдений и обобщений, показывающих сегодняшнее положение искусства в собственническом мире, его сегодняшние невзгоды и болезни. Более того, сами пророчества на будущее часто читаются — помимо воли их авторов — только как свидетельства сегодняшнего неблагополучия: даже буржуазно мыслящие художники, искусствоведы и любители искусства не могут отмахнуться от пугающих признаков кризиса капиталистической культуры.

Я не знаю, известны ли участникам анкеты журнала «Ар» слова В. И. Ленина о свободе печати, имеющие прямое отношение не только к печати, но и к искусству:

«Мы хотим создать и мы создадим свободную печать не в полицейском только смысле, но также и в смысле свободы от капитала, свободы от карьеризма; — мало того: также и в смысле свободы от буржуазно-анархического индивидуализма» *.

Я уверен, что многие участники анкеты не согласны с программными словами вождя и учителя коммунистов — несогласие это легко читается в самом их подходе к определению перспективы искусства. Но некоторые ответы на вопрос журнала «Ар» — опять же помимо воли и желания участников анкеты — являются прямой иллюстрацией ленинских слов о противниках свободной печати, свободного искусства, о цепях, которые надо искусству сбросить, чтобы обрести истинную свободу.

Редакционная заметка, которой журнал

* В. И. Ленин. Сочинения. Изд. IV, том 10, стр. 29.

предваряет свою анкету, начинается очень грустной, чтобы не сказать драматической, мыслью: каждое поколение подводит свои итоги, у нашего есть некоторый привкус пепла; за семнадцать лет, с тех пор как начался послевоенный период, ни разу нельзя было сделать таких выводов о развитии искусства, в которых не отразились бы непоследовательность, разброд или отсутствие направляющих течений и ведущих идей.

Непоследовательность, разброд, отсутствие ведущих идей сказались и на ответах, опубликованных в «Ар».

Предсказывая упадок искусства или признаваясь в своей неспособности провидеть его будущее, участники анкеты излагают свои пророчества с неодинаковой мерой драматизма, но известная доля горечи почти всегда присутствует в их рассуждениях.

Тем более странно читать заметку драматурга Ионеско. «Историю нельзя предвидеть, историю искусства также»,— пишет он вначале. Затем тоном человека, избалованного славой, он сообщает о капризах своей «жизни в искусстве» — чтобы сказать, как трудно было ему 20 лет назад предвидеть свою роль в развитии современного театра. А завершает он свой ответ совсем кокетливо: «Но что такое искусство? Я не очень хорошо это знаю. Я смутно это понимаю. Я посмотрю в словаре».

Впрочем, такого рода «завитушки» мысли в анкете редки. Не в них основной ее недостаток.

В большинстве своем авторы «Ар», размышляя о будущем, не идут дальше прямого продолжения — путем количественного увеличения — явлений и фактов сегодняшнего буржуазного искусства. Они даже не задумываются о возможных и неизбежных изменениях качественного порядка, связанных с социальными сдвигами и переменами в современном мире.

Молодой художник Бернар Дюфур с уверенностью заявляет, что через 20 лет число парков, музеев, клубов увеличится во много раз. Культура, продолжает он, будет распространяться в бесконечной бесконечности репродукций, которые станут просматривать лишь вскользь. А это поведет к дальнейшей профанации искусства: «Кретинизм толпы сделает огромный скачок вперед, так же как туризм и световые и звуковые зрелища. Любовь к прекрасному и познание в области прекрасного упадут на самую низкую ступень».

В устах Дюфура «толпа» — бранное слово. Этим словом он клеймит тех читателей, зрителей, слушателей, которые испорчены коммерческим буржуазным искусством, всякого рода дешевками, завлекательными подделками под искусство. Дюфур оставляет за пределами своих рассуждений конкретно-исторические причины «эстетического развращения» толпы, он не пишет о том, как буржуазный способ распространения искусства, подчиняемого законам наживы, отзывается на вкусах людей. Для него толпа, профанирующая высокое искусство,— фактор постоянный, непреодолимый.

Эту свою «толпу» Дюфур рисует настолько отвлеченно, внеисторично, что она выглядит в его изображении виновником всех своих бед, источником собственной испорченности и эстетического «кретинизма». Ослепленный барскими предрассудками, разъедающим душу скептицизмом, Дюфур и не замечает, что клевещет на других. Придавая всеобщность уродливым явлениям, которые рождены капиталистическим способом распространения искусства, он заранее обрекает на поражение любые попытки защитить красоту.

Экономист Жан Фурасти, казалось бы, менее пессимистичен в своих пророчествах. Он считает, что число покупателей произведений искусства за 20 лет увеличится в 20—30 раз. Соответственно увеличится и количество самих произведений. Познания в области прекрасного не упадут от этого на самую низкую ступень — Фурасти не пишет о «кретинизме толпы». Но и он предсказывает снижение общего уровня искусства: при большом росте количества произведений... число выдающихся созданий художественного таланта будет примерно таким же — оно зависит от рождаемости талантов, а не от числа выданных дипломов. В результате — количество больших художников на тысячу средних снизится, искусство будущего станет более эклектичным и разношерстным...

Многие участники анкеты жалуются на засилие коммерции в сфере «потребления искусства». Причем иных форм распространения художественных ценностей, кроме купли-продажи — с обязательной прибылью,— они не ведают и не предвидят.

Скульптор Шавинье мечтает о временах, когда спекулянты уступят место влюбленным коллекционерам. Но как эта мечта может практически осуществиться, он не знает.

Оценщик произведений искусства на аукционах Адер считает, что свобода творчества трижды ограничена современными формами меценатства — государственными заказами, групповыми закупками любителей, выбором коммерсантов. Люди, которые платят деньги за произведения искусства, неизбежно оказывают влияние на искусство. В этом смысле и более широкое проникновение искусства в быт таит в себе немалые опасности для художника: ведь он должен удовлетворять потребностям буржуа в комфорте. А когда происходит смешение эстетических ценностей и комфорта, высокому искусству приходится худо.

Наиболее отчетливо, я бы сказал, с диаграммной ясностью «механическое перенесение» сегодняшних тенденций буржуазного искусства в завтрашний день проявилось в заметке писателя и искусствоведа Мишеля Сефора.

«Как и сегодня,— предсказывает он,— будет два рода искусства: одно — смутное, в котором липовая слава куплена с помощью денег и интриг, другое — неуловимое, в котором искусство все еще не осознает себя и только еще рождается на свет. Между искусством сегодняшним и завтраш-

ним разница будет только в масштабах, так как средства публикации, обнародования произведений искусства и рекламы станут несравненно более мощными. Благодаря этому еще более увеличится дистанция между преуспевающими карьеристами и скромными художниками, для которых искусство — это жертвоприношение и необходимая деятельность духа, а не вопрос денег и мелкого тщеславия».

Эти строки вряд ли нуждаются в специальном комментировании: за ними достаточно отчетливо вырисовываются наблюдения и переживания, которые подсказали Сефору его горькие «обобщения».

Естественно, что в прикованном к сегодняшнему дню разговоре о завтрашнем искусстве большое место заняли судьбы абстракционизма. При этом даже те участники анкеты, которые весьма мрачно оценивают перспективы искусства, предрекают абстракционизму близкий конец.

Так, скульптор Поль Бельмондо уверен, что искусство скоро снова вернется к традиции. Но не окажут ли влияния на искусство завтрашнего дня атомная бомба, спутники и т. д.? — задается Бельмондо вопросом. И отвечает: когда изобрели железную дорогу, на художников это никак не повлияло. В течение нескольких лет, продолжает свою мысль Бельмондо, искусство отказывается от человечности, оно стало чисто декоративным. Но уже сегодня возникает реакция на это, появляются молодые художники, которые изображают природу, основываясь на своих чувствах; завтрашнее искусство будет развиваться в пределах норм, подсказанных природой. Однообразия при этом не будет: на протяжении веков было ли два похожих портрета? И как несхожи все эпохи, которые добросовестно копировали природу!

Пытаясь представить себе и читателю будущее искусства, преподаватель Медицинской академии Гутман рисует художественное развитие как последовательное чередование циклов: классицизм — период утверждения штампов — «современные направления», как реакция на штампы,— их распад — новое возрождение классицизма...

«Современное искусство,— пишет Гутман,— в своих наиболее крайних проявлениях находится на самой низкой ступени одного из этих периодов деградации: в скульптуре — спрессованные автомобили, которые продаются как произведения «мобильного» искусства, в живописи — монохромные полотна, незакрашенные полотна, лишь слегка помеченные кистью или надрезанные; в романах — неясность и скука и то же самое в так называемом «разговорном жанре»; в поэзии — уничтожение всех правил, минимум которых органически необходим этой специальной форме — стихотворению».

Гутман уверен, что на смену этому хаосу и распаду скоро придет новый классицизм.

Возврат к традициям, возрождение «фигуративного» искусства предсказывают и поэт Жан Руссело, и доктор Рудинеско, и большинство других участников анкеты, касающихся в своих выступлениях судеб абстракционизма.

Но никто из них — и это тоже характерная особенность разговора на страницах журнала «Ар» — не ставит вопроса о необходимости преодоления абстракционизма, искажающего природу и цели искусства, отвлекающего художественные силы на кривляния и фокусы. А редакция в своей вводной заметке споры между абстракционистами и фигуративистами объявляет даже бесплодными, засоряющими язык критики и искусствознания, множащими ложную литературу, которая отягощает искусство.

По логике такого рода рассуждений все образуется само собой: абстракционизм и так рухнет, зачем же волноваться, зачем его подталкивать...

Такое «непротивленчество» отдает беззаботностью, можно сказать резче — безответственностью в отношении к современному искусству и его историческим судьбам. Дюфур пишет о «кретинизме толпы», но никто из участников анкеты не написал ни слова о кретинизме «интеллектуалов», рожденном абстракционизмом, о шаманстве вокруг «полотен», подменяющих прекрасное анархией ощущений и красок, об абстракционистской профанации искусства. Авторов, принявших участие в дискуссии журнала «Ар», судя по их заметкам, не тревожит растрата художнических усилий на бессмысленную мазню, растление талантов и их поклонников, давших себя заворожить абстракционистскими хитросплетениями.

Как же мыслят завтрашнее искусство те участники анкеты, которые не довольствуются жалобами на сегодняшние беды художника и отвлеченными рассуждениями о возврате к традициям?

Эссеист и романист Жак Бросс решительно заявляет о своем несогласии с пессимистами и скептиками, которые видят в развитии материальной базы культуры одни только опасности. По его мнению, через двадцать лет экспериментальная фаза, которую переживает сейчас искусство, будет пройденным этапом. Разовьются новая живопись, новая музыка, вдохновленные возвращением к своим источникам.

«Кино, освобожденное телевидением от развлекательной роли, сможет посвятить себя изучению внутреннего мира и одновременно открытию мира в таких плоскостях, которые недоступны нормальному видению».

Аналогичные процессы разовьются в литературе. Коммерческая литература станет частью журналистики, классики и современные документальные книги — предметом ходкой продажи. «И только чистая литература, литература в качестве поисков выражения личности, подчиненная строгому отбору и благодаря этому освобожденная от давления проблем продажи, сохранит существующий способ публикации».

Таким образом, и в этом «оптимистическом прогнозе» искусство будущего представлено как развитие современного буржуазного искусства — в его «интеллекту-

альном» варианте. Жак Бросс мыслит прогресс искусства только в одном направлении — в изучении внутреннего мира человека и в самовыражении личности художника. «Усовершенствованный» Антониони и «подновленный» Пруст — таково фактическое содержание выдвигаемой Жаком Броссом программы.

Обзор анкеты журнала «Ар» мне хочется закончить заметкой архитектора, скульптора и искусствоведа Андре Блока. Ответ Блока на вопрос «Ар» выделяется из всех других ответов тем, что в нем сегодняшнее состояние искусства реалистически связывается с его завтрашними судьбами — Блок не довольствуется общими соображениями и пророчествами, рожденными капризом фантазии, он трезво анализирует развитие искусства.

Блок исходит из той простой мысли, что и через двадцать лет искусство не сможет быть ничем иным, кроме как выражением своей эпохи.

Как и другие авторы журнала «Ар», он отчетливо видит эклектизм современного искусства. Но в оценке эклектизма он расходится со многими своими коллегами: те считают, что из эклектической мешанины только и может вырасти что-то ценное в эстетическом смысле; Блок придерживается иной точки зрения:

«Если мы продолжим современную игру, если мы удовлетворимся современной путаницей, то мы увидим, как будут соседствовать самые различные тенденции и в живописи и в скульптуре. И тогда самые большие таланты не смогут дать нам ничего, кроме посредственности. Если, напротив, наша эпоха пойдет на то, чтобы отвести художникам важное место в современном обществе, наш мир не будет обречен на голый техницизм и обретет тот минимум поэзии, в котором мы нуждаемся».

Индивидуалистически понимаемая свобода творчества не вызывает восторгов Блока. Рожденную этой «свободой» пестроту искусства он называет «современной путаницей», «современной игрой».

Известно, что истинное искусство не может развиваться вне многообразия художественных форм и стилей. Но одно дело — свобода творческих исканий и совсем другое — анархия индивидуалистических капризов, оторванная от жизни игра художнического воображения. Из ответа Блока прямо вытекает вывод о том, что для своего нормального развития искусство должно быть свободным не в полицейском только смысле и не только в смысле свободы от капитала, свободы от карьеризма, но также и в смысле свободы от буржуазно-анархического индивидуализма.

Блок такого вывода не делает, но подводит к нему читателя всей логикой своих рассуждений, основанных на трезвом анализе фактов и процессов. Будущее искусства Блок связывает с повышением роли художника в жизни общества, с устранением тех помех на пути искусства, которые убивают поэзию.

Другие выступления на страницах этого номера «Ар», по крайней мере большинство из них, звучат как «свидетельство обвинения», вольное или невольное свидетельство драмы искусства в собственническом обществе. При всем значении отдельных «прорывов» в будущее разговор, проведенный еженедельником «Ар», не дал ответа на вопрос анкеты: «Каким будет искусство через 20 лет?» Ведь этот ответ требует решительного выхода за горизонты буржуазного мышления, требует вдумчивого обращения к опыту революционного развития действительности и связанного с ним прогрессивного искусства.

МИКЛОШ САБОЛЧИ

КНИГИ, О КОТОРЫХ ГОВОРЯТ

(Письмо из Будапешта)

У нас читают прозу, драму и лирику; многие читают «Один день Ивана Денисовича», напечатанный в журнале «Надьвилаг». Большим успехом пользуется книга Малапарте «Капут»; любители стихов радуются двухтомной антологии «Французские поэты» и безрезультатно ищут в магазинах распроданный в течение нескольких минут сборник стихов молодых советских поэтов. Но я скажу лишь о книгах венгерских, о тех из них, которые вызвали в последнее время особый интерес.

Несомненно, весьма интересным литературным событием последнего времени является роман Эндре Фейеша «Кладбище железного лома», получивший премию Аттилы Йожефа I степени. Люди, далекие от литературных кругов, мало что слышали до сих пор о его авторе. Может быть, Эндре Фейеш молодой писатель? Да, мы познакомились с ним лишь недавно, хотя ему тридцать восемь лет и он уже издал интересный роман «Лжец» и несколько хороших рассказов. В течение многих лет Эндре Фейеш был токарем, еще юношей объехал Францию и Бельгию в поисках работы. Вернувшись в Венгрию, он до недавнего времени оставался вдалеке от литературной жизни — редко участвовал в дискуссиях и обсуждениях, жил уединенно, в тишине, упорно и настойчиво отделывая свой роман. В романе «Кладбище железного лома» перед нами проходит история полурабочей, полубуржуазной семьи на протяжении почти пятидесяти лет. Течет будничная, мало меняющаяся даже в самые бурные времена жизнь. Герои романа обитают в VIII районе Будапешта, в окрестностях улицы Надьфуварош. Этого своеобразного, полудеревенского, полугородского района столицы, на котором лежит отпечаток мещанства, наша литература до сих пор почти не замечала. Фейеш говорит своей книгой: существуют слои населения, уклад жизни которых не изменился.

Освобождение страны принесло им существенное улучшение материальных условий — исчезла угроза безработицы, повысился жизненный уровень; но то, что всем этим они обязаны народной власти, что рабочие, то есть они сами, теперь управляют государством, не доходит до их сознания. Вековой гнет сковал их духовно, приучил инстинктивно забиваться в нору; поэтому и сейчас они живут только для себя, не осознавая происходящего: они аполитичны. Их жизненный уклад, восприятие происходящего носят на себе печать мещанства. Смысл своего существования они видят в еде, выпивке; неустроенна, безрадостна и их семейная жизнь.

Книга Эндре Фейеша заставляет глубоко задуматься: в социалистической Венгрии живут люди (и число их совсем не так уж мало), бытовые и материальные условия жизни которых изменились, а сознание все еще такое же, как пятьдесят лет назад. Эта тема раскрыта Фейешем в рамках семейного романа, на трехстах страницах которого писатель успевает сказать очень многое.

Таким образом, книга Фейеша заслуживает внимания и с точки зрения писательского метода. Но нельзя сказать, что она совершенно безупречна.

Вокруг книги Эндре Фейеша развернулась дискуссия сразу же после появления первых критических статей; как на страницах «Непсабадшага», так и на страницах литературных газет и журналов было опубликовано много зачастую совершенно противоположных высказываний. Одно из крайних мнений, пожалуй, представляет критик Андраш Тёмпе, который целиком счел книгу искажением действительности. Особенно много возражений вызвали у него образы коммунистов. Были и такие критики, которые впадая в другую крайность, объявили роман Фейеша наиболее выдающимся, чуть ли не образцовым произведением прошедших десятилетий.

В ходе дискуссии постепенно выработалась верная позиция. Ее сформулировали, подытоживая дискуссию, Янош Комлош (в газете «Непсабадшаг») и Ласло Иллеш (в журнале «Кортарш»).

Иллеш считает характерной чертой книги

Фейеша иронический способ изображения, манеру гротеска. Именно это дает возможность понять и достоинства книги, и ее недостатки.

«В кладбище железного лома», пишет Иллеш, не чувствуется дыхания широкого мира, не видно глубокого и богатого анализа всего социалистического общества, или, по крайней мере, некоторых важных его элементов. И поскольку не видно той силы, которая пробивает брешь в изображенном Фейешем мире, силы, которая могла бы разрушить бетонную ограду, окружающую свалку железного лома, атмосфера романа несколько сумрачна, печальна и как-то подавляет читателя. Фейеш с большим чувством ответственности, с глубокой человечностью и именно поэтому с беспощадной иронией относится к изображаемому им миру, но он смотрит на него слишком изнутри, снизу, несколько замкнувшись в нем.

Общий вывод, сделанный Иллешем, звучит так: «Небольшой по объему роман Фейеша потрясает читателя несмотря на то, что уже при первом чтении мы ясно видим не только достоинства книги, но и ее недочеты. Чем же так приковывает внимание роман Фейеша? Искренностью авторских намерений, чистотой общественных и нравственных устремлений. И хотя судьба семьи Хабетлеров описана весьма кратко, она словно вопиет: так нельзя, так невозможно жить! Книга взывает к совести, она выбивает из уютного мирка равнодушия».

В последние месяцы широкий интерес вызвало появление первого тома романа Йожефа Дарваша «Пьяный дождь». Удивительная, волнующая, побуждающая к размышлениям книга! Книга человека, который взглянул в лицо самому себе, нашей жизни, нашей истории. И поэтому он вынуждает к ответу и своих читателей.

«Пьяный дождь» относится к ряду тех романов, циклов стихов, новелл, пьес, фильмов, которые начали у нас появляться с 1957 года. На различном художественном уровне, с различным успехом писатели пытались разобраться в основных вопросах развития нашего народа за прошедшие двадцать лет.

Автор ставит много проблем. Это книга начал, поисков, вопросов. Один из них задает летом 1944 года скульптор Геза, видя, как его брат Шандор ведет к себе домой корову еврея Штейнера, угнанного фашистами: «И с этим народом ты хочешь делать революцию?!» Этот вопрос — каков же венгерский народ, почему он не сопротивлялся в 1944 году,* почему были раздроблены его силы, что искалечило его нравственно и духовно? — постоянно, мучительно, даже болезненно повторяется в бесчисленных вариантах.

В своей книге Дарваш сражается на два фронта: с теми, кто создает псевдогероический миф о венгерском народе, и с теми, кто недооценивает его духовные силы. Дарваш знает и помнит: 15 октября 1944 года на площади Ракоци беззаботно веселился пештский мещанин; летом 1944 года он был запуган и пассивен; а в первые месяцы 1945 года — грабил... В октябре 1956 года люди, жившие уже в течение нескольких лет при социалистическом строе, поддались враждебной народу пропаганде... Дни стыда и внутреннего кризиса для коммуниста, когда он видит, что не смог предотвратить ни 1944, ни 1956 годы, когда он замечает, что многих нет в строю... Но Дарваш знает и изображает также другое: в последний момент, осенью 1944 года, крестьяне объединялись и спасали солдат-дезертиров; он не забывает и о чувствах, охвативших народ в дни раздела земли; он помнит, как бились наши сердца в часы взятия народной власти, он вновь слышит первые шаги пробудившегося к самосознанию народа, воскрешает воодушевление первого свободного мая, вспоминает, как хлынули народные таланты в школы, он запечатлевает спокойствие нынешних дней.

«Пьяный дождь» — первое произведение в нашей литературе, которое указывает на сходные черты 1944 и 1956 годов. Это сходство не только внешнее, оно не только в зрелище оборванных проводов и разрушенных домов, но и в том, что на время взяли верх разнузданные страсти, темные инстинкты, в колебаниях интеллигенции, в равнодушии некоторых слоев народа и — в ответственности коммунистов. Мне роман Дарваша помог понять: все те, кто не признает контрреволюционной сути 1956 года, раньше или позже приходят к приукрашиванию хортистского режима. А все, кто среди причин, вызвавших 1956 год, не замечает догматизма, культа личности, допущенных в тот период ошибок, приходят ко взгляду на венгерский народ как на «вечно и безнадежно погрязший в фашизме».

Композиционно «Пьяный дождь» построен так, что Дарваш не изображает периода 1948—1954 годов, а только показывает некоторые его последствия и изучает более поздние его отголоски. Роман раскрывает двойственность этого периода. В 1945—1949 годах у нас в руках были все возможности, у нас был ключ к здоровому, гармоническому, социалистическому развитию нашей родины, и эти возможности в годы культа личности мы чуть не потеряли.

Жгучие, мучающие всех нас вопросы о несправедливых судебных процессах, невинно осужденных коммунистах — все это живет на страницах «Пьяного дождя». И все-таки «скрижали не разбились»: преодолевая кризисы, трудными путями правда коммунистов победила. Преданность делу, верность выстраданной правде совмещается в героях книги с глубокой человечностью. Йожеф Дарваш нигде не изображает коммунистов как каких-то «сверхчеловеков». Он рисует живых, страдающих, мучительно решающих личные проблемы, иногда оступающихся людей, он не умалчивает о душевных кризисах и конфликтах. Но изображение сомневающихся, скован-

* 15 октября 1944 года — день салашистского путча.

ных догматическими представлениями коммунистов всегда направлено к одной цели: показать, что все пережитое было не напрасно, что путь наш верен, что история (а вместе с ней и наша собственная жизнь) освещает нам путь. Именно об этом свидетельствуют образы министра Андраша или заключенного в тюрьму коммуниста Дюси Чонтоша, скульптора и партийного работника Силарда Селеша.

Роман кончается временным успокоением, развязкой, минутной передышкой в жизни молодых людей и в жизни семьи. Правда, многие вопросы остались открытыми. Иногда в романе нарушается равновесие между мучительным душевным борением и пронесенными через все испытания коммунистическими убеждениями.

Во втором томе автор, вероятно, решит поставленные вопросы, а главный герой определит свое отношение к ним. И, возможно, там будет меньше мучительных раздумий, несколько затянутого анализа поведения героев.

Но даже несмотря на нерешенные вопросы «Пьяный дождь» по богатству затронутых проблем, по страсти и вдохновенному поиску — яркое произведение нашей прозаической литературы.

■

Читают у нас и стихи, как это, впрочем, всегда было в Венгрии. И, пожалуй, сегодня именно поэзия идет впереди, заставляет звучать голос эпохи, радует нас новыми художественными достижениями.

Недавно появился новый сборник стихов Ласло Беньямина «Пятое время года». Беньямин (родился в 1915 году) — одна из примечательных фигур венгерской поэзии. Сын рабочего, он, став поэтом еще до Освобождения, выразил в своих антифашистских стихах верность рабочему классу. Уже тогда он сблизился с находившейся в подполье партией. Широкий простор для творчества открылся Ласло Беньямину лишь после 1945 года. В хоре новых, социалистических поэтов его голос был самым сильным. Исполненные философских раздумий стихи его покоряли читателей. Однако ошибки, допущенные в период культа личности, а затем демагогия ревизионистов глубоко ранили Беньямина.

Равнодушие к человеку, с которым приходилось сталкиваться в этот период, возмущало его. Том его стихов, вышедший летом 1956 года, свидетельствовал о серьезном кризисе, который переживал поэт. После контрреволюционного мятежа 1956 года он долго молчал. Новый сборник его стихов — свидетельство глубоких потрясений, сомнений, но в то же время верности коммунистическому движению, своему народу, идее, которой он всю жизнь служил; свидетельство того, что поэт вновь обретает надежду. Стихотворение «Под кровоточащими знаменами» — одно из лучших в сборнике (да и во всей современной венгерской поэзии) — говорит именно о возродившейся надежде. Критика разносторонне анализирует этот вызвавший глубокий интерес сборник. Поэт Михай Ваци на страницах журнала «Уй ираш» пишет: «Настоящую поэтическую силу стихи Беньямина обретают там, где поэт вновь находит цель, веру, волю к жизни... где он берет на себя задачу сформулировать требования свои и своего народа». Глубже всего, пожалуй, анализирует стихи Беньямина Ференц Фехер, критик журнала «Кортарш». Он так определяет основной смысл сборника: «...Поэт постоянно возвращается к мучившей его проблеме моральной ответственности... Это уже больше, чем личное дело лирического поэта,— в конечном счете это борьба за права человека, которые ущемлял культ личности... В защите моральных ценностей большую роль играет у Беньямина подчеркнутое внимание к личности человека...»

Второе интересное событие в нашей поэзии — сборник стихов Габора Гараи «Средиземноморская осень». Гараи (родился в 1929 году) относится к числу тех, кто вошел в литературу в годы, последовавшие за подавлением контрреволюционного мятежа 1956 года. «Средиземноморская осень» — его четвертый сборник.

«Новый сборник стихов,— говорит критик газеты «Непсабадшаг»,— более ровен, более зрел...» Характеризуя эту книгу как «подготовку», пробу сил перед взлетом, как концентрацию поэтической энергии, он так оценивает поэзию Гараи: «В лирике Гараи все более привлекает единство интеллектуального и эмоционального начал. У поэта нет необходимости в каждом стихотворении возвращаться к объяснению своей позиции — то, что для него естественно, не нуждается в подтверждении».

И на самом деле, это подлинно новая, социалистическая поэзия. Гараи, как и многие другие наши молодые поэты, выступает против «иждивенцев социализма»; в одном из лучших своих стихотворений он требует выставить их на «свежий ветер строгости». Гараи — поэт гражданственных устремлений; свои личные волнения, беды и боли он подчиняет интересам целого. Он пишет мало, редко печатается, но каждое его слово весомо.

Мы могли бы найти в поэзии еще много интересного. Последний сборник стихов одного из самых тонких поэтов старшего поколения Иштвана Ваша «Похищение Рима» — лирически-философский дневник двух путешествий в Италию; новый сборник стихов Шандора Чоори, молодого и сложного поэта, связанного с традицией Петефи. Шандор Чоори стремится отразить перемены в нынешней деревне, и его новая книга красноречиво называется «Бегство из одиночества». Появилось и много первых сборников молодых поэтов. Можно было бы, наконец, сказать о новых венгерских пьесах, идущих в этом сезоне в наших театрах; но это уже задача другого обзора.

ЗА ЖИВУЮ ПОЭЗИЮ, ПРОТИВ МЕРТВЫХ АБСТРАКЦИЙ

Второй год отмечают трудящиеся Румынской Народной Республики Неделю поэзии. По случаю этого события известный румынский поэт **Демостене Ботез** пишет в **«Газета литерарэ»:**

«Могучая рука извлекла нашу Золушку из больниц для умалишенных, ночлежных домов, подвалов и мансард, куда загнали ее равнодушие и жестокость буржуазии, смыла с ее лица слезы, пыль земли и звезд и вернула ее людям, дабы она исполняла свои обязанности сеятельницы красоты и вдохновения...

Этой Золушкой была поэзия. А вернула ее людям Партия...»

Расцвет румынской поэзии — факт, не подлежащий сомнению. По образному выражению Тудора Аргези, поэзия стала «беспрерывной и каждодневной». И дело тут не только в количестве ежегодно выпускаемых поэтических томиков, в мощном притоке молодых талантов. Дело прежде всего в той всенародной любви, которой окружено поэтическое творчество в РНР, в неослабном внимании к судьбам поэзии со стороны Румынской рабочей партии, широчайших масс читателей.

В этой связи немалый интерес представляет дискуссия о поэзии и роли критики в ее развитии, прошедшая не так давно на страницах самых значительных литературных изданий Румынии. Не будет преувеличением сказать, что вся литературная пресса превратилась в своеобразный огромный «круглый стол», за которым шли горячие споры о судьбах современной румынской поэзии.

Оживленный обмен мнениями вызвала, в частности, проблема соотношения сельской и городской тематики в современной поэзии.

В обзорной статье «Прогресс и созревание нашей поэзии», опубликованной в газете «Вьяца ромыняскэ», критик Э. Лука, выступая по поводу последнего тома стихов одаренного поэта Й. Брада, писал, что в нем заметен определенный прогресс в сторону «преодоления узких рамок крестьянского видения мира», что поэт стремится сделать шаг к изображению мира рабочих, будней города. В рецензии на те же стихи, опубликованной во **«Вьяца ромыняскэ», С. Брату** также писал:

«Мы не собираемся устанавливать какую-то ничем не оправданную иерархию сельской и городской поэзии, этих лирических форм выражения нашей социалистической жизни. Однако нам представляется очевидным, что преодоление рамок сельской тематики предполагает более высокое поэтическое качество, требующее такого лирического выражения современного мира, которое не допускает ограниченности, определяемой замкнутой средой...»

Критики Э. Симион, М. Кэлинеску, Й. Бэлан и М. Букур решительно отвергли подобную точку зрения.

«Что такое, собственно говоря, «крестьянское видение мира» в условиях, когда социализм стал действительностью в наших селах, когда коммунистическая этика и сознание так глубоко проникли сюда? — спрашивает **Э. Симион** на страницах «Газета литерарэ».— И чего стоит в этом случае отграничение сельской тематики от городской в литературном плане?.. Намечать какие-то грани между источниками поэтического вдохновения или между жанрами означает возводить ненужные препятствия на пути развития современной литературы... Наша эпоха устранила общественные перегородки и тем самым разрушила стену, разделявшую городскую и сельскую поэзию. Существует только одна поэзия — вдохновленная социалистической действительностью».

Ту же мысль развивает в своем выступлении **М. Кэлинеску:**

«Мы имеем здесь дело с узкотематической оценкой литературного творчества,—

пишет он.— Между тем каждому известно, что тема сама по себе, какой бы важной и благородной она ни была, не определяет ценности произведения искусства... Но противопоставление сельской тематики городской имеет и другую подоплеку... Мир деревни втихомолку относят к сфере традиционалистской литературы, между тем как городская тематика становится почти синонимом понятия «современный».

На неправомерность деления социалистической поэзии на городскую и сельскую, как на поэзию первого и второго сорта, указал и **М. Букур** в еженедельнике **«Лучафэрул»**:

«Социалистическая революция подняла к жизни и ускорила развитие всех без исключения географических областей, все участки народного хозяйства... Село и поле ныне не плетутся где-то далеко позади города и завода. Говорить о «крестьянском» и о «рабочем» видении мира в плане современного творчества означает повторять тезисы Э. Ловинеску *. У современного поэта может быть только одно видение мира — коммунистическое. Воспевать труд миллионов тружеников полей, новые условия жизни крестьянина, видеть деревню в ее конкретном, революционном развитии совсем не значит проявлять ограниченность «крестьянского видения мира»... Прогресс определяется не отходом от темы деревни, а более высоким уровнем проникновения художника в ее мир».

Именно проблема углубленного проникновения художника в сущность происходящих в Румынии революционных преобразований и стала центральной в развернувшихся дебатах по поводу поэзии. Ею определялись и споры вокруг так называемой «поэзии раздумий».

О проблеме «драматизма жизни и инерции абстракций» писал критик **К. Регман** на страницах «Лучафэрула»:

«Не хотелось бы прибегать к таким выражениям, как «индивидуализм» или «артистический александринизм» **, но стало фактом, что лирика... с некоторых пор словно стыдится своего основного качества: тенденции прямого, непосредственного вмешательства в жизнь (связанной, разумеется, с более высоким чувством гражданской ответственности). Поэтическая идея (уж не кажется ли некоторым и это понятие слишком прямолинейным, определенным?) стала скрываться за завесой туманных намеков и часто предпочитает выступать в роли «поэтического замысла»... Мы не отрицаем, что в целом ряде стихотворений стремление к раздумию, к трезвому размышлению вполне реально, неподдельно, но даже в них ощущается бесплодная тенденция разбирать по частям и снова собирать воедино до бесконечности механизм акта познания... Настало время, чтобы поэты обратили свои идеи к вполне реальному миру, чтобы они, словно скальпелем, четко отсекали добро от зла, чтобы поэтическая мысль стала для читателя как можно более доходчивой».

Отношение М. Кэлинеску к «поэзии раздумий», особенно характерной для молодых поэтов сегодняшней Румынии, совершенно иное.

«Я убежден,— возражает он К. Регману,— что главное направление полемики ошибочно, что совместные усилия целого ряда молодых поэтов, которые все чаще обращаются к раздумию, к поэзии философского и этического размышления, представляют в целом один из знаменательных и плодотворных опытов нашей лирики... Если же принять точку зрения К. Регмана, то получается, что раздумие, пафос размышления, попытки поэтической материализации идей представляют какие-то второсортные, маловажные свойства лирики... Думается, что задача критики сегодня заключается не в том, чтобы произвольно возводить препятствия на пути развития поэзии, а в том, чтобы отнестись с широким пониманием к плодотворному процессу дифференциации, который наблюдается в нашей лирике социалистического реализма».

Как выявил дальнейший ход дискуссии, обе точки зрения грешили односторонностью. Об этом справедливо говорилось в статье **И. Оаркэшу «Ответственность критика»**, напечатанной в **«Скынтейе»**. Отмечая, что многие молодые поэты выступают с произведениями, насыщенными ценными идеями, творчески используют символику для того, чтобы ярче раскрыть различные аспекты социалистической действительности, автор статьи вместе с тем подчеркивал, что иные художники скрывают в уютной тени мифов и символов свое вопиющее незнание жизни.

«Нужно в каждом конкретном случае определять, в какой мере раздумие соответствует внутренней потребности художника и как оно содействует выявлению новых отношений... Вряд ли можно назвать раздумием обращение к экстравагантностям, стремление не столько отразить в лирике реальную действительность, труд современника, сколько дать их туманные, расплывчатые символы. Это не размышление, а абстрактное, неубедительное разглагольствование... Прежде чем приветствовать упомянутое обращение к поэзии идей, «поэзии раздумий», следует научно рассмотреть ее познавательную значимость, подумать над тем, дает ли она более глубокое раскрытие гуманистической сущности социализма, как и подобает поэтическому размышлению. Прямое со-

---

* Буржуазный литературовед, апологет модернизма.

** Имеется в виду традиция александрийской поэзии эпохи эллинизма с характерным для нее отказом от гражданской тематики, обращением к обособленной личности как главному объекту изображения, углубленным психологизмом и т. д.

поставление с жизнью современного человека, с его миром идей и чувств, с теми духовными запросами, которые определяют его нравственный облик, должно стать и здесь отправной точкой критической оценки».

Таким же был и лейтмотив дискуссии за «круглым столом» «Вьяца ромыняскэ».

«Особенно смущает в творчестве некоторых молодых поэтов то, что они начали с изучения правил стихосложения, проблем мастерства, а не с того, что они хотят выразить. Их сначала заинтересовало, *как сказать*, а не *что сказать*. Именно на этом вопросе необходимо заострить их внимание. И все же я хотел бы отметить одну интересную черту их творчества, а именно — тенденцию к размышлению, к философскому осмыслению социалистической действительности»,— говорил **П. Джорджеску.**

М. Петровяну заявил, что тоже положительно оценивает философскую направленность произведений многих молодых поэтов. И если говорят о недостатках этих произведений, заметил он, то не потому, что вызывает сомнения их направленность, а потому, что именно подобные стихотворения чаще всего грешат холодной абстрактностью, звонкой фразой, позой. Нельзя мириться с абстрактной, вне времени и пространства, трактовкой ближайших задач социалистического строительства.

Э. Симион добавил, что видит в подобных явлениях следствие того, что иные поэты переносят акцент с искусства как диалога с современностью на искусство как игру. Не менее опасной представляется критику и «абстрактно-минорная тенденция», не имеющая ничего общего с поэтическим обобщением, поэтическим раздумием.

Об опасности ухода от действительности в мир абстракций писал и С. Брату в статье «О работе еженедельника «Лучафэрул» по воспитанию молодых поэтов», напечатанной в «Скынтейе». Об этой опасности много говорилось на творческом собеседовании в редакции «Лучафэрула». Резкой критике подверглись высказывания некоторых молодых поэтов о том, что если их не понимают теперь, то поймут через пятьдесят лет.

«Через пятьдесят лет будет много хороших и разных поэтов, и будут они писать о проблемах своего времени столь интересно, что их современникам вряд ли понадобится ломать голову над заумью, которую ныне не могут понять наши современники»,— говорил поэт **И. Брад.**

Против поэтической зауми выступил и **О. Крохмэлничану:**

«Конечно, большую роль в поэзии играет намек. Поэт тем самым как бы призывает читателя сотрудничать с ним... Но некоторые поэты превращают усложненность формы в высший закон поэзии. Любая банальность, выраженная усложненно, становится для них поэзией. Вот и появляются так называемые «туманности, темные места».

Снова и снова звучала на этом своеобразном симпозиуме мысль о том, что только в живой жизни, а не в бесплодных абстракциях поэзия может черпать силу и красоту. И особую весомость придавало дискуссии участие в ней известных, умудренных опытом поэтов, среди которых в первую очередь следует назвать Михая Бенюка, Нину Кассиан и других. На собеседовании в редакции журнала «Вьяца ромыняскэ» **Нина Кассиан** с тревогой говорила о том, что некоторые молодые поэты относятся с меньшим уважением к объективной истине, чем к неким предполагаемым «автономным» поэтическим «законам». В стремлении к этой абсолютно нереальной поэтической автономии Н. Кассиан справедливо усматривает связь с пресловутой, давно отвергнутой жизнью теорией «искусства для искусства». А в своем **«Похвальном слове ясности»,** опубликованном в еженедельнике **«Контемпоранул»,** поэтесса писала:

«Хвала ясному искусству, долг которого—приобщить к истине как можно большее число людей. Хвала ясному искусству, благородному стремлению художника упорядочить свой опыт, выявить порядок и смысл явлений жизни. Хвала ясному искусству, не терпящему легкости и удобств, свидетельствующему об овладении всей сложностью материи, о победе человеческого сознания над хаосом. Хвала нашей ясной поэзии, в которой поэт не стесняется открыто и страстно заявить о своем приятии революционных идеалов, говорить от имени и на виду у всего человечества».

Выступления поэтов Р. Юлиана, Н. Стояна, Й. Георге и других показали, что дискуссия, начатая по инициативе «Скынтейи», вызвала самые благоприятные отклики среди молодых поэтов. В стремлении литературной критики уберечь молодую поэтическую поросль от тлетворного влияния модернизма и абстракционизма, в ее призывах глубже окунуться в гущу народной жизни видят они залог дальнейшего расцвета румынской социалистической поэзии.

«ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ СЛЕВА?»

Этот вопрос задал недавно западногерманским писателям, публицистам, деятелям культуры их коллега журналист Хорст Крюгер. Ответы составили целый сборник, который Хорст Крюгер выпустил в издательстве Пауля Листа в Мюнхене. В числе откликнувшихся на вопрос Крюгера — **Генрих Бёль.** Его ответ, озаглавленный **«Мнение рассерженного»,** перепечатал журнал **«Вельт унд ворт».**

Маленькая заметка Бёля, почти реплика, дает как бы мгновенный снимок литератур-

но-политической ситуации в ФРГ. Официальные лица Бонна так высоко ценят «демократические основы» своего государства, что слово «свобода» не сходит с их уст, а критику в свой адрес они прямо-таки рекламируют, называя ярчайшим образцом ничем не омраченной «свободы слова». Наиболее проницательные писатели ФРГ, известные своим критическим отношением к милитаристскому боннскому государству, давно уже почувствовали неуютную парадоксальность своего положения: они обнаружили, что их оппозиционность не принимают всерьез, что их незаметно для них самих низводят на положение шутов, дерзости которых испокон веков терпели короли, когда были уверены в прочности своих тронов. Если еще иметь в виду, что коммунисты в ФРГ загнаны в подполье, что официальная оппозиция в боннском парламенте представлена социал-демократами, одним из столпов которых является печально известный бургомистр Западного Берлина Вилли Брандт, то можно в полную меру оценить «действенность» западногерманской «оппозиции». Все это нужно помнить, чтобы понять горечь реплики Бёля, обоснованность его возмущения.

«Я не знаю, что значит сегодня быть слева,— пишет Бёль.— У официальных левых есть свое правое крыло, у правых — левое, я слышу, как шумят крылья, но знаю, что ждать взлета птицы напрасно. А сколько середин — у правых середина, у левых — середина, середина правого крыла левых, середина левого крыла правых. И еще существуют безродные левые — без крыльев.

Безродные левые придают пикантность фельетонам, воюют с безродными правыми. У правых тоже есть безродные. Для публики это сущий клад, потому что литературные баталии, обиды, оскорбленные самолюбия сплошь и рядом встревают в политику. Дрожа от гнева, воюющие стороны сгребают в кучу весь мусор до последней соринки, который слегка отдает доносами. Неприятный запах, и главное — не выветривается. Зато налицо «литературная жизнь», хоть и взращенная в реторте. Крылья партий шумят, но птица взлететь не может по простой и глупой причине: птица-то сидит в клетке, ее давно уже там прикармливают, и взмахни она левым крылом или правым, это все равно лишь «беллетристика» — клетка достаточно прочна. Можно сочинить загадку: «Стоит ни справа, ни слева, ни в центре — и все-таки не эксцентрик». Отгадка: «Немец перед избирательным участком, никак не могущий решиться голосовать за подбитое крыло».

Для Бёля путаница «левого» и «правого» — не абстрактный образ, не метафора. Он прекрасно понимает, что под бутафорский «шум крыльев» за кулисами вершатся слишком серьезные дела:

«Политики сообща выработали странный словарь. Вместо войны они говорят «решающий момент», но когда дело касается деталей, решающий момент распадается на атомную войну и на обычную войну. Звучит как в баре за кружкой пива. Разбомбленные города, танки, пулеметы, расстрелянные пленные — обычная война. Странно, что социал-демократы, после того как провалилось их предложение повесить каждому немцу ружье в платяной шкаф, не предлагают положить каждому немцу атомную гранату на сиденье автомобиля...»

Еще конкретнее становятся рассуждения Бёля, когда он вспоминает о двадцатых годах, которые для многих «левых» стали чем-то вроде золотого века немецкой революционности. Бёля волнуют не мечты о прошлом, а вопрос о возможности продолжения революционных традиций в современной обстановке:

«Безродные левые лелеют несбыточную мечту о золотых двадцатых годах, и никому не приходит в голову спросить себя, почему большинство эмигрантов предпочитает жить в Тессине, в Англии, Франции, Италии, США. С двадцатых годов прошло сорок лет, казалось бы, самая пора для совершеннолетия, для собственного стиля — самая пора для того, чтобы не считать остроумной шизофрению газетчиков... В Аденауэре виноват не Аденауэр — он таков, каков он есть и останется таким, каков он есть,— виноваты другие, все эти честные, разумные мужи, которых с их согласия постепенно растрясают и которые скоро уже сами не будут знать, мужи ли они вообще... Этот же старик губит не одно, а целых два поколения и культивирует нечленораздельную злобу, которая обрушится на наши же головы. Лозунгом будет: «Я же всегда говорил», отговоркой: «Я же этого не хотел». Лозунги пивного бара, болтовня вместо политики.

Левые, называющие себя теперь еще и безродными,— зрелище совсем плачевное. Право называться безродными имели эмигранты, горькое, дорого стоившее им право. Если же оно возводится в алиби сегодня, здесь, в этой стране, из которой никому нет необходимости эмигрировать, то это звучит как насильно вызванный к жизни сон. Ах, неужели так уж и нельзя расколоть партию и создать себе родину, создать партию, за которую можно было бы голосовать без неприятного чувства, что ты голосуешь за подбитое крыло?

Обращаясь к истории германской социал-демократии, Бёль в нескольких фразах с уничтожающей четкостью подводит постыдные итоги социал-демократического капитулянтства:

«Секрет рокового влияния социал-демократической партии в ее названии: в свое время социал-демократия была

способна на многое!.. Подумать только, что старый Виндхорст в Кёльне, вопреки настоятельным увещеваниям папы, мог от имени партии центра открыто заявить «нет» военному государству Бисмарка! Это не была политика за кружкой пива, это было открытое сопротивление. И вот рядом с этим — жалкий, трусливый шепот, когда нынешние политики «в сугубо частном порядке» — только, ради бога, не передавайте! — высказывают свои взгляды о политике в отношении Востока, по вопросам территориальных границ! Пивной бар, который содержат не те, за кем можно признать какое-то право на это, а те, кто объявил политику своим ремеслом».

Как видим, недоверие к политике, столь характерное для многих представителей западной интеллигенции, основано у Бёля на вполне конкретных политических антипатиях. Жаль, конечно, что Бёль, говоря о бессилии «левых» и о несерьезности их «оппозиции», не хочет «оглянуться во гневе» и хотя бы отделить в их среде честных от лицемеров. Зато левое лицемерие и в политике и в литературе Бёль клеймит по-бёлевски хлестко:

«Сплошь штампы, сплошь самообманы, вроде того, например, что дух прогресса издавна культивируется левыми. Сейчас ультрасовременное искусство делают молодые люди, манеры которых консервативны, как у гвардейских лейтенантов 1910 года. Воображаемые монокли (можем дождаться и настоящих, если кому-нибудь придет в голову, что так «презентабельней», или если оптическую промышленность осенит блистательная идея по части рекламы), губы в презрительной усмешке (odi profanum vulgus) * и усталость, такая усталость, ну прямо как у гого гвардейского лейтенанта после ночного кутежа в казино. Не удивительно, что симпатии промышленности к беспредметному искусству не только растут, но прямо-таки принимают формы подлинной влюбленности.

Вы спрашиваете, что значит сегодня быть левым? Что бы там ни говорили, это значит сидеть в баре за кружкой пива или у стойки за бокалом шампанского. Они называют себя безродными, не имея на это права. Кто сегодня левый, решают не левые, а правые, левые же из оппортунизма и из примитивной жажды успеха плетутся за ними и вот-вот обгонят левое крыло правых. «Левые» и «правые» — это только вспомогательные понятия, вобравшие в себя самые разные обманы, и уже не один доброжелательно настроенный человек был ими обманут. Мы близимся к однопартийному государству, которое позволит шуметь нескольким левым крылышкам. А остальные — сплошь середины. Подпись для картинки: «Между середин», серединки круглые, как мельничные жернова, и крутятся вокруг самих себя, а кто попадает между ними — того они размалывают».

* Презираю чернь (*лат.*).

ОБЛИЧИТЕЛИ ИЛИ УВЕСЕЛИТЕЛИ?

С недавних пор в английской печати стала настойчиво повторяться мысль, что сейчас английская сатира будто бы переживает полосу нового и притом небывалого, невиданного расцвета, что для нее наступил — не более, не менее — «новый Ренессанс».

О большом успехе и растущей популярности «новой сатиры», о том, что она завоевывает сегодня в Англии все более широкую аудиторию, свидетельствуют многие факты.

Выходящий дважды в месяц сатирический журнал «Прайвет ай»*, ныне ставший главной цитаделью «новой сатиры», начал свое существование меньше чем год назад и был сначала захудалым листком, находившим сбыт лишь в студенческих столовых и клубах. Сейчас это солидное периодическое издание, у которого сотни тысяч подписчиков по всей стране. Росту популярности журнала способствовал процесс, который затеял против него Рандольф Черчилль после того, как «Прайвет ай» посвятил целую полосу Уинстону Черчиллю: скандал создал журналу шумную рекламу, с лихвой окупившую наложенный на него штраф в 1500 фунтов.

После успеха «Прайвет ай» в Англии мгновенно возникло еще несколько сатирических журналов такого же типа. Более того, стиль, найденный в «Прайвет ай», был перенят множеством газет, выделивших для сатиры специальные полосы; фельетоны и карикатуры «Прайвет ай» начали регулярно перепечатываться крупнейшими английскими газетами, в частности «Обзёрвер».

Надежным оплотом «новой сатиры» является также «Истэблишмент ** клаб» — возникший два года назад клуб, который быстро завоевал известность благодаря своим постоянным «вечерам» со злободневными сатирическими обозрениями, неизменно воспроизводимыми в лондонских театрах и мюзик-холлах.

В огромном спросе и грампластинки с записью популярных фельетонистов и актеров, занятых в сатирических программах телевидения. А одна из таких пластинок — чтение номера журнала «в лицах» редакторами «Прайвет ай» — вызвала сенсацию, так как на ней, помимо всего прочего, обыгрывалась запись голоса самого Гарольда Макмиллана.

Но в чем состоит смысл «новой сатиры»? Что она выражает и что в ней, собственно,

* Личный взгляд (*англ.*).
** Незыблемый строй.

нового? Каков социальный эффект ее воздействия?

Вот какие вопросы поставлены в статье **Майка Дауна «Стала ли сатира мятежом на новый лад?»**, опубликованной на страницах лондонского ежемесячника **«Марксизм тудей»**.

Майк Даун исходит из мысли: если в Англии стала резко возрастать активность сатиры и расширяться ее фронт, то это свидетельствует о серьезных неполадках в жизни общества; но то, что эта сатира так широко и повсеместно вошла в моду и всеми приветствуется, не вызывая отпора, свидетельствует со всей несомненностью и о другом: что-то неблагополучно с самой сатирой, что-то «гнило» в ее сердцевине.

Быстрому успеху представителей новой школы и особенно их шумному успеху у обывателя, подчеркивает Даун, во многом способствовала новизна и оригинальность их стиля. Находка «Прайвет ай» и «Истэблишмент клаб» состояла в том, что они ориентировали своих сатириков на стиль «политического кабаре», то есть полуварьете-полуклуба, куда вход обычно бывает открыт далеко не для всех; так сказать, своего рода «нейтральная территория», где в частном порядке встречаются на досуге представители различных политических партий и группировок, где распространяются политические сплетни и смакуются последние политические анекдоты, но где правила «хорошего тона» решительно возбраняют затрагивать темы, способные разжечь политические страсти, нарушить искусно поддерживаемую атмосферу «перемирия», «паузы между схватками». Программа такого «политического кабаре» и дала «новой сатире» образец ее особого, хлесткого, бойкого и... легкого стиля, острого и пряного, но отнюдь не ядовитого.

Но такой стиль, пишет Даун, возникает не просто из стремления «новых сатириков» к новаторству в области формы — в основе его скрыта определенная идеология и особая жизненная философия, составляющие, так сказать, подпочву «новой сатиры», питающие самые ее корни. Этот стиль во многом определился особой социальной природой «новой сатиры», тем, что она стала рупором критически настроенной английской буржуазной молодежи, выражением ее «стихийно прорывающихся и зачастую весьма своеобразных реакций... на политические неурядицы эпохи».

> «Неожиданное наступление полосы ни с чем не сравнимого повального увлечения сатирой,— продолжает автор,— безусловно, теснейшим образом связано с нынешней политической ситуацией. Как бы ни отличались один от другого сегодняшние сатирики по своим творческим почеркам, в отсутствии почтения к нынешним нашим порядкам они едины. Они видят, как выбившиеся из сил тори в государственном аппарате кружат на одном месте, словно пьяные, еле удерживая равновесие на политической арене, совершенно не в силах справиться с тяжелой безработицей в стране, с кризисами в народном образовании и в жилищном строительстве, с унизительным поражением нашей экономики в отношениях с общим рынком, с пошатнувшимся положением Англии в современном мире и с тем, что их собственное положение в стране равносильно краху».

Но, замечает Даун, нападки «новой сатиры» на подобные явления таковы, что в итоге неизменно извращается отношение к этим явлениям. И выводы, которые читатель, зритель, слушатель должен сделать из критики этих явлений «новыми сатириками», оказываются неизменно пораженческими, ставят его в тупик перед этими явлениями, внушают безразличное, пассивное отношение к ним:

> «Наши «новые сатирики» выступают в ответ на ситуацию, которая могла бы привести к укреплению единства рабочего класса, к росту политической сознательности масс, к распространению идей социализма среди студенчества и интеллигенции. Полная непригодность лейбористов и тред-юнионистских лидеров к тому, чтобы противопоставить краху политики консерваторов программу борьбы за социализм, а также широкая пропаганда охранительных идей в печати и телевидении помешали реализовать эти возможности. И вместо того, чтобы повернуть к социализму... часть нашего общества...— и прежде всего часть нашего студенчества, интеллигенции, служащей молодежи — сворачивает сейчас к так называемому «неоанархизму».
>
> Отличительными признаками неоанархизма,— пишет Даун,— являются три существенно важные черты: во-первых, полное отсутствие каких-либо идеалов; во-вторых, презрение ко всякой власти вообще; в-третьих, ненависть к политике и политиканам.
>
> Начало неоанархизму было у нас положено в литературе Осборном, Уэйном, Эмисом и Эвелином Во. Их романы и пьесы раскрыли ничтожество и убогость всего уклада сегодняшней английской жизни и помогли кристаллизации того чувства собственного бессилия и безнадежности, которое так типично для нынешних наших интеллектуалов».

Потрясения, которые переживает сегодняшний мир капитализма, отмечает Даун, болезненные явления, связанные с распадом буржуазного общества, очень часто представляются буржуазному интеллектуалу порождением некоего непознаваемого и неустранимого хаоса, будто бы лежащего изначально в основе бытия человека и общества. Что же предприняли буржуазные писатели, сделали ли они какие-либо попытки «отстоять человеческие ценности среди окружившего их со всех сторон хаоса?»

> «Некоторые из этих современных писателей,— подчеркивает Даун,— все-таки

присоединились к движению борцов за запрещение ядерного оружия, но лишь единицы оказались настолько последовательными, чтобы сделать следующий шаг и прийти к борьбе за социализм.

...Неоанархисты же вообще прячутся в мусорные урны Сэмюэля Беккетта или ищут забвения в кошмарах Гарольда Пинтера.*

Философия неоанархизма цинична и насквозь полна пессимизма, в чем она тесно смыкается с экзистенциализмом. Жизнь — бессмыслица. Все человеческие желания суетны и бесплодны. Буржуазная этика и христианская мораль — мертвые реликвии, а заменить их нечем. Общество же прогнило, и ничем ему не поможешь. Человеку остается искать утешения лишь в себе самом, изолироваться в собственной скорлупе».

Неоанархизм, отмечает Даун, нередко оказывает известное влияние и на молодежь, активно участвующую в организованном движении борьбы за мир, за запрещение термоядерного оружия, хотя участники этого движения и не принимают основного тезиса неоанархистов о неизменности мира.

«Нынешнее резкое увеличение числа сатирических журналов, эстрадных обозрений, телепередач является, таким образом,— подытоживает Даун эту часть своих рассуждений,— одним из многих, частью положительных, частью же явно отрицательных, симптомов изменения отношения нашего общества к переменам в жизни. То, что такая сатира должна стать в какой-то мере «левой»,— само по себе просто неизбежно».

Однако «левизна» сегодняшней «новой сатиры», отмечает автор статьи, на поверку оказывается более чем сомнительной, а нападки «новых сатириков» на существующий строй — крикливыми, но совершенно безопасными. На что же именно и как «нападают» сатирики этой новой школы?

«Мишенью № 1 нынешние наши сатирики,— пишет Даун,— избрали для себя монархию.

Бесконечные романические похождения членов королевской фамилии, рождественская речь королевы, охота принца Филиппа на фазанов — все это было разоблачено, как и следовало ожидать, с полным блеском. Однако в эти нападки, даже в те из них, которые можно назвать самыми своевременными, откуда-то предательски закрадывается совершенно невольная почтительность. В нападках этих и не пахнет республиканским духом, и высокопоставленные приживалы правящего класса, поборники и защитники капитализма предстают у новых сатириков как безобидные остатки феодальной аристократии...

Даже самые удачные выпады «новых сатириков» против правительства консерваторов, как правило, бессмысленны и никчемны, авторы их нередко опускаются до уровня простой брани или двусмысленных намеков».

Таким образом, делает вывод Даун, «новая сатира» имеет по преимуществу буржуазно-конформистский характер, и в этом ее приговор:

«Как воспринимает «новую сатиру» правящий класс Англии? Невольно начинает казаться, что подобно тому, как человека все время тянет прикоснуться к больному зубу языком, так и разлагающееся общество не может удержаться от того, чтобы не пощупать собственных язв.

Пластинка с отрывком из «Без прикрас» Джонатана Миллера, с записью смешной проповеди, которую произносит растяпа-священник, используется в англиканских семинариях для натаскивания будущих проповедников в их искусстве.

«Истэблишмент клаб» с готовностью посещает и августейшая чета, и члены кабинета министров, и члены парламента от консерваторов.

Автомобильные стоянки возле наших «сатирических» театров запружены по вечерам роскошными «роллс-ройсами» и «бентли». Значительная часть постоянных подписчиков «Прайвет ай» — это самые привилегированные члены нашего общества, а ультрареакционные газеты вроде «Дейли мейл» находят полезным регулярно печатать Дэвида Фроста, почитаемого верховным жрецом «новой сатиры».

Неоанархистов на каждом шагу бьет собственное оружие, и есть опасность, что их нападки на существующий порядок станут по существу частью этого порядка. Бич их сатиры опускается на плечи, которые с готовностью подставляют себя под удары, а исторгаемые вопли — это вопли не боли, а удовольствия».

Майк Даун приводит в высшей степени характерное высказывание одного из ведущих представителей «новой сатиры» на телевидении, Ланса Персиваля, который, когда его спросили о его политическом credo сатирика, ответил: «Сатира означает деньги, оружие... так да здравствует же сатира!»

«Новые сатирики» в конечном итоге становятся чаще увеселителями тех, кого они критикуют, чем обличителями.

---

* Имеется в виду пьеса Беккетта, в которой родители героя показаны живущими в мусорных урнах. Пинтер — один из главных представителей нынешнего «театра абсурда» в Англии.

Дойка

Ф. БОГДАНОВ

ХАРЕН ДАС — ХУДОЖНИК НОВОЙ ИНДИИ

После победы в борьбе за независимость индийский народ добился значительных успехов в области культуры. Большое развитие в Индии получили все виды изобразительного искусства — живопись, скульптура, графика, народные художественные ремесла. Современные индийские художники стремятся использовать и развивать в своем творчестве то ценное, что было создано их предшественниками на протяжении многих веков. В искусстве молодой республики наблюдаются самые разнообразные течения и направления, все более прочные позиции занимают мастера реалистической школы.

Лучшие представители национального течения в современной живописи и графике Индии успешно продолжают богатые традиции прошлого — мастерство построения сложных композиций с их ритмическим расположением фигур и цветовых пятен, выразительность отдельных сцен, изящество рисунка и унаследованную от древних росписей и миниатюр глубокую эмоциональность. И хотя художники применяют изобразительные приемы, встречавшиеся еще в древнем индийском искусстве, они стремятся осмыслить их по-своему, вложить в понятные широким массам традиционные формы новое содержание.

Представители реалистической школы, творчески используя и развивая замечательные национальные традиции, создали немало ярких произведений, посвященных жизни народа современной Индии. Достойное место среди них занимают работы молодого графика Харена Даса, которые знакомы советскому зрителю по выставкам индийского изобразительного искусства в СССР в 1953 и 1956 годах. Харен Дас работает преимущественно в жанре гравюры на дереве.

В творчестве этого своеобразного мастера широко отражена жизнь индийских трудящихся. Большой выразительностью отличается его гравюра «Выходят в море». Художник решает тему свойственными гравюре скупыми и лаконичными средствами. Мы видим на берегу

На рыбалке

бенгальских рыбаков, несущих лодку. Их могучие фигуры контрастируют своими четкими силуэтами с безбрежной далью океанского простора, на фоне которого видны удаляющиеся рыбацкие суда. Харен Дас любуется отважными тружениками моря. Демократическая тема, пафос труда нашли в этом произведении яркое выражение.

Харен Дас стремится достичь максимальной экспрессивности: поднимая фигуры над горизонтом и заполняя ими весь лист, он подчеркивает несокрушимую силу людей, их готовность к борьбе с грозной стихией. Рыбаки символизируют трудолюбивый народ Индии, расправляющий плечи, уверенно строящий новую жизнь.

Ясная, уравновешенная композиция не нарушается дробностью деталей. И хотя художник любовно и тща-

Мир на земле (аллегория)

Пара голубей

тельно изображает одежду и остроконечные шапки рыбаков, их массивную самодельную лодку, скрепленную тяжелыми обручами,— все это, не отвлекая внимания зрителя, лишь помогает раскрыть тему. Жизнь рыбаков отражена также в акватинте «Окончание работы». А сколько душевной теплоты, тонкого лиризма в его гравюре «На рыбалке». График прекрасно использует в своих цветных гравюрах и линию, и пятно. И в этой гравюре очень удачно найдено сочетание черного пятна волос, смуглого тела и светлой одежды, окрашенной розовыми лучами заката.

В творчестве Харена Даса тема труда доминирует. Многие свои произведения он посвящает жизни крестьян, индийской деревне. В гравюре «Дойка» художник снова предстает перед нами как проникновенный и тонкий мастер, с большой теплотой изображающий жизнь и быт родной страны.

Национальное своеобразие работ Харена Даса характерно не только для деталей, типичных для Индии (одежда, плетеное ведро, лотосы), а пронизывает весь их художественный строй.

Одним из самых значительных произведений Харена Даса является его известная гравюра «Пара голубей».

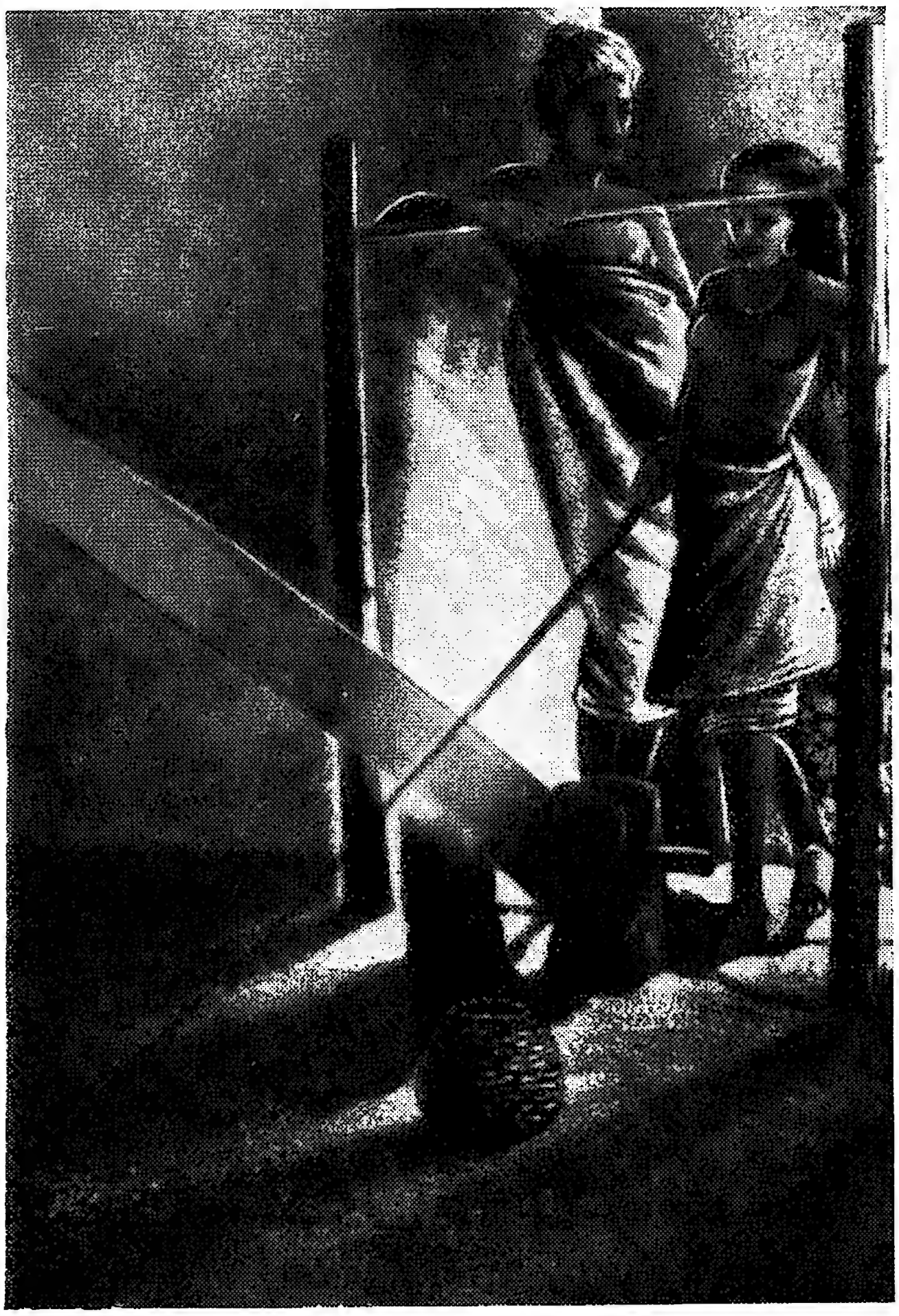
...Молодая девушка в розовом сари стоит под навесом деревянного домика, прислонившись плечом к бамбуковому столбу. Склонив голову, она задумчиво наблюдает за парой голубей во дворике. В этом произведении художнику удалось создать едва ли не самый

Выходят в море

запоминающийся женский образ, исполненный естественности и непринужденной грации, глубокой поэтичности и обаяния. Здесь тесно переплетаются самобытные национальные черты и достижения современной европейской графики, что, как мы видим, характерно для всех произведений Харена Даса. Это очень сильный рисовальщик, обладающий большим профессиональным мастерством.

Глубокий философский смысл творчества Харена Даса проявился и в гравюре «Мир на земле». В этой аллегории, при всей ее наивной непосредственности и простоте, очень ярко выражена главная, определяющая идея нашей эпохи — требование мира на земле. Художник находит для раскрытия этой идеи глубоко национальные, своеобразные изобразительные средства, которые встречают горячий отклик в душе у каждого индийца. Харен Дас, как и другие мастера искусства и литературы современной Индии, продолжает в своем творчестве традиции гуманизма и миролюбия, проходящие сквозь всю многовековую историю индийской цивилизации — от Калидасы и Видьяпати до Рабиндраната Тагора и Премчанда.

Творчество Харена Даса отличается многоплановостью. Но какой бы теме ни посвящал он свои листы, всегда главным героем его произведений остается народ Индии, ее простые люди. И художник каждый раз находит новые, убедительные штрихи, чтобы передать свою глубокую, идущую от чистого сердца любовь к этим людям.



Молотьба риса

Окончание работы

Из путевого альбома

А. РОМОДАНОВСКАЯ

ПО ЯПОНИИ

Художница А. Ромодановская совершила недавно с группой советских туристов поездку по Японии. Ниже мы публикуем ее путевые зарисовки.

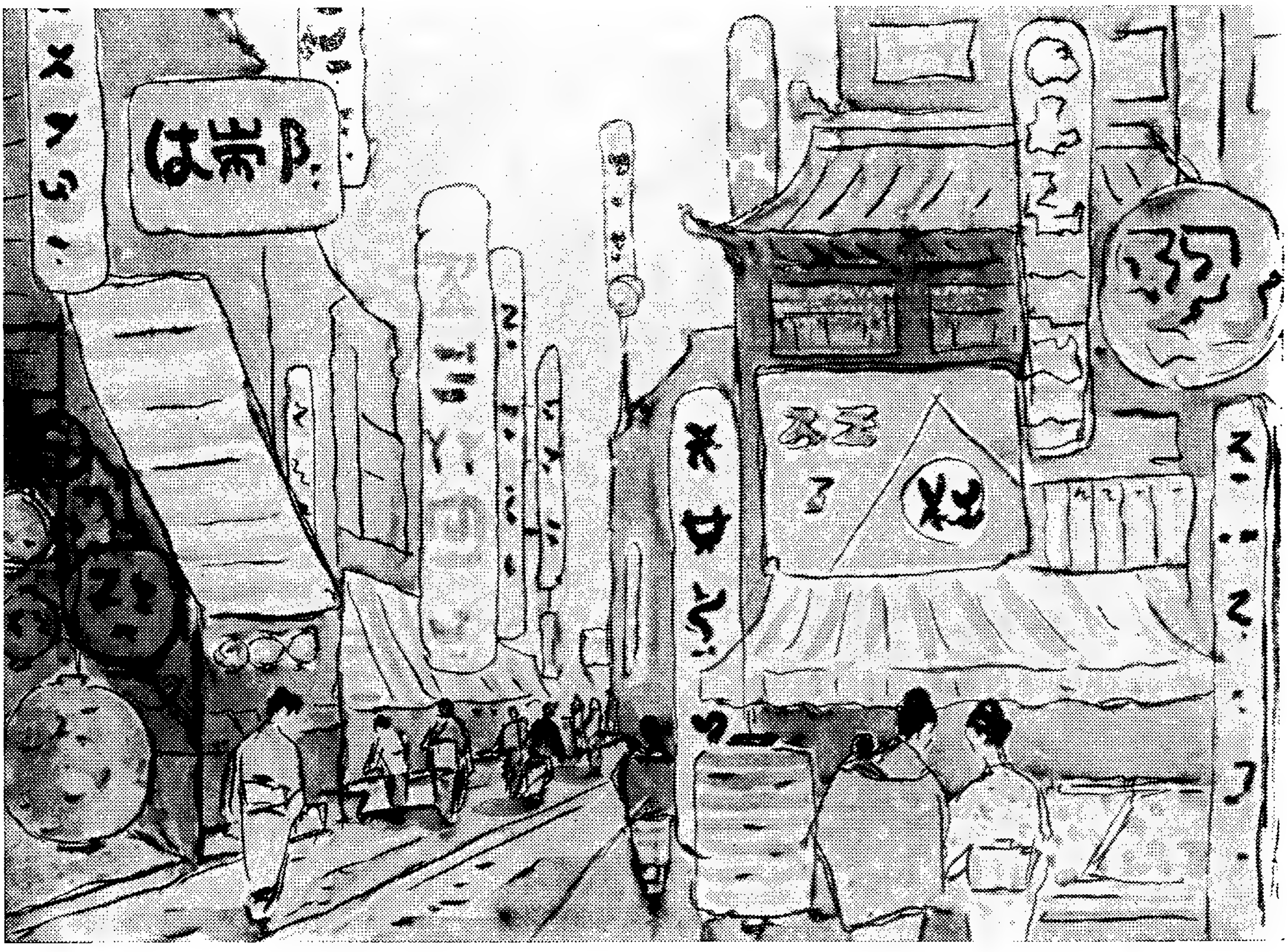
Токио нас встретил проливным дождем.

Рекламы с черными и красными иероглифами, автомашины, автобусы, толпа в разноцветных плащах и кимоно с большими цветными зонтами — все это отражалось на мокрой мостовой.

В дождь японцы надевают деревянные туфли, которые ритмично цокают по тротуарам.

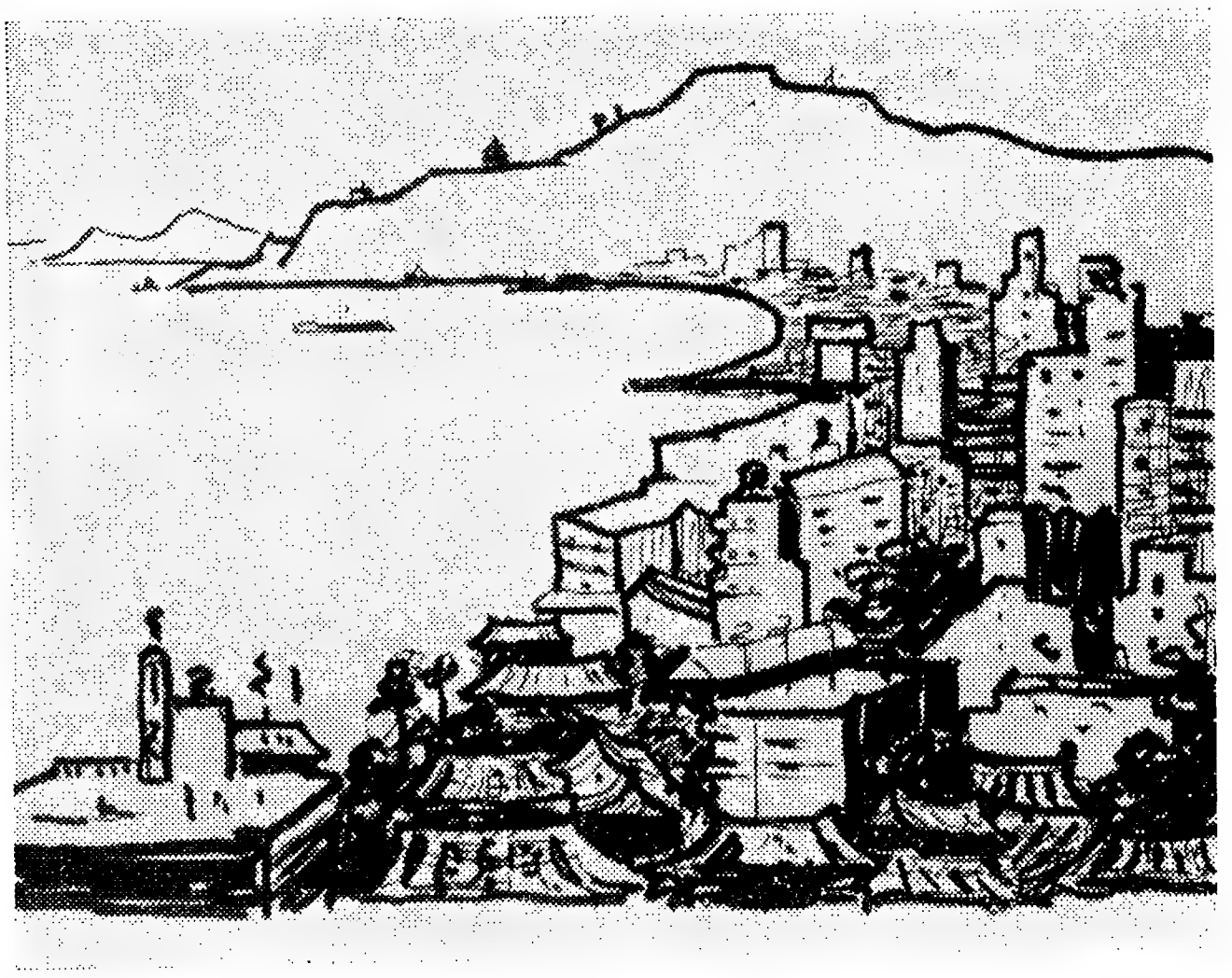
Токио.

Одна из улиц города. Обратите внимание на женщин — они носят маленьких детей за спиной. Иногда это делают и отцы.



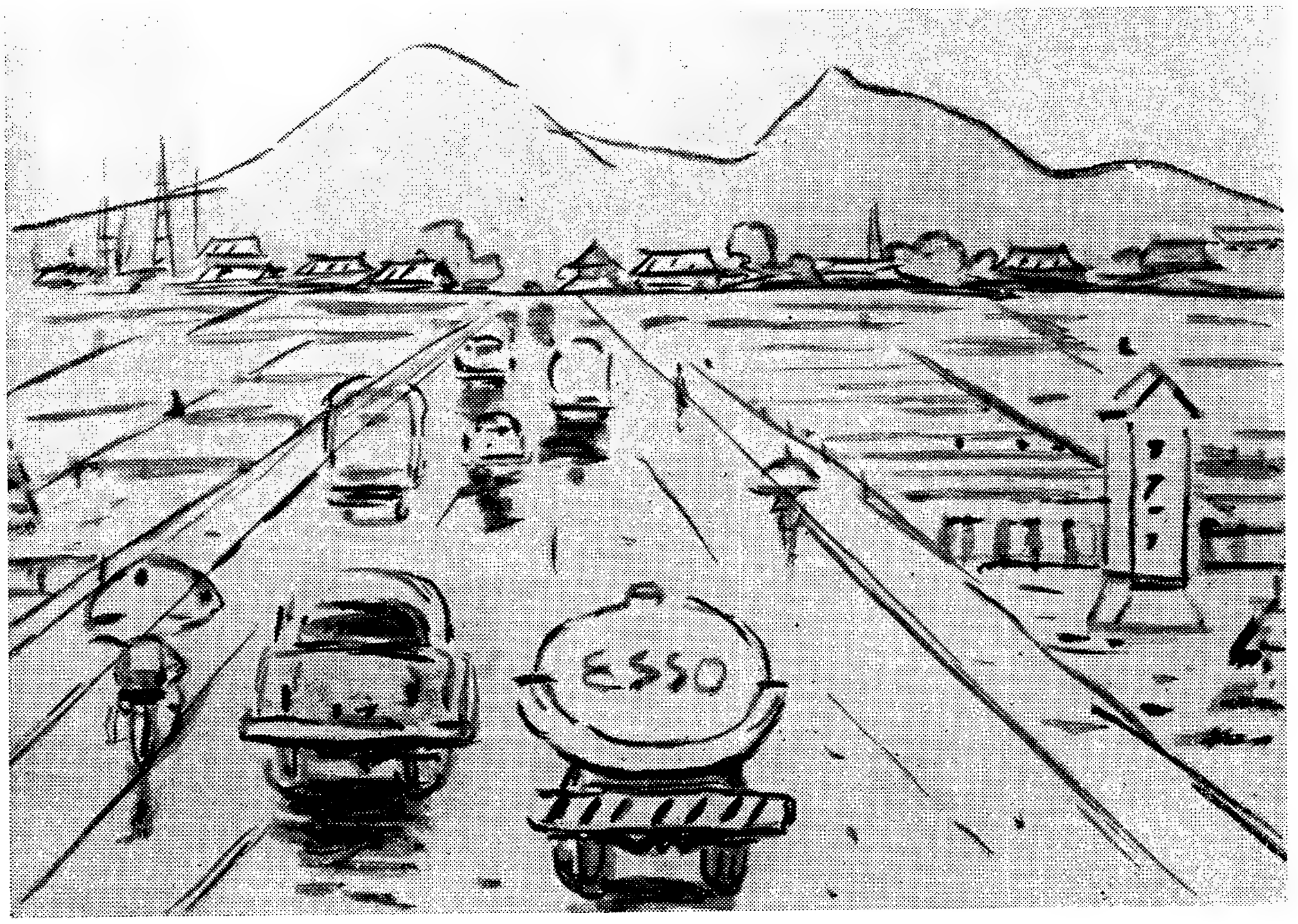
Атами. Это морской курорт. В отеле, в котором мы разместились, все велось по японским обычаям: туфли нужно снимать у порога, на полу — циновки. Столики низенькие, вместо стульев — подушки; кровати нет — ее заменяет перина, положенная прямо на пол; стены раздвигаются.

Из окна виден большой залив, в нем отражаются огни ночного города.

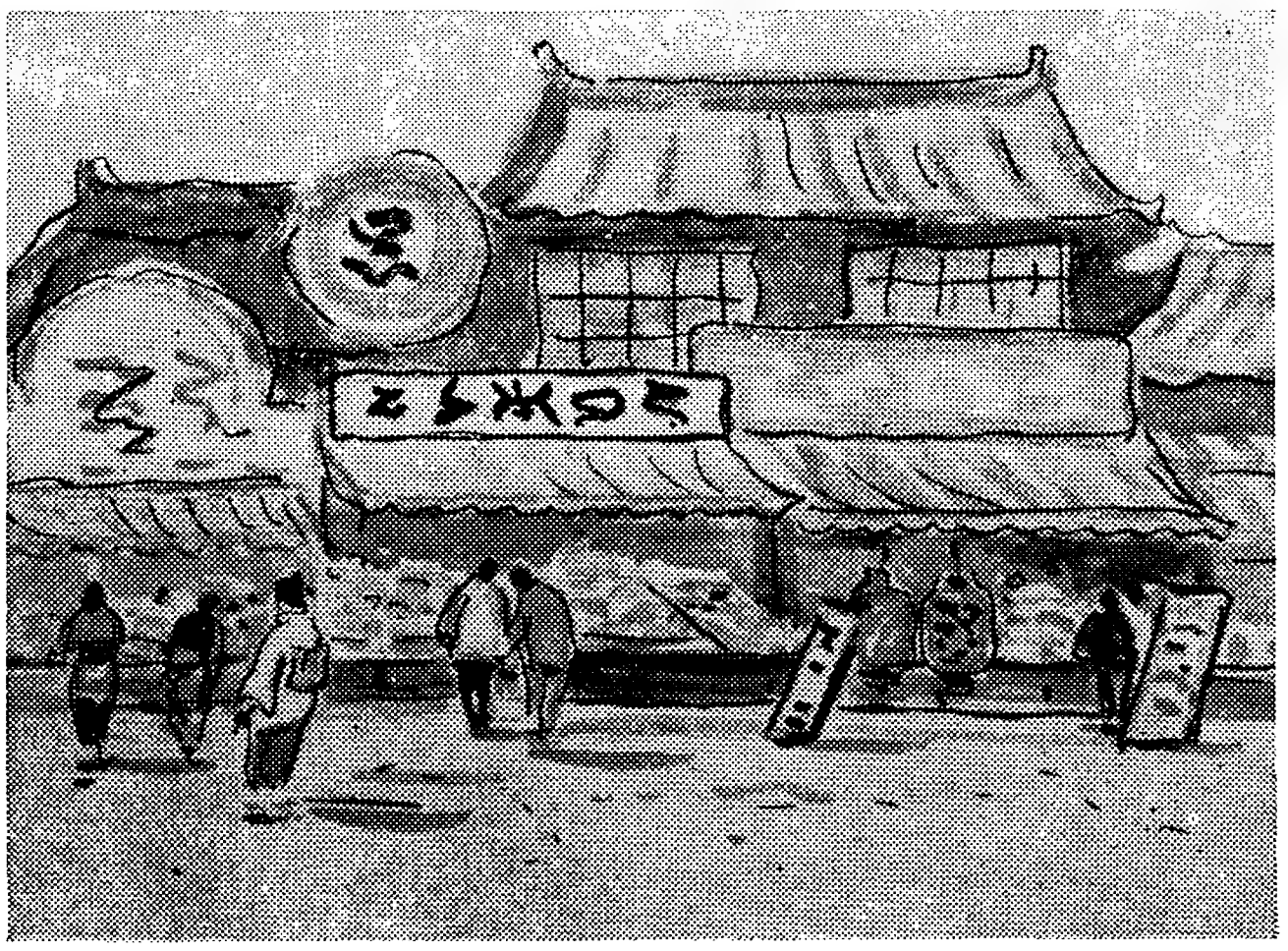


Мы мчимся в автобусе по шоссе. Кондуктор всю дорогу поет нам народные японские песенки. Мы выучили вместе с ней песню «Сакура» (цветущая вишня). Девушка знает много советских и русских песен и, когда мы их поем, тоже подпевает нам.

Вдоль шоссе — желтые рисовые поля. Машин на них не видно: крестьяне в больших соломенных шляпах вяжут снопы, укладывая их в затейливые стога.



Одна из лавочек в Атами.

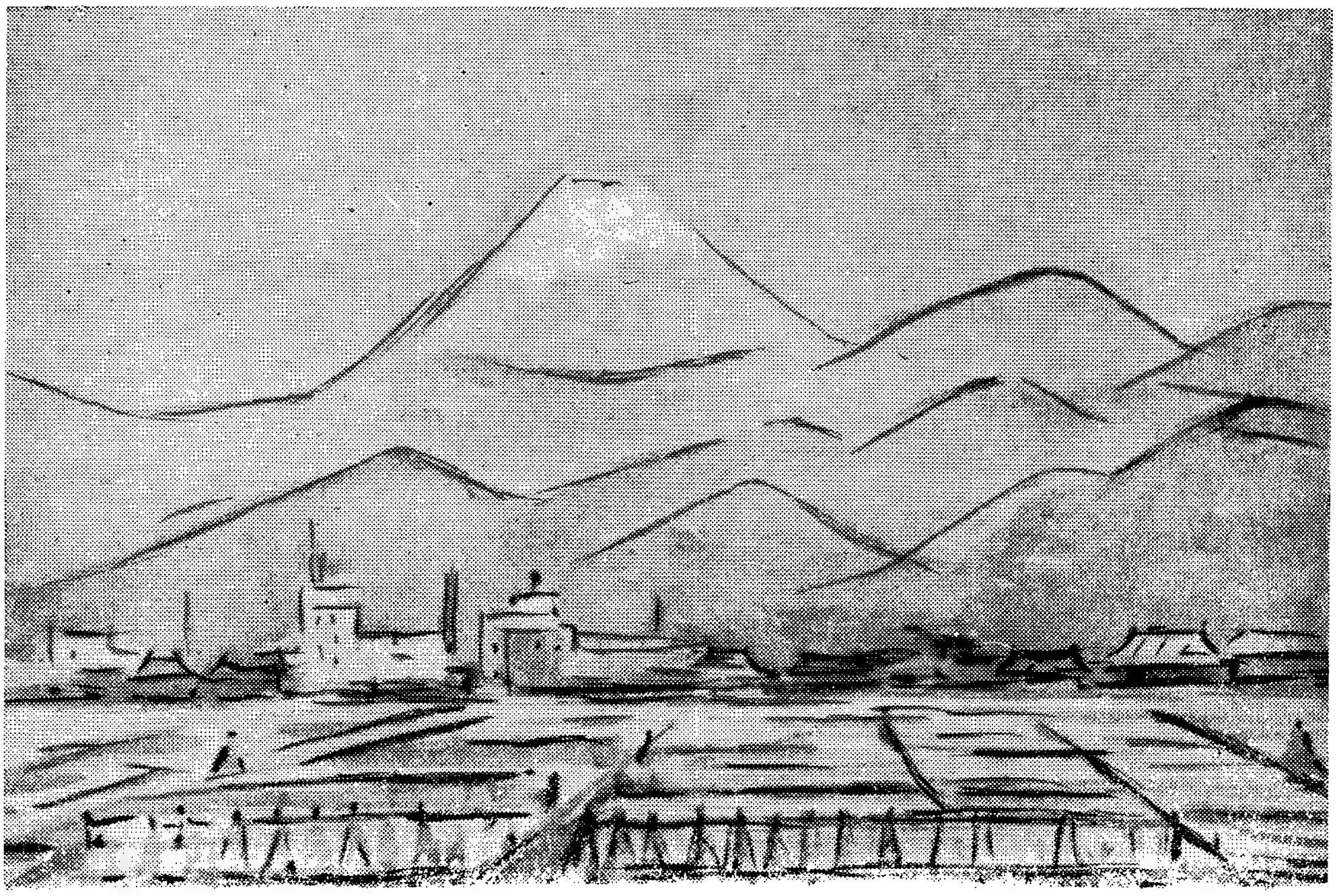


Дождь не прекращается. Туман. Фудзияма все время скрывается за облаками.

Неужели я так и не увижу эту знаменитую гору?

Но наконец, когда мы едем в Киото, рано утром небо очищается, и за рисовыми полями встает освещенная солнцем снежная вершина -- величественная, гордая.

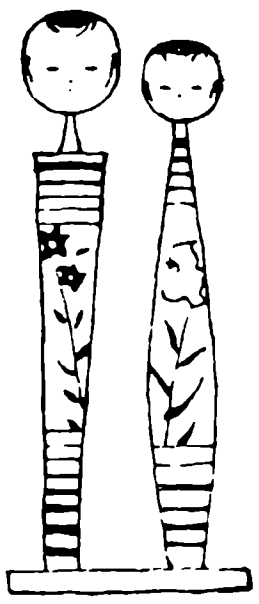
Недаром все японские художники, писатели, поэты восхищаются красотой этого потухшего вулкана.

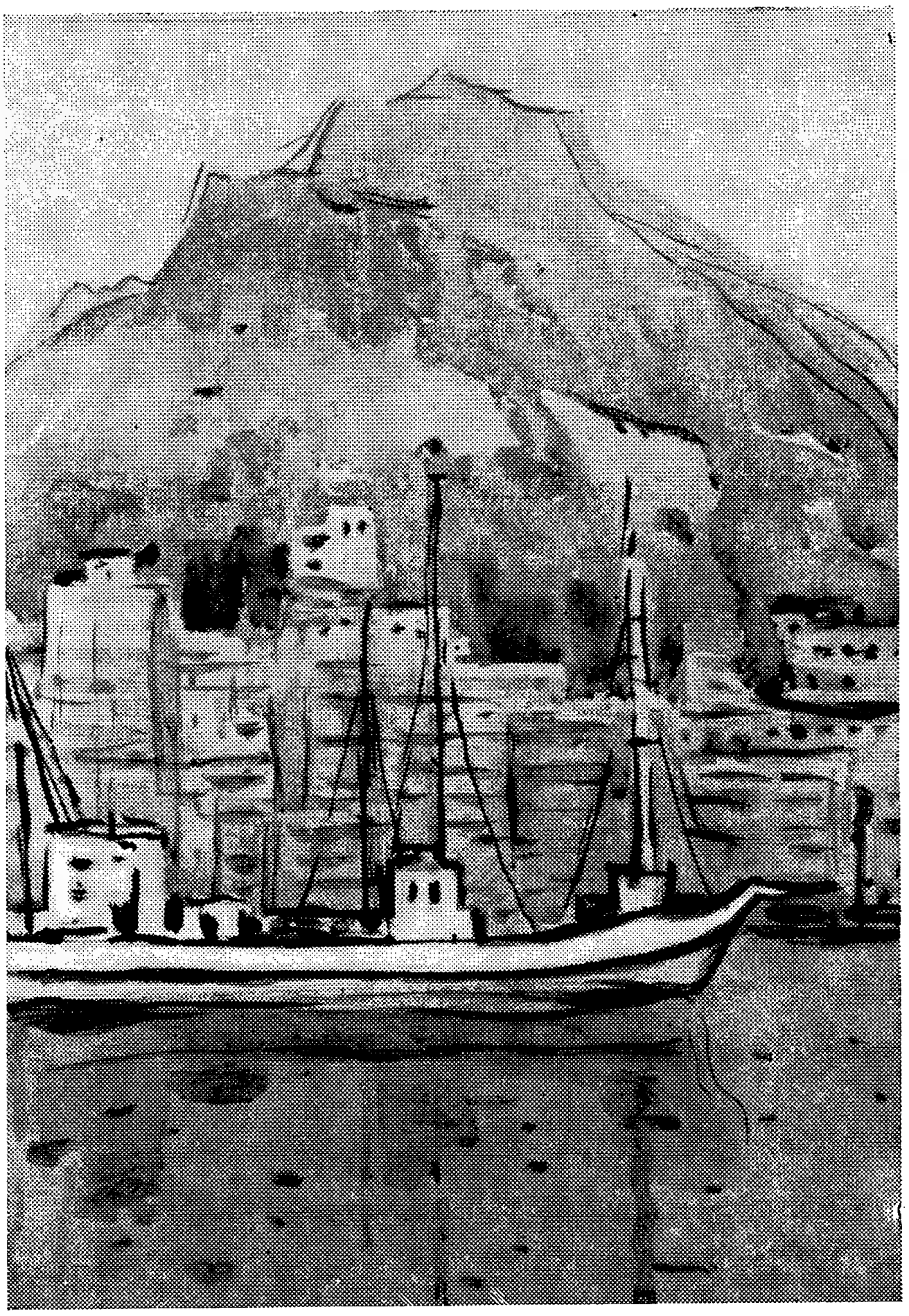


Экскурсанты под зонтами осматривают древние храмы.

...А дождь все идет и идет.

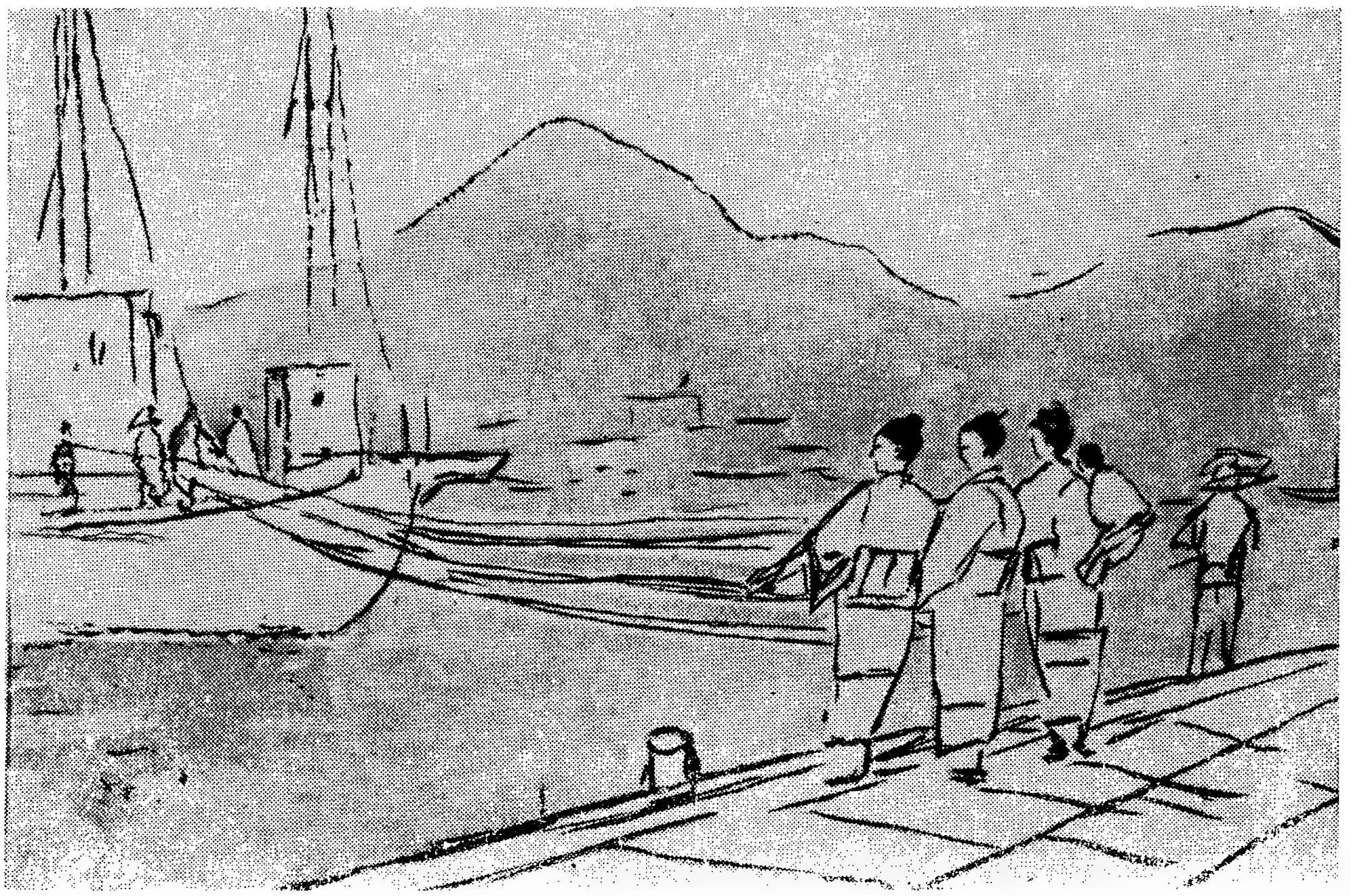
Симода — фешенебельный курорт на Тихоокеанском побережье.

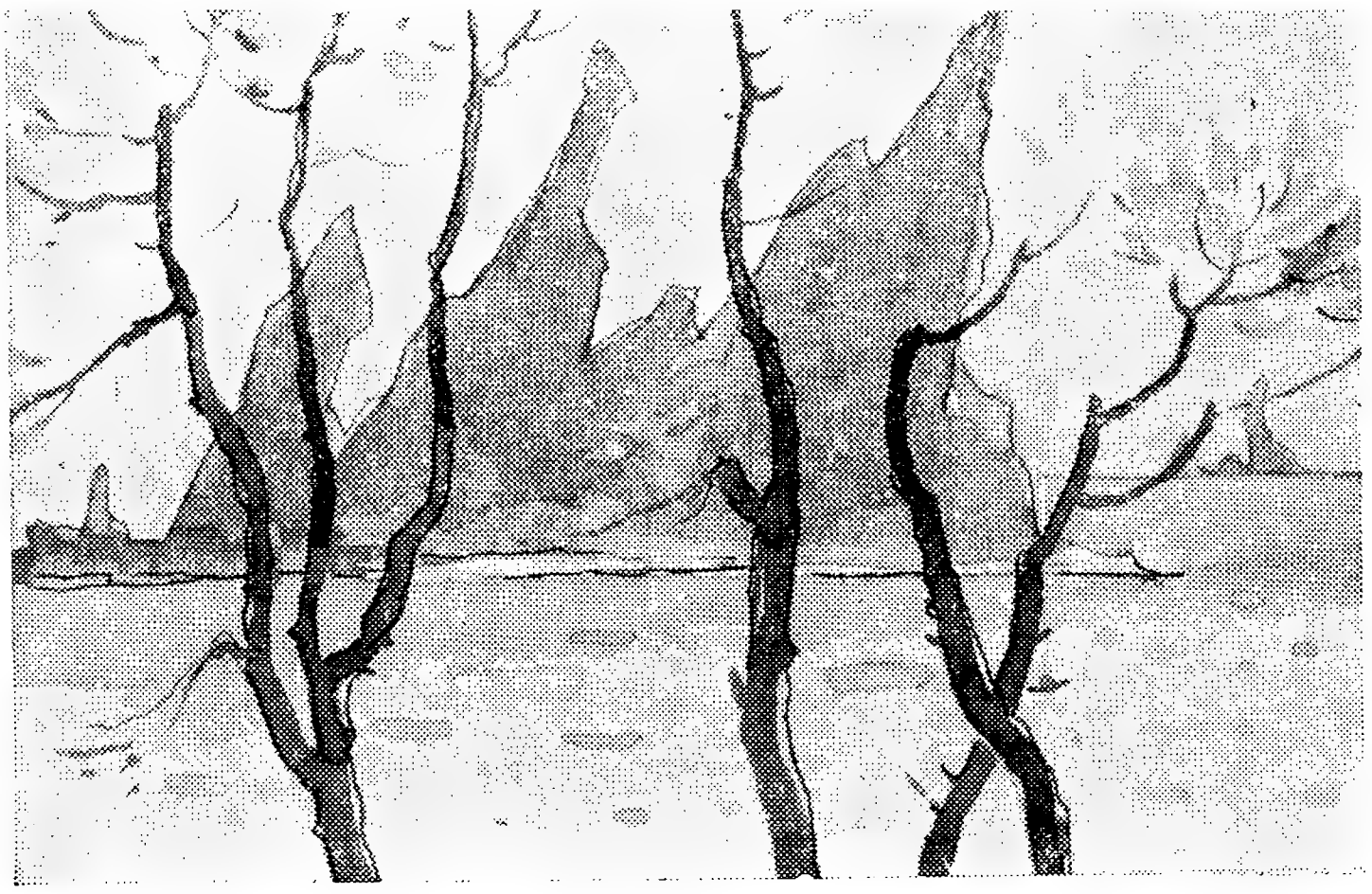




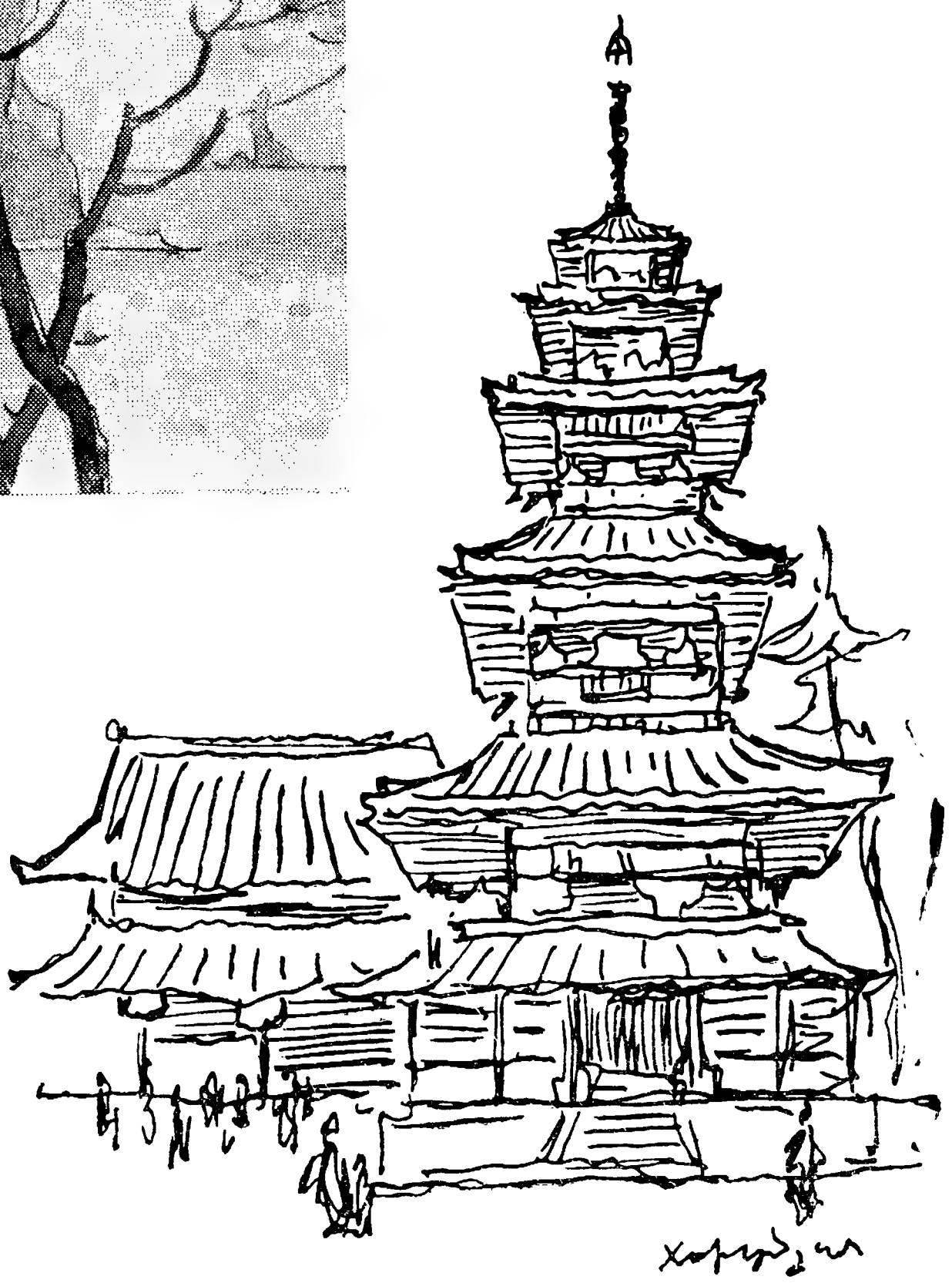
Симода. Вечером мы спускаемся в рыбацкий поселок. Бухта, пахнет рыбой.

Рыбацкое судно уходит в океан. На берегу группа женщин и детей, провожающих своих мужей и отцов. В руках у них переброшенные с борта судна цветные серпантинные ленты. Такие проводы рыбаков — местный обычай. Судно медленно отплывает. Бумажные ленты натягиваются и обрываются. Это — прощание, пожелание удачи и счастливого возвращения.





Симода. Скалы на побережье Тихого океана.



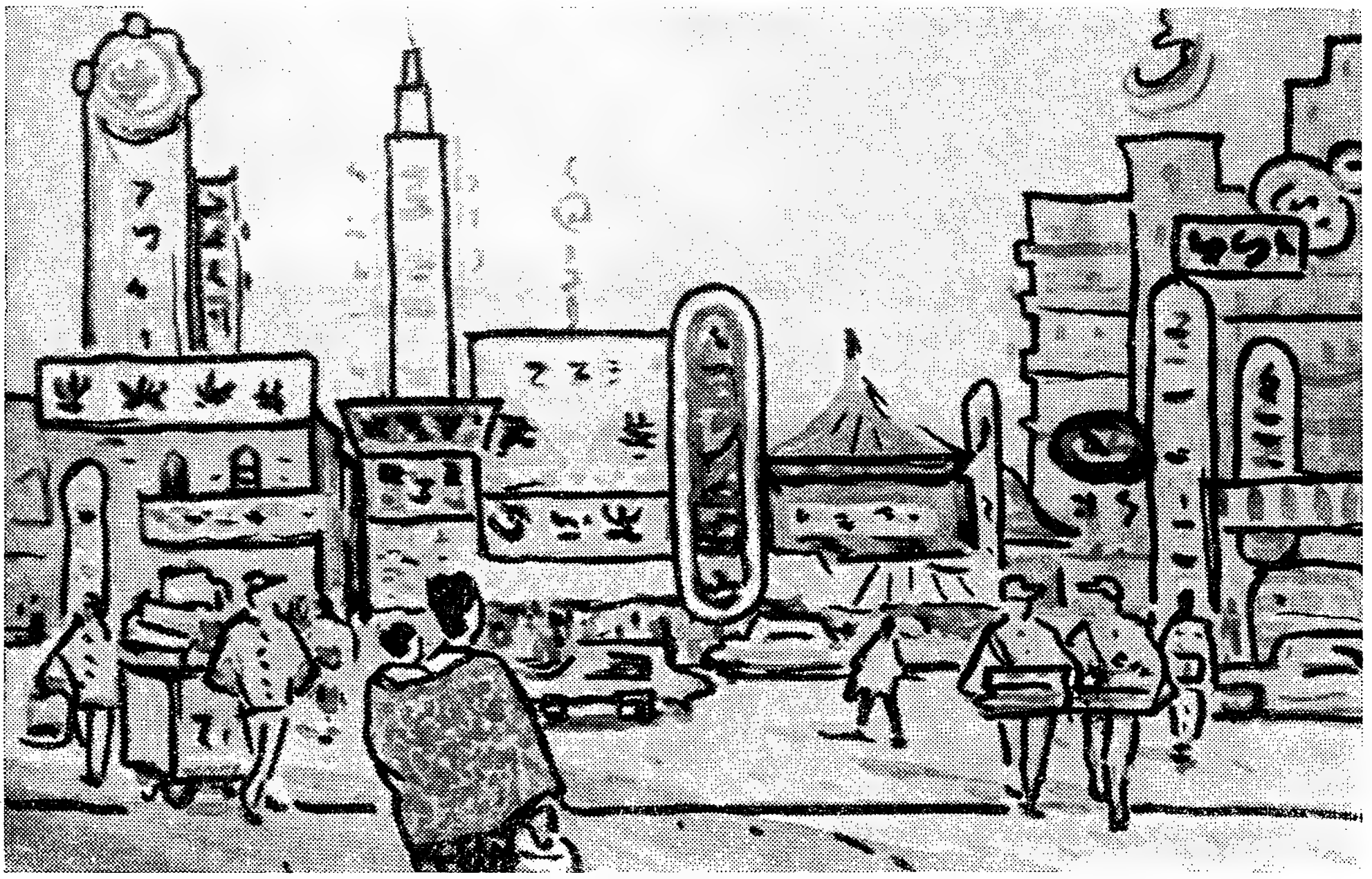
Киото — древняя столица Японии.

Из окна моего номера виден весь город.

Рядом со старыми японскими домиками выросли большие современные здания.

Киото — колыбель японской культуры. Здесь сосредоточено производство замечательных японских лаков и изделий из слоновой кости.

В центре города — дворец, в котором происходит церемония коронации японских императоров.



НАШИ ГОСТИ

КАРЛОС ФУЭНТЕС

Имя мексиканского писателя Карлоса Фуэнтеса, недавно посетившего редакцию журнала «Иностранная литература», известно не только в Мексике, не только в Латинской Америке.

Это его, Карлоса Фуэнтеса, одна из крупнейших в Соединенных Штатах радиотелевизионных корпораций, «Нэйшнл бродкастинг компани», пригласила участвовать в публичной дискуссии с помощником государственного секретаря США Ричардом Гудвином. Им обоим — перед телевизионными камерами — предстояло высказать свою точку зрения по вопросу «Как достичь прогресса в Латинской Америке».

Карлосу Фуэнтесу, однако, не довелось обратиться к телезрителям Соединенных Штатов: государственный департамент, ссылаясь на пресловутый «закон Маккарена», отказал во въездной визе популярному романисту, книги которого, кстати, издаются и в США. Госдепартамент США был явно обеспокоен тем, что писатель, как известно, не имеющий отношения к компартии и сотрудничающий в буржуазной прессе своей страны, может во всеуслышание сказать, что́ думают патриотически настроенные круги Латинской Америки насчет грабительской политики американских монополий и, в частности, насчет пропагандируемого Вашингтоном «союза ради прогресса» («союза против прогресса», как говорят латиноамериканцы). Так «обвинили» Фуэнтеса в коммунистической деятельности.

Речь Фуэнтеса, написанная для американского телевидения и не услышанная американскими телезрителями, была позднее опубликована в мексиканском журнале «Сьемпре». Ее первые слова: «К югу от ваших границ, американские друзья, простирается континент, охваченный революционным брожением...»

О латиноамериканском континенте, «охваченном революционным брожением», Карлос Фуэнтес говорил и в Москве, в редакции нашего журнала. В высказываниях тридцатипятилетнего романиста, произведения которого занимают видное место в современной мексиканской литературе,— глубокая взволнованность.

— Впервые за сто пятьдесят лет народ одержал победу в Латинской Америке — произошла революция на Кубе. Полтора века назад мы освободились от испанского владычества, но попали под гнет Соединенных Штатов. Избавившись от колониализма, мы очутились в тисках неоколониализма. В западном полушарии лишь Куба сорвала с себя неоколониалистские цепи. Влияние кубинской революции на другие латиноамериканские страны огромно — даже не поддается определению. В сознание миллионов людей нашего континента запала мысль: *можно* перестроить социальную структуру общества, *можно* избавиться от капиталистического гнета, *можно* жить по-человечески. Под воздействием событий на Кубе ныне в Латинской Америке происходят очень интересные процессы. И никакой антикубинской, никакой антикоммунистической пропагандой это воздействие на умы человеческие предотвратить нельзя!.. Приходит к власти, скажем, в какой-нибудь из наших стран новое правительство и, в надежде получить кредиты от Соединенных Штатов, широковещательно заявляет, что Куба — это, дескать, величайшее зло, что надо бороться против Кубы любыми

средствами, что Фидель Кастро вот-вот падет, что на этом острове скоро все переменится, и т. д. В различных латиноамериканских странах всплывают новые имена диктаторов, возникают новые кабинеты, новые правительственные хунты, как бы они ни назывались,— возникают и лопаются, а Куба живет, растет, набирает силы, крепнет. Независимой Кубе скоро исполняется пять лет. Все те, кто побывал на Кубе и видел новую жизнь, убедились, что даже люди там стали совсем другими. Кубинцев теперь не узнать — они хозяева в собственном доме. Кто же не хочет последовать их примеру! Куба — наша надежда, наш путь...

Карлос Фуэнтес сам бывал на революционной Кубе: он являлся членом жюри латиноамериканского литературного конкурса, проводимого гаванским издательством «Каса де лас Американас».

По мнению писателя, кубинская революция четко определила, разграничила позиции интеллигенции в Латинской Америке.

— Интеллигенция, деятели культуры — в двух лагерях. Одни за революцию, другие против. Почти совсем исчезла категория аполитичных, колеблющихся. Бóльшая часть латиноамериканской интеллигенции провозгласила, что она за кубинскую революцию. Империалистам известно, что почти вся интеллигенция Латинской Америки на стороне Кубы. Несомненно, это один из факторов, тормозящих империалистическое наступление на Кубу. С другой стороны, кубинская революция заставила нашу интеллигенцию, прежде раздробленную, распыленную, сплотиться. Куба заставила объединиться и тех, кому прежде было не по душе объединение, кто подумывал укрыться в собственной раковине... Я расскажу об одном случае, очень характерном, происшедшем в прошлом году. На симпозиум в летней школе при университете, в чилийском городе Консепсьон, собрались писатели Латинской Америки — люди разных политических убеждений и взглядов. Тут были демократически настроенные люди, либералы, были и правые. Приехал в Консепсьон и Фрэнк Танненбаум, профессор Колумбийского университета в США. Он выступил на симпозиуме с речью, в которой с жаром призывал бороться против империализма. Он заявил, что все латиноамериканские писатели должны выступить против общего врага — империализма. Когда его попросили уточнить, что он имеет в виду, Фрэнк Танненбаум безапелляционно заявил, что надо бороться, разумеется, «против русского империализма, вонзившего острые когти в тело Кубы». Чего же иного можно ожидать от человека, который вручал диплом почетного доктора прав палачу и убийце Кастильо Армасу, залившему кровью Гватемалу!.. Но Танненбаум никак не мог предполагать, что́ произойдет дальше. Все присутствовавшие на симпозиуме — абсолютно все — единодушно начали протестовать против его утверждений. Писатели разных стран и разных взглядов впервые почувствовали, что они едины в своем протесте. Фрэнк Танненбаум был сражен...

Кстати, в той речи, которая не была произнесена по американскому телевидению и которая была опубликована в «Сьемпре», Фуэнтес обращался к телезрителям США: «Не давайте обманывать себя, американцы! Раскройте глаза! Спросите жителя трущоб Буэнос-Айреса, Рио-де-Жанейро или Сантьяго, боится ли он коммунизма. Этот нищий, этот пария ответит вам, что он страшится только своих нынешних притеснителей, которые эксплуатируют его во имя капитализма и «представительной демократии», и что он согласен на что угодно, лишь бы изменить свое положение... Спросите кубинцев, боятся ли они помощи Советского Союза, есть ли на Кубе хоть одна советская компания, которая использует в целях наживы кубинскую экономику!..»

В редакции «Иностранной литературы» Карлос Фуэнтес особо подчеркнул роль латиноамериканского писателя в современной жизни:

— В условиях неразвитой, зависимой страны народные массы не имеют возможности свободно сказать свое слово. Журналы, газеты — вся пресса этих стран фактически не отражают мнение народа. И честный писатель, работая над произведением, стремится вложить в него не только свои мысли и чувства, но и передать мысли и чувства своего народа, показать подлинную жизнь своих соотечественников. Народ ждет правдивого слова от писателя — это единственная возможность излить свою душу и сердце, высказать свои чаяния и надежды. Мне думается, что главным образом именно поэтому большинство латиноамериканских литераторов — писатели и одновременно журналисты, публицисты, общественные и политические деятели... Положение писателей в Латинской Америке сложное и тяжелое. Писатель должен где-то работать, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Что касается меня, то я также занимаюсь журналистикой, много перевожу, пишу киносценарии. Однако главная трудность не в этом — литератору приходится беспрестанно бороться *за право писать*. Конечно, делая ставку на молниеносный успех, на завоевание дешевой славы, писатель может объявить себя антикоммунистом, тогда рай спустится для него на землю, перед ним откроются двери редакций и издательств, книги его будут выходить огромными тиражами. Чтобы заслужить поощрение сильных мира сего, нужно быть антикоммунистом — в данном случае частичка отрицания «анти» у нас превратилась в степень ценности. А если человек не хочет так действовать, не намерен поступиться своими взглядами, своей совестью или, более того, он защищает коммунистов, тогда перед ним захлопываются все двери, он попадает под дикий артиллерийский обстрел со стороны реакции.

Основной темой в творчестве писателей Мексики была и остается мексиканская революция; мы пишем о том, что она дала народу и чего не дала, на каком этапе был парализован революционный процесс...

Тема мексиканской революции привлекает и Карлоса Фуэнтеса, стремящегося разобраться в причинах «парализации революционного процесса» в Мексике. Писатель не относится равнодушно к судьбам своей родины. Этому свидетельство — его произведения. Полемической страстью насыщены его публицистические статьи, хотя и не всегда точка зрения писателя бесспорна. Еще несколько лет назад, отвечая на вопросы редакции издающегося в Мехико журнала «Куадернос американос», Фуэнтес заявил: «Молодые деятели культуры Мексики обязаны отвоевать свое важнейшее право — быть выразителями демократической мысли... По моему глубочайшему убеждению, деятель культуры должен отстаивать право на правду».

Юристу по образованию, Фуэнтесу еще не было двадцати шести лет, когда он, опубликовав сборник рассказов «Дни в маске», заставил говорить о себе, как о писателе. Вокруг его книги развернулась ожесточеннейшая полемика. Рассказы отличались большим творческим воображением, но даже и в тех случаях, когда действие переносилось в Мексику до испанского завоевания, по мнению мексиканской критики, «было ясно, что речь идет о наших днях, о жгучих проблемах современности, даже о «холодной войне».

Бурные споры в литературных и читательских кругах возбудил вышедший в 1958 году роман Карлоса Фуэнтеса «Область наипрозрачнейшего воздуха» (название романа заимствовано автором из одной реляции завоевателя Мексики Эрнана Кортеса испанскому королю Карлу I; атмосфера высокогорной Долины Мехико, где находится столица страны, столь прозрачна, что, например, знаменитые вулканы Исстаксиуатль и Попокатепетль, отстоящие от столицы почти на триста километров, кажутся совсем близкими).

Об этом романе автор говорил так:

— Мне хотелось сделать рентгенограмму Мехико, рассказать о жизни — светлой и мрачной — столицы. Я люблю и ненавижу этот город — в нем выражено трагическое прошлое, на нем отпечаток моральной нищеты, с ним связаны великие надежды моей родины... Мой роман — я не хотел развлекать читателя «приятным чтивом» — это история формирования крупной мексиканской буржуазии, пришедшей к власти после революции 1910 года, это история ее разложения. Я также описываю «дно» Мехико, вывожу и людей «низов». Красивого мало — совсем, пожалуй, нет. Это сгусток реально существующего... Надежды на лучшее? Надежды есть...

Лишь один из героев «Области наипрозрачнейшего воздуха» переходит в следующий — уже не столь многоплановый — роман Фуэнтеса «Чистая совесть», включаемый автором в задуманную им тетралогию под общим названием «Новые». По мысли писателя, «новые» — это люди, не принимавшие участия в революции 1910 года.

— Все четыре романа этой тетралогии,— говорит Карлос Фуэнтес,— посвящены мексиканской молодежи, недовольной существующим положением вещей, ищущей нового...

В прошлом году появились на свет сразу две — не входящие в тетралогию — книги Фуэнтеса. Оба произведения — повесть «Аура» и роман «Смерть Артемио Круса» — были встречены с живейшим интересом критикой и читателями.

— Артемио Крус, выходец из бедноты, участвовал в мексиканской революции,— рассказывает Фуэнтес о герое своего последнего романа.— В силу целого ряда обстоятельств — на гребне, а точнее, в пене революционной волны — он смог подняться. Его карьера может показаться неправдоподобной, но это так. Разбогатев «на революции», он в конце концов стал миллионером, доверенным человеком американских монополий... Это биография одного человека и вместе с тем история моей страны за полвека. Взлет и крушение Артемио Круса — траектория мексиканской крупной буржуазии...

Писатель делится своими творческими планами:

— Теперь я работаю над двумя романами. В одном из них будут воссозданы последние дни Эмилиано Сапаты — вождя аграрной революции в Мексике, подло убитого реакцией. Эмилиано Сапата, несомненно, был самой светлой личностью в мексиканской революции. Он — знаменосец ее идей, живое воплощение революционного духа народа. Как раз этим объясняется враждебное отношение к Сапате со стороны наших правых политиков, которые предали идеи мексиканской революции, немало потрудились над тем, чтобы революция не была бы доведена до окончательной победы... Действие моего второго романа развертывается не в Мексике, не в Латинской Америке, а в довоенной Чехословакии. Поэтому из Москвы я уезжаю туда, где жили и действовали герои моей новой книги,— в Чехословакию. На первый взгляд, это будет история любви, но это только на первый взгляд. Я хочу в этом романе поднять тему зарождения и развития фашизма. Фашизм представляет угрозу также моему народу, народам наших стран...

— Мы, мексиканские писатели,— заключает Карлос Фуэнтес,— понимаем, что та огромная задача, которая стоит перед нами,— говорить правду о жизни народа — выдвигает и требования эстетического порядка, требования высокого литературного мастерства. Мы помним, что говорил Владимир Маяковский о социальной революции и революции в искусстве. Произведение, имеющее революционное содержание, должно обладать и революционной формой. Если писатель хочет, чтобы читатели его любили и понимали, не следует забывать совет Маяковского...

Юрий Дашкевич

НАШИ ГОСТИ

ПОСЛАНЦЫ БИРМАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

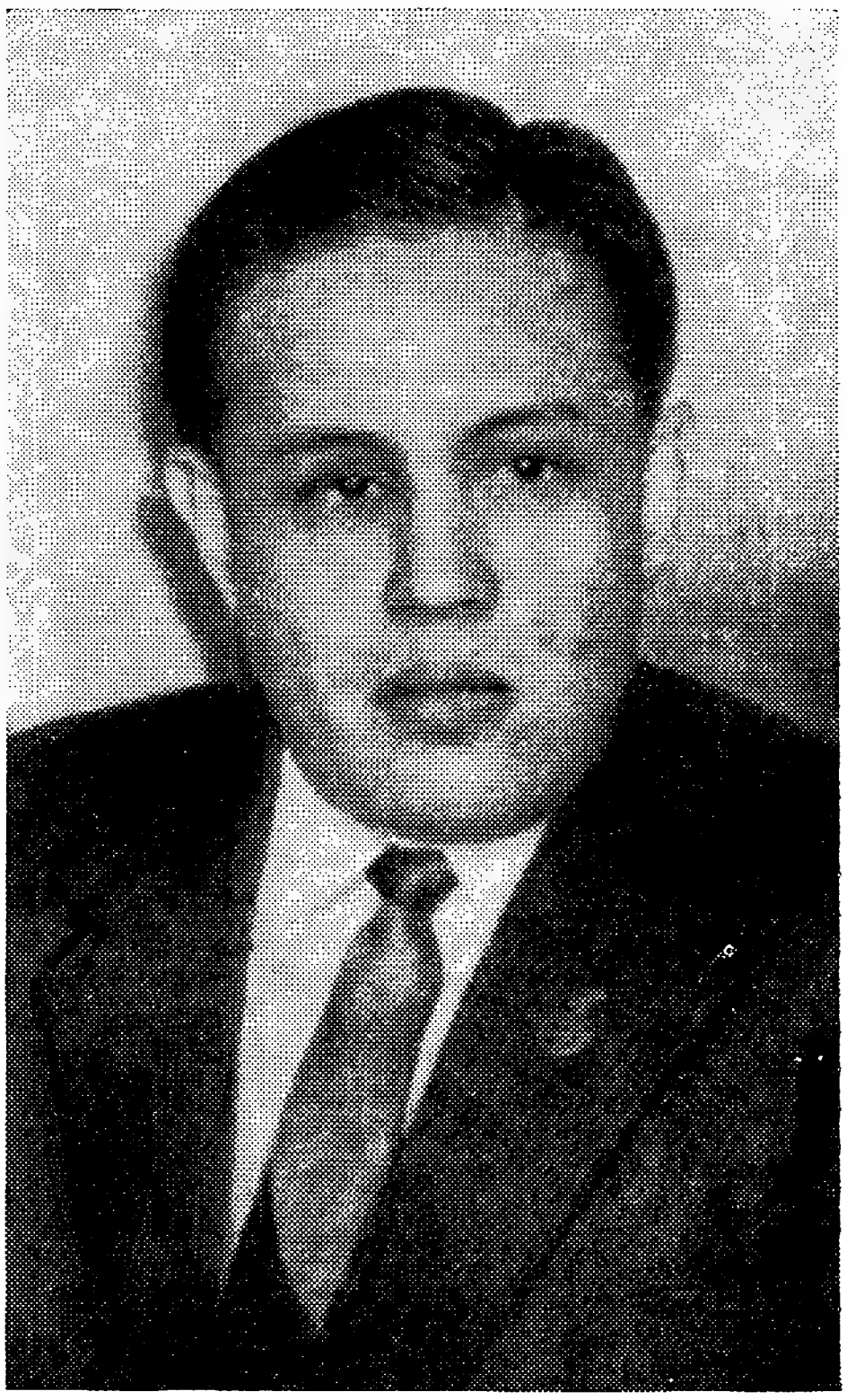
Старейший бирманский литератор Зейя, выступая на съезде писателей своей страны, сказал: «Перо, как говорится в нашей пословице, острее любого ножа. Оно, конечно, не может, подобно ядерному оружию, уничтожить за двадцать четыре часа миллионы людей. Но перо способно направить людей по правильному пути, так же как, впрочем, оно может толкать их на край пропасти. Потому-то так велика ответственность, которая лежит на писателях нашего времени».

В Бирме около тысячи писателей. И когда двое из них, молодые прозаики Мин Шин и То Та Свей, рассказывали в редакции нашего журнала о своей литературе, мы все больше и больше убеждались в том, что восьмидесятилетний Зейя не одинок в понимании писательского долга.

Писателю-новеллисту Мин Шину тридцать шесть лет. Во время японской оккупации он с оружием в руках боролся за независимость родины. После войны начал писать. Его перу принадлежат сборники «На дороге» и «Когда-то мы были товарищами». Несколько его рассказов переведены на русский язык.

— Присутствующий здесь писатель То Та Свей,— представляет нам Мин Шин своего товарища,— пользуется у нас в стране очень большой популярностью. Недавно он получил национальную премию за роман «Мой путь». Это до некоторой степени автобиографическая книга. То Та Свей рассказывает в ней о том, что ему пришлось увидеть в жизни, а видел он немало, так как был и рабочим, и продавцом, и возчиком. Он встречал в своей жизни самых разных людей. Вот обо всех этих людях он и написал книгу.

Мин Шин охотно отвечает на многочисленные вопросы.



Мин Шин

— В ноябре 1962 года,— рассказывает он,— у нас состоялся съезд писателей, где говорили и о содержании, и о форме художественных произведений, и об условиях жизни писателей. На этом съезде присутствовало около семисот писателей — больше, чем мы ожидали. На него приехали даже литераторы из деревень и маленьких городов, а выступали не только писатели и критики, но и все те, кто заинтересован в развитии литературы. Заседания начинались утром и продолжались иногда до полуночи. В последний день работы съезда его участники встретились со своими читателями — рабочими и крестьянами, чью жизнь, быт, нужды и радости мы должны внимательно и терпеливо изучать. Лучшие наши писатели стремятся показать, как бирманский народ шагает вперед, стараются идти в ногу со временем. Мы понимаем, что основной темой наших произведений должна быть жизнь народа.

«Мы твердо стоим на стороне народа,— провозглашает Декларация, принятая съездом.— Мы считаем своим долгом направлять главные усилия на уничтожение всех видов эксплуатации, которые сковывают творческую инициативу народа, на отражение в художественных произведениях борьбы за освобождение трудящихся масс».

Бирманские писатели понимают, что одного желания служить своему народу, как

То Та Свей

бы оно ни было велико, еще недостаточно — писатель должен упорно работать над повышением своего мастерства, иначе его идеи не будут достигать цели. «Как бы хорошо ни было содержание наших произведений,— говорится в Декларации,— но если форма их не художественна — их трудно назвать произведениями искусства, а их создателей — художниками».

— Бирма, как и Советский Союз,— многонациональное государство,— продолжает Мин Шин свой рассказ.— Каждая национальность у нас имеет свой язык, свою культуру. Но ведь, если писатель будет создавать свои произведения только на языке своей народности, у него окажется очень узкий круг читателей. Если же он пишет на бирманском языке, его читает вся страна. Поэтому самое большое развитие у нас получил бирманский язык, и наш народ в основном читает книги на этом языке. Есть у нас, конечно, и литература на языках национальных меньшинств. Те произведения, которые представляют интерес для всей страны, переводятся, как правило, на бирманский.

В Узбекистане мы видели народные танцы — они очень похожи на бирманские. У нас тоже каждая народность имеет свои национальные танцы; в каждом штате — свои национальные музеи и библиотеки.

Новой Бирме всего лишь шестнадцать лет. До получения независимости страна пережила один из самых мрачных периодов своей двухтысячелетней истории — столетие господства английских колонизаторов. Как-то один англичанин, характеризуя деятельность своих соотечественников в Бирме, с горькой иронией сказал: «Мы научили бирманцев только пить пиво и играть в футбол». В этом не было бы ничего плохого, если бы англичане, приобщая бирманцев к подобным благам западной цивилизации, одновременно не пытались — и нередко довольно успешно — подавить национальную культуру Бирмы. И вот, когда борьба закончилась победой, каждое достижение возрождающейся, пережившей многие унижения культуры становится для бирманцев настоящим праздником. Однажды по улицам Рангуна, приветствуемая жителями города, прошла праздничная процессия — она несла только что вышедший из печати первый том Бирманской энциклопедии. Об этом событии пять лет назад рассказал делегатам Ташкентской конференции писателей стран Азии и Африки поэт Николай Тихонов.

— А сейчас,— говорит Мин Шин,— издан уже пятый том энциклопедии и готовится к печати шестой. У нас выходит большое количество литературно-художественных журналов. Например, журнал «Свет» — он тесно связан с рабочими. Самый распространенный в нашей стране журнал, выходящий тиражом в 330 тысяч экземпляров — «Мьявади», он назван так по имени писателя, который жил давно, при феодализме. Это был очень хороший писатель. Есть журнал «Вперед», он также публикует много художественных произведений. Кстати, мой рассказ «Спасибо», переведенный в Советском Союзе, был напечатан в этом журнале. Популярны также журналы «Красота» и «Товарищ».

Издается у нас и журнал, несколько похожий на вашу «Иностранную литературу». В нем были опубликованы произведения Толстого, Чехова, Горького. Больше всего известен бирманскому читателю Горький. Переведена у нас и «Капитанская дочка» Пушкина. Но чаще всего переводятся произведения малых жанров. С каждым днем мы все больше убеждаемся в том, что если будем читать литературу друг друга, то и знать друг друга будем лучше, а следовательно, укрепится и наша дружба. Недавно из Советского Союза в Бирму вернулся студент, который учился в вашей стране и хорошо знает русский язык. Он занялся переводом книг советских писателей, в частности, Паустовского.

— Как правило,— присоединяется к беседе То Та Свей,— советская литература у нас переводится все еще с английского. Часто бывает так, что, переводя книгу на английский язык. переводчик меняет ее название, а переводчик на бирманский делает то же самое. Так что если мы вам и назовем те рассказы, которые переведены у нас, это вряд ли вызовет у вас какие-нибудь ассоциации.

Какими тиражами у нас в Бирме издаются книги? Тиражи бывают разные; многие книги выходят тиражом до тридцати тысяч экземпляров. Изданием художественной литературы занимается главным образом Общество переводов. Есть и частные издательства. В Рангуне открыт Народный литературный дом — это своеобразный магазин, где можно купить, а иногда и просто почитать книгу. Во многих магазинах продается советская литература и литература других стран.

Наша интеллигенция в основном читает книги на английском языке. Когда же появляются их переводы на бирманский, то читает не только интеллигенция, а весь народ. Наш народ любит читать. Кстати, 95% населения Бирмы умеет читать по-бирмански. Такой высокий процент грамотности объясняется тем, что помимо государственных школ у нас широко развита система школ монастырских. Каждый бирманец обязательно должен быть какое-то время послушником, а для этого нужно уметь читать и писать.

— Там, где нет еще государственных школ,— объясняет То Та Свей,— крестьянские дети посещают школы при монастырях. Однако сейчас количество государственных школ неуклонно растет — они должны быть не только в каждом городе, но и в каждой деревне.

Известно, что бирманской литературе девятьсот лет, что у нее богатые традиции. Какова же связь современной литературы с этими многовековыми традициями?

— Наша сегодняшняя литература,— отвечает Мин Шин,— не отбрасывает древние традиции. Бирманская литература была основана поэтами. Сначала она не знала других жанров, кроме поэзии и драмы в стихах. Позже стала развиваться проза. Даже в современной прозе можно найти черты, свойственные древней. Но времена меняются, меняется и литература, ее форма и содержание. Время не может не оставлять своего отпечатка на художественном творчестве.

В заключение беседы бирманские гости рассказывают о том, какое впечатление на них произвело пребывание в нашей стране, контакты с советскими людьми.

— В Советском Союзе мы встречались с молодыми людьми, которые знают бирманский язык. Они очень интересуются нашей литературой, но, к сожалению, из Бирмы к вам приходит еще мало книг. Мы знаем, что в вашей стране уже переведено несколько произведений бирманских писателей. В частности, в Издательстве иностранной литературы выходит сборник произведений молодых писателей Бирмы, и мы с большой радостью узнали, что в него включен рассказ одного из нас — Мин Шина. Но если вы будете получать больше бирманских книг, то и возможностей для публикации в Советском Союзе наших произведений будет, естественно, больше.

Мы побывали во многих городах вашей страны, встречались с писателями, с работниками издательств и многое узнали о советской литературе. Ваша страна огромна, у вас большая, богатая литература, и, что очень важно, у советского народа и его литературы одни и те же цели.

Мы старались также рассказать вам о своей жизни, чтобы вы таким образом хоть немного больше узнали о нашем народе. А все, что мы узнали о вашей стране, мы расскажем, когда вернемся домой.

А. Словесный

ИЗДАНО В СССР

«СЕРДЦЕ МОЕ — ГНЕВ»

Тхань Тинь. Капли морской пены. Рассказы. Перевод с вьетнамского и вступительная статья М. Ткачева. Москва, Гослитиздат, 1962. 175 стр.

Тхань Тинь — известный в своей стране поэт и писатель, уроженец древнего на Юге города Хюэ,— разделил судьбу подавляющего большинства вьетнамских литераторов, актеров, художников. Он стал воином. Это было семнадцать лет назад. Лирик и романтик Тхань Тинь прошел с Народной Армией по всем тяжким путям войны. А через два года после победы выпустил книгу военных рассказов, которую назвал «Капли морской пены». Не помышляя выразить все величие подвига народного, автор высказывал надежду, что его рассказы, как маленькие, собранные вместе капли, смогут передать «хотя бы часть огромной панорамы бушующего моря».

К этому времени Тхань Тинь был уже признанным мастером лирической новеллы. В книжку, выпущенную Гослитиздатом, включены и военные его рассказы и лирические новеллы из вышедшего еще в 1941 году сборника «Родные края». Составитель и переводчик М. Н. Ткачев, который выступил также с обстоятельным предисловием к книге, со вкусом отобрал произведения для русского издания.

Неповторимая прелесть красок Юга, его фольклор, а главное — эмоциональный мир людей, позволяющий узнать и понять их, с любовью переданы писателем. В сюжеты новелл вкраплены иной раз чисто сказочные мотивы — привидения, оборотни, но и они органично зплетаются в основную ткань повествования, в рассказ о тяжелой доле людей в порабощенной стране. Такова новелла об умершем с голоду рикше и его внуке («Пагода рикши»); или легенда о бедняке, отправившемся, чтобы прокормить семью, на поиски драгоценного растения и превратившемся в тигра («С волшебным амулетом на поиски благовонного чама»); или история лодочницы Фыонг на одной из многочисленных полноводных и бурных рек, где нет и никогда еще не было мостов («У пристани Ныа»).

Герои Тхань Тиня как будто давно и хорошо нам знакомы. Особенно запоминается старик бонза («Первая ночь весны»), усомнившийся к концу жизни в своей вере, затосковавший по людям. «И впервые старый монах, войдя в храм, вдруг почувствовал себя заблудившимся...» Где сейчас этот буддийский монах из маленькой пагоды на крутом уступе горы? Заперся в одном из сайгонских храмов? Сжег себя в знак протеста против дискриминации буддистов предателями своего народа? Убит американскими солдатами во время народной демонстрации? Ясно одно — он вместе с народом на своем родном Юге, где на борьбу поднимаются даже школьники, даже буддийские монахи.

Дар искренности — дар истинного художника — отличает творчество Тхань Тиня. Искренности и достоверности. В военных рассказах он не только свидетель, но и участник событий. И хотя повествование обычно ведется от первого лица, автор неизменно отходит в тень, выдвигая вперед своих скромных и смелых, самоотверженных и глубоко человечных героев.

Для каждого из них война — огромная общая беда и тяжелое личное горе.

Обезумевшей от несчастья матери все солдаты кажутся похожими на погибшего сына-партизана. Бойцам это понятно: «Конечно, мы ведь ваши сыновья, мама» Прощаясь, старик отец протягивает им ма тау *,

---

* Нож для рубки лиан.

служивший сыну оружием, чтобы они полной мерой отплатили за его гибель («Нож для лиан»).

Партизан не может найти душевного равновесия, пока не отомстит за брата, убитого французскими парашютистами, пока не получит в руки оружия, чтобы сражаться с ними самому («Здесь лежит товарищ Чыок»).

Французы из ближних фортов сожгли и разграбили деревню. Но партизаны, охранявшие поля, когда деревенские смельчаки сажали рис, отбили буйволов — главное богатство крестьян. Только двое — помощник старосты и его сын — ушли к врагу. Старуха, мать семейства, осталась с односельчанами («Буйволы вернулись»).

На протяжении своей многовековой истории народ Вьетнама не раз являл примеры беззаветной храбрости и служения Отчизне. Но не война нужна людям, ставшим хозяевами своей судьбы. Не война и не оружие, а мир и орудия мирного труда. И рассказ «Бомбы», повествующий о пожилой женщине, жительнице гор, которая собирала осколки бомб, чтобы кузнец перековал их на лемехи для плугов, носит поистине символический характер.

Но только ли вьетнамцы страдают от войны? На это дает ответ короткий, полный глубокого смысла рассказ «Письма, найденные на шоссе № 4».

Молодому французскому солдату повезло — он вышел живым из самых тяжелых боев второй мировой войны. Но его послали туда, где снова шла война — «черная война», как называла ее в письмах из Франции любимая им девушка. Наконец он получает разрешение вернуться домой, письма невесты к нему полны ликования... Нашли их на дороге рядом с трупом.

Рассказ Тхань Тиня невольно напоминает один из вьетнамских фильмов, созданных за последнее время,— «Два солдата», получивший премию на фестивале в Карловых Варах.

Два солдата. Вьетнамец и француз. Близится конец «грязной войны». Француз попадает в плен, вьетнамец по долгу службы обязан доставить его в штаб. Доставить невредимым.

Они идут по растерзанной земле, на которую, казалось, низверглись небеса. Все бедствия войны, страшной в последних своих судорогах, обрушены на беззащитное население. Ребенок, только что поделившийся с французом последним кусочком, гибнет под бомбами у него на глазах.

Они идут по прекраснейшей в мире земле, как добрая и умная книга открытой тому из них, кто здесь родился и вырос. По земле, каждая пядь которой, каждая тропка враждебна и чужда захватчику. И страх преследует его. И самый воздух сдавливает грудь тревогой. Чужой в стране... Француз не понимает своего спутника, даже когда тот многократно ограждает его от бедствий нелегкого пути. И вьетнамский юноша с горечью говорит: «Столько лет вы ели наш рис, а понимать нас так и не научились...»

Чужие в стране. Скоро десять лет, как вьетнамцы изгнали с родной земли французских колонизаторов. Но столько же лет в южных районах длится позорная и бессмысленная «необъявленная война», развязанная колонизаторами США.

Семнадцать лет, долгих семнадцать лет Тхань Тинь, как многие тысячи его соотечественников, не может вернуться на Юг, к себе домой, и не имеет оттуда вестей. В одном из его стихотворений звучит горькая тоска по родному краю:

Сердце мое — боль,
сердце мое — гнев.
Ночь на земле моей,
ночь при слепящем дне.
Брошен на плечи гор
душный туман плащом.
Сердце мое кричит:
дети, вы живы ль еще?
Нет, не погибли вы,
просто вас рядом нет.
Вечен ли век тьмы,
вечна ли горечь разлук?
Здесь уже новый мир,
новый над ним рассвет.
Он приближает час,
когда я вернусь на Юг.

(Перевод Г. Победоносцева)

Нестерпима боль вьетнамского народа. Переполнено сердце его гневом. Но настанет час, когда семнадцатая параллель перестанет быть символом несправедливости. Когда мост через реку Бен Хай будет выполнять от века данное ему назначение — не разделять, а соединять оба берега. Когда Тхань Тинь войдет в свой дом.

С. ЧЕРНИКОВА

ДРУЗЬЯ И ВРАГИ

Советский читатель хорошо знает имя Андре Стиля — он давно полюбил его страстные, полные веры в победу, всегда программные по самой сути своей произведения, произведения писателя-борца, писателя-коммуниста. В разные годы мы прочитали на русском языке трилогию «Первый удар», сложившуюся из романов «У водонапорной башни», «Пушечный выстрел» и «Париж с нами». В Издательстве иностранной литературы печатался роман «Мы будем любить друг друга завтра», в журнале «Иностранная литература» — «Обвал».

Сборник рассказов «Боль» продолжает наше знакомство с творчеством Андре Стиля. Его рассказы отличаются не только характерным для Стиля знанием психологии и быта французских пролетариев, но и своеобразной лирической манерой.

Андре Стиль. Боль. Перевод с французского. Предисловие Л. Зониной. Москва, Издательство иностранной литературы, 1962. 128 стр.

Автор всегда вместе со своим героем, он чувствует его радость и страдание сердцем и кожей. В коротких, часто эскизных рассказах он умеет, как и в больших романах, отразить кипение общественной мысли, идейное и нравственное созревание тружеников верфей и шахт.

Большинство рассказов сборника пронизано болью за родину, которая в течение многих лет вела жестокую колониальную войну. Действие происходит во Франции, но фон, дающий глубину картине, ядро сюжетного конфликта — Алжир.

В рассказе «Красное вино» старый рабочий-социалист напивается до полной потери человеческого облика. Его сына Жанно призывают в армию. Завтра Жанно будет убивать своих товарищей, таких же алжирцев, как и те, что стоят сегодня рядом с ним у станка. За это отвечает и его отец.

Шахтерские жены в рассказе «Боль» посещают сеансы по обезболиванию родов. Вместе с ними ходит к врачу немолодая алжирка. Но вот она больше не появляется на занятиях. Ее муж арестован. И случайные подруги испытывают стыд, смятение, чувство невольной вины. Доктор тоже понимает, что теперь его усилия пропали даром: эти женщины, охваченные тревогой, не смогут уйти от боли.

Учителя Жерара Дютуа, оцепеневшего в спячке обывательского существования, возвращает к жизни гибель его бывшего ученика Алена Дерюена. Он убит в Алжире. Это событие заставляет Дютуа увидеть многое по-новому. И учитель приходит к выводу: «Надо отбросить прожитые годы, как ель по весне отбрасывает сухую хвою. А сейчас... Нельзя жить бездумно. Без борьбы жизнь не жизнь» (рассказ «Родные места»).

Так писатель бережно и любовно отыскивает черты нового в сознании своих героев — французских докеров и шахтеров. Рисуя товарищей и друзей, Андре Стиль стремится уловить самое важное. Он как бы нащупывает только родившуюся, порой еще бредущую в потемках мысль, внезапно возникающее чувство. Внутренний монолог, мгновенная запись ощущений и мыслей — вот прием, которым пользуется здесь писатель.

Совсем другая манера письма в рассказах, раскрывающих облик хозяев и приказчиков мира капитализма. Это враги Стиля. Он наблюдает их не изнутри, а снаружи, эти люди вызывают у него брезгливость и отвращение. Тут перо писателя становится холодным и беспощадным, сюжеты приобретают остроту и четкость.

Крупный предприниматель господин Ванесс с тревогой ожидает рождения ребенка — у жены слабое здоровье. И однажды ночью в пустом особняке у нее начинаются мучительные родовые схватки. Али, рабочий-алжирец, живущий рядом в бараке, услышав крики, пытается спасти женщину. Он выносит ее на дорогу в надежде поймать машину. В это время господин Ванесс возвращается домой и, увидев на шоссе алжирца, пытающегося остановить автомобиль, без раздумья сбивает его. Господин Ванесс пребывает в тупой уверенности, что алжирец может только убить или ограбить. Он убежден в превосходстве своей расы, полон презрения к неимущему и бесправному («Мсье Ванесс»).

Рассказ не кажется мелодраматичным благодаря скупой, сдержанной манере автора. Тут не место лирическому волнению, события говорят сами за себя.

Стиль ненавидит мещанство. Владелец галантерейного магазина господин Ферран (рассказ «Птицы») попадает в тюрьму. Из окна его камеры видно другое тюремное окно. Там сидит смертник — убийца, зверски истребивший целую семью. Деревенщина, полуживотное, как отзываются о нем тюремные надзиратели. Казалось бы, кто может быть хуже этого человека? Единственное его развлечение — кормить воробьев. Птицы тучей слетаются на карниз его окна. Страстный рыболов, господин Ферран решает тоже позабавиться. Он начинает кормить воробьев, чтобы потом подцепить их, как рыб, на крючок. Но смертник криками отпугивает птиц, господин Ферран успевает только немного покалечить их, окровавить пушистые грудки.

В этом поединке двух арестантов ханжа, лицемер, по-мещански самодовольный Ферран оказывается хуже, бесчеловечнее убийцы.

Читая о господине Ванессе, невольно вспоминаешь Долговязого Жюля из рассказа «На верфи»: передовой рабочий, он чужд

расистской жестокости парижского буржуа. Он умеет ценить человека по его достоинствам, а не по цвету кожи. Героя рассказа «Кот» рабочего Жюля также невольно сравниваешь с Ферраном. В своей тяжкой, убогой жизни он сумел сохранить доброту, нежную привязанность к животному.

Писатель неравнодушный и страстный, Андре Стиль отчетливо видит друзей и врагов и не скрывает своих чувств. Может быть, именно эта прямота и создает ощущение чрезвычайной современности его произведений.

К. АТАРОВА

Марселино Дос Сантос. Песня истинной любви. Перевод с португальского Лидии Некрасовой. Вступительная статья Назыма Хикмета. Москва, Гослитиздат, 1962. 102 стр.

ЧТОБЫ ЖИТЬ!

О Мозамбик,
О край любимый мой!
Века глухого, тягостного рабства
Не задушили сердца твоего.
А лишь сильнее сделали тебя!

Это — строки из «Песни истинной любви» мозамбикского поэта Марселино Дос Сантоса, строки из стихотворения, которое дало название его небольшой книжке.

«Песня истинной любви» — не сборник любовной лирики, хотя у Дос Сантоса есть возлюбленная — родная земля. Все стихи сборника посвящены ей — вечно, истинно и неизменно любимой родной стране. Читателя поражает необычайная целостность тематики сборника. Стихи в нем разные, и содержание в них разное, но всюду, как набат, звучит одно слово — свобода!

Свободу родной земле, свободу родному краю, родному народу — призывает поэт в каждой строке. Разве может он простить португальским колонизаторам, что Мозамбик — одна из самых отсталых стран мира, что половина родившихся там детей умирает, что малярия, туберкулез и оспа косят истощенный народ, что там

...долины зеленого цвета,
Не зеленого —
Горько-зеленого,
И не желтого —
Желто-соленого.

(«Шангана»)

Разве может он простить, что его народ до сих пор беден, забит и неграмотен:

Моя бабушка даже не знает,
Сколько ей лет,
И годы свои не считает,
Для нее их нет.

Ее руки держат мотыгу
И землю рыхлят,
Как множество лет назад.

(«До каких пор?»)

Сама жизнь, сама судьба народа Мозамбика сделала Дос Сантоса поэтом борьбы. Он говорит о себе:

Я по земле иду своим путем.
Начертан этот путь
Ударами хлыста
На обнаженных спинах...

(«Где я?»)

Марселино Дос Сантос родился в 1929 году в Мозамбике. Отец, железнодорожный рабочий, сделал все, чтобы отправить сына учиться в Лиссабонский университет. В 1951 году Марселино поступил в Сорбонну во Франции, куда вынужден был бежать от полицейских преследований. Здесь, учась и одновременно зарабатывая себе на жизнь тяжким трудом, Дос Сантос начинает писать стихи. Его протестующие, полные патриотизма строки находят живой отклик на его родине. Он становится одним из лидеров национально-освободительного движения португальских колоний.

Марселино Дос Сантос много работает и много пишет. Но о чем бы он ни писал — о своем детстве, о матери, о Варшавском или Московском фестивале молодежи, о конференции писателей в Ташкенте — он неизменно обращается к теме родной земли, родного народа.

Книга «Песня истинной любви» вышла в русском переводе Лидии Некрасовой. Переводчице удалось передать простую, близкую к народной, форму стихов Дос Сантоса, его целомудрие и сдержанность в выборе художественных средств и огромную силу, высокий душевный накал его поэзии.

Л. ФЕЙГИНА

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

В ПОСЛЕДНЕМ КРУГУ АДА

James Baldwin. Another Country. New York, The Dial Press, 1962.
James Baldwin. The Fire Next Time. New York, The Dial Press, 1963.

Джеймс Болдуин, писатель-негр, один из самых популярных людей в Америке сегодня, смотрит на читателя со страниц солидных буржуазных газет и маленьких прогрессивных изданий, коммерческих рекламных журналов и серьезных литературоведческих ежеквартальников.

Разные это фотографии, но нигде он не улыбается; бездонные, в пол-лица глаза, и такие скорбные, что в них словно скопилось не только горе тридцативосьмилетней жизни самого Болдуина, но и горе, страх, ненависть деда-раба и бабки-рабыни, предков и сверстников, сотен тысяч негров. И удивление — удивление подростка, который никак не может поверить в существование зла. И сила, рвущаяся наружу, пламенный темперамент проповедника.

Он теперь преуспевающий писатель, его книги расходятся в сотнях тысяч экземпляров, переведены на десятки иностранных языков, его приглашают в Белый дом. Казалось бы, он — герой нехитрой сказочки о законопослушном негре, который стал полноправным гражданином Соединенных Штатов. Но Болдуин никогда не был «законопослушным». Он рассказывает, что в детстве чуть было не стал преступником только потому, что не знал, как иначе выразить всю меру ненависти к черному гетто, всю меру отчаяния, беспросветного, юношеского отчаяния.

Его искания художника и человека сотканы из сплошных противоречий.

Герои его книг — одинокие люди, он прославляет индивидуализм, его интересует личность и только личность, в своих наиболее субъективных, а порою и патологических проявлениях. Он ищет ответы на все вопросы в душе, и только в душе. «И теперь я все равно стараюсь говорить от собственного имени, а не от имени 20 миллионов человек»,— утверждает он в одном из интервью.

А между тем, когда событиями в Бирмингеме начался новый этап негритянского сопротивления, именно Болдуин оказался одной из центральных фигур массового общественного движения. Его речи на митингах собирали тысячи слушателей — белых и черных. И он не мог не вбирать в себя их надежды, их горе, их ненависть.

Страстный борец против расовых барьеров, Болдуин вместе с тем близок к философии экзистенциализма, и расовую проблему он порой рассматривает как часть мирового зла, неизбывного, непознаваемого.

Противник ханжества, лицемерия, срывающий один за другим покровы лжи, которыми опутывают расовую (и не только расовую) проблему в Америке, Болдуин, художник и публицист, стремится дойти до корня, освободиться от иллюзий. Однако, избавляясь от иллюзорных представлений, будто возможно «мирное сосуществование» с расистами, Болдуин попадает под власть иных иллюзий, иллюзий американской исключительности.

Как и многие писатели США середины века, Болдуин ищет так называемый «третий путь»: с негодованием отвергая фашизм во всех его формах, он с недоверием, подозрением относится к прогрессивным теориям, к идеям революционной перестройки общества, к организованной борьбе трудящихся. А между тем почти помимо своей воли он стал, по словам Майкла Голда, «самым ярким и страстным голосом негритянского сопротивления». Свою статью о значении творчества Болдуина Майкл Голд, старейший деятель пролетарской литературы в США, заканчивает так: «Это исторический пример той роли, которую может сыграть писатель в народной битве. Белые писатели — современники Болдуина в большинстве своем растеряли этот благородный идеализм. Они далеки от страданий и борьбы человечества. Это эгоистическое, мелкое поколение. Надеюсь, что великий факел жизни, который держит Джеймс Болдуин, принесет и им, приверженцам абстрактного искусства, в их холодную башню из слоновой кости немного настоящего света».

Противоречия в мировоззрении и в книгах Болдуина — не только противоречия его души. В них выражается противоречивость освободительного движения американских негров, где есть десятки и сотни людей политически сознательных и тысячи и тысячи тех, кто спотыкается, бредет ощупью, ищет на ложных путях, совсем как Джеймс Болдуин. Это движение сильно прежде всего страстным отрицанием несправедливого устройства жизни, движение, один из лидеров которого — священник Мартин Лютер Кинг, убежденный последователь Ганди, сторонник так называемых «ненасильственных действий».

Для многих писателей детство — страна добра и красоты, а Болдуин вспоминает: «История моего детства — это обычная черная фантасмагория, и я и подумать не могу о том, чтобы пережить все это вновь».

В первом романе Болдуина «Идите, вещайте с гор» (1953) раскрывается духовный кризис подростка, четырнадцатилетнего Джона Граймса. Пасынок священника, честолюбивый мальчик хочет завоевать Нью-Йорк; обычные мальчишеские мечты, но он — черный Все двери для него закрыты. Он сталкивается с реальным миром, миром лжи, подлости, греха. Его попытка бунта завершается религиозным экстазом. В конце романа — весьма неубедительного психологически — светит призрачный свет алтаря. Джон принимает жизнь такой, как она есть.

В романах «Комната для Джованни» (1956), «В другой стране» (1962) писатель рассказывает о неприкаянных людях, о неприкаянных душах, которые не находят себе места в жизни.

Персонажи романа «В другой стране» принадлежат к литературно-артистической среде: писатель Ричард Силенски и его жена Кэсс; непризнанный писатель Вивальдо, служащий продавцом в книжном магазине; популярный артист Эрик, который провел два года в Париже; музыкант джаза негр Руфус Скотт; его сестра, певица Ида.

Все они живут по-разному: одни преуспевают, другие на самом дне нищеты, одни белые, другие черные, у одних — нормальная семья, дети, другие одиноки. Но общего между этими людьми гораздо больше, чем различий. «Все они равны в несчастье, в смятении, в отчаянии»,— думает Вивальдо.

Выход из ада, в который они заключены, только один — смерть. И Руфус, герой первой части романа, избирает самоубийство:

отказываюсь жить в Бедламе нелюдей,
отказываюсь выть с волками площадей...

К этому привела краткая и мучительная связь с белой девушкой, южанкой Леоной. Белая и негр не могут жить вместе в современном американском обществе; но белая и негр, по мнению Болдуина, вообще не могут понять друг друга — даже наедине,— как, впрочем, и белые между собой и негры между собой. Людей разделяют непреодолимые стены. Вслед за героем Сартра герои Болдуина могли бы повторить: «Ад — это другие».

В романе, как и в огромном большинстве современных американских книг, навязчивая до патологии устремленность в один-единственный вид человеческих связей — в связи половые. И нормальный и извращенный, он одинаково безрадостен, этот секс, тяжкий, как пьяный угар.

Это было бы отвратительно, если бы не было в книге истинной, острой боли, если бы не было голоса автора, с мукой и ужасом кричащего о бедах человеческих.

Книга Болдуина — страшный крик страдания, ненависти и отчаяния. Не только в том смысле, что книга эта выражает ужас изображенной в ней жизни. Она сама есть крик по тому, как она сделана, по тому особому сочетанию слов и звуков, которые почти физически воздействуют на читателя. В оглушающем потоке прозы проявляется темперамент автора. Грохочет, лязгает, скрежещет Нью-Йорк, ночи его залиты ослепительным светом И в этом хаосе звуков и огней мечутся одинокие, затерянные тени — люди. Мертвый город. «Иногда я лежу, слушаю и жду, чтобы упала бомба и прекратила бы весь этот шум»,— говорит Вивальдо.

Часто звучит в книге джаз (Руфус джазист), Ида начинает петь под джаз (она служит официанткой в ресторане), персонажи книги большую часть времени проводят там, где не умолкает джаз. Не только джаз, связанный с исконно негритянскими мотивами, составляющий важную часть национальной культуры, но и джаз искаженный, «модернизированный» — голос современного капиталистического города. В значительной степени джаз определяет ритм этого романа, ритм прозы Болдуина.

В книге нет смеха. Нет веселья. Много проституток, но как странно было бы назвать их «веселые девицы». Герои не переставая пьют, но никто не веселится, от вина только мрачнеют, и все, словно в аду, словно в тумане, бредут друг мимо друга.

Как полагается настоящему дантову аду, он устроен в виде воронки, круги суживаются, и совсем невыносимо в последнем кругу, на самом дне. Там живут негры.

Обличение буржуазной Америки не было сознательной целью Болдуина. Недаром он резко критикует социальные романы 30-х годов (особенно роман Ричарда Райта «Сын Америки»), считая, что в них недостаточное внимание уделено внутреннему миру отдельного человека. Болдуин утверждает, что «у страдания нет цвета кожи», ему кажется, что он изображает условия человеческого существования вообще. Но, независимо от воли автора, читатель не может не думать все-таки о реальной Америке 60-х годов. И прежде всего о том, как живут негры. С горечью кричит Ида о белых, которые держат негров в аду: «держат тебя здесь потому, что у тебя черная кожа, эти грязные белые сосунки, пока они морочат всех и продают на всех перекрестках мира джазовую ерунду о стране свободных и о доме храбрых».

В романе нет и упоминания о «сидячих забастовках» протеста, о «рейдах свободы», о борьбе негров за свои права. Болдуин-гражданин стал участником этой борьбы, Болдуин-романист не пишет об этом. Но и в романе все время чувствуется та раковая опухоль, которая разъедала и разъедает современную Америку,— дискриминация, угнездившаяся в самих глубинах человеческих душ.

«В другой стране» — это книга и об искусстве, о людях искусства.

Болдуин знает, каким настоящий художник быть не должен. В точном обличительном портрете Ричарда Силенски воплотилась вся мера ненависти писателя к конформизму. Ричард стал приспособленцем не только потому, что он жаждал денег и славы, хотя он и стремился жить «как все», то есть как преуспевающие буржуа. Болдуин обнажает и более сокровенные при-

чины приспособленчества своего героя. Силенски трус. Свою лживую книгу он написал так облегченно «потому, что боялся, боялся всего темного, странного, опасного, трудного и глубокого». А истинный художник, в представлении Болдуина,— это прежде всего человек смелый, который может вынести правду, правду о человеке и о мире, даже если она страшна и трудна.

Вивальдо не приспосабливается к обществу. Однако читатель ничего не узнает о книгах, которые пишет Вивальдо. В романе, посвященном людям искусства, нет того, без чего не могли бы быть написаны произведения самого Болдуина,— нет творческой работы.

Человек искусства — Орфей в этом черном аду — не поет песен и никуда не выводит Эвридику. Хочет того Болдуин или нет, но Вивальдо не противостоит в романе Силенски, так же как богема не противостоит конформизму.

«В другой стране» — как все романы Болдуина — органическая часть целого направления современной литературы США. Американский критик Сидней Финкельстайн говорит, что авторы этих романов «плохо или даже враждебно относятся к обществу, в котором живут. Однако у них нет веры ни в какой иной тип общества... Вне зависимости от того, принимают они экзистенциализм как философскую доктрину или нет, их взгляд на жизнь и искусство близок экзистенциализму».

Болдуин-публицист значительно ярче, самобытнее, последовательнее, чем Болдуин-романист. «Заметки сына Америки» (1955), «И никто не знает моего имени» (1961), «Завтра — пожар!» (1963) — это книги того неопределенного жанра, или, скорее, смешанного жанра, который завоевывает все бо́льшие права в современной литературе: исповедь и проповедь, дневник и политический памфлет, социологическое исследование и эстетическая декларация.

«Заметки сына Америки» посвящены прежде всего поискам родины, поискам своего места в жизни и тому главному, о чем кровоточит каждая строчка писателя, яростно ненавидящего расизм. Но здесь еще во многом лишь постановка вопросов, лишь намечено то, что глубже раскрыто в последующих книгах.

Болдуин стремится к «общечеловеческому», к тому, что над расами, что вне рас. Но его неумолимо отбрасывает в тот реальный мир, который породил его книги, и он вынужден спрашивать: «Как подготовить ребенка к тому, что его будут презирать, как, какими средствами возбудить в нем сильное противоядие... Возникает и еще более трагический вопрос: необходимо ли противоядие — может быть, на яд надо отвечать ядом...»

В книге «И никто не знает моего имени» автор рассказывает о посещении Гарлема, о конференции писателей-негров в Париже, о дружбе с Норманом Мейлером и о встрече со шведским режиссером Ингмаром Бергманом, о демонстрации негров у здания ООН (после убийства Лумумбы), размышляет об Андре Жиде. И эти совершенно разнохарактерные темы образуют книгу, исполненную внутреннего единства, связанную прежде всего единством главной темы.

Со злой иронией передает писатель одну из своих многочисленных бесед с американскими неграми: «Если у нас дела будут идти так же медленно, то вся Африка будет уже свободной, когда мы здесь наконец сможем получить чашку вонючего кофе».

Книга пронизана страстной ненавистью писателя к фальши, к лицемерию. Отсюда и ненависть к либералам, ко всем тем, кто стремится сгладить острые углы. «Гетто нельзя улучшить,— пишет он в связи с проектами переустройства Гарлема,— гетто можно только уничтожить».

Мучительно и напряженно ищет Болдуин ответа на вопросы: кто я такой, для чего я живу? И утверждает: «Вопрос «кто я такой» стал для меня вопросом личным, и ответ можно найти только в моей душе». Трудно согласиться с писателем. Глубоко личный вопрос «кто я такой» стал вопросом общественным, об этом свидетельствует и творчество Болдуина, ибо автор пишет о проблемах, волнующих многих, и пишет талантливо. В период все усиливающегося в Америке конформизма, все растущего подавления личности пламенная защита индивидуальности от мертвящих оков буржуазного общества выходит далеко за рамки личных проблем.

Сама логика американской действительности неумолимо ведет чуткого писателя к социальному протесту против расовой дискриминации.

Внимание Болдуина приковывают самые главные, самые больные проблемы жизни США. Он говорит в одном из интервью: «На настоящих улицах льется настоящая кровь, а американцы заботятся о своем личном счастье. Им кажется, что если вы не удовлетворены существующим положением, значит, с вами что-то неблагополучно. Редко приходит им в голову, что если вы удовлетворены, зная о том, что творится вокруг, то с вамиеще более неблагополучно».

Последняя публицистическая книга «Завтра — пожар!» состоит из двух эссе: «Письмо племяннику» и «С креста». Вновь и вновь обличает Болдуин тех, кто распял на кресте целый народ, вновь и вновь говорит о страданиях, муках, унижениях гонимого народа. В свое время Болдуин искал выход, искал правду в религии, но глубоко разочаровался в ней. И в этой книге писатель разоблачает ханжество церковников.

Ненависть к расовой дискриминации не толкает Болдуина к национализму. Он рассказывает о расистском реакционном движении так называемых «черных мусульман», охватившем довольно широкие слои американских негров. Болдуин встречался с руководителем движения, новоявленным пророком Элиа Мухаммедом, который убежден в превосходстве черной расы, проповедует необходимость кровавого насилия над белыми, заявляет, что в ближайшее

время мир станет миром черных. Все теории отдельного государства негров внутри Америки Болдуин считает реакционными утопиями. И доказывает, что судьбы белых и черных американцев неразрывны.

Болдуин утверждает, что изменения в положении негров необходимо связаны с изменением всей политической структуры страны. Те изменения, которые уже произошли (начиная от решения Верховного суда о неконституционности сегрегации), писатель рассматривает как вынужденные тактические уступки, цель которых — сохранить господствующее положение. И требует — выражая чаяния миллионов — изменений, по своему характеру радикальных.

Познав несправедливость на собственном тяжком опыте, Болдуин видит Америку глазами угнетенных: «...для многих миллионов людей в мире мы, американцы, явное бедствие. Тот, кто в этом сомневается, должен открыть глаза, уши, сердца свидетельствам, ну, хотя бы любого кубинского крестьянина или любого испанского поэта, и задать самому себе вопрос, как он относился бы к Америке, если бы стал жертвой нашей деятельности на Кубе до революции или в Испании». Журналист Джон Гриффин выкрасился в черный цвет, чтобы познать на собственном опыте, что значит быть негром в Америке (так родилась его книга «Черен, как я», известная советским читателям). Болдуин силой своего таланта превращает в черного каждого читателя, заставляя пережить то, что пережил он сам и другие американские негры. Он уже не собирал хлопок в Джорджии под палящими лучами солнца, как его дед, но пишет об этом так, что читатель почти физически становится на место униженных и оскорбленных негров. Его уже не били плетьми, но раны болят и кровоточат так, что и читателю становится больно и страшно.

Публицистика Болдуина — летопись политической борьбы этих последних лет, таких насыщенных, переломных, значительных. «Заметки сына Америки» опубликованы в 1955 году вскоре после решения Верховного суда США о неконституционности сегрегации — немногие тогда осознавали происходящее, и сам Болдуин еще брел ощупью. Книга «И никто не знает моего имени» вышла в свет через год после того, как четыре молодых негра в городе Гринсборо, штат Северная Каролина, вошли в кафе и просидели до закрытия. А над этим кафе висела надпись «только для белых», надпись, которая большинству белых и черных стала казаться от века данной, как горы и реки. Так началось массовое, беспримерное движение «сидячих забастовок» протеста, охватившее потом весь Юг. Книга «Завтра — пожар!» издана за три месяца до событий в городе Бирмингеме, которыми открылся тот новый этап движения сопротивления, который даже политически умеренные обозреватели вынуждены назвать «новой американской революцией».

Книги Болдуина вызывают острейшую полемику, его критикуют многие литераторы и правого и левого лагеря. «Можно расходиться с Болдуином во взглядах,— пишет на страницах негритянского прогрессивного журнала «Фридомуэйз» Августа Стронг, — и мне кажется, что он часто нарочно вызывает на споры. Можно с подозрительностью относиться к его популярности среди белых, сожалеть о некоторых его теоретических высказываниях, сожалеть о некоторых сторонах развития его таланта. И все же остается его творчество; глубина и честность его книг не имеют себе равных во всем, что пишется об американских неграх или ими самими».

Связь между развитием национально-освободительной борьбы и книгами писателя очевидна, каким бы сложным и противоречивым ни было его собственное отношение к этой борьбе. Книги Болдуина не только летопись, которая поможет завтрашнему историку, это и листовки, памфлеты, объясняющие происходящее самим участникам. Это и зеркало, и увеличивающее, зажигающее стекло. Недаром Майкл Голд сравнивает последнюю книгу Болдуина со «Здравым смыслом» Томаса Пейна, манифестом американской революции.

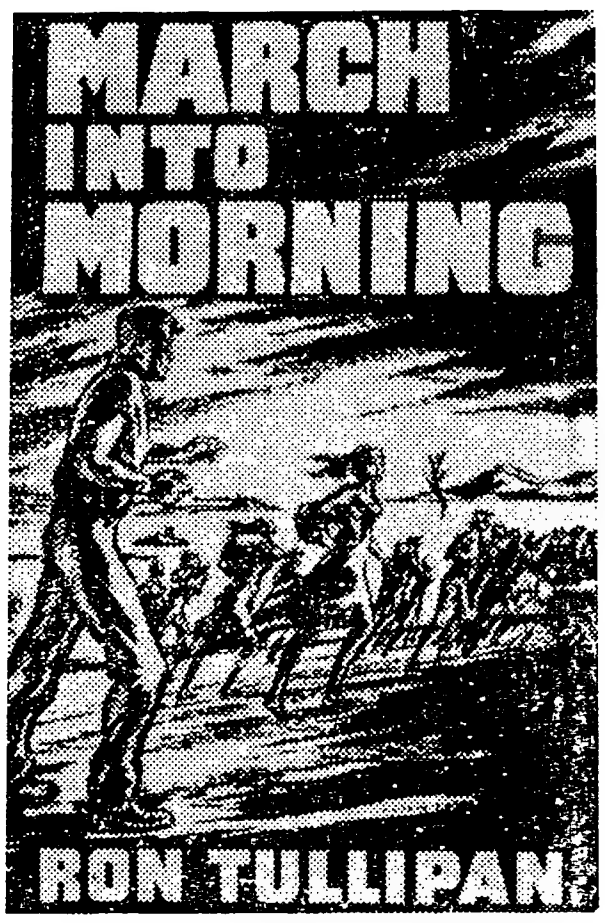
Р. ОРЛОВА

ТРУДНЫЕ ГОДЫ АРТУРА ЧЭПМЕНА

«Дорога в утро» — вторая книга австралийского писателя Рона Тьюлипена. Рассказы его печатаются давно, но свой первый роман он опубликовал всего лишь три года назад, когда ему уже было за сорок.

Коротко о герое книги Артуре Чэпмене можно сказать: это человек, не знавший счастья. Всю жизнь свою он жадно стремился к нему, но оно ускользало. Рано остался он сиротой, его детство прошло в исправительной колонии (о чем чуть ли не каждый находит нужным ему напоминать), потом он работает батраком на ферме. Замкнутый и настороженный, он навлекает насмешки сверстников; в поселке он становится парией. Не выдержав этой трудной, унылой жизни, он бежит в «большой мир» в поисках удачи и счастья. Он кочует «зайцем» в товарных вагонах из одного города в другой, с трудом находит случайный заработок, вместе с такими же неудачниками живет в убогой «беспризорной» лачуге. Суровые годы кризиса, безработица, жалкое прозябание на грошовое пособие... И вот война. Артур в армии. Нескончаемая муштровка, долгие месяцы бездействия в джунглях, наконец, первые стычки с японскими войсками, недолгий плен, побег и затем тяжелое ранение, надолго приковавшее его к больничной койке.

А в промежутке между карцером и госпиталем — минуты счастья или, верней, забве-



Ron Tullipan. March into Morning. Sydney, Australasian Book Society, 1962.

ния. На пути Артура появляется Мэвис — падчерица фермера, которому он помогал в дни затишья на фронте. Но недолго длится «идиллия»: Артур уходит на фронт, где его ранят. После двух лет, проведенных в госпитале, он возвращается к Мэвис, которая тем временем родила и похоронила их дочь. Много испытавший и повзрослевший Артур по-новому переживает свое чувство к Мэвис, а она из робкой школьницы, какой Артур увидел ее впервые, из угловатого подростка стала женщиной. Но теперь, когда Артур убеждается, что она ему по-настоящему близка и нужна, судьба наносит ему новый удар. Во время наводнения Мэвис погибает. Оставаться в этих местах Артуру не под силу, и он снова пускается в путь. Тяжело переживает Артур утрату, но не чувствует себя сломленным. Он верит: несмотря ни на что он найдет свою «дорогу в утро».

Рисуя трагические события в жизни Артура, писатель не щадит своего героя. Проще всего было бы характеризовать его как «неудачника». Но дело обстоит сложней. Многое в характере самого Артура мешает ему найти себя: его не покидает чувство одиночества, он не стремится к дружбе, уклоняется от борьбы. Между тем в своих блужданиях Артур встречается с настоящими людьми. Таков, например, Диксон — его спутник в дни поисков работы и товарищ по фронтовой жизни. А когда Диксон погибает от вражеской пули, Артур не раз сталкивается с такими же отважными целеустремленными людьми. Среди них и рабочий-социалист Стив Уоррен, и шахтер Берт Кофлин, и многие другие. Но для того чтобы Артур понял, что он не одинок и не бессилен, понадобились годы испытаний. Медленно, ощупью приходит он к осознанию того, что задолго до него постиг герой хемингуэевского романа «Иметь и не иметь»: «Человек один не может». И, словно подводя итог своим жизненным наблюдениям, Артур размышляет: «А что такое народ? Разве он — Артур — не принадлежит к нему?.. Почему же он принимал на веру выводы, односторонние выводы какого-нибудь владельца газетного треста или радиостанции, состояние которого определяется в миллион фунтов?.. Он сам отказался от всякой ответственности».

Итог не очень утешительный. Но уже в том, что Артур способен так строго и самокритично оценить свое прошлое — залог успеха новых поисков.

Искренне и правдиво пишет Тьюллипен о судьбе своего героя. Он нисколько его не приукрашивает, не пытается оправдать его поведение ссылками на ту суровую, неприглядную действительность, в которой формировался характер Артура. И в то же время он рисует близкие ему образы — Артура, Мэвис, Диксона — с какой-то особенной теплотой. Он как бы полемизирует с теми «наблюдателями» и «критиками» австралийской литературы, которые склонны считать «простых австралийцев» грубыми людьми, думающими лишь о боксе и примитивных развлечениях. Герои Тьюллипена способны к тонким и сложным переживаниям. Особенно ярко обрисовано в книге присущее рядовым австралийцам чувство солидарности, товарищеской выручки. Во время наводнения шахтеры, грузчики, все рабочие люди спешат на помощь терпящим бедствие. И сам Артур чувствует новый прилив сил, когда ему удается спасти семью совершенно незнакомого человека.

Книга написана талантливо, хотя и неровно. Наряду с волнующими описаниями (картина наводнения, например) на ее страницах встречаются бледные, незапоминающиеся сцены, невыразительные диалоги. Можно было бы еще сказать о некоторых художественных недочетах произведения Тьюллипена. Но главное автору удалось. Не случайно «Дорога в утро» привлекла внимание демократических кругов австралийской общественности и получила премию Мэри Гилмор, ежегодно присуждаемую за лучшее реалистическое произведение в жанре романа. Проникнутый болью, сочувствием к людям нелегкой судьбы, новый роман австралийского писателя заставляет задуматься над словами одного из персонажей книги: «Мы живем в такое время, когда надо выбирать, на чьей ты стороне».

Владимир РУБИН

ПАМЯТИ И. А. КАШКИНА

26 ноября 1963 года на шестьдесят пятом году жизни скончался Иван Александрович Кашкин.

Это имя хорошо знакомо нескольким поколениям советских ученых-филологов, студентов, любителей литературы. Исследования И. Кашкина в области американской литературы, его переводческая и редакторская деятельность, наконец, работа в области теории перевода сделали его имя известным и за пределами нашей страны.

Коллектив редакции журнала «Иностранная литература» потерял со смертью И. Кашкиина одного из самых близких своих сотрудников.

Почти сорок лет литературно-общественной деятельности — это очень много, если речь идет о человеке такой преданности литературе, как И. Кашкин. Он был всегда ищущим — в точном и высоком смысле этого слова, то есть пролагателем новых путей. Его талант и огромная эрудиция, его умение увлечь за собой снискали ему уважение и любовь многочисленных учеников и товарищей по работе, и не только в Москве, где он жил и трудился, но и во многих республиках Советского Союза.

И. Кашкин обладал в высокой степени чувством современности, и именно это качество придает единство его многосторонней деятельности. Его работы отличаются принципиальностью в оценке литературных явлений, верностью социального анализа, тонким пониманием законов литературного творчества, умением говорить об искусстве на языке искусства. Советскую переводную литературу, поэзию и прозу, нельзя представить себе без его Чосера, Уитмена, Хемингуэя, Фроста, Сэндберга, Олдриджа и многих других писателей прошлого и настоящего. В этой области литературного творчества роль И. Кашкина огромна. Советская переводческая школа, повсеместно пользующаяся сегодня таким большим влиянием, потеряла в нем одного из своих создателей и признанного теоретика. В боевом утверждении ее принципов в наибольшей мере проявился гражданский пафос деятельности И. Кашкина. В переводческой работе он видел служение великой цели взаимного обогащения культур, сближения народов, укрепления дружбы между ними. Отношению к литературе, как к делу жизни, высокому чувству ответственности перед народом, любви к русскому слову — этому он учил своих учеников.

Труд И. Кашкина не пройдет бесследно; память о нем сохранится надолго.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АНГЛИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ В ЭДИНБУРГЕ

Во время проводимого ежегодно в Эдинбурге фестиваля искусств состоялась конференция по проблемам современной драмы. В работе ее приняли участие известные драматурги, актеры и театральные деятели Англии, США, Франции и других стран, в том числе Лоуренс Оливье, Кеннет Тайнен, Арнольд Уэскер, Джоан Литтлвуд, Дж. Б. Пристли, Лилиан Хеллман, Ален Роб-Грийе, Питер Брук. Работа конференции вызвала большой интерес общественности и, по выражению одного из обозревателей, «привлекла больше публики, чем пьесы, поставленные на фестивале»: в конференц-зале ежедневно собиралось более двух тысяч человек.

Предметом дискуссии оказались самые острые и актуальные проблемы, и прежде всего вопрос о том, какой театр должен быть сегодня ведущим — реалистический или «театр абсурда». Затем обсуждались вопросы цензуры и государственных субсидий театрам, говорилось о месте актера, режиссера и драматурга, о национальном театре малоразвитых стран, о драме будущего.

Пресса отметила несколько интересных выступлений. В противовес Роб-Грийе, ратовавшему за искусство «нереального», где «нельзя отличить факт от фантазии», режиссер Питер Брук защищал реалистическую драму, а театральный критик Кеннет Тайнен выступил с резкой речью против тех западных писателей, которые «проповедуют нигилистическую идею бессмысленности бытия и бессилия человека переделать жизнь». «Пока все не будут сыты, одеты, обеспечены жильем и не получат образования,— сказал Тайнен,— мы не сможем позволить себе роскошь предаваться «привилегии отчаяния».

Поистине медвежью услугу «модернистскому» театру оказали молодые американские драматурги, продемонстрировавшие образ-

---

Защите прав американских негров посвящена новая программа «О, свобода!» в лондонском театре «Юнити». В программу, неизменно пользующуюся успехом у зрителей, вошли негритянские народные песни и танцы, а также пьеса Артура Миллера «Воспоминание о двух понедельниках». На нашем снимке: Рон Бивен в роли Берта и Майкл Гэмбон в роли Кеннета в пьесе Артура Миллера «Воспоминание о двух понедельниках».

(Газета «Дейли уоркер»)

чик «драмы будущего», суть которой заключалась в том, что на галерею вывели «обнаженную леди». Это не только возмутило присутствовавших, но заставило председательствующего Кеннета Тайнена выразить тревогу по поводу состояния американского театра. «Если это «происшествие» называется искусством,— сказал он,— то придется назвать театром кабацкий скандал!» На это американцы выкрикнули: «А почему бы и нет!». Тогда Тайнен заявил, что нельзя не признать справедливость «худших предсказаний марксистов о будущей судьбе драмы при капитализме».

Участники конференции дали единодушный отпор профашистскому выступлению некоего Ливина, призывавшего поддержать акцию властей, которые запретили въезд в страну театру «Берлинер ансамбль» из ГДР. Прогрессивная общественность добилась резолюции, осуждающей этот запрет.

Интересной оказалась также дискуссия о национальном театре, во время которой негритянские драматурги горячо протестовали против подхода к народному искусству как к чему-то экзотическому.

Отмечая, что конференция не имела широкого резонанса, обозреватели сошлись на том, что тем не менее на ней «были поставлены серьезные вопросы о природе драмы и о связи творчества писателя с жизнью и культурой его страны. Такие встречи полезны».

КИНГСЛИ ЭМИС НЕ СОГЛАСЕН

Недавно в итальянском городе Триесте проходил фестиваль научно-фантастических фильмов. Одним из членов жюри был известный английский писатель Кингсли Эмис (его роман «Счастливчик Джим» был опубликован в «Иностранной литературе» №№ 10—12, 1958).

Эмис не согласился с мнением большинства членов жюри, присудившего главную премию французскому, так называемому авангардистскому, формалистическому фильму. «Название этого фильма,— пишет Кингсли Эмис в еженедельнике «Обзёрвер»,— я сознательно не сообщаю, чтобы не делать ему излишней рекламы». Писатель заявляет, что научно-фантастические фильмы, представленные на конкурс Англией и особенно Америкой, были «вульгарны и наивны» и о них «лучше всего не говорить».

«Социалистические страны,— отмечает Эмис,— представили куда более богатый выбор. Чехословацкий фильм «Кибернетическая бабушка» сделан с подлинным блеском. Высокой оценки заслуживает и другой чехословацкий фильм «Икар ХВ-1», в котором изобретательно показан XXI век и космические полеты будущего. Однако лучшим, по-моему, фильмом явился русский — «Человек-амфибия».

Писатель высоко оценивает работу советских режиссеров и актеров, а также техническое совершенство и цвет фильма.

НРАВЫ НА ФЛИТ-СТРИТ

Внимание английской общественности привлекла книга Джорджа Глентона и Уилльяма Пэттинсона «Последние дни на Буверистрит», рассказывающая о последних днях существования либеральной газеты «Ньюс кроникл». Как известно, эта газета была проглочена могущественным газетным объединением Сесиля Кинга, который сейчас протягивает руки к очередной жертве — газете «Дейли геральд».

Авторы книги — профессиональные журналисты, бывшие сотрудники «Ньюс кроникл». Рецензент газеты «Дейли уоркер» Аллен Хатт в статье, озаглавленной «Вспоминая убийство на Флит-стрит», подчеркнул, что авторы сумели понять и раскрыть перед читателем нравы буржуазной печати. Небезынтересно напомнить, что «Ньюс кроникл», когда-то называвшаяся «Дейли ньюс», была основана в 1846 году Чарльзом Диккенсом...

Монополистическое объединение Сесиля Кинга «Дейли миррор ньюспейперс» в настоящее время — самое могущественное и агрессивное на Флит-стрит. «Дейли миррор» имеет наибольший тираж в Англии. Кинг располагает активом примерно в сто миллионов фунтов стерлингов, владеет газетами «Санди пикториел», «Дейли миррор», «Пипл», «Дейли геральд», газетами в Нигерии, Британской Гвиане, Сьерра-Леоне и двумястами журналами.

Глентон и Пэттинсон в своей книге, однако, не отваживаются на далеко идущие разоблачения. Что и говорить: в «свободном мире» нужно быть... осторожным!

«ИЗБРАННОЕ» ЧЕСТЕРТОНА

Английского писателя Джилберта Кита Честертона, хорошо известного советскому читателю своими сатирическими романами «Человек, который был Четвергом», «Перелетный кабак», «Наполеон из Ноттингхилла» и другими, на родине привыкли считать веселым шутником-оптимистом. Недавно там вышел сборник избранных произведений Честертона под редакцией Мэйкока, который заставляет по-новому отнестись к творчеству писателя, умершего почти тридцать лет назад.

Норман Шрэйпнел в газете «Гардиен» пишет, что в Англии, возможно, прежде недооценивали значение таких произведений Честертона, как, например, его исследование о Диккенсе. Рецензент подчеркивает также еще один малоизвестный факт — необычайную политическую прозорливость Честертона и умение трезво оценить международную обстановку. В сборник избранных произведений писателя вошли статьи, отражающие его взгляд на отживающую капиталистическую систему и предвидение будущих международных конфликтов. Еще в 1911 году, за три года до начала первой мировой войны, Честертон, пишет Норман Шрэйпнел, предвосхищал

«столкновение крупнейших мировых держав, которое обойдется человечеству в десятки миллионов жертв».

БОЛГАРИЯ

КНИГА О ВЕЛИКОМ УЧЕНОМ

Издательство «Народна младеж» выпустило роман Георгия Кочемидова «Белый папуас» о знаменитом русском исследователе и путешественнике Н. Н. Миклухо-Маклае. Автор создал живой и обаятельный образ ученого, отмечает рецензент журнала «Пламк», концентрируя внимание читателя на формировании общественных взглядов Миклухо-Маклая, на его симпатиях к угнетенным. Всем этим и было обусловлено решение ученого поселиться среди папуасов и научно доказать, что все человеческие расы биологически равны.

В романе, пишет рецензент «Пламк», перед читателем раскрывается интересный мир. Автор увлекательно описывает научную работу, проделанную Миклухо-Маклаем в Новой Гвинее. В книге много колоритных образов и волнующих сцен.

ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ

В тот вечер трамваи в Софии были переполнены. Шумные группы молодежи собрались на остановке у стадиона. Однако событие, привлекшее множество людей, не носило спортивного характера. Памятник Христо Смирненскому был украшен национальными флагами, прожекторы освещали бронзовое лицо поэта. Так начался в Софии праздник поэзии.

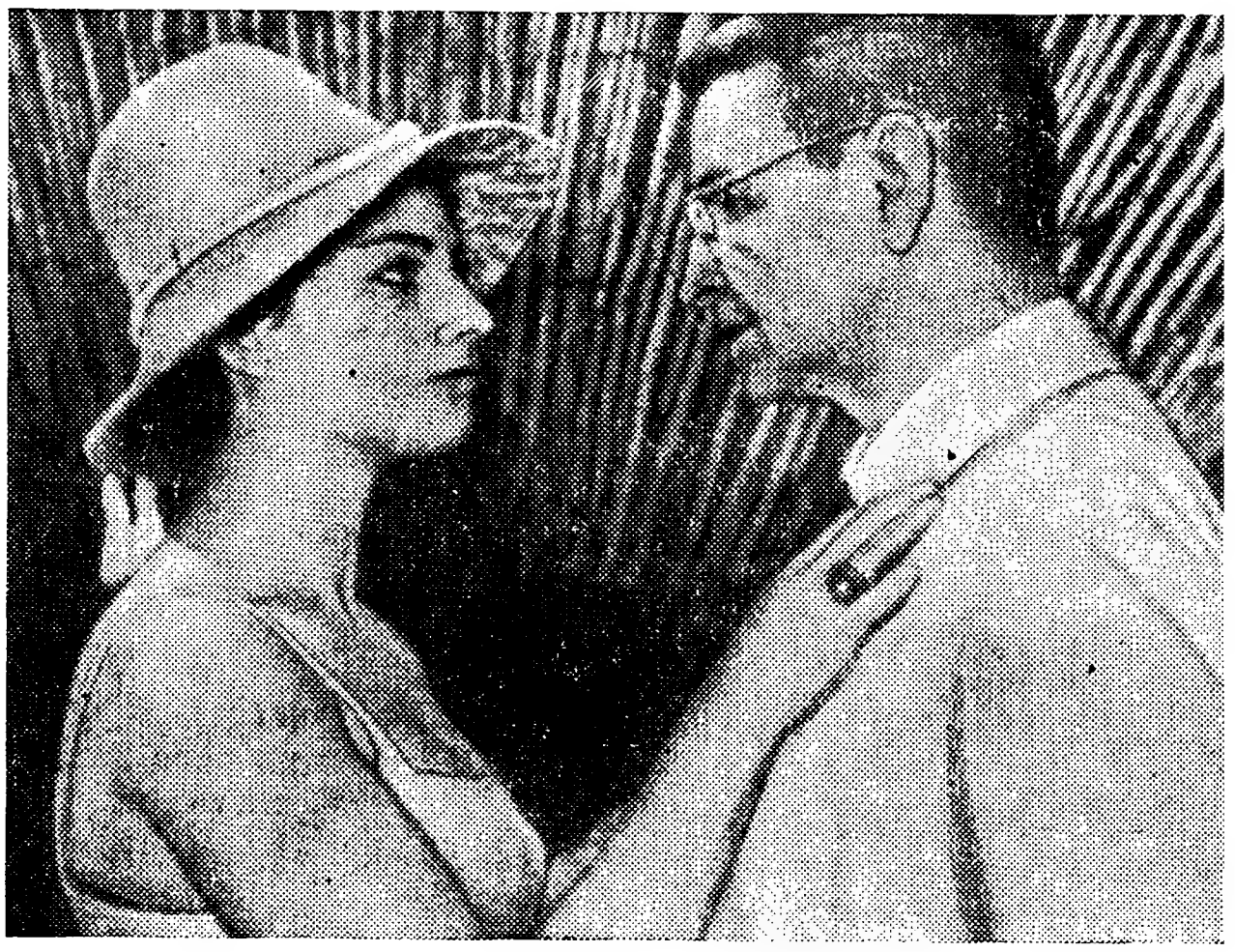
Поэты различных поколений прочли стихи Ламара, Николы Фурнаджиева, Младена Исаева, Веселина Ханчева, Валерия Петрова, Благи Димитровой, Димитра Методиева, Павла Матева и других авторов, пользующихся любовью читателей. В руках у пришедших на праздник — только что вышедший из печати сборник «Поэзия 1963 года».

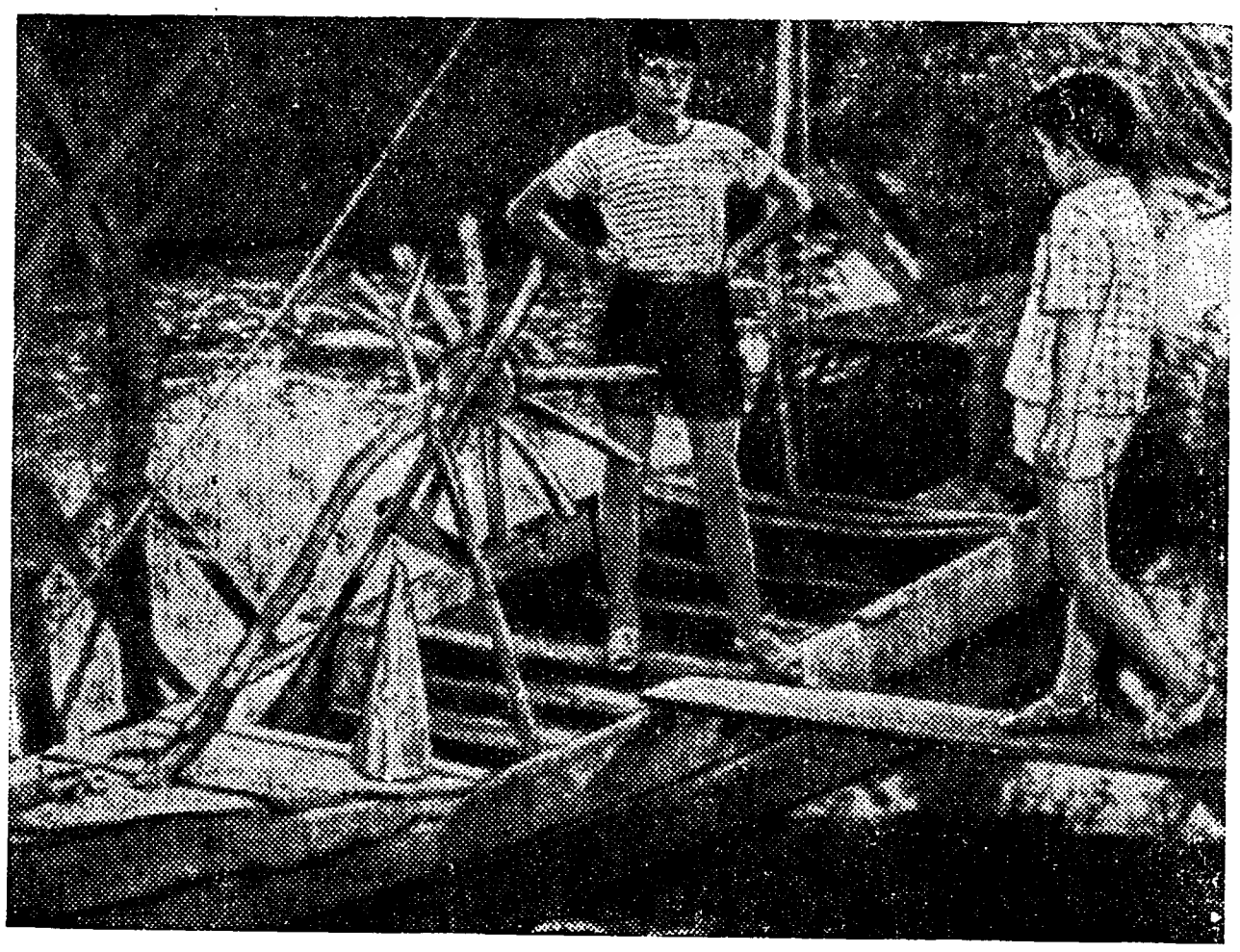
«Столицей поэзии» на этот раз стал Чирпан — родной город бессмертного болгарского лирика П. К. Яворова. Сюда съехались поэты, почитатели поэзии, многочисленные гости. Торжественный вечер был открыт председателем Союза болгарских писателей Каменом Калчевым. Поэт Иван Мирчев рассказал о «работе стихов». Решением специального жюри премии за лучшие стихи, опубликованные в сборнике «Поэзия 1963 года», присуждены Доре Габе, Елисавете Багряне и Николе Фурнаджиеву. В большом литературном вечере приняли участие видные болгарские поэты.

По всей стране в этот день были основаны Клубы друзей поэзии.

Под девизом «За неразрывную связь кино с народом!» в Варне проходил фестиваль лучших болгарских фильмов года. Зрители увидели фильмы: «Табак», «Калоян», «Капитан», «Легенда о Паисии», «На тихом берегу», «Смерти нет» и другие. Здесь мы воспроизводим кадры из фильма «Табак» режиссера Н. Корабова (вверху) и из приключенческого фильма для детей «Капитан» режиссера Д. Петрова.

(Журнал «Болгарские фильмы»)





ВЕНГРИЯ

НОВАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

В Венгрии издается новая литературная энциклопедия. Два тома энциклопедии содержат около десяти тысяч статей. В ней будет отражена история венгерской литературы от самых ранних памятников письменности до произведений наших дней. Издание содержит биографии не только писателей, но также известных литературоведов, критиков, языковедов, этнографов.

В энциклопедии приведены данные о деятельности литературных обществ, институтов, о периодической печати. Большую ценность представляют помещенные здесь шесть тысяч иллюстраций.

В работе над литературной энциклопедией приняло участие свыше ста литературоведов, критиков, библиографов. Главный редактор ее — лауреат Государственной премии имени Кошута литературовед Марцелл Бенедек.

«КРИТИКА»

В Будапеште начал выходить журнал «Критика» — орган Союза венгерских писателей, Института истории литературы и Общества по изучению истории литературы.

«Критика» будет освещать вопросы литературы и искусства в свете поставленных партией идеологических задач. Требования, предъявляемые сегодня к литературе и искусству социалистического реализма в Венгрии, говорится в редакционной статье журнала, делают необходимым теоретическое обоснование некоторых идеологических вопросов, их защиту от ревизионистских и догматических взглядов. Все эти вопросы и призван решать новый журнал, который должен занять достойное место в культурной жизни страны.

ГДР

ПРЕМИИ ЗА 1963 ГОД

Печать ГДР сообщает о присуждении Национальных премий 1963 года. Среди лауреатов — творческий коллектив студии ДЕФА, создавший фильм по роману Бруно Апица «Голый среди волков»; писатель Дитер Нолль, получивший премию за литературное творчество, в частности за роман «Приключение Вернера Хольта»; Бернгард Зеегер, премированный за роман «Осенний дым» (роман «Приключения Вернера Хольта» опубликован в «Иностранной литературе № 4—7, 1962; «Осенний дым»—№№ 3—5, 1963).

Кроме того, премии присуждены коллективу, реставрирующему памятник архитектуры — дрезденский Цвингер, а также художникам Курту Циммерману и Карлу-Эриху Мюллеру, актрисе Гизеле Май и другим творческим работникам.

НОВЫЕ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕРНЕРА ХОЛЬТА»

Писатель Дитер Нолль, как сообщает газета «Юнге вельт», только что закончил вторую часть романа «Приключения Вернера Хольта».

...Вернер Хольт уехал из ГДР к матери в Гамбург, на Запад. Там он попал в мир ловкачей, торгашей, «гешефтмахеров». Из Гамбурга Хольт отправился на поиски Уты Барним...

Перед героем встает вопрос: «Как жить дальше?» Из высказываний литературного обозревателя еженедельника «Зоннтаг» явствует, что писатель трактует судьбу Вернера Хольта в общенациональном аспекте. «Как жить дальше?» — спрашивала себя вся немецкая молодежь после падения гитлеровской Германии. Бродя по разоренной стране, Вернер Хольт сталкивается с малодушием и цинизмом, с жестокостью и преступлениями... Но вместе с тем он видит всеобщее стремление к новой жизни. Герой не может остаться равнодушным к судьбе своих соотечественников, и читатель верит, что Хольт, ненавидящий войну и реваншизм, найдет свое место в жизни.

Вторая часть романа «Приключения Вернера Хольта» печатается в юношеском литературном журнале «Форум». Отдельной книгой, как сообщает еженедельник «Зоннтаг», роман выйдет в издательстве «Ауфбау» весной будущего года.

Берлинский театр имени Максима Горького поставил пьесу молодого драматурга Райнера Керндля «Его дети». Герой пьесы — коммунист Зорге, в прошлом активный борец против гитлеризма, узник концлагеря. Отношения Зорге с детьми, и главным образом с приемным сыном Рольфом, составляют основную сюжетную линию пьесы. Райнер Керндль касается в своей пьесе проблемы новой морали, отношения людей к государственной собственности. Печать ГДР называет пьесу Керндля, поставленную режиссером Хорстом Шёнеманом, очень современной и интересной. На снимке: сцена из спектакля.

(Журнал «Театер дер цейт»)

ФИЛЬМ О ПЛАМЕННОМ АНТИФАШИСТЕ

...1927 год. Известный немецкий публицист Карл фон Оссецкий становится главным редактором прогрессивного журнала «Вельтбюне». Так начинается новый телевизионный фильм «Карл фон Оссецкий»—о жизни мужественного и неподкупного борца против фашизма, погибшего от рук нацистов. В фильме, поставленном по сценарию Лотара Крейца и Карла Андриссена, показаны последние десять лет из жизни Оссецкого. В мае 1929 года Оссецкий вместе с рабочими вышел на улицы Берлина, чтобы сказать решительное «нет» фашизму.

«Я — за знамя всеобщего антифашистского движения»,— заявляет Оссецкий в феврале 1933 года на последнем заседании Союза немецких писателей-антифашистов.

Затем перед зрителем проходят сцены в концентрационном лагере, куда фашисты бросили Оссецкого. Рабочие — узники концлагеря — как могли ограждали близкого им по духу человека от издевательств и мучений. Несмотря на угрозы палачей, Оссецкий отверг предложение Геринга купить свободу отказом от Нобелевской премии.

Нацисты пытались опорочить светлое имя Карла фон Оссецкого. Но правда непобедима. Телезрители обоих германских государств, как сообщает печать, с удовлетворением встретили фильм о замечательном немецком патриоте.

Кадр из фильма «Карл фон Оссецкий».

(Еженедельник «Вохенпост»)

БРЕХТ ПЕРЕД СУДОМ МАККАРТИСТОВ

Бертольт Брехт собирался покинуть США, где он находился в эмиграции,— был уже куплен билет на самолет,—когда его вызвали на допрос в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности.

Издающийся в ФРГ бюллетень общества по изучению творческого наследия Брехта «АББ» недавно — впервые на немецком языке—опубликовал полностью стенограмму допроса, а также текст заявления писателя, которое ему не разрешили огласить на заседании комиссии.

На публикацию этих уникальных документов откликнулся известный публицист Андре Мюллер, который пишет в ежемесячнике «Тагебух»: «Читая шестнадцать лет спустя стенограмму допроса — он состоялся 30 октября 1947 года,— воспринимаешь все это как фарс, в котором Брехт дает наглядный урок находчивости, самообладания и хитрости. Брехт водит за нос незадачливых судей с такой поразительной легкостью, что порой невольно забываешь о серьезности ситуации — ведь в то время многих писателей в США отправляли в тюрьму».

Официально Брехта вызвали в качестве «свидетеля» по вопросу о так называемой «подрывной деятельности коммунистов в Голливуде», пишет далее Мюллер. Поводом для этого послужило то, что он предложил голливудовской фирме «Юнайтед артистс» два киносценария, показавшихся подозрительными. Нужно помнить, что комиссия, возглавлявшаяся Маккарти, даже прогрессивный образ мышления рассматривала как антигосударственную деятельность.

Защищавшемуся с большим искусством Брехту удалось беспрепятственно покинуть помещение комиссии. Писатель тут же улетел в Швейцарию. Он слишком хорошо понимал, что для него нет места в Америке Маккарти, как не было места в Германии Гитлера.

ФРГ

ЗА ПОЛИТИКУ РАЗУМА

Студенческий журнал «Конкрет», выходящий в Гамбурге, обратился недавно к тридцати известным западногерманским писателям с вопросами: «Что может сделать ФРГ для того, чтобы ликвидировать международную напряженность?» и «Должна ли будет ФРГ присоединиться к пакту о ненападении?»

Первые же опубликованные в журнале ответы писателей показали, что они одобряют Московский договор о запрещении испытаний ядерного оружия и поддерживают идею заключения пакта о ненападении между государствами. Даже те из писателей, которых трудно заподозрить в симпатиях к идеям коммунизма, осуждают реваншистскую политику Бонна.

Гюнтер Вайзенборн подчеркнул в своем письме, что для народов различных европейских стран, потерявших в последней войне десятки миллионов человек, пакт о ненападении явился бы гарантией того, что ужасы войны более не повторятся. Устаревшие политические доктрины Бонна уже не пригодны в условиях создавшейся новой обстановки в мире. Политика разума и здравого смысла должна взять верх, заявил писатель.

Пауль Шаллюк высказал мысль, что, хотя Московский договор о запрещении испытаний ядерного оружия далеко не решает проблем разоружения, он является первым шагом к разрядке напряженности. По мнению

писателей, боннское правительство должно изменить свою «упрямую политику». «Я одобряю Договор о запрещении испытаний ядерного оружия,—заявил Рольф Италиандер.— Пакт о ненападении необходим. Люди труда на Западе и Востоке не хотят войны». «Западная Германия должна будет присоединиться к пакту о ненападении...— пишет Тадеуш Троль.— Было бы особенно полезно обезвредить главного «домового» — Штрауса».

«ЛИРИКА ИСКЛЮЧЕНИЯ»

В последние годы в ФРГ выходит множество лирических антологий, подтверждающих, что современная поэзия на западе Германии в большинстве своем бежит от действительности, пытаясь скрыться в «тихой заводи абстракций». Для этих декадентских сборников характерны такие названия, как «Транзит», «Экспедиция» и тому подобное.

Однако в стране существуют и поэты, не только не одобряющие «бегство в пустоту», но даже пытающиеся противостоять «официальному курсу» поэзии. Это, как называет ее печать, «лирика исключения».

Один из ее ярких представителей — поэт Петер Кориллис, в свое время просидевший пять лет в гитлеровском концлагере. Ныне он занимает скромную должность налогового советника в Дюльмене (Вестфалия) и стал широко известен как инициатор издания серии лирических сборников. Несмотря на трудности, эти сборники сейчас регулярно издаются в Дюльмене группой «Крейз дер фройнде». На их страницах встречаются и имена поэтов из Германской Демократической Республики. В стихах этих авторов отсутствует влияние модернизма, публикуемые произведения обращены к современнику.

Поэзия Петера Кориллиса, по словам рецензента журнала «Нейе дейче литератур», мятежна по духу. Он стремится привести своих читателей к осознанию прошлого и настоящего Германии.

Другие поэты, выступающие в лирических сборниках, также по-своему интересны. Среди них — Рольф Портман, создавший аллегорический образ смерти, витающей над Германией; Ганс Барс с его великолепным пафосом жизнеутверждения. Старшее поколение представлено такими авторами, как Георг Шнейдер, Макс Мелл, Юрген Эггебрехт, Фридрих Шнак.

ГРЕЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕОРГОСА СЕФЕРИСА

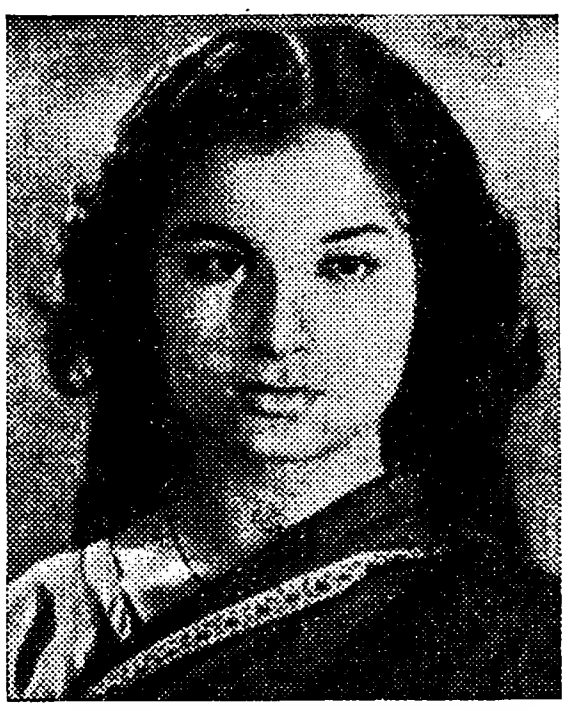
Поэт Георгос Сеферис в связи с присуждением ему литературной Нобелевской премии 1963 года сделал следующее заявление для печати: «Я считаю, что присуждая Нобелевскую премию греческому поэту, шведская Академия выразила тем самым свое признание духовной культуры Греции, сыны которой из поколения в поколение не щадили сил, чтобы сохранить все, что есть животворного в их древних традициях».

Юрист по образованию, дипломат по профессии шестидесятитрехлетний Георгос Сеферис вошел в литературу в начале 30-х годов. В годы второй мировой войны, оказавшись вдали от родины, Сеферис тяжело переживал ее трагедию. В 1940—1944 гг. он издал «Тетрадь для упражнений» и два тома «Палубного дневника». Вошедшие в них стихотворения — горячий отклик поэта на страдания и мужественную борьбу соотечественников.

В 1947 году вышла в свет поэма Сефериса «Певчая птица». В этом же году его поэтическое творчество было отмечено премией Костиса Паламаса. В 1956 году Сеферис издал третий том «Палубного дневника», посвященный борьбе Кипра за независимость.

Комментируя присуждение Нобелевской премии Георгосу Сеферису, греческая пресса расценивает этот факт как признание заслуг современной греческой литературы в целом.

ИНДИЯ



Киноактриса Шармила Тагор, исполнительница одной из основных ролей в фильме «На пустынном берегу». *(Журнал «Филмфэр»)*

«НА ПУСТЫННОМ БЕРЕГУ»

...Одинокий человек решает удалиться от мирских дел и отправляется на пустынный берег моря — так начинается новый фильм известного бенгальского режиссера Тапана Сингха «На пустынном берегу». В основу сценария положен одноименный рассказ современного бенгальского писателя Самареша Басу. На своем пути герой фильма встречает разных людей. Их беды и заботы начинают волновать его. Из наблюдателя герой снова превращается в участника жизни.

«В фильме «На пустынном берегу» раскрыты живые человеческие образы, ярко показаны взаимоотношения героев,— пишет в индийском журнале «Филмфэр» — критик Р. К. Сетх.— Новая работа Тапана Сингха свидетельствует о дальнейшем совершенствовании его мастерства».

ИНДОНЕЗИЯ

«ВИВА КУБА!»

В издательстве Общества народной культуры (ЛЕКРА) вышел сборник стихов прогрессивных индонезийских поэтов, посвященный кубинской революции. Ни один из десяти авторов этого сборника, названного

«Вива Куба!», не был на острове свободы. «Однако,— пишет в предисловии к сборнику индонезийский публицист Ньото,— они не только услышали песни кубинского народа, но и сами за тысячи миль сердцем поняли эту величайшую революцию в Западном полушарии». Среди авторов сборника — поэты Х. Р. Бандахаро, Ситор Ситуморанг, Агам Виспи, С. Анантагуна.

РАССКАЗЫ О КРЕСТЬЯНАХ

Отделение ЛЕКРА на Восточной Яве выпустило в свет сборник коротких рассказов о жизни и борьбе индонезийских крестьян «Самая дорогая земля», созданных писателями этого района. Сборнику предпослано приветствие Крестьянского фронта Индонезии. Наряду с видными писателями С. Хади (секретарь отделения ЛЕКРА на Восточной Яве) и Румамби, который известен одновременно как поэт и прозаик, в сборнике участвуют молодые писатели — Куссуварди Джойосутрисно и Суприади Томодихарджо.

ИСПАНИЯ

АРЕСТ ЗА ПРАВДУ

Недавно франкистские власти арестовали испанского поэта Карлоса Альвареса по обвинению в «нелегальной пропаганде». «Вина» молодого поэта заключалась лишь в том, что он написал письмо, в котором разоблачал клеветнические заявления по поводу убийства Хулиана Гримау (см. «Иностранную литературу» № 9, 1963).

Творческая интеллигенция Испании обеспокоена судьбой Карлоса Альвареса, пишет парижский еженедельник «Леттр франсез», в одном из номеров которого опубликованы три стихотворения мужественного поэта.

ИТАЛИЯ

В городе Сант-Иларио-д'Энца (провинция Реджо-Эмилия) по случаю двадцатилетия движения итальянского Сопротивления был установлен памятник партизану работы скульптора Луиджи Гроссо.

(Журнал «Вие нуове»)

ИРЛАНДИЯ

НОВЫЙ СБОРНИК РАССКАЗОВ ШОНА О'КЕЙСИ

«Шон О'Кейси, несмотря на почтенный возраст, продолжает оставаться страстным писателем-полемистом, горячим защитником слабых и угнетенных, борцом за социальные права» — такими словами начинается рецензия в «Таймс литерари саплмент» на недавно вышедший из печати сборник произведений Шона О'Кейси «Перья зеленого ворона». Среди них — две ранее не публиковавшиеся пьесы «Кэтлин прислушивается» и «Выходной вечер Нэнни», рассказы, баллады, политические статьи и памфлеты.

Еженедельник приветствует издание этого сборника, в котором, по словам рецензента, читатель найдет широкую картину жизни дублинских рабочих кварталов и трущоб.

ПРЕМИИ ОСЕНИ 1963 ГОДА

Присуждение главной литературной премии в Италии — премии «Виареджо» за 1963 год сопровождалось долгой и ожесточенной дискуссией. Столкнулись не только различные точки зрения, но и интересы различных литературных групп и стоящих за ними книгоиздательств. В состав жюри «Виареджо» входят такие видные писатели и критики, как Леонида Репачи, Джакомо Дебенедетти, Альберто Моравиа, Пьер Паоло Пазолини, Либеро Биджаретти, Джузеппе Унгаретти и другие. В этом году премия «Виареджо» присуждалась в 34-й раз.

Мнения членов жюри сразу же резко разделились — одни выступали за присуждение премии новому роману Гвидо Пьовене «Фурии», другие отстаивали сборник рассказов покойного флорентийского писателя Антонио Дельфини, вышедший в 1958 году, а ныне вновь выпущенный издательством Гардзанти. Противники романа Пьовене, в частности, отмечали скорее публицистический, чем чисто художественный характер произведения; противники рассказов Дельфини указывали, что по уставу «Виареджо» основная премия должна присуждаться живущим, а не умершим писателям. Положение еще более осложнилось после вмешательства Арриго Оливетти — одного из владельцев известной фирмы «Оливетти», финансирующей премию «Виареджо». Оливетти возражал против кандидатуры Пьовене.

Дискуссией в стане прогрессивных писателей воспользовалась крайняя правая печать, начавшая обвинять во всех смертных грехах и Пьовене и членов жюри.

При окончательном голосовании основная премия «Виареджо» присуждена сборнику рассказов Дельфини, хотя книгоиздательство Мондадори, уверенное в победе Пьовене, уже выпустило в продажу его роман с ленточкой на обложке — «Премия «Виареджо» 1963 года»...

Присудив основную и несколько второстепенных премий, жюри в знак протеста против вмешательства Оливетти в его работу подало в отставку, тем самым лишившись на будущее мощной финансовой поддержки фирмы «Оливетти», выступавшей более десяти лет в качестве мецената.

На страницах газет и журналов в течение многих дней не утихала острая полемика в связи с этой историей. Газета «Унита» опубликовала несколько писем членов жюри «Виареджо», а также письмо Ренато Гуттузо. Либеро Биджаретти предложил созвать общее собрание членов профсоюза итальянских писателей для широкого обсуждения вопроса о присуждении литературных премий.

Другие литературные премии осени этого года распределились следующим образом: новый роман Васко Пратолини «Торжество разума» удостоен премии «Мардзотто»; премия «Прато» вручена Сильвано Чеккерини за роман «Перевод»; премия «Марио Пуччини-Сенигалья» — покойному писателю Беппе Фенольо за сборник партизанских рассказов «День в огне». В соискании премии «Леричи-Пеа» участвовало более семисот итальянских поэтов. Жюри присудило первую премию молодому поэту, журналисту и романисту Альберто Бевилаккуа за его поэму «Восстание 22-го года», посвященную революционным выступлениям в его родном городе Парме.

ВТОРАЯ КНИГА ПРИМО ЛЕВИ

Вышла из печати автобиографическая повесть Примо Леви «Передышка», привлекшая внимание итальянской критики и читателей. «Передышка» — продолжение первой книги Леви «Неужели это человек», принесшей ему широкую известность, в которой он рассказал о своем пребывании в гитлеровских лагерях смерти. Новая повесть живо и искренне передает атмосферу первых послевоенных лет: надежду людей на длительный мир и согласие между государствами. Автор рассказывает о новом этапе своей жизни — освобождении Советской Армией из Освенцима и долгом, затянувшемся из-за послевоенной разрухи, путешествии на родину — через Польшу, Белоруссию, Украину, Румынию и Венгрию. Трагические воспоминания об Освенциме и описания бедствий, принесенных войной городам и деревням в Советском Союзе и странах Европы, чередуются в повести со страницами, пронизанными оптимизмом, юмором. Перед читателем проходит целая вереница людей, с которыми судьба сталкивала автора во время его странствий,— итальянцев, русских немцев, грека, венгра, мальчика, родившегося в Освенциме и не только не знавшего своей национальности, но даже не умевшего говорить... Портреты этих людей Примо Леви рисует с большой психологической глубиной и достоверностью. Русские люди показаны автором с теплотой и симпатией, они неизменно человечны и сердечны.

Кинорежиссер Витторио Де Сика ведет в Неаполе съемки фильма «Вчера, сегодня и завтра». В главных ролях — София Лорен и Марчелло Мастройянни. Лорен играет задавленную нуждой неаполитанскую женщину, которой грозит судебное преследование. Единственное спасение от тюрьмы — стать многодетной матерью. Сюжет фильма был подсказан автору сценария Эдуардо Де Филиппо самой жизнью: о подобном случае недавно писали неаполитанские газеты. Мастройянни исполняет роль мужа этой женщины. На снимке: эпизод фильма «Вчера, сегодня и завтра».

(Газета «Унита»)

Примо Леви — инженер-химик, живущий в Турине,— несмотря на успех двух книг, не считает себя профессиональным писателем. Помимо страстной антивоенной и антифашистской направленности, его книги, по мнению итальянской критики, обладают несомненными литературными достоинствами, подкупают читателя своей искренностью и непосредственностью.

ТРАГЕДИЯ КЕФАЛЛИНИИ

Писатель Марчелло Вентури, имя которого знакомо нашим читателям по повести «Отпуск одного немца» (опубликована в «Иностранной литературе» № 10, 1962), написал новую книгу — «Белый флаг над Кефаллинией». Верный главной теме своего творчества — разоблачению войны и фашизма, Вентури посвящает это произведение трагической участи итальянских солдат, оборонявших в 1943 году вместе с греческими патриотами остров Кефаллинию от гитлеровцев. Оборона Кефаллинии — одна из самых героических страниц в истории итальянского Сопротивления, а зверская расправа над защитниками острова — позорнейшее преступление гитлеровской армии. Гарнизон острова — девять тысяч солдат и офицеров дивизии «Аккуи», — отказавшийся сдаться немецкому командованию, был полностью уничтожен.

Повесть Вентури основана на подлинных событиях, строго документальна. Герой ее — сын погибшего на Кефаллинии капитана-артиллериста Альдо Пульизи — приезжает на остров в наши дни, почти двадцать лет спустя. Он разыскивает оставшихся в живых греков, свидетелей и участников обороны, расспрашивает их об отце. Больше других ему рассказывает уже немолодая гречанка Катерина. Капитан Пульизи, пришедший на

остров как завоеватель, горячо любил ее, чувствовал свою вину перед ней и ее народом. Постепенно из этих рассказов перед сыном встает образ отца, которого он никогда не знал,— смелого патриота, простого, доброго и честного человека.

Отмечая некоторую неровность стиля повести, литературный критик газеты «Унита» Микеле Раго в целом дает ей высокую оценку как за благородство темы, так и за художественные достоинства.

КАНАДА

«ТИМОН АФИНСКИЙ»... 1963 ГОДА

Известный театральный режиссер Майкл Лэнгхем, художественный руководитель Стратфордского фестиваля нынешнего года, задался целью сделать творение Шекспира более доходчивым и близким для канадской публики. Для этого он выбрал социально-философскую трагедию Шекспира «Тимон Афинский».

В его постановке афинское общество максимально «осовременено». «Если на сцену,— говорит режиссер,— выходит негодяй в одеянии средневекового короля или священнослужителя, то это не так волнует нашего зрителя, как вид негодяя в костюме, сшитом по последней моде».

Современность в постановке Лэнгхема угадывается не только по чисто внешним признакам — одежде, музыке, танцам. Приметы нашего времени в основном проявляются в милитаристской, политической и финансовой деятельности кучки политиканов-сенаторов.

По свидетельству газеты «Кэнедиен трибюн», Майклу Лэнгхему удалось добиться успеха в осуществлении своего замысла. «Это гневная пьеса,— пишет газета,— обличающая лицемерие и несправедливость, бьющая по обману и бесчестным поступкам и отрицающая общество, где деньги решают все. Она завершается обличением войны, горячим призывом к миру, утверждением жизни».

КУБА

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ ХУАНУ МАРИНЕЛЬО

Известному кубинскому писателю и общественному деятелю, ректору Гаванского университета Хуану Маринельо философским факультетом Пражского университета присвоено почетное звание «доктор гонорис кауза». Впервые за 600 лет существования Пражского университета это почетное звание присвоено латиноамериканцу. На церемонии вручения диплома Хуан Маринельо заявил, как сообщает газета «Мундо», что он принимает его от имени всего кубинского народа и Гаванского университета. Он призвал студентов и преподавателей обоих университетов активно бороться за выполнение общей задачи по развитию «воинствующей, освободительной культуры». Маринельо выразил твердую уверенность в победе кубинского народа над силами империалистической агрессии, уверенность в победе социалистического лагеря в борьбе за мир.

Сцена из спектакля «Тимон Афинский», поставленного режиссером Майклом Лэнгхемом.

(Еженедельник «Кэнедиен трибюн»)

ЛИВАН

ЗАЯВЛЕНИЕ МИХАИЛА НУАЙМЕ

Деятели культуры Ливана горячо поддерживают предложение советского правительства о создании безатомной зоны в районе Средиземного моря. Газета «Аль-Ахбар» опубликовала заявление Михаила Нуайме, в котором этот старейший ливанский писатель пишет: «Я сторонник полного запрещения атомного оружия, однако если сейчас сделать это невозможно, то я за то, чтобы ограничить его, по крайней мере, пределами стран, которые его производят».

Нуайме считает, что ввоз ядерного оружия в зону Средиземного моря без согласия живущих там народов — преступление, так как это оружие может «по нелепой случайности привести к таким последствиям, которые даже не может предвидеть человеческий разум».

НИГЕРИЯ

ПЕРВЫЕ ШАГИ АФРИКАНСКОЙ КРИТИКИ

Вышла из печати первая литературоведческая работа, посвященная африканской литературе,— книга Джеральда Мура «Семь африканских писателей».

В книге дается анализ творчества Леопольда Сенгора, Дэвида Диопа, Камара Лейе, Амоса Тутуолы, Чинуа Ачебе, Монго Бети и Эзекайла Мпашлеле. По словам рецензента журнала «Сентрал африкен игземинер», Муру удалось показать богатое разнообразие творчества этих выдающихся писателей Африки. Ведь к поэзии Диопа нельзя подходить с теми же критериями, что и к стихам Сенгора, а творчество южноафриканского писателя Мпашлеле отличается по своим замыслам и устремлениям от творчества писателей Западной Африки.

Рецензент дает высокую оценку книге Джеральда Мура «Семь африканских писателей». По его мнению, для читателей, мало знакомых с литературой Африки, книга «Семь африканских писателей» будет своеобразным путеводителем.

ОАР

ПРЕМИИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ

Высший совет по делам искусства в Каире объявил об очередном присуждении государственных премий по литературе и искусству. Первую литературную премию этого года получил крупнейший египетский писатель Махмуд Теймур за свое творчество (об этом писателе см. «Иностранную литературу» № 6, 1963).

Поощрительными премиями отмечены писатели Мухаммед Саид Арьян за книгу для детей «Путешествия Синдбада» и драматург Али Ахмед Бакасир за пьесу «Гарун и Марун».

На конкурсе поэзии, организованном Высшим советом по делам искусства, первую премию получил молодой поэт Мухаммед аль-Азиб за поэму «Воспоминания вора, укравшего поэта». Это уже четвертая по счету премия, полученная аль-Азибом за поэтическое творчество.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ НОВИНКИ

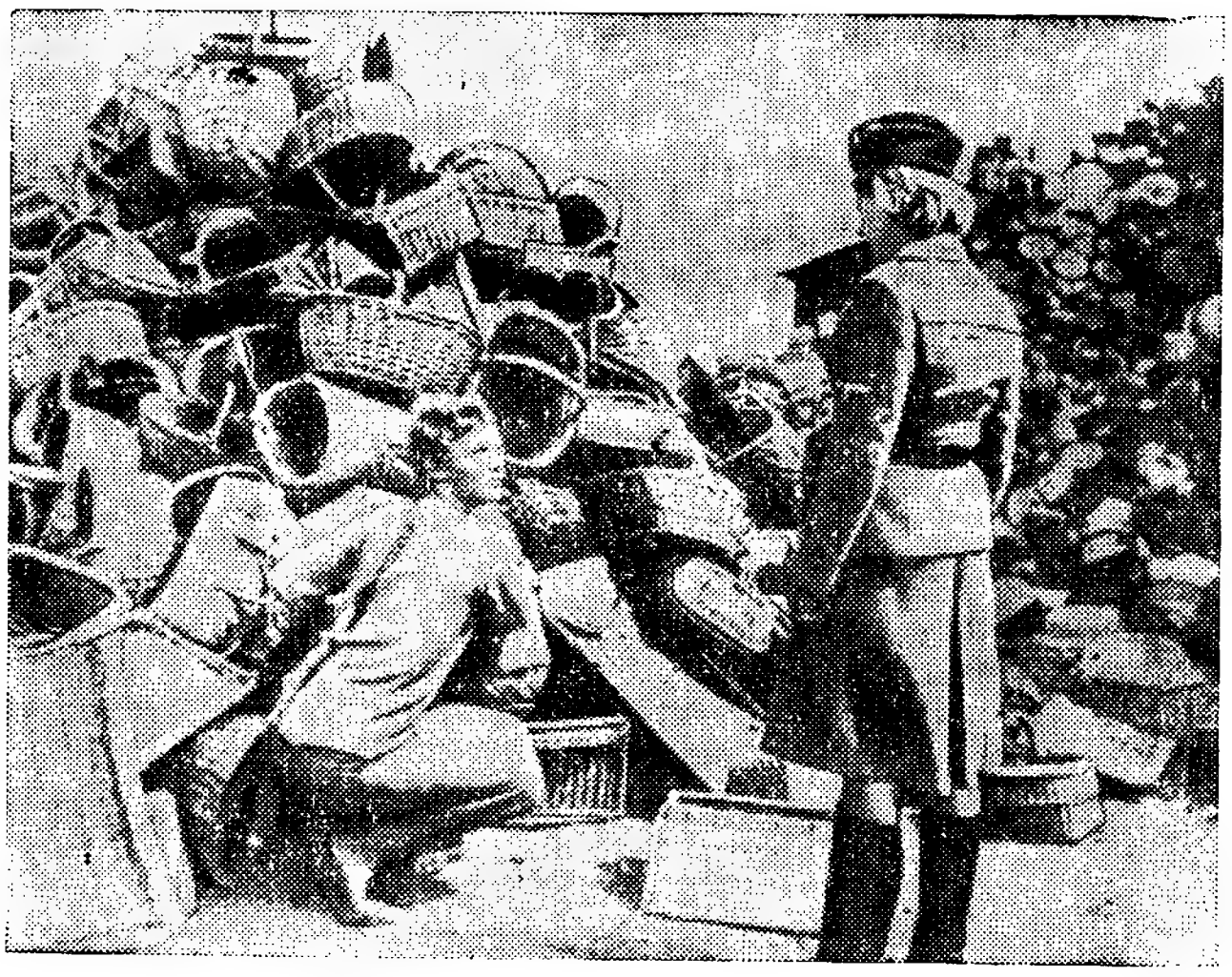
Журнал «Аль-Адиб» сообщает о новых произведениях египетских писателей. В Каире вышли роман Юсуфа Идриса «Люди и быки» и сборник рассказов Хасана Мухассиба «Хижина». Крупный писатель Яхья Хакки работает над второй частью книги воспоминаний. Известный литературовед доктор Луис Од готовит к выходу в свет исследование «Иностранные влияния в современной арабской литературе».

ПОЛЬША

«ПАССАЖИРКА» НА ЭКРАНЕ

Осенью этого года исполнилось два года со времени гибели в автомобильной катастрофе выдающего-

Кадры из фильма Анджея Мунка «Пассажирка». Вверху — сцена в Освенциме; на нижнем снимке — на лайнере.
(Журнал «Фильм»)



ся польского кинорежиссера Анджея Мунка. В ту пору он как раз заканчивал в Освенциме съемки части фильма «Пассажирка», действие которой происходит во время войны (об этом см. «Иностранную литературу» № 1, 1962; повесть Зофьи Посмыш «Пассажирка» опубликована в «Иностранной литературе» № 8, 1963). Остальная часть фильма, которая относится к настоящему времени и развертывается на трансатлантическом лайнере, осталась практически нереализованной.

Близкий друг Мунка, кинорежиссер Витольд Лесевич, решил завершить работу над «Пассажиркой». На помощь ему пришел весь съемочный коллектив, который в свое время работал вместе с Мунком.

Однако просмотр уже отснятого материала, чтение сценария и ознакомление с заметками Мунка привели Лесевича к выводу, что самое правильное было бы ничего не додумывать за покойного режиссера, а оставить фильм таким, каков он есть. И поэтому не случайно критик Збигнев Клячинский озаглавил свою рецензию на фильм в «Трибуне люду» — «Завещание».

Фильм-завещание Анджея Мунка в нынешнем его варианте состоит из эпизодов, отснятых в Освенциме, и из некоторых статичных кадров, сделанных на борту теплохода «Баторий». Все это скреплено комментариями диктора за кадром, в которых рассказывается, как работал Мунк над своим последним фильмом, и даются пояснения к разрозненным частям фильма.

В связи с окончанием работы над фильмом в журнале «Экран» с воспоминаниями о Мунке и совместной работе над «Пассажиркой» выступили исполнительница роли Лизы Александра Шленская и оператор Кшиштоф Виневич.

«Меня очень волновала судьба «Пассажирки»,— сказала Александра Шленская.— Известно было, что никто не в состоянии придать фильму законченную, великолепную форму, задуманную Мунком. Но мне было жаль, что совсем пропадут уже отснятые кадры, которые, даже не смонтированные, производили на нас неизгладимое впечатление. Поэтому я рада, что, несмотря ни на что, зритель увидит «Пассажирку» как фильм-документ, фильм-памятник одному из выдающихся художников нашего времени».

Недавно фильм «Пассажирка» вышел на польские экраны.

СЕРИЯ «ТИГР»

Издательство Министерства национальной обороны Польши — МОН вот уже в течение нескольких лет, начиная с 1957 года, издает массовую популярную серию «Тигр». Выходящие в ней книги рассказывают читателю об исторических событиях минувшей войны. Серия имеет подзаголовок «Вторая мировая война — герои, операции, кулисы».

К чести издательства следует отметить, пишет в еженедельнике «Культура» Кшиштоф Кулич, что военные приключения не играют здесь доминирующей роли. События, описываемые в серии «Тигр», преподносятся читателю с учетом политических и классовых факторов, играющих первостепенную роль в истории.

Примерно половина продукции этой серии (а вскоре выйдет уже сотый выпуск «Тигра») посвящена участию поляков в борьбе с гитлеризмом. При этом особо подчеркивается роль партизанских отрядов, Гвардии и Армии Людовой, а также Первой и Второй армии Войска Польского в разгроме фашизма.

Среди авторов «Тигра» — профессиональные писатели, создающие свои книги в строгом соответствии с историческими фактами, а также непосредственные участники сражений за Народную Польшу.

Кулич дает высокую оценку книгам серии «Тигр», рассказывает о ее огромной популярности среди читателей, о ее воспитательной роли. Он называет «Тигр» изданием политическим, идейным и пропагандистским.

Книги серии выходят рекордным для Польши тиражом — 150 тысяч экземпляров.

БРОНИСЛАВ ДОМБРОВСКИЙ — ЛАУРЕАТ

В Польше широко известно имя Бронислава Домбровского, театрального режиссера, ныне директора Краковского театра имени Словацкого. Поставленные им «Горе от ума» Грибоедова, «Три сестры» Чехова, «Любовь Яровая» Тренева неоднократно отмечались на театральных фестивалях страны.

В нынешнем году Бронславу Домбровскому присуждена премия министра культуры и искусства за постановку пьес «Герой фатерланда» Леона Кручковского (опубликована в «Иностранной литературе» № 6, 1963) и «Океан» Александра Штейна.

Театральные критики характеризуют Бронислава Домбровского как последовательного сторонника реалистического, идейного искусства. Пьеса «Герой фатерланда» в его постановке была удостоена премии на фестивале современных польских пьес в Быдгощи, а «Океан» — на фестивале русских и советских пьес, проходившем в этом году в Катовицах.

В будущем году Бронислав Домбровский будет отмечать сорокалетие своей работы в театре.

РУМЫНИЯ

«ОСТРОВ НАДЕЖДЫ»

Молодой писатель Алеку Иван Гилия недавно побывал на Кубе и написал книгу репортажей «Остров Надежды». Неизгладимое впечатление на Гилия произвела встреча с Фиделем Кастро, с поэтом Николасом Гильеном, со многими кубинцами.

Репортажи Гилия, по словам обозревателя газеты «Ромыния либерэ», с интересом встречены румынскими читателями.

ФОЛЬКЛОР, СОБРАННЫЙ ЭМИНЕСКУ

Вышел из печати шестой том произведений Михаила Эминеску, издающихся Академией наук Румынской Народной Республики. В этом томе опубликованы произведения народного творчества, собранные и обработанные Эминеску.

При жизни, в старой Румынии, Эминеску не имел возможности напечатать собранные им произведения.

СИРИЯ

КНИГА О СИРИЙСКОЙ НОВЕЛЛЕ

В скором времени, как сообщает журнал «Аль-Адиб», выйдет из печати критическое исследование «Сирийские новеллы». Автор книги — литературовед Аднан Бен Зирриль — анализирует в ней произведения многих современных сирийских новеллистов, представителей различных литературных направлений.

Перу Бен Зирриля принадлежит также вышедшая в прошлом году книга «Искусство театра».

США

РАСИСТЫ ЗАПРЕЩАЮТ РОМАН БОЛДУИНА

Власти Нового Орлеана препятствуют трем местным издателям продавать роман известного негритянского писателя Джеймса Болдуина «В другой стране». Официальные мотивы — роман якобы «порнографичен». Истинная же причина заключается в том, что Болдуин — активный борец за гражданские права негров.

Расисты Нового Орлеана, в частности «Совет белых граждан», пытаются добиться запрещения книг Болдуина во всех библиотеках города. Помощник прокурора Нового Орлеана Пиннер заявил, что привлечет к уголовной ответственности тех владельцев книжных магазинов, которые продают книги негритянского писателя. Однако издательства «Дайал пресс», «Дэлл паблишинг компани» и «Даблдэй компани» приняли решение препятствовать происками расистов и продолжать продажу книг Болдуина. Не исключено, что дело дойдет до судебного процесса.

Недавно «Иностранная литература» (№ 10, 1963) сообщала о запрете упомянутой книги Болдуина в Австралии. До чего же единодушны расисты, обитающие на разных континентах!..

«МОЙ БРАТ БИЛЛ»

Творчество американского писателя Уильяма Фолкнера пользуется заслуженной популярностью и еще при жизни писателя изучалось многими специалистами. В год смерти писатель, как известно, был удостоен Нобелевской премии в области литературы.

Недавно в США вышла книга, знакомящая с Фолкнером как с человеком. Она написана братом писателя Джоном Фолкнером, который попытался проследить формирование Фолкнера-писателя. Книга называется «Мой брат Билл. Воспоминания о дорогом человеке». По мнению рецензента газеты «Нью-Йорк таймс», она написана с большой любовью и особенно ценна тем, что в людях, окружающих будущего писателя, читатели узнают героев его книг. Джон Фолкнер пишет о том, что в детстве Уильям был очень общительным, волевым мальчиком, признанным вожаком своих сверстников. Автор сравнивает его с Томом Сойером. Он отмечает природную наблюдательность будущего писателя. Уильям был очень независимым, упрямым и вспыльчивым, но вместе с тем очень скромным и обаятельным человеком. В доме Фолкнера царила атмосфера уважения к людям, как к белым, так и к черным.

Рецензент «Нью-Йорк таймс» считает, что книга содержит много интересных подробностей, помогающих глубже понять творчество писателя. «Она доставит удовольствие всем, кто интересуется Фолкнером, и ее обязательно нужно прочесть критикам и биографам».

Как сообщает печать, в США ведутся съемки фильма «Моя прекрасная леди» по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион». На снимке: Одри Хэпберн в роли Элизы Дуллитл и Рекс Харрисон в роли профессора Хиггинса.

(Еженедельник «Синемонд»)

Рокуэлл Кент.
(Еженедельник «Уоркер»)

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ...

В США вышел «Гренландский дневник» выдающегося американского художника Рокуэлла Кента, который был написан им более тридцати лет назад и до сих пор не издавался. Художник находился в Гренландии с июля 1931 по сентябрь 1932 года. Именно в этот период он создал многие из лучших своих работ. Кент решил не перерабатывать текст «Дневника», и он издан таким, каким был написан тридцать лет назад.

За время своего пребывания на ледяном острове художник сумел близко узнать народ Гренландии. Хороши его рассказы о простых людях, пишет рецензент еженедельника «Уоркер». Гренландцы у Кента трудолюбивы, выносливы, смелы. Они борются с океанскими штормами, со льдом, снегами и морозами, и при этом не теряют природной склонности к юмору, всегда веселы и жизнерадостны. Кент делил с ними трудности и радости жизни. Он сам построил себе жилье, делал многокилометровые переходы по снегу с тяжелым грузом на спине... Именно поэтому, подчеркивает рецензент, он сумел войти в жизнь гренландцев, и его рассказы о них и о его давних приключениях в Гренландии так занимательны и по сей день.

Не умолчал Кент и о колонизаторской роли Дании в Гренландии, задержавшей экономическое развитие страны.

Книга богато иллюстрирована рисунками и набросками Кента. «И все же,— пишет рецензент,— не наброски и рисунки, как бы хороши они ни были, составляют здесь главное, а авторский текст». Это, пожалуй, лучший комплимент книге, написанной не литератором, а художником.

ГРИМАСЫ «АНТИТЕАТРА»

«Искусство, зовущее в никуда» породило еще одного уродца — театрализованные «действа» Аллена Капрова, пользующиеся успехом у нью-йоркских снобов. Аллен Капров бойко вещает: «Театр — это искусство происшествия и противопоставления или нагромождения событий».

Какие-то недалекие меценаты тут же выдали Капрову дотацию в пять тысяч долларов «за выдающиеся заслуги в области искусства» и отправили в Париж на международный театральный фестиваль. Выступая в театре Рекамье Капров, по свидетельству газеты «Гардиан», сначала произнес речь, в которой вопрошал: «Зачем актерам играть?», «Зачем в театре ставить пьесы?» И тут же предложил собравшейся публике выйти из театрального зала и попытаться купить хлеб в универсальном магазине. Таким образом, разъяснил Капров удивленным зрителям, «создаются условия для чего-то неожиданного, граничащего с гротеском. Это и будет настоящее театрализованное действо». Главное же, настаивал Капров, «действа» должны быть абсолютно бессмысленными.

Для подкрепления своих «тезисов» Капров вывел на сцену молодую женщину, одетую в непромокаемый плащ, и тут же его ассистент начал покрывать ее мыльной пеной. Затем появился молодой человек в купальных трусах, лег на пол и начал делать вид, будто он плавает.

«Следовало бы штрафовать людей, проповедующих подобный вздор!» — с возмущением пишет «Гардиан».

ФИНЛЯНДИЯ

ФРАНСУ ЭМИЛЮ СИЛЛАНПЯЯ 75 ЛЕТ

Финская общественность широко отметила юбилей старейшего писателя, лауреата Нобелевской премии Франса Эмиля Силланпяя. Его романы «Праведная

Франс Эмиль Силланпяя (в центре) в день своего 75-летия присутствует при вручении премии его имени писателю Вэйё Мери.
(Газета «Кансан уутисет»)

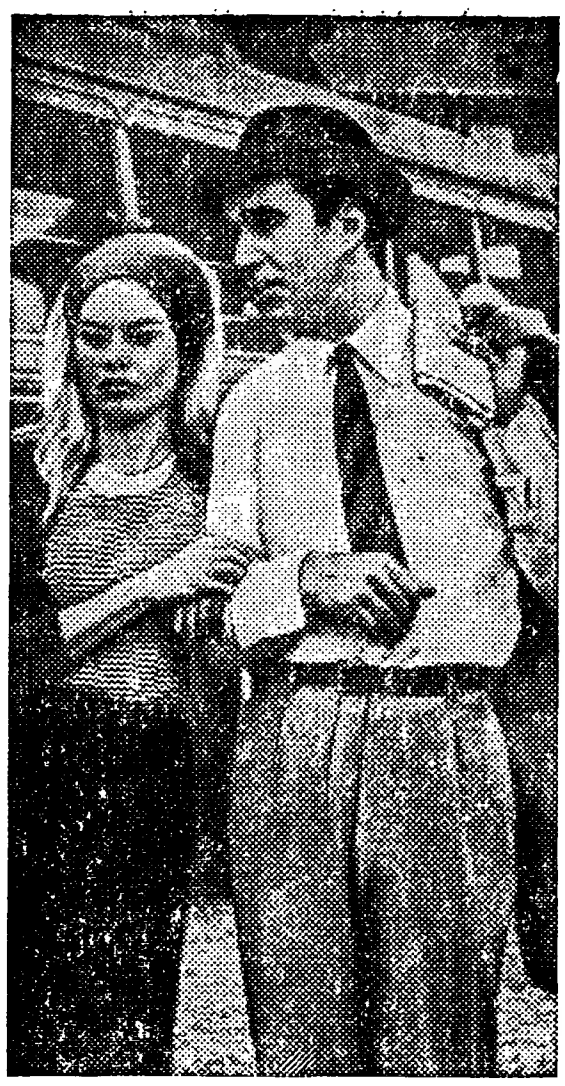
нищета», «Усопшая в юности», «Путь мужчины» получили широкую известность во всем мире. Критик газеты «Кансан уутисет» в статье, посвященной юбиляру, характеризует основные этапы его творческого пути. При этом критик подчеркивает, что в романе «Праведная нищета», рассказывающем о положении крестьянства и его участии в революции и гражданской войне 1918 года, Силланпяя поднимается до показа классовой борьбы. По словам критика, это мастер эпической прозы на высшем, международном уровне.

ФРАНЦИЯ

«ЖИВОЙ РАБЛЕ»

Французская печать дает высокую оценку новому переводу на русский язык шедевра Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». Эдмон Кари, в частности, пишет в журнале «Нувель ревю франсез»: «В переводе Николая Любимова Рабле предстает таким живым, таким жизнерадостным и здоровым, каким он не был еще ни в одном переводе. Можно восхищаться изобретательностью переводчика, можно сказать, что он необыкновенный фокусник. Но это не то слово. Трудность перевода Рабле состоит не в формальных трюках и не в лингвистических подвигах... Нужно, чтобы в переводе голос Рабле нигде не сбивался с тона (при его диапазоне малейшее отклонение прозвучит особенно резко — так, как если бы сфальшивил тромбон). Таким образом, удача нового перевода заключается в изумительно верной передаче тона, колорита и оркестровки, громовых криков и раскатов смеха. Это удача писателя, и поистине великолепный подарок Любимова литературе своей страны.

Перед нами книга живая, книга, которую читаешь с наслаждением, книга, в которой Рабле представлен со всей характерностью своего обличья и своего остроумия, Рабле даже более опасный для ханжей, чем во французском оригинале».



Известный режиссер Жан-Люк Годар поставил во Франции фильм по роману итальянского писателя Альберто Моравиа «Презрение» (роман опубликован в «Иностранной литературе» №№ 9—10, 1963). Сценарий довольно точно воспроизводит сюжет романа, хотя имена главных героев изменены. На снимке: исполнители главных ролей Брижитт Бардо и Мишель Пикколи.

(Еженедельник «Синемонд»)

РОМАН ЖАН-МАРИ ЖЕРБО

Молодой врач Кубервиль, герой романа Жана-Мари Жербо «Дорогие яды», лицом к лицу сталкивается с трагическими последствиями увлечений патентованными «успокаивающими» средствами-новинками западной медицины. Идя по следу одной из подобных трагедий, Кубервиль начинает понимать, что дело не только в бесчестных предпринимателях, связанных с одной из отраслей фармацевтики. Стремление молодого врача бескорыстно служить людям наталкивается на серьезные препятствия в мире, где все решают дельцы и погоня за прибылью. Перипетии неравной борьбы, в которую вступает Кубервиль, и составляют сюжет романа Жана-Мари Жербо.

Роман «Дорогие яды», вышедший в издательстве «Сёй», получил премию «Популист» за 1963 год.

ПОЧЕМУ «ЖЕРМИНАЛЬ» СНИМАЛСЯ В ВЕНГРИИ

Французскому кинорежиссеру Иву Аллегре, создавшему фильм по знаменитому роману Эмиля Золя «Жерминаль», пришлось преодолеть немало трудностей.

Работа над фильмом была начата во Франции. Однако ни один французский продюсер не согласился финансировать съемки фильма. Действительно, для продюсеров, привыкших к «легким» сюжетам, где главную роль играют «секс-бомбы», социальный, насыщенный классовой борьбой роман Золя — материал неподходящий. Но Ив Аллегре решил ничем не поступаться и создать по «Жерминалю» фильм о борьбе шахтеров, о их тяжелом, непосильном труде, обогащающем хозяев.

Поэтому Аллегре обратился с просьбой о помощи за границу. Кинематографисты Венгерской Народной Республики предложили снимать фильм у них. Вот почему в этом фильме рядом с именами французских актеров: Жана Сореля, Бернара Блие, Берты Гранваль стоят имена актеров венгерских — Шандора Пеши, Золтана Маклари, Марианны Кренше.

Еженедельник «Франс нувель» подчеркивает, что работа над фильмом доведена до конца исключительно благодаря сотрудничеству с венгерскими киностудиями и артистами. Одно из огромных достоинств фильма, отмечает еженедельник, это его реализм, неприкрашенная суровая действительность, которая глубоко потрясла Эмиля Золя и привела к созданию «Жерминаля».

Прогрессивная французская печать считает фильм Аллегре значительным вкладом в современное киноискусство Франции, в котором,

Сцена рабочего собрания из фильма «Жерминаль». Этьен Лантье (актер Жан Сорель) призывает своих товарищей продолжать стачку.

(Газета «Юманите»)

как отмечает «Франс нувель», социальные фильмы довольно редки.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПОВЕСТЬ ДОМИНИКА ТАТАРКИ

Заслуженным успехом у читателей Чехословакии пользуется повесть словацкого писателя Доминика Татарки «Плетеные кресла». Вскоре после выхода повести в Братиславе она была переведена на чешский язык и выпущена издательством «Ческословенски списовател» в серии иллюстрированных романов.

Герой повести Бартоломей Слзичка рассказывает историю своей жизни. Студентом он получил стипендию для учебы в Париже, в Сорбоннском университете. Шел октябрь 1938 года, и Слзичка оказался в Париже «человеком без родины»: полчища Гитлера уже вторглись в пределы Чехословакии. Молодой студент не мог остаться в стороне от общественной и политической жизни Франции. Он принимает участие в демонстрациях, знакомится с трудовым людом...

Все это служит автору средством для раскрытия внутреннего мира Слзички, а также фоном для внутренней драмы героя, который любит французскую девушку Даниэль.

Рецензент еженедельника «Литерарни новины» пишет, что повесть Татарки — книга о больших человеческих чувствах, о их воспитании. Рисунки иллюстратора Владимира Тесаржа отмечены специальной премией издательства «Ческословенски списовател».

«ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»

Так назвал свою книгу стихов Иржи Шотола, вышедшую в издательстве «Млада фронта». Со страниц книги, как бы пожелтевших от времени, звучат поэтизированные письма автора к подруге далекого детства, погибшей во время войны от рук фашистов.

Свои письма автор адресует «до востребования» — ведь в последнее свое посещение ее дома во время войны на знакомой двери он увидел паучью свастику... Поэт пишет свои письма «во имя любви, ради которой мы, живые люди, живем на этой земле», во имя «человеческого счастья и свободы».

Иржи Шотола сочетает ритмическую прозу со свободным стихом, отмечает Франтишек Врба в еженедельнике «Литерарни новины». Врба усматривает также некоторую схожесть мотивов новой книги Шотолы с повестью Яна Отченашека «Ромео, Джульетта и тьма». Обе эти книги роднит протест против войны и смерти, призыв к жизни, любви, человеческому счастью.

ПРЕМИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Редакционный совет издательства «Ческословенски списовател» присудил премии за лучшие произведения, которые вышли в издательстве за период с сентября 1962 по сентябрь 1963 года. «Даже беглый взгляд на книги писателей, удостоенные премий,— пишет еженедельник «Литерарни новины»,— убеждает в том, что уровень нашей прозы в последнее время значительно возрос».

Две первые премии за прозаические произведения получили роман Ивана Климы «Тихий час» (о нем см. «Иностранную литературу» № 9, 1963) и книга-дебют Ладислава Фукса «Господин Теодор Мундшток». Вторые премии присуждены Мирославу Голубу за его репортажи о сегодняшней Америке — «Ангел на колесиках» и книге рассказов Богумила Грабаля, который также является дебютантом,— «Жемчужины на дне».

Первой премии в поэзии удостоен Ян Скацел за томик стихов «Сумеречный час», второй — молодой поэт Антонин Броусек за сборник «Глубинные воды».

В области литературоведения и критики премия присуждена Иржи Левому за книгу «Искусство перевода».

ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

СОГЛАСНО РАСИСТСКОЙ «МОРАЛИ»...

Цензура Южно-Африканской Республики запретила демонстрацию в стране анг-

лийского сатирического фильма «Небо над головой», который был показан вне конкурса на III Московском международном кинофестивале. Причина — наличие «аморальных кадров»... Цензор скрупулезно их перечислил, заявив, что, если они не будут вырезаны, фильм не выйдет на экраны.

Как известно, фильм рассказывает о пасторе-идеалисте (роль которого исполняет английский киноактер Питер Селлерс), наивно пытающемся насаждать в капиталистическом мире христианские идеи братства и любви к ближнему. По ходу действия пастор назначает негра-мусорщика Мэтью церковным старостой. Вот эта-то часть фильма и содержит «аморальные», с точки зрения южноафриканских властей, кадры, перечисленные в особом списке, который мы и воспроизводим:

1) пастор и Мэтью сидят вместе за столом и пьют чай;

2) пастор помогает Мэтью снять пальто;

3) Мэтью сидит за столом вместе с белыми членами церковной общины;

4) Мэтью присутствует в церкви при крещении белого ребенка;

5) Мэтью сидит во главе стола во время семейного торжества вместе с белыми;

6) Мэтью стоит у входа в церковь и, обращаясь к белой женщине, говорит: «Проходи, проходи, милашка».

Владельцы фильма, братья Боултинг, отказались вырезать вышеуказанные кадры.

ЮГОСЛАВИЯ

О ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

Из печати вышла последняя часть трилогии Александра Вучо «Заслуги». Рецензент журнала «Книжевне новине» Предраг Протич отмечает, что сильная сторона таланта Вучо — не создание характеров, а умение передать атмосферу эпохи. Роман «Заслуги», по мнению Протича, живо воссоздает обстановку первых послевоенных лет в стране.

Рецензенты люблянского журнала «Содобност», подводя итоги литературного 1963 года, особо выделяют книги начинающих авторов, «искренне и мужественно говорящие правду о наших днях». По их мнению, безусловно заслуживает внимания роман Нады Габоровича «Ростки будущего». Герои его — члены молодежной добровольческой бригады, строящей железную дорогу. Интересна также повесть Янеза Швайнцера «Слишком поздно», рассказывающая о судьбе молодой учительницы.

Критики констатируют, что в последнее время в Югославии повысился интерес к произведениям о современной действительности.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ

Югославская печать сообщает о присуждении литературных премий за лучшие произведения.

Высшей литературной премии Югославии — премии Негоша—удостоен в октябре этого года Михайло Лалич за роман «Лелейская гора», вышедший третьим изданием в переработанном виде.

Михайло Лалич — один из выдающихся современных югославских писателей, мастер психологической прозы, прекрасный стилист. В Югославии широко известны его книги о народно-освободительной борьбе — «Свадьба», «Разрыв», «Жестокая весна», «Облава».

Премия Назора присуждена в этом году Мирославу Крлеже за его литературную деятельность. Премией издательства «НИН», а также традиционной премией в честь освобождения города Загреба была отмечена первая часть нового романа Мирослава Крлежи «Знамена».

Молодому македонскому писателю Живко Чинго присуждена премия газеты «Младост», органа Союза молодежи Югославии за сборник рассказов, действие которых происходит в македонском селе. История этого села раскрывается перед читателем на той странице, где «молитвы святому заступнику Пасквелу сменяются лозунгами революции».

Премии памяти Франце Прешерна удостоены прозаик Павле Зидар за сборник повестей «Статуя с алтаря отчизны» и поэт Лойзе Кракар за сборник «Цветы полыни», который критика относит к числу бесспорных достижений современной словенской реалистической поэзии. Лойзе Кракар занял также первое место на конкурсе поэзии, объявленном загребским еженедельником «Телеграм», представив впервые опубликованный стихотворный цикл «Искатели жемчуга».

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ГАБОР ГАРАИ — GARAI GABOR (род. в 1929 г.) — венгерский поэт, лауреат премии Аттилы Йожефа, переводчик советской и западной поэзии. Автор сборников стихов «Напряженные дни» («Zsúfolt napok», 1956), «Человеческий обряд» («Emberi szertartás», 1960), «Средиземноморская осень» («Medditerran össz», 1962) и др.

Публикуемое стихотворение взято из журнала «Уй Ираш».

ЛАДИСЛАВ МНЯЧКО — LADISLAV MŇAČKO (род. в 1919 г.) — словацкий писатель и публицист. Автор книг «Я, Адольф Эйхман» («Ja, Adolf Eihman», 1961), «Воды Оравы» («Vody Oravy», 1950), «Смерть зовется Энгельхен» («Smrť sa volá Engelchen», 1959), и др.

Публикуемый материал получен от автора в рукописи.

ЛАМБЕРТО ПИНЬОТТИ — LAMBERTO PIGNIOTTI (род. в 1926 г.) — итальянский поэт. Автор сборников стихов «Что-то значить» («Significare», 1957), «Элегия» («Elegia», 1958), «Как обстоят дела» («Come stanno le cose», 1959).

Публикуемые стихи взяты из журнала «Менабо» № 4 за 1961 год.

АНДЖЕЛО МАРИЯ РИПЕЛЛИНО — ANDGELO MARIA RIPELLINO (род. в 1923 г.) — итальянский поэт и литературовед, исследователь славянских литератур. Ему принадлежат литературоведческие труды «Перечитывая Державина» («Rilegendo Derjavin», 1961), «Три главы о Пушкине» («Tre capitoli di Pusckin», 1961), «Русский авангардистский театр и Маяковский» («Il teatro ruso d'avanguardia e Majakowski», 1962).

Стихи, опубликованные в номере, взяты из сборника «Не когда-нибудь, а сейчас» («Non un giorno ma adesso», 1960) и частично воспроизводятся по рукописи, полученной редакцией.

ДЖОВАННИ ДЖУДИЧИ — GIOVANNI GIUDICI (род. в 1924 г.) — итальянский писатель и поэт. Автор сборника рассказов «Станция Пиза» («La stazione di Pisa», 1955).

Публикуемые стихи взяты из журнала «Менабо» № 4 за 1961 год.

ЛИНО МАТТИ — LINO MATTI (род. в 1930 г.) — итальянский поэт, автор сборника стихов «Когда народ» («Quando il popolo», 1960), откуда и взяты публикуемые стихи.

МАРИЯ БИШЕТТИ — MARIA BISCETTI — итальянская поэтесса, лауреат премии Кападассо.

Публикуемые стихи взяты из сборника «Мой огонек» («Il mio lume», 1962).

ЖАН СЕНАК — JEAN SÉNAK (род. в 1926 г.) — алжирский поэт. Автор стихотворных сборников «Стихи» («Poèmes», 1954), «Вооруженное солнце» («Le soleil sous les armes», 1957), «Заря моего народа» («Matinale de mon peuple», 1961), откуда и взяты публикуемые стихи.

ЮЛИАН ТУВИМ — JULIAN TUWIM (1894—1953) — польский поэт, переводчик русской и советской поэзии. Ему принадлежат поэмы «Бал в опере» («Bal w operze», 1936), «Цветы Польши» («Kwiaty polskie», 1949), сборник стихов «Пляшущий Сократ» («Sokrates tańczący», 1921), «Слова в крови («Slowa we krwi», 1926) и другие стихотворные произведения.

Стихи, опубликованные в этом номере, взяты из «Собрания сочинений», том 1, 1955 год.

КАРЕЛ ЧАПЕК — KAREL ČAPEK (1890—1938) — чехословацкий писатель. Одна из его первых книг — сборник рассказов «Распятие» вышла в 1917 г. («Bozí muca»), ему принадлежат романы «Фабрика абсолюта» («Továrna na absolutno», 1922), «Кракатит» («Krakatit», 1924), «Метеор» («Povětroň», 1934), «Обычная жизнь» («Obyčejný život», 1934), «Война с саламандрами» («Válka s mloky», 1936), пьесы «Белая болезнь» («Bilá nemoc», 1937), «Мать» («Matka», 1938) и другие произведения.

Материалы, опубликованные в этом номере, взяты из сборника «Заметки о творчестве» («Poznámky o tvorbě», 1960), а также из Сочинений братьев Чапек («Spisy bratří Čapku, т. т. 28, 32).

ПАБЛО НЕРУДА — PABLO NERUDA (род. в 1904 г.) — чилийский поэт и видный общественный деятель, член Всемирного Совета Мира, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». Ему принадлежит множество сборников стихов, поэм и од.

Публикуемые воспоминания получены от автора в рукописи.

БОГОМИЛ НОНЕВ (род. в 1920 г.) — болгарский писатель, журналист, критик. Автор сборника литературно-критических статей «Жанровое и художественное мастерство» («Жанрове и художествено майсторство», 1956), книг путевых очерков «Города и люди» («Градове и хора», 1955), «Добрые дороги» («Добрите пътища», 1957), сборника публицистических статей «Сквозь время» («Брод през времето», 1960) и др.

Статья «Размышления о новой болгарской прозе» получена редакцией в рукописи.

МИКЛОШ САБОЛЧИ — SZABOLCSI MIKLÓS (род. в 1921 г.) — венгерский критик и литературовед, лауреат премии Аттилы Йожефа. Ему принадлежат сборники статей «Литература и ответственность писателя» («Irodalom és felelősség», 1955), «Поэзия и современность» («Költészet és borszerűség», 1959).

Статья «Книги, о которых говорят» прислана автором в рукописи.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» за 1963 год

НАШИМ СОВЕТСКИМ ЧИТАТЕЛЯМ (НОВОГОДНИЕ ПОЖЕЛАНИЯ), № 1

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ

Акбал, Октай — Улица Чужаков (Повесть), № 6.
Альтман, Филис — В субботу к вечеру (Рассказ), № 3.
Амаду, Жоржи — Необычайная кончина Кинкаса Сгинь Вода (Сатирическая повесть), № 5.
Брезан, Юрий — История одной любви (Повесть), № 9.
Брэдбери, Рэй — Луг. Вельд (Фантастические рассказы), № 8.
Вайзенборн, Гюнтер — Мститель (Записки Даниэля Бренделя) (Роман), № 1.
Гашек, Ярослав — Из неопубликованного, № 4.
Десноэс, Эдмундо — Возвращение (Роман. Вступительная статья Б. Полевого), № 7.
Диа Кванза, Мунделе — Путь Домингуша Шавиера (Повесть), № 9.
Зеегер, Бернгард — Осенний дым (Роман), №№ 3—5.
Канапа, Жан — Солдаты, солдаты... (Рассказ), № 8.
Керью, Ян — Прикосновение Мидаса, №№ 1—2.
Колдуэлл, Эрскин — У нас дома (Роман), №№ 10—11.
Криге, Юс — Смерть зулуса (Рассказ), № 3.
Кручковский, Леон — Герой фатерланда (Пьеса в 5 картинах с прологом. Вступительная статья Александра Штейна), № 6.
Ли, Харпер — Убить пересмешника... (Роман), №№ 3—4.
Моравиа, Альберто — Презрение (Роман. Послесловие Антонелло Тромбадори), №№ 10—11.
Моруа, Андре — Рассказы, № 4.
Наковский, Атанас — Мария против Пиралкова (Роман), №№ 1—2.
Нгуен Мань Хао — Последний диагноз (Рассказ), № 9.
Нгуен Нгок — Героиня (Рассказ), № 9.
Посмыш, Зофья — Пассажирка (Повесть), № 8.
Сакони, Карой — Рассказы, № 7.
САТИРИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ, № 4.
Силлитоу, Алан — Ключ от двери (Роман), №№ 5—7.
Хемингуэй, Эрнест — Разоблачение (Рассказ), № 8.
Шаллюк, Пауль — Энгельберт Рейнеке (Роман), №№ 11—12.
Эквенси, Киприан — Когда горит трава (Повесть), № 8.
ЮЖНО-АФРИКАНСКИЕ НОВЕЛЛЫ, № 3.
Яшик, Рудольф — Мертвые не поют (Роман. Послесловие Ладислава Мнячко), №№ 10—12.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Бютор, Мишель — Ступени (Фрагмент романа), № 1.
Роб-Грийе, Ален — В лабиринте (Фрагмент романа), № 1.
Саррот, Натали — Планетарий (Фрагмент романа), № 1.

ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ

Стейнбек, Джон — Путешествие с Чарли в поисках Америки, № 3.

СТИХИ

Ангелов, Марко — Ой вы, птицы... Вихри весенние, № 11.
Багряна, Елисавета — Валентине Терешковой, № 7.
Багряна, Елисавета — У меня теперь друзья повсюду (Вступление Веры Инбер), № 4.
Бандейра, Мануэл — Воспоминания о Ресифи, № 10.
Бишетти, Мария — Я знаю птиц, что не вьют гнёзда. Тоненькая ниточка песни. Маленькая радость, № 12.
БРАЗИЛЬСКИЕ СТРОФЫ (Вступительная статья Юрия Дашкевича), № 10.
Вальехо, Сесар — Человечьи стихи (Вступительная статья Л. Осповата), № 4.
Велчев, Симеон — Из поэмы «История», № 11.
ВЗОРВАННОЕ МОЛЧАНИЕ (Стихи молодых поэтов Гаити. (Вступительная статья Е Гальпериной), № 3.
Ганзлик, Йозеф — Лампа, № 8.
Габор, Гараи — Безымянный из Разлива, № 4.
Габор, Гараи — Возвращение, № 12.
Данква, Дж. В. Б.— Голоса моря, № 2.
Деснос, Робер — Избранные строки (Вступи-

тельная статья Самария Великовского), № 9.
Джаафар, Хасиб аш Шейх — Гибель поэта, № 6.
Джахин, Салах — Стихи, № 9.
Джудичи, Джованни — Из самого сердца «экономического чуда», № 12.
Ди Андради, Карлус Друммонд — Плачущий в ночи ребенок, № 10.

ДИВЛЮСЬ И РАДУЮСЬ НОВИЗНЕ (Стихи монгольских поэтов), № 7.

Димитрова, Блага — Верность, № 8.
Ди Мораис, Винниус — От родины вдали, № 10.
Дюбуа, Уильям — Гана зовет, № 8.
Еще не все хорошо понимают... (Песня народности ка-ту), № 5.
Зианг Нам — Мы нашу плоть и нашу кровь в обиду не дадим! № 5.
Козлев, Христо — Отклики, № 11.
Коуту, Рибейру — Поэзия для Бразилии, № 10.
Кшон Блеу—Тео-жео, мой край родной, № 5.
Кырпачев, Христо — Путешествие мысли, № 11.
Лафорэ, Жан-Ришар — Птенец. Угроза, № 3.
Лемуан, Люсьен — Парижское веселье, № 3.
Ленуар, Жак — Охота на людей, № 3.
Лундквист, Артур — Стихи, № 10.
Лхамсурен, Ч.— Дети наши, № 7.
Маджаров, Кирил—Песня машиниста, № 11.
Манчев, Атанас — Ты встанешь, № 11.
Матти, Лино — Под тенью бука. Сопротивление продолжается, № 12.
Мейрелис, Сесилиа — В деревне. Осенью, № 10.

МОЛОДЫЕ ПОЭТЫ ИТАЛИИ (Вступление Л. Вершинина), № 12.
Молокву, Бендили — Ветер Африки, № 11.
Мориссо, Ролан — Ночь пьяна тишиною моей страны, № 3.
Мур, Бай Т.— Стихи, № 6.
Мы отстоим свой лес (Песня народности казонг), № 5.
Неруда, Пабло — Камни Чили (Стихи из новой книги), № 3.
Нивянин, Иван — О будущем, № 11.
Окай, Джон — Воды большой реки, № 2.
ПЕСНИ ГНЕВА. (Стихи вьетнамских поэтов. Вступление Мих. Матусовского), № 5.
Пиларж, Ян — Под песни родного края, № 1.
Пиньотти, Ламберто —Современное приспособленчество. Сверхэксплуатация. Интеллектуальное отравление, № 12.
Попов, Антон — Осень 1941, № 11.
Порумбаку, Вероника — Белые крылья песни, № 3
ПОЭТЫ ГАНЫ, № 2.
Птицы го-лунг (Песня народности е-де), № 5.
Пурэвдорж, Д.— На вокзальной площади, № 7.
Рикарду, Кассиану — Дама, пьющая кофе, № 10.
Рипеллино, Анджело Мария — Человек. как человек. Галоп. Крик. Я бы хотел написать. Что-то дало трещину, № 12.
Сенак, Жан — Утренняя песнь Алжира. № 12.
Спасов, Цветан — Рифмы. В такую ночь. Легенда, чудесная сказка, № 11.
СУРОВЫЕ РИФМЫ (Стихи болгарских поэтов. Вступление и примечания Веселина Ханчева), № 11.
Сэндберг, Карл — За многие годы... № 6.
Тень дерева ко-ниа (Песня народности хоре), № 5.
Те Хань — Трудно честному человеку, № 5.
Томашек, Карел — О мире утреннем... № 6.
Томашек, Карел — Песня о реке, № 8.
То Хыу — Как быть спокойным? № 5.
Тхань Хай — Марш повстанческих войск, № 5.
Унгаретти, Джузеппе — Стихи из разных сборников (Вступительная статья М. Бажана и Г. Брейтбурда), № 2.
Усман, Сембен — Стихи, № 5.
Фелпс, Антони — Дерево. Час придет! Не время спать, № 3.
Филоктет, Рене — Им не услышать этот стих. Россыпи росы, № 3.
Фрост, Роберт — «Увидеть Завтра юности глазами...» № 2.
Хаддад, Жамил Алмансур — Поэтическое искусство, № 10.
Цзоу Ди-фань — Лучший стих, № 4.
Цэдэндорж, М.— Сергею Есенину, № 7.
Циммеринг, Макс — «Отрицатель», № 6.
Чимид, И.— Я — молодой! № 7.
Явуухулан, Б.— Огонь, № 7.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Норвид, Циприан — Стихи (К 80-летию со дня смерти), № 6.
Тувим, Юлиан — Из стихов последних лет (К 10-летию со дня смерти. Вступительная статья Ильи Сельвинского), № 12.
Чапек, Карел — Занимательность народность и маразизм. Последний эпос, или роман для служанок. О пессимизме, № 12.

КРИТИКА

Анисимов, И.— Актуальность гуманизма, № 4.
Великовский, Самарий — На холостом ходу, № 1.
Гальперина, Е.— Путь Яна Керью, № 2.
Герасимов, Сергей — Высшая цель художника, № 3.
Гордышевская, М.— Круг замыкается (Заметки о современном колониальном романе), № 6.
Дементьев, А.— Они «дискутируют», № 3.
Елистратова А.— «Трагическое животное — человек» (О двух романах Джона Апдайка), № 12.
Затонский, Д.— О внешнем сходстве и принципиальных различиях, № 7.
Злобин, Георгий — Семена будущего, № 2.
Исбах, Александр — Что нужно сказать людям (Заметки о книгах Антуана де Сент-Экзюпери), № 3.
Йохо, Вольфганг — Новые голоса в литературе ГДР, № 2.
Книпович, Е.— От прошлого к будущему, № 10.
Книпович, Е.— Сын своего времени (Заметки о творчестве Бертольта Брехта и «Берлинском ансамбле»), № 4.

Кожинов, В.— Реализм и действие в современной литературе, № 5.
Неделин, В.— В сумерках психоанализа (Фрейдизм и искатели «антиидеологии»), № 10.
Новиков, Михай — Непреложный эстетический принцип нашей эпохи, № 9.
Нонев, Богомил — Размышления о новой болгарской прозе, № 12.
Огнев, Владимир — О поэзии Тадеуша Ружевича, № 2.
Олдридж, Джеймс — Писатель и общественная мораль (Заметки о творчестве А. Силлитоу, Ф. Саган, Дж. Д. Сэлинджера), № 9.
Палиевский, П.— Новое имя (Алан Силлитоу), № 5.
Рюриков, Б.— Реальный гуманизм, № 6.
Симоняи, Лидия — Справедливый гнев, № 1.
Симонян, Л.— Трудные поиски, № 11.
Тертерян, И.— Жоржи Амаду, которого мы знаем, № 5.
Фаркаш, Йожеф — Октябрь и венгерская литература, № 11.
Щербина, В.— Реализм и идейность (Взгляды К. Маркса, Ф. Энгельса и некоторые литературные споры наших дней), № 8.

НА ПОЗИЦИЯХ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИДЕЙНОСТИ

(К 60-летию II съезда РСДРП), № 7.

РОМАН, ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО

На встрече писателей Европы в Ленинграде, № 11.

К 70-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. В. МАЯКОВСКОГО

В. В. Маяковский в Мексике (Редкая фотография), № 7.

Гидаш, Аитал — Мы перед ним в долгу, № 7.
Гупперт, Гуго — Глашатай коммунистической культуры, № 7.

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

Бенюк, Михай — Наша миссия, № 1.
Олдингтон, Ричард — Открывать красоту мира (Публикация, вступительная статья и перевод Д. Жантиевой), № 8.
Пуйманова, М.— Все мы — труженики эпохи (Составление И. Бернштейн), № 6.
Роллан, Ромен — Всегда ясно видеть, № 3.
Сартр, Жан-Поль — Холодная война и единство культуры, № 1.

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Место художника в жизни (Зарубежные деятели изобразительного искусства у нас в редакции), № 6.

ТВОРЧЕСКАЯ ТРИБУНА

Жуков, Н.— Размышления об абстрактном искусстве (Читая книгу Хуана Маринельо), № 4.
Кунихэн, Ноэл — Почему я реалист, № 7.
Чутка, Иржи — Во имя жизни, № 6.
Шаплен-Миди, Роже — Саморазрушение искусства, № 2.

ЧТО ЧИТАЮТ СЕГОДНЯ

Бесси, Альва — Новые американские романы (Письмо из Сан-Франциско), № 5.
Грюнвальд, Леопольд — Новая австрийская проза (Письмо из Вены), № 8.
Даниэльсен, Эрик — Роман здравствует и процветает (Письмо из Копенгагена), № 4.
Доменеч, Рикардо — Эти книги изданы не в Испании, № 7.
Ларни, Мартти — Три финских писателя младшего поколения (Письмо из Хельсинки), № 9.
Мюрдаль, Ян — Духовный климат стал иным (Письмо из Стокгольма), № 10.
Нейхауз, Вольфганг — В центре внимания — современность (Письмо из Берлина), № 6.
Опиц, Карллюдвиг — Новости литературного рынка ФРГ (Письмо из Гамбурга), № 3.
Саболчи, Миклош — Книги, о которых говорят (Письмо из Будапешта), № 10.
Слоун, Пэт — Будущее — за романом о рабочих (Письмо из Лондона), № 10.
Уотен, Джуда — Сила демократических традиций (Письмо из Мельбурна), № 10.
Юнгман, Милан — Читатель ждет «книгу жизни» (Письмо из Праги), № 3.

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Алигер, М.— Тысяча звезд южного полушария, № 8.
Атарова, К.— Друзья и враги, № 12.
Атарова, К.— У колеса лотереи, № 3.
Борщаговский, Александр — Герои без орденов, № 4.
Ваксмахер, М.— Говорит испанский поэт, № 2.
Вильмонт, Н.— Непотухший вулкан, № 9.
Голик, И.— Всемирная орбита советской литературы, № 6.
Губанов, И.— С любовью к человеку, № 3.
Гулям, Хамид — Ташкент — Каир — Джакарта, № 10.
Зимин, Виталий — Рыбаки и крестьяне Малабара, № 6.
Иванова, Ленина — Огни на сопках, № 7.
Калнынь, Л.— Первое знакомство, № 8.
Касаткина, Л.— Не дать повториться! № 10
Липкин, С.— Ветер из сердца Азии, № 4.
Мотылева, Т.— Книга об Арагоне, № 2.
Мячина, Е.— Неизвестная страница, № 4.
Никулин, Лев — Назым Хикмет — певец человека, № 11.
Никулин, Лев — Читая турецкие новеллы, № 7.
Орлова, Р.— В последнем кругу ада, № 12.
Осповат, Л.— Мир индейской сказки, № 7.
Павлова, Н.— Пути большой литературы, № 3.
Рабинович, И.— Роман и его перевод, № 10.
Рифтин, Б.— Китайская народная новелла, № 5.
Слуцкий, Борис — Маленькая, но действующая, № 5.
Соболь, Марк — Испания борется, № 9.
Тверской, А.— Непал поэтический, № 3.
Тишков, А.— Полезное издание, № 8.
Турков, А.— Внук Дёрдя Дожи, № 6.

Турков, А.— Монголия — прекрасная страна, № 2.
Турков, А.— Признание в любви, № 9.
Фейгина, Л.— Чтобы жить, № 12.
Фейгина, Л.— «Я защищаю людей...» № 5.
Фиш, Геннадий — Заметки на полях антологии, № 9.
Фиш, Р.— Против ночи, № 10.
Черникова, С.— «Сердце мое — гнев», № 12.

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

Бернштейн, И.— Когда мертвые поют, № 2.
Волевич, И.— Книга о героическом феврале, № 7.
Выхухолев, В.— Глазами друга, № 8.
Гиленсон, Б.— Мемуары Поля де Крюи, № 6.
Гиленсон, Б.— Сатирик и его критики, № 9.
Гривнин, В.— Воспитание предательства, № 5.
Евнина, Ел.— «Поиски» Ива Берже, № 11.
Жуков, Д.— Постоянство, № 5.
Зонина, Л.— Этот остров — большая земля, № 2.
Карельский, А.— Генрих Бёль — публицист, № 3.
Кеменова, А.— Новый роман Пьера Дэкса, № 10.
Кутявин, Егор — Новая пьеса Шона О'Кейси, № 2.
Млечина, И.— Другого пути нет, № 8.
Млечина, И.— Незабываемое прошлое, № 4.
Млечина, И.— Страницы революционного прошлого, № 10.
Наркирьер, Ф.— Книга в боевом строю, № 11.
Неделин, В.— Традиция дружбы, № 6.
Падилья, Эберто — Сердце с Кубой, № 11.
Петриковская, А.— В зеркале политики и литературы, № 8.
Прожогина, С.— Заря рассеивает мрак, № 7.
Прожогина, С.— Под небом Африки, № 10.
Рожновский. С.— Важное исследование, № 7.
Рубин, Владимир — Трудные годы Артура Чэпмена, № 12.
Рубин, Владимир — Юность в Австралии, № 4.
Савич, О.— Урок истории, № 3.
Солонович, Евг.— Ты — поэт, Иньяцио Буттитта! № 10.
Степанов, Л.— Большая литература маленького острова, № 3.
Степанов, Л.— Голоса из Сахары, № 9.
Фридман, М.— Что такое дом? № 5.
Чернявская, И.— Новые страницы биографии героя, № 6.

ПОЛЕМИКА

Ивашева, В.— Кому на пользу? № 10.
Караганов, А.— Каким будет искусство через 20 лет? № 12.
Наумов, К.— Система уравнений господина Поджоли, № 7.
Орлова, Р.— Устарели ли идеалы тридцатых годов? № 5.
Симонов, Константин — Вопреки здравому смыслу (Заметки на полях одной рецензии), № 6.

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Обозрение зарубежной прессы №№ 1—9, 12.

ПУБЛИЦИСТИКА

Амаду, Жоржи — Разговор с Буанга Феле, известным также под именем Марио де Андраде, вождем борющейся Анголы, № 6.
Бернштейн, И.— Плодотворная встреча, № 5.
Галясевич, З.— Пусть атом служит людям (Мнение польского ученого) № 10.
ГОВОРЯТ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ — УЧАСТНИЦЫ ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА ЖЕНЩИН, № 8.
Гофмейстер, Адольф — В добрый час (Комментарии чехословацкого художника) № 10.
Дрда, Ян — Говорит Фидель... (Из путевых заметок), № 2.
Картер, Дайсон — Канадская культура будет жить, № 8.
Моруа, Андре — В зрительном зале — миллионы (Кино, радио, телевидение и традиционные виды искусства), № 10.
МОСКОВСКИЙ ДОГОВОР — ШАГ К НОВЫМ НАДЕЖДАМ, № 10.
Перло, Виктор — Духовная нищета и безнравственность, № 6.
Пшимановский, Януш — Крепче брони, № 2.
Салганик, М.— Голос писателей двух континентов, № 4.
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 45 ЛЕТ, № 2.
Уилсон, Энгус — Здоровый роман родится в здоровом мире (Слово английского писателя), № 10.
Уинтер, Элла,— Мы можем помочь людям, № 8.
Хэнсберри, Лорейн — Время бросает вам вызов, деятели культуры, № 7.
Шепоник, Хорст — Когда мистер Хаули хлопнул дверью... (Документальный очерк о Западном Берлине), № 2.
Яковиду, Лили — Общественная миссия литератора, № 8.

ОЧЕРКИ

Агарышев, А.— С добрым утром, Республика! № 5.
Капусцинский, Рышард — Случайные истории, № 10.
Майерова, Мария — Вчера — сегодня — завтра, № 3.
Урбан, Эрне — По трассе венгеро-монгольской дружбы, № 6.

ДОКУМЕНТЫ

Иванов, Мирослав — По следам «Репортажа с петлей на шее», № 9.
Они отстаивали правду о Стране Советов (Вступительная статья Саввы Дангулова), №№ 4—5.

ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Абраам, Пьер — На что живет французский писатель, № 2.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Академик **Майский, И. М.**— Встречи с Гербертом Уэллсом, № 1.
Неруда, Пабло — Жизнь поэта, № 12.

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Толнаи, Габор — О судьбах романа (Заметки участника сессии Европейского сообщества писателей), № 9.

НАШИ ГОСТИ

Дашкевич, Юрий — Карлос Фуэнтес, № 12.
Место и долг писателя (Джон Брейн и Алан Силлитоу в редакции «Иностранной литературы»), № 7.
Словесный, А.— Посланцы бирманской литературы, № 12

НА КИНОЭКРАНАХ

Божович, Виктор — В чем причина кризиса? (По страницам французской прессы), № 6.
Герасимов, Сергей — Когда утихли споры... № 9.
Ивенс, Йорис — Наша студия — планета Земля, № 9.
Прохазка, Ян — Чехословацкое кино обретает зрелость, № 9.

ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ В МОСКВЕ

КАЛЕНДАРЬ «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Дашкевич, Юрий — Выбор Анибала Понсе, № 5.
Дашкевич, Юрий — Слово Хосе Марти, № 1.
Долматовский, Евг.— Встречи с Вайнертом, № 4.
Копелев, Лев — Опередивший эпоху (К 150-летию со дня рождения Георга Бюхнера), № 10.
Литвинова, Л.— Дени Дидро в России (К 250-летию со дня рождения), № 10.
Марков, Д.— В боевом строю, № 2.
Наркирьер, Ф.— Новое о Барбюсе, № 5.
Полевой, Борис — Памяти славного друга (К 80-летию со дня рождения Альберта Рис Вильямса), № 9.
Тихонов, Николай — Наш друг Али Сардар Джафри, № 11.

Большой художник, певец революции (Зарубежные друзья о Всеволоде Иванове), № 10.
Долматовский, Евг.— Памяти Уильяма Дюбуа, № 10.
Памяти большого поэта, № 6.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ К. С. СТАНИСЛАВСКОГО

Логан, Джошуа — Первое знакомство, № 1.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Баба, Карнелиу — Человек — извечная тема (Заметки художника), № 8.
Богданов, Ф.— Харен Дас — художник новой Индии, № 12.
Ларионова, Э.— Первый художник республики Мали, № 5
Маринельо, Хуан — Кубинская революция в творчестве Хосе Вентурелли, № 11.
Поль Хогарт иллюстрирует Брэндана Биэна, № 4.
Сабри, Махмуд — Художник и реальный мир № 6.
Фехер, Жужа — Искусство Карола Раслера, № 2.
Чернова, Г.— Творчество народных мастеров Африки, № 5.

КАРАНДАШОМ И ТУШЬЮ

Прожогин, Н.— Репортажи художника Мхамеда Иссиахема, № 3.

ЗАРУБЕЖНАЯ КАРИКАТУРА

Ушац, М.— На наших страницах — Эрик Литинский, № 1.
Это — Америка, № 10.

ИЗ ПУТЕВОГО АЛЬБОМА

Жуков, Н.— Итальянские впечатления, № 7.
Ромодановская, А.— По Японии, № 12.
«Шведская тетрадь» Александра Житомирского, № 9.
Шмаринов, Алексей — Калейдоскоп впечатлений, № 1.

У НАШИХ ДРУЗЕЙ

По страницам журналов социалистических стран, №№ 2, 3, 5.

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ, №№ 1—12.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника, №№ 1—12.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ, №№ 1—12.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР **Б. С. РЮРИКОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. И. АНИСИМОВ, Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, С. А. ДАНГУЛОВ (зам. главного редактора), **Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА** (отв. секретарь), **Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. В. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Б. И. РОЗЕНЦВЕЙГ, М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художеств. редактор **М. М. Милославский** Технический редактор **В. Л. Шачнев.**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул.. д. 41. Телефон: В 3-51-47.

А 07825. Сдано в производство 16/X-63 г. Подписано к печати 3/XII-63 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9,0 бум. л.; печ. л. 24,66+1 вкл. Зак. 1920

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70391